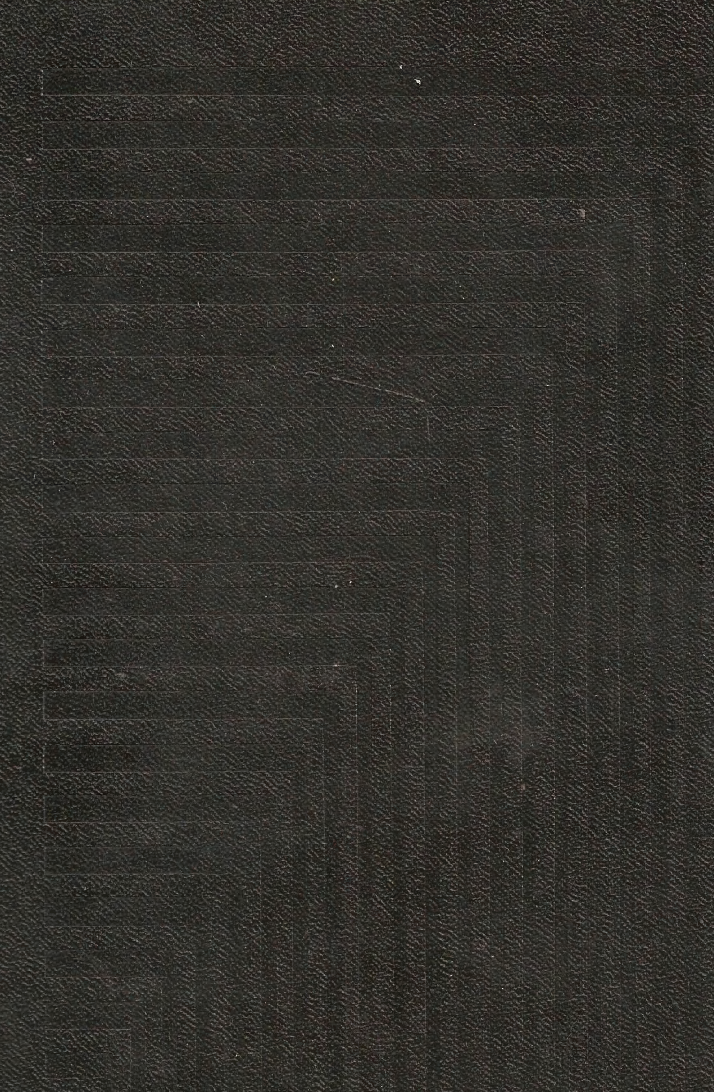
ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ



ИХЛ

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ЛИТЕРАТУРА»

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ШЕСТИ ТОМАХ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

ВСЕВОЛОД КОЧЕТОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЯТЫЙ

УГОЛ ПАДЕНИЯ

РОМАН

●

НА НЕВСКИХ РАВНИНАХ

ПОВЕСТЬ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1975

Оформление художника
А. ЛЕПЯТСКОГО

К $\frac{70302-345}{028(01)-75}$ подписное

Угол падения

РОМАН

1

Весь день, среди заседаний, среди разговоров с представителями воинских частей и вооруженных заводских отрядов, в непрестанной пестрой суете, которой с утра до ночи, а то и ночью были заполнены этажи Смольного, Благовидов помнил о том, что после вчерашней стрельбы не почистил и не смазал наган. Еще в училище он прочно усвоил: сам не ешь, не пей, не спи, а оружие приведи в порядок. Его беспокоило, что он никак не мог урвать минутку и выполнить эту железную армейскую заповедь.

Лишь под вечер хромой красноармеец Савельев, прикомандированный к отделу, принес в медной кружке орудийного вязкого масла и лоскут льняной грубой ткани; а вместо шомпола в столе у Благовидова всегда хранилась толстая проволочина, на одном конце сплющенная, на другом — свернутая петлей.

Заодно уж хозяйственный Савельев прихватил со второго этажа, где была столовая, и солдатскую манерку кипятку. Вместе с несколькими дробинками сахарина он бросил в кипяток подгорелую черную корку, помешал оловянной ложкой, которую достал из-за обмотки, и поставил манерку перед Благовидовым. Разбирая наган, Благовидов время от времени прямо через край манерки

прихлебывал сладковатую, отдающую распаренным хлебом горячую воду.

Части нагана, кружку с пушечным маслом, манерку — все это он расположил перед собой на мраморном подоконнике одной из комнат бывшего института, в котором российская знать — давно ли то было! — воспитывала своих благородных девиц.

Подоконник был обширен, как стол, и неспроста поэтому использовался он ныне именно в должности стола. Высокими стопами сгрудились на нем — все в красных и синих карандашных отметинах — прочитанные газеты; разлеглись толстые и тонкие папки с бумагами; меж папками и бумажным хламом густо лиловели склянки химических чернил; некогда белый камень подоконника покрылся кругами сажи от котелков и чайников; об него же — до того, конечно, как сюда вселился Благовидов, — гасили махорочные окурки, отчего остались тут ржавые оспенные пятна.

За окном, в вечерних сумерках, падал снег. Снежинки летели вкось, торопливо, густо, как бы спеша еще одним слоем укрыть площадь и так уже заваленную сугробами, через которые автомобили пропахивали глубокие узкие траншеи, а люди протаптывали еще более узкие змеистые тропы.

В снежной кисее дымно плавали контуры отступивших от площади бледно-серых зданий, едва различались устья выходящих на нее Тверской и Шпалерной улиц, Суворовского проспекта.

Скоро год с того мартовского дня, как правительство Советской республики переехало в Москву. Пульс революции бился уже не в Петрограде, а в древней российской столице. Ленин и Свердлов увезли с собой почти всех своих соратников, с которыми провели здесь огненные Октябрьские дни 1917 года. Петроград, казалось, опустел, сжался от холода и голода, заледенел, оцепенел. Теперь из него только брали и брали. Брали красноармейцев, брали коммунистов; в новые и новые отряды Красной Армии уходили рабочие; кочегарки многих заводов угасли, а с них все еще не переставали требовать оружие, подчищали на складах остатки снарядов, пороха, патронов. Все в Питере было теперь не самым главным, все стало в нем как бы второстепенным.

Благовидов тщательно, но едва ли замечая это, водил промасленной тряпкой по отливающей синим вороненой стали офицерского самовзвода.

Он выкрутил этот револьвер из цепких пальцев осатанелого поручика в тот самый день, когда под истошный визг ударниц батальона Бочкаревой схватился с ним в дальних коридорах Зимнего дворца. Офицер стрелял в упор, но руки его так тряслись, что пули только изодрали Благовидову шинель на плече и под мышкой, вывернув наружу подложенную под сукно вату и конский волос.

Новому хозяину наган второй год служил верой и правдой. В последний раз Благовидов стрелял из него не далее как вчерашним вечером, когда отправился навестить брата на Прядильную улицу... Трамваем удалось доехать лишь до скрещения Невского с Литейным, трамвай там застрял: где-то что-то оборвалось и не было току. Долго шел потом по утонувшей в снегах набережной Фонтанки, поскальзывался, спотыкался, а едва свернул в Прядильный переулок, началась, перекрестно, из подворотен, гулкая, раскатистая пальба. Пули стучали в промерзшую штукатурку домов, от их тупых ударов брызгами летели известковые крошки. Ничего не оставалось, как отпрыгнуть обратно за угол, пострелять впустую на звуки револьверов и возвращаться восвояси. Можно было бы вызвать наряд из городской комендатуры или из ближайших районных — Адмиралтейской, Спасской, Нарвской, а то даже и из «чрезвычайки». Но, пока доберешься до телефона, пока кто-то выедет, пока доедут, разве эти, стрелявшие, станут сидеть и ждать в подворотнях!

— Товарищ Благовидов! Нашел искомую! Вот она!

Топая разношенными рыжими сапогами, не вошел — влетел Алексей Лабзаев с большим, увязанным в газеты свертком и плюхнул его на стол.

— Фу! — Он утирал вспотевший лоб. — Бегом бежал от Таврического. В ихней библиотеке была. Еще и не давали с собой. Расписку написал.

По метрикам, в которые однажды заглянул Благовидов, Лабзаеву было почти двадцать, но видом своим он едва ли дотягивал до семнадцати. Был этот парняга незаменимым помощником, живым, сообразительным, грамотным. Он рассказывал, что уже заканчивал учение в земской учительской школе на Петровском острове

в городке Сан-Галли, когда началась Февральская революция. Не устоял будущий учитель перед возможностью принять участие в ломке самодержавия в России и вместо школьных занятий пустился по кипевшему народом городу; толокся возле пылающего здания окружного суда, с толпой забежал в тюрьму за Финляндским вокзалом, когда оттуда выпускали заключенных; путаные дороги тех дней занесли его даже в типографию, где большевики печатали свою газету,— держал там корректуру набора; а в конце концов оказался вот в Смольном, под началом Павла Благовидова. Косился на него в первое время, не мог забыть, что Благовидов — бывший офицер, но мало-помалу привык и освоился: разные же бывают и офицеры.

Поглядывая на своего помощника, Благовидов освободил сверток от газет, и глазам его открылась красиво изданная — золотое тиснение по зеленому полю — толстенная книжища. Вдоль ее корешка он прочел: «Весь Петроград на 1917 год».

— Весь, значит? — Благовидов распахнул книгу на середине, где после адресов бесчисленных петроградских учреждений и заведений начинались колонки с адресами жителей бывшей российской столицы. — Посмотрим. Ну, где тут, предположим, буква «Л»? Так, так, так... — Одну за другой листал он страницы. — Вот она! Ла... Лаб... Лабза, Николай Исидорович, живет по Курляндской, шесть, служит в Петроградской портовой таможне. Есть и Лабзина, Анна Анисимовна. А может, Анастасия? Помечено «Ан». Жена потомственного дворянина. А вот и сам потомственный дворянин — Лабзин, Алдр. Никл. И всякие другие Лабзины. А Лабзаева Алексея, гляди-ка, нет и нет. И Лабзаева Антона Сергеевича, отца твоего, тоже нет.

— А вы, товарищ Благовидов, есть? Давайте посмотрим.

— Благовидов? Что же, посмотрим. Так. — Блав... Благ... Благин, подполковник. Благирев, председатель какого-то правления. Товарищество «Благо». Благова. Еще раз Благова... А вот и Благовидова! Вера Дмитриевна. А еще и Юлия Георгиевна. А дальше уже видим Благовидовых по мужской линии. И конец. Не нашлось нам с тобой места во «Всем Петрограде», Алексей Антоныч.

— Но вы же офицер, товарищ Благовидов. Вон какой-то подполковник... Он же есть.

— То подполковник! А я из училища вышел прапорщиком, друг мой, самым что ни на есть нижайшим офицерским чином. И не то меня удивляет, что в этой толстой книге нет меня, прапора. Удивительно, что не оказалось в ней моего родного брата. Инженер же, не кто-нибудь. Окончил путейский институт, сколько мостов уже соорудил, человек заметный. А вот и его, видишь ли, нету.

— Кто же тогда тут есть-то?

— Они. Хозяева. Бывшие, конечно. Ну вот что, иди-ка разузнай, не прибыл ли товарищ Раков. Он где-нибудь на первом этаже. Поищи как следует. Очень мне нужен. Его зовут Александром Семеновичем. Иди!

Благовидов собрал наган, пощелкал впустую курком и, заполнив патронами барабан, втиснул в кобуру. Затем вновь принялся листать принесенную Лабзаевым книжищу.

— Так. Где же они, эти Врангели?

На столе еще с утра перед ним лежала белогвардейская газетка, доставленная из Москвы; в Москву же она пришла с Дона, оттуда, где вновь разворачивает свои действия так называемая Добровольческая армия. В одной из статей газеты красным карандашом подчеркнуто: «Врангель, Петр Николаевич». Из текста статьи следует, что главнокомандующий южными вооруженными силами белых генерал Деникин на станции Минеральные Воды встретился с носящим эту фамилию другим генералом и принял важное решение. Благовидов уже успел навести справки о П. Н. Врангеле. В архивных бумагах значилось: старинного немецкого рода, барон, гвардеец, окончил Горный институт и Академию генерального штаба, под конец войны командовал корпусом гвардейской кавалерии; чекисты еще дополнили, что после Октября он бежал в Крым, там добряки из местного Совета его пожалели и отпустили, он перебрался на Дон; а газета приводит и последние сведения: стоит ныне во главе так называемой Кавказской армии белых.

Те, кто ведает военной разведкой, просят петроградцев выяснить все, что можно, о Врангеле и о его родственниках, если таковые еще остались.

— Ага! Вот, значит, они где! Порядочно их. Штук тридцать, пожалуй. — Благовидов добрался до нужной страницы.

В конце колонки, отведенной Врангелям, он нашел: «бар. Пет. Никл., плк. Миллионная, 26». На всякий слу-

чай выписал адрес и Николая Егоровича Врангеля с женой Марией Дмитриевной, по Бассейной, 27, рассудив, что, возможно, это родители деникинского генерала.

Сопровождаемый Алексеем Лабзаевым, в комнату, мягко ступая, вошел неторопливый человек в кожаной куртке и в папахе коричневого барашка. Глаза его смотрели с легкой грустинкой. Большим пальцем левой руки он огладил коротко подстриженные усы, правую подал Благовидову:

— Здравствуй, Павел Андреевич!

— Здравствуй, Александр Семенович!

Оба они знали друг друга с минувшей осени, когда занимались преобразованием красногвардейских отрядов в части регулярной Красной Армии. Теперь Раков был военным комиссаром Спасского района, и время от времени ему по-прежнему приходилось встречаться с Благовидовым, который осуществлял оперативную связь Петроградского комитета РКП(б) с военными организациями.

Обратясь к одной из своих папок, Благовидов мог бы извлечь два листка бумаги, на которых собственноручно была рассказана краткая автобиография этого убежденного большевика. Но и без бумажных биографий в армии знали и ценили Александра Ракова. В февральские дни, когда в 42-м армейском корпусе, где он служил, решали, кого избрать председателем солдатского комитета, а вместе с тем и депутатом в Петроградский Совет от гарнизона Выборгской крепости, на шумном, но дружном митинге сотни ртов выкрикнули его фамилию.

— Садись, Александр Семенович! — Благовидов указал на венский стул возле стола, сам сел тоже. — А ты, товарищ Лабзаев, можешь пойти и поделать что-нибудь на свое усмотрение.

Проводив помощника взглядом, Благовидов достал из кармана кисет, клок газеты, оба они с военкомом принялись свертывать самокрутки, слюнявить бумагу, склеивать, заполнять махоркой, и, когда дружно выпустили по облаку дыма, в комнате, и так-то завечеревшей ранними зимними сумерками, стало почти ничего не видно. Благовидов включил настольную лампу под абажуром из свернутой газеты.

— Новая работа есть, Александр Семенович, — сказал он.

Раков уже успел заглянуть в белогвардейскую газетку, увидеть отчеркнутое красным.

— На юг, что ли, ехать? — спросил он.

— А чего тебе на юге! У нас у самих дел до макушки. В Гельсингфорсе, имеем такие сообщения, сидит удравший из Петрограда генерал Юденич. Может, помнишь, Кавказским фронтом командовал? Белогвардейщина, которой полным-полно в Финляндии, поднимает вокруг него шум. Не хотят ли из этого кавказца сделать северного Колчака или Деникина? А что? Соберет офицерские отряды, рассеянные по Эстонии... Их там немало... Для стычек с нами эстонцы все время вперед себя выпихивают русских... Соберет, говорю, да и...

— Момент подходящий. — Раков качнул головой в папахе. — И весьма-таки подходящий. Там вот Деникин. — Он махнул рукой за окно. — В Сибири, — рука его указала на печку в углу комнаты, — начал наступление Колчак. Финны тоже, видимо, не останутся в стороне. А главное, у нас-то тут, в Питере, силенок почти нет.

— Об этом и разговор, Александр Семенович. Перед лицом угрозы Питеру хотим сколотить несколько новых частей. Но, к сожалению, это лишь слова, что новые. В общем-то шерстим, наизнанку вывертываем, сам знаешь, старые. Возьми, скажем, третий Петроградский полк... Полк внутренней охраны Петрограда. Это же бывшие гвардейцы, семеновцы. А мы намерены передать их военному ведомству и влить в создаваемую бригаду Особого назначения. Уже на днях будет такая бригада. А Александру Семеновичу Ракову придется стать ее комиссаром.— По глазам Благовидова пролетела легкая добрая улыбка.— Что я и уполномочен тебе передать.

— Что ж, ладно. — Раков встал, полистал стоя справочник «Весь Петроград», пытаясь, видимо, тоже найти в нем свою фамилию. Не нашел. Снова подсел к столу. — Ладно, — повторил. — Бригада так бригада. Но разумно ли бывших этих лейб-гвардейцев включать в боевую да еще и, как ты говоришь, особую часть? Все же в России знают историю семеновцев. Палачи Декабрьского восстания в Москве, псы самодержавия. Ты скажешь, сегодня от тех остались ножки да рожки. Но все-таки, заметь, рожки!

— Офицерский состав имеешь в виду?

— И не только офицерский. Там и рядовые — народ отборный. Весь прошлый год туда кто-то подсовывал студентов из Горного и Путейского, детей кулаков и лавочников. В Петрограде, так сказать, под неусыпным нашим присмотром они баловаться не будут. Охраняют отведенные им объекты, исправно получают харч, все вроде бы честь по чести. А разве мы знаем, как поведут себя эти орлы, окажись они в бою, в соприкосновении с белыми?

Помолчали, скрутили еще по цигарке.

— И все-таки, — сказал Благовидов, — с этими орлами надо работать. Придешь в бригаду комиссаром, положение изменишь. Ты человек такой, не успокоишься. Тем более что к семеновцам этим бывшим мы посылаем крепких большевиков. Командиром полка идет Таврин, комиссаром — Купше. Знаешь их? Ну вот. А людей на должности батальонных комиссаров подбери сам. Вместе-то, может быть, вы разбудите в полку тот боевой дух, которого даже сам Александр Первый, шеф одной из рот, перепугался девяносто девять лет назад.

Раков кивнул, поправил папаху, молча подал руку и молча вышел.

Покрутив ручку телефонного аппарата, Благовидов попросил дать комендатуру. Лабзаев оказался там.

— Алексей? Прихвати, братец, свой карабин, да пройдемся кое-куда по городу. Жди у подъезда.

Из своей комнаты в левом крыле здания Смольного, противоположном тому, где еще года нет, как жил и работал товарищ Ленин, Благовидов прошагал длинным коридором до парадной лестницы. В здании по сравнению с прошлым было менее людно, не столько толкучки, не столько шума. Невольно вспоминались дни, когда по коридорам здесь шли и шли, заглядывая, заходя в комнаты направо и налево, сотни, тысячи солдат, рабочих, крестьян; когда в водовороте революции рождалась новая власть и возникали неслыханные прежде органы управления страной, от революционных взрывов сошедшей с привычных рельсов государственности; когда образовывались комиссии, ставшие затем народными комиссариатами; когда в каких-нибудь несколько минут люди от своего фабричного станка могли вознестись на такие государственные высоты, по старым меркам которые были равны по меньшей мере министерским. Тогда и сам он, скороспелый прапорщик шестнадцатого года, был вызван сюда, в это

строгое здание, и поступил в распоряжение первого его коменданта Феликса Дзержинского, заняв одновременно несколько постов: и в Военно-революционном комитете, и в Петроградском комитете большевиков, и в комиссиях по борьбе с налетчиками, хулиганами, контрреволюционерами.

Спускаясь по лестнице, Благовидов встретился с невысоким быстрым человеком; над бледным лицом его шапкой стояли пышные волосы; суконную фуражку защитного цвета он держал в руке.

— Привет товарищу Благовидову! — Во многих комнатах Смольного по стенам были развешаны категорические предупреждения «Рукопожатия отменяются», но этот человек всем подавал руку.

— Здравствуйте, товарищ Зиновьев! — Благовидов ответил на рукопожатие.

— Что нового под Петроградом? Что финны? Что белогвардейцы в Эстонии? — Зиновьев говорил высоким звенящим голосом, отрывисто, как стрелял, и так громко, точно на митинге.

— Новое, товарищ Зиновьев, — это возня вокруг генерала Юденича в Гельсингфорсе.

— Кто? Юденич? Ерунда, товарищ Благовидов! Если из него хотят сделать северо-западного Колчака или второго Деникина — пустой номер. Он не политик. Россия его помнит. Он мог душить и вешать безоружных армян в горах и мирных батумцев, выдавая их в своих реляциях за турок, но с питерцами ему не тягаться. Будь здоров, товарищ Благовидов! — Зиновьев быстро, крепко ступая, зашагал вверх по лестнице. Как тени, двигались за ним, на полтора шага отступив, два его неизменных охранника с маузерами на ремнях.

Благовидов двойственно относился к Зиновьеву. С одной стороны, он его глубоко уважал, хотя бы за то, что именно Зиновьев, а не кто другой провел с Ильичем столько дней в Разливе. Ну мог ли оказаться тогда рядом с Ильичем человек недостойный и случайный, какая-нибудь серая посредственность? Благовидову нравилось, как Зиновьев выступал перед красноармейцами, перед рабочими. Он говорил горячо, захватывающе, люди слушали и зажигались его словами. Но у Зиновьева было и нечто такое, что царапало душу Благовидову. Не мог он принять ни сердцем, ни головой, как такой видный, серьезный человек дошел до того, чтобы печатно оправдываться перед

Временным правительством за события третьего — пятого июля. Ленин тоже отвечал своим преследователям летом семнадцатого. Но как Ильич отвечал? Он был не обвиняемым, а обвинителем, с полным сознанием своей правоты громил противников, всю эту кадетско-эсеровскую свору. Зиновьев же странно и мелко крутился, оборонялся, почти выпрашивал прощения. Никому из товарищей Благовидова тогдашняя статья Зиновьева в газете «Рабочий и солдат» не понравилась. О ней много было толков и пересудов, и хотя на собраниях в воинских частях, на фабриках, на заводах дружно выносились резолюции протеста против преследования вместе с Ильичем и его, Зиновьева, люди-то отделяли их, нет, не смешивали одного с другим. В человеческой жизни, считал Благовидов, бывают минуты, когда даже прирожденный трус не имеет права трусить, когда и он должен, обязан преодолеть себя. Товарищ Зиновьев, понятно, не трус, своей деятельностью в партии он доказал это. Тогда в чем же дело, в чем?.. А потом — и новая статья, которой Каменев и он фактически выдали врагам тайну предстоявшего Октябрьского восстания... Почему? Зачем? Что их толкнуло на это?

Ильич сказал тогда сурово и коротко: предательство! Да, предательство по всей своей сущности. И если оно как бы прощено, то простить — это еще не значит забыть. Память не дает покоя, вызывает на раздумья, на сомнения, на новые и новые вопросы.

Застегивая ржавые крючки шинели, Благовидов вышел через главный подъезд, задержался на каменных ступенях среди колонн, где в недавние дни стояли пулеметы и трехдюймовки, готовые к бою, устремившие дула в сторону площади, озаренной огнями костров. Сейчас на этих ступенях его ожидал Алешка Лабзаев со своей укороченной драгункой на ремне за плечом.

— Как решим? Пешочком пройдемся или на моторе? — задал ему вопрос Благовидов.

— На моторе бы лучше. — Лабзаев поплясывал в рыжих, изношенных сапогах. Ноги у него зябли.

Улицы, по которым, трудно переваливая через сугробы, покатился автомобиль, походили на черные ущелья среди угрюмых гор. Дома стояли темные. Редко где, то в нижнем окне, то в верхнем, далеко разбросанные один от другого по этажам, светились слабые светы, зыбкие, как болотные огни.

Но это еще не означало, что дома пустуют. Благовидов с Лабзаевым не раз бывали на обысках, на реквизициях, присутствовали при арестах в квартирах, которые с виду казались такими вот мертвыми, на самом же деле в глубинах своих жили бурной, затейливой жизнью. Это верно — народу в Петрограде поубавилось, сильно поубавилось. Одни — буржуи, прежняя знать царского режима — поудирали, кто в Финляндию и дальше по заграницам, кто в Киев, в Крым, на Дон; другие — рабочие, солдаты, кое-кто из служивой интеллигенции — отправились на фронты, со всех сторон стиснувшие Советскую республику. Но сколько бы ни уезжало народу, а в бывшей российской столице все еще оставалось более миллиона жителей. Из них, как числят в Петроградском Совете, триста с лишним тысяч рабочих, несколько десятков тысяч красноармейцев, несколько десятков тысяч чиновников, которые, покончив с открытым саботажем, ни шатко ни валко служат новой власти. Ну а остальные-то кто? Кем заняты дворцы и особняки на Миллионной, на Сергиевской, Моховой, на Английской и Дворцовой набережных? Кто проживает в домах по Офицерской, на Вознесенском, на Садовой, на Невском, наконец? Много семей переселилось сюда с городских окраин; в сотни буржуйских, генеральских, княжеских квартир въехали новые жильцы из подвалов и с чердаков. Но все ли такие квартиры очищены от прежних хозяев? И разве до всех улиц, до всех переулков и закоулков огромного города, одного из крупнейших в мире, дойдешь, доберешься за какой-нибудь год Советской власти? И князья еще здравствуют в Питере, и бывшие финансовые, банковские воротилы чем-то в нем заняты, и офицерье ходит несчитанными табунами, и торговцев толпы, лавочников, спекулянтов. В посольских особняках, всем известно, целые общежития оборудованы для спешно принятых в английское, французское, турецкое подданство. До крайности щедрыми на выдачу своих паспортов оказались дипломаты Швейцарии.

Темный зимний город был и дружествен Благовидову с его молодым спутником: они же его завоевывали, они устанавливали в нем свою, народную власть; но был он и остро враждебен обоим: в нем все еще таились не пойманные с поличным, необезвреженные силы внутренней контрреволюции, которая, хватаясь за все, что возможно, поспешно искала путей для объединения с контрреволюцией, действовавшей извне.

На Миллионную Благовидов решил заехать лишь для порядка; конечно же, генерала Врангеля там давно нет, поскольку означенное лицо командует одной из армий у Деникина. Дом № 26, как они с Лабзаевым установили в домовом комитете, дежурные члены которого, как и повсюду в городе, бодрствовали у запертых на цепь ворот, еще недавно принадлежал князю Абамелек-Лазареву. Квартира, занимаемая до революции семьей барона Врангеля, пустовала. «После большевистского переворота, — охотно объясняли домкомовцы, — он уже и не появлялся. А жена его, молодая-то баронесса, та по мужнему, должно быть, извещению укатила в Крым, пока еще поезда ходили».

На Бассейной, 27, в большом богатом доме братьев Черепенниковых, оказалось то же самое. Шестикомнатная квартира родителей генерала, по которой хоть на роликах катайся, стояла пустая, ободранная, нежилая. «Муж ихний, Николай Егорович, старый-то барон, он еще в начале восемнадцатого выбыл не то в Финляндию, не то в Ревель. Перед отъездом обое они с Марьей Дмитриевной все свое добро расторговывали, что на базаре. Двери раскрыты, подходи, налетай! — Так среди пустых комнат подробно и обстоятельно рассказывала Благовидову жена бывшего старшего дворника черепенниковского дома. — А Марья Дмитриевна пожила-пожила после его отъезда да и тихонько, легонько, бочком-бочком, никто этого и не приметил, куда-то подевалась. Мо-быть, вслед за ним? А то и к старшему сыну на фронт?»

При свете фонаря «летучая мышь» — жена дворника старалась поднять его как можно выше — Благовидов с Лабзаевым осматривали избитые топорами паркетные полы, двери с вывинченными ручками, ободранные стены, на которых, как специально вычерченные, четко выступали прямоугольники и овалы, более темные, чем остальной фон дорогих обоев. Их было множество, разных размеров. «Во-во! — догадалась пояснить женщина. — Тут они, картинки ихние, и висели. Все распродали забеглым людям. По рукам такое добро пошло».

— Что ж, Алексей, — решил Благовидов, когда они вышли на улицу к автомобилю, — ты пешочком отправляйся домой, а я совершу еще одну попытку навестить брата. Кто спрашивать станет, скажи: на Прядильной улице. Адрес у меня на столе записан, возле аппарата. Ну, шагай!

2

В тот самый февральский день, лишь несколькими часами раньше, чтобы успеть до ночных патрулей, бывшая баронесса Мария Дмитриевна Врангель в третий раз на протяжении года меняла жилище. Два переодетых мастеровыми офицера несли ее саквояжи и баулы, а еще один поддерживал Марию Дмитриевну под руку. Укутанная в старый клетчатый плед, в резиновых ботах товарищества «Треугольник», она ничем не отличалась от бабок-салопниц, тысячами наезжавших, бывало, в стольный Питер из глухих провинций. Спутники ее, в их бобриковых куртках, в засаленных полушубках, в зимних шапках с ушами, были вполне ей под стать. Таких компаний бродило по городу — не сочтешь.

Говорливая жена дворника верно сказала Благовидову, что старая баронесса недолго прожила в своей квартире после отъезда барона. Барон, ее муж, отец генерала, был человеком, неплохо изведавшим жизнь, расчетливым, коммерческим. Уже в январе 1918 года, через каких-нибудь полтора месяца после того, как произошел переворот, он сообразил, что власть большевиков совсем не кратковременный эпизод, как утверждали некоторые оптимисты, что на возврат былого рассчитывать быстро нельзя: по ухваткам новых хозяев России видно, какие невероятные неожиданности возможны в будущем, — и, не мешкая, занялся тем, чтобы все свое имущество — и об этом жена дворника сказала правду — превратить в деньги. Какие-то комиссионеры приводили каких-то людей, среди них мелькали дельцы из иностранных миссий; все вместе они уносили и увозили картины, которые и у себя, в России, и по странам Европы десятилетиями собирала Мария Дмитриевна, стаскивали по лестнице к ожидавшим под окнами на улице подводам павловскую, александровскую мебель, свернутые в трубы восточные ковры, большим знатоком и ценителем которых считал себя Николай Егорович, укладывали в ящики со стружками старинный столовый фарфор, темное, тяжелое серебро.

Барон не учел одного: не надо бы вырученные так деньги помещать в банк; но он слишком привык к этому за свою деловую жизнь — поместил. Поразительно! Человек одновременно состоял и председателем правле-

ний Амгуньского и Российского золотопромышленных обществ, и членом правления акционерного общества русских электротехнических заводов, главное же — и это было его основной должностью — председательствовал в товариществе спиртоочистительных заводов. И вот такой-то деловой человек — Мария Дмитриевна не могла примириться с его опрометчивостью — не сообразил, что большевики, последовательно разрушавшие все прежние основы России, конечно же доберутся и до банковских вкладов. И добрались. Они не только запретили переводить капиталы за границу, но перестали даже выдавать по текущим счетам. «Теперь все, — сказал Николай Егорович, — надо принимать решительные меры». Пока еще было возможно, он перевел спиртоводочное товарищество в Ревель, следом выехал и сам. «Вернусь, — было сказано Марии Дмитриевне. — Надо лишь сначала осмотреться». Мария Дмитриевна осталась в Петрограде, чтобы на случай возвращения Николая Егоровича у них по-прежнему был свой уютный уголок в столице. Сын Петр звал ее в Крым, где после бегства из корпуса от большевиков обосновался с женой. Но Крым, думалось Марии Дмитриевне, никуда от нее не уйдет. Крым — это на самый крайний случай.

На прежней, на их старой, давней квартире оставаться было нельзя: пусто, страшно в разоренных бесцеремонными покупщиками комнатах и к тому же неведомо, что еще напридумывают большевики: скольких они поарестовали, скольких куда-то выслали. Не дай бог...

Дворникова жена, из холуйской услужливости храня тайну своей барыни, одного не сказала Благовидову. Не сказала она, что собственные же ее, дворничихины, сыновья, парни-подростки как раз и помогли барыне осуществить первый переезд на другую квартиру. Без шума, без какого-либо афиширования, одним хмурым, пасмурным питерским вечером они на тележке все, что осталось у баронессы от ее былых богатств, перевезли на квартиру старой приятельницы Марии Дмитриевны, в район Рождественских улиц. Квартира была солнечная, веселая. Может быть, непривычно тесноватая. Но двоим-то им к чему хоромы? Приятельница разводила цветы, от цветов в трех комнатках было зелено и свежо. Устраиваясь в одной из них, Мария Дмитриевна разве-

сила по стенам фотографические портреты Николая Егоровича, покойного сына Коли и здравствующего сына Пети, которого фотографы запечатлели в эффектных мундирах конного гвардейца.

Жизнь пошла своим чередом. Но кое-что с этих дней все-таки изменилось. Умные люди присоветовали Марии Дмитриевне позамести следы. Не надо, чтобы кто-то знал о Николае Егоровиче, застрявшем в Ревеле, о ее военном сыне, обитавшем в Крыму. Подправили слегка в бумагах, и Мария Дмитриевна хотя и осталась Марией Дмитриевной и даже по фамилии Врангель, но уже перестала быть баронессой, а главное, вновь превратилась в девицу. «Девица Врангель». Несколько престарелая, на седьмом десятке, но девица. В таком ее состоянии, поскольку большевики позаимствовали из Евангелия заповедь «кто не работает, тот не ест», дабы получать карточки на продовольствие и «дензнаки», добрые знакомые люди устроили Марию Дмитриевну на советскую службу в музей Александра III. Почти все в этом прибежище были свои, рука большевиков ощущалась тут, но их терминологии, лишь в общем и целом, а дело делали или, скорее, ничего не делали люди старого, привычного Марии Дмитриевне мира. Мария Дмитриевна, девица Врангель, была не чужда искусствам и даже сама в былые годы грешила живописью; а главное — младший-то ее сын, Николаша, без времени ушедший из жизни на второй год войны, был немалой величиной в мире искусств. Он и журнал «Аполлон» редактировал, и в обществе охраны памятников старины секретарем состоял, и тут, в музее Александра III, составлением каталога занимался; приятели определили ее по всему по этому на должность научного сотрудника музея с соответствующим пайком и окладом жалованья.

Жить бы да не тужить, дожидаться возвращения Николая Егоровича. Но Николай Егорович не приехал: закрыли границы. Закрылся и проезд в Крым, время ушло. Что ни новый день, то жизнь становилась труднее, ужаснее, беспросветней. Еще более страшное началось летом, после того как социалисты-революционеры затеяли свои бессмысленные покушения на большевистских руководителей. Прежде они стреляли в великого князя Сергея Александровича, в разных градоначальников, в губернаторов и генералов. Теперь же эти странные революционеры поубивали в Петрограде красных вождей Володар-

ского и Урицкого, ранили в Москве Ленина. Из-за их покушений пошли обыски, аресты.

Офицер, который поддерживал Марию Дмитриевну, как бы подслушал ее думы о недавних днях.

— Удивляюсь, баронесса, — сказал он, — как только вам удалось избежать большевистских застенков. Многие из ваших знакомых, как известно, попали в тюрьму, не правда ли?

— О да, да, голубчик, да! И старуха Родзянко, и семья Звягинцевых, и обе Хрулевы, наши племянницы... А баронесса Варвара Ивановна Икскуль!.. Боже, боже, я не смогу перечислить имена всех страдалиц и страдальцев. Но только тише, тише, голубчик! Сзади кто-то идет.

Баронесса была стойко напугана пережитым. Недолго она зажилась в уютной квартирке своей приятельницы. И туда большевики нашли дорогу. Хорошо еще, что за несколько дней до обыска появившийся в их квартире председатель домового комитета посоветовал как можно дальше и надежнее припрятать фотографии баронов и генералов со стен. Обыскивальщики все перерыли, все перетрясли. Они ужасно стучали в пол прикладами винтовок, дымили махоркой, плевали на паркет и смотрели так, что вот-вот сейчас тебе придет конец, возьмут и зарежут.

«Девица? — сказал один из них, такой весь в коже, склизкий, как змей, с подозрением рассматривая ее бумаги.— Мамаша Иисуса Христа тоже по паспорту-то девицей значилась. А на проверку что получилось?»

И он сам и его приятели так зверски захохотали, что из головы Марии Дмитриевны с того дня не выходила беспокойная мысль о возможной «проверке». Жить в квартире приятельницы она уже не могла, все ждала нового стука прикладов и, когда где-либо пахло махоркой, невольно с испугом озиралась вокруг.

Мария Дмитриевна перебралась к старушке — служительнице музея, в темную, тесную комнату. В таком дешевом плебейском доме она уже побоялась носить фамилию Врангель, пусть даже девицы, а не баронессы, и при записи в домовую книгу назвалась художницей, вдовой Веронелли, вспомнив фамилию одной знакомой итальянки. Хозяйка Марии Дмитриевны, мучившаяся от голода, вскоре отправилась в деревню, где посытнее, по-

хлебнее, да так там и осталась. Мария Дмитриевна, никогда прежде не ведавшая домашней работы, оказалась в полной беспомощности. Надо было стоять в бесконечных, огибавших целые кварталы хвостах за хлебом, который шуршал во рту и острыми остьями — их, подмигивая друг другу, называли «троцками» — ранил нёбо, кровянил десны, проталкиваться за подванивающей селедкой, за промерзшей картошкой. Чуть свет в окне, уже беги с чайником в чайную за кипятком: дома воду — без дров для плиты, без углей для самовара, без керосину для керосинки — вскипятить было невозможно. А еще по распоряжению домового комитета не только днем, но и по вечерам и ночью приходилось отстаивать дежурство у ворот.

Мария Дмитриевна отчаивалась и думала уже, что дни ее сочтены, что умрет она, как недавно умер тоже служивший в музее барон Притвиц, и похоронят ее в общей казенной могиле. Но вот пришли эти милые офицеры и принесли весть о том, что старший сын ее, Петр Николаевич, жив и здоров. А они все трое во время войны служили под его началом, хорошо Петра Николаевича знают, любят его и готовы и за него и за его родных хоть в огонь, хоть в воду. «Не волнуйтесь, Мария Дмитриевна, матушка-Россия еще не оскудела верными сынами, — говорил тот, который поддерживал ее под руку. — Силы у нас есть, все будет хорошо, люди не сидят без дела». Еще он говорил, что переселить ее на другую квартиру решено из-за появившихся в газетах известий о Петре Николаевиче. Она будет жить теперь в более надежном месте. Таково указание какой-то, Мария Дмитриевна не совсем вникла какой, очень тайной противобольшевистской организации.

Она шла, плохо понимая слова своего спутника: тот шепелявил из-за рассеченной губы; шла, не узнавая улиц, не видя надписей в сумерках.

Каково же было удивление Марии Дмитриевны, когда в большой, не утратившей прежнего блеска квартире, куда после долгой и запутанной дороги ее привели любезные офицеры, она встретила Викторию Федоровну, еще одну потерянную знакомую, о которой уже несколько месяцев не имела известий.

— Милочка! — воскликнули обе враз, обнявшись и плача друг у друга на плечах.— Как ты похудела, осунулась!

— Я,— сказала Виктория Федоровна,— потеряла больше пуда в весе.

— А я, — ответила ей Мария Дмитриевна, — целых два!

Это был удивительный, невозможный, сказочный вечер в полном воздуха, просторном, чистом, светлом, подлинно человеческом жилище. В доме была даже прислуга — о боже, боже! Вздумаешь попросить стакан воды — принесут. Чашку чаю — через минуту готово, вот вам чай. В такую возможность просто не верилось. Это было как бы из давних-давних сказок с коврами-самолетами и скатертями-самобранками.

При свете двух больших керосиновых ламп прислуга накрыла стол. Появилось вино, в хрустальной вазочке Мария Дмитриевна увидела икру, настоящую зернистую астраханскую икру.

Офицеры о чем-то болтали, кланяясь Марии Дмитриевне, они пили за здоровье Петра Николаевича, затем за здоровье какого-то Николая Николаевича, поминали Лавра Георгиевича и даже покойного государя императора. Они шумели, а Марии Дмитриевне очень хотелось спать. И когда наконец она легла в мягкую, удобную постель, разостланную для нее прислугой, к ней на край подсела ее приятельница.

— Все идет прекрасно, дорогая, прекрасно.

— Чья это квартира? — спросила Мария Дмитриевна.

— О, она была когда-то одной из лучших квартир в Петербурге! Хозяева ее уехали за границу еще год назад. Он был крупным промышленником. Масса заводов. Имение в Крыму. Особняк в Кисловодске. Сейчас здесь другие хозяева. — Виктория Федоровна понизила голос.— Наша партия. Партия кадетов. Вы с Николаем Егоровичем всегда стояли далеко от политической жизни, а я, вы же знаете, милочка, была большой, страстной общественной деятельницей. Я состою в комитете нашей партии.— Она перешла совсем на шепот.— Больше того, я председательница районного комитета... Сейчас мы объединяем силы... Вы, кажется, уже уснули, нет?.. Мы, говорю, объединяем силы, к нам потянулись офицеры, люди других партий. У них, правда, как вы только что слышали, и другие идеалы. Но до распрей ли сейчас? Вместе-то мы армия. О, что еще будет! Ну, спите, спите, пожалуйста. Хороших вам снов, милочка.

3

На дверях квартиры, которую занимал брат Павла Благовидова, на одной из солидных дубовых створ светилась медная дощечка: «Илья Андреевич Благовидов. Инженер». Надо было ухватить медный шарик звонка, утопленный в такую же медную чашу в стене рядом с дверью, и, чтобы в квартире знали, кто пришел — свой или чужой, — сильно дернуть три раза подряд.

— Кто там? — услышал Благовидов грудной, приятный голос жены брата Ирины. — Илюша?

— Нет, Иринушка, не Илюша, а Павлуша. Отвинчивай болты.

Минуту спустя они привычно чмокнули друг друга в щеки, Ирина принялась защелкивать дверь на два замка и на три задвижки; особенно трудно было справиться с той, которая состояла из широкой и толстой полосы железа: ее полагалось закладывать поперек обеих дверных створок в такие же массивные, прочные скобы.

Не дожидаясь завершения непростой Ирининой работы, Благовидов сбросил в прихожей шапку и шинель и отправился в гостиную с мягкой мебелью, обитой голубым штофом, который слегка уже выцвел, отчего цвет его обрел нерукотворно-печальную, тихую нежность.

Когда уютное, податливое кресло приняло его в свои пуховые подушки, Благовидов стал скручивать самокрутку. Его не удивляли болты и задвижки на дверях квартиры брата; они не оказались данью времени, так было здесь и до революции, до войны. Боязнь взломов, налетов, нападений принесла с собой Ирина; она выросла в доме с замками и задвижками и не представляла, как можно жить без замков. Но по нынешним временам это могло оказаться, пожалуй, и не лишним.

— Дымишь? — Появившись в дверях, Ирина узкой ладошкой разгоняла перед собой махорочный дым. — Какая пакость! Хочешь сигару? — Тонким пальцем она нажала сбоку деревянной, из карельской березы шкатулочки, стоявшей рядом с пепельницей и спичечницей на узорчатом столике-маркетри. Крышка откинулась, и под негромкий перезвон скрытого механизма Благовидов мог выбирать уложенные в шкатулке рядами большие и малые сигары, папиросы, модные сигареты без мундштуков.

Он загасил самокрутку в пепельнице и раскурил светло-коричневую сигару, опоясанную карминно-красной наклейкой с надписью золотом: «Реджина».

— «Королева», значит? Не так?

— Так.

Выбрав себе длинную папиросу, Ирина закурила тоже. Красивая женщина с темно-серыми глазами в почти черных ресницах, отчего взгляд ее шел как бы из непроглядной глубины, плохо улавливался и вызывал беспокойство, была одних лет с Павлом Благовидовым.

— Может быть, чаю, Павлик, или кофе? — предложила она.

— Нет, пожалуй. Не надо. Я бы подождал Илью. Он где, кстати?

— Должен бы уже быть дома. Я думала, это он, когда ты позвонил... Петросоветчики увезли его на Николаевский мост. Там что-то не разводится. Или не сводится. Не знаю.

Благовидову очень хотелось спросить Ирину, откуда у них в доме сигары, сигареты, чай, кофе. Чистота — это понятно. Ирина сама не своя, если заметит пылинку на бархатной скатерти или мусоринку на полу. Целыми днями, даже когда в доме была прислуга, она ходила со щетками, с тряпками — убирала, смахивала, сдувала. Не изменила своим привычкам и сейчас. Сумела натереть паркет, довела его до веселого блеска мирных времен. Но вот откуда у них с Ильей такая роскошь, как сигары и кофе?

Ирина была купчиха, как меж собою ее называли покойные родители братьев Благовидовых. Иринин отец вел широкую торговлю: в Петрограде, в Москве, в других крупных городах России у него были универсальные магазины; торговал он и золотыми вещами, драгоценными камнями, стариной. Весь Петербург посещал его ювелирную лавку в Гостином дворе, напротив Пажеского корпуса. Как случилось, что такой богач одну из одиннадцати дочерей отдал замуж за сына пушечного мастера с Обуховского завода, — на этот вопрос ответить было нелегко. Может быть, как раз потому, и только потому, что была она одной из одиннадцати? Само угрожающее число невест побуждало миллионщика не слишком быть требовательным в выборе зятьев.

Илья, только-только окончивший путейский институт, куда его приняли по протекции управляющего заводом,

на котором работал отец, став полноправным инженером — строителем железнодорожных мостов, повстречался с дочерью богача на Невском в «день белого цветка». Юная, цветущая, с ее тревожащими серыми глазами в густых ресницах, она среди сотен других петербургских барынь и барышень бойко торговала цветами из древесной стружки. Деньги от продажи этих цветов предназначались в помощь неимущим людям, больным чахоткой. Илья покупал у красивой барышни цветок за цветком (эту историю потом часто и со смехом вспоминали в семье) и ходил за незнакомкой по всему городу до тех пор, пока она не улыбнулась ему и не позволила представиться ей по всей форме.

В семье — отец, мать, все близкие и дальние родственники — яростно взбушевали, когда Илья объявил, что намерен сделать предложение Ирине. «Торговку, мародерку — в дом? — кричал нервный, больной язвой желудка, желчный и сухонький отец. — Ни сна, ни покоя никому не будет! Да мы ее и прокормить-то не сможем! На шляпы да на кофты все твое жалованье уйдет. Еще и не хватит. Хозяйское воровать научишься».

Но чему быть, то будет, как ему ни сопротивляйся. Сыграли богатую свадьбу в ресторане «Вена». Глава благовидовской семьи напрасно опасался, что невестушка заявится в его дом. Богатый сват снял для молодых, уплатив за десять лет вперед, эту вот пятикомнатную квартиру в доме не слишком богатом, но и не дешевом, как раз подходящем для молодого, начинающего инженера, на втором этаже, с окнами и на улицу и во двор, с ходами и парадным и черным, обставил мебелью, пригласив для советов по этой части декоратора из Мариинского театра, положил в виде приданого за дочерью некоторую сумму в банк. Все было честь по чести. Год назад купец с купчихой, что пораздав бесплатно, что распродав, отбыли сначала в Харьков, затем в Ростов. В Петрограде уже было голодно, и они увезли с собой двух внучек: дочку одной из средних сестер Ирины и Иринину с Ильей пятилетнюю Лялечку, уже начинавшую было играть на фортепьяно и петь чудесным, подлинно ангельским голоском. Думалось, что расстались на каких-нибудь несколько месяцев, а вот уже год, как ни о родителях, ни о дочке никаких известий не было. Ирина не слишком нежная мать, но и она от такой полной неизвестности по временам впадает в тоску.

Ловко пуская дым голубыми колечками, красивая жена брата посматривала на Павла Благовидова. До чего же, думалось ей, братья эти похожи друг на друга внешне. Оба коренастые, широкие в плечах, светловолосые. В характере, правда, есть разница. До умопомрачения, до неприличия они одинаково честны и прямы. Но Павел нетороплив, сдержан, а Илья — тот душа нараспашку. Он на семь лет старше Павла, но этого не заметишь; скорее подумаешь, что как раз сдержанный Павел старше Ильи, который еще и сейчас, в свои тридцать четыре года, способен на мальчишеские выходки. В семье родителей Ирины поговаривали о братьях Благовидовых: простоваты, дескать, не породисты, дворняжки. Ирину остро мучила мысль о простоватости мужа. Она забывала, что, в сущности-то, и сама «дворняжка», только богатая, денежная, но по понятиям тех, у кого голубая кровь, все равно плебейка. Она изо всех сил тянулась, стремилась в общество благородных, родовитых, мечтала о нем. Но в какое же общество голубокровных могла она проникнуть? Только лишь в общество близких Илье инженеров. А там... Там тоже не слишком-то были родовитые. А уж кто и принадлежал к знаменитым в России фамилиям, держались такие от остальных особняком.

Сквозь папиросный слоистый дым Ирина в упор смотрела на Павла, на то, как задремывал он в мягком кресле. Может же ведь получиться, что именно он, этот брат ее мужа, одержимый, жестоко голодающий сегодня человек — вон как иссох, как обтянулась кожа на лице, какая желтизна под глазами, — именно он войдет в круг новой, советской, коммунистической знати. Как прежде министры или царедворцы, он, куда ему вздумается, катит на моторе, заседает в торжественных, золоченых, обставленных колоннами залах бывшего Государственного совета, Государственной думы; он может одних арестовать и казнить, других помиловать. Не зря, но зря отказался Павел от карьеры офицера и пошел в революцию, в «товарищи», в советчики. Может быть, он только с виду простой и неподкупный, а на самом деле мягче костью, изворотливее Ильи?..

Павел уже видел сны, когда, заставив его дернуться в кресле, у двери тройным звонком позвонил Илья. Ирина звякала, брякала запорами, ставя задвижки на

место, а братья уже крепко стиснули друг друга в прихожей.

— Костляв же ты стал, Павлуха! — Илья повернул брата перед собой.

— И ты не оплыл салом, — ответил Павел.

— Ужин будет, Иринушка? — крикнул Илья, уходя в ванную. Он там долго позванивал стерженьком умывальника, беря из него на руки по малой капле. Воды в доме не было с осени: лопнула магистральная труба, а чинить поломку некому. Ирина носит воду белым ведерком с Английского проспекта.

Павел заглянул к Илье. На месте водяной колонки в ванной комнате стояла большая круглая чугунная печь. В ней потрескивали горящие дрова. От нагретого металла ощутимо тянуло жаром. Вот, значит, почему нет ледяной стужи в комнатах большой квартиры! А он-то сидел в гостиной и удивлялся, что все еще не озяб. Печь топилась сухими еловыми поленьями; таких дров Благовидов в Петрограде уже не видывал давно: всюду одна осина, наскоро напиленная в окрестных болотистых лесах.

— Откуда дровишки-т?— спросил он Илью.

— Из Петрокоммуны, вестимо! — весело ответил тот. — Вы, товарищи большевики, своих буржуазных спецов не обижаете. Что уж жаловаться! Каковы, не расскажешь ли, новости? — Илья утирал руки о чистое льняное полотенце. — Пойдем к столу, чем-нибудь подзакусим.

В столовой, как в прежние времена, на белой скатерти был накрыт ужин. Дымился отварной картофель, из-под нарезанного кружочками лука выглядывали голова и хвост селедки, в селедкин рот была даже вставлена зеленая травка; из большой фарфоровой миски манящие пахло каким-то старым, давним, довоенным супом. Благовидов, перехватывавший в общественных столовках что и когда придется, даже и позабыл уже о подобных деликатесах, о том, что они есть, вернее, были некогда на свете. Вконец его поразила баночка шпрот.

— А вы не буржуи ли часом, братики мои? — сказал он, подсаживаясь к столу. — Что-то разбогатели, гляжу.

— Буржуи, буржуи, товарищ большевичок, — как-то язвительно откликнулась Ирина. — Пьем народную кро-

вушку. Тебе же известно мое социальное происхождение. Не пролетарка, нет.

— Слушай, буржуйка, а у нас выпивки не найдется? — весело, не замечая Ирининого тона, спросил Илья. — По-моему, в графине оставалось.

Ирина достала из буфета графинчик, в котором было налито до половины, и две рюмки.

— Знаешь, это водка. Обычная, нормальная водка. Не самогон. — Илья наполнил рюмки. — Удивляюсь, в Питере еще сохраняются старые запасы! Одни голодают, у других все есть. Это моя Иринушка выменяла на что-то у кого-то. Я простудился прошлой неделей, и до того мне захотелось прогреть свое костье... Ну, за твое здоровье, дорогой мой братишка! Месяца два мы с тобой не виделись. Больше? Ну пей, закусывай.

— Если я и выпью, — Павел Благовидов поднял свою рюмку, — то, как всегда, только за Ирину. Твое здоровье, Иринушка.

— Слушай, — сказал Илья, закусив селедкой с картошкой, — ты вот там в верхах, рядом с властью, сам власть...

— Какая же я власть! Я исполнитель ее воли.

— Не будем углубляться в теорию вопроса. Я вот о чем. Почему, если у нас, как вы говорите, рабоче-крестьянское единое государство... Есть оно у нас, такое государство?

— Неужели ты все еще сомневаешься?

— Хорошо. Если оно у нас есть, если оно единое, почему, спрашиваю я тебя, из Петрограда, из окружающих его губерний вы сделали этакое особливое государство в государстве? Соединенные Штаты России, что ли? Это же до крайности осложняет все дела управления и хозяйствования в республике.

— Что ты имеешь в виду, говоря «государство в государстве»?

— Что, что... Сам знаешь. Я беспартийный, я просто спец. Но мы, спецы, тоже ведь имеем и глаза и уши, мы и видим и слышим. Выехало правительство в Москву — какие органы власти сформировались в Петрограде? Это же удивительно! В тот самый день, одиннадцатого марта, в день отъезда правительства, то есть Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета, Совета Народных Комиссаров и других главных учреждений, в Пе-

трограде — какое нетерпение! — создали что? Совет комиссаров Петроградской трудовой коммуны! По образу и подобию центральной власти. Совет комиссаров! Но позвольте, а где же Советская власть, массовая организация, предназначенная осуществлять на практике диктатуру пролетариата? Где наш боевой, трудолюбивый Исполнительный комитет Петроградского Совета? Что с ним сталось? Он повлачил жалкое существование, Павлушенька, дорогой. Его подменили, подмяли под себя местные комиссариаты и их комиссары. Это, милый, совсем не народовластие и вовсе не то, о чем говорил товарищ Ленин, которого я глубоко уважаю за его исключительную, страстную, неотступную целеустремленность.

Ирина убрала со стола супницу и глубокие тарелки. Подала жареную картошку с кусочками консервированного мяса. Илья налил еще по рюмке. Но Павел отказался. Илья выпил один.

— Мы, ваши спецы, часто между собой спорим, ведем в своей среде долгие и трудные разговоры. Среди нас есть всякие. Большинство... не скажу в процентах, не считал, не подсчитывал... Оно, может быть, и не туда, куда бы надо, смотрит и тянется. Но немало, совсем немало и таких, которые с вами, граждане руководители, с большевиками. О таких надо заботиться не только материально, не только дров подкидывать и картошки, но и ясность вносить во все. Ясность, да! Почему наши петроградские органы власти скопированы с центральных, с Совета Народных Комиссаров? Почему им придали этакий вид петроградского правительства? Даже и свой комиссариат иностранных дел учредили. Уж для полной самостоятельности, не так ли?

Павел слушал взволнованную речь брата и удивлялся тому, насколько мысли Ильи совпадают с его собственными. Он присутствовал на том Втором областном съезде Советов, где Зиновьев поставил вопрос о создании Союза коммун Северной области и Совета комиссаров. В ту пору Павел еще не представлял ясно, что получится из «северного правительства», но и тогда уже нелегко было смиряться с таким положением, когда на место отбывших в Москву народных комиссаров республики явились некие свои, петроградские, особливые. Получалось так, будто бы там, в Москве, одно, а вот в Петрограде другое. Нестерпимо и для него, Павла Благовидова, и для

многих его товарищей было то, что комиссарами четырех комиссариатов — земледелия, контроля, путей сообщения и почты с телеграфом — поставили эсеров. Пусть левых, но эсеров же! Почему? Что за надобность? А товарищ Зиновьев прямо-таки взывал к левым эсерам сделать этакую милость — войти в Совет комиссаров Северной области. Он щекотал их самолюбие, стыдил, что те, дескать, перепугались ответственности. Что это было с его стороны?

Павел вспомнил недавнее пожатие руки Зиновьева, охватывающей, мягкой, какой-то студенистой, как бы без костей.

— Скажу тебе прямо, — продолжал тем временем Илья, — и все наши так считают. Многих ваших тонкостей мы не знаем. Но на правительство Ленина вполне готовы надеяться. А на свое, домашнее, увы, нет.

— Чего вы формалистику разводите? Советская-то власть не распалась. — Павел отложил вилку. — Петроградский-то Совет и при таких обстоятельствах существует. Он отделил, что положено, от областных правительственных органов, закрепил за собой. Ты же знаешь это без меня. И селедка эта и дрова, они откуда? От Петроградского Совета, от Петрокоммуны. Сам говоришь.

— Верно, все верно. И вместе с тем... — Улучив момент, Илья выпил и рюмку Павла.

— Илюшенька, все, — решительно заявила Ирина и убрала графинчик со стола. — Пьем чай.

— Ну а что на фронтах? — поинтересовался Илья, не без основания полагая, что вопрос о «северном правительстве» они с Павлом здесь, за столом, все равно не решат. — Ты там у телеграфного провода. В газетах о многом умалчивают. Что Колчак поделывает? Как на Дону? Финны что?

Вопросы брата были подобны тем, которые несколько часов назад ему задавал Зиновьев.

— Что тебе Колчак? — ответил Павел с раздражением. — Когда у нас под боком полковник Родзянко есть. Когда есть Булак-Балахович. Какой-то полковник Неф.

— Но они же все в Эстонии.

— А Эстония далеко, что ли? Именно под боком.

Илья засмеялся:

— Вот и ты, дружок, заболел сепаратизмом, не только председатель вашего «правительства». Колчак?

Деникин? Вам они чушь, мелочь! Вот ротмистр Булак-Балахович — это да!

— У них, у этих ротмистров, уже созревает свой вождь, подобный Колчаку и Деникину. Юденич! — Павел готов был сплюнуть на пол от досады, что в этот день ему в который раз попадало на язык имя этого царского генерала, засевшего в Финляндии. Но в доме Ирины не плюнешь.

— Юденич? Не слыхивал, — ответил Илья.

— Теперь вот слышь! — Павел встал из-за стола. — Я пойду, пожалуй. Спасибо за ужин, за любовь и ласку.

— Снова на несколько месяцев пропадешь?

Илья тоже поднялся со стула, осоловевший от водки, добренький, еще более мягкий. Павел смотрел в его глаза и чувствовал, что тоже добреет. Он любил брата, но столького, как от себя, от него не требовал. Пусть Илья будет таким, как есть. Пусть он не большевик, большевиков пока и не очень много в России. Нет, нет, не все, далеко не все в ней большевики. И не обязательно Илье быть большевиком. Но Илья — человек честный, душевный, и пусть он остается таким.

— Куда ж ты пойдешь, Павел? — спросила Ирина. — Поздно же. На улице небезопасно. Вчера в Прядильном, недалеко тут, за углом, стреляли.

— Что ты говоришь! — Павел улыбнулся. — Из пугачей, наверно.

— Нет, очень сильно стреляли. Из настоящих.

Павел обнял брата, опять приложился к прохладной щеке Ирины, под стук и бряк замков и задвижек за своей спиной спустился по лестнице на улицу. Автомобиль, который привез его сюда, он отпустил. За поздним временем уже и трамваев, конечно, не было. Предстояло проделать длинный пеший путь или по Садовой, или по набережной Фонтанки до Невского, а оттуда уже и до Смольного, где Благовидов не только работал, но и жил, как жили там многие, подобные ему бобыли, не имевшие ни семей, ни квартир в отвоеванном ими у старого режима красном Петрограде.

Он решил пойти по Фонтанке: меньше разъезженонет колей в снегу, в которых то и дело будешь оступаться.

Свернул с Прядильной улицы в Прядильный переулок, подходил было уже к набережной, как из подъездов, в полном мраке, загремели выстрелы. Прижался

к стене дома, вытащил из кобуры наган, дважды ударил туда, вперед, на звуки чужих револьверов. Торопливо затопало несколько пар ног, и стихло. И тогда там, впереди, Благовидов услышал стон. Осторожно дошел до того места. На снегу перед ним, привалясь к сугробу, корчился человек.

4

Отвечать на вопросы раненый смог только через несколько дней. Пуля крупного калибра пробила ему бок. Не задев легкое, она все же сломала два ребра и, выйдя наружу, застряла в стеганой толще солдатского ватника.

Пришлось сделать операцию, и врач распорядился не слишком беспокоить больного. Благовидову же не терпелось его порасспросить. Тогда, на снегу Прядильного переулка, он сквозь хрип и кашель услышал от раненого лишь с пяток слов: «Саттана перкеле!.. Токнали, распойники... все-таки упили...» По этому «все-таки упили» нетрудно было догадаться, что, во-первых, это был финн или эстонец, а во-вторых, что за ним почему-то гнались, и те, кому это было надобно, его все-таки настигли.

Через четыре дня дежурный фельдшер на вопрос по телефону о состоянии оперированного ответил: «Говорить может». Благовидов тотчас позвонил в ЧК, своему товарищу по охране Смольного первых дней революции и по знаменитой комнате № 75 Осокину, сказал, что заедет за ним на автомобиле.

Пока автомобиль шел по Суворовскому до Старо-Невского, пока пересекал Знаменскую площадь у Николаевского вокзала и катился дальше по Невскому, Благовидов раздумывал о раненом, о возможной его истории. Вызвав тогда представителей домовых комитетов из ближайших домов переулка, он с их помощью доставил раненого в госпиталь и, пока того готовили к операции, сообщил в ЧК Осокину. Осокин тоже прибыл в госпиталь. Старательно, по мелочам, подпарывая подкладку ватника, простукивая каблуки и подошвы его тяжелых, прочных ботинок не то австрийского, не то американского образца, он исследовал всю одежду неизвестного, все оказавшиеся при нем предметы.

Собственно, никаких особых предметов у того и не было. Зажигалка, сделанная из винтовочного патрона,

кожаный, истертый в карманах кисет с табаком, написанная от руки бумага, которой удостоверялась личность некоего Матвея Сидоровича Бабашкина,— вот в общем-то и все. И ни Благовидов, ни Осокин не заинтересовались бы этим человеком, если бы в карманах у него не оказалось еще одной измятой бумажки, на которой острыми, нерусскими буквами было нацарапано что-то вроде адреса — слова и цифры. В ЧК установили, что написано по-эстонски и что это действительно адрес — нерусское, эстонское, труднопроизносимое название улицы и номер дома. А где, в каком городе и кто живет на той улице, в том доме? Об этом мог рассказать лишь он, раненый.

Осокин, высокий, тонкий, затянутый широким ремнем поверх желтой кожанки, легко вспрыгнул на подножку, когда автомобиль поравнялся с домом № 2 по Гороховой улице. На слегка скуластом лице Осокина весело светились большие черные глаза.

— «Мой друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» — продекламировал он, устраиваясь рядом с Благовидовым.

Благовидов знал страсть Осокина приводить в подходящих случаях строчку-две из того или иного стихотворения — как бы эпиграф к тому, что он затем скажет или сделает, или послесловие к уже сказанному, сделанному, происшедшему. Осокин был рабочий парень, слесарь, и хороший слесарь, не погрязший в пьянках и гулянках, как случалось со многими фабричными от уныния и серости их трудной жизни. Он ходил в вечернюю школу для взрослых, которую престарелый энтузиаст-учитель учредил в деревне Автово, неподалеку от Путиловской верфи, где работал Осокин, нахватался разных знаний и, чувствуя, что идут они в пестрый разнобой, чтобы как-то привести их в порядок, читал подряд все попадающиеся под руку книги, оттого разнобой еще больше увеличивался, но и знаний прибавлялось. Оба они, Благовидов и Осокин, хорошо знали и биографии и характеры друг друга: времени и возможностей для такого взаимного узнавания у них, когда они охраняли правительство в Смольном, когда разоружали контриков, ходили обыскивать и арестовывать врагов нового строя, было достаточно. Осокина четыре раза ранили — три пули и удар ножом. А однажды даже сбросили в лестничную клетку с третьего этажа, прямо через перила.

Зайдя в вестибюль госпиталя и увидев там медицинскую эмблему — бронзовую чашу и бронзового змея над ней, высунувшего раздвоенный язык,— Осокин сказал: «Гробовая змея, шипя, между тем выползала».

По просьбе Благовидова и Осокина два тощих, хмурых санитара прямо вместе с железной узкой койкой и плоским, как блин, проржавевшим матрацем, из которого по коридору сеялась истертая людскими боками серая солома, перетащили раненого из общей палаты в отдельную пустую комнату.

— Ну как, гражданин Бабашкин, узнаешь меня? — спросил Благовидов, присаживаясь на стул возле койки.— Они бы, те громилы, тебя вовсе прикончили, не подоспей я. Как думаешь?

Раненый поморгал короткими белесыми ресницами.

— Сапыл, совсем сапыл, извиняюсь. Но если вы тот, кто меня выручил, спасипо вам, поклон вам.

— Во, видишь, пуля! — Осокин подал ему примятый кусок свинца в никелевой оболочке, который был найден при осмотре ватника. — Здорово тебя этой штукой прошили. Кто же они, ты знаешь?

— В тот раз,— добавил Благовидов,— вы говорили только одно: «убили все-таки» и еще что-то вроде вашего национального ругательства. Значит, вы их знали, значит, они догоняли вас, так?

— В общем,— Осокин пошел напрямик,— говори, дорогой приятель, все как есть, не виляй, не старайся уйти от карающей руки народа, если ты наблудил, а если честный человек, не запутывай дело. Все равно мы тебя насквозь просмотрим, всю твою душонку перетряхнем. Кто ты есть? И кто те гады, которые в тебе такую дырку сделали? Говори, не заикаясь и не шепелявя. Мы из Чека.

Раненый дернулся на койке, скривил и без того морщинистое маленькое личико, тихо, скуляще застонал, а из глаз его побежали слезы.

— Чего же меня в Чеку-то? Не упивал никого, не грапил. Кормил людей, от гипели спасал.

— Ну-ну, как спасал, как кормил? — Осокин, все время стоявший возле койки, тоже взял стул, подсел поближе. Благовидов отстранился, дал ему место.

— Опыкновенно. Продовольствие из теревни в Питерпурк доставлял. На своем горпу, своими руками. Конешно, против сакона это, спекуляция. Но разве я спеку-

лировал? Возьмешь немного лишку, совсем немного. Но это же на своем горбу-то, своими руками!..

Спекулянт, обыкновенный спекулянт, могли бы сказать Благовидов с Осокиным, и на том успокоиться, и тем завершить дело. Этих типов, которые «на своем горбу, своими руками» тащили в голодный Питер картошку, свеклу, масло, мясо с хуторов Лужского уезда, из-под Новгорода, Пскова, Ямбурга, можно наловить столько, что даже бескрайняя Дворцовая площадь, если согнать их на нее, всех не вместит. Но ни у того, ни у другого из головы не выходил адрес, нацарапанный на эстонском языке.

— Откуда ты привозил продовольствие? — спросил Осокин, думая свое.

— Из Луги, с-под Катчины, со Струков Пелых. Мужики там погатые. Их, если бы хорошо потрясти, они бы весь Питер могли кормить.

— Из Луги, значит? Так,— сказал Благовидов,— понятно. А с Булак-Балаховичем ты на хуторах не встречался?

— С каким таким Палаховичем?

Раненый явно не слыхивал о том, о ком его спрашивали. И спросил-то Благовидов его об этом совсем не потому, что предполагал короткое знакомство спекулянта с бывшим командиром кавалерийского красного полка, минувшей осенью перебежавшим в Псков к немцам, и ни на какие встречи его с Балаховичем не рассчитывал, поскольку Балаховича в Луге уже не было с прошлого ноября. Вопрос свой Благовидов задал просто так, на всякий случай, не зная, о чем бы спросить еще. Но Балахович оставил по себе такую память в лужских деревнях, что, будучи в Луге и под Лугой, совершенно невозможно было не услышать о делах беглого кавалериста. И если раненый о нем не знал — значит, врет, что бывал в Луге.

— С каким? — сказал насторожившийся Осокин. — А вот с таким! — Из кармана кожанки он вытащил увесистый кольт.

Глаза раненого полезли из орбит.

— Все скажу, все, как есть. Не упивайте!

— Ну, ну, говори, слушаем. И про адресок этот сообщи без вранья. — Осокин показал ему клок бумаги с эстонской записью. — Ты кто же, финн или эстонец? По-какому писать-читать умеешь?

— Финн я, финн. Только и по-эстонски говорить могу, товарищи военные,— лепетал раненый, не отводя ошалелых глаз от пистолета. — Все, кто из чухонцев, из петроградских финнов, все спают не только по-фински, спают они и по-эстонски.

— Так бы и говорил сразу, что не Бабашкин ты вовсе, а Бабалайнен, наверно, и не Матвей, и не Сидорович, а Матти-Сютти какой-нибудь.

— Не Бабалайнен, товарищи военные. Хамелайнен! А уж что Матти, это верно, совсем верно. Матти, Матти! Откуда вы только уснали?

— А мы все знаем. — Осокин дунул в ствол кольта. — Так вот тебе и говорят, какой Балахович. Такой, который вытаскивает пистолет, как я только что показал, и, ни слова не вякнув, пулю в лоб человеку всаживает. А ты о нем и не слыхивал. — Он засунул пистолет обратно в карман. — Значит, что?..

— Спачит, так. Не бывал я в Луге, нет, не бывал. Другая у моя дорога, совсем другая. В Эстонию я езжу за продовольствием, вот куда.

— Адресок этот, следовательно...

— Ревельский он, ревельский.

— Далековато ты, друг любезный, за картошкой ездишь. Опять врешь. — Осокин сунул руку в карман.

— А я не за картошкой. Не картошку вожу.

— Что же?

— Ценные товары, скажу по правде. Икру вожу, водку, консервы — сардины, шпроты...

— Сигары возишь, сигареты, «Реджину», сукин сын?

Сказав это, Благовидов сам поразился тому, что вырвалось у него помимо его воли. Он ощутил холодок в теле от нечаянно явившегося предположения. Да уж и так ли нечаянно оно явилось?

Мысль его сама проделала необходимую работу, сведя воедино два нападения в Прядильном переулке — сперва на него, на Благовидова, которого, конечно же, приняли за другого, а сутки спустя и на того, кто лежал сейчас на госпитальной койке; мысль сопоставила их и с «настоящей водочкой» в графине, которую где-то у кого-то на что-то выменяли, и с папиросами, сигарами в музыкальном ящичке карельской березы, и с консервами. Получалось нехорошо. Благовидов прикрыл лицо рукой.

— Ты что? — Осокин взглянул на него с тревогой.— Голова закружилась?

— С голоду кружится, с голоду,— подхватил тот, кого, хотя еще и не наверняка, но уже с бо́льшим основанием, чем Бабашкиным, можно было назвать Хамелайненом.— Как же не помогать людям, которые в таком положении?..

— Замолкни! — Благовидов зло отнял руку от лица.— Впрочем, говори. Затем мы и пришли, чтобы послушать тебя, Хамелайнен.

— Кто в тебя стрелял? — спросил Осокин.— Сообщники?

— Грабители. Они меня давно выследили и уже два раза обирали, когда я шел к своим клиентам. Они говорили тогда, что отпускают живым с условием, что я буду с ними делиться. Половину себе, половину им. И верно, в первый раз взяли ровно половину. Во второй раз я хотел их обмануть: сигареты, сигары, все, что подороже, рассовал по карманам, оставил в коробе одни банки с консервами. Так что же вы думаете? Обыскали, общупали всего и очень избили. Как живой остался? А вот уже и в третий раз... Уйти от них хотел, пежать пустился. Упили, саттана пергеле, распойники! И короб унесли.

— Интересно, интересно. — Осокин нетерпеливо заерзал на стуле. — Туда, в Ревель, поставщикам-то своим ты что, какие денежки приносишь за товары? Керенки, что ли, николаевские? Кому этот бумажный хлам нужен в тех краях, ну-ка объясни?

— Объясню, все объясню. Врать больше совсем не буду,— решился Хамелайнен.— Золотом беру я в Петрограде, брильянтами, другими камнями. Не деньгами, нет.

Он принялся подробно рассказывать Осокину про валюту и пересчет на нее драгоценностей. Благовидов улавливал только обрывки их разговора. До боли в голове, которая и в самом деле тошнотно покруживалась, он думал о сигарах «Реджина», и перед ним было при этом красивое лицо Ирины, возникали ее неулыбчивые темные глаза в черных ресницах. Рядом же вставал ни черта не ведающий ни о чем, что не касалось его мостов, добрый Илья с простоватой, дружелюбной улыбкой.

Думы Павла были мучительны, как тупая, стойкая зубная боль. Кинуться бы к врачу. Но кто врач в та-

ком деле? Да к тому же, не проверив, разве можно поднимать шум? А проверив? Ах, Илья, Илья... Может быть, все это еще и глупость, случайное совпадение, здание, построенное на песке. И может быть, никакой не Хамелайнен лежит тут на госпитальной койке, и все, что говорил он только что, может статься его очередным враньем?

— Маршрут-то?..— снова стал он различать смысл слов Хамелайнена.— И как все делается?.. Вот так примерно. На быстрых конях... У эстонцев кони рысистые, сильные... Гоним на этих быстрых конях закупленный в Ревеле товар по лесным дорогам от хутора к хутору. Достигаем реки Наровы, потом переправляемся через реку Плюссу, северо-восточнее Гдова. От Гдова движемся просеками на Осьмино или на Ляды... Если на Осьмино, то оттуда — к Волосову, а дальше к Ропше. Если к Лядам — от них на Гатчину. А от Ропши или от Гатчины на чухонских подводах с навозом. Навоз-то круглый год ингерманландцы возят петроградским огородникам. Под навозом ящики с добром и схоронены. Надежно ему там. Кто же в дерьме полезет рыться? А уж на огородах, на окраинах Петрограда,— тут проверки совсем никакой.

— Слушай, Хамелайнен,— сказал Благовидов, когда тот закончил рассказ о спекулянтских маршрутах.— Значит, ты бываешь в Эстонии...

— Всю ее прохожу от востока до запада и обратно.

— Белых офицеров там встречал?

— Как же, как же! Тысячи их там, тысячи! Офицеров, генералов! В одном Ревеле ой-ей-ей сколько! «Боже, царя храни» поют по ресторанам. А уж в деревнях, которые вдоль Наровы да Плюссы, там они прямо войском стоят. К вам, советским, попадешься — сразу в каталажку тебя. А к офицерам попади — все отберут. Откупаться приходится. Дорогое дело.

Хамелайнена оставили в госпитале, но возле дверей его палаты назначили красноармейский пост. Осокин взялся подумать, как изловить тех, кто нападал на спекулянта с такой четкой последовательностью. Его интересовали еще и адреса людей, которых Хамелайнен называл «клиентами»,— жителей Петрограда, бравших ревельские товары в обмен на золото и драгоценные камни.

Благовидова занимал и иной вопрос. Мысль о том, что Ирина связалась со спекулянтами, не отпускала его ни на минуту. Но эта тягостная мысль не могла заслонить для него главного. Он говорил себе, что нельзя не воспользоваться связями Хамелайнена, его спекулянтскими явками для разведки в Эстонии, среди накопившихся там белых войск. «Тысячи, тысячи»,— утверждает Хамелайнен. И он, несомненно, прав: именно тысячи. После того как в ноябре красными частями был занят Псков и когда немцы ушли в Курляндию, сформированный ими из русских так называемый Северный корпус поступил под командование эстонского генерала Лайдонера, и ныне — Хамелайнен сказал правильно, это известно военной разведке — части белогвардейского корпуса стянуты к границе. Там же находится и помянутый изменник Булак-Балахович с его кавалеристами.

Павел Благовидов хорошо знал историю этого бывшего ротмистра. Недавно он выезжал в Лугу с комиссией, которая расследовала злодейские дела так называемого полка Булак-Балаховича.

Началось это с год назад, когда Балахович, сколотив партизанский отряд, действовал против немцев под Псковом. Красных войск было тогда еще мало, каждая часть, пусть небольшая, пусть плохо организованная, бралась на строгий учет. А тут кавалеристы! Как было не ухватиться за них? Отряд Балаховича послали в Лужский и Гдовский уезды для борьбы с контрреволюционными кулацкими выступлениями. Засверкали сабли, загремели выстрелы. Боролся Балахович будто бы против кулаков, а получалось так, что терроризировал все трудовое крестьянство: и бедняков, и середняков, ничего общего не имевших с контрреволюцией. Отряд, переименованный в полк, действовал от имени Советской власти, а настраивал людей против нее. Когда люди слышали за околицей топот конницы, в деревнях начиналась паника. Прятались в подполья, запирали двери, убегали в лес. Но ничто не могло спасти от балаховцев. Павел Благовидов наслушался рассказов о том, как ловили крестьян, как секли их, вешали на сельских березах; при свете пожаров каратели пили, обжирались, насиловали баб и девок, и все это, получалось, совершала Советская власть. Сам Балахович был жесток до садизма. При этом он изображал из себя батьку, по типу тех, которые водились некогда в Запорожской Сечи, поминал, случалось, Тараса Бульбу,

говаривая: «Ну, сынки мои!..» Батька, да и только! Форменный Бульба. С той разницей, что войной он шел не против захватчиков-ляхов, а против небогатых, изнуренных трудом мужиков Петроградской, Новгородской да Псковской, тощих землями, северных губерний.

Слухи обо всем, что творил «батька», доходили до Петрограда. Там задумывались над его похождениями, не раз уже решали, что надо покончить с балаховичевской вольницей, а главное — и с ним самим. И каждый такой раз его спасал, выгораживал председатель Реввоенсовета республики товарищ Троцкий. Нельзя, мол, трогать Балаховича. Это ценный военспец. Таких Советская власть обязана беречь.

К осени минувшего года уже не стало никаких сил терпеть выходки «спеца». Чтобы его арестовать, из Петрограда выехали чекисты. Но, предупрежденный кем-то, Балахович вывернулся из их рук. Когда чекисты прибыли в Лугу, он уже был на пути в Псков, занятый немцами. Возле станции Торошино его отряд пересек линию немецких войск.

Позже вместе со всей белой сворой Булак-Балахович тоже оказался в Эстонии, хотя ни в чье подчинение отдать свой отряд не пожелал, стремился держаться особняком. Он уже не был ротмистром. Полковник фон Неф, командующий корпусом, за действия при оставлении Пскова пожаловал ему чин подполковника.

Итак, Северный корпус, итак, конники Балаховича, не раз размышлял Павел Благовидов. Из кого же еще, из каких формирований состоят белогвардейские банды за Плюссой и Наровой, за Чудским и Псковским озерами? Разведка получила сведения от перебежчиков, что белые начальники — полковники Родзянко, Неф, Дзерожинский — сгоняют в батальоны и в полки рыбаков с Талабских островов, включают в свои части разгромленные отряды и отрядики, солдат и офицеров, переброшенных из Латвии, из войск Бермонта-Авалова, кого-то везут из Польши и из Германии, очевидно русских, находившихся там в лагерях для военнопленных.

То, что происходит в каких-нибудь ста пятидесяти — двухстах верстах от Петрограда, не может не заботить Павла Благовидова, который по роду своих партийных

обязанностей ведет организаторскую и политическую работу в красных войсках. В последнее время ему неоднократно приходилось слышать, как партийный и государственный руководитель Петрограда, всей Северной области, состоящей из восьми немалых губерний, Зиновьев утверждал: на Питер никто не попрет, силенок не хватит, Питер в сторонке, на окраине, взятие его белыми ничего не решит, да и взять его силами войск, собранных в Эстонии, невозможно.

Кто прав? Вообще-то верно: Петроград слишком велик, чтобы его смогла взять с боем армия, скажем, в двадцать — тридцать тысяч войск. А большего у белых за Наровой, видимо, нет.

В одну из минут таких сложных раздумий Благовидову позвонил Осокин.

— А знаешь чей адресок среди прочих назвал Хамелайнен? Даже и не подумаешь!

Но Благовидов подумал. К сердцу подступила сосущая тоска. Он знал, чей адрес назовет ему Осокин.

— Чего молчишь? — говорил тот.— Родного твоего брата, инженера. Он сказал, правда, не про самого брата. Его, утверждает, и в глаза не видывал. А супружницу братову. Ее как зовут?

— Ириной,— ответил Благовидов. Голос у него звучал нехорошо, нетвердо. Он это чувствовал.

— Точно! Ирина Владимировна. «И это все, что я любил»,— продекламировал Осокин в телефонную трубку.

Благовидов попытался вспомнить, откуда такие строки, и не смог. Он не разделял веселья Осокина. Ему было тяжко.

— Что же ты будешь делать? — спросил он все так же нехорошо и нетвердо.

— С Ириной-то Владимировной? А что с ней делать? Думаю, что ничего. Таких мадамочек в Питере разве одна? Человек шамать хочет. Простим ему. Тем более что кормит она — ты-то вот этого не рассказываешь своему товарищу, я должен сам все узнавать,— кормит она ценного советского специалиста. В Петросовете о нем очень хорошо отзываются. Политически грамотный, хотя и беспартийный. Так что вот, нечего с ней делать. Но ты при случае устрой ей встрепку, да покрепче. Чтобы, как говорится, «шумела буря, гром гремел, во мраке молнии блистали».

5

Выйдя из дому, Илья Благовидов свернул на Английский проспект. Ирина не любила отпускать мужа по вечерам, но он сказал, что ему совершенно необходимо встретиться с одним из его учителей и наставников — с профессором Завадским. Завадский знает мосты Петрограда, как свою собственную квартиру, а их решено к весне, к ледоходу, основательно проверить, и вот ему, ее Илье, надобна консультация Завадского.

Он обогнул церковь Покрова на площади, пересек Екатерининский канал и выбрался на прямую, длинную Офицерскую. Перед Крюковым каналом, наискось от Мариинского театра, громоздились в сумраке башни и стены Литовского замка — огромной тюрьмы, сожженной народом в дни февраля. Мимо этих не охраняемых домовыми комитетами развалин прохожие старались проскакивать побыстрее, не мешкая: в революционном городе поддерживался строгий порядок, но в этом мрачном месте, случалось, грабили, избивали, а то и убивали. В развалинах прохожим чудились шорохи, голоса, и даже сама тишина в черных, обметанных густой копотью проломах окон пугала.

Прибавил шагу и Илья. За мостом, так же, как было до революции, стояла круглая афишная тумба; пестрые афиши оповещали петроградцев о балетных и оперных спектаклях Мариинского театра на ближайшую неделю; названия спектаклей были знакомые, дореволюционные. Разница с прошлым заключалась, может быть, лишь в том, что сами-то афиши из-за недостатка бумаги печатались на небольших, тесно заполненных буквами листках, да и бумага их напоминала скорее оберточную.

При виде афиш Илья не мог не подумать об оставшейся дома Ирине, о том, как любила она ходить в театры: и сюда, в Мариинский, и в Александринку, и в те, что на Фонтанке, на Михайловской площади, в Пассаже. Да, любила его женушка, бывало, покрасивей нарядиться перед театром, сделать строгую, но эффектную прическу, надеть чудесные бриллиантовые серьги, которые в день свадьбы ей подарил ее отец, всякие полученные от отца же в дни именин, к рождественским и иным праздникам кулончики, браслеты, кольца. На жену инженера Благовидова засматривались, и так засматривались, что Илье те отнюдь не платонические рассматривания казались по-

рой уж столь нахальными, что даже при его миролюбивом характере он и то порывался подойти к тому, кто был особенно нахален, и смазать по физиономии. Но его всегда удерживала Ирина, взволнованно шепча: «Не будь мужиком. Это несовременно, Илюшенька. Сейчас не каменный и даже не девятнадцатый век. Нельзя, нельзя, слышишь!»

«Бедненькая Иринушка моя,— раздумывал он, переходя Мойку через Поцелуев мост. — Сколько тягот на тебя, нежную, избалованную, свалилось». Она так грустит по Лялечке, испытывает столько невзгод и трудностей. Илья подумал о том, что хорошо бы пойти с нею в театр, пусть развлечется и отвлечется. Театры, как известно, не отапливаются, надо будет сидеть в зимних, давящих одеждах. Что ж, ничего, можно немного и позябнуть. Если знаменитый Шаляпин способен петь в такую стужу, то слушать тем более можно.

Выйдя на Морскую, где патруль проверил его документы, выданные Петросоветом, он тротуаром прошел возле серой глыбы бывшей военной гостиницы «Астория», в которой ныне живут партийные и советские руководители, в том числе и всесильный Зиновьев, затем миновал «Англетер». А там вот уже и улица Гоголя, вот ресторан Соколова, поблизости от которого в неказистом с виду пятиэтажном доме квартира Завадского. В многочисленной толпе гостей институтский профессор тоже присутствовал на свадьбе Ильи с Ириной, и как раз здесь, в ресторане Соколова, который в те довоенные времена носил название «Вена».

Илья задержался перед входом, над которым еще осталась вывеска ресторана, широко, чуть ли не во весь этаж, выведенная четкими простыми буквами. Но вход был заколочен, стекла в дверях повыбиты.

Многое, очень многое вспомнилось Илье перед этими заколоченными дверями...

Для свадьбы дочери, страстной театралки, Иринин отец выбрал именно «Вену», где, как было известно в Петербурге, собирались громкие столичные знаменитости из мира литературы, театра, искусства. Богач намерен был абонировать весь ресторан целиком, со всеми залами, кабинетами, буфетом. Но хозяин не прельстился громадным кушем: угловую, так называемую «литераторскую», залу он и на тот вечер оставил за своими постоянными гостями.

— Не можно, уважаемый Владимир Евграфович, никак не можно, — почтительно, но с достоинством ответил он миллионщику.— Гордость России в том зальце собирается, большие люди. Придут, скажем, отобедать или отужинать господин Куприн или господин Шаляпин, а мы их возьмем и не впустим? Что получится? Нет, нет, увольте.

В день свадьбы к столам, на которых было все, что только способен пожелать и придумать человек себе в пищу, и которые празднично сверкали хрусталем в серебре, молодые и их гости прибыли на рысаках, в лакированных колясках. Коляски запрудили улицу — ни пройти, ни проехать. Собралась толпа. Глазели, вслух высказывались о женихе, о нем, Илье Благовидове, о невесте, о его Иринушке. Встречали их тут, в вестибюле, и сам хозяин Иван Сергеевич, самодовольно оглаживавший аккуратную адвокатскую бородку, и даже его дородная супруга Татьяна Петровна в расшитом платье из лилового бархата. Гулялось весело, очень весело. Иринушка, молоденькая, тоненькая, сияющая, была настоящей царицей дня. Хозяин ресторана раскладывал перед нею альбомы, книги записей. Позже она часто захаживала сюда с Ильей, чтобы из них, из этих альбомов, повыписать самое интересное, приглянувшееся, и постепенно почти все переписала в свой альбомчик.

В тот зал, где справлялась свадьба, дабы взглянуть, как веселится купечество, засматривали, проходя, люди, о которых Илье с Ириной вполголоса сообщал хозяин:

— Господин Аверченко. Юморист. Леонид Андреев. Знаменитость. Огромный талант. А это господин Мандельштам. Стихи пишет.

В самый разгар веселья, когда уже были сказаны необходимые тосты, провозгласили молодым «многая лета» и гости разбились на компании и группки, в зале появился высокий тощий малый с довольно бессмысленным, но нахальным взглядом.

— Люди! — вскричал он. — Внемлите! — И повел рукой так, будто делал гипнотические пассы.— Мир вам! Смысл не в вине, нет, господин Блок грубо ошибается. Всякий смысл только в любви, в нежности друг к другу. Нежность, нежность! Больше нежности!

— О, это правда!— шепнула Ирина, незаметно для других прижимаясь к нему, к Илье.— Он прав. Кто он?

— Это, — ответили ей, — двойник Игоря Северянина. Его тень. Фамилию носит вроде Пупсикова или Мопсикова, но в афишах называется и свои вирши подписывает именем Вадима Лужанина. Лужанин — Северянин, Северянин — Лужанин.

Дайте мне умбры завинченный тюбик! —

продекламировал поэт, стараясь перекричать застольный шум.

На него обернулись.

Я нарисую сердце любимой.
К чему мне ваш в тысячи раз
приумноженный рублик?
Не продается поэтово имя!

— Смелый какой! — снова зашептала Ирина, склоняясь к Илье.

Поэт заметил ее восторженно сияющие глаза. Устремил к ней простертые длинные руки. Закричал уже другое:

Не ходи в золоченые клети,
Обитай в полудиких дубравах.
Ты и я, мы, не правда ли, дети?
Нам пастись на нетоптаных травах.

Илья, побледнев, поднялся. Он усмотрел нечто оскорбительное в декламации «второго Северянина», и, несомненно, быть бы скандалу, если бы хозяин ресторана, многоопытный Иван Сергеевич, не поспешил ухватить декламатора под локоть и не увел его в глубь своих кабинетов, откуда поэт уже не возвратился. И Илью коекак успокоили гости, уверяя в том, что юный стихотворец, говоря языком народа, давно «в доску», «в дребезину», «в стельку» и не соображает поэтому ни «мур-мур».

«Да,— чуть ли не вслух сказал себе Илья, вспомнив события восьмилетней давности перед входом в мертвый, некогда полный жизни ресторан Соколова.— Где же вы теперь, Иван Сергеевич?»

Завернув в Гороховую, он нашел нужный ему вход и стал медленно, держась рукой за стены, подыматься по темной лестнице к квартире Завадского.

На звонок отворил сам профессор. Был он в белой сорочке с расстегнутым воротником, в синих подтяжках; седые волосы не приведены в порядок.

— Илья Андреевич! — воскликнул он.— Заходите, заходите, дорогой мой! Добро пожаловать! Правда, все так неудачно. Второй день в доме нет жены. Пропала, видите ли. Черт знает что! Не в том возрасте, чтобы амуры крутить. Беспокоюсь. Заявил куда только можно заявить в наше время. Даже в Чека. Что творится в «новой России»!

Чертыхаясь и довольно вяло возмущаясь, он ввел Илью в столовую, где за столом перед бутылкой коньяку и двумя рюмками грузно сидел незнакомый Илье человек во френче.

— Инженер Благовидов,— представил ему Завадский Илью.— Прекрасный инженер, растущий. Тоже, как мы с вами, Сергей Сергеевич, путеец. — Он назвал и незнакомого:— Комиссар «северного правительства» товарищ Багловский.

— Северного правительства? —переспросил Илья.

— Ну, нашего Совета комиссаров,— видя его недоумение, поспешил объяснить Завадский.— Так сказать, рабочий термин — «правительство Севера». Это же действительно так. Мы же оторваны от Москвы. Москва занята своими делами. А Петроград...

— Вы большевик, товарищ Благовидов? — Багловский смотрел на него тяжелым, утомленным взглядом из-под приспущенных, опухших век.

— Нет, беспартийный.

— Я вас спрашиваю об этом потому, что знаю одного большевика Благовидова. Он работает в Смольном. Молодой, но поразительно самоуверенный в своей непогрешимой правоте. Военными делами занимается.

— А может быть, он и в самом деле прав? — нахохливаясь, сказал Илья.

— Я не вдавался, прав он или не прав. Не в этом дело. Дело в том, что нельзя так демонстрировать свою правоту и постоянно напоминать о ней. Поймите...

— Понял,— сказал Илья.— Да, этот человек еще молод. Моложе меня на семь лет. Он мой брат.— Илья говорил с нескрываемым вызовом. Ему не правилось, как Багловский отзывался о Павле.

Багловский же только кашлянул и отпил глоток из неполной рюмки.

— Илья Андреевич, а вы рюмочку как? — предложил Завадский.

Илья в нерешительности пожал плечами.

— Превосходный коньяк. Можно сказать, для наших дней просто редчайший.— Завадский достал из буфета еще одну рюмку, наполнил ее из бутылки.

Отпив немного, Илья посмаковал, одобрил и осушил рюмку. Багловский с Завадским внимательно следили за ним.

Когда рюмка была пуста, Завадский сказал:

— А вы знаток, оказывается, мой друг, знаток! Видно сокола по полету.— Он налил Илье вторую рюмку.

Илья не удержался, выпил и вторую.

— Извините. Но действительно коньяк превосходный.— Он смутился, почувствовав, что краснеет.

А те все так же молча смотрели на него. Завадский с любезной улыбкой: ничего, мол, понимаю. Багловский — по-прежнему тяжело, изучающе.

— Может быть, я помешал? — догадался сказать Илья.— Тогда я уйду. До другого раза. Мне хотелось по поводу невских мостов...

— Сидите,— остановил его Багловский.— Ничему вы не помешали. Любопытно с вами побеседовать. О вашем брате, например. Он может неважно кончить.

— Почему же?

— Он, как наши товарищи замечают, оппозиционен товарищу Зиновьеву, главе, вождю трудящихся Петрограда и всей области.

— В чем же это выражается?

— Ваш брат утверждает, что товарищ Зиновьев ведет сепаратистскую политику, идет на союз с чуждыми элементами. А кого ваш брат считает чуждыми элементами? Таких же революционеров, как и правоверные большевики, но состоящих или состоявших в других политических партиях. Я был, например, эсером, да, да, левым эсером. До выступления моих однопартийцев в Москве и Ярославле, до отвратительных, всем известных террористических актов. После них я вышел из своей партии. Теперь я в партии большевиков. Ваш, простите за словцо, братец утверждает, что таким «переметным сумам» верить-де нельзя. А товарищ Зиновьев, соратник Ленина, представьте, верит. Товарищ Зиновьев — настоящий руководитель с широтой большого человека, с размахом подлинного революционера. Я вам кое-что напомню...

Багловский выпул из кармана френча толстую записную книжку в зеленом сафьяне, полистал ее.

— Это я переписал с подлинника, полученного в свое время товарищем Зиновьевым. Читаю: «Тов. Зиновьев! Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие,— слово «рабочие» подчеркнуто,— хотели ответить на убийство Володарского массовым террором и что вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали. Протестую решительно! Мы компрометируем себя: грозим даже в резолюциях Совдепа массовым террором, а когда до дела, тормозим,— это опять подчеркнуто,— революционную инициативу масс, вполне,— подчеркнуто,— правильную. Это не-воз-мож-но! — Какова разбивочка на слоги!— Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора против контрреволюционеров, и особенно в Питере, пример коего решает».— Последнее слово тоже выделено.

Багловский оторвался от книжки, взглянул в глаза Илье.

— Как вы думаете, кто это написал? Кто дал такую директиву? Ленин! Вот кто.

— Вы ее считаете неверной?

— Категорически неверной!

— А когда это было написано?

— Двадцать шестого июня восемнадцатого года.

— Двадцать шестого? Но это же такое предвидение! Поразительное, удивительное! — Илья даже поднялся со стула.— Через два месяца и четыре дня после этого ваши эсеры стреляли в Ленина. Они убили Урицкого!..

— Попрошу вас,— глаза Багловского до краев наполнились холодом,— попрошу не раскидываться терминами «наши» и «ваши». Я член той же самой партии, повторяю, что и ваш брат. При чем тут предвидение! Простая случайность. А нежелание товарища Зиновьева давать волю так называемому красному террору — закономерность. С помощью террора и пули политику не делают. В политике убеждают, доказывают...

— Так вот, — перебил Багловского Илья, — мне, человеку, который стоит вне всяких партий, доказали, да, да, доказали, меня в этом убедили, да, да, убедили, что срубить голову контрреволюции было необходимо. Товарищ Ленин тысячу раз прав! Иначе контрреволюция срубила бы голову революции. Не ваш товарищ Зиновьев прав, а Ленин, Ленин! Не ваш товарищ Зиновьев принял на себя ответственность за революционный переворот... Из-

вестно, что он боялся его, он выступал против него... А Ленин, Ленин совершил акт мужества, о котором и тысячу лет спустя после нас будут ходить легенды, как о подвигах Прометея и Геракла.

Впервые за весь разговор Багловский улыбнулся, отчего его взгляд не сделался ни добрее, ни мягче.

— А вы, товарищ Благовидов, говорили, что в большевиках не состоите.

— Я человек, согласный с революцией, со всеми произведенными ею переменами в стране. Вот кто я!

— Охо-хо! — Багловский откинулся на спинку стула. — А жертвы, жертвы!.. Где наша русская интеллигенция? Куда ее подевали? Вся она или бежала из страны за границу, или казнена, или сидит по тюрьмам, ожидая казни. Верно говорил Александр Федорович Керенский: разгулявшийся хам полонил страну. С этим серым, портяночным мужичьем попробуйте-ка строить научно организованное социалистическое общество. Ну-ка! Они, вшивые, золотушные, убогие интеллектом, все загадили, все растоптали в нашей России хуже, чем творили батыевы полчища. «А детям скажете: в октябре семнадцатого года мы ее распяли», — нараспев прочел он строку из незнакомого Илье стихотворения. — Вот что сделано с Россией! Она распята, изнасилована.

Илья вспомнил свою Ирину, бегающую с ведерком за водой на соседнюю улицу, вспомнил развалины, виденные по дороге сюда, хмурые, холодные, грязные улицы бывшей «Северной Пальмиры», заколоченную «Вену», сник немного и, как бы не желая вести спор дальше, сказал:

— И все-таки я пойду за Лениным, за революцией.

— А жертвы, души казненных, стоны арестованных, они вас разве не будут беспокоить на этом пути следования?

— Вы говорите о сентябрьских арестах и расстрелах?

— Именно.

— Кто же там был среди них? Кто? Генералы да офицеры царской армии, участвовавшие в тайных заговорах, великие князья из романовского дома, помещики и финансисты, хозяева крупной промышленности, министры Керенского, правые эсеры... Так разве же они смирились бы когда-либо с потерей былого? Разве их убедишь, переубедишь не заниматься контрреволюцией! Надо было таких изолировать, обезвредить. Этого требо-

вала революция. Народ требовал, да! Нет, я пойду за Лениным.

— Не рассуждая, ничего себе не объясняя, так вот, вслепую?

— Да, да и да.

— Фанатик, значит?

— Пусть фанатик. — Илье надоел этот, по его мнению, тупой, неприятный человек. — На фанатиках, кстати, человечество немало прокатилось вперед в разные века своего существования.

— Но их, как правило, сжигали на кострах.

Завадский, молчавший во время спора, то и дело озиравшийся в глубь квартиры, словно бы он ожидал оттуда чего-то — может быть, появления исчезнувшей жены, — сказал при этих словах:

— К чему о кострах? Налью-ка я еще по рюмочке. Замечательный же коньячок. А что касается споров, то без них и жизни нет. Жизнь — борьба. И все живое рождается только в борьбе.

— «В борьбе обретешь ты право свое!» — вспомнил Илья девиз партии эсеров.

— А вы похожи на своего брата. — Багловский встал. — Тому, кого вы изволили определить себе в противники, пощады от вас не будет. — Он взглянул на часы. — Ну, будьте здоровы. Автомобиль мой пришел в девять. А сейчас половина десятого. Шофер, наверно, озяб.

Они с Завадским вышли в прихожую. Илья, не зная, как ему быть, остался в столовой.

Хозяин и его высокий гость шушукались долго. Потом хлопнула дверь, и Завадский, потирая руки, вернулся в столовую.

— Теперь мы можем свободно вздохнуть и выпить еще по рюмочке. Терпеть не могу всяких этаких высокопоставленных. Но что поделаешь? Багловский ведает путями сообщения в «северном правительстве», на которое вы так накинулись, Илья Андреевич, а я, как вам известно, служу по этому ведомству, лицо, следовательно, подчиненное. Вы, строго говоря, тоже в известной мере путеец. Такова планида.

Илью удивляло, почему, сказав при встрече об исчезнувшей жене, Завадский больше о ней даже не упомянул. Он представил себя на месте Завадского. Что

творилось бы с ним, с Ильей, если бы пропала Ирина? Обегал бы весь город, всех бы, кого можно, поднял на ноги. И разве смог бы он вот так спокойненько сидеть, потирая руки, перед рюмкой коньяку?

Ему подумалось, что разговора уже не будет ни о мостах, ни о чем другом, да и время позднее, Ирина начнет волноваться.

— Пойду и я, пожалуй, — сказал он.

— Нет, нет! — удержал его Завадский. — Все, что вам надо, пожалуйста. Я к вашим услугам. Мосты Петрограда? Их разводные части? О! Перед самым большевистским переворотом я делал доклад Временному правительству. Сейчас!.. — Он принес из кабинета рукопись, переплетенную в папку. — Вот он, тот доклад. Существует, кажется, всего в пяти экземплярах. У меня только один. Но я вам его доверяю. Можете унести с собой. В нем вы найдете все, что вам необходимо. Берите, берите. Да, да! — Пожимая руку Илье, Завадский все говорил: — Рад, дорогой Илья Андреевич, что зашли, что повидал вас, одного из самых любезных мне учеников, очень-очень рад. Только я, пожалуй, выпущу вас черным ходом, по другой лестнице. Парадную уже закрыли. Идите за мной.

Когда они проходили длинным, с двумя коленами коридором, Илье показалось, что в одной из комнат, за приоткрытой дверью, кто-то тихо, всхлипывая, плакал.

— Идемте, идемте, — поторопил Завадский. — Не ударьтесь лбом, притолока низковата.

Кое-как сойдя по узкой лестнице для дворников, Илья вышел во двор, заваленный снегом, мусором, разным хламом. Не зная, в какой стороне ворота, он остановился, озираясь, подняв голову к темному квадрату неба над двором, еще более темным, чем это ночное небо.

Почуяв торопливые шаги за спиной, обернулся. Его догоняла простоволосая женщина в накинутой наспех жакетке.

— Барин, — тихо заговорила она, подойдя, — будьте добренькие. Нет ли места у вас прислуге? Без всякой платы пошла бы к вам жить. Плохо у нас в доме, барин, очень плохо.

— Позвольте, барышня, — сказал Илья, разглядев молоденькую девушку. — Прежде всего я никакой не барин. И не смогу я вам ничего сейчас ответить. Надо

спрашивать мою жену. Делами в доме ведает она. А где вы живете?

— Да у Завадских же, барин. Барыня-то наша куда-то подевалась, и не второй день нету ее, как, слышала я, хозяин вам сказал, а уж полных две недели в бегах, и не заявил он про это никуда. И вот каждый божий вечер мужчины у нас, пьют, разговаривают. Это сегодня один только был. А то их, господи помилуй! Пристают в коридоре, целоваться лезут, тискают. Барин, я приду к вам, а? Без денег жить буду. Я ж не здешняя, я новгородская, из-под Старой Руссы. Куда ж мне туда, пешком, что ли, домой идти? Барин, приду, а?

Она так горячо и быстро говорила все это, что и Илью стала охватывать торопливая необходимость что-то отвечать, что-то делать.

— Как зовут-то тебя?

— Санькой меня зовут, Санькой. Александра, значит. Я грамотная, читать-писать могу. И сообразительная. Не пожалеете, барин.

— Ладно, ладно, Саня, уж так и быть, скажу тебе адрес. Писать тут в потемках невозможно, запомни.

— У меня память что из железа — скажи, ни вовек не выроню.

— Только смотри, если жена рассудит, что нельзя, мол, у нас, не обижайся на меня.

— Как же я посмею обижаться-то, как?

— В общем, запоминай...

Илья растолковал адрес, Санька указала ему дорогу к воротам и все шептала вслед:

— Завтра же, завтра приду. Нету же сил никаких...

А Илья шел по улицам домой и раздумывал об увиденном и услышанном в этот вечер. Больше всего он удивлялся самому себе: как так решительно схватился с этим неприятным Багловским. В натуре Ильи было заложено прочное начало не ссориться с людьми, не вступать ни с кем в непримиримые споры, стараться все сгладить, уладить. А тут... И в самом деле, вел он себя, как большевик. Багловский не зря сказал это. Что же произошло? Видимо, сильно он, Илья, обиделся за Павла. Да ведь и хорош гусь этот Багловский! Благовидов, видите ли, всегда прав, непогрешим, и это раздражает. А если человек действительно прав, почему он должен прикидываться неправым?

Таким, каким Илья был сегодня, он нравился самому себе и потому шел домой быстрым шагом, весело, снова думая о том, что непременно на днях пойдет в театр с Ириной.

6

Председатель Совета комиссаров Северной области Зиновьев ехал по набережной Невы в сияющем лаком и металлическими частями большом, длинном автомобиле с поднятым парусиновым верхом. Автомобиль был только что отремонтирован на одном из петроградских заводов; на каком, Зиновьев не поинтересовался. До таких мелочей он никогда не доходил, его принципом было охватывать жизнь и ее явления, так сказать, в целом, масштабно, всегда ощущая себя одним из вождей революции, а не хозяйственником, не этаким бескрылым техником-практиком, с узким лбом и без вдохновенного полета мысли. Ленин — тот готов хвататься за все сам, способен рассуждать с каждым забредшим к нему мастеровым или крестьянином и на этих собеседованиях из единичных фактов строить выводы вселенского масштаба. К чему тогда специалисты, знатоки промышленного производства, экономисты, инженеры?

Зиновьев был в скверном настроении. Его не радовал даже роскошный вид отремонтированного автомобиля, о котором одни говорили, что прежде он принадлежал санитарному поезду Пуришкевича, другие же — что автомобиль был взят из гаража самого российского императора Николая II. Еще вчера Зиновьеву было приятно откидываться на кожаные спинки, которых касались костистые лопатки бывшего самодержца. В этом он видел нечто глубоко символическое. Сегодня Зиновьев был хмур и раздосадован. Вчера он получил известие из Москвы о том, что так тщательно отобранное, взлелеянное им «северное правительство» Москва решила распустить. Теперь конец Совету комиссаров, конец самостоятельности Петрограда, вновь все приберут к рукам Петроградский Совет, его исполком, президиум, отделы, полные упрямых, излишне резких, решительных людей. Опять не будет той подлинно государственной осмотрительной гибкости, которую медленно, но неотступно насаждал в Петрограде он, Зиновьев.

Чем там, в Москве, недовольны? Разве Петроград не сделал все возможное для фронтов все жарче разгорающейся гражданской войны, для разрушенного железнодорожного транспорта, для деревни? Он, Зиновьев, не крепок памятью на цифры, но кое-что вспомнить нетрудно. В первом полугодии 1918 года в Петрограде — именно тогда, когда тут еще заседал Совет Народных Комиссаров под председательством товарища Ленина, — все только разрушалось и продолжало разрушаться. Заводы превратились в толкучки, в скопища митингующих бездельников. Бывало, идет трудовой день, а они, побросав инструмент, покинув станки, яростно разглагольствуют. На работу приходят когда вздумается, а то и совсем не приходят. Станки, машины ломались, выходили из строя, ремонтировать их никто даже и думать не думал, никто не заботился о сырье для заводов и фабрик, о топливе — кончилось все, ну и ладно, закрывай лавочку. Словом, происходило то, о чем он, Зиновьев, предупреждал Ленина еще в октябре семнадцатого: нельзя, нельзя серой, неграмотной массе было вручать Россию — на полное усмотрение крестьянина, рабочего, солдата.

Мысль Зиновьева шла, скользила по этим этапам вполне последовательно. Ход событий и состояние дел в Петрограде он обозревал верно — именно так и было в первые месяцы после переворота: неисчислимо много неразберихи и неимоверных трудностей. Но председатель «северного правительства» даже для самого себя умалчивал о том, почему же так было. Он не вспомнил ни саботажа чиновников и специалистов, ни той остервенелой противобольшевистской, противоленинской деятельности меньшевиков и эсеров, которые как раз и устраивали бесконечные, все дезорганизующие митинги на заводах, вредные, злобные говорильни. Меньшевики и эсеры боролись тогда за власть, стремились перетянуть на свою сторону сотни тысяч питерских рабочих, доказывая им, что Ленин незаконно разогнал Учредительное собрание, незаконно захватил власть, незаконно вершит дела в стране.

Зато Зиновьев видел перед собою другое. То, как заметно стала налаживаться хозяйственная жизнь в Петрограде со второй половины минувшего года. Цифры? Да, цифры! Шестнадцать новых паровозов было построено на петроградских заводах с августа по декабрь. Сто

двадцать товарных вагонов. Сорок три гидроплана. Одиннадцать военных судов. Заводские мастера отремонтировали двести семь автомобилей, почти две тысячи вагонов, пять подводных лодок... Больше миллиона пар кожаной обуви изготовили питерские обувщики. В строй вернулось до восьми тысяч ткацких станков и до восьмисот тысяч крутильных и прядильных веретен. Пятьдесят видов продукции дает теперь петроградская текстильная промышленность. Кто же все это сделал, как себе представляют в Москве? Безликая масса рабочих, крестьян, солдат?

Автомобиль катился по Троицкому мосту. Нева лежала еще подо льдом, но лед, чуя весну, уже набухал, насыщался водой и оттого заметно голубел.

Взгляд Зиновьева, рассеянно скользнув по загроможденным снегом набережным, по фасадам зданий вдоль Невы, зацепился за узорчатые минареты не достроенной эмиром бухарским мечети и наконец застыл на бывшем особняке Матильды Кшесинской, отыскивая знаменитый балкон, то самое место, с которого Ленин вел свои разговоры с народом весной и в начале лета семнадцатого, до того, как вместе с ним, с Зиновьевым, ему пришлось прятаться от юстиции и палачей Временного правительства, от господина революционера Керенского.

Решение о роспуске «северного правительства» вынесено от имени Народного комиссариата внутренних дел, но лишь самый безнадежный глупец не поймет, что сделано это не только не без ведома Ленина, а по его прямому указанию. Виден знакомый почерк. Ленин не выносит ни малейшего «собственного мнения» в партии. Всем памятно, как в конце августа семнадцатого года он печатно, в газете «Пролетарий», обрушился на Каменева из-за того только, что тот на заседании ЦИК выступил по поводу Стокгольмской конференции. Нет нужды вдаваться в существо этой «проработки». Было решение ЦК о том, чтобы не принимать участия в Стокгольмской конференции? Что ж, было. Но люди, из которых состоит партия, не машины, а именно люди, и старый товарищ Зиновьева Каменев на заседании ЦИК шестого августа высказался о Стокгольме так, как считал нужным, как думал. Господи ты боже, какие громы обрушил Ленин на беднягу! И прежде всего на оговорку Каменева о том, что выступает он от себя лично, что фракция этого вопроса не обсуждала. Ленин заявил, что такого рода ого-

ворка придает выступлению Каменева «прямо чудовищный характер»: раз фракция вопрос не обсуждала, Каменев не имел права выступать; с каких-де это пор в организованной партии по важным вопросам выступают отдельные ее члены «от себя лично»?

Мысль Зиновьева старательно обошла то обстоятельство, что «от себя лично» Каменев выступил после того, как ЦК вынес решение, обязательное для каждого члена партии, и, следовательно, каждый член партии, если он не хочет поставить себя вне ее рядов, не имеет никакого права на «личные», особливые мнения и рассуждения. Иначе партии не будет, негодовал Ленин. Иначе она превратится не в боевой, сплоченный авангард революционного пролетариата, а в говорильню для отдельных «личностей».

Зиновьев себе об этом не сказал. Он уверился, что отлично, до мелочей в характере знает Ленина: он же достаточно наблюдал за ним и наслушался его еще и в эмиграции, и в сестрорецком Разливе, среди болот и сенокосов, и на заседаниях, предшествовавших восстанию. Ленин, если наметил перед собой цель, ни перед чем не остановится на пути к ней. Это одержимый, это фанатик. В те трудные сестрорецкие дни ежечасно, ежеминутно могли их обнаружить, схватить, отправить на виселицу. А что делал Ленин? Он разрабатывал структуру и принципы нового государства, государства народа, рабочих и крестьян. Мало того, уже готовился возглавить правительство такого государства, ничего еще не имея для этого в руках, кроме нескольких клочков бумаги и огрызка карандаша.

Мысль Зиновьева обошла и еще одно обстоятельство: что у Ленина, кроме клочков бумаги и огрызка карандаша, было кое-что и другое, и весьма-таки немаловажное. У него была партия большевиков, над созданием которой Ленин работал два долгих десятилетия, была ясная, четкая революционная теория Маркса, были народы России, измордованные самодержавием, помещиками и капиталистами, прихвостнями старого строя, вошедшими и в новое, якобы революционное Временное правительство и насаждавшими те же антинародные порядки.

Это все Зиновьев отбросил, не хотел помнить ни о чем, кроме клочков бумаги, испещренных стремительным, острым почерком Ленина.

Непросты были отношения Григория Евсеевича Зиновьева к революции, к партии, к Ленину. Он не подвергал их анализу, не копался в себе, ничего такого не формулировал и ничто подобное не смог бы вот так, запросто, изложить на бумаге. Это пребывало в нем как смутная туманность, невидимо пронизывающая все его существо.

Революция, партия, подполье, эмиграция, кружки, нелегальные газеты? Это увлекает, захватывает, заполняет собою жизнь, дает пищу чувствам. Именно с поисков пищи чувствам и начал он, один из множества детей мелкобуржуазной елизаветградской провинциальной семьи Апфельбаумов-Радомысльских. Прекрасны нескончаемые внутрипартийные и межпартийные споры, дискуссии, в которых оттачивается мастерство ораторской находчивости, мастерство импровизационной аргументации, умение на удар словом ответить еще более сильным словесным ударом. Пребывание в партии было, конечно, небезопасным, очень легко терялась свобода — тюрьмы, ссылки; нередко терялись и головы — петля или пуля. Но партия и берегла своих работников, поддерживала их, укрывала от шпиков, в особо острых случаях отправляла за границу, в эмиграцию. Зиновьев не видел интереса в кропотливой, будничной, неимоверно трудной партийной практике. Зато с головой бросался в обсуждение фактов этой практики — отвергать, критиковать сделанное другими, взамен рекомендовать, предлагать свое, конечно же, более правильное, чем сделанное или предложенное другими. На все он имел свою собственную, особую точку зрения. Его недооценивали, в этом он был уверен. Это его раздражало, злило, приводило порой в бешенство. Да, он не был согласен с Лениным по вопросу захвата власти, за что его предавали позору. А кто мог тогда представить себе большевиков во главе страны? Он не видел среди них достаточных сил и не видел личностей, способных управлять одной из крупнейших стран в мире. Он не верил в то, что без вторых, третьих, четвертых политических сил, без объединения — короче говоря, без других партий можно добиться чего-то реального. Пределом его желаний было вхождение большевиков в новое правительство на правах одной из фракций. Не рвутся же к единовластию меньшевики или эсеры! Они за коалицию.

Напрасно так резко и остро расценил Ленин их с Каменевым газетное выступление в дни подготовки к восстанию, когда партия, вопреки возражениям некоторых, решила взять власть в свои руки. Это не было сознательным предательством, нет же. Объективно статью с их мнением можно рассматривать как угодно, но субъективная ее природа была совсем иной. Продиктовал ее страх. Страх за себя, за свою жизнь в том случае, если все провалится. А что затея Ленина непременно провалится, в этом ни он, Зиновьев, ни Каменев, ни те «некоторые другие» нисколько не сомневались. Что же тогда? Если после июльских дней большевистским лидерам грозила петля, то тут от нее и вовсе никуда не уйдешь. Зиновьев и Каменев хотели предупредить всех: и своих и чужих, что они ни при чем, что они не авантюристы; той статьей они зарабатывали себе алиби на случай провала восстания.

Вспоминать об этом Зиновьев не любил, это было неприятное воспоминание. Не любил он вспоминать и то, как в конце концов с ним обошлись. В партии его запоздалым раскаяниям поверили или сделали вид, что верят, так сказать, простили. Ленин проявил отеческое великодушие, они с Каменевым сначала оказались в положении наказанных, затем прощенных мальчиков, которые еще и должны говорить спасибо, что их не высекли ремнем, а только подержали в углу.

Да, пойти на восстание — это было, безусловно, очень страшно. Из века в век то там, то здесь восставали россияне против своих правителей, и сотни лет им, бунтарям, неизменно рубили головы. Иной поцарствует, бывало, потешится властью, как Разин или Пугачев, и все равно — железная клетка, дыба, колесо, плаха на Красной площади.

Но даже и удайся план партии, план Ленина, думалось тогда, даже и приди власть большевикам в руки, приди она не на час, не на год — навечно, все равно — что же тогда? Митинговать, рассуждать, к чему-либо призывать — это можно! Но этого же, властвуя, мало. Надо управлять. А как управлять ста пятьюдесятью миллионами людей? Цари для этого веками создавали гигантскую управленческую машину. Что сможет кучка большевиков-интеллигентов? Массу рабочих и крестьян Зиновьев в расчет не брал. Это масса темная, серая, необразованная: «чаво» и «чичас». Он был убежден, что

и за тысячу лет русский народ не сможет подняться до уровня культуры, скажем, народов Англии или Германии.

Самое неприятное состояло в том, что Ленин оказался прав. Прав, черт возьми, прав! Возвышается теперь с каждым днем, он глава государства! Огромная, вскипевшая было страна день за днем, месяц за месяцем возвращается в берега порядка и государственности на новых основах народовластия. Осуществляется все то, о чем с таким жаром фантазировал Ленин в шалаше близ Сестрорецка.

Автомобиль свернул возле особняка Кшесинской направо, покатил на Выборгскую, где в одной из казарм заканчивалось обучение очередного набора пехотных командных курсов. Надо было сказать молодым красным командирам ободряющую речь. У Зиновьева не было времени подготовить ее заранее. Он пытался в пути мысленно набросать необходимые тезисы. Но это сообщение из Москвы встало поперек всех иных мыслей. Думалось теперь только о нем. «Северное правительство», «северное правительство»! Оно было любимым детищем Зиновьева. «Наказанному мальчику» не дали должного хода после Октября. Его не взяли и в Москву, оставили в провинции, в какую с отъездом Советского правительства превратилась бывшая столица русских царей. Зиновьев не мог существовать на пятых и десятых ролях. Он, человек высокого интеллекта, широкообразованный, разносторонне талантливый, и вдруг вождь губернского масштаба! Немыслимо! На Втором съезде Советов Северной области он и его единомышленники добились возможности жить и действовать в какой-то мере самостоятельно от Москвы. В областной совет комиссаров вошли тогда, конечно, по большей части ленинцы, без этого невозможно, но немало провел в областные комиссары Зиновьев и своих людей, преданных лично ему. Ряды ленинцев со временем поубавились. От предательских пуль пали Володарский и Урицкий, некоторые уехали в Москву... И вот опять он, Ленин, все Ленин, подготовил новый удар. «Северное правительство» распускается. Что ж, восторжествуют те, кто уже не раз ставил перед Зиновьевым вопрос о недопустимости, о вредности курса на сепаратизм. Один из большевиков с многолетним партийным стажем так и сказал ему напрямик: «Не укрепляем мы, а ослаб-

ляем республику, товарищ Зиновьев. Северная область, целые восемь губерний — это же добрая половина Европы! Ударится она в самостийность, за ней другая, третья... Раскромсаем российский пирог на куски — его и растащат по этим кускам, слопают Колчак, Деникин, кто за ними стоит — Антанта».

Конец «северному правительству»! В глазах тех, кто критиковал Зиновьева, кто предупреждал его от увлечений сепаратизмом, Ленин опять прав? Это невыносимо.

Люди малой души, себялюбцы, особенно те, кто по воле судьбы и случайностей взобрались на большие государственные и общественные высоты, меньше всех иных проступков способны прощать другим их правоту. Они простят что угодно: разврат, мздоимство, бездарность, пусть хоть убийство. Но не правоту. Правота другого — самое страшное в их глазах преступление. Почему же? В чем дело, в чем причины этого? Не так уж они и сложны, эти причины. Простить негодяя, помиловать убийцу — значит подняться над ним, проявить значительность, даже величие своей собственной души, оказаться его властелином. Признать правоту другого, считает мелкий человек на крупном посту, — значит стать еще мельче в сравнении с тем, с другим, унизиться, согнуться перед ним, отступить. Лишь истинно большие люди способны перешагнуть через ущемленное самолюбие и не посчитать признание правоты другого за некое самоущемление. Зиновьев не мог смириться с тем, что Ленин всегда и во всем, связанном и с теорией и с практикой революции, фатально оказывался прав. Зиновьев не был большим человеком, но волны революционной борьбы — так бывает — вынесли его вместе с другими на стрежень, и он, маленький кораблик, вынужден был вместе с теми, другими, идти в большое плавание, а волны его то и дело захлестывали.

Тех, кто оказался правым в сравнении с ними, мелкие люди будут третировать, порочить, шельмовать — поначалу еще под личиной должных приличий и благообразий, а чем дальше, тем все меньше стесняясь в средствах. В борьбе с ненавистными они пойдут на сговор, на союз с кем угодно, со своими вчерашними врагами, лишь бы то были и враги тех, им ненавистных, которые оказались правыми...

Приближались казармы, куда держал свой путь сверкающий лаком и никелем «правительственный» автомобиль. Зиновьев выпрямился на холодившем кожаном сиденье, принял позу, которая, как он понимал, соответствовала руководителю его масштаба. Что же он скажет выпускникам командирских курсов? Какие крупные мысли из его речи смогут завтра опубликовать услужливые, верные ему местные газеты? В голове, как на грех, не просто пусто, там полный сумбур. Одна надежда на опыт, на многолетний опыт испытанного трибуна.

7

— Иринушка,— сказал Илья Благовидов, едва войдя в дом и скинув пальто, — а у меня что для тебя есть! — И показал два билета в театр.

— Театр? Илюшенька! — Ирина растерялась. Было это так неожиданно для нее, так странно! Последний год, после отъезда Лялечки, шел трудно, мучительно, бесконечно долго и в таких тяготах, что уже давно за кухонными, квартирными заботами, за толкучкой в хвостах возле булочных — бывших, конечно, булочных,— за стряпней обедов в темноте и холоде, под треск выстрелов в ночных улицах она и думать перестала о том, что на свете еще есть театры, есть жизнь иная, чем та, которой жили они теперь с ее Ильей.

— Да, да, Иринушка, в театр. — Илья все держал перед ней голубые бумажные полоски, на которых были проставлены номера кресел в партере Михайловского театра. — В Петросовете преподнесли. Вот, говорят, вам, дорогой Илья Андреевич, с вашей уважаемой супругой.

Удивление, растерянность, ошеломление Ирины сменились радостным волнением.

— Неужели, неужели, — заговорила она, восклицая,— не может этого быть! Трудно верится, совсем не верится!

Она вдруг заплакала, уткнувшись лицом ему в плечо. И тут он по-настоящему, впервые с такой неотразимой убедительностью ощутил, как трудно живется его жене. Он обнял ее, поцеловал в мокрые соленые глаза.

— А что дают? — спросила Ирина, утирая лицо надушенным платочком.

— «Севильского цирюльника». Поет Шаляпин!

— Боже, боже! Саня, Санечка! — Ирина забегала, засуетилась по комнатам. — Надо же собираться, надо одеться. Помогай мне, Санечка!

— А может быть, ничего особенного и не надо надевать? — высказал предположение Илья. — Может быть, там в шинелях сидят, в бушлатах да стеганках.

— Нет, нет, если театр, так уж театр. Саня, грей утюг!

С помощью быстрой, услужливой девушки спешно извлекались, перетряхивались платья, давным-давно не троганные в шкафу, что-то подметывалось, что-то убиралось, подглаживалось нагретым на «буржуйке» утюгом. И в конце концов так старательно подметанное, поглаженное платье после примерки отвергалось как «не то». Ирина хватала следующее, тоже ставшее излишне широким, оно тоже подметывалось, подглаживалось. От шипящих под утюгом, обрызганных водой шерстяных тканей в квартире пахло паленым.

— Оставь ты все это, — поглядывая на часы, заговаривал время от времени Илья не слишком твердо. — В театрах холодно, люди не раздеваются, Иринушка. Там даже объявления вывешивают, какая температура в зале.

— Но ведь уже к весне, уже морозы прошли!

— Да, ты права. Цыган шубу продал. Верно. Но все-таки... Надеюсь, колец и браслетов надевать не будешь? — пошутил он.

Ирина ответила всерьез:

— А их, Илюшенька, у нас уже и нет.

— То есть как нет? Сдали правительству?

— Не правительству, а спекулянту.

— Что ты говоришь, Ириша?

— Что слышишь.

— И те чудесные серьги с бриллиантиками?

— Да, и серьги. Все. Овес-то знаешь нынче почем? За кольцо — коробка кофе. За кулон с топазами — бутылка водки. За каждую сережку — по банке консервов.

Теперь готов был заплакать Илья. От обиды за Иринушку, которая так любила сверкающие побрякушки.

— Милая, — сказал он, снова обнимая ее, чувствуя, что говорит эти слова утешения и для себя тоже. — Не грусти. Придет время...

— Нет, нет... — Ирина отстранилась. — Такое время уже не придет. «Мир хижинам, война дворцам». Ни бриллиантов, ни золота уже не будет никогда, нет!

— Как так не будет? Золотая промышленность не отменяется.

— Промышленность, может быть. А у людей ничего такого уже не будет. Это же преступный признак буржуйства. — Ирина иронически скривила губы.

Покидая квартиру, она сказала:

— Санечка, береги дом, без нас никого не впускай. Никого. Слышишь?

— Разве только мой брат придет, Павел Андреевич, — добавил Илья.

— Не придет, он редко у нас бывает,— сказала Ирина. — Никто не придет.

Михайловский театр от их Прядильной был неблизко. До Невского, переименованного в проспект 25 Октября, доехали, толпясь и тискаясь, в переполненном вагоне едва ползшего трамвая. Потом прошли до Михайловской площади пешком. Ирина уже давно не видала Невского. Боясь надолго оставлять квартиру, почти никуда от своей Прядильной улицы, от площади Покрова она не отлучалась. Невский печально изменился: дома все те же, но многие витрины заколочены досками, не сверкают их зовущие яркие огни, неубранный снег стоптался в твердые пласты, черно вокруг и хмуро. Ирину удивляло, что все-таки людно. Спешат, спешат прохожие. У всех есть, значит, дела. В их с Ильей краях несравнимо тише и пустынней.

На Михайловской, возле подъезда гостиницы «Европейская»,— ряды извозчиков-лихачей, даже автомобили. Какие-то разодетые женщины входят в подъезд, сопровождаемые солидными мужчинами; сквозь вращающиеся двери врываются звуки оркестра.

— Что там такое? — удивленно спросила Ирина.

— Так называемые буржуи гуляют, — ответил с усмешкой Илья. — Те, у кого бешеные деньги.

— А разве еще есть такие?

— Как видишь.

Снимать пальто в театре, увы, не пришлось. Илья был прав: возле закрытого гардероба помещалось объявление о том, что в зале только плюс восемь градусов по Реомюру.

— Ко второму действию надышат, теплее сделается, — сказала словоохотливая бабуся в капоре и митенках. — А уж к последнему и пальтецо на колени положите.

В зале, тоже как на Невском, все будто бы осталось прежним: позолота, хрусталь люстр и боковых светильников, бархат, от которого привычно пахло старыми годами. Люди же среди этого прежнего, старого уже были не прежними, другими, новыми. Они сидели в заношенных серых одеждах, с бледными, усталыми лицами. Кое-кто, прикрыв глаза, даже подремывал. Кто они такие, разве поймешь? И шинели видны, и бушлаты — опять оказался прав Илья, — и стеганки. Но среди них, резко отграниченными оазисами, Ирина, как у подъезда «Европейской», увидела скопления шуб, и дамских и мужских. Особенно в ложах. Двигались, склонялись в разговоре головы в бархатных шляпах, меховых шапках, котелках, шапочках. На чьй-то руке в тусклом свете редких электрических лампочек длинными острыми лучами посверкивал бриллиант. Переливающиеся в нем огоньки вызвали тоскливое чувство у Ирины. Тайком от Ильи она взглянула на свои тонкие пальцы, на узкую кисть. «Когда-то... Да, да, когда-то...» И вздохнула.

Все было позабыто, решительно все, едва началась увертюра. Нынешнее, тяжкое отступило, отошло, оставило Ирину наедине с ее прежним, докухонным миром. Снова молодость, жизнь в родительском доме, первые годы замужества, хождение в гости, загородные пикники, выезды на дачу под Елизаветино или в Сестрорецк... Будущее тогда тоже казалось осиянным солнцем вечных радостей. В среде инженеров, в которой они с Ильей вращались, Илье предсказывали успех, карьеру, славу. «Может быть, — говорили о нем, — наш Илья Андреевич будет вторым Завадским». Каждому такому слову Ирина искренне радовалась, потому что «первый Завадский» был российской знаменитостью, хорошо и прочно обеспеченной, вел жизнь, не стесненную средствами. Рассказывали, что Керенский хотел даже взять его в свое правительство министром железнодорожных и водных путей сообщения, но Завадский отказался, сказав, что он инженер, специалист, а не политик.

Звуки радостной музыки переплетались с мыслями Ирины, и она легко плыла над землей, над действитель-

ностью, над всеми этими людьми в зале: и над теми, кто в шинелях, в стеганках, и над теми, кто в шубах и шляпах. Конечно, конечно, Илья прав, все еще вернется, все еще будет: и кольца, и сверкающие камни, и молодость. Она еще совсем молода, еще ничто никуда не ушло.

Второй акт пошел без антракта — после минутного затемнения сцены.

Дружно вспыхнувший гул заставил Ирину очнуться.

Это публика приветствовала Шаляпина, явившегося перед ней. Все вокруг вскочили, били в ладоши, восторженно кричали. Ирина этого состояния людей не понимала. Здесь же театр, а не ипподром, не конские скачки, где зрителей охватывает полудикий азарт. Это искусство, искусство, его надо воспринимать душой, сердцем, всеми чувствами, впитывая неслышно, по каплям, как пересохшая земля впитывает влагу плодородных дождей. Дожди шумят, звонко плещутся, но земля, которой этот поток предназначен и необходим, под ними тиха, она принимает их, затаясь в своей жажде. Сама Ирина сидела так неслышно и недвижно, будто была в церкви и творила страстную молитву богу.

В антракте Илья пошел покурить. Она толкаться среди ватников и бушлатов не захотела, осталась сидеть в кресле. В зале и правда стало теплей, можно было расстегнуть пальто и снять шерстяной шарф.

— Мадам, — сказала сидевшая по левую руку от нее женщина лет сорока пяти — пятидесяти, с лицом подвижным, энергичным, в крупных, но негрубых чертах. — Вы скучаете. Почитайте это, если хотите. — И подала Ирине брошюрку на плохой серой бумаге.

Ирина прочла на обложке: «Бирюч петербургских государственных театров № 15—16. Март 1919». Открылась страничка: «Из жизни государственных театров». Оказывается, как же она отстала от жизни! Ей думалось, что с каких-то пор жизнь на земле замерла, застыла, прекратилась, ограничилась только их с Ильей квартирой, запертой на пять замков и задвижек. Но, боже мой, жизнь продолжается! Живут, действуют и этот Михайловский театр, и Мариинский, и Александринский, и много других известных Ирине. В Александринском идет чудесная «Бесприданница» Островского, играет в ней вернувшаяся из Харькова обаятельная артистка Тиме. В Большом драматическом, только что вновь открывшемся, поставили «Дон-Карлоса», в нем заняты

знаменитые Монахов и Юрьев. Ставят там шекспировского «Макбета» и «Наивного человека» по Вольтеру.

Глаза Ирины разбегались. Не отрываясь, листала она предложенную ей брошюрку. Мелькали знакомые названия спектаклей, знакомые имена артистов.

Ирина не видела, с какой улыбкой снисхождения наблюдала за ней ее соседка. По временам та обращала внимание Ирины на какое-либо из мелькнувших сообщений «Бирюча».

— Прочтите это, пожалуйста,— указывала она рукой в шелковой серой перчатке.

Ирина читала: «Современный театр» (бывший «Павильон де Пари») реквизирован под украинский советский клуб».

— Или вот!

Ирина видит: «По распоряжению комиссара Отдела театров и зрелищ М. Ф. Андреевой театр «Гротеск» был закрыт на несколько дней».

— Вот как нынешние власти распоряжаются искусством,— пояснила соседка. — Кстати, одна из сильных мира сего, именно эта комиссарша Андреева, Мария Федоровна, сидит вон в той ложе, взгляните!

Ирина вполоборота долго и внимательно всматривалась в красивое выразительное лицо женщины, на которую указывала ироническим взглядом соседка. Да, это была Андреева, весьма известная актриса: известная еще и тем, что долгие годы являлась фактической женой Максима Горького. В довоенном обществе много было пересудов об их свободном супружестве, о тех скандалах, которые разражались вокруг знаменитого писателя и этой актрисы, когда они путешествовали по Северо-Американским Соединенным Штатам. И вот актриса, красивая женщина,— ныне комиссар! Поразительно! Вместе с мужиками и бабами!.. Что же их связывает? «А что связывает с мужиками, с бабами Илью?» — подумала тут же Ирина. Может быть, и эта женщина там, как Илья, только «спец»? Тогда почему — комиссар? Нет, все так запутано...

А услужливая соседка тем временем подсказывала:

— Рядом с комиссаршей, обратите внимание,— не кто иной, как известный поэт Петербурга, господин Блок, увлекшийся революцией, большевиками.

— Блок?! —изумилась Ирина. — «Дыша духами и туманами»?.. Тот самый? Не может быть.

— Но факт остается фактом. — Видя растерянность Ирины, соседка добавила: — Ничего, дорогая моя, не все и не всё запуталось, нет. Есть просветы в тучах. Прочтите, пожалуйста, это!

«Крупным событием в жизни государственных театров, — читала Ирина, — явилось издание декрета об учреждении директории. Советы упраздняются и заменяются директорией, куда входят лица частью по выбору труппы, частью по назначению. Опера уже наметила своим кандидатом Шаляпина. Кандидатами по назначению называют многих, в том числе Алекс. Бенуа. Государственная драма выбрала Аполлонского, Смолича, Вивьена, Пашковского и Лешкова».

— Меня здесь радует хотя бы то,— сказала соседка,— что «советы упраздняются»,— и еще более внимательно посмотрела на Ирину. — Будемте знакомы,— вдруг предложила она. — Меня зовут Викторией Федоровной. Как супругу великого князя Кирилла Владимировича,— добавила с веселой улыбкой. — Я общественная деятельница. А вы?

— Ирина Владимировна. Мой муж — инженер.

— Инженер! Чудесно. — Соседка оживилась. — Вы не хотели бы повидать Федора Ивановича ближе, чем отсюда, из залы? Скажу вам по секрету, это сделать можно. По окончании спектакля к нему отправится депутация от рабочих и служащих театра. Хотят сказать знаменитому артисту доброе слово. Ну как?

— О, я была бы счастлива! — горячо ответила Ирина.

— Правда, вашему мужу будет не совсем туда удобно... А мы, две дамы... Нас и не заметят. Он, ваш муж, кстати, по какой части инженер?

— Его специальность мосты. Он все время в Петросовете...

— Это детали, в инженерном деле я ничего не смыслю. — Виктория Федоровна весело смеялась. Она нравилась Ирине. А Ирина чувствовала, что нравится ей. Когда спектакль окончился, едва опустили занавес, энергичная соседка подхватила Ирину под руку, обратясь к Илье:

— Извините, гос... гражданин инженер! Чуть было не сказала «господин». Такая тут обстановка, что забываешь про новые времена. Извините, мы с вашей женой на минутку вас оставим.

— Виктория Федоровна так любезна, — сказала Ирина Илье,— хочет провести меня за кулисы, где можно близко увидеть Шаляпина.

Илья, пожав плечами по поводу дамских фантазий и забот, отправился курить. А новая знакомая стремительно повлекла Ирину, видимо, хорошо известными ей ходами и переходами в загадочные, таинственные для простых смертных, то есть для зрителей, пыльные недра театральных кулис.

Среди нагромождения старых декораций, дощатых ящиков, холстов и сукон собралось человек сорок — пятьдесят. Виктория Федоровна, крепко держа Ирину за локоть, вместе с нею продвигалась сквозь плотную толпу вперед.

В гриме, в костюме появился наконец спокойный, уверенный в себе и своем успехе, крупный, массивный человек, тот, в голос которого Ирина только что вслушивалась, сидя в зале, — он, знаменитый Федор Иванович Шаляпин, первый бас России. Царственным жестом подав руку двум-трем ближайшим к нему людям, он слегка поклонился остальным:

— Рад, рад видеть вас, дорогие друзья! Земной вам поклон, труженики сцены, без которых мы, артисты, существовать не можем.

Ему дружно зааплодировали. Один из рабочих выдвинулся поближе к артисту.

— Глубокоуважаемый Федор Иванович,— заговорил он в полнейшей тишине. Шаляпин при этом, слегка откинув корпус назад и сцепив пальцы рук на животе, смотрел в покрытое редкими седыми волосиками темечко говорившего. Тот продолжал: — Двадцать три года назад я имел незабываемую честь видеть и слышать вас на этой же самой сцене. Вы были тогда еще очень молоды и не так, как ныне, опытны. Мы за вас, за дебютанта, переживали нашими простыми сердцами, волновались и радовались, когда у вас получилось все хорошо. Теперь вы признанный артист. Вы сами из народа, и примите же, просим вас, от имени народа в нашем лице большой-большой поклон. — Оратор низко согнулся в поясе.

Шаляпин сделал рукой так, как будто смахивает слезу-предательницу, привлек к себе старичка и под общий гул волнения ткнулся носом мимо его уха.

Ирина не заметила, как все произошло, как получилось, что толпа, в центре которой был Шаляпин, из-за кулис переместилась в другое место, и, когда внезапно

открылся зрительный зал, полный людей, увидела, что она вместе с Шаляпиным на сцене, занавес поднят, в зале грохочет овация. Все снова стоят, орут, даже визжат: «Шаляпин! Шаляпин!» Так продолжалось, может быть, две, может быть, три, пять минут. На этот раз Ирина тоже поддалась общему восторгу и, вопреки строгим своим правилам, тоже восторженно закричала. Шаляпин, в двадцатый, в тридцатый раз кланявшийся залу, заметил ее хотя и в пальто, но красивую, с привлекавшими внимание почти каждого глубокими глазами, взял ее руку («О, лишь бы не пахло луком!» — с ужасом подумала Ирина), подержал мгновение в своих руках, поднес к губам и поцеловал. Овация набрала от этого новую, почти ураганную силу. Потом артист шагнул мимо Ирины, и она осталась бы одна, растерянная, переволновавшаяся, на сцене, если бы не Виктория Федоровна. Та вновь взяла ее за локоть и вновь повела.

— Отдохните, отдышитесь, дорогая, вы так взволнованы. Муж подождет, никуда он от вас не денется. Он у вас, мне показалось, очень милый и добрый. — Виктория Федоровна отворила дверь в тесную длинную комнатку с двумя мягкими креслами, диванчиком и большим туалетным зеркалом. — Посидим здесь немного.

— Я вам бесконечно благодарна, Виктория Федоровна, за то, что вы для меня сегодня сделали, очень! — Ирину не покидало только что испытанное волнение, рука ее горела от поцелуя знаменитого артиста. Незаметно она поднесла ее к лицу: нет, кажется, никаких кухонных запахов нет, напротив, пахнет очень и очень приятным. Но это, конечно, уже не ее, а его духи, его... Сердце Иринино почти перестало стучать. Там, на сцене, в спешке, не все откладывалось в ее сознании. Теперь многое само собою в нем восстанавливалось. Она вспомнила, что на сцене были фотографы. Они расталкивали всех своими громоздкими ящиками, наведенными на Шаляпина и на нее: видела ослепляющие всплески белого магниевого света. Значит, что же? В газетах, в городских витринах могут появиться фотографические карточки: Шаляпин и она, она и Шаляпин!..

Возбужденная, Ирина охотно отвечала на вопросы Виктории Федоровны, рассказала ей о себе все: и об отце, матери, о крупном отцовском деле, о своей свадьбе, об Илье, об увлечении театрами, искусством. Умолчала только о брате Ильи, о Павле. Даже сама не зная почему.

Как-то не вмещался в этот легкий, свободный разговор большевик, обитатель Смольного Павел Благовидов. Где-то подспудно Ирине думалось, что упоминание о нем может вспугнуть, расстроить и весь этот интересный разговор, и так хорошо начатое новое знакомство. Уж очень выразительно произнесла Виктория Федоровна свое «советы упраздняются», вкладывая в эти слова особый, вполне отчетливый смысл, и Ирина не могла его не понять, не почувствовать. Она не была ни за, ни против Советов, она была против голода и холода, против тяжелой, унылой жизни, которая проходила скучно, бесцветно, понапрасну, унося с этой понапраслиной ее молодость и красоту. И если вместе с Советами «упразднятся» и эти трудности, то бог с ними, с Советами.

С каждой минутой разговора она чувствовала все бо́льшую симпатию к посланной ей богом соседке по театральным креслам, к даме с энергичными чертами лица, за которыми угадывались и сильный характер, чему так всегда завидовала в женщинах Ирина, и незаурядная, многогранная натура.

Виктория Федоровна сказала, что и в нынешнем Петрограде человек, склонный к жизни содержательной, способен найти немало интересного: устраиваются выставки, открылись музеи... Если не сидеть дома и не предаваться печалям, то можно получать сколько угодно духовных удовольствий. Она, Виктория Федоровна, хотела бы зайти как-нибудь к Ирине домой и захватить ее с собою в эти интересные места. Где живет Ирина? О, на Прядильной! По соседству, на Английском проспекте, у Виктории Федоровны есть одна хорошая приятельница, Виктория Федоровна бывает в тех местах. Сейчас она запишет номер дома и номер квартиры Ирины. Вот в эту маленькую книжечку в замшевом футлярчике.

— Да, да,— на все ее многочисленные предложения охотно отвечала Ирина. — Я готова, буду рада, рада. Теперь у меня живет прислуга. Удалось найти очень хорошую. Можно не сидеть сторожем в квартире.

Ирина ошиблась. Вопреки ее утверждениям Павел Благовидов решил навестить брата именно в тот вечер. И вот по какой причине.

Выздоровевшего Хамелайнена перевели из госпиталя в камеру заключения ЧК. Можно было бы его и отпу-

стить, взяв подписку о невыезде. Но квартиры у спекулянта в Петрограде не было, жил он поблизости от Ропши, в селе Финно-Высоцком, в нескольких верстах от Красного Села. Отпустить туда — обратно не дождешься. И не хотел бы человек удрать, да удерет — от одного только сознания, что числят его за таким учреждением, как «чрезвычайка». «Ты уж, Хамелайнен, не серчай,— говорил ему Осокин. — Такое дело. Посиди, дружище, как-никак ты же спекулянт. По закону тебя и шлепнуть можно».

Оба они, Осокин и Павел Благовидов, все обдумывали, как бы потолковей использовать торгаша, знающего дорогу в края белых. Осокин не терял еще и надежды обнаружить с его помощью банду вооруженных грабителей. Кто же их знает, просто ли они грабители или враждебные Советской власти элементы.

В тот день Осокин и Благовидов вновь встретились на Гороховой и еще раз подробно, обстоятельно допросили Хамелайнена. Нового он им ничего не рассказал: все, что знал, давно выложил.

Отправив его обратно в камеру, сидели в комнате Осокина, курили, разговаривали. Помянули Ирину.

— А не стерва она? — со своей прямотой сказал Осокин.

— Как ты смеешь о жене моего брата?.. — без особого возмущения ответил Благовидов.

— Так ведь если стерва, ему же, брату твоему, не сладко придется.

— Нет, Костя, не стерва. Просто женщина.

— А от них, от просто женщин, чего хочешь дождаться можно. Уж Панина-то, графиня, куда интеллигентка, кажись, одни цветочки всю жизнь нюхала, а туда же, в контрреволюцию полезла. А Фаина-то Каплан, революционерка вроде, в кого — в первого революционера нашего времени стрелять пошла! Да я тебе список этих простых стерв в два аршина длиной выпишу. Хочешь?

— Не надо, Костя. Ирина хорошая. Одно у нее пятнышко: из буржуев. Сто лет такое пятно выводить — не выведешь с человеческой души. Буржуйская бацилла самая сволочная. Если хочешь знать, это мне по моему отцу известно. Рабочий, трудовой человек, с пятнадцати лет на заводе. Из него хозяева цистерну крови выпили, реку пота выжали, а он им служил так, будто свое собст-

венное дело делал. Покупали, подкупали, благодарили человека. Мастер он был большой, ценный, потому и крутились вокруг него. Домишко свой помогли завести, деньги на это в долг давали. Брату Илье поспособствовали, чтобы в реальное училище был взят, а потом и в институт продвинули. Я тоже в реальном учился. А кто еще из моих приятелей смог это? Вот отец наш и старался. Нехорошо о покойниках судачить, но служил он хозяевам верой и правдой. Бацилла делала свое дело, разъедала рабочего человека. Орал, бывало: буржуи, буржуазия — вроде бы от имени пролетариата, а и сам не отказался бы стать буржуем, подвернись случай.

— А ты-то как в офицеры попал? — спросил Осокин.

— Военная организация большевиков, «военка», послала меня в училище. Только-только я тогда в партию записался. Мне сразу и задание: в училище иди. В начале шестнадцатого года было дело. Вроде бы и на офицера учиться, и работу среди юнкеров вести. Но я эту работу недолго вел. Война же шла! Командиров взводов много надобилось. Их первых бьют во время боя. Прапорщиков. Фронту давай да давай. Ну, ускоренный выпуск, погоны на гимнастерку — и душка офицерик!

— В общем,— сказал на прощание Осокин,— с Ириной вашей ты, как я тебе уже советовал, потолкуй по-свойски. Чтоб не впутывалась во всякие дела и брата бы твоего не впутывала. Он на ответственном инженерном посту. Петроградские мосты — это такое дело... Нельзя, чтобы вокруг Ильи Благовидова элементы да элементики крутились.

И Павел Благовидов решил, не откладывая это на другой раз, отправиться домой к Илье.

— Кто такой? — услышал он незнакомый звонкий голос в коридоре за дверью.

— А ты кто такая? — Благовидов недоумевал.

— А уж это дело мое, кто я такая. Не отопру, гражданин. Ступайте себе. Придете завтричка, когда хозяева дома будут.

— Не прислугу ли Ирина Владимировна взяла? — продолжал переговоры через дверь Благовидов.

— А уж это ейное дело, кого она взяла,— решительно отрезали за дверью.

Благовидову хотелось зайти в квартиру, посидеть, покурить там, в гостиной Ирины. И просто ему казалось обидным, что его могут не впустить в дом родного брата.

— Слушай, девушка,— сказал он даже, как самому подумалось, просительно,— я брат Ильи Андреевича, Павел Андреевич. Тебе не говорили о таком?

— Говорить говорили. Но еще говорили, что он редко ходит и сегодня не придет.

— А он взял вот и пришел. Что же делать? Открой, а?

— А верно это он?

— Он, он.

Санька приоткрыла дверь, держа ее на цепочке.

— Ну, ну, посмотри, посмотри. Похож я на твоего хозяина?

— Похож. Истинно похож.

Войдя в квартиру, Павел Благовидов при свете лампы рассмотрел, что на него глядели два синих настороженных глаза; светлые, до рыжины, золотистые волосы торчали в стороны двумя смешными деревенскими косичками.

Потом он сидел в кресле в гостиной, курил хозяйские сигареты и все еще смотрел на Саньку. Он остановил ее, когда, отворив ему, она тотчас хотела уйти на кухню. «Сиди»,— сказал ей. Она и сидит, степенно, терпеливо. А он на нее смотрит не отводя взгляда.

— И что вы на меня так смотрите? — не выдержала Санька. — Узоров на мне нету.

— Есть узоры,— сказал Благовидов почему-то строго. — Есть.

Ничего другого он сказать не мог, потому что и не знал, зачем ему понадобилось, чтобы эта девчушка сидела перед ним, а он бы на нее смотрел. Удивительно, но это ему было совершенно необходимо. И синие глаза эти, и косички, и вся ее фигурка, гибкая, как бы тонкая и вместе с тем вся в отчетливых формах... Видел он девиц в своей жизни. Похаживал, случалось, и до военного училища и в училище к барышням, адреса которых всегда бывали у приятелей, посиживал у них, слушал, как барышни тренькали на гитарах да пели домашними голосишками, валялся с барышнями на их измятых постелях, а потом забывал тех случайных подруг до следующего раза. А уж после революции ни о каких барышнях и разговору не стало: ни на что другое времени не оставалось, вентилятор революции вертелся круто, тугим его ветром сдувало все, что не было связано с нею, с революцией.

А что же теперь такое, почему ослаб он душой при виде этих косичек, этих настороженных синих-синих глаз?

— Какие же? — услышал он, не поняв, о чем она говорит.

— Что какие?

— Узоры какие, говорю.

— А, узоры!.. Тебя как зовут?

— Санька! Еще и Саней можно.

— Александра, значит?

— Александра — этого я не люблю. Так меня папка кликал, когда пороть звал. «Ляксандра, шумит, подька сюды, учить стану». Поясок сымет... Был у него такой, жигалистый...

— Больно бил?

— Не, не больно. Жалел ведь, не во всю руку размахивался. А только «Александру» эту не люблю я, уж как не люблю! Санька я. Но вот еще Саней можно.

— Саня, — сказал Благовидов. Сказал не ей, а себе, и ему показалось, что красивей этого имени он еще никогда не слышал. Это его удивило. А еще больше он удивился тому, что сказал дальше. — Я к тебе, Саня, в гости буду ходить. Можно?

— А про то с барыней говорить надо. Чай, не мой дом. Хозяйский.

— С барыней договоримся. А ты-то как?

— Ходите. Мне что!

Она говорила мягко, с легкой шипинкой, отчего вместо «еще» у нее получалось похожее на «ишшо». Говор был певучий, деревенский; так красиво, по-настоящему русскому, в городах, может быть, уже сто, а то и все двести лет не говорят. Как музыку, слушал Благовидов Санькины «ишшо», «летошний», «спужавшись».

— Хозяева-то где? — спросил, вспомнив вдруг, зачем он пришел.

— А в театоре. На представлении.

«В театре? Гляди, в люди мои родственнички пошли, — подумал Благовидов. — Развлекаются». И еще спросил:

— А ты бы пошла в театр, Саня? Со мной.

— Чего не пойти! Только я в театоре не бывамши. Я живые картины смотрела, в синематографе. Там комики представляют, смешно до ужасти.

— А ходила с кем?

— Одна, с кем же!

— Не боялась, вдруг обидят?

— Я сама бедовая. Что не так, зафинтилю по глазу. Глядите, кулак у меня какой!

Благовидов подержал ее кулачишко в руке, поразглядывал. Но, по Санькиным понятиям, разглядывал, видимо, излишне долго. Она строго взглянула на него и отняла руку.

Уходить Благовидову не хотелось. Но было поздно. До Смольного тащиться далеко и трудно, и он стал прощаться.

— Ты уж смотри, Саня, буду захаживать в гости-то.

— А что ж, приходите. — Обдала всего испытующим взглядом. И загремела за ним дверными задвижками.

Держа наган за пазухой шинели, Благовидов зашагал тем же знакомым путем, по тем самым местам, где стреляли в него и где ранили Хамелайнена. Авось грабители снова выйдут сегодня на охоту. Но он шел, и никого не было на повороте с Прядильного на Фонтанку. Шел в тишине, не замечая ни дежурных возле домов, ни ухабов под ногами, напевая что-то бодрое, радостное и сам не слыша что.

8

Несколько дней после театра Ирина ходила восторженная, праздничная. Смотрелась в зеркало, делала свою любимую прическу — большой узел на затылке, который оттягивал назад и придавал голове величественное положение. «К такой не подступишься»,— думала она сама о себе и, довольная, улыбалась.

— Вот и ты как-нибудь, Саня, сходишь, посмотришь, что это за театр, — сказала она в одну из таких светлых для нее минут.

— А меня братец нашего хозяина уже звали, Павел-то Андреевич. Я ему ответила, как барыня распорядится, так тому и быть.

— Что ты все «барыня» да «барыня». Нехорошо это, нельзя теперь так.

— Привыкши. Не могу же я вас гражданкой-то.

Ирина всматривалась в свою новую прислугу и думала о ее словах. Вот, оказывается, каков вкус Павла. Несмотря ни на что — ни на реальное училище, ни на офицерское училище,— так и остался он мастеровым, пролетарием. Вот кто ему, господи боже, люб, кто ему пара — деревенская, полуграмотная девка.

Покуривая сигарету в гостиной, Ирина наблюдала за тем, как быстрая, ловкая Санька летала по комнатам, по коридору и в считанные минуты успевала сделать то, что ежедневно отнимало у Ирины по многу часов — все эти невыносимые, грязные и кухонные и коридорные дела.

«Это же их политическая программа,— возвращалась Ирина к своей мысли о Павле и Саньке. — Они очень последовательны: «Кто был ничем, тот станет всем!» И в конце концов может получиться так, что сельская рыженькая мадемуазелька с ее смешными косичками станет советской гранд-дамой, будет разъезжать со своим супругом... не с Павлом ли?.. в автомобиле, а такие, как она, Ирина, знающая фортепьянную музыку, французский и английский, точнее, знавшая когда-то, такие будут обслуживать — обшивать и обстирывать — новых хозяев России, вот эту самую сопливую Саньку...»

Сказав слова «хозяева России», Ирина подумала о Виктории Федоровне. Кто она, та энергичная, откровенная дама, какой род общественных обязанностей может выполнять такой сильный человек? «Бирюч», который новая знакомая оставила Ирине, оказался любопытной брошюркой. В числе прочего Ирина узнала из него, например, что двадцать третьего минувшего февраля в Александринском театре состоялось торжественное заседание по случаю столетия Петербургского университета. «Когда взвился занавес,— с увлечением читала она,— то переполнявшая зал публика увидела длинный стол, за которым занимали места профессора, студенты, артисты государственной драмы, представители технического персонала и др.». Выступали потом известные люди. Артист Пашковский сказал профессорам университета и студентам: «Мы хотим встречаться с вами не только в праздник, а хотим, чтобы университет считал наш театр своим домом». Читали адреса, что-то декламировали, студенческий хор спел «Gaudeamus», исполнял песни, без которых не мыслится жизнь студентов: «Быстры, как волны, все дни нашей жизни», «Наливай брат, наливай!».

Ирина уносилась мыслью в тот, иной, возвышенный мир, противоположный грубому, материальному миру Павла, не расстающегося с револьвером, миру Саньки, гремящей там, на кухне, посудой.

Тот, иной, мир богат чувствами, он красив, он гоним сегодня, как полторы тысячи лет назад были гонимы первые христиане. «А мы, мудрецы и поэты, хранители

тайны и веры, унесем зажженные светы в катакомбы, пустыни, пещеры»,— прекрасно сказано, чудесно. Эти вера и тайна, все светы культуры, они хранятся, не умирают, не угасают, нет. Есть, есть люди, свято сберегающие их. Ирина снова и снова думала о Виктории Федоровне, тезке супруги отбывшего в дальние края великого князя Кирилла Владимировича, того самого из Романовых, который в дни Февральской революции во главе матросов Гвардейского экипажа вышел на улицу с красным бантом на груди. Виктория Федоровна представлялась ей одной из таких овеянных загадками хранительниц тайны и веры, о которых говорит поэт Брюсов.

Велика же была радость Ирины, когда однажды среди дня на вопрос после звонка в дверь «кто там» с лестницы ответили: «Виктория Федоровна. Вы меня не забыли?»

Виктория Федоровна тоже курила папиросы, выпила она и чашку кофе, собственноручно сваренного Ириной. Санька варить кофе, по мнению ее хозяйки, конечно же, не умела, хотя, если говорить по правде, варила точно так же, как варила и хозяйка. Гостья восторгалась порядком и чистотой в доме. Ее интересовало в нем все: и происхождение каждой вещи, и мастер, от которого мебель, и не заколочена ли дверь на черную лестницу, и есть ли путь проходными дворами. «Ах, на Английский проспект! Это же превосходно! Там рядом Покровская площадь, Садовая...»

Затем она сказала, что ей очень бы хотелось пригласить Ирину к себе. Правда, для начала без мужа — соберется только дамское общество, понимаете ли, дамское. Мужчины с их постоянной политикой способны испортить любой интересный разговор. Хотя, конечно, она, Виктория Федоровна, тоже занята политикой как общественная деятельница. Но всему надо знать меру и не везде этой политикой подавлять все остальное. Потом, позже, можно будет собраться с мужчинами; а пока только дамы, дамы, дамы, которым так тоскливо в темном, замороженном городе. Ведь женщина всегда остается женщиной, не правда ли?

Но и в общество дам, окружавших Викторию Федоровну, Ирина попала не сразу. Несколько дней перед этим Виктория Федоровна водила ее по городу.

— Вы, оказывается, совсем нелюдимка,— говорила она Ирине. — Затворились в стенах своей квартиры. Так

нельзя, дорогая, нельзя. Смотрите, сколько вокруг интересного.

Вместе с Викторией Федоровной Ирина попала в какой-то манеж, где шел красноармейский митинг. Выступал Максим Горький. Он говорил медленно, окая, оглаживая усы, а под конец заплакал. Тогда к нему хлынули красноармейцы, женщины в кацавейках. Он писал какие-то записочки по их просьбам, смахивал пальцем слезы с глаз.

— Трудно ему, — сказала Ирина. — Такой известный писатель — и вот среди мужиков...

— Ах, бросьте, — ответила Виктория Федоровна. — Он сам мужик. Они ему ближе, чем мы с вами. Он, может быть, сейчас и растерян, а в конце-то концов найдет с ними общий язык, как его женушка-комиссар.

Затем они побывали в каком-то зальце на Петроградской стороне. Там уже были не красноармейцы, а, как поняла Ирина, интеллигенты и полуинтеллигенты. К ним с лакированной белой трибунки обращался Александр Блок. Нет, не о прекрасной незнакомке говорил он на этот раз. Его слова поражали Ирину.

— «Россия гибнет», «России больше нет», «вечная память России»,— передразнивая кого-то, говорил Блок, устремив взгляд в полутемную залу. — Вот что я слышу вокруг себя. Но передо мной Россия совсем не гибнущая, а та, которую видели в своих пророческих снах наши великие писатели... Россия — буря. Демократия приходит опаленная бурей, сказал Карлейль.

Какой-то тип с белыми, выпученными глазами завопил при этом:

— Хватит! — И, сунув пальцы в рот, пронзительно свистнул. — Продались большевикам!

Блок спокойно продолжал:

— России суждено пережить муки унижения, разделения. Но она выйдет из этих унижений новой и — по-новому — великой!

Поднялась буря свистков и криков. Белоглазый орал:

— Долой!

За ним десятки глоток подхватывали это «долой».

Но Блок не сдавался. Стараясь перекричать их всех, он кинул в залу:

— Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушай Революцию!

Петроград открывался перед Ириной такими сторонами, о существовании которых она и не подозревала. И только неделю спустя Виктория Федоровна сказала ей, чтобы она была готова к встрече с ее кругом.

Назавтра, выйдя из автомобиля в районе Казанской улицы и Вознесенского проспекта, Ирина следом за приехавшей за нею Викторией Федоровной долго шла грязными проходными дворами до такой же грязной «черной» лестницы в самом дальнем дворе.

— Парадные, милочка, тут все заколочены. Это строгий район. Поблизости Гороховая — Чека! Понимаете?

— А чей это был автомобиль? — поинтересовалась Ирина.

— Одного советского комиссара. Они когда-то дружили с моим покойным мужем. Очень милый человек, помнит старую дружбу и всегда откликается на просьбы.

— Ваш муж умер?

— Да, — неохотно ответила Виктория Федоровна. — Не споткнитесь, пожалуйста. Тут очень высокая ступенька. Его не стало минувшим летом,— и поправилась,— осенью, в сентябре. Слишком еще горячи раны. Не хочу об этом.

— Простите.

На третьем этаже толстая женщина, по виду кухарка или прачка, на глухой стук в порванную клеенку, из-под которой лез грязный войлок, отворила перед ними «черную» дверь.

И грязные, запутанные дворы, и лестницы, где отвратительно пахло кошками, и эта ужасная дверь немало поразили и озадачили Ирину.

Но насколько неприятен и даже ужасен был путь до квартиры Виктории Федоровны, настолько ослепительной оказалась сама ее квартира. Комнат было не сосчитать, строители распланировали их не анфиладой вдоль коридора, как делают обычно, а лабиринтом, по ним можно было ходить вкруговую и даже заблудиться на переходах. Превосходна была в комнатах мебель. Такой Ирина не видывала и в лучших мебельных магазинах на Невском или в Гостином дворе, куда любила похаживать в счастливые времена до переворота. Она ахала и восторгалась.

— Да, это произведения искусства,— довольно равнодушно согласилась с нею Виктория Федоровна.

В квартире уже было несколько дам. Одна из них назвалась Марией Дмитриевной Веронелли, художницей. Она была уже немолодой, обрюзгшей, одетой неряшливо; нетрудно было понять, что за собой она не следит. Оживилась художница лишь тогда, когда Ирина заговорила о пейзажах на стене в столовой. Веронелли принялась водить ее по комнатам и, останавливаясь перед каждой картиной, подробно рассказывала о них, об их авторах, о школах, к которым принадлежали мастера.

Вторая дама, лет тридцати пяти — сорока, когда ей представляли Ирину, как-то странно взглянула на нее, услыхав фамилию «Благовидова», прищурила в раздумье глаза и вышла из комнаты. Потом она снова пришла, и снова вышла, и опять пришла, и все разглядывала Ирину. Ирина тоже ощущала желание взглянуть на Зою Иннокентьевну, как звали даму. Она показалась Ирине знакомой, будто бы когда-то, очевидно мельком, Ирина где-то ее встречала, но где — припомнить не могла.

Пили чай с хорошим сухим, «старорежимным», печеньем, разговаривали. Мария Дмитриевна, оказалось, служила в открывшемся в январе музее города в Аничковом дворце. Она звала Ирину зайти на досуге в музей. Там много интересного, новая власть не только разрушает, но и сохраняет, в чем деятельно помогают ей патриоты России, истинные ценители и хозяева всего прекрасного, созданного на русской земле.

Зоя Иннокентьевна все больше молчала и по-прежнему внимательно рассматривала Ирину, будто ждала от нее чего-то, и, если судить по выражению ее лица, скорее неприятного, чем приятного.

Виктория Федоровна завела разговор о прежней жизни, о семьях, о детях, мужьях, хотя, как сказала она Ирине, о своем покойном муже ей вспоминать не хотелось. Муж Марии Дмитриевны, оказывается, тоже умер, и давно; Мария Дмитриевна вдовеет второй десяток лет, вот переехала теперь к Виктории Федоровне, с которой они старые приятельницы. Дети? О, дети взрослые! У каждого своя жизнь. Она даже не знает, где они. Россия изрезана импровизированными границами, через которые почта не ходит.

Зоя Иннокентьевна вздохнула.

— А мы с мужем разошлись,— сказала она и вновь испытующе взглянула на Ирину. — В преклонном

возрасте он предался разврату: горничные, легкомысленные девицы, просто девки с улицы... В таком доме жить было уже невозможно. — Из-за тугой манжетки она извлекла платочек, приложила его к глазам.

И у третьей дамы, как выяснилось, мужа не было. Все безмужние, только у нее, у Ирины, муж есть, цел, жив, здоров, никуда от нее не ушел. Все дамы набросились поэтому на нее с расспросами. Их восхищало, что ее Илья — инженер, что он учился у знаменитого Завадского, что не состоит ни в каких партиях. Хотелось бы, правда, знать: если он не большевик, то почему же тогда «товарищи» так хорошо к нему относятся? Ах, отличный специалист? Да, да, мосты. Мосты Петрограда!..

Когда стало смеркаться, в тихую квартиру вопреки уверениям Виктории Федоровны вторглась большая компания мужчин. Целых шесть человек. Пришли они не одновременно, а появляясь по одному, по двое на протяжении получаса. Они были самых различных возрастов — от двадцати пяти и до пятидесяти. Все решительные, мужественные, резкие. Ирине подумалось, что, если бы на каждого из них надеть военный мундир, каждый бы из них мог оказаться офицером, командиром.

Виктория Федоровна шепнула ей:

— Прошу прощения, мой друг. Это так неожиданно! Но что поделаешь? — Она развела руками. — Мужчины!

На столе появились бутылки с водкой и вином, кухарка готовила на кухне, горничная бегала по коридору с блюдами на подносе.

Как ни отказывалась Ирина, не помогло, все вместе они заставили ее выпить несколько рюмок вина.

— Оставь мадеру, Кубанцев! — командирским тоном окрикнул подстриженный седеющим бобриком гость, которого, обращаясь к нему, называли Романом Антоновичем. Тот, к кому был обращен этот окрик, Кубанцев, немолодой, но молодящийся, бойкий, в ухмылке открывающий редкие мелкие зубы, отвел руку с бутылкой от бокала Ирины. — Мадера — вино святошей и ханжей. Пойло Гришки Распутина. Он петербургских знатных баб этой дрянью спаивал.

— Роман Антонович! — хором вскричали дамы. — Фи!..

Роман Антонович встал и почтительно склонил перед дамами и отдельно перед Ириной свою седину.

— Экскьюз ми,— сказал он на скверном английском,— прошу простить меня великодушно: солдат.

Дамы переглянулись, посмотрели на Ирину с заметной тревогой. Но Ирина отнесла эту тревогу на счет их беспокойства по поводу грубости седого «солдата». Она милостиво, прощающе ему кивнула. Этакое ли приходится слышать каждый день на улице, в очередях, в трамваях! Ирина и не предполагала прежде, что в русском языке есть такие чудовищные слова, такие грязные ругательства и что их в нем так неисчислимо много.

Мужчины ушли в бывший кабинет бывшего хозяина квартиры, обставленный менее ценной мебелью, чем столовая, гостиные, спальни. Мебель кабинета была тяжелая, темного, почти черного дуба, обитая такого же цвета черной кожей; от нее было темно, мрачно и тесно.

Дверь притворили изнутри, сквозь ее дубовые створы лишь очень глухо слышались отдельные выкрики, общее гудение и рокот.

От вина, которого Ирина не пила много лет, у нее зашумело в голове, ее потянуло в сон. Она сказала, что ей пора домой, муж, наверно, уже возвратился и волнуется.

— Мужчины! — Виктория Федоровна распахнула дверь кабинета. — Дама уходит!

— Наш долг — вас проводить! — заявили двое из них, оставляя компанию. Один — Ирина уже знала — был Кубанцев, а второго, лет тридцати, высокого, подтянутого, но несколько меланхоличного, называли Георгием Константиновичем.

— Зачем же, зачем! — возразила Ирина. — Мне совсем недалеко. До Покровской площади.

— Все равно. Наш долг.

Покрасневший от смущения молодой человек, самый молодой в компании, тоже хотел было предложить себя ей в провожатые. Он сказал, что возле Покрова живет его тетя. Но старшие взглянули на него так, что он покраснел еще пуще и умолк.

Георгий Константинович надел старое, заношенное пальто, Кубанцев — неуклюжую куртку из грубого бобрика, и оба тотчас превратились в городских обывателей. Обычные питерские мужики, ничуть не лучше спекулянта Бабашкина, который таскает ей заграничные припасы. Да и сама-то она, взглянуть на улице со стороны, в ее будничном пальтишке, в теплом платке, в

этих на два номера больше, чем надо, высоких ботинках,— разве не тетка теткой?

Виктория Федоровна, провожая до дверей, все говорила:

— Адрес теперь знаете. Заходите, милая, заходите. Будем очень-очень рады.

Улица встретила их удручающей слякотью. Только что выпал рыхлый, мокрый снег. Он таял, и ноги ступали по насыщенному водой, тяжелому месиву. Сырость ползла вверх по ногам — от подошв к коленям, распространяясь по спине, достигала шеи, затылка. Это было ужасно. Ирина не знала, куда и как ставить ноги.

— Хотите, мы вас понесем, Ирина Владимировна? — предложил Георгий Константинович.

— Что вы, что вы! — Она даже испугалась.

— Вот так сложим руки... Беритесь, Кубанцев!.. — Они ловко, по-особому, сцепили кисти рук. — Видите, получается превосходное сиденье. Так на фронте санитары переносят раненых. Садитесь!

— Нет, нет, нет!

— Тогда вот что,— предложил Кубанцев. — Надо немножко переждать. За углом, на Фонарном переулке, живет мой брат. Зайдемте на минутку.

— Ой-ой, нет, никак не могу! Меня муж ждет. Пойду одна. — И Ирина устремилась вперед, уже не глядя под ноги.

— На минутку, — повторил Кубанцев, загораживая ей дорогу. — Мы с Горчиличем,— он кивнул на Георгия Константиновича, — выпьем по рюмке, чтобы не простудиться, и пойдем. Не бойтесь. У брата жена, две дочки, милые девочки...

— Пожалуй,— поддержал Кубанцева и Горчилич, — в этом есть известный резон, Ирина Владимировна.

Ирина отказывалась, колебалась. Они настаивали, уверяли, что и у того и у другого уже начинается простудный озноб, как бы не получить воспаление легких, и в конце концов затащили ее в один из домов на Фонарном переулке.

Был ли там брат Кубанцева, была ли его жена, Ирина понять не смогла. В передней ее спутников встретили хохочущие женщины, совсем не того круга, из какого были приятельницы Виктории Федоровны,— молодые, бесшабашные, очевидно пьяненькие. И полным-полно оказалось мужчин. Из передней было видно, как они си-

дели в большой комнате за обширнейшим столом, уставленным бутылками, тарелками и судками: лица их тонули в табачном тумане. И в других комнатах был кто-то. Там бренчали на гитаре, пели, тоже смеялись.

— Я пойду. — Ирина испуганно пятилась к двери. — Проводите меня на улицу.

— Один момент! — Кубанцев ловко снял с нее пальто. Она не успела рукой шевельнуть. — По единой рюмке и — айда!

Минуту спустя Ирина уже сидела за столом, снова пила какое-то сладкое вино, уж теперь-то, думалось ей, наверняка мадеру, которой Гришка Распутин спаивал петербургских баб. В голове шумело еще больше, мужчины, женщины, стол, стулья плавали вокруг, то растворяясь в дыму, то вновь возникая как привидения. «Боже, боже! — не столько со страхом, сколько с тяжкой покорностью думала Ирина. — Что со мной делается и что со мной будет?»

Из тумана над головами сидящих перед нею выплыло одутловатое лицо с белыми выпученными глазами. Оно было как бы надето на тонкую цыплячью шейку в цыплячьих пупырышках. Лицо принадлежало длинному человеку, оно моталось почти под потолком и было удивительно знакомо Ирине. Она видела его раньше, видела, но прежде эти белые глаза не были такими белыми, они были тогда голубыми. Где же она его видела? И почему так выцвели эти глаза?

— Лужанин? — вдруг сказала она, вспомнив. — Вадим Лужанин?

— Именно, милая девочка, именно. Лу-жа-нин! — произнес он по слогам.

Ирина обрадовалась встрече. Ей вспомнились свадьба, хорошие дни, счастливые годы.

Не ходи в золоченые клети,
Обитай в полудиких дубравах.
Ты и я, мы, не правда ли, дети?
Нам пастись на нетоптаных травах, —

продекламировала она.

— Может быть. — Лужанин, очевидно, забыл свои стихи, сочиненные восемь лет назад. Он сел рядом с Ириной и смотрел на нее с бессмысленным недоумением. — Но нет же никаких дубрав! — воскликнул

пьяно. — Одни клети, клети! — Поднялся вновь и, пошатываясь, затянул громогласно:

Мы пойдем по России смерчем возмездия!
Мы будем рубить холопские головы.
Содрогнутся в небе созвездия.
Красные глотки зальются расплавленным оловом!

— Вадим, Вадим! — завопили девицы. — Вадим декламирует! Все сюда! Сюда!

Лужанин взобрался на стол, давя башмаками хрустко стреляющие тарелки. Из-под его подошв летели брызги винегретов. Ирина отшатнулась от стола.

Белая смерть
над землей
свои крылья
расправила... —

продолжал Лужанин, актерствуя, кривляясь, изображая эту смерть своим дергающимся лицом.

Иринино радостное возбуждение остывало, отступало. Нет, это не минувшие, не прошлые годы, это совсем все другое, переменившееся, странное, нынешнее. Кто его знает, как прожил долгие и вместе с тем очень короткие восемь лет тогдашний юный, смешной, трогательный поэт, который заглянул случайно в зал ресторана Соколова. Годы сделали свое: он знаменит, его всюду поминают, но он ужасен и отвратителен, как ужасна и отвратительна вся действительность, вся тяжко страдающая, больная Россия.

— Не надо про смерть! — закричали девицы. — Надоело! Давай про любовь, Вадечка, про любовь!

Поэт поскользнулся на столе и упал бы, не подхвати его несколько пар доброжелательных рук. Тогда он вновь взобрался на стол.

Надо проще, проще, проще!
Губы к губам, губы к губам!
Любить будем хлестче, хлестче, хлестче!
Под звоны бубнов, под грохот тамтам.

Все зааплодировали. Он облизнул сохнувшие губы:

Сбрось скорей свое девичье платьице,
Не скрывай свою девичью грудь,
Нет, не надо о прежнем плакаться,
Будь проказницей, будь умелицей, женщиной будь!

Лужанина опять подхватили на руки, понесли на плечах, как триумфатора, по комнатам.

— Уйдемте, — сказал Горчилич Ирине. — И простите меня. Я не знал, что тут такое. Это позор. Это бедлам.

Он подал ей в передней пальто, отворил дверь и так и оставил распахнутой.

По слякоти, по снежному месиву они долго добирались до Покровской площади.

— Знаете, это кто? — с огорчением говорил Иринин провожатый. — Это подонки, отбросы. — Хмель делал его откровенным. — Надо спасать, спасать Россию, а они ее пропивают. Последнее пропивают, мерзавцы! Вы знаете, кто этот оставшийся там Кубанцев? Голубая крыса. Жандарм! У офицеров русской армии никогда не было ничего общего с жандармами, а вот... так получается... сидим за одним столом. Пакость! Настоящий среди этой шайки только один Роман Антонович. Запомнили его бобрик, седину? Это полковник Незнамов. Ирина Владимировна,— Горчилич понизил голос,— я надеюсь на вас. Я не имел права называть этого имени. Обещайте.

— Клянусь! — горячо воскликнула Ирина. Она была взволнована и в глазах своих возвышена тем, что приобщалась к таким великим тайнам и тоже как бы становилась хранительницей скрытого от других; она вставала в один ряд с мудрецами и поэтами, уносящими светы культуры в катакомбы, пустыни, пещеры. — Клянусь! — повторила еще более пылко.

— Роман Антонович прибыл из другого мира. Там,— Горчилич взмахнул рукой во мрак,— там не дремлют, там готовятся, и Петроград, может быть недалек уже день, услышит голос освободительных пушек. Большего, извините, я вам сказать не могу. Русский офицер... Да, да, Ирина Владимировна, перед вами русский офицер, капитан Горчилич, кавалер двух крестов святого Георгия. Друзья иногда шутят, так и говорят обо мне: дважды Георгий. Первый из них я получил... представьте себе — кругом Георгии!.. под крепостью Ново-Георгиевск. Были ужаснейшие бои, мы оставляли крепость, уходили... Да ну, вам это нисколько не интересно. А Роман Антонович — это один из тех, кто пытался спасти царя. Было много таких попыток, когда государя держали то в Тобольске, то в Екатеринбурге. Одну из них предпринял он, полковник Незнамов. Вы обещали, Ирина Владимировна,— снова заволновался Горчилич.

— Да, да, да!

— Сюда, к нам, он прибыл... — Разговорившийся Иринин спутник не смог удержаться, чтобы и об этом не сказать красивой молодой женщине. — Он прибыл, — шепнул почти в самое ухо Ирины,— от генерала Юденича.

«Что такое? — подумала Ирина. — Юденич?» Где она слышала об этом генерале? Да! О нем недавно говорил Павел. Павел поминал его почти как главного врага красного Петрограда.

И, как часто бывает, стоит лишь разворошить, привести в движение память, одно воспоминание привело за собой другое. Дама-то эта, дама, которая в квартире Виктории Федоровны, это же Зоя Иннокентьевна, жена профессора Завадского. Вместе с наставником Ильи она была на их с Ильей свадьбе у Соколова. Она позабыла Ирину. А может быть, Ирина тоже изменилась, как за восемь лет изменилась Зоя Иннокентьевна, и ее трудно узнать. А может быть, она и признала ее, недаром же посматривала так настороженно, чего-то ожидая. Но почему настороженно, чего ожидая? И почему не сказала, что помнит, знает?

— Это была Завадская? — напрямик спросила Ирина своего спутника.

— Да, да. Зоя Иннокентьевна. Какую-то они с мужем совершают комбинацию. Никуда она с ним не расходилась. Просто не живет на прежней квартире. Все для отвода глаз. По чьих глаз, не знаю. Сейчас все так перепуталось! Приходится быть заодно с последними проходимцами. И это называется собиранием сил! — Горчилич усмехнулся. — Эсеры, кадеты, монархисты Пуришкевича и Маркова-второго... А что они все? Ничто. Без нас, без офицеров, одна говорильня. Полководцы без армии. Вот и заигрывают с нами. Поят коньяком и кормят сардинами, которыми их снабжают дипломаты Антанты. Эти дипломаты опрометчиво ставят ставку на болтунов. Чушь все! Не на них, а на нас, на офицеров, надо надеяться!

Они уже были на Прядильной, неподалеку от дома Ирины.

— Дальше я не пойду. — Горчилич остановился. — Дабы не подвести под подозрение вас. Какие-нибудь домкомовцы могут увидеть и — шасть в Чека.

Он почтительно поцеловал ее руку, задержав на своей ладони.

— В этой руке, Ирина Владимировна, теперь моя жизнь. Учтите. Я слишком был откровенен. Я даже нарушил офицерское слово.

— Я поняла и полностью отдаю себе отчет во всем.

— Благодарю. — Из кармана пальто Горчилич переложил за пазуху браунинг. — Подожду, пока вы не дойдете до дому. Мало ли что может быть.

9

Генерал от инфантерии Николай Николаевич Юденич в глубоком раздумье стоял перед большим овальным зеркалом в занимаемых им и его супругой многокомнатных апартаментах гельсингфорсского отеля «Societethouset». На свою наголо обритую голову он примеривал новую, только что доставленную местным шапочником фуражку. Фуражка имела широкий внушительный верх, превосходный козырек, сидела ни туго и ни свободно; именно такой фуражке и надлежало быть у «полного» генерала прежней, царской армии.

Раздумье породила не сама эта отличная фуражка, а маленькая, казалось бы, пустячненькая ее деталь. Как быть с кокардой?

Как быть с усами, генерал уже решил. Унося после свирепых большевистских арестов минувшей осени немолодые свои ноги из красного Петрограда, он не имел никаких усов на ухоженном, холеном лице. Уж больно усы его были известны людям по фотографическим снимкам, которыми пестрели газеты тех дней, когда кавказские войска под командой генерала Юденича громили союзных немцам турок и победоносно штурмовали Эрзерум. То были усы с размахом, до самых золотых погон — пышные, роскошные, одно загляденье; в том прежнем виде их можно созерцать теперь лишь на фотографии, которую, оправив бархатной небесно-голубой рамкой, супруга генерала установила на ночном столике возле своей постели в гостиничной спальне. Один из преданных офицеров почтительно удалил их в минувшем октябре золингеновской бритвой и вместе с мыльной пеной, для полнейшей конспирации, выбросил в унитаз. Петроградские большевики, направо и налево хватавшие тогда всех бывших царских генералов, были сбиты таким образом со следа героя-кавказца. Вместе с офицерской группой,

которую вел верный ему человек, генерал пробрался сюда, в Финляндию. Поначалу обитать пришлось весьма скромно, в недорогих пансиончиках и отельчиках, задавая себе один и тот же роковой вопрос: а не податься ли еще дальше, в Европу? Финляндия — убежище не больно надежное, того и гляди здесь вновь окажутся большевики, как уже было — народ-то бушует, большевистская зараза, подобно оспе, разносится ветром революций и потрясений. Но мало-помалу дела стали меняться. То сидел в одиночестве, почитывая вслух французские романчики своей супруге перед сном, а то и покоя не стало. Первым с политическими разговорами явился известный кадет Петр Бернгардович Струве; за ним рассуждать о спасении России пришел бывший товарищ председателя Государственной думы князь Волконский; дальше пачками повалили бывший министр Временного правительства Антон Владимирович Карташев, профессор Кузьмин-Караваев, нефтяной миллионщик Лианозов, весьма вертлявый петербургский присяжный поверенный господин Иванов с некогда влиятельным журналистом из «Речи» Кирдецовым и прочая, прочая, вкупе составлявшая еще один из множества зарубежных «русских комитетов», так сказать, гельсингфорсский их вариант.

Генерал Юденич не любил без крайней нужды сниматься с обжитого места. Но камарилья эта, ссылаясь на некое «Парижское совещание» неких государственных умов, оказавшихся в Париже, на горячее желание стран Антанты, убедила его прокатиться в Стокгольм. Там уже знали о нем, ждали его и должным образом встретили. Особенно любезен и обходителен был знаток солдатских анекдотов американский посол в Швеции господин Моррис. Не слишком информированный в то время о положении дел и у красных и у белых на тысячеверстных фронтах юга, севера, востока и запада, зная лишь, что на Дону армию готовит Деникин, что на Волгу, поддержанный американцами, французами, англичанами и японцами, наступает Колчак, Юденич высказал американскому послу мысль о том, что как бы там ни говорили, а наикратчайший путь в Россию лежит через Финляндию — через Выборг, Териоки и Сестрорецк. Словом, идти надо на Петроград.

— Для русского человека столицей России остался он, наш Санкт-Петербург, град Петров! Взять Петро-

град — и государство большевистской нечисти рассыплется само собой.

У посла под рукой оказалась соответствующая беседе карта, помощники принесли цветные карандаши, и генерал Юденич принялся чертить стрелы наступлений через те же лесные, комариные места, по которым он недавно — только в ином направлении — пробирался из Петрограда в Финляндию.

— Пятьдесят тысяч солдат, обеспеченных продовольствием, миллионов двести наличных денег и кредит Антанты — вот что нам надобно, господин посол. И с большевизмом будет покончено. Мир вздохнет облегченно.

— Двести миллионов чего: рублей, долларов, фунтов, франков? — Американца лирика не интересовала.

— Рублей, разумеется. Мы — русские.

Деловой характер носили разговоры и с представителем Англии.

Юденич еще не успел занять свое место в вагоне поезда Стокгольм — Гельсингфорс, а через Европу, затем дальше по кабелю, опущенному на дно Атлантики, уже отстукивались зашифрованные донесения в Лондон и Вашингтон.

После этой поездки, собственно, и начались перемены в жизни генерала. Финские банкиры решились открыть ему некоторый кредит, «Русский комитет» стал уделять должное внимание как полководцу, собирателю сил. Армии у генерала пока еще никакой нет, но поселился он уже в одном из лучших отелей Гельсингфорса. В передней его апартаментов дежурят адъютанты; роскошные усы вновь потихонечку отрастают, их можно оглаживать, поправлять щеточкой, можно подуть в них, и они пушатся. Есть уже и новая превосходная фуражка.

Но вот как быть с кокардой; с этим знаком принадлежности не просто к прежней русской, но именно к царской армии? Весьма затруднительный вопрос. Генерал Юденич никогда не был замешан в политической возне. И очень этим гордился. Он не Корнилов, не Колчак, не Деникин и даже не Лукомский. После февральского переворота он беспрекословно подчинился новой власти, присягнул Временному правительству и честно ему служил. Никто не может сказать, что это не так. Следовательно, с принадлежностью к царской армии покончено, и покончено добровольно. Как же надеть эту кокарду? Не будет ли она знаменовать собою монархическую

демонстрацию с его стороны? Могут поднять шум финляндцы. Кстати, они и так уже кричат, видя в своей столице уймищу царской военщины и всякой некогда окружавшей романовский двор шушеры. Сложное дело с этой кокардой. Никогда не знаешь наперед, где тебя подстерегает опасность.

Но и без кокарды невозможно. Неприятен вид без нее у фуражки, как у лица без носа. Если на него, на боевого генерала, с такой надеждой взирают сейчас все, кто разметан революцией по российским бывшим окраинам, кто хочет вернуться домой, в Россию, в Петроград, то он, этот генерал, не может появиться перед ними в нелепом виде. Ему нельзя компрометироваться. Сказать-то ведь по правде: столь популярного полководца ни в Гельсингфорсе, ни в Ревеле, ни в Риге второго нет. Делалась тут ставка на господина Маннергейма: своих красных он — что правда, то правда — лихо перевешал, говорят — пятнадцать тысяч на тот свет поотправлял; но смог ли бы он это сделать без помощи немцев — вот вопрос,— не Балтийская бы дивизия фон дер Гольца, и не выстоять бы господину Маннергейму перед своей финляндской революцией. Да и капризен господин Маннергейм, чуть что — подает в отставку. А с чего гонор такой? С того, видимо, что последний самодержец этого финна, а точнее, шведа, не знающего финского языка, излишне тепло привечал, даже возле трона в день коронации стоять поставил в ряду лучших из лучших.

Нет, что там ни говори, когда придет час, то только он, он, Юденич, не кто иной, поведет полки, дивизии, армии на Петроград.

Генерал выпрямился перед зеркалом, приосанился. Не беда, что он немолод. Он еще достаточно крепок для белого коня, который ввезет его в Петроград. Он мысленно видел свой триумфальный путь со стороны Финляндии. Выборг, Парголово, Лесной проспект, Литейный мост, набережная Невы и, наконец, Марсово поле, где грандиозный парад освободительных войск перед Павловскими казармами...

Кокарду надо прикрепить, решил Юденич. Подумаешь, завоют финны или эстонцы! И пусть себе воют. Можно будет их всех потом образумить, лишь бы до Петрограда сначала дойти.

Он позвонил в медный колокольчик. Явился один из его адъютантов.

— Как они там, подполковник? Собрались?

— Так точно, ваше высокопревосходительство. В вашем кабинете. Все, как один.

— Сейчас буду. Предупреди.

Несколько минут спустя в свой гостиничный кабинет, обставленный старой представительной мебелью, Юденич вошел прочным, на всю ступню, шагом человека, на которого возложен нелегкий груз великих, государственных забот; кивнул при входе, доброжелательно, но не излишне открыто улыбнулся; затем, обходя по очереди, подал всем широкую массивную ладонь. Обогнув свой стол, опустился в громоздкое кожаное кресло.

— Между прочим, господа,— сказал он, с холодной иронией вглядываясь в обращенные к нему лица, — когда в Стокгольме я беседовал с представителями стран Согласия и просил у них средств для освобождения русской земли, они мне в весьма прозрачной форме намекали на то, что бежавшая за границу наша родная русская буржуазия удирала не в одном исподнем, а прихватив или заранее переведя в иностранные банки немалые деньги. Могли бы мы, дескать, сами собрать среди себя несколько миллионов рублей.

Лианозов сухо кашлянул. Карташев почти молитвенно поднял глаза к потолку. Присяжный поверенный Иванов сказал: «Совершенно верно, господин генерал. Американцы и англичане — реальные политики». Старый друг Юденича, граф Буксгевден, состроил презрительную гримасу: «Разве с наших толстосумов выколотишь хоть копейку? Задавятся — не дадут». Генерал Арсеньев строго молчал. Профессор Кузьмин-Караваев воскликнул скрипучим голосом: «Им хорошо говорить. Они на войне наживались. А мы только тратили. Непорядочно со стороны союзников делать такие заявления!»

— Это я так, к слову,— после паузы сказал Юденич. — Цель нашего совещания, господа,— взглянуть на то, чем мы располагаем и чего у нас нет. Заранее скажу: располагаем мы слишком малым. Не хватает нам почти всего. Я просил генерала Арсеньева изучить вопрос и сделать об этом доклад. Генерал Арсеньев поездил, побывал даже в Ревеле, кажется, где-то под Псковом и в Нарве. Так, генерал?

— Так.

— Что ж, приступайте к докладу.

Арсеньев подошел к вывешенной на стене кабинета большой карте Петроградской, Новгородской и Псковской губерний, Финляндии, Эстонии и Латвии, из которых две последние еще были названы тут губерниями Эстляндской и Курляндской. Кое-где по берегам реки Наровы, вокруг Чудского и Псковского озер в карту были негусто понатыканы трехцветные флажки на булавках.

— Господа,— заговорил Арсеньев,— зададим себе вопрос: располагаем ли мы в данное время чем-либо реальным, или нам предстоит делать все с полнейшего изначалья? Что касается меня, то я отвечу на этот вопрос так. Да, располагаем. Правда, немногим, но располагаем. И то, чем мы располагаем, может стать дрожжами, на которых взойдет остальное, необходимое для успешной кампании.

Он взял со стола линейку и вновь возвратился к карте.

— Вот! — Линейка устремилась в район, расположенный северо-западнее Пскова. Покрутив ею вокруг Юрьева, Арсеньев повел ее к северу. — Главные русские силы сосредоточены, или, вернее, рассеяны, в этих местах. Немножко, господа, истории. Будем объективны. Наши исконные враги — немцы — в данном случае сделали коечто полезное. Наступая на Петроград в прошлом году, они, нет сомнения, готовили и новое, угодное им правительство для России взамен правительства Ленина. Во всяком случае, шло энергичное формирование русских частей под немецким командованием. Части эти вкупе получили наименование Северной армии. Что же удалось сделать немцам? Им много помог некий ротмистр Альфред Розенберг, молодой, но чрезвычайно ранний господин лет двадцати пяти — двадцати шести. Это прибалтийский немец, родившийся в Ревеле, учившийся в Риге в политехникуме, затем в Москве в техническом училище. Когда немцы заняли Ревель, он, не мешкая, вступил добровольцем в немецкую армию и сделал весьма быстротечную карьеру как специалист по русским вопросам. Вы, наверно, удивлены, господа, откуда такими подробными сведениями располагает ваш покорный слуга. — Арсеньев заулыбался.— Нет, не я виновник тому. Все это разузнал для нас любезный генерал Владимиров.

Все оглянулись на того, на кого указывал взглядом генерал Арсеньев. В углу кабинета сидел немолодой, некрупный, незаметный человек в английском, застегнутом

на все пуговицы, великоватом ему френче. Никто не заметил, когда и как появился он в кабинете, этот, названный генералом Владимировым, человек. Он потупился под взглядами и поглаживал, заложив меж колен, ладонью о ладонь, свои короткопалые руки в светлых волосинках.

— Итак,— продолжал Арсеньев,— ротмистр Розенберг — одно из главных лиц в деле возникновения русских добровольцев в Пскове. По заданию немецкого командования он связался с офицерами-гвардейцами, находившимися тогда в петроградском подполье. Об этом подполье Николай Николаевич прекрасно знает все сам. — Арсеньев взглянул на Юденича. — Николай Николаевич тоже, как известно, пребывал в секретной офицерской противобольшевистской организации.

Юденич настороженно и хмуро поднял глаза на Арсеньева. Ему не хотелось, чтобы Арсеньев развивал эту тему, иначе, увлекшись, тот может назвать и вдохновителей помянутой тайной организации — господ Пуришкевича и Маркова-второго, а всем известно, сколь неприлично иметь дело с господами подобного сорта. Хорошо еще, что он не знает английских и американских дипломатов и разведчиков, с которыми Юденич был насмерть связан летом восемнадцатого.

Арсеньев был достаточно тактичен. Не назвав никаких имен, он продолжал:

— Из Петрограда в Псков потянулись русские офицеры. Встречал их этот немецкий ротмистр. Дело было уже в августе — сентябре минувшего года. Офицеры бедствовали, готовы были радоваться любой службе, лишь бы против большевиков. Армией, конечно, это формирование назвать было нельзя. Но все-таки. Появились затем в ней не только офицерские, но и солдатские части: псковские чиновники и гимназисты понадевали военную форму. Первым командующим у них был наш генерал Вандам, сотрудник газеты «Новое время»...

— Черносотенной газеты,— вставил присяжный поверенный Иванов.

Арсеньев сделал вид, что не слышал этого замечания и продолжал:

— ...при начальнике штаба некоем Малявине, которого я, простите, не знаю. Затем произошли перемены, причины их мне неизвестны тоже. Командующим стал полковник фон Неф, а при нем на разнообразных амплуа вот этот русский немец Розенберг.

— У них сейчас новые замены,— с брезгливым пренебрежением заговорил Юденич.— Генерал Владимиров может рассказать подробней. Я лишь вкратце. Полковник Родзянко, племянник председателя думы, Михаила Владимировича, однажды навестил этого Нефа, заскочил на часок в гости, и Неф от щедрот своих произвел полковника в генералы. На радостях новый генерал перекрестил в генералы и полковника Нефа. А сейчас их всех, своих благодетелей, Родзянко пинает под зад коленом, жаждет так называемый Северный корпус, который образовался из помянутой генералом Арсеньевым розенберговской армии, прибрать к своим рукам. Благоволит ему этот, как его... мы все его знаем... эстонский генерал Лайдонер.— Юденич по-кошачьи фыркнул в свои отрастающие усы.— Куда ни глянь — одни генералы! Шатиябратия! А нам бы солдатиков побольше.

— Вы поминаете события более позднего времени, Николай Николаевич,— выслушав, сказал Арсеньев.— События наших, нынешних дней. Я же, с вашего позволения, продолжу историю вопроса. Итак. Ядро армии возникло. К нему примкнул перешедший со своим полком от красных ротмистр Булак-Балахович. Одновременно с каким-то отрядом появился подполковник Пермикин — один из друзей и соратников Балаховича. Еще отряд привел сотник Данилов. У меня все это, Николай Николаевич, записано. Я со всеми побеседовал. Это не с потолка. Да, так вот. Немцы наобещали новой армии пятьдесят тысяч комплектов обмундирования, полсотни тяжелых и трехдюймовых орудий, пятьсот пулеметов, сто пятьдесят миллионов марок.

Юденичу при этом подробном рассказе припомнились недавние разговоры в Стокгольме, в которых представители союзников немалое место уделили прошлогодним намерениям немцев ударить на Петроград через Финляндию и со стороны Пскова, прибрать к рукам русский Север, а из Финляндии сделать послушное кайзеру королевство, посадить тут королем Фридриха Карла Гессенского. Да, ничего не скажешь, немцы действовали ловко, ловчее союзников, не скаредничали: и оружие давали финляндцам для борьбы с бунтовщиками-красными, и войск понагнали порядочно. И там, под Псковом, у них собирался крепкий кулак. Не разразись в Германии своя революция — многое, очень многое было бы сегодня иначе...

— Но человек предполагает, а бог располагает,— продолжал тем временем Арсеньев. — В Германии произошла революция, немецкие войска стали отступать, красные ударили и заняли Псков. Северная армия, все утверждают, неплохо сражалась, но была она малочисленна и слабо вооружена и в итоге тоже отступила. Но не в сторону Риги, как сделали немцы, а в Эстонию. Там она натерпелась горя. Эстонцы заставили наших русских драться за их, эстонские, интересы, за отделение от России. Нелепое, странное положение. Оно остается таким и сегодня, когда там уже не Северная армия — об армии говорить смешно, — а Северный корпус, командование которым фактически присвоил себе — Николай Николаевич прав — полк... генерал Родзянко.

— Простите, генерал,— задал вопрос Иванов,— а что происходит с армией Бермонта-Авалова где-то под Ригой, в Митаве? В какой мере можно рассчитывать на нее? Это русская армия или немецкая?

— Николай Николаевич,— Арсеньев обратился к Юденичу,— вы, если не ошибаюсь, пытались связаться с Бермонтом. Не могли бы вы...

— Нет, — резко ответил Юденич. — Спросите генерала Владимирова. Он располагает сведениями.

Владимиров встал, ничуть не похожий на генерала, смиренный, тихий, скорей конторщик, чем генерал, и, не подымая глаз, уставя их в пол, заговорил ровно, гладко, будто там, на полу, читал то, о чем говорил:

— После своей революции немцы отвели войска от передней линии. Но в Риге и вокруг нее вопреки всем договорам они, однако, оставили Балтийскую, или так называемую Железную, дивизию генерала фон дер Гольца, который, как вам известно, весьма успешно подавил здешнюю финляндскую революцию, а затем был переброшен в Латвию. Его войска помогли разгромить и латвийскую советскую власть. Кроме Железной дивизии у фон дер Гольца были под началом русские формирования, в частности добровольческий корпус помянутого полковника Бермонта-Авалова. Кто такой Бермонт-Авалов? Во времена гетмана Скоропадского он формировал на Украине части для Южной армии, точнее — для донского атамана Краснова. Все это тоже было связано с немцами, так как и генерал Краснов ориентировался на немцев и получал от них поддержку.

Владимиров попросил воды. Налив стакан сельтерской, ее подал ему Карташев.

Отпив несколько глотков, Владимиров вновь заговорил:

— Откуда же взялись бермонтовские формирования под началом фон дер Гольца? Когда немцы отступали с Украины, Бермонт-Авалов отбыл вместе с ними в Германию. Продолжал работать на них там. По заданию немецкого военного командования, незаконно, против условий мирного договора, он в лагерях военнопленных набирал русских добровольцев, главным образом офицеров, составляя как бы партизанские отряды для борьбы против большевиков в России. На самом же деле переправлял их, эти отряды, под Ригу, в Митаву, под начало фон дер Гольца, в добавление к Железной дивизии. Я понимаю раздражение Николая Николаевича. Бермонт не желает входить в контакт с нами. У него свои планы. А какие? Он прихвостень немцев. Рассчитывать на армию Бермонта-Авалова мы никак не можем. Это мое, конечно, частное мнение.

— Господа,— сказал Юденич,— теперь вы многое знаете. Хочу сказать вам кое-что и я. Мы, военные, собирались и совещались уже не один раз. Мое предложение идти на Петроград через Финляндию не принимается. И не принимается не почему-либо иному, а просто потому, что в Финляндии нет наших, именно наших русских сил. Их надо или заново формировать, или перевозить сюда из Эстонии. Хорошо, я согласен, дело это хлопотное, трудное, дорогостоящее и требует много времени. А те, кто расщедрился на снабжение нас оружием, боеприпасами, обмундированием, продовольствием, кто обещает поддержать нас флотом и танками, они хотели бы предварительно получить некоторые авансы. Нам прежде всего надо уйти с эстонской земли, от этих неверных союзников, которые имеют наглость нас третировать, и опереться на свою, русскую землю, если уж мы не имеем права называть таковой землю Эстляндской губернии. Вот сюда... — Он встал, подошел к карте. — Вот сюда, к Нарве, надлежит собрать все наличные силы, все части, какие у нас есть.

— Они пока у генерала Родзянко,— вставил Арсеньев.

— Хорошо, хорошо, — отмахнулся Юденич. — Пусть так. Собрать их здесь и нанести удар, цель которого — захват территории, скажем, по линии Ораниенбаум,

Красное Село, Гатчина, Луга, Псков. Будет прекрасный плацдарм. Будет свое пространство. Можно кликнуть клич к русским людям и набрать добровольческие полки. Или же провести мобилизацию. А затем, собравшись в кулак, осуществить и главный удар — на Петроград!

При всей своей флегматичности Юденич так рванул линейкой по карте, что возле Петрограда продрал на ней длинный, узкий язык.

Все было столь ясно, столь многообещающе и казалось таким исполнимым, чуть ли даже уже не исполненным, что у собравшихся холодок прошел по коже, холодок предчувствия великих исторических событий.

— Спасибо, генерал!

— От всей души благодарю, Николай Николаевич!

«Русские комитетчики» наперебой жали тяжелую большую руку Юденича и, торжественные, раскланиваясь, покидали его кабинет.

Юденич задержал у себя только Владимирова: «На одну минутку».

— Ну, Владислав Станиславович, — сказал ему, свободно рассаживаясь на диване. — Когда эта сюртучная братия испарилась, можем с вами и покурить. Давайте хорошую папиросу.

Владимиров щелкнул массивным золотым портсигаром и тоже, как Юденич, откинулся в кресле. Он уже не смотрел, потупясь, в пол и не казался таким маленьким, незаметным, каким был на совещании. Он расправился, распрямился, глаза его смотрели цепко, хватающе. Никто, кроме Юденича, не знал, что Владимиров вовсе и не Владимиров и что никакой он не генерал. Настоящая фамилия его — Новогребельский, и до Февральской революции служил он в жандармах в чине полковника. Документы генерала ему сделал Юденич своей волей, своим распоряжением. А фамилию полковник Новогребельский сменил еще в Петрограде. Они — Юденич и Владимиров — друг друга стоили, Юденич многим был обязан Владимирову-Новогребельскому. Мастер сыска и конспирации помог генералу избежать большевистского ареста и уйти в Финляндию. Он-то и был тем верным человеком, который вел Юденича через болота и через реки. Сам по себе грузный, непаходчивый, привыкший к тому, что все трудное, бытовое за него кто-то сделает, генерал от инфантерии, не окажись рядом с ним Новогребельского, несомненно, кончил бы тем, что

был бы схвачен и расстрелян в ЧК. Новогребельский, в свою очередь, был не меньшим обязан Юденичу. Бывший жандарм дошел бы до полного нищенства в эмиграции, если бы его из благодарности не приблизил к себе двинувшийся в политическую гору генерал.

— Крикуны! — сказал Владимиров. — Горлодеры. А когда дойдет до дела, все они окажутся в нетях. Липовые патриоты! Вы их, Николай Николаевич, с первых же слов на место поставили. На деньгах сидят, а для общего дела и с копейкой не расстанутся.

Юденич самодовольно огладил усы.

— Там видно будет, что и как, — продолжал Владимиров. — Лишь бы в Петроград войти. А типов этих можно и — фью-ить! — заливисто присвистнул он, делая многозначительный жест в воздухе.

— Многих придется «фью-ить», Владислав Станиславович, — не так умело повторил его жест Юденич. — Очищать надо будет Россию от швали. Если здесь, в Финляндии, и то их оказались тысячи и тысячи, то в матушке-то нашей... В одном Петрограде...

— Веду, веду списочки, Николай Николаевич. Можете быть спокойны. Уж те-то, из-за кого мы столько ночей недосыпали, седыми раньше времени сделались, они у нас поболтаются на веревочке. Я одного очень крепко помню. Ян Карлович. Фамилию еще не разузнал. Латыш из Чеки. Если б я не сунулся вовремя в помойную яму, он бы меня пристукнул тогда, при провале квартиры на Екатерингофском. И вот еще каков: узнал меня, встречались мы прежде. «Новогребельский, — кричит, — поднимай руки, жандармская крыса!» Стреляет метко. Мог бы нарочно не насмерть убить, только ранить. А уж тогда бы они мне, эти Яны Карловичи, показали!.. Теперь, дай-то господи, покажем им мы.

— Господь господом, это само собой. А как у нас осуществляется связь с Петроградом — это уж, дорогой мой, полностью лежит на вас. Все имеется: и опыт и умение, соответствующие познания. Надо, чтобы там зрело, зрело, созревало.

— В основном там кадеты, Николай Николаевич. Политиканы. Так называемый «Национальный центр». Для контроля, для верности я забрасываю к ним надежнейших офицеров. Не только Незнамов выехал в Петроград. Есть и еще несколько настоящих боевиков. По секрету

скажу,— Владимиров даже радостно засмеялся при этих словах, — есть интересная, обнадеживающая ниточка. Вы не знали в свое время генерал-лейтенанта Люндеквиста?

— Люндеквист? Как же! Еще имя у него такое замысловатое...

— Яльмар,— подсказал всезнающий Владимиров.— Яльмар Федорович. Так вот, почтенный генерал оставил после себя немало способных потомков: двух сыновей — Владимира и Михаила — и дочь Елену. Дочь работает по медицинской части. Одно время была в госпитале при Пажеском корпусе. Михаил — художник. А Владимир — тот пошел по батюшкиной линии. Офицер. Недавно еще был капитаном, а сейчас уже и полковник. Двинулся вверх при Временном правительстве, оказавшись в генеральном штабе. Так вот, господин Троцкий взял его в Красную Армию в качестве, как они теперь там говорят, военного специалиста, военспеца. Владимир Яльмарович вполне успешно внедряется в толщу красных войск, зарабатывает авторитет и доверие. Это, я вам скажу, уже одно, что он там, означает весьма многое, весьма.

— Я вот что решил, Владислав Станиславович,— неожиданно перебил его Юденич. —Прикреплю-ка все-таки кокарду на фуражку. Без нее как-то и не два и не полтора. Непонятный вид.

— Присоединяюсь к вашему решению, Николай Николаевич. Жива матушка-Россия. Пусть все видят.

10

— Костя Осокин! — послышалось за приоткрытой дверью в соседней комнате.— Зайди сюда!

Одернув гимнастерку, поправив ремень, Осокин распахнул дверь шире и вошел.

— Я здесь, Ян Карлович!

Тот, к кому он обращался, стоял возле окна и носовым клетчатым платком протирал пыльное стекло. Это был сухощавый, высокий человек, сутуловатый и лысеющий. Он обернулся. Глаза его располагались на лице так, что один был несколько выше другого, будто бы Ян Карлович поднял бровь и ждет ответа; тот, на кого смотрели эти глаза, непременно начинал волноваться, не зная, что отвечать, поскольку Ян Карлович еще ни о чем и не спрашивал.

— Садись, Костя Осокин. — Ян Карлович указал на стул перед столом. — Мы будем с тобой разговаривать.

Осокин сел, а Ян Карлович принялся медленно прохаживаться вдоль окон. Комната была большая, три высоких, узких ее окна выходили на Гороховую. Это был рабочий кабинет Яна Карловича, через который за последние несколько месяцев горячей работы Петроградской ЧК прошли сотни жандармских и армейских офицеров, бывших генералов, бывших князей, графов, баронов, помещиков, заводчиков, торгашей, спекулянтов, иностранных подданных, занимавшихся контрреволюционной деятельностью. Все они побывали на этом гнутом венском стуле, на который усадил Осокина его неторопливый начальник.

— Что же ты, Костя Осокин, мой дорогой потомственный русский пролетарий и боец революции, намерен делать с этим спекулянтом Хамелайненом? — Ян Карлович сел за стол на обычное свое место, и его поднятая бровь требовала от Осокина толкового ответа.

— Вот не знаю, Ян Карлович. Голову прямо ломаю.— Осокин знал, что рано или поздно подобный вопрос последует. Хамелайнена он держит под арестом целый месяц, сверх всяких допустимых сроков; надо или доказать его преступность должным образом, или отпустить. Чувствуя вину, он добавил: — И товарищ Благовидов из Смольного в нем заинтересован. Хотелось бы все-таки воспользоваться названными маршрутами и явками, Ян Карлович.

— Да, Осокин, да, надо бы. Но учти: если нехорошо обвинить невинного, то еще хуже выпустить врага. Как все обернется в таком случае, трудно даже себе представить. Я совершил две ошибки, которые уже сейчас недешево обходятся нашей с тобой Советской власти, а могут они ей обойтись и еще дороже. Никто, как Ян Карлович, упустил ротмистра Булак-Балаховича с его братцем иезуитом Юзеком. Конечно, я его не из рук упустил, нет. В руках у меня он еще не был. Он упредил меня, перехитрил, очень ловко обманул. А вот бывший жандарм Новогребельский, большой, Осокин, негодяй, тот почти уже был в руках.

— Это на Екатерингофском-то?

— Да, на Екатерингофском. Растаял во дворе, как дух из арабской сказки. И теперь мы должны ждать его пуль из-за угла. Не мы с тобой лично, два работника Чека, а наша с тобой рабоче-крестьянская власть в целом. К чему я это веду? К тому, Осокин, что изволь разобрать-

ся с Хамелайненом. Держать под замком его незачем. Дело от этого не движется, а, совсем наоборот, стоит на месте, как на мертвом якоре.

— Как же быть, Ян Карлович? Я ведь что думал? Вроде подсадной утки его использовать. Пробовал. Три раза, Ян Карлович, водил на то место, на Фонтанку у Прядильного, где на него тогда охотились. Такой же короб, какой был у него раньше, ему соорудили. На горб навьючили. Ходил туда-сюда, хоть бы кто клюнул...

Ян Карлович долго и, казалось, с глубоко скрытой в его допрашивающих глазах укоризной смотрел в упор на Осокина. Тот даже ерзать стал под этим взглядом.

— Ты в деревне, Осокин, бывал? — задал ему неожиданный вопрос Ян Карлович.

— Случалось. Немного только.

— Ты знаешь, откуда молоко берется?

— От коровы, Ян Карлович! — Осокин засмеялся. — «Скребницей чистил он коня!»

— Э!.. — сказал Ян Карлович. — Оживился парнишка! Стишки начались. Я-то думал, Костя Осокин, еще входя ко мне, объявит что-нибудь вроде этого: «Передо мной явилась ты». А ты совсем кислый сегодня оказался.

— Виноватый же я. С Хамелайненом-то. Чувствую же.

— Хорошо, что чувствуешь. Ну так, значит, молоко берется от коровы? Правильно, Осокин. Но когда деревенская женщина-хозяйка принимается доить свою буренушку, а? Когда? Вот вздумается ей ни с того ни с сего, пойдет она в коровник, подставит ведро под вымя и давай тянуть за сиську? Нет, Осокин, нет. Доит хозяйка, когда видит, что буренушка ее драгоценная с лугов вернулась, наелась в них травушки и вымечко ее полно, значит, молочишка.

— Ян Карлович!..

— Да, да, только так. Отпусти его, спекулянта своего, коровушку чью-то, в Ревель, пусть запасается новыми припасами, и вот тогда... Они же следят, Осокин, за его маршрутом. Разве тебе не ясно по тому, как точно рассчитаны были все три нападения? Нападавших кто-то оповещал. Может быть, ты думаешь, они с утра до ночи и с ночи до утра так и торчат на углу Фонтанки? Гусь ты, Осокин. С лапками.

— Здорово же вы решили, Ян Карлович! — Осокин ободрился.— Благовидов из Смольного тоже так говорит:

не заставить ли, говорит, его подразведать кое-что? Отпустить для этого в Ревель. Все-таки, мол, заложники есть. Родственники под Ропшей. В Финно-Высоцком.

— Толковый, значит, тот малый, Благовидов. Вот и отпусти, Осокин, отпусти. Но помни: в случае чего, если уйдет да не вернется, нехорошо у тебя на сердце будет. Как у меня из-за этих двух мерзавцев, о которых я тебе рассказал. В такой борьбе, какая идет, нам с тобой ошибаться нельзя. Дай-ка махорки, Осокин. А у меня есть хорошая папиросная бумага. — Ян Карлович вытащил из ящика стола тонкий, прозрачный лист бумаги для папирос. — Видишь, сколько ее? А махорка кончилась. Со вчерашнего дня терплю. И ты можешь закурить, пожалуйста. Бери бумагу. — Цигарка у Яна Карловича не получалась: жесткая махорка рвала слишком нежную для нее, деликатную бумагу. Он взялся за газету.

— Если мы с тобой чересчур много наошибаемся, — продолжал, закурив, — кончится знаешь чем? Подойдем-ка к окнам, я тебе покажу наглядно. Видишь тот фонарный столб, большой, на углу? На нем генералы повесят меня. А вот этот, который прямо перед нами, он будет для тебя. Как раз перед нашим подъездом тебя повесят, Костя Осокин.

— Разве дамся? Я лучше сам застрелюсь! — горячо воскликнул Осокин.

— Повесят мертвого. Все равно висеть будешь. Ты, Осокин, непременно должен понять, что борьба наша особенная. В России разгорается гражданская война. А гражданские войны — история это хорошо знает — самые жестокие войны. Война с французами или с японцами, с немцами — дело другое, на эту непохожее. Лезут к нам они, а мы-то на своей земле. Ударим по ним, они и уйдут. А куда уйдут? На свою, ихнюю землю. Никто ничего не потерял, все при своих. Если не брать в счет убитых и раненых да сожженные города и села. А гражданская война? В такой войне и мы на своей земле, и они, генералы и помещики, тоже ее своей считают. Да она ведь, разобраться, и на самом деле не чужая же им. На ней каждый из них и родился и вырос. Они тоже, Осокин, русские люди. Уходить ни нам, ни им, получается, некуда, кроме как на дальнюю чужбину, в эмиграцию. Значит, что? Приходится воевать до полного подчинения или истребления одной стороны другой. Ты это ощущаешь?

— Ощущаю.

— А ты покрепче ощути. Кто цацкается сегодня с врагом, пойми, тот сам для революции враг. Осенью мы расстреляли кое-кого в ответ на выстрелы в товарища Ленина да за убийство товарищей Володарского и Урицкого, после всех этих известных тебе контрреволюционных мятежей. Белый лагерь и заграница даже слов для нас не находят — костят и клеймят самыми позорными клеймами. А рассуди, молодой товарищ, мой друг Осокин, рассуди. Каждый из них, из тех расстрелянных гидряков, отпусти мы его подобру-поздорову, что бы он сделал? Рано или поздно, но непременно выступил бы с оружием против нас. Генерала Краснова отпустили в семнадцатом году под его честное генеральское слово. И что? Удрал. И сколько же наших людей погубил он, зверствуя на Дону, после этого! Вся та генеральская свора из Быховской тюрьмы — Корнилов, Лукомский и всякие другие, — сбежав на юг, что сделали? Армии собрали против нас. А Юденич? Вырвался из Петрограда, и что думаешь, так и будет тихонько сидеть в Финляндии? Не ликвидировав одного такого типа, Осокин, обрекаешь на смерть и на мучения, может быть, тысячи своих товарищей, хороших, честных русских людей, граждан новой, свободной России. Я, конечно, занимался не только тем, что упускал врагов, Осокин. И ты их не только упускал. Немало мы с тобой уложили их в гроб. Может быть, когда-нибудь нас с тобой за это будут очень позорить. Когда революция победит окончательно, когда у всех будет хорошая, спокойная жизнь, некоторые скажут: а чего это там понапрасну кровь людскую проливали один старый латыш и один молодой русский? К чему, мол? Все мирно порешить можно было. А вот сам видишь, что в Финляндии в прошлом году получилось. Ошиблись финские революционеры — всех контриков своих из рук выпустили, дали удрать на север и там белую армию сколотить. Чека у них не было, у финских товарищей, Костя, Чека. И что вышло, говорю, — разгромили белые революцию. Вот тебе и мирно, вот тебе и без крови. Эх, эх, Костя Осокин, это, значит, не революционеры уже будут, те-то, которые нас вздумают осуждать, а такие, которым всю бы жизнь на балалайке протренькать. Кстати, ты играешь на чем-нибудь? На гитаре, например?

— Нет, Ян Карлович. И в руках ее не держал никогда.

— А надо уметь. В нашем с тобой деле все уметь надо. Не только палить из кольтов. На гитаре вот играть? Надо. Польку танцевать? Тоже. По-английски или по-французски говорить? Непременно. Все-все надо, Осокин. Ну так вот, отпусти Хамелайнена в Ревель.

— Но у него, Ян Карлович, оборотных средств, говорит, нету. Там ему товары на золото, на драгоценности отпускают. Бумажного хлама не берут.

— Подумаем. Обращусь к председателю. Может, золотых монет из фонда выдадут. А все остальное ты как следует продумай, Осокин.

Солнечным днем, когда под заборами весело булькали апрельские ручьи, а над пригретым булыжником мостовых слоился парок и в садах распевали возвратившиеся из южных стран голосистые пичуги, Осокин, в кожаной куртке, в кожаной фуражке, замыкал на ключ ящики своего стола. Отцепив от пояса кобуру с кольтом и со словами — «Я люблю вас, Ольга... Но к вам очень мало патронов» — он бережно уложил пистолет в железный ящик, привинченный к полу, взамен же достал обыкновенный наган, патроны к которому можно раздобыть в любой воинской части.

Через час, вместе с Павлом Благовидовым сопровождая Хамелайнена на тендере паровоза «ОВ», обычно называемого «овечкой», который по наряду ЧК вышел на линию из депо при Балтийском вокзале, они отправились в путь. Паровоз торопился, пыхтел, машинист поглядывал вперед на дорогу, кочегар орудовал возле топки. На тендере, на дровах, которые вместо угля он то и дело швырял в топку, было свежо от встречного тугого ветра. Но уходить в будку машиниста в топочный жар не хотелось. Уж больно после хмурой, холодной, голодной зимы ярко и радостно светило солнце. У Благовидова и Осокина на душе было ясно, спокойно: вырвались из круговерти повседневных, изнурительных и, в сущности, однообразных забот. Хоть немного, но можно отойти, отмякнуть в непохожей, в другой обстановке.

Паровоз, рассчитанный на уголь, не слишком сильно тянул на дровах: никак нельзя было сказать, что станции Лигово, Горелово, Красное Село проносились, мелькали мимо. Степенно и неторопливо они набегали и отплывали

назад. Степенно наплыли и отплыли Дудергоф, Тайцы, Пудость, платформа Мариенбург. В Гатчине застряли надолго. Одноколейный путь впереди был занят столь же медленно тащившимся товарняком.

Лишь к позднему вечеру добрались до Волосова. Пришлось переночевать на станции и с рассветом двинуться дальше на тряской крестьянской подводе. В болотистых лесах, в ольшаниках и осинниках, начались немыслимые проселочные дороги. Лишь кое-где еще держался зимник. Врезываясь в поверхность рыхлого снега, колеса встречали под ним промороженный грунт и катились более или менее устойчиво. Но под весенним солнцем открылись уже и болотные топи, из торфов лезли наружу бревна и жердняк гатей, там надо было слезать с подводы и, хватаясь за грядки телеги, за оси, помогать лошаденке справляться с ее незавидными лошадиными обязанностями. Измазались все вчетвером, включая возницу, промокли, изошли испариной.

Путь такой длился почти двое суток, пока наконец дотащились до большого села Попкова Гора. В селе стояла немногочисленная красноармейская часть. Командир ее, питерский рабочий, большевик, весь вечер рассказывал о стычках с отрядами эстонцев и белогвардейцев, бродивших за рекой Плюссой, о трудной красноармейской жизни. Ни одежи нет, ни обутки, ни харчей, ни патронов. Если белым заскочит в голову начать наступление, перед ними не выстоять, такими пустыми силенками не сдержишь противника — бежать надо будет, да и бежать некуда, в болотах утопнешь. Одна надежда на то, что противник и сам через эти болотистые и озерные места переть не рискнет. Пешком если, то кое-как еще и пройдешь. А про артиллерию, про обоз и не думай. И пушки увязнут, и кони потонут.

Едва стало светать, вышли с Хамелайненом за деревенскую околицу. В окрестных березняках бубнили и фыркали тетерева, в частом осиннике трещали сороки.

— Итак, Хамелайнен,— сказал Осокин,— теперь ты пойдешь один. Не заблудишься?

— Снакомая торога. Всегда через эту Попкову Кору хотил. Я же вам сразу токта скассал.

— Золото береги. Помни, что оно государственное. Народное. Уразумел? Не каких-нибудь князей или графей — рабочее и крестьянское.

— Урасумел, урасумел. Как не урасуметь!

— Значит, когда же тебя ждать-то обратно?

— Как отсчитали, товарищи командиры, через месяц, раньше не вернуться.

— От десятого до пятнадцатого мая кто-нибудь из нас — или товарищ Благовидов, или я — будет ждать тебя здесь же, в Попковой Горе. Найдешь командира части. Он будет знать про нас. Или сельского старосту поищи. А вернее всего, держи путь на этот дом, где мы сегодня ночевали. Будь здоров! — Осокин пожал ему руку.

Благовидов руку Хамелайнена задержал в своей на минуту.

— Все, что сможешь, разнюхивай — и там, в Ревеле, и по дороге. О чем говорят, к чему готовятся. Кто такие. И так далее. Ты сам знаешь.

— Все пудет, все пудет. Матти Хамелайнен не такой турак.

Спекулянт зашлепал своими иностранного образца тяжелыми башмаками по торфянистой земле, по которой плыла под уклон к болотам талая ржавая вода. Он держал путь прямо к лесу, где фыркали тетерева и суетились сороки.

Благовидов и Осокин дождались, пока он скрылся в кустах, выкурили по самокрутке и медленно побрели обратно в село.

— Да, — сказал Благовидов.

— Да, — откликнулся Осокин. — «Напрасно на запад казачка глядит».

— Посмотрим.

— Посмотрим.

11

На том же паровозе, который все эти дни ожидал их на путях станции Волосово, Благовидов с Осокиным возвратились в Гатчину.

— Знаешь, — сказал Благовидов, когда остановились у вокзала, — ты, Костя, если спешишь, езжай дальше один, а я задержусь, пожалуй. Надо мне. Давно собирался. Тут в казармах несколько частей расквартировано. Поговорю с командирами, с комиссарами. Завтра-послезавтра приеду поездом.

— Так и я могу поездом, — отозвался Осокин. — Отпустим паровоз, пусть домой дует. У меня тоже делишки

тут найдутся. Ты читал что-нибудь из сочинений писателя Куприна?

— Как же! «Поединок» его чего стоит! Когда я в офицерской школе учился, зачитывались. Сам автор — офицер, жизнь армейскую знает.

— Он и о жизни бардаков довольно ясное представление имеет. «Яму» читал?

— Читал. А почему ты о Куприне вспомнил, Костя?

— Да он же здесь, в Гатчине, проживает.

— И сейчас?

— Точно. Мы задержали спекулянта со спиртом. Сказал, для господина Куприна, мол, раздобыл, с великими трудами. Ян Карлович распорядился отпустить жулика, да еще и просил его передать поклон товарищу Куприну, сказать, что он его читатель и почитатель. Он-то, Ян Карлович, как раз и дал мне «Яму» для прочтения. Посмотри, дескать, Костя Осокин, как при царизме измывались над женским достоинством. Вот, схожу проверю, правду ли плел тот малый насчет спирта. На всякий случай.

Не торопясь, шли они вдоль улиц Гатчины, по местам горячих событий поздней осени 1917 года. Именно отсюда, объединив свои силы, направили было контрудар по революции свергнутый премьер Временного правительства господин Керенский и командир брошенного сюда из-под Острова кавалерийского корпуса казачий генерал Краснов. Сложенный из серого камня дворец Павла I мог бы многое рассказать о тех днях. Под его сводами они перегрызлись все: и Керенский, и Краснов, и бомбист Савинков, который ныне стал одним из самых деятельных врагов Советской власти.

По улицам без всякого дела бродили красноармейцы, одетые одинаково плохо, как и те, которые вповалку спали по избам Попковой Горы, небритые, нестриженые, лузгающие семечки. Один из них показал дорогу к городскому Совету, а там Осокин разузнал и адрес писателя Куприна.

— Елизаветинская, девятнадцать «а». Почти у самой линии Варшавской железной дороги. Собственный дом.

Свернув с проспекта Павла I, пересекли длинную Багавутскую, в четыре ряда засаженную старыми узловатыми березами с бугристыми наплывами на стволах, затем — тоже всю в березах — Николаевскую и такую же Александровскую. Наконец-то вот и она, Елизаветинская.

К воротам углового дома прибита жестянка как раз с № 19а. Дом окружен садом, сквозь доски забора видны гряды, среди них, раскидывая из лукошка бурую труху, возится сгорбленный человек в стеганой ватной кацавейке.

Месяца два назад известный русский литератор Александр Иванович Куприн побывал в Москве. Его, домоседа, долго перед тем обхаживали и старые знакомые по Петербургу, и какие-то незнакомые страдальцы за святое общее дело. Человек он нейтральный и лояльный, никак и ни в чем политическом не замешанный, и должен он поэтому, просто обязан, отказаться от своего гатчинского отшельничества и послужить благородным трудом отчизне, которая изнывает в муках, истекает кровью, утратила великое ее прошлое и не видит, несчастная, никаких дорог в будущее. Только он, Александр Иванович, способен сделать для нее ощутимое, необходимое, реальное. А реальным этим должна явиться беспартийная, сугубо беспартийная газета, которую бы выпускал он, Александр Иванович; стала бы та газета центром объединения мыслей, дум, чаяний народных.

Почти силой выпроводили писателя Куприна в Москву, помогли проникнуть к красным комиссарам, ведавшим делами такого рода. В Кремле, как он сам потом рассказывал, ему сказали: «Хотите участвовать в культурной работе для народа? Это прекрасно, горячо приветствуем. Вот вам для начала задняя страница народной газеты «Красный пахарь». Проводите через нее свои идеи».

За Александром Ивановичем, подталкивая его, направляя, науськивая, стояла изрядная группка литераторов, ученых, журналистов. Сами о себе они говорили: «Не соблазненные большевизмом». Они наказывали Александру Ивановичу: «Никаких компромиссов. Или — или». И Александр Иванович не слишком-то умно и притом заносчиво ответил комиссарам: «Извините. Но если красный, то какой же это пахарь? А если пахарь, то зачем ему красный цвет?»

На том дело спасения родины и кончилось. Александр Иванович вернулся в Петербург и в свою любимую Гатчину. Пережив нелегкий год, первый год революции, и вторую советскую зиму, он решил на этом втором году все силы вложить в огород, вырастить вдоволь картофеля и овощей, чтобы семья больше не испытывала голода.

Тихо бродил он по городу, таская за собой салазки, и детским совочком подбирал на дорогах котяхи, оброненные лошадьми, жег в кухонной плите кости, толок их в ступке, измельчая в тонкий порошок. А то взбирался на гатчинские колокольни за голубиным пометом, сушил его, тоже толок, смешивая затем с раздобытым в городе заводским суперфосфатом и высушенной бычьей кровью с бойни. Долго не мог найти Александр Иванович семян — ни огородных, ни цветочных. В советских организациях ему отказывали. Он не понимал почему. Он не хотел знать того, что питерцы в ту весну тоже разводили огороды, но не индивидуальные, когда каждый печется только о себе, а большие, коллективные, для великого общего дела, и поэтому ему, огороднику-индивидуалисту, семян не оставалось. Он втридорога покупал их у старых гатчинских и красносельских огородников.

Бывало, спрашивали Александра Ивановича, почему он не уехал куда-нибудь на юг или за границу, не из-за недостатка же денег. Толком ответить на подобные вопросы он не мог. А что отвечать? Ну не хотел уезжать, не хотел бросать свой дом, который так любил, в котором ему всегда, уж скоро девять лет, было удобно, привычно, уютно. С его мягким, недеятельным, созерцательным характером никому же он не мешал и не хотел мешать, у него было только одно желание — быть с самим собой и со своими близкими.

Писателя не очень интересовало то, что происходило вокруг, он не искал ничего в будущем, он любил пристально всматриваться в минувшее. Для него любезной была старина, во всех ее материальных свидетельствах. Старый фарфор, старая мебель, старые, редкие книги — разве это не сладостные источники тихой человеческой радости? Осторожными, влюбленными пальцами он мог, как нечто живое, гладить чашечку, сработанную в екатерининские времена, нежно перелистывать желтые листы инкунабул, переплетенных в телячью или свиную кожу. Говорил он тихо, ровно, на манер древних летописцев повествуя о чем-либо, никогда не участвовал в тех изнурительных, иссушающих мозг ярмарках тщеславия, коими, более чем самим искусством, литературой, живут, дышат, питаются иные из его собратьев по перу.

Александра Ивановича физически поташнивало, когда при нем рассказывали скабрезные анекдоты.

Новая власть не тронула его и не трогает. Она ничего от него не требовала и не требует. Если кто и пытался втащить автора «Поединка» и «Гранатового браслета» в мутный, суматошливый водоворот, из которого он поспешил вовремя выбраться, то это были они, сотоварищи, люди той ярмарки, что-то затевавшие против советчиков.

До середины минувшего года он время от времени пописывал в закрытые позже буржуазные газеты «Петроградское эхо», «Молва», «Вечернее слово». Появился его рассказ и в последнем прощальном номере «Огонька». Рассказ заунывный, пессимистический.

Конечно, в текущей вокруг жизни было много, много более чем огорчительного. Серые толпы солдат, мужиков, мастеровых, вершивших и во всей России, и в его Гатчине свою крикливую власть, удручали Александра Ивановича, оскорбляли в нем все добрые, светлые чувства. Кто они, эти влезавшие в дом чудища в валенках, чунях, поддевках, тулупах, за меру картошки, за совок овса или — о праздник! — зерен ржи уволакивающие в лесные берлоги хуторов то зеркало, то старинные английские часы с длинным успокаивающим боем, то обжитый, обмятый боками плюшевый диван или меховой воротник из седого бобра? Неужели это и есть новые хозяева земли русской и отныне во веки веков ходить под ними всем, кто создавал ее культуру, ее духовные сокровища, ее взлетевшую над миром славу? Страшно, очень страшно.

На тот последний случай, если вдруг они сорвутся с цепи вконец и примутся крушить все недоломанное, Александр Иванович держал под рукою в доме старый армейский наган с патронами, и еще был у него давно приобретенный в оружейной лавке на Литейном небольшой карманный револьверчик системы Мервинга, у которого для скорости перезарядки откидывался барабан. «Мервинг» был совсем на крайний случай, на последний из последних, и хранился он в узкой щели меж стеной и медной ванной, куда могла проникнуть лишь рука десятилетней дочурки.

Имел ли хоть какие радости Александр Иванович в своей тревожной, скрытной жизни? Имел, конечно. Дом, семья, вот эти огород и сад, где с первыми апрельскими ручьями он начал копошиться от рассвета до темноты. Иной раз добродей-сосед, грешивший, всем известно, спекуляцией, спроворивал ему из Питера, что на-

зывается, в загашнике бутыль-другую спирту. Выпив, Александр Иванович соловел и, уплывая в прошлое, вспоминал о Крыме, Ялте, о петроградских и московских ресторанах, о ресторанах господина Соколова, о «своем» там местечке возле окна, выходившего разом — было оно угловое — и на улицу Гоголя и на Гороховую.

Писал ли Александр Иванович в нелегкие для него крутые времена? Нет, не писал. Во всяком случае, ничего значительного. Так, мелкие заметочки в записную книжку. Не писалось. Не было света впереди, один мрак. А без такого света рука не находит ни пера, ни бумаги, ни чернил. Его спрашивали, почему он не последует примеру Максима Горького, который так энергично участвует в общественных движениях, или не будет таким, как Шаляпин, который хоть и не жалует большевиков, но от публики-то не отворачивается, поет для нее и вот даже приезжал по просьбе Александра Ивановича в Гатчину, пел тут «Русалку». Александр Иванович лишь отмахивался: «Они — это они, а я — это я».

— Александр Иванович! — услышал он оклик из-за забора. — Можно вас, пожалуйста?

И Благовидов и Осокин, понимая, к кому идут, еще дорогой понезаметней упрятали оружие под одежду и постарались принять самый мирный вид.

Из растворенной калитки на них смотрели настороженные, но мягкие глаза хозяина дома; прищуренные, они как бы спрашивали: «Ну, чего вам, люди? Шли бы дальше с миром, не тревожили бы человека».

— Товарищ Куприн... — начал было Осокин. Хозяин зябко повел плечами при этом обращении. Осокин не смутился. — Товарищ Куприн, — повторил упрямо, — разрешите зайти к вам. Там скамеечка возле дома, может, позволите присесть на самую минутку.

— Пожалуйте, прошу! — Куприн пропустил неведомых гостей мимо себя. — Присаживайтесь. Вот так, вот так.

Присели оба. А он стоял, молчал, разглядывал. Свернули козьи ножки, закурили. Предложили хозяину кисеты. Отказался.

— Видите ли, — заговорил Осокин напрямик, — особого-то дела у нас к вам и нет, товарищ Куприн. Оба мы читали ваши книжки и вот...

— Было нам по дороге, — закончил за него Благовидов, — решили выразить наши читательские чувства. Прекрасно вы описали жизнь русского офицерства в «Поединке».

— Благодарю вас, тронут. — Куприн присел на плетеный садовый стульчик напротив скамейки. — Если холодно, зайдемте в дом? — предложил он уже более радушно.

— Нет, спасибо, — ответил Благовидов. — Чудесная погода. Давно таких денечков не было. Зима тянулась слишком долго.

— А домик у вас порядочный, — выражал свое удовольствие Осокин, осматриваясь.

— Да, во время войны мы с женой даже лазарет для раненых устроили. Места хватило на десять коек.

Куприн погладил руками испачканные на коленях землей и удобрениями свои «огородные» штаны, еще больше прищурились его глаза; им, видимо, начинало завладевать чувство рассказчика, давно не встречавшего свежих, нетронутых слушателей. Тем более что Осокин очень ловко изобразил удивление, изумление, почти восторг по поводу лазарета.

— Да, да, — утвердительно повторил хозяин. — Они, конечно, менялись, наши пациенты. Но если призадуматься покрепче, можно всех вспомнить, кто прошел тогда через наш дом. Удивительны русские люди. Ни жалоб, ни нытья. Сколько оптимизма, сколько радости от жизни! Герои, герои. Где-то они сегодня?

Осокин вздохнул, его нестерпимо тянуло продекламировать что-нибудь вроде того, как «бойцы вспоминают минувшие дни». Но он выстоял. Благовидов приблизительно угадал ход мыслей Осокина и слегка улыбнулся. Куприн заметил эту улыбку.

— Именно герои, молодой человек. Вам, может быть, кажется, что герои только сейчас объявились. Вы — в кожаных одеждах. Имеете, следовательно, отношение к власти, к новым порядкам. По-вашему, все старое — это царский режим, династия Романовых и так далее. А русский народ — его, может быть, по-вашему, и не было? Только сейчас он такой объявился? Нет, нет, прошу послушать. Однажды вот здесь, рядом, на Варшавском пути, в ту пору кто-то, не знаю, может быть и немецкие шпионы, как ходил слух, или их агенты, нанятые среди русских, подожгли поезд, у которого в вагонах были снаряды для

артиллерии. Вспыхивая один за другим, в строгой, как мы узнали потом, последовательности, загорелось и взорвалось тринадцать вагонов. Но это, я повторяю, мы все узнали потом, позже. А что ощущалось во время взрывов? В воздухе с трех часов ночи до семи утра стоял почти неумолкавший грохот. Летели вверх и в стороны, падая на наши крыши, в наши дворы, куски шрапнельных стаканов, железная их начинка — этакий увесистый горошек смерти. Мы все оделись, выскочили вот сюда, во двор. Было не до сна. На глазах наших один стакан фунтов на восемь, на девять ударил в этот тамбур над сенями и пробил его насквозь, другой сшиб трубу с прачечной, третий с замечательной ловкостью снес верхушку той вон старой березы. Шрапнельная дробь непрерывно, как адский град, гремела по крыше. Потом мы, знаете, насобирали полное лукошко свинцовых шариков величиною с вишню.

Он вошел в сени, погремел там, принес одну шрапнельную пулю:

— Полюбуйтесь!

Осокин подкинул шарик на ладони:

— Да, увесистая вещь. «Катятся ядра, свищут пули».

Куприн посмотрел на него, ожидая, что скажет тот еще. Но Осокин вовремя умолк.

— Так я о чем? Я не для живописания ужасов войны говорю все это. Я о русском человеке хочу. Раненые наши, простые солдатики, даже те, кто еще весь в бинтах был и примочках, подхватились с коек и было бежать прямо туда, на железнодорожную линию. «Поезд-то, мол, надо расцепить! Отогнать горящие вагоны от тех, до которых огонь еще не добрался». Лишь силой удалось их удержать в доме, в самом буквальном смысле слова силой. Встали в дверях и не пустили. Жена тут действовала, я, все. И как же верно работала их мысль: расцепить! Он, этот поезд, и был потом именно расцеплен. Совершил этот подвиг тринадцатилетний мальчик, сын здешнего стрелочника. Ребенок еще, а спас девять двойных платформ со снарядами для тяжелых орудий. Вот так! Где они теперь, те наши больные? Дисненко, Тузов, Курицын, Николаенко, Буров, Балан?..

— По-всякому могло быть, товарищ Куприн, — сказал Осокин. — Одни, может, генерала Краснова от Питера гнали и сейчас тоже в Красной Армии. Другие за Плюссой сидят, ножи точат.

— Где, где? — переспросил Куприн.

— За Плюссой. Белогвардейцы. Сволочь.

Куприн покосился на него.

— Мы здесь живем, ничего не знаем, где что деется на свете.

— А газеты?..

— Газеты... Да... Конечно... — уклончиво ответил Куприн.

— Врут газеты, да? Красные газетенки, да? Вот прихлопнутые нами всякие «Новые ведомости», «Вечерние часы», «Вечерние огни», «Новые лучи» — вот они были — да, несли свободное, передовое слово? Да они же свои сведения из кадетской, эсеровской, буржуйской помойки черпали, товарищ Куприн. Вы такой писатель и такую дрянь одобряете!

— Молодой человек, я ни одной из этих газет не называл. Это вы их назвали.

— Извините, — сказал Осокин. — Разволновался. Приходилось прихлопывать некоторые из них. Сколько тогда оскорблений наслушался! Вспомнил сейчас и не выдержал. Их, этой мути, после Октябрьского переворота десятки было. Все они врали против Советской власти. Я закрывал газету «Питер», я закрывал газетку господ Церетели, Чернова и Дана, которая называлась «Революционный набат», а была на деле-то сплошной контрреволюционной вонью. Журнальчики разные. «Минута», «Раввин»...

— Вы все только закрывали. — Куприн с иронией прищурился. — А открывать что-нибудь вам не приходилось, молодой человек? Такая радость, радость открытия, вам неведома?

— Ведома, товарищ писатель. Кое-что я и открывал. Контрреволюционный офицерский заговор открывал. Участвовал в этом открытии. Точнее, в раскрытии. — Осокин встал со скамейки. Благовидов подергал его за кожанку, тот отмахнулся. — Вот что, — сказал Осокин твердо. — У меня к вам такое дело, гражданин Куприн. Один тип, адрес его известен, конечно, спирт вам таскает под полой из Петрограда. Вы, наверно, знаете, чем это пахнет. Читали, грамотный человек. Так вот, скажите ему, вашему типу, пусть бросит свое дело. Его же и шлепнуть, скажите, могут. За ваше удовольствие, за рюмку водки человек пропадет.

Благовидов попрощался с хозяином дома, почти силой вытащил Осокина на улицу.

— Костя, Костя, — успокаивал его. — Уймись же, тебе говорю. Знаменитый писатель. Они все маленько чудаки.

— Пошел он к черту! — слышал гневное с улицы Александр Иванович, возвращаясь к своему лукошку с удобрениями.

«Ах, Николаенко, Тузов, Диспенко, Балан, неужели сегодня вы вот с такими идете и сами стали такие?» Скупой горстью русский писатель, книги которого были почти в каждой библиотеке России, во многих-многих русских домах, горстью той самой руки, которая написала эти знаменитые книги, разбрасывал дальше по участку меж яблонями под будущий посев моркови со свеклой голубиный помет, высушенный, перемолотый, смешанный с конским навозом. Он уходил в эту работу, она его успокаивала.

Благовидов с Осокиным дошли до проспекта Павла I, сели на лавочку возле длинного здания бывшего сиротского института.

— Не годишься ты в пропагандисты, Костя, — сказал Благовидов. — Совершенно не годишься!

— А я и не пропагандист. Это ты занимайся словесностью. Я дело должен делать, я его и делаю и буду делать.

— Ты знаешь, как с такими людьми надо аккуратно, осмотрительно себя вести. Ему же, при его достатке, при таком доме, саде, огороде, Советская власть пока не нужна, — рассуждал вслух Благовидов. — Она остро нужна рабочим и крестьянам, и то крестьянам бедным, а не богатым. Они ее поэтому и завоевали. А такие, — Благовидов кивнул в сторону, откуда они пришли на проспект, — тоже поймут Советскую власть, но не сразу, не сейчас, когда-нибудь потом. Когда, скажем, кончится разруха, когда настанет светлая жизнь для всех. Тогда и эти поймут, что и к ним пришла новая жизнь, по-настоящему свободная. Но это еще, говорю тебе, не сейчас. Пока они оглядываются на то, что потеряли, горько плачут о нем. Им еще не видно то, что приобретено ими, они этого не ощущают. Потому что материально они его ощутить еще не могут, его пока просто и нет для них в материальном виде. Они это могли бы понять сознанием. А сознание у них еще старое, мерки все старые. Вот и надо с ними очень аккуратно, очень. Потихоньку подводить их к Со-

ветской власти, не торопясь, ознакамливать с ней. А ты принялся: «Это закрыл, то прихлопнул!» Костя, Костя!

— С интересом слушаю. Ума набираюсь. «Науки юношей питают». Чудесно. Ян Карлович меня сверлил и строгал полный час, учил пониманию особенностей гражданских войн. И ты вот любезно преподал урок нежного обращения с бывшими! — Осокин свирепел, сплевывая направо и налево, будто съел неимоверную мерзость.

— Чудак, честное слово, чудак! — Благовидов рассмеялся. — Этот писатель не бывший, он всегда будет писателем. Это же не граф, не князь и не генерал. С тех сдери эполеты и прочие регалии, и кто он? Никто. Такой действительно только бывший. Я не призываю тебя воспитывать Булак-Балаховича или Юденича. Тех надо просто давить. А этого... Этого мы должны заставить поверить в нас с тобой, в рабочих и крестьян, в народ. Слышал, как он о солдатах раненых говорил? Хорошо же говорил, верно? По фамилиям всех до одного помнит.

— Ну ладно. — Осокин встал. — Зря паровоз отпустили. Уехал бы к чертям в Питер.

— Не спеши, не ярись. Завтра вместе уедем. На поезде. Пойдем-ка сейчас в казармы! Потолкуем с людьми. Ты и успокоишься.

12

Жизнь Ирины становилась все труднее, сложнее и запутаннее.

В тот жуткий вечер, побыв в компании пьяных офицеров, переодевшихся кто мастеровым, кто обывателем, она вернулась домой смятенная, больная, плачущая; от нее пахло мешаными винами, а может быть, даже и коньяком, она уж не помнила, что подливали ей там, в разгульном, заплеванном доме на Фонарном.

Ирина не знала, что сказать Илье, как объяснить свое непривычное ему состояние. Правду сказать было немыслимо, она видела перед собой почтительно настороженные глаза своего провожатого и его слова: «В этой руке моя честь, моя жизнь, тайны и судьбы многих и многих». Нет, что бы ни случилось, хоть на дыбу, хоть на костер, Ирина не может стать доносчицей, не может. Но что же, что сказать, как объяснить Илье? Она рыдала, поливая слезами подушки. Илья сидел возле и гладил ее по спине, по плечам, по затылку в темно-каштановых за-

витках. Обычно, когда в их жизни случались неприятности, от этой его чуткой, заботливой руки ей становилось лучше, спокойней, светлее на душе. А тут от его доброты, от его ласки было еще хуже, делалось просто невыносимо, непереносимо и настолько скверно, что она бы уже не плакала, а выла, выла, как волчица, лесным длинным воем. Но в коридоре, там, за дверьми, неслышной тенью скользила девка Санька, все слушала, во все готова была влезть, и только невозможность, недопустимость душевного обнажения перед чужим, любопытствующим человеком удерживала Ирину от этого крика.

Как все на свете, неостановимый ее плач имел и вторую свою — добрую — сторону. Пока Ирина металась среди подушек, в голову ей пришло хотя и уязвимое, но довольно правдоподобное объяснение. Илья простодушный, он поверит, он должен поверить, он не может не поверить. Она сказала, что у нее вдруг закружилась голова. «Ты знаешь, я была у одной дамы. Она обещала мне шерсти, чтобы связать тебе фуфайку. И вот шла обратно, так далеко...» Словом, она упала. Какие-то добрые, очень добрые люди подобрали ее, привели к себе в дом и, чтобы вернуть силы, заставили выпить рюмку самогону. «Такая пакость, такая пакость, меня тошнит, мне очень плохо. Но ничего же другого у них не было, Илюшенька».

Она говорила, оснащала свою выдумку все новыми подробностями. И Илья, как думалось Ирине, ей верил. Он прикладывал холодные компрессы к ее горячей голове, капал в рюмку найденные в шкафу мятные капли, поил чаем из сушеной черники, хранимой в доме с незапамятных времен на тот случай, если у кого-либо расстроится желудок. Ирина постепенно успокаивалась от сознания, что ей удалось выйти из сложного положения, что теперь все уже вновь хорошо. И Илья вот улыбается предобрейшей улыбкой.

Ни слову своей хозяйки не поверила лишь прозорливая, глазастая Санька. Ей случалось видывать таких вот раскисших от нескольких рюмок, растрепанных, рыдающих дамочек в доме Завадского, где то запирались в кабинете хозяина и тихо сговаривались солидные господа в тугих белых воротничках и с аккуратно подстриженными бородками, то по-кабацки гуляли переодетые офицеры, которые хвастались друг перед другом револьверами в коридорах и приставали не только к ней, Саньке,

но даже и к толстой, огромной, как башня городской думы, кухарке, когда та еще не покинула место.

Как только этот предобрый барин, Илья Андреевич, не понимает, что его барыня в лоск пьяная, а не больная, что не рюмку она выпила, а ведро. И где же ее за несколько минут, пока, мол, приводили в чувство, успели так прокурить, что от ее платья и волос несет махоркой, как на деревенской сходке? Может, потому Илья Андреевич ничего не чует, что сам дюже курящий? Санька не старалась выказывать, подчеркивать свое недоверие хозяйке, но Ирина сама это видела. И трудно было не увидеть быстрые изучающие взгляды паршивой девчонки, дряни неблагодарной, вытащенной почти из омута, и в душе Ирины стремительно росло от этого чувство неприязни к своей помощнице, еще утром такой милой, такой необходимой и полюбившейся, почти подруге.

Прошел день, прошел другой, все улеглось в доме, встало на свои привычные места. За эти дни у них вновь успел побывать брат Ильи Андреевича, Павел Андреевич. Он, как и обещал, увел Саньку в театр. Назавтра девчонка заявила, что уходит от них. Но не так заявила, как делают обычно прислуги, недовольные хозяевами и решившие уйти, — не с воплями и криками, с разоблачениями на лестнице. Нет. Была она грустная, притихшая, даже, кажется, заплаканная.

— Извините, барыня, дорогая. Не могу у вас. Не потому что с чем несогласная. Все хорошо, а надо уйти. Родные в деревню требуют. Нелады у них.

Ирина не стала расспрашивать, какие родные, в какую деревню, какие там нелады. Если Санька поняла ее ложь в тот вечер, то и Ирина поняла, что Санька лжет. А зачем, почему? Может быть, Павел собрался определять ее на какое-нибудь руководительское место? Может быть, после вчерашнего хождения в театр, впервые в жизни этой девки, она теперь будет управлять театрами?

Ирина в мыслях невесело улыбнулась: «Теперь все возможно».

— Что ж, Саня, — сказала она. — Жаль, милая, очень жаль. Я к тебе привыкла.

Санька утерла ладонью влажно заблестевшие глаза и ушла с узлом своих вещичек.

Вновь Ирина одна. Вновь бесчисленные домашние, бытовые трудности. Но уже ни они сами, ни борьба с ними ее в такой мере, как было прежде, не занимают.

Спекулянт с консервами и сигарами пропал; должно быть, его арестовали: газеты все время сообщают об арестах спекулянтов. Не стало в доме не только водки, но и простого самогона, за который большевики тоже карают расстрелами. Любитель рюмочки, Илья раздражается, злится. Ирина и рада бы помочь ему, но как, не знает. Даже если бы спекулянт Бабашкин вновь появился, что сможет она предложить ему за его дорогие товары? Он брал драгоценностями, золотом и камнями, ничего из этого у нее уже не осталось.

Чтобы уйти от невзгод, забыться, как бы исчезнуть из жизни, Ирина, стоит Илье, чуть свет в окнах, уйти из дому на службу, снова заваливалась в еще не остывшую постель и спала до полудня, а то, бывало, до самого вечера, до возвращения Ильи. Когда же Илья выражал недоумение по этому поводу, она отвечала: «И холодно и голодно, милый. И такая, знаешь, тоска». Валяться и спать можно было сколько угодно, потому что днем ее никто не беспокоил, никто не звонил в дверь.

И вдруг однажды позвонили. Отворять или не отворять, раздумывала Ирина, насторожившаяся под одеялом. Тот, кто был за дверью, знал, что в нынешние времена к дверям на звонок не спешат, и был достаточно терпелив. Две-три минуты спустя звонок повторился. Накинув халат, Ирина подошла к своим замкам и задвижкам, осторожно спросила — кто.

— Ирина Владимировна, не пугайтесь, это мы, ваши знакомые. Поэт Лужанин и некто Кубанцев. Кубанцев, — повторил голос, как бы стараясь донести до сознания Ирины нечто очень важное.

— Боже! — заметалась Ирина, не зная, что и делать. — Я не одета... В таком виде...

— Мы обождем, мы не спешим. Когда будет возможно, отомкнете. А пока — мы здесь.

Ирина хватала из шкафа кофты, юбки, ломала гребенки, пытаясь создать более или менее приемлемую прическу, всматривалась в свое отражение в зеркале и чуть не плакала: курица, совсем курица — и нос острый, куриный, и губы пропали. Кто это? Я? Не может быть. Она разревелась. Она готовилась к тому, чтобы впустить тех людей, которые ждут на лестнице, и вместе с тем ей до плача, до стона не хотелось ни их видеть, ни тем более, чтобы они видели ее такую. Кубанцев? Он же неприятный, прилипчивый. Горчилич сказал о нем, что

подобных в порядочное общество не принимают, он из скрывающихся от большевиков бывших жандармских чинов.

И только, может быть, ее всегдашнее, с гимназических лет преклонение перед людьми искусства властно толкало Ирину к двери: там же Лужанин, Вадим Лужанин, известный, обожаемый поэт Петербурга!

Она распахнула дверь, затянутая, подтянутая, стройная, молодая, излучая привет своими красивыми глазами.

— Извините, — сказал Кубанцев, положив на столик у дверей громоздкий пакет и склоняясь к ее руке.

Лужанин ограничился молчаливым рукопожатием, после чего занялся долгим рассматриванием ее с ног до головы.

В гостиной, сидя в том кресле, в которое обычно, приходя, усаживается Павел Благовидов, он сказал:

— Может быть, что-то было тогда лишнее. Я сожалею.

— Пустяки! Какие пустяки! — воскликнула Ирина. — Ничего даже не помню. Помню зато другое. Одиннадцатый год. Ресторан «Вена». Моя свадьба... Вы заняли такой юный, весь в порыве. Какие правдивые читали стихи на моей свадьбе!

— Что вы говорите? — Лужанин закинул ногу на ногу в кресле, показывая цветные, узорчатые носки. — Неужели так было? Свадьба? Вы? Все-все ушло, все забыто. Сколько лет, сколько лет!.. — Он прикрыл глаза рукой, лицо у него задергалось как бы от внутренней муки, от воспоминаний, от пережитого за длинные годы.

И в самом деле, пережил он, видимо, немало. Перед Ириной было его оплывшее, желтое лицо в старческих морщинах. Шея, как и прежде, походила на цыплячью, тонкую, в пупырышках шейку. Но лицо... Это был лик испытавшего все, истрепанного, угасающего человека.

— Я не могу вас ничем угостить... — начала было извиняться Ирина. — Мне, право, очень неудобно. Но...

— Не беспокойтесь, Ирина Владимировна, не беспокойтесь! — Кубанцев вскочил и щелкнул каблуками сапог так, будто на них были его привычные ротмистрские шпоры и он рассчитывал высечь ими чарующий «малиновый» звон. Из прихожей он принес свой пакет, и там в плотных оберточных бумагах, в жестких, хрустящих пергаментах оказались шпроты, колбасы, сливочное масло, хлеб, булки. Даже несколько бутылок, в числе которых бутылка прозрачной, чистой водки.

— Боже, боже! — восклицала Ирина при каждом новом свертке, извлекаемом Кубанцевым из пакета. — Уж не волшебник ли вы, господин Кубанцев? Покажете такой чудесный фокус, а протяни к этому руку — все исчезнет.

— Пока не успело исчезнуть, несите тарелки, Ирина Владимировна!

Ирина накрыла в столовой. Вместе с Кубанцевым они живописно расположили снедь на столе. Кубанцев попросил штопор. Ирину стала мучить мысль, как бы сделать так, чтобы бутылка с водкой осталась нетронутой, пусть бы пили только вино. Водка была нужна ей для Ильи. Когда Кубанцев взялся и за эту бутылку, она прямо попросила:

— Господа, доставьте мне удовольствие: не пейте в в моем доме водку. Вот же вино!

— Слово дамы — закон! — Кубанцев отнес бутылку на буфет. — Чтобы и на глаза она, зловредная, не попадалась.

Ирина была голодна. Ей налили в бокал, но пить она не стала, только пригубила. Зато, стараясь, чтобы не очень это бросалось в глаза, все подряд ела. Не спеша, двумя пальчиками брала булку, кусок за куском, намазывала нетолсто маслом, аккуратно, маленькой вилочкой, поддевала шпроты. Но сколько бы она ни ела, с ужасом чувствовала, что все еще хочет и хочет есть, у нее не было и тени насыщения.

— Горчилич мне сказал, — говорил Кубанцев, — что вам можно вполне довериться, не так ли?

Ирина кивнула с полным ртом.

— Вот мы с Вадимом Илларионовичем вам и доверились, глубокоуважаемая Ирина Владимировна. Времена сейчас такие, что порядочных людей травят, как волков. Обложат красными флажками... — Он даже захохотал, так удачно показалось ему насчет этих флажков. — Да, вот именно красными флажками... На каждом доме они... И гонят, пока не наскочишь на чекистскую пулю. Как можно реже надо бывать там, где тебя уже не раз видели. Таких мест, таких квартир в Петрограде все меньше и меньше. Веря вам, мы пришли в ваш дом. Пришли, гонимые, сирые. Но не отчаявшиеся.

Лужанин отсутствующе молчал и пил бокал за бокалом.

— Вадим Илларионович, а вы тоже офицер? — спросила Ирина.

— Я? — Как бы очнувшись от неких поэтических грез, он дернулся на стуле. — Я нет. Я солдат. Солдат великой борьбы за Россию, за ее освобождение. За ее поля и дубравы, за ее соловьиные весны и серебряные зимы. За церкви ее, за иконы суздальского и новгородского письма. За древность, за величие — за все, что было и чего нет, но что должно, должно быть!.. — Он ударил кулаком о стол, звякнула посуда, с дребезжанием упал на пол нож.

Кубанцев мгновенно его поднял, удержал руку Лужанина, взлетевшую было для новых ударов.

— Вадимчик, успокойся, дружок, успокойся! Чужих тут нет, одни свои. Зачем бушевать?

— Огнем и мечом! — сквозь стиснутые зубы зашипел Лужанин. — Плетьми, удавками, топорами, калеными крючьями...

— Кого? — в тревоге мягко спросила Ирина.

— Смердов, сволочь, быдло, всех, кто посмел оторвать свои собачьи морды от корыта с пойлом, от земли! Они все искалечили, изломали, серые, вонючие, портяночные. Я вам, прелестной женщине, не имею права не только сказать «госпожа», но даже «сударыня». Я должен облаивать вас лающими словами «товарищ» и «гражданка». — Лужанин, выкатив глаза, заскрипел зубами.

— Позвольте, я вам объясню, Ирина Владимировна. — Кубанцев, глядя на него, посмеивался. — Видите ли, Вадим Илларионович поначалу повел себя с большевиками весьма и весьма лояльно. У него высокая, как бы это назвать, приспособляемость к властям. Вроде ершится, петушится, а сам к ним бегает. Он даже ходил к их народному комиссару Луначарскому, предлагал свои поэтические услуги. Но, во-первых, большевики бесцеремоннейшим образом запретили журнальчик, в котором сотрудничал Вадим Илларионович. Какой-то «Гуль-гуль» или «Буль-буль». А во-вторых, сказав «пожалуйста, мы очень вам рады, товарищ Лужанин», стали посылать его со своими большевистскими концертными, видите ли, бригадами к мужикам в деревню, к мастеровым на фабрики, к своим красным солдату́шкам — бравым ребяту́шкам. И что же из этого получилось?..

— Перестаньте, Кубанцев! — оборвал Лужанин. — Хватит паясничать.

— А что переставать, Вадимчик, что переставать? Он, Ирина Владимировна, декламирует, старается, душу, как говорится, изливает. Соловей, кенар, да и только. А они, как жеребцы, гогочут, эти Ваньки и Нюрки. Разве ж они могут понимать изящное? А комиссар, когда Вадим Илларионович попытался выразить ему свою черную обиду, еще и говорит: «А вы, гражданин Лужанин, попробуйте не по проволоке ходить, не эквилибризмом заниматься, а почувствуйте-ка нужды народные, да вот так, для него, для народа, и постарайтесь поработать. Все может по-другому обернуться». Словом, Вадиму нашему не по дороге с товарищами. — Кубанцев ласково погладил Лужанина по тощей, узкой спине.

— Налей! — сказал Лужанин. — Да нет, не в этот наперсток. — Он отодвинул узкий бокал. — А вот сюда, в стакан!

Время шло, гости Ирины уходить не собирались. Лужанин все больше хмелел, все бледнее делалось его отечное лицо, белые глаза все чаще закатывались за веки так, что зрачков становилось не видно, оставались одни пустые глазные яблоки. Как у мраморных статуй в Летнем саду. Кубанцев все больше хихикал, подзадоривал, подвинчивал Лужанина. Ирина взглядывала на часы: вот-вот мог прийти Илья. Что же будет, если он у себя дома застанет такую странную компанию? Страшно даже подумать.

— Между прочим, — найдя минуту, спросил Кубанцев, — а что вам рассказывал наш общий друг Горчилич, Ирина Владимировна? Что говорил он обо мне, например, про нашу организацию, про наши дела?

— Про вас, про организацию? — Ирина насторожилась. Она обещала Горчиличу молчать. И она будет молчать. Никому — ни таким, ни другим, ни третьим — не скажет ничего. — Он же меня совсем не знает, — ответила она равнодушно. — Какие могут быть разговоры? О какой организации, кстати, идет речь?

— Хитренькая вы! — Кубанцев все смеялся. — Ну мы еще с вами поговорим, будет время, побеседуем. А сейчас нам пора. Вадим Илларионович, честь надо знать! Сказать спасибо Ирине Владимировне за ее гостеприимство.

Лужанин встал из-за стола, оделся в передней, вышел на лестничную площадку.

Кубанцов опять поцеловал руку Ирине, на ходу осмотрел замки и задвижки на дверях, одобрил: «Надежно, надежно», — и уже с лестницы сказал:

— Труд мне предстоит великий — тащить поэта по всему Питеру. Да так тащить, чтобы он не качнулся, не обнаружил своего приятного состояния. Плохо может такое дело кончиться. Ну не впервой. Желаю вам!..

Заперев за неожиданными гостями дверь, Ирина кинулась приводить в порядок квартиру. Убрала со стола, вымела окурки, распахнула форточки. Снеди, принесенной Кубанцевым, оставалось еще предостаточно. Переменив скатерть, она вновь накрыла стол, придав закускам такой вид, что они нисколько не выглядели остатками. В центре же стола она расположила бутылку с водкой и уже представляла себе, как будет рад Илья.

Он пришел поздно и еле держался на ногах.

— Был в Кронштадте сегодня, — заговорил, отправляясь к умывальнику. — На автомобиле туда ездили. По кораблям ползал, головой о железные притолоки стукался, устал дьявольски. Решили к весне эскадру готовить, совет инженеров собрали. Ну и меня... Меня теперь всюду таскают.

— А помнишь, мой папа говаривал: кто везет, того и погоняют. Поешь, милый, подкрепись, родной. — Она ввела его под руку в столовую. — У нас сегодня колбаска есть, масло. Хлеб какой чудесный!

Илья схватился за бутылку, встряхнул ее.

— Чистокровная смирновская! Бабашкин поди был. Твой кормилец и мой поилец.

— Да, конечно, Бабашкин, — не находя другого, ответила Ирина. — Кто же еще?

— Куришь много, — сказал Илья, усаживаясь на стуле. — Весь дом продымила.

— На радостях, Илюша. Видишь, папироски.

Она хлопотала вокруг стола, ей очень хотелось, чтобы Илье было хорошо, уютно, легко. В заботу о нем она уходила, как в блиндаж, как в укрытие от того грозного, страшного, которое чудилось ей в появлении сегодняшних гостей. И «красные флажки», и «волки» Кубанцева, и «огнем и мечом, калеными крючьями, плетьми» Лужанина — от всего этого знобило, делалось не по себе. Улыбка Ильи, выпившего рюмку, рассеивала Иринино беспокойство, сгустившийся было вокруг их дома мрак. Она тоже улыбалась, поглядывая на него, и вместе с тем все думала

и думала: а если придет беда — она не представляла себе вида этой беды, — но если такая придет, что станет делать Илья, сумеет ли он отвести от них эту беду? Способен ли он на такое? Рядом с ним, с Ильей, в мыслях ее появляется его брат Павел. Да, Павел... Если бы сказать все Павлу, если бы тот узнал!.. Он наверняка бы нашел средство разогнать тучи над их с Ильей домом. Почему в одной семье получаются такие разные дети? У Ирины было десять сестер. Все они замужем, все поразъехались с мужьями по России, в Петрограде уже нет ни одной. Но Ирина помнит, какие они были разные. Среди них есть клуши, наседки, которые только и делают, что трясутся над своими детьми. Есть любящие погулять, пображничать, побаловаться наливочкой да водочкой. Одна даже поет в каком-то хоре, если этот хор еще не рассыпался после революции.

Раздумья Ирины оборвал звонок. Явился он, легкий на помине, Павел.

— Пируют, буржуи! — сказал брат Ильи, окинув взглядом стол. — Вот как вас, спецов, Советская власть снабжает, а вы еще ворчите на нас.

— Советская власть? — Илья стрельнул на него веселым глазом. — Гнилую картошку она нам выдала в этом месяце. Это все гражданин Бабашкин нас потчует. Что-то еще перешло в его почтенные, трудовые руки из буржуйских рук моей благоверной.

— Бабашкин? — Павел сказал это обычным своим спокойным тоном. Но в этом спокойствии Ирина уловила вспыхнувшую на миг и тотчас погашенную нотку изумления.— Так, Ирина? — Павел не смотрел на нее. Тонким, еле видимым слоем он намазывал масло на кусок хлеба.

— Да, — ответила Ирина, и голос у нее оборвался. Для нее уже не было никакого сомнения в том, что Павел откуда-то, от кого-то знает, что она врет.

— Мне надо у тебя кое-что спросить, Ирина. Такое чисто домашнее, — со смехом сказал Павел, откладывая в сторону намазанный хлеб. — Я же человек холостой, все домашние дела сам делаю. Зайдем на минутку в кабинет Ильи, пока он тут покуривает.

Ирина двигалась за Павлом так, как ходят только на казнь: опустив голову, повесив руки.

— Видишь ли, Иринушка, — заговорил Павел, тихо прикрывая дверь кабинета, — мне очень важно знать, кто на самом деле принес тебе припасы. Бабашкин или,

может быть, кто-то другой. Дело в том, скажу тебе прямо, хотя это большая тайна, и не моя кстати, что несколько дней назад, тот, кого ты называешь Бабашкиным, отправился туда, откуда он должен возвратиться только через месяц. Если он уже сегодня вернулся, значит, он предатель, он враг и об этом немедленно должны знать наши люди. Если...

— Нет, Павел, это не Бабашкин. Прости мне мою ложь. — У Ирины тряслись руки. — Но я не хотела, чтобы Илья думал, будто бы я путаюсь со всеми подряд петроградскими спекулянтами. Про Бабашкина он знает... не видел его никогда, но знает, от меня знает... и с ним смирился.

— Не надо ему врать, Ирина, пусть Илья знает все. — Павел непривычно строго смотрел ей в глаза. — За одной ложью придет другая, и тебе уже будет не выпутаться из этих тенет. Вместе с тобой запутается Илья. Точнее, ты его запутаешь. Он благодушествует, ничего не видя. А пусть увидит, пусть насторожится, остановит тебя, женщину, от твоих женских ошибок. Время суровое, строгое, Ирина, ошибаться в такое время нельзя. Можно потерять голову, пойми. Перед законами революции никому ни скидок, ни исключений не будет. Развяжись со спекулянтами, развяжись. Так можно доиграться. Погубишь и Илью и себя. Те, кто должен знать о твоих шашнях со спекулянтами, об этом знают. Поверь мне. Но смотрят на них сквозь пальцы только во имя твоего Ильи. И моего. Ну, пойдем к нему.

Павел легко подтолкнул Ирину к двери и, возвращаясь в столовую, сказал громко и весело:

— Спасибо невестушке, надоумила. А то прямо всю голову изломал. Ты тут, Илюшенька, ревностью не мучился, пока мы шушукались? Жена — красавица. Я, бывало, подумывал, сознаюсь теперь, не похитить ли у тебя Ирину да не сбежать ли вместе в чужедальние края. Присматривай за ней повнимательней, братишка.

Ирина не могла выдавить из себя ни слова, не могла даже приветливо улыбнуться. Ее съедала мысль: вдруг Павел не только о Бабашкине знает, вдруг он знает все — и про тех шатающихся вокруг нее офицеров? До чего же страшно он сказал эти слова: «Так можно доиграться. Погубишь и Илью и себя». Будь же они прокляты, все Кусанцевы, Виктории Федоровны, поэты, кадеты, офицеры!

Все, все, конец! Она покончит с ними. Ни Илью, ни себя губить из-за них она не желает.

Так думалось Ирине, так страстно хотелось. Но жизнь оставалась жизнью, и ее извечные законы не совпадали с порывами и желаниями людей.

13

— А ежели я такая глупая, Павел Андреевич, то вы меня учите. — Санька, одетая в старенькую бархатную кацавейку, степенно вышагивала рядом с Павлом Благовидовым, пытаясь угадывать с ним в ногу; у нее это не получалось, Санька то и дело подпрыгивала, меняя ногу на ходу. Лицо Санькино было внимательное, строгое. Только в глазах металась обычная ее чертовщинка.

— Не глупая ты, — ответил Павел. — Этого я тебе не говорил и не скажу. Но неграмотная, неученая, знаешь мало.

— Что бабе знать надо, уж знаю!

Благовидов посмотрел на нее искоса. Она тоже смотрела на него, и зрачки в синих ее лучистых глазах показались ему при апрельском ярком солнце такими, как бывают они у молодых козочек, — римской единичкой, вертикальные. Глаза получались серьезными-пресерьезными и вместе с тем озорными.

— Мало этого, твоих бабьих знаний, не хвастайся зря. Женщина не только из бабы состоит. Она человек, Саня. А человеку знать очень много надобно. Смотри, нос ты чем утираешь? Рукавом. Рукав у тебя от этого блестит, как железный. Приедут, например, заграничные люди, посмотрят: хозяйка новой России, Советской России, а со своими собственными соплями совладать не может.

— Уж насмотрелась я на заграничных этих людей, Павел Андреевич. Третьеводни было их таких двое. Ни слова русского, по одному заграничному говорили и вино пили заграничного названия, ни единой буковки не разобрала. А блевать когда стал тот, который помоложе, совсем как наши мужики. Уперся лбом в стенку в коридоре — и ну хлыщет на пол. Другой пошел за ним, подскользнулся да как матюкнет его, тоже совсем по-русскому.

— Может быть, они и были русскими. Только притворялись иностранцами, а?

— Кто ж их знает. Может, и так.

— Вот видишь: «Кто их знает». А надо, Саня, знать. Языки иностранные всем нам придется изучать. И тебе придется.

— Я и говорю: учите, Павел Андреевич. Чего не знаю, так и скажите прямо: Санька, ты дура.

Они шли по грязному Петергофскому шоссе, миновав Триумфальную арку на той площади, которую обычно все называют Нарвскими воротами. Кособокие, изъеденные гнилью лачуги серой вереницей уныло тянулись по обе стороны разбитого колесами весеннего тракта.

В одной из таких халупок много лет обитал дядя Павла и Ильи Благовидовых, родной брат их покойной матери Степан Егорович Жигалин. Кроме него самого да жены его, Феклы Дмитриевны, да двух дочерей жигалинских — Маньки и Кланьки, двоюродных сестер Илье и Павлу, других благовидовских родственников на свете уже не было. Павел, когда осточертевала ему бобыльская его жизнь, отправлялся то к Илье с Ириной — побыть в человеческом доме, отойти душой от занудной вечной казармы, то вот сюда, на дальний край Петербурга, за Нарвскую заставу, к дяде Степану Егоровичу.

Санька тоже вышагивает с ним, с Павлом, в далекий поход к его родственникам.

В общем-то не кто иной, именно Павел виноват, что пришлось ей возвратиться к прежнему хозяину. Не прямо виноват, косвенно, но все-таки виноват. Сказал о Саньке своему другу Косте Осокину. Ничего особенного не сказал. Просто так, что есть, мол, такая, служила у профессора Завадского, не выдержала обстановки, когда пьют, гуляют, пристают, о чем-то шушукаются, сбежала в дом к его, Павлову, брату Илье. «Немедленно должна вернуться к Завадскому, немедленно! — взволновался Осокин. — Свой человек нам нужен там знаешь как? Может она быть своим человеком?» — «Полагаю, что да, она хорошая», — насколько можно равнодушнее постарался ответить Павел. Но у Осокина по всему его скуластому лицу расплылась понимающая улыбка. «Очаровательные глазки, очаровали вы меня», — пропел он, радостно рассматривая Павла. — Снимаем, значит, монашеский клобук, и да здравствует жизнь!»

Павел насупился, ему вовсе не хотелось разговора о Саньке и о себе в таком тоне, и вообще он не желал никакого вмешательства в его личную жизнь. «Не может она вернуться к Завадскому, — ответил твердо. — Не может. Понимаешь? Она сбежала не сказавшись, и с того времени уже прошло больше двух недель». Осокин порасхаживал по комнате — дело было у Благовидова в Смольном — постоял возле окна, подражая своему начальнику Яну Карловичу. «Может, сказал, может! Пусть объяснит своему профессору так. К ней приставали всякие там фраеры, она не выдержала, подалась в свою новгородскую деревню. А там хотя и менее голодно и холодно, чем в Питере, зато жизнь темная, одна скукота вокруг, привыкла к столичному коловращению, да еще и замуж за какого-то моховика родители выдавать вздумали, вот и вернулась обратно. Поплакать надо, похлюпать носом. Профессор этот у нас на заметке. Он и сам не дурак, и вокруг него крутятся не глупее нас субчики. Они тоже мозгами пошевелят. Будут подозревать. Но мы их перехитрим тем, что без полной уверенности трогать не станем. Пусть себе собираются, пусть что хотят, то и делают. Ни обысков, ни облав».

Павлу не хотелось, чтобы Санька шла в тот чертов вертеп, из которого она не без усилий вырвалась. Да и сама она захочет ли, еще спросить ее надо. Он был немало удивлен, когда, взяв Саньку в театр на оперу «Риголетто» — уж на что билет достался — и рассказав ей о планах Осокина, в ответ услышал: «Ежели за делом, Павел Андреевич, то согласная. Говорю ж вам, я бедовая. Только бонбу мне, леворверт бы надо».

Без «бонбы» и без «леворверта» вернулась Санька к Завадскому после долгой беседы с Осокиным и Яном Карловичем. Она поняла, почувствовала всю серьезность ее новой жизни. Завадский выслушал все, что она плела про деревню, про родителей, поросшего мохом жениха, и строго сказал: «Не будешь в другой раз дурой, не будешь от добра бегать».

Зайдя на кухню, Санька ужаснулась. Измазанные, затыканные окурками, громоздились тут стопами и стопками все барыни Зои Иннокентьевны сервизы. И на двадцать четыре персоны который, и на двенадцать, и синий с золотом, и бледно-голубой в рисуночек, чайные и кофейные. Марали их один за другим и стаскивали сюда, оставляли немытыми. Может, с тысячу всяких сервизных

предметов собралось на огромной плите, в моечных раковинах, на двух столах для разделки, на табуретках, прямо на полу, тоже грязном, завоженном, заляпанном.

Для Саньки началась прежняя ее нелегкая, тревожная жизнь. Опять приставания, грязные шуточки. Но теперь она переносила все это спокойно, понимая и сознавая, что делает важное для народа, для революции дело. Все слушала, все замечала: кто, когда, зачем приходил, о чем разговаривали, кто звонил по телефону. Время от времени Завадский отправлял ее из дому; давал билет в кино или просто говорил: «Иди погуляй, раньше восьми не возвращайся». В таком случае не только она ломала голову, что бы это могло означать. Осокин сказал ей однажды: «Значит, какая-то особо важная встреча была у Завадского. В другой такой раз ты постарайся остаться дома. Заболей, что ли, и непременно посмотри, послушай, что же там будет. Это очень надо». Прибегала Санька посоветоваться и к Павлу Благовидову. «Вот говорили они, Павел Андреевич, про такое. А что оно означает, не скумекаю. Рассудите, Павел Андреевич».

Сегодня Завадский тоже отправил ее из дому. И очень хорошо, что отправил. Можно погулять с Павлом Андреевичем. А вчера что творилось! Дом ломился от всякого народу, шумели о том, что адмирал Колчак лихо продвигается вперед, что ему надо помочь под Петроградом. Возможен десант. Англичане дадут танки. «Я — во как! — запомнила: «десант», «танки». А что оно такое, не знаю, Павел Андреевич. И еще не знаю — «дефилеи» между озерами, удар «с фланга», «форты»».

Тут-то Павел и начал с ней свой разговор о том, что знаний ей, образования не хватает, учиться надо.

Шли они так далеко, к Степану Егоровичу, потому что места встреч надо было выбирать поконспиративнее, понадежней. В центре города никак нельзя встречаться: непременно на кого-нибудь из посетителей квартиры Завадского наскочишь, увидит с ним Саньку — возьмет на заметку. И к Илье с Ириной тоже Саньке ходить нельзя. И там может быть слежка. После вранья о Бабашкине-Хамелайнене Павел не очень доверял Ирине. А бывать друг с другом и Павлу и Саньке хотелось. На Павла от нее нисходило так необходимое ему в его одинокой жизни женское доброе тепло. Санька же смотрела на него с обожанием. И когда выходил случай, что или по своей

охоте, или по приказанию Завадского Санька оказывалась свободной, она бежала в один из домов на Почтамтской, который ей указал Осокин, и оттуда, из секретной квартиры, где жили красноармейцы, звонила Павлу по телефону. Если застанет его, а бывало это не всегда, то он назначал ей место встречи каждый раз новое. А уж с того места они отправлялись, например, к Степану Егоровичу, к Фекле Дмитриевне, к Маньке с Кланькой. Сидели там, чай из поджаренной на сковороде морковки попивали. Степан Егорович про заводские дела рассказывал. Он паровозы ремонтировал на Путиловском.

На этот раз пошел разговор про то же, про заводское.

— Жмем, Павлушенька, жмем. Все отправляем да отправляем продукцию на фронты против Антанты. И народу из мастерских поуходило много. Старье вроде меня остается да зеленый молодняк, ребятня. А которые в зрелых-то летах — все в Красную Армию да в Красную Армию...

Стучали каблуки в сенях, скрипела обитая войлоком и дерюжкой дверь, в халупку Жигалиных заходили и заходили многочисленные соседи. Все они знали, кто такой есть племянник Степана Егоровича, задавали Павлу вопросы о международном положении, о внутренних делах, спорили о делах своих, заводских.

— Вот, товарищ Благовидов, такая штука, — начал один из гостей. — Товарищеский суд, скажем. Мы же государство рабочих и крестьян. «Кто был ничем, тот станет всем». Верно. И вот, к примеру, граф там или князь, барон какой-нибудь, неможется ему если — проснулся поутру, никуда идти не хочет. И не идет. А я? Метель была раз в понешнюю зиму такая, спасу нет, воет аж. Глянул в окно — от одного вида, чего там деется, ревматизм меня так и взял за костье. Лег обратно, никуда не пошел. Так что думаешь? Судили! Объявление про меня вывесили, как про последнего сукина сына. Пайка хотели лишить. Где ж тут «кто был ничем, тот станет всем», объясни? Опять, значит, на твоем горбу сидят, на тебе едут и тебя погоняют? А ведь я революцию завоевывал, Краснова с Керенским возле станции Александровской бил, новую жизнь добывал. Тьфу!

— Не плюй на пол! — строго сказала Фекла Дмитриевна. — Мне за тобой мыть, в дугу сгибаться, спину ломать, граф навозный.

— Вы, товарищ, путаете все, — заговорил Павел. — Барон мог валяться в постели, потому что на него другие, мы с вами, работали. У барона вы бы в любую пургу, при любом ревматизме отправились на завод. Иначе с голоду помирай. Так? А вот на нас с вами, когда мы хозяевами стали, никто работать не будет, да мы и не хотим никого заставлять на нас работать. Мы сами можем. Плох же тот хозяин, который на себя не хочет поработать, очень плох. Не может он, значит, сам хозяйствовать, дубинка ему, палка хозяйская нужна?

— Это все верно, спору нет, — заговорили почти все разом. — А только денег на заводе платят мало. С продовольствием — хуже некуда, гнилую картошку едим. Детишкам ни молока, ни сахару купить нельзя.

— Эх вы! — с досадой сказал плотный парень в старом матросском бушлате. — Заныли, слушать скука. Еще, может, власть-то нашу обратно из наших рук выдернут и пойдут тогда развешивать каждого по фонарям, кожу со спин драть шомполами. А вы про сахар раскудахтались! Генералов сперва отбить надо, Антанту чертову. Когда дом горит, бегут огонь заливать, а не чай пить садятся. В том, конечно, случае, если ты не полный дурак. Э, да что с вами!.. Так твою... тьфу!..

— Алексей, Алексей! — остановила его Фекла Дмитриевна. — С матюками-то ты во двор выйди.

— Жених Манькин, — подмигивая, сказал про парня в бушлате Степан Егорович. — Алексей Золотов. Фамилия богатая, а у самого и копейки медной за душой нету.

Павел подал Золотову руку:

— Будем знакомы, товарищ. Хорошо, правильно рассуждаете.

— А я не только рассуждаю. Когда у нас на Путиловском некоторые гаврики волынку затеяли в прошлом месяце, забастовку, значит, под эсеровскую дудочку, я морды тем гадам бил. Было такое дело?

— Ну было, было. Мы и без твоего мордобития с теми сукиными сынами справились. Каждый понимал, откуда вонью понесло.

— А понимал, так нечего было меж «нашими» и «вашими» путаться.

— Он у нас, Золотов-то, идейный, товарищ Благовидов. Надо день работать — день работает. Ночь надо — будет ночь. Круглые сутки — тоже Алексей Золотов.

— Верно, — подтвердил Степан Егорович. — Послед-

ний паровоз дошибали, Алексей наш двадцать часов не уходил из цеха. А носа на пуп не вешает, кверху его держит. Он же веселый у нас. Это только сейчас осерчал вот, ликом такой сделался свирепый. А то — песенник.

— Спой, Лешенька!

— А ну вас, «спой»! — Золотов даже отвернулся. В профиль он был курносый и оттого еще более задиристый. — Уйду в Красную Армию, и хрен с вашими паровозами и с вашим сахаром.

— Хрена-то не поминай попусту, Лешенька, — сказал старичок с реденькими сивыми волосенками надо лбом. Он все время тихо сидел у окна под кустистой китайской розой. — А то знаешь, как было раз? Сеет мужик в поле из лукошка зерно. Идет мимо странник. Смиренный, глаза печальные. «Что, добрый человек, сеешь?» — спрашивает вежливо так, хорошо, душевно. А мужичонка занозистый был, невежа и ерпик, навроде тебя. «Хрены сею!» — только и буркнул в ответ страннику. «Ну бог в помощь», — тот-то говорит и дальше отправился. Подошла осень, вышел мужичонка в поле на жатву. Глянул — и обомлел весь. У соседей рожь до пояса. А у него все поле — одни хрены. Густо так, стеной стоят. Породистые — во!

Гости Жигалиных захохотали, даже и те, кто уже слыхивал эту апокрифическую повесть сивого старичка. А старичок без ухмылок, серьезно закончил:

— Странник тот — сам Иисус Христос был. Вот кто!

— А у нас Иисусов нет пока, не вижу, — ответил Золотов. — Разве что ты один, дядя Федя. В церковь каждый праздник ходишь, поклоны бьешь, обслюнявленные иконы целуешь.

— Поклонов я не бью, конечно, и ничего не слюнявлю. А ходить хожу, святая правда. Может, бога и нет, как в газетах пишут. Все возможно, перечить не стану. Ну а что, если он есть? Тогда как? Явишься на суд божий, на страшный, значит, а тебя в плетье, в крючья, да куда? В котел со смолой!

— А если, значит, в церковь ходить?..

— Тогда, значит, берут тебя под руки и ведут этак вежливо в самый рай, в кущи.

Много было наговорено всякого: то начинался свирепый спор на темы политические, то вдруг повертывалось все на смешной рассказ из жизни, то принимались

подтрунивать друг над другом. За такими занятиями напились чаю, напаренного Феклой Дмитриевной из ее подгорелой морковки. Павел стал прощаться с людьми, среди которых ему всегда было хорошо и просто. Потом всей толпой проводили его немного, и вот вновь бредут они вдвоем с этой забавной Санькой по длинным каменным петроградским проспектам и улицам.

Возле Калинкина моста, на Фонтанке, как раз напротив пожарной части, длинным штабелем громоздились только что выкинутые из баржи на набережную сырые осиновые дрова. Средь этих тяжелых зеленых стволов виднелась и шелушистая кора еловых поленьев; те были суше.

— Посидим, Саня, — предложил Благовидов, отщелкнув крышку карманных часов. — Время у нас еще есть.

Выбрали толстое, с просохшей корой еловое полено полутороаршинной длины и уместились на нем рядышком. Солнце ушло за крышу большого дома на той стороне Фонтанки. Перед глазами лежал изломанный, искрошенный буксиром грязный лед. В прогалинах, в разводьях меж льдинами вода казалась совсем черной, от нее делалось страшно; бежала она быстро, подплывая под льдины, вздувая их и шевеля.

Со стороны улиц Павла и Саньку от глаз прохожих скрывала стена из дров, за ней было спокойно.

Становилось по-вечернему свежо, Санька придвинулась к Павлу, прижала к его плечу свое, мягкое и теплое.

— До чего же вы хороший, Павел Андреевич, — сказала она, вздохнув. — Вот сидела бы с вами так и сидела. Никуда бы не пошла.

Благовидов промолчал. Ему тоже было с ней как-то очень по-домашнему, бестревожно, но что мог он ответить? Именно это: хорошо, мол, никаких тревог. А зачем? Она думает о другом, видимо. Может ли он ей обещать хоть что-либо?

— Вот за вас я бы пошла замуж, Павел Андреевич, — совсем уж неожиданно сказала Санька. — Если бы вы согласились. — Она отдирала темные шелушинки от полена. Под ними открывалась ярко-коричневая свежая кора. — Но это все так, пустое я говорю, одни мечтания. Я же неграмотная, глупая. Мне бы такой быть, как Ирина Владимировна. Ох и красивая она! Личико маленько скуластенькое, как у товарища Осокина, зато

глаза какие! До дна не проглянуть. А прическу навьет, башней поставит — рот расхлопнешь. И умная она, Ирина Владимировна.

Санька помолчала, может быть раздумывая, говорить дальше или нет. Не выдержала, сказала:

— Только жалко мне Илью Андреевича. Красивая-то красивая, а врет она ему все. Проплутала раз неведомо где, вся куревом пришла провонявши, я-то чую, у меня нос хороший. А уж такую жалостную песенку про болезнь ему запела, будто желтенькая птичка в клетке. А он верит, бедненький, жалеет ее, вместо того чтобы хорошую палку в руки взять. Да ведь таких, как она, палками не учат, берегут. А вот и зря. Могла бы хорошая быть женщина. До чего же, говорю, красивая, умная, ученая. У ней книжки возле постели не на русском языке. Понимает. Все, как есть, понимает. А вы меня за спину обнять можете, Павел Андреевич? А то зябко стало. Не бойтесь. — Санька взяла его руку и закинула себе за плечи. — Вот так, крепче держите. Хорошо до чего! Тот дед про рай сегодня говорил... Там, в раю-то, думаю, все поди вот так по двое сидят, обнявшись, и песенки распевают. Хотите, я вам чего-нибудь спою? Тихонько-тихонько. А?

— Давай, — сказал Павел, удивляясь и радуясь тому, как приятно ему держать возле себя эту бесстрашную, чистую чистотой вечернего розового неба над ними, трогательно доверчивую девушку. — Спой, послушаем.

Пускай могила меня накажет,—

запела Санька почти шепотом, —

За то, что я тебя люблю.
Но я могилы не стра-а-шуся.
Кого люблю, и с тем помру.

— Уж очень печальное ты затянула, — сказал Павел. — Ты бы лучше...

— Нет, нет, — поспешно перебила его Санька, — не мешайте.

Он подходи-ил ко мне с улыбкой,
И руку жал, меня ласкал,
И назы-ва-ал меня голубкой,
И крепко-кре-е-нко целовал.

Пела Санька тихо, вполголоса, но самозабвенно, с надрывом:

Мне поцелуй тот был прощальный,
Когда наста-ал жестокий час.
Ведь я, дитя, любви не зна-а-ла...

Она уткнулась вдруг лицом в коленки и заплакала.

— Что ты, что ты! — заволновался Павел, неумело и несмело гладя ее по спине. — Полно, Санюшка. Может быть, я в чем виноват перед тобой?

— Песня такая. — Санька подняла лицо, утирая глаза ладонями. — Всегда так, как дойду до этого места — плачу. Ну не могу стерпеть, что хочешь делай! Реву и реву.

Павел вынул из кармана носовой платок, не слишком-то чистый и свежий, стиранный настолько давно, что Санька, когда он приложил его к ее глазам, воскликнула:

— Павел Андреевич, Павел Андреевич! Да как так можно, грязь какая! Давайте я вам все стирать буду. Рубахи, подштанники...

— Ну ладно, ладно, — остановил он ее, с досадой пряча платок обратно в карман. — Где ты стирать будешь? У Завадского? Чье, спросит.

— А скажу: «красноармейцево». С которым гуляю.

— Он тебе покажет «красноармейцево». Нельзя, Саня, ни про какого красноармейца. Ты с красноармейцами не знаешься.

— Тогда скажу: пожарника, замуж за него вышла.

— Болтунья ты, Санька. Пойдем! — Павел встал, взял ее за руку, поднял с полена.

Санька потянулась, как перед сном, зажмурилась.

— До чего же не хотца никуда идти! Взяли бы вы меня замуж, Павел Андреевич.

— Вот кончим войну с беляками, и возьму. А что, думаешь, нет?

— Нет. Вам другую надо в жены. Вроде Ирины Владимировны.

14

Уже второй месяц комиссар бригады Александр Раков занимался 3-м Петроградским полком. С военной точки зрения это был образцовый полк: почти три тысячи рядового состава, до полутора сотен командного, в полковых цейхгаузах — четыре тысячи винтовок, два десятка пулеметов; даже бомбометы были. Бывший царский полковник Бржозовский вышколил, выучил, подтянул личный состав своей части, добился, чтобы все у него в полку оделись в новое обмундирование.

Корнями своими полк уходил в стародавние времена. Был это один из знаменитых полков Петра Алексеевича,

царя Петра, и звался он Семеновским — по имени того села подмосковного, в котором он образовался два с третью века назад. Знамена его овевались дымами победных сражений во славу романовской России, их украшали славные — от пуль, от осколков ядер, гранат и снарядов — пробоины и прорехи. Это были гвардейцы, на которых в трудные, критические для трона, для династии часы опирали свою царственную руку российские самодержцы. В дни первой русской революции Николай II двинул семеновцев против рабочих восставшей Пресни с повелением: «Патронов не жалеть!» За одну ночь были переброшены они поездами в Москву и — нет, не пожалели патронов для защитников московских баррикад. «Молодцы, семеновцы!» — было им сказано за это августейше.

Лейб-гвардию холили, берегли, пестовали, готовили именно к таким дням, часам и минутам. Но случилось, что ни во время Февральской революции, ни в дни Октября молодцы-семеновцы не оправдали надежд ни царя-батюшки, ни Александра Керенского. Армия русская разваливалась, вместе с нею развалился, надломился в своих устоях и лейб-гвардии Семеновский полк — такова уж была сила революционных ураганов тех огненных дней. Казалось бы, и состав полка соответственный, отборный состав — при формировании своей гвардии цари не забывали о классовых принципах. Недоглядели они за соблюдением этих принципов лишь в начале девятнадцатого века, когда допустили в полк серое мужичье. Вот и получилось восстание 1820 года. Сечь, пороть, вешать, гнать в ссылку пришлось бунтовщиков. Зато с тех пор дорога в полк мужичью была закрыта. Все так, а вот поди ж ты!

К октябрю семнадцатого года, когда власть взял в руки народ, в Петрограде оставался резервный батальон Семеновского полка с его тыловыми подразделениями; находились они в прежних своих казармах, жили по неизменному двухвековому укладу. Почему? Да потому прежде всего, что сохранился тут весь офицерский состав. К такому прочному ядру потянулись раскиданные по России солдаты-семеновцы, солдаты других гвардейских полков, которые, демобилизовавшись, не смогли уехать в родные места, поскольку места те были захвачены немцами. Батальон развернули в 3-й Петроградский полк, и поступил он поначалу в распоряжение созданного

Советской властью Комиссариата внутренних дел. Бывшие семеновцы стали нести службу по внутренней охране Петрограда. Государственный банк, военные склады, Петропавловская крепость, телефонная станция — всюду возле них, примкнув штыки, стояли на часах недавние лейб-гвардейцы. Позже их можно было уже увидеть и возле Петроградского губернского Совета, возле губернских комиссариатов и даже возле Чрезвычайной комиссии — ЧК. Предреввоенсовета Троцкий особо заботился о 3-м Петроградском полке, оберегая его бывший офицерский командный состав от чисток, проверок, расследований. «Это же кузница военных специалистов, которые верно служат Советской власти».

Месяц назад комиссар бригады пришел в казарму полка вместе с только что назначенными новым командиром коммунистом Тавриным и с комиссаром, конечно же тоже членом партии большевиков, товарищем Купше. Полк заволновался, когда полковника Бржозовского отстранили от командования. Семеновцы почуяли, что наконец-то и до них начинают добираться. Раков и Купше дни и ночи напролет находились среди красноармейцев, Таврин же работал с командирами, с бывшими офицерами.

Когда собирались втроем, приходили в отчаяние. Контакта с полком ни у кого из них не получалось. Были в этой многолюдной массе две или три сотни бойцов, открыто верных Советской власти. Но остальные, почти три тысячи, во главе со своими командирами на все призывы, на все уговоры и разговоры лишь упрямо отмалчивались.

Один из красноармейцев сказал в беседе с Купше:

— А как иначе-то, товарищ комиссар? Боится народ.

— Чего, товарищ, боится?

— Офицерье же это бывшее, командиры-то наши. А вдруг что случится, перемена какая — шомполами засекут.

Пришлось затеять длительный опрос каждого красноармейца поодиночке, пришлось изучать жизненный путь почти каждого из бывших офицеров, и в конце концов понадобилось переарестовать одного за другим целых восемьдесят пять командиров и младших командиров и некоторых красноармейцев за контрреволюционную пропаганду, за возбуждение монархических веяний и настроений в полку. И все равно атмосфера так, как бы

надо, не очищалась. Комиссары батальонов, подобранные Раковым коммунисты Сергеев, Калинин и Дорофеев постоянно чувствовали, что вражеская работа в полку идет не прекращаясь, но ведется она теперь скрытно, в подполье. Данных нет, но есть полное ощущение того, что помощник командира полка, бывший подполковник, ныне военспец Зайцев и некоторые другие военспецы связаны с тайными офицерскими организациями Петрограда. От Зайцева и его единомышленников исходят такие разговоры и поступают такие сведения, которые могут прийти только извне России, по контрабандным дорогам.

Раков ездил в штаб 7-й армии, в которую вошла его 2-я Петроградская Особая бригада, и в том числе — 3-й Петроградский полк, целый час провел в беседе с начальником штаба; был он и в Военном совете. Но слушали его всюду плохо, отмахивались: «Да, да, трудно, товарищ Раков, всем трудно. Работайте!» После разговора с начальником штаба его догнал на лестнице подтянутый, средних лет военный в новом френче. Сидя в углу кабинета на кожаном диване, он присутствовал при разговоре Ракова и начштаба, но там молчал, а тут вдруг решил произнести длинную речь.

— Всех, товарищ Раков, не арестовать, чего вы столь энергично требуете, — начал он раздраженно. — Арестантских рот не хватит. Не вы один любите родину. Эти люди, которых вы подозреваете в измене, они тоже русские. Если вас назначили комиссаром, извольте комиссарить, а не командовать. Воспитывайте людей, доходите до их чувств, до их сердец — и не угрозами, а убеждающим словом. А то, видите ли, сажай всех! Мы имеем прямой и недвусмысленный приказ товарища Троцкого беречь военных специалистов, без которых никакая армия, самая революционнейшая из архиреволюционных, невозможна. Извольте это помнить. А семеновцы, кстати, среди которых вы работаете, лучший полк Красной Армии. Лучший. И имейте в виду, кстати, что девяносто девять лет назад они восстали именно против бесчеловечного с ними обращения. Да! Вот так!

Раков спокойно смотрел в холодно раскрытые светлые глаза человека с холеным, тщательно выбритым лицом, который при каждом своем слове постукивал носком сапога о каменные ступени лестницы, произносил слова отчетливо, ясно, свысока. Не было никаких сомнений

в том, что общего языка с ним не найти. Спекулирует словами «революционная дисциплина», «комплекс военных знаний», давит авторитетом предреввоенсовета. Поэтому Раков не стал вступать в разговор. Он лишь вернулся к начштабу и спросил о человеке, который сидел там несколько минут назад, кто это.

— Военспец, — ответил начштаба. — Военную службу начинал в Стрельне, поручиком в артбатарее. Года два назад я знал его еще капитаном. При Керенском он быстро дошел до полковника. Знающий, волевой, энергичный. Товарищ Люндеквист. А что?

— Да так. Любопытствую.

В тот день к Ракову пришли трое красноармейцев-семеновцев.

— Товарищ комиссар бригады, — сказал один из них, худой, длинный, в излишне широком ему, обвисшем обмундировании. — Что хотим вам объяснить... Вот я, Сипягин Онисим, да вот дружки мои — Левонтьев с Чудиковым... Ежели в бой итить против беляков прикажете, побьют нас троих свои же. Ей-бо!

— То есть как побьют?

— Обыкновенно, с винтовки: пулю в спину — и поминай рабов божьих.

— Расскажите подробней, в чем дело. Да вы присаживайтесь, присаживайтесь.

— Мы же знаем, он был фельдфебелем еще когда! Может, еще в девятьсот пятом, когда своих же казнил в Москве,— заговорил Левонтьев.

— Это вы про кого же?

— Да про взводного нашего Сидорина... — Онисим Сипягин помялся, Чудиков подтолкнул его:

— Говори, чего там!

— Он нам вчерась сказал, Сидорин-то, — продолжал Сипягин: — «Вы, говорит, «товарищам» в самый рот глаза пялите, шпана вы, говорит, голодранцы и хамье. А мы гвардия. Вас к нам силком, таких краснозадых, напхали в полк. Ну, говорит, ничего, до первого боя. Там пуля сама произведет очистку. Она не дура, зря так про нее говорено. Она разберется, где гвардеец настоящий, а где липовый». Мы посидели-посидели, покумекали. Ведь он нам что, морда эта, сказал? Как же с ними в бой ходить, ежели они вот этак «очищаться» от нас станут, пулей-то?

— Сидорин, значит?

— Да разве один он, товарищ комиссар!

— Но вы же знаете, товарищи, скольких мы уже арестовали за такие вот примерно дела.

— Всех их туды надобно — в кутузку! — Чудиков в сердцах стукнул кулаком по колену. — Что, у нас своих, рабоче-крестьянских, возможностев не хватает, да? Товарищ Ленин говорит: рабоче-крестьянская власть! Мы вот все трое крестьяне. А какую такую власть видим? Опять золотопогонники пулей грозятся.

«Вот это да! — раздумывал Раков. — Действуй тут убеждающим словом, воспитывай. А кого воспитывать? Этих троих? Они и так понимают правильно все, что касается столкновения классов. Сидорина, значит, карателя девятьсот пятого года, воспитывать? Ну-ну, дойди до его сердца, попробуй!»

Назавтра Раков был вызван в Смольный. Вызывал Благовидов.

— Здравствуй, Александр Семенович! Сейчас вместе пойдем на заседание Петроградского комитета, — сказал ему Павел, когда Раков зашел в его комнату. — Осложняются дела вокруг Питера. В каком смысле? Сам услышишь. Пойдем!

В узкий длинный зал они вошли, когда почти все места там были уже заняты.

— Комитет заседает с партийным и военным активом, — сказал на ухо Ракову Благовидов. — Вон, видишь, Шатов сидит.

— Как же, знаю Шатова, настоящий большевик.

— Вон мордастый, военспец...

— Так это же полковник Люндеквист! — воскликнул шепотом Раков. — Знакомы с ним.

— А вот и Зиновьев идет. Вчера только из Москвы вернулся. Теперь часто туда ездит. Председателем Коминтерна стал. Большое дело. Во всемирном масштабе.

Зиновьев занял председательское место.

— Товарищи! — сказал он с ходу. — Мы созвали вас по чрезвычайным обстоятельствам. Как вы знаете, вокруг Петрограда со времен немецкого наступления, с тех пор когда петроградский пролетариат дал сокрушительный отпор и немцам и тем белым ордам, которые немцы собрали под свои крылышки в Прибалтике, — так вот, с тех самых времен вокруг красного Петрограда было сравнительно спокойно. Где-то шевелились белоэстонцы, разбойничали шайки Булак-Балаховича, постреливали

белофинны. Небольшие стычки, небольшие бои. То потеряем село-другое, то отобьем его обратно. Позавчера положение резко изменилось. Позавчера в узкой полосе между Ладожским и Онежским озерами на нас начали наступать войска белофиннов...

В зале возникло тревожное гудение.

— Прошу тишины, товарищи! — повысил голос Зиновьев. — Военные сообщают, что эти вторгшиеся на нашу территорию войска называются «Олонецкой добровольческой армией». Судя по всему, «добровольцы» идут в двух направлениях. Одно — на Петрозаводск, другое — на Лодейное Поле, откуда возможен их заход в тыл. Не будем скрывать от вас: положение тревожное и даже угрожаемое. И прежде всего потому угрожаемое, что мы располагаем слишком малыми силами. Сказалось что? То, что Москва вычерпала у нас тысячи, многие тысячи лучших людей, вычерпала запасы вооружения, разных материалов, совершенно необходимых для ведения боевых действий. Увы, приходится смиряться с тем, что Центральный Комитет главной политической задачей дня объявил мобилизацию сил на помощь Восточному фронту.

— Но там же действительно решается судьба революции! — крикнули из рядов. — Там Колчак наступает крупными силами. Его поддерживает Антанта.

— Вы правы, товарищ Шатов, — ответил Зиновьев на выкрик, — Колчак — колоссальная опасность. Однако и у нас тоже не курортная жизнь, не Карлсбад и не Баден-Баден. А Питер, Питер! Потеря его — это же катастрофа для Советской власти, для революции. Ленин нам говорит, вы знаете о его письме, что «питерские рабочие покажут пример всей России», еще и еще, дескать, будут слать и слать отряды на Восток. «Других рабочих уровня питерцев у нас нет». Такое, конечно, читать лестно и слушать приятно. Но... и другого города уровня Петрограда у нашей страны нет. Нельзя терять эту кузницу промышленности, культуры, партийного строительства. «Все на защиту Петрограда!» — такой лозунг мы должны теперь бросить в массы. Именно эти слова написать на своих знаменах. Все подчинить задаче организации отпора врагу!

Обсуждения не было. Была выслушана пламенная речь Зиновьева, принято к сведению сообщение о том, что руководством — и партийным, и советским, и военным —

принимаются должные меры, чтобы отбить белофиннов на их территорию, и люди начали расходиться.

Раков набрался решимости, подошел к Зиновьеву, окруженному военными.

— Товарищ Зиновьев, — выждал он удобный момент в общем разговоре вокруг Зиновьева. — Я комиссар второй Особой бригады.

— Да, да, товарищ Раков. Я вас знаю. — Зиновьев пожал ему руку.

— Так вот, товарищ Зиновьев, завтра, может быть, уже в бой идти, а, честно говоря, мы не готовы.

— Что так?

— Имею в виду бывший Семеновский полк. Засорен он до крайности. Офицеры так и остались офицерами.

— Дорогой мой товарищ комиссар! — Зиновьев весело и дружески похлопал Ракова по плечу. — Вам трудно?

— Да.

— Так вот, дорогой мой, всем трудно. Надо людей воспитывать. Проникновенное, страстное слово делает то, чего не способны сделать никакая палочная-распалочная дисциплина, никакие строжайшие наказания. На чувства надо влиять. Помнить, что у человека есть сердце.

«Что за чертовщина? — думал Раков, слушая это назидание. — Как похоже на то, что не далее чем вчера говорил бывший полковник на лестнице штаба армии. Не может же быть, чтобы он, Раков, так жестоко ошибался. Старо народное правило: если двое говорят, что ты пьян, то не сопротивляйся, не доказывай обратного, а иди и ложись спать. И партийный вождь Зиновьев, и бывший царский офицер Люндеквист говорят ему одно и то же. Неужели надо идти и ложиться спать?»

Он втиснулся спиной в толпу, и вместе с Благовидовым они возвратились в благовидовскую комнату. Свернули здесь по цигарке; красноармеец Савельев, прихрамывая, принес им кипятку в манерке, запарил жженую корку хлеба. Появился Алексей Лабзаев, посланный Благовидовым в город с поручением.

— Лед пошел на Неве! — сказал Лабзаев весело. — Дерьма всякого несет! Народу на Дворцовом мосту собралось с тысячу. Смотрели, как мертвяк плыл на льдине.

— Сходи еще и на Охтинский мост, посмотри, — ответил Благовидов рассеянно.

— Понятно, — догадался Лабзаев. — Третий лишний. Конфиденциальный разговор. — И вышел, довольный.

— Положение действительно сложное, — сказал Благовидов, прихлебывая чай из кружки. — Сил и в самом деле Петроград имеет очень мало. Тут Зиновьев прав. Не возразишь.

— Тем более каждая часть должна быть до предела боеспособной! — подхватил Раков. — Я не умею жить и работать на авось да небось. Если мне что-либо поручили, оно должно быть выполнено по-настоящему. Я не могу утешаться тем, что всем трудно. Передо мной неотступно стоят эти три красноармейца, которым царский фельдфебель пообещал в первом же бою очистительную пулю. Ведь так, может быть, уже заготовлены именные пули и для тебя, и для меня, и для всей Советской власти. Пусть не они, не эта сволочь, от нас «очищаются», а мы должны очиститься от них, пока не поздно.

— Я тебя провожу, — сказал Благовидов, когда Раков собрался уходить. — У меня есть с полчасика времени.

Они вышли на набережную Невы перед Смольным. Лабзаев сказал правду: вовсю шел, шурша и похрустывая, пока еще не голубой — ладожский, а грязный — невский — лед. Они стояли и смотрели на неуклонное спорое движение льдин, устремлявшихся к заливу. Солнце сияло, теплое, ласкающее. Оно боролось с едким, злым ветерком, которым тянуло от льдин. По береговым откосам уже цвели желтые мать-мачехи. Над ними не очень яркие, как бы еще не отряхнувшие пыль от зимней спячки, лениво кружились прошлогодние бабочки-крапивницы.

На берегу появились мальчишки. Они швырялись камнями в воду меж льдинами.

— Дяденьки, стрельните из нагана! — заводили они, увидав кобуры с оружием.

Жизнь шла своим чередом. Были и мальчишки, и мать-мачеха, и ледоход — все было; и можно бы жить да радоваться, делать каждому свои, интересные, не связанные с этими кобурами дела. Но вот на севере лезут финны, вот идет скрытая, глухая борьба в полку, вот сидит, затаившись, надменное офицерье в штабах, и вновь черной тучей над жизнью каждого, кто всего лишь полтора года назад шел в смертный бой за эту жизнь, встает новая угроза. Доколе же, до коих пор так будет?

15

Подполковник Ларионов, сидя за столиком, держал в пальцах греческую сигарету и, время от времени затягиваясь, выпускал в низкий, подшитый широкими, темными от времени сосновыми досками потолок легкие струйки пахучего дыма. На столе, покрытом не очень чистой скатертью, поблескивала плавными округлостями пузатая бутыль с французским коньяком; на одном блюдечке был тонкими ломтиками нарезан лимон, на другом находилась сахарная пудра.

— А вы устроились недурно. По нынешним, конечно, временам,— сказал, осматриваясь, Ларионов.— Что тут было прежде, в этой халупе?

— Школа,— ответил один из окружавших его офицеров.

Взгляд Ларионова задерживался то на картинках «парижского» жанра, разбросанных по бревенчатым стенам, то на стойке с винами и закусками, за которой, окидывая настороженным взглядом «зал» с десятком столиков, высился толстоплечий молодец в белом кителе, готовый откликнуться на любой зов.

Увидав возле одной из стен пианино, Ларионов поинтересовался:

— Кто-нибудь бренчит на этом?

— Никак нет, ваше благородие! — отозвался из-за стойки детина. — Найтить в этом болоте образованного кого совершеннейше невозможно.

— А ты сам-то откуда, милейший? Как звать?

— Сонькин мое фамилие. При буфете служил в санкт-петербургском ресторане-с «Медведь».

— О, да ты столичной школы, Сонькин! То-то, гляжу, уют здесь, знаете, и комфорт с пониманием дела, господа.

— И свое заведеньице-с мы поименовать изволили, ваше благородие, по старой памяти — «Медведь».

— Для здешних условий это несравнимо более подходит,— Ларионов рассмеялся,— чем к ресторану в центре Петербурга, на Конюшенной да на Мойке.

Подполковник Ларионов только что прибыл в район расположения белых войск, в деревню Большие Поля на левом, западном берегу реки Плюссы. Попав в плен к австрийцам в шестнадцатом году, он долго скитался по лагерям для военнопленных в Австрии и Германии, пережил в тех краях немецкую революцию, завербовался,

подпив однажды в берлинском ресторанчике, в корпус Бермонта-Авалова под Ригу. А недавно, когда по всей Прибалтике началось собирание сил в Северный корпус, подполковник решил попытать счастья здесь, на русской земле.

— Все ближе к родным местам,— рассуждал он, вертя в пальцах рюмку. — Я же, господа, коренной петербуржец. Жил в прекрасном месте, на Шпалерной, поблизости от Таврического дворца, в доме номер тридцать девять. Дом принадлежит... а может быть, уже принадлежал... одной достойной даме, Вере Федоровне Колобовой. В этом доме, кстати, квартировал и Владимир Митрофанович Пуришкевич. Раскланивались, бывало. Да. Известный вам думец. Итак, господа, за успех! За победу!

Стали чокаться. Один из офицеров, с бледным неулыбчивым лицом скептика, сказал, кривя подвижные и без того изогнутые губы:

— Если не будет победы сейчас, то ее уже не будет никогда.

— Трегубов, Трегубов, как не стыдно! — закричали на него. — Осточертел всем ваш пессимизм! Хоть сегодня не ноймте, сделайте одолжение.

— А почему вы так считаете, поручик? — обратился к нему Ларионов с интересом. — Расчет? Или же интуиция?

— Да потому, что сил наших с каждым днем не прибывает, а убывает. У красных же наоборот: от малого они идут все к более ощутимому. У них уже миллионная регулярная армия. Они поставили себе целью в ударно короткий срок сформировать и трехмиллионную армию. Об этом пишут в ревельских газетах. В них, естественно, издеваются над этим намерением большевиков. Но факт-то констатируется. Я бы, что касается меня, так легкомысленно издеваться не стал. В Красную Армию пошли сотни, а может быть, и тысячи наших офицеров.

— Вешать будем! — рявкнул кто-то.

— И генералы в нее идут!

— И генералов-изменников на фонари!

— Между прочим, поручик Трегубов... — Из тени за пределами абажура лампы-«молнии» выступил офицер в английской новой форме. — Вы, как всем известно, не очень в ладах с материализмом. Вы идеалист. У вас шоры на глазах, и вы плохо видите в стороны. Что же, верно: идут офицеры на службу к красным. И среди них

есть даже такие, которые верноподданно им служат и, может быть, умрут за своих новых хозяев. Но далеко не все так служат. Да, Трегубов! Многие, очень многие пошли к красным лишь потому, что им приказала родина в лице неведомых большевикам наших организаций. Они идут к красным, чтобы бороться против красных. И тут нельзя ошибиться, когда мы станем намыливать веревки.

— Поручик Саюшев прав. — В разговор вступил еще один посетитель сельского питейного заведения «Медведь». — Я, скажем, и сейчас был бы в Петрограде и, возможно, сидел бы в каком-нибудь штабе. Вокруг Петрограда стоят две красные армии. Седьмая, растянутая на три сотни верст от Чудского озера до Онежского, и Пятнадцатая. Район действий Пятнадцатой — Луга, Псков, Остров... Она отошла из-под Риги. Так вот, уверяю вас, был бы я сейчас в штабе одной из них и, можно не сомневаться, всеми силами помогал бы — кому? Вам! А следовательно, самому себе.

— Так в чем же дело? Почему вы здесь, а не там?

— В том дело, что большевистская Чека нас раскрыла, обнаружила и разгромила. Пришлось спасаться вульгарным бегством, не успев должным образом врасти в толщу их армии. Только и всего. А задание такое, врастать, я имел. И как раз от организации помянутого сегодня подполковником Ларионовым его соседа по дому Владимира Митрофановича Пуришкевича. Сразу же после большевистского переворота. Однако, увы! Мы, говорю, провалились. Но сотни наших, с разным, конечно, успехом, еще продолжают и продолжают работать в Петрограде.

— Ну и что? — отхлебнув коньяку из рюмки, упрямился Трегубов. — Это конвульсии. Сотни, сотни! Пусть даже тысячи. А там-то миллионы! И если победа не будет сейчас же, немедленно, мы кончены. Миллионы превратятся в десятки миллионов. Господа, будем реалистами, к чему нас, в частности меня, призывает поручик Саюшев? Где все те, на ком в России держалось так называемое общество? Дом Романовых?.. Почти всех их большевики перестреляли. А те из великих князей, которые остались, не заслуживают ни малейшего внимания. Да и где они, эти августейшие остатки? Кто в Крыму, а кто уже и дальше — в Париже, в Копенгагене. Наши помещики, владельцы земель? Тоже разбежались. Промышленники? «Увы», как сказал Саюшев. Генералы?

Извините, господа, кроме Колчака, Деникина, Алексеева, Лукомского, Юденича — это же не генералы, а полковники и подполковники, в общей шумихе сумевшие сменить полковничьи погоны на генеральские. А когда борьбу ведут третьестепенные фигурки, то соответственными будут и результаты. Фигуры первой линии задали стрекача при первом выстреле.

— Трегубов прав! — перебивая друг друга, заорало сразу несколько человек. — Мы сидим в болоте, третируемые эстонцами, а все эти недавние «герои» — господа Керенские, Милюковы, Струве, Савинковы — по Лондонам и Парижам околачиваются!

— Простите,— сказал подполковник Ларионов. — Живут они, безусловно, в значительно лучших условиях, чем мы. Но делают-то дело общее для всех нас. Расшевеливают Антанту, выколачивают из союзников деньги, оружие, помощь войсками. Это еще скажется, я убежден.

— Господа! — В избу «офицерского собрания» деревни Большие Поля вошел новый посетитель в такой же, как у поручика Саюшева, свеженькой английской форме. — Препикантнейшая новость!

— Один из чинов контрразведки корпуса капитан Барский,— шепнул Ларионову Трегубов.

— Так вот! — Барский шумно, уверенно подсел к столу. Ему налили рюмку. — Вчера в нескольких верстах от нас расположился штаб одной из красных бригад. В деревне Попкова Гора. Совсем недалеко — за рекой и за лесом. — Из полевой сумки он вынул карту-двухверстку. Все склонились над ней, стали тыкать пальцами. Контрразведчик корректно, но решительно отстранил руки: — Спокойно. Карту порвете. Новой нигде не получишь. Даже за тысячу золотых рублей. — Он сам повел по ней серебряным карандашиком, вынутым из кармана роскошного френча. — Прикинем по прямой в соответствии с масштабом: Большие Поля — Попкова Гора, около двенадцати верст. А наши секреты почти под самым Замошьем, откуда до Попковой Горы нет и пяти верст.

— Но в Попковой Горе красные стоят давно. С зимы,— сказал Саюшев.

— То были совершеннейшие оборванцы, шатия. — Барский даже не обернулся. — Сейчас они сменены такими же оборванцами, но другими, более похожими на солдат. И вот в чем пикантность всего дела. Командует

бригадой — кто бы вы думали? — его превосходительство генерал-майор Николаев. Прошу любить и жаловать. Продался красным, служит у них. Собирается громить нас с вами, продажная шкура.

— Вот вам иллюстрация к тому, о чем мы только что говорили,— сказал поручик Трегубов. — Генералы идут к красным.

— А может быть, у генерала Николаева тоже задание от офицерской организации? — продолжал свое Саюшев.

— Хорошо бы совершить вылазку и захватить этот штаб! Все бы и стало ясным,— сказал Ларионов. — У вас и кавалерия стоит? — Он прислушался к конскому топоту за окнами.

Копыта, глухо цокая, месили весеннюю грязь; в потемках слышались протяжные выкрики команд.

— Какая кавалерия! — скривился Трегубов. — Пара чьих-нибудь кляч. Возят разный хлам.

Все офицеры уже знали, что на тесное пространство вдоль рек Наровы и Плюссы полковник Дзерожинский и настойчиво оттесняющий его во всем касающемся Северного корпуса генерал Родзянко поспешно стягивали русские силы из Эстонии и из-под Пскова. Каждый день через Большие Поля проходили новые и новые отряды и отрядики. Иные в каких-нибудь несколько десятков человек. Подошло, надо полагать, судя по конскому топоту, очередное такое подразделение.

За столами продолжался общий разговор, когда в ресторацию один за другим густою толпой стали входить офицеры в необычной для тех мест экзотической форме — то ли кубанцы, то ли терцы, то ли еще кто-то близкий к казачеству: серые барашковые шапки с малиновым верхом, лампасы, кривые кавказские шашки в изукрашенных ножнах.

— Садись! — тоном приказа распорядился коренастый черноволосый офицер с властными манерами и широким жестом указал на свободные столы. — Хозяин! — окликнул он буфетчика, пощипывая черные усики. — Все, что имеешь, подать! Сроку одна минута. — И, отогнув рукав тужурки, взглянул на часы.

— Господин ротмистр! — воскликнул Саюшев. — Рад вас видеть.

— Извольте-ка обратить внимание на погоны,— ответил офицер.

— Прошу прощения! — Саюшев отступил в удивлении. Тот, кого он назвал ротмистром, был в погонах полковника. — Господа,— обратился Саюшев к своим коллегам,— беру на себя смелость представить вас полковнику Булак-Балаховичу. Господин полковник...

Все задвигались на стульях, кое-кто встал, чтобы получше рассмотреть личность, овеянную легендами, россказнями и анекдотами.

— Ну? — Балахович уселся за один из свободных столов посредине зала. — Придвигайтесь ближе, господа, будем знакомиться. — По его узкому, в мелких чертах смуглому лицу поплыла веселая улыбка. — Юзек, расскажем господам офицерам историю нашего доблестного полка. Это мой родной младший брат! — Балахович кивнул на офицера, одетого точно так же, как и он, и очень схожего с ним лицом. Но в отличие от своего собранного, крепкого брата Юзек был долговязым, костлявым и развинченным.

Он встал.

— Сложность нашей жизни, господа... — начал говорить тоном проповедника.

— Рассказывают, что этот малый — расстригшийся ксендз, — шепнул Саюшев своим соседям. — И что оба они, Станислав и Иозеф, какая-то литовско-татарская помесь. Глаза-то, смотрите, монгольские!

Балахович-младший продолжал:

— ...заключается в том, что, как и предсказывалось в Священном писании, брат пошел на брата. Не в масштабе нашей семьи, понятно,— Юзек улыбнулся,— а в масштабах всей России. Дела людей военных нельзя в наши дни оценивать только с военной точки зрения. Все течет, все меняется. Мой дорогой брат, когда весной восемнадцатого года немцы стали наступать на Псков, а затем приготовились к броску на Петроград, как и подобает патриоту, собрал отряд партизан и боролся против наших исконных врагов-германцев. Красные, естественно, его приметили, поддержали и поручили партизанский отряд превратить в регулярный конный полк. Это было сделано. Полк разместился в Луге, где мой брат состоял в начальниках гарнизона, и по заданию красного командования действовал в Лужском и соседних уездах, подавляя так называемые кулацкие восстания... В это мы, господа, пожалуй, особенно углубляться не станем.

Юзек хитро усмехнулся. Сидел и улыбался и сам нашумевший Булак. Он с удовольствием потягивал коньяк из стакана.

— «Товарищ» Троцкий пожимал руку моему брату,— продолжал Юзек, — а нынешний диктатор Петрограда господин Зиновьев даже преподнес полку почетное красное знамя некоего государственного образования, которое называлось «Северной коммуной». А затем, господа, темпора мутантур — все, говорю, течет, все меняется, это доблестное красное воинство, то есть мы, благополучно покинуло лагерь своих благодетелей, поскольку благодетели начали на нас коситься, сообразив наконец, что служим мы не им, а великой матушке-России. Мы решили сделать вид, что атакуем немцев под Псковом, да и махнули в Псков. Вот так!

Юзеку аплодировали весело, как эстрадному рассказчику или куплетисту. Он раскланялся.

Старший Балахович довольно быстро захмелел.

— Ну-ка,— властно скомандовал он,— споем нашу боевую! Запевай!

Юзек затянул:

Как ныне сбирается вещий Олег
Отмстить неразумным хоза-а-рам.

Балаховцы подхватили, рявкнув слаженно и мощно:

Их села и нивы за дерзкий набег
Предаст он мечу и пожа-а-рам!

Пели они долго, старательно, навзрыд, время от времени подзывали жестами буфетчика Сонькина, чтобы тот нес еще бутылок и еще закусок.

Сам Булак пел, прикрыв глаза набухшими веками, и как бы уже видел мысленным взором и эти пожары, и неразумные головы, летящие с плеч. Вещим Олегом, конечно же, в данном случае был он, удачливый, бесстрашный, понимающий толк в жизни народный витязь.

Песня еще гремела в бывшем классе убогой сельской школы, стараниями столичного буфетчика Сонькина превращенной в офицерский кабак, когда дверь рывком распахнулась и в ней, как в темной раме, освещенная светом многолинейной «молнии», явилась взорам офицеров ослепительная амазонка. Черные бриджи туго обтягивали ее бедра, черный жакет едва сдерживал незаурядную грудь; на голове же была белая папаха, а на ногах, тоже белые, щегольские сапожки.

Все, кроме балаховцев, оцепенели. Всякого насмотрелись они в эстонских болотах. Но чтобы такая амазонка!.. Неслыханно!

Балахович вскочил, шагнул к ослепительному явлению, поцеловал руку в белой перчатке.

— Долго я буду ждать? — недовольно бросила амазонка резким голосом, в который очень мило вплетался характерный акцент прибалтийской немки.

— Элли,— сказал Балахович, беря ее под руку. — Присядь, дорогая. Одно мгновение. Один скупой, солдатский глоток, и мы двинемся дальше. Это господа офицеры,— он повел рукой, представляя ей общество. — Боевые люди. Вместе с нами они пойдут сначала на Гдов, на Псков, а затем и на Петроград.

Амазонка поклонилась общим поклоном.

Юзек, тоже успевший хватить лишнего, уже сидел в группе местных офицеров и вполголоса давал интервью:

— Брату, считаю, господа, повезло. Красавица-то какая! Баронесса! Смотрите — грудь, стан, ноги! Лицо — это же картина. Тут еще у вас свет паршивый. Днем на нее взгляните! Глаз не отвести. И откуда, думаете, взялась? Когда мы пришли в Псков, там болтался один бойкий немчик, ротмистр Розенберг. Сам немчонок, он и работал на немцев, из наших старых солдат и офицеров сколачивал немецкую армию. Конечно, ему интересно было иметь у себя такого человека, как мой брат. Чтобы заманить его, ротмистр не остановился даже перед тем, что преподнес моему брату свою любезную. Перед вами — она! Имя? Элеонора. Фамилия? А черт ее ведает! Каждый раз называет новую. Для единообразия мы меж собой кличем ее попросту Розенбергшей. Но чтобы какая фамильярность, господа, за грудь чтобы или еще что — ни-ни, и не думайте. Зарубит. Не она, естественно. А мой братец.

Розенбергша уже освоилась в новом обществе, пила коньяк, хохотала от армейских острот. Увидав пианино, она, сбросив перчатки прямо на пол, подсела к нему.

— «Рённи»? Настроен?

Взяла несколько аккордов. Запела грубоватым, сильным голосом:

Играл я у гроба, на свадьбах певал,
В палатах, в лачуге убогой,
Когда же темнело и пир умолкал,
Я брел своей старой дорогой.

— Чертовски здорово,— шепнул Саюшев.

— А!.. — Ларионов махнул рукой. — Жестокий романсец.

Бывало, пою, угождаю на всех,
Про скорби, про радости жизни,
У девушек слезы, у юношей смех,
А сам я не знаю отчизны...

— Довольно! — выкрикнул Балахович и поднялся. — Не то, совсем не то. Не к настроению. Пусть хнычут другие. Нас путь зовет. Наша песня иная. «Как ныне...»

— «...сбирается вещий Олег!» — вновь подхватили балаховцы, вставая за своим «батькой».

Через минуту в зале никого из них не осталось, только белело и чернело клавишами, как разинутая пасть, оставленное открытым пианино. Исчезла, подобно видению, черно-белая прибалтийская баронесса; в глазах восхищенных офицеров еще держались отпечатки ее щедрых форм, а на улице слышались крикливые команды, цокали копыта. Спустя несколько минут стихло и это.

— Да, — сказал Трегубов, — ну и женщина! — Он поднял с пола и приложил к губам ее забытые перчатки.

— Вот это баба так баба! — в тон ему воскликнул Саюшев.

— Полно вам, господа. — Ларионов закуривал, должно быть, десятую из своих пахучих сигарет. — Такое «вот это да», — он кивнул в сторону двери, — покупается за деньги. И весьма недорого. Разве не видно?

— Стыдно, подполковник! — рассердился Трегубов. — Ничего не знаете, а позволяете себе так говорить о женщине.

— О потаскухе!

— Господин подполковник!.. — Поручик Трегубов вскочил. У него дрожали пальцы.

— Сядьте, мой друг,— спокойно ответил Ларионов. — Сядьте. Драться с вами я не буду. Поскольку и себя и вас мне безумно жаль. Нам и без этих провинциальных див достаточно кисло. Ну хорошо, хорошо... Она небесное создание и гений чистой красоты. Беру свои слова назад. Вам достаточно?

Трегубов опустился на стул, и в глазах у него были слезы.

— Нет, мы такие циничные, охамевшие...

— Оскотинившиеся,— охотно подсказал Ларионов.

— Да, да, оскотинившиеся... Такие мы победить не сможем.

— Заныл, — сказал Саюшев раздраженно. — Какого черта вы, Трегубов, потащились на фронт? Могли бы устроиться официантом в Ревеле. Между прочим, господа, не считайте меня обманщиком. Я верно сказал, что господин Булак-Балахович еще год назад был ротмистром.

— Я располагаю полным послужным списком этого господина,— самодовольно сообщил контрразведчик Барский. — Его болтливый брательник Юзек — ценнейший источник информации. Булак был произведен в подполковники не то генералом Вандамом, не то полковником, ныне генералом фон Нефом. За успешные боевые действия при отходе частей корпуса из Пскова. А полковником сей атаман стал совсем на днях. Произвел его Родзянко. Булака отстранили, было, от командования полком и перевели на мифическую должность инспектора кавалерии. Довольно смешно. Теперь у него опять какие-то части, и он, очевидно, имеет какую-то особую задачу. Мой добрый Юзек болтает о Гдове и Пскове.

— Все это отвратительно и омерзительно,— бубнил Трегубов, окидывая зал уже совершенно бессмысленным взглядом. — И ваши полковники, и ваши генералы. И Юзеки... Груды костей и черепов. Только прелестная дама... — Он икнул и снова, но уже поспешней, прижал к губам перчатки «Розенбергши».

— Голубочек, — ласково сказал понявший ситуацию Саюшев,— не пройти ли нам во дворик да по примеру древних римлян не вложить ли в уста пару пальчиков?

— Ваше благородие! — с готовностью подскочил буфетчик Сонькин. — Позвольте мне. Вот флакон нашатырю-с. Прекрасное действие.

— Иди, иди,— отстранил его Саюшев. — Русские офицеры — это тебе не петербургские торгаши или какие-нибудь стряпчие. Ты к ним недостоин прикасаться. Русские офицеры... Пойдем, Трегубов. Спать пойдем.

Он взял поручика под руку и бережно повел к двери. Подполковник Ларионов невесело смотрел им вслед.

16

Главнокомандующий финскими вооруженными силами генерал Маннергейм был осведомлен об этом, понимал это и видел, что русские белогвардейцы в Гельсинг-

форсе и в Ревеле засуетились не по своему почину. С надменностью царедворца, много лет прослужившего бывшему российскому императору Николаю II, он откровенно презирал и «серых армейцев» во главе с неинтеллигентным, неродовитым хохлом Миколой Юденичем, и тех штафирок в сюртуках и смокингах — Карташевых, Струве, Ивановых, Кузьминых-Караваевых, Лианозовых, которые порешили, что быть Юденичу их прибалтийским военным вождем.

За спинами этой, по мнению Маннергейма, мелкоты, выброшенной большевиками в Прибалтику, финский командующий видел могучие силы Антанты. Они еще не приведены в движение, эти силы. Как истинно деловые люди, англичане и американцы желают прежде убедиться, насколько основательны, серьезны и надежны те, кому они намерены вручить оружие, материалы, средства для удара по Петрограду, по большевикам, увязшим со своими главными силами в изнурительных боях на востоке, юге, далеком севере и на западе. Но нельзя не видеть, что тот час, когда русские белые пройдут такое испытание, уже недалек, и тогда будет непростительно, если он, Маннергейм, а с ним и все белофинские силы отстанут от событий в мире, не поспеют к дележу российского пирога, прозевают земли возле Мурманска, Петрозаводска, богатые лесами и рыбой Поонежье и Приладожье. В то же время еще, пожалуй, опасней броситься сейчас в открытый бой на большевиков, из щедрых рук которых сразу же после Октябрьской революции финны получили свою независимость.

Нет, совсем не потому воздерживались от открытого боя гельсингфорсские правители, с помощью немцев задушившие революцию у себя, что их в какой-то мере мучили соображения этики. Нисколько эти соображения их не мучили. Просто если выскочишь один, то вдруг так в одиночестве и останешься; большевики тогда размолотят тебя вдребезги. Да, верно, что в Ревеле уже разгружаются пароходы с американскими припасами, что бродит в Балтике английская эскадра, вербуются в Швеции русские добровольцы для Юденича. Но все это еще без заметных ветрил и без ощутимого руля и сколько угодно может поворачиваться то в одну, то в другую сторону.

Хитрые финские головы нашли, по их мысли, превосходнейший выход из затруднительного положения. Зиновьев, информировавший партийный и военный актив

Петрограда о наступлении между Ладожским и Онежским озерами, тогда еще не мог ответить на вопрос, почему «Олонецкая армия» финнов называется «добровольческой». Некоторым думалось: а нет ли в ней русских белогвардейцев? Нет, русских там почти не было. Армия под командой недавнего корнета Эльвенгрена была названа добровольческой только для маскировки. Белофиннам хотелось представить дело так, будто бы она составилась из финских волонтеров, которые пламенно откликнулись на зов своих братьев в угнетаемой большевиками Карелии. А вторгшись на чужую землю, они еще прикинулись и повстанцами, сбросившими с себя красное иго. Ну а если «повстанцы», если «добровольцы», то какое же отношение к ним имеют правители Финляндии! Богатейшие советские края тем временем успешно прибираются к рукам. И главное, главное — восстанавливается финское реноме в глазах союзников, подорванное после прошлогоднего грехопадения, после того как Финляндия фактически уже стала провинцией Германии.

По боевым планам Петрограда в те места должен был упираться правый фланг 7-й армии. Но удара со стороны финнов никто не ожидал, по лесным и приозерным тамошним селениям были жидко раскиданы малочисленные красные части и отряды. Быстро собрать их в кулак оказалось невозможным, и они под форсированным натиском противника отступали. Двадцать третьего апреля «добровольцы» ворвались в Олонец, а через несколько деньков уже надеялись быть и в Лодейном Поле. Оттуда им открылись бы возможности глубокого захода в тыл Петрограду.

Объединить действия красных войск в район боев срочно выехал бывший полковник Люндеквист. Троцкий говорил о нем, что это выдающийся военспец. Но и такой выдающийся человек, прибыв на место, растерялся. «Противника не остановить, нет! — восклицал он в отчаянии. — Военная наука точная. Никакими усилиями воли и никаким энтузиазмом нельзя заменить строгий расчет, боевую вооруженную единицу в полках, наличие снарядов и патронов».

Люндеквист метался из деревни в деревню, из одного отряда в другой и вместо организации отпора врагу своими ссылками на военную науку только вносил дезорганизацию и, хотел он этого или не хотел, сеял панику. Он склонялся к тому, что для уплотнения фронта надо как

можно быстрее отступать к Петрограду и уже там, только там, под самым Петроградом, дать белофиннам генеральное сражение.

Связи между частями почти не было, но их командиры и комиссары и так понимали, что никуда отступать нельзя. И уж во всяком случае, если и отступать, то не без боя за советскую землю. Они отходили медленно, огрызаясь, отстреливаясь, кидаясь в контратаки. В район боев перебрасывалась Петрозаводская часть Особого назначения, спешно двигался отряд из Званки. В самый горячий момент прибыл член реввоенсовета 7-й армии Шатов во главе большого, хорошо вооруженного отряда. Он сказал Люндеквисту: «Напрасно вас сюда послали. Вы работник штабной, и сидеть бы вам в штабе. По-вашему, здесь надо отступать. А по-нашему — наступать. Мы друг друга не поймем».

Со времен немецкого наступления под Псковом Петроград не переживал таких напряженных дней. Красные части, собранные наконец воедино Шатовым, остановили противника, на некоторых участках даже стали переходить в контрнаступление. Но оборонная работа в Петрограде не только не затихала, а все развертывалась: врага надо было разбить и выбросить прочь с тех северных подступов к Петрограду. Тем более что белофинны могли же и не ограничить свои действия этим наступлением в межозерье. Кто знает, не бросят ли они уже не «добровольцев», а регулярные части армии прямо со стороны Белоострова и Сестрорецка? Надо было готовиться к любым неожиданностям. Тысячу коммунистов, из тех, кого только что мобилизовали для Восточного и Южного фронтов, Петроградский комитет партии решил тоже отправить под Олонец.

Павел Благовидов все эти дни почти не спал. Ночи в Смольном, непрерывные разговоры с коммунистами, уходившими на фронт, ночи в казармах, на вокзалах, с которых отправлялись воинские поезда. Мотался он полуголодный, с опухшими, красными глазами. А тут еще, должно быть, цинга подкралась — укусишь ломоть хлеба с овсяной половой, непропеченного, грубого,— и кровь из десен, никак не остановить ее, запекается на губах. Саньку он уже не видел почти неделю, с того самого дня, как сидели они с ней среди дров у Калинкина моста. Может быть, она и звонила ему, но и его помощника Алексея Лабзаева на месте в такое время не было —

бегал по городу с поручениями, и никто не подходил к телефону, не отвечал на звонки.

Второго мая образовался Комитет рабочей обороны Петрограда. Павла послали туда. Пятого пришла телеграмма из Москвы о том, что Пленум Центрального Комитета постановил ни одного человека из мобилизованных в армию — будь то по партийной линии, по профсоюзной ли, по линии Коммунистического союза молодежи, по всем другим линиям — из северо-западных губерний ни на восток, ни на юг не отправлять. Уделить особое внимание обороне в Карелии, под Петроградом,— быть готовым к общему наступлению белофиннов. «Все на защиту Петрограда!» — плакатами с таким призывом оклеивались стены домов, афишные тумбы, трамвайные столбы. Повсюду на пустырях и площадях, еще не очень дружно топая, маршировали шеренги вооруженных людей в куртках, в бушлатах, стеганках, в пальто. Люди совершали учебные перебежки, прицеливались для стрельбы лежа, с колена, стоя. Звякали затворы.

Готовилась к борьбе за Петроград и другая сторона.

Солнечным майским днем оба входа в квартиру Виктории Федоровны —и с парадной, замаскированной, закрытой, и особенно с черной лестницы — охраняли вооруженные наганами и браунингами надежные, давно проверенные офицеры. В квартире шло экстренное заседание петроградского ответвления «Национального центра», большой, располагающей людьми и средствами организации всероссийского масштаба. Из собравшихся в этот день, может быть, лишь один Вильгельм Иванович Штейнингер знал, что в «Национальном центре» в Москве председательствует известный московский домовладелец кадет господин Щепкин. С каждым днем организация эта все усиливала, улучшала, углубляла конспирацию своей деятельности.

Инженер Штейнингер, владелец патентной конторы «Фосс и Штейнингер», бывший гласный Петербургской думы, прошел все стадии борьбы против Советской власти — от организации саботажа служащих до связи с подпольными офицерскими группами. Наступал новый, требующий несравнимо большей организованности и большей решительности острый этап.

Штейнингер сидел во главе раздвинутого на полную длину обеденного стола, накрытого для такого случая зеленым сукном. Для председательствующего перенесли из кабинета тяжелое кожаное кресло. По сторонам стола располагалось дюжины полторы стульев с высокими резными спинками. Приглашенные на совещание сидели чинно, строго, и в какой-то мере походило это на заседание то ли возрожденного кабинета министров, то ли Государственного совета, словом, сладостно напоминало былые правительственные заседания и потому порождало атмосферу торжественности.

— Господа! — Штейнингер поглаживал ладонью бледный лоб. — Мы стоим перед лицом важных событий. Курьеры доставили известия о том, что в наступление перешли не только войска генерала Маннергейма. Вот-вот к боевым действиям приступит и Северный корпус, расположенный в районе Нарвы — Чудского озера. Всего лишь сто двадцать верст отделяют нас от наших освободительных русских войск.

Говорил Штейнингер медленно, всматриваясь в лица присутствующих. По правую руку от него сидел профессор Технологического и Политехнического институтов Петрограда Александр Николаевич Быков. По левую — Виктория Федоровна, активнейшая деятельница кадетской партии. Дальше находился профессор Путейского института Завадский. Еще дальше — инженер Альбрехт, за ним — генерал Махов... Ощущая значительность минуты, все держались достойно, важно и представительно. Штейнингер, пожевывая толстую нижнюю губу, раздумывал о том, что немало таких же представительных, важных и достойных мелькнуло, вспыхнув и погаснув, на общественном небосклоне «второй», скрытой, ушедшей в подполье России, которая вынуждена прятаться от большевиков. Одни расстреляны — и так, что никто даже не знает, где их могилы, другие с трусливой поспешностью сбежали в Крым, на Дон, в Одессу, в Гельсингфорс. Что-то будет вот с этими, которые так чинно сидят по сторонам длинного стола?

— Господа,— снова, после минуты общего молчания, заговорил он,— может быть, близок час нашего освобождения. К этому великому часу не просто надо быть готовыми. Всеми возможными средствами надо его ускорять и приближать. В помощь Северному корпусу, во главе

которого, очевидно, встанет генерал Юденич — этот вопрос сейчас решается в Сибири, в ставке адмирала Колчака,— мы должны иметь свой, я бы о нем так сказал — «Петроградский корпус». Все, кто разделяет наши идеалы, кто хочет свободы и умиротворения, кто стремится вновь обрести родину, должен решиться на великие жертвы, может быть, даже и жизнь свою положить на алтарь отечества. Офицерские группы у нас пока что предоставлены самим себе, они ведут расслабляющий их боевой дух неорганизованный образ жизни. Надо пойти к нашим офицерам, ободрить их, призвать к исполнению долга, когда понадобится. А понадобится это, я убежден, очень и очень скоро.

С аккуратностью, с педантичной инженерской последовательностью Штейнингер набрасывал план подготовки встречи Северного корпуса в Петрограде. Захват офицерскими отрядами телефонной станции, Главного телеграфа, почтамта, вокзалов; поджоги и взрывы зданий большевистских органов управления и подавления; немедленный арест и расстрел руководителей Петроградского Совета, Петроградского комитета партии большевиков, Петроградской ЧК.

От его решительных, точных, крупных слов запахло порохом, потянуло дымом пожарищ. Кое-кто даже стал поеживаться, ссылаясь на сквозняк из открытых форточек.

— Да, да, да! — Штейнингер заметил это. — Такова логика борьбы, и, не считаясь с нею, никогда ничего не добьешься.

— Ирина Владимировна, уж не сердитесь, что опять нарушил ваш покой,— почти в тот же час говорил Кубанцев, появившись в передней Благовидовых.

Ирина давала себе клятвы в том, что никто из этой офицерской компании никогда больше не проникнет в ее квартиру, что и сама она никогда к ним больше не пойдет. Но раздалось дребезжание звонка, вошел Кубанцев, которому она так и не смогла не отворить, и вот в чем-то перед нею извиняется. В чем — она не может дать себе ясного отчета. О чем-то просит.

— Вы уж извините, пожалуйста,— с трудом стала улавливать она смысл его слов. — Две корзины и сундучок, всего-то всего.

Двое незнакомцев по его знаку, поданному на лестницу, втащили в прихожую то, что он говорил. Корзины оказались громоздкими, большими и тяжелыми; запирались они на длинные железные пруты, прихваченные висячими замками. Сундучок был из железа, как у паровозных машинистов, и тоже замкнутый.

— Куда прикажете поставить? — Кубанцев суетился.— К вам ведь с обыском не придут, ваш супруг — лицо сугубо лояльное. А тут, в этих вместилищах, последнее, что осталось у меня от разрухи, от разграбления. Из посильного кое-что, из домашнего.

Ирину, она даже не могла сказать почему, охватывал страх перед этими угловатыми, громоздкими вещами. Ирине казалось, что корзины Кубанцева наполнены чем-то зловещим, способным принести гибель и ей и Илье.

— Боже! — сказала она слабо. — А может быть, не надо бы. Унесли бы вы, пожалуйста.

— Увы, Ирина Владимировна. Некуда.

С удивительной ловкостью Кубанцев осмотрел большую Иринину квартиру, над ванной комнатой отыскал невидимые из коридора антресоли, и все втроем, он и приведенные им бессловесные молодцы, тяжело пыхтя, взгромоздили туда свой багаж.

— Немножко, правда, перепачкались! — весело сказал Кубанцев, вывоженный пылью антресолей, до которых Ирина не добиралась более двух лет. — Ну ничего, на лестнице отряхнемся. Спасибо вам, Ирина Владимировна. Превеликое. Говорить-то про это никому, само собою разумеется, не надо. Молчок, и все.

— Итак, Ян Карлович, на этот раз я отправлюсь один. Друг мой, Благовидов, не может. Он в Комитете обороны Петрограда, горячка у них. Беру, значит, опять наган. Кольт оставляю.

— Иди, Осокин, иди. Это может оказаться очень важным. Если твой Хамелайнен не дурак, мы кое-что через него узнаем, ты прав, Осокин.

Ян Карлович внимательно наблюдал за тем, как бережно его помощник укладывает в свой несгораемый ящик кольт, как проверяет, есть ли патроны в барабане нагана.

— Ты любишь оружие, Осокин. Это хорошо,— одобрил он. — Но ты пижон все-таки. Как барышня наряды,

меняешь оружие. Если нет патронов к твоему кольту, ну и носи всегда наган. Нет, я вижу, кольт ты любишь, именно как барышня любит то платье, в котором она больше нравится и себе и кавалерам.

— А что, разве это плохо, Ян Карлович?

— Мальчишка ты еще, Осокин, совсем такой, в коротких штанишках. Не надувайся, как пузырь. Я по-дружески с тобой разговариваю. Не как начальник. Да, кстати о барышнях!.. Эта девчонка, Санька, как она поживает?

— Что-то Завадский ее из дому гонит, как кто у него собирается. Подозрительно, Ян Карлович. Значит, есть такое, что они хотели бы от нее утаить. Верно?

— Верно. Только, может быть, он просто баб к себе водит, твой Завадский. Всех подозревать, Осокин, нельзя. И не потому, что так ты красивей будешь. «Вот какой я, смотрите, христианнейший из христианнейших. Я всем верю, у меня голубиная душа». Глупости это. Всех подозревать нельзя по другой причине. Потому что не все способны на то, в чем их можно бы подозревать. Таких идейных, непримиримых не очень уж и много. Ну, скажем, тысяч десять во всем Петрограде. А остальные, даже если они и не согласны с Советской властью, они обыватели, и ничего больше. Такой не может ни за Советскую власть, ни против нее. Охотиться на таких — только зря время убивать. Но это я, учти, лишь в общих рассуждениях. А не в данном случае. Кто такой Завадский — мы с тобой не знаем. И ежели что...

— Я ей сказал, чтобы, пока меня нет, она, ежели что, к вам бежала, Ян Карлович. Ничего?

— Правильно сказал. Ладно, дружок, отправляйся. Ни пуха тебе, ни пера.

— Спасибо, Ян Карлович.

— Дурья твоя голова! Разве же за такое напутствие говорят спасибо! К черту, говорят, к черту!

— Этого, Ян Карлович, я не могу себе позволить. Вы же начальник. «Богат и славен Кочубей. Его поля необозримы».

Нигде не найти было Павла Андреевича, телефон его молчал. Отправилась было Санька к Степану Егоровичу, к дяде Благовидова, за Нарвскую заставу. Может, тот что

о своем племяннике знает. Но и Степана Егоровича не застала. Встретила ее хозяйка дома.

— Милка ты моя,— сказала Фекла Дмитриевна, усаживая Саньку на стул возле стола,— все мужское население сейчас как с ума посходивши. С завода, гляди, только ночевать домой ходят. А то, бывает, прямо там, в заводе, и ночуют. Финны-то прут на Питер. Против них оружие надобно. Пушки народ чинит, пулеметы, паровозы, вагоны.

Санька спросила, не появлялся ли у них Павел Андреевич.

— А ты что, часом, не сердцем ли к нему присохла, девонька? — Фекла Дмитриевна присела напротив нее, явно заинтересованная. — Он мужчина видный. Самый бы раз ему жениться, да вот невесту никак не найдет. Не ты ли, а?

— Что вы, Фекла Дмитриевна! — Санька не смутилась. — Я так... Просто бегаю за ним. Сама. А он?.. Что ему девка деревенская! У меня и грамоты — на копейку.

— Это верно, верно: он с образованием. Училище реальное прошел. На инженера учиться подавал бумаги. Да служить в солдаты его взяли. Тогда уж, раз такое дело, военное, на офицера выучился. Образованный мужчина. Только ты и себя зря дешевишь. Стан у тебя, знаешь, привлекательный. И личико не деревенское, не так чтобы простое. И глаза эвон какие! Мужики ведь на бабье образование не так чтобы строго смотрят. Им совсем другое подавай. Может, слыхивала про графа-то Аракчеева?..

— А как же! Я из тамошних мест. Новгородская я. Цыганку-то Настю который любил? Ну ведь она, Фекла Дмитриевна, не жена ему была все-таки. А потом — и зарезали ее за это.

— Поболе жены была, поболе. Всем крутила. И зарезали ее не за то, что граф любил, а за другое. Жестокая была к дворне, мучила людей. Или вот царица-императрица Екатерина Первая, жена царя Петра... Тоже ведь из деревни. А какая изделалась. Это пусть тебя не заботит. Выходи за него, да и все.

— Что вы, Фекла Дмитриевна! Не возьмет меня Павел Андреевич. Я вам скажу... — Санька перешла на доверительный женский тон: — Павел Андреевич повел меня раз в театор. Опера, значит, «Ригалета». Поют все время, шумят на сцене. Как в деревне у нас в престольный

праздник. Или на пасху. А я уставши была, притулилась возле его плеча да и сплю себе. Вроде все слышу, но уже ничего не вижу. Смеялся он потом. Ну, конечно, дура. А барыня, у которой я маленько жила, жена Павла Андреевича брата...

— Ирина? Чего ты мне о ней рассказываешь! Это ж наша сродственница. Илюхина супруга. Из богатеючей семьи.

— Да, верно! Я и не сообразила. Невестка она вам вроде бы.

— Ну этакая, четвероюродная. Так чего она, говоришь-то?

— Она как начнет про театор, как начнет! «Партию пел»... «колоратурская сапрана»... Вот как надо-то! А я, недотепа, храпака задала.

— Ничего, милка моя, ничего. Приятная ты девка. Я бы тебя в сродственницах держала. Ирина — она гордячка. Илюха-то нас из-за нее позабыл. Мы ей не подходячая компания. Серые, видишь. Она и по-французски. Она и по-английски. А мы одно знаем — матюком. Я ей сказала раз: «Гликось, задница у тебя до чего ладная». Ведь от души сказала, добром, залюбовалась ейной статью. А она как ахнет, как за грудь схватилась, будто я на задницу на эту ейну кипятком плеснула.

Санька смотрела в лицо Феклы Дмитриевны задумчиво, подперев щеку рукой, и не слышала, о чем та говорит. Раздумывала она о возможном и невозможном. Может ли так быть на свете, чтобы ей стать женой Павла Андреевича? Ой как любила бы она его, он даже и знать про то не знает, ой как берегла бы, жалела,— все бы позабыл он, кроме нее. Но вот возможно ли это?

17

Юденич, как всегда, сидел в номере гельсингфорсской гостиницы и поглядывал на окрестные островерхие крыши из бурой, выстоявшей под сотнями и тысячами дождей волнистой черепицы, на железнодорожный вокзал, напротив которого высилось хмурое, сложенное из дикого камня здание гостиницы, на привокзальную обычную суету. В последние дни у него беспокойства прибавилось. Времени на чтение жене французских романов не стало совсем. С утра до ночи перед ним торчат то англичане, то аме-

риканцы, то свои, русские. Ничего не поделаешь. Он северное солнце белых, а вокруг солнца вращаются большие, средние и мелкие военные и штатские планеты. Силу притяжения образуют те два миллиона рублей, которые ему удалось получить в гельсингфорсских банках у раздобрившихся после его поездки в Стокгольм и что-то почуявших банкиров. К деньгам потянулись руки из Ревеля, из-под Пскова, из Нарвы. Белые отряды и полки в Эстонии требовали этих миллионов, как земля пустыни требует дождя.

Одна из планет прибалтийской белогвардейской военной системы предстала перед Николаем Николаевичем разодетой в новенький английский мундир. Это был прибывший из Эстонии Александр Павлович Родзянко, племянник Михаила Владимировича, камергера и председателя Государственной думы. Подготовленным к наступлению Северным корпусом фактически командует этот скороспелый генерал, без шума и афиширования, но с полного согласия эстонского генерала Лайдонера, так-таки и оттеснивший в сторону старика полковника Дзерожинского.

Юденич дует в усы, громко барабанит толстыми пальцами по столу. Родзянко докладывает обстановку и план наступления корпуса. Докладывает округло, эффектно, такой способен произвести впечатление. Краснобайство, видимо, их общая семейная черта. Бойкий, в общем, малый, нахрапистый, на ходу может подметки срезать. Юденич вспоминает скандальную историю то ли четырнадцатого, то ли пятнадцатого года, запамятовал точно, которая была связана с именем этого новоявленного полководца. Командовал Родзянко в ту пору небольшой частью, вроде запасного батальона, сначала на острове Эзель, где превышал свои служебные обязанности и держался чуть ли не генерал-губернатором среди эстонского населения, а позже на материковом берегу — в дачном городке Пернове.

Однажды возле того городка вздумал было опуститься немецкий офицер на аэроплане. Что вражескому авиатору было надобно в таких местах? Может быть, разведку вел, может быть, шпиона хотел выбросить.

Снижающийся аппарат заметили в батальоне Родзянко. На поле предполагаемой посадки прискакал сам командир-гвардеец, приказал открыть огонь по воздушному врагу из всех винтовок и тоже отважно палил из браунинга.

Немец ретировался. Племянник председателя Думы отправил в Петербург на имя своего дядюшки соответствующую реляцию. Дядюшка не замедлил с высоких трибун представить эту пальбу в воздух как одну из победных страниц истории русского оружия в Прибалтийском крае. Была, однако, учинена проверка, все выяснилось, Генеральный штаб выразил сильнейшее неудовольствие по поводу хвастливой шумихи, и председатель Думы был изрядно обескуражен. Потом он не упустил случая отплатить генералу Юденичу, устроив думскую говорильню, когда Юденич принял кое-какие необходимые меры против аджарцев. Ну об этом чего там вспоминать.

Мысль вернулась к генералу Родзянко. Каковы же еще, кроме того аэроплана, «победы» Александра Павловича, Юденичу было неведомо. Со времен войны он так и путается в Прибалтике, вошел в доверие к эстонцам, помогал им расправляться с революционными рабочими и мужиками-хуторянами, воюет на эстонской стороне против красных; все это так, но все это игра по мелочам: стычки, нападения из засад, пальба с дальних дистанций. А как-то поведет себя сей генерал-племянник во главе крупных войсковых соединений?

— Итак, Николай Николаевич,— докладывал Родзянко,— наш Северный корпус стянут в район между Нарвой и Чудским озером. Общее число активных штыков — до пяти тысяч, сабель свыше тысячи, орудий полтора десятка.

— Только-то? — Прикрыв веком один глаз, Юденич высоко поднял веко другого.

— Этого, безусловно, мало,— согласился Родзянко.— Но мы сосредоточиваем силы на узком участке фронта. На очень узком. Мы пойдем колонной, тараном. Крестьянство Гдовского, Ямбургского, Лужского, Гатчинского уездов только и ждет нашего наступления. Начнут записываться в добровольцы, корпус станет обрастать, как снежный ком во время горного обвала. А кроме того, я еще не сказал вам, что севернее Ямбурга наступать будет расположенная там первая дивизия эстонцев. Шесть тысяч штыков и тридцать орудий. У дивизии есть два бронепоезда и два английских танка. Перед танками красные побегут, как зайцы. В этом можно не сомневаться. Грознейший вид современного оружия. И еще я должен назвать одну особенность корпуса: некоторые

его части целиком состоят из офицеров, которые в наступление пойдут рядовыми солдатами. Вы же знаете русских офицеров, Николай Николаевич. В бою каждый из них стоит десятка новгородских и вологодских лапотников. — Родзянко шумно высморкался. — Только бы до русской земли дойти, только бы! А там!.. — Он отпил из стоявшего перед ним стакана глоток холодного чая. — Таковы, Николай Николаевич, силы. Если не брать в расчет еще и вторую эстонскую дивизию. Но у нее задачи особые. Эти задачи планируются генералом Лайдонером, который намерен двинуть свою дивизию на Псков.

— А наши русские войска на Псков пойдут?

Родзянко замялся, пожевал губу.

— Как вам сказать. Объять необъятное невозможно. В сторону Пскова будет осуществляться вспомогательный удар. Вдоль озерных побережий двинется кавалерия Булак-Балаховича. Никакой инспектор из этого партизана не получается. Он потребовал полк и с ним должен будет занять Гдов. А если все пойдет благополучно, то под Псковом или в самом Пскове присоединиться к эстонцам.

— Меня заботит, Александр Павлович... — Юденич с силой дунул в усы. — Да, очень заботит непрерывное поминание вами эстонцев. На черта они вам сдались? Это же хитрейшие бестии. Посмотрите, как ловко руками наших попавших к ним в кабалу русских солдат и офицеров выпроводили они из Эстонии красных. Наши сражались, умирали, а Лайдонеры тем временем обучали, школили, вооружали и экипировали свою эстонскую армию. Этак, того и гляди, они нам и в спину могут ударить, когда мы будем подходить к Петрограду. Может быть, и вы так полагаете, извольте-ка ответить, будто после победы над большевиками мы обязаны будем предоставить эстонцам самостоятельность, смириться с тем, что под боком у нас поселится некое подкармливаемое англичанами и американцами препротивное государство. Ну-ка ответьте? А как же тогда «единая», как «неделимая»?

— Сейчас не до этого, Николай Николаевич. Сейчас...

— А потом, когда станет «до этого»,— перебил Юденич,— уже будет поздно. Надо своими, русскими силами воевать. Балтика полна английских кораблей, учтите. Уже десятка три их крейсеров и эскадренных миноносцев утюжат наши воды. Есть у них даже плавучий аэродром... как его?..

— Авианосец.

— Да, да. Есть катера для торпедных атак, минные заградители и целых двенадцать подводных лодок. Вы все это можете увидеть и здесь, в Гельсингфорсе, у причалов порта, и в Ревеле, через который ехали сюда и поедете обратно. Бескорыстно нам помогать никто не станет, нет. С помощью своих крейсеров эти господа оттяпают добрую половину матушки-России. Разве не видно?

— А что делать, Николай Николаевич? Без жертв, без потерь не обойтись. Большевики, может быть, только потому еще и живы и здравствуют, что не побоялись пойти на жертвы. Ленин чуть ли не назавтра после своего переворота поспешил объявить независимость Финляндии. Финны были нейтрализованы. Не правда ли? Под нажимом Ленина был заключен и трудный для большевиков Брестский мир. О нем кричат, что он позорный. Но большевики тогда выиграли время, выиграли...

— Нет, нет, не агитируйте. На черта мне сдались ваши эстонцы! — Юденич сердился, грузно ворочаясь в старом кресле. Кресло под ним скрипело и похрустывало.

— А без них мы не сможем! — злился и Родзянко, совсем недавно принятый и обласканный Лайдонером. — Может нам оказать действенную помощь верховный правитель?

— Колчак?

— Да.

— Думаю, что окажет. Я ему отправил свое послание. Объяснил положение, просил помощи. Жду ответа. Путь не близкий. Вокруг Европы, вокруг Африки и Азии.

Юденич и Родзянко смотрели друг на друга и друг другу остро не нравились. Каждый считал, что у его собеседника есть нечто скрытое на уме, о чем каждый из них говорить избегает.

— Что ж, — завершая беседу, сказал Юденич, — как ни кинь, все клин. С богом, Александр Павлович! Значит, тринадцатого выступаете?

— Самая благоприятная дата. Красные все силы гонят сейчас в район Олонца, выстраивают крепкий фронт в Карелии. А под Нарвой и у Пскова у них голо. Через день, два, три — как раз к тринадцатому — будет еще голей.

Они пожали руки и расстались.

Адъютант доложил о том, что пришел генерал Владимиров.

— Николай Николаевич, хорошие известия из Петербурга. — Дождавшись приглашения, Владимиров сел.

— Какие же? — Юденич разминал в пальцах папиросу.

— Наши действуют. Создан запас оружия на конспиративных квартирах. Верные люди в штабах, в разных большевистских организациях. В воздушном дивизионе Балтийского флота наш офицер, военспец Берг. На Петроградской радиостанции некто Рейтер. Я его не знаю, но наши утверждают — верный человек. Правда, есть данные, что он работает и на французов. Но бог с ним, лишь бы и для нас делал то, что надо. Потом разберемся. В оперативном отделении Балтийского флота тихо сидит полковник Медпокритский. Это все специально для вас сообщает через курьеров полковник Люндеквист. Сам-то он сейчас под Олонцом. Большевики отправили его туда спасать положение. Но в Петрограде много людей Владимира Яльмаровича. Нет, недаром мы провели с вами время в подполье, Николай Николаевич. Глубокие корни остались.

Владимиров сообщал своему шефу лишь то, что шеф, если бы захотел, мог узнать и без него: Юденич и сам имел немало доброхотов в Петрограде. Зато бывший жандарм и словом не обмолвился о сети только его, даже от белого командования законспирированных, агентов, скрытых в петроградском подполье. Был там особо надежный, преданный ему, способный на все жандармский ротмистр Кубанцев Гаврила Лукич — костолом, членовредитель, первоклассный стрелок из нагана. Помнится, оба они, Новогребельский, ныне Владимиров, и Кубанцев, стреляли в присутствии самого Павла Григорьевича Курлова. В медный семишник с двадцати шагов. Пять пуль из семи Кубанцев всадил в такую мелкую монетку. И почти не целился, подлец. Навскидку бил.

Воспоминания о золотом прошлом были приятны. Разглядывая носки своих безукоризненно, до лилового сияния начищенных сапог, Владимиров улыбался.

— Генерал Воейков тут, в Гельсингфорсе, сидит, Николай Николаевич,— сказал он.

— Дворцовый комендант, что ли? Какой же он генерал! Генерал от кувакерии! — Юденич шумно, раскатисто захохотал. — Иначе-то этого, извините, генерала никто и не называл, Владислав Станиславович.

Вежливо, в меру, посмеялся и Владимиров. Он не однажды встречал Воейкова на улицах Гельсингфорса и

тоже каждый раз ухмылялся, вспоминая, как приближенного царя Николая и царицы Александры называли, бывало, в России. Удачливый человек этот обратил внимание на природный ключ в своем пензенском имении. Стал заполнять ключевой водичкой бутылки, наклеивать на них броские этикетки «Минеральная вода Кувака» и отправлять такое добро в Петербург, в Москву, в другие города империи. Источник бьет, денежки текут. Отсюда-то его «кувакой», или «генералом от кувакерии», и прозвали.

— Пишет книгу, Николай Николаевич. Назову, говорит: «С царем и без царя».

— Нахарчился, кот гладкий, возле царского семейства. Поди на всю жизнь и ему и его внукам хватит.

— Да нет, ноет. Говорит, что все состояние осталось у большевиков. Ждет, когда можно будет в Петербург вернуться. Тайников, должно быть, в Царском понаустраивал. Я ему сказал: «Что же, Владимир Николаевич, ждать-то сиднем сидючи? Отправляйтесь в Северный корпус, в Эстонию, да с богом в бой на врага. Вы генерал!»

— Генерал! — Юденич фыркнул. — Он патрон не знает как заложить в винтовку. Свитский хомяк. Вся эта жадная до наживы шайка не могла царя уберечь. Увезли бы, переправили за границу. А то первыми в бега ударились, как только пальнул кто-то под окошком дворца. Вот прогоним большевиков из Петрограда, кого во главу России ставить будем? Ну, кого? Керенского, что ли, опять? Увольте. Не получился из него государственный человек. Засучил тощими ножками, в Бонапарты ему захотелось. Нельзя нам, нет, по французскому подобию государственное управление строить. Нам самодержавие как раз. Прочная власть нужна. А кому, говорю, царем быть? То-то!

Глухо стучали толстые пальцы по столу. Смотрели водянистые, выцветшие глаза на железнодорожные пути за окном гостиницы, которые, начинаясь тут, в центре Гельсингфорса, прямиком через Выборг, вели в Петербург, в столицу царей российских. Думы одолевали Юденича. Из всех из них, из заметных генералов, если брать Колчака, Деникина, разных там Врангелей,— кто самый ближний сегодня к Зимнему дворцу? Он, конечно. В истории ведь всякое бывает. Почему бы среди великой смуты российской не прийти этак спокойненько, без толкотни, в окружении верных людей, таких, как Владими-

ров, скажем,— не прийти вот так да и не сесть в одно из древних тронных кресел Руси, сохраняемых ныне в Оружейной палате? Кровь придется пролить? Что ж, без крови никакой истории пока что не бывало.

Генералу вспомнились горные и прибрежные селения Батумской области. Начинался шестнадцатый год. Турки сильно досаждали своими набегами русским войскам. Шпионы среди войск ходили запросто. «В чем дело? — потребовал главнокомандующий Кавказской армией у чинов своей разведки. — Почему не принимаете мер?» — «Невозможно,— отвечают те. — Невозможны никакие меры. Турок от аджарцев никто не может отличить — одинаково черные, одинаково мусульмане». — «Значит, этих аджарцев тоже надо считать турками,— решительно заявил главнокомандующий,— и соответственно поступать с ними». Был разработан план, одно за другим окружались войсками аджарские селения в пограничной полосе, раздавалась команда: «По турецким шпионам — огонь!», гремели орудийные залпы, трескуче рассыпались в горах пулеметные очереди. Уцелевших от снарядов добивали выстрелами из винтовок, приканчивали штыками. Стон стоял над плодородными долинами, в которых из-за их райского климата еще и в далекие-далекие времена селились пришельцы — то греки, то древние римляне. Дым пожарищ валил из ущелий, вставал над горными вершинами. Главнокомандующий рысил на коне через сожженные деревни, мимо мертвых тел, подвешенных к субтропическим деревьям. Конь разбрызгивал копытами кровавые лужи. Главнокомандующий не желал видеть и не видел, как солдаты выкручивали руки женщинам, волоча их в кусты... Может быть, и здесь, под Петроградом, будет так же? Что ж, на войне как на войне. Солдата, офицера, настрадавшихся в изгнании, без родных, не остановишь в их священном гневе. Бьет двенадцатый час большевиков!

Юденич встал, хотел было перекреститься, окидывая взглядом стены гостиничной комнаты. Ни икон, ни сюжетов из Священного писания тут не было, только голые языческие богини с пышными бедрами; удержал вознесенную руку на половине пути и двумя пальцами заложил за борт генеральской куртки.

Родзянко тем временем, окруженный адъютантами, сидел в кабачке русских офицеров на одной из гельсингфорсских улиц и коротал часы до парохода на Ревель.

В отличие от этого байбака, тюфяка и мямли Юденича племянник председателя Государственной думы любил пожить и понимал толк в жизни. Но этот кабачок, вся обстановка в нем не располагали к приятным мыслям. На тесной эстрадке пять тощих девиц старательно крутили перед посетителями полуголыми щуплыми задами. Синие куриные ляжки производили весьма неприятное впечатление на командующего Северным корпусом. Ему вспоминалось преуютнейшее казино в Пернове на улице, ведущей к морю. Вот там были «сюжеты», вот там можно было повеселиться. А тут...

Выпив третью рюмку в меру охлажденной водки, он приказал одному из адъютантов пригласить девиц к его столику.

— Девочки,— сказал он, когда они не слишком веселой стайкой прилетели на зов и расселись на поданных адъютантами стульях. Генерал с удивлением рассматривал их. Совсем же девчонки, гимназистки! Какой идиот набрал их сюда и выпустил на эстраду? Разве такие способны настроить на приятные мысли? — Откуда вы, юницы? — спросил Родзянко.

— Из Петербурга, господин военный,— с гордостью ответила одна из них.

— Как же так, совсем молоденькие, и рискнули отправиться одни в путешествие?

— А мы не одни. У нас у всех и родители тут. Мы и себе и им зарабатываем на жизнь. Жить-то трудно. Квартиры дорогие, одежда дорогая...

Все это рассудительно рассказывала самая взрослая из девиц. Поначалу она старалась говорить весело, беззаботно. Но в конце концов и она и ее подруги приуныли.

— Хотелось бы поскорее домой, господин военный, в Петроград.

— Выпейте по рюмке да закусите,— предложил Родзянко. — Может быть, после этого легче будет решать такой вопрос.

Девицы выпили по рюмке, выпили по другой. Одна заплакала. Появился не то хозяин, не то вышибала, костлявый, рукастый. Увел ее, молча и злобно.

Зато из-за соседнего столика заговорил подвыпивший поручик.

— Господин офицер! — сказал он. — Вы здесь лицо новое. Поэтому к дамам прошу не приставать. Вы их расстроили своими глупостями, порушили нам все веселье.

Скандал затевать не хотелось. Родзянко пожал плечами и отпустил девиц. Они вновь взобрались на эстраду, закрутили девчоночьими задами, а одна из них принялась петь скабрезную песенку.

Зала кабачка все больше заполнялась народом. Друг друга тут знали, входя, раскланивались, подсаживались на свободные стулья. Родзянко затеял разговор с несколькими из посетителей: что, мол, они делают в Гельсингфорсе и что намерены делать дальше.

— Вы, очевидно, новичок,— внимательно осмотрев его, ответил один подполковник. — Удовлетворяю ваше неофитское любопытство. Ничего мы не делаем и не собираемся что-либо делать.

— О Северном корпусе слышали? — спросил Родзянко.

— Слышали, да. Были тут вербовщики из него, завлекали жалованьем и обмундированием. Но корпус-то создан немцами, на немецкие деньги. Разве мы, русские патриоты, три года гнившие в окопах на германском фронте, можем пойти на службу к врагам России?

— Заблуждаетесь, подполковник. Создавался наш корпус действительно при участии немцев. Но уже давным-давно стал он чисто русским.

— Как же это русским! — воскликнул поручик со шрамом на подбородке. — Если командует им эстонский генерал Лайдонер. Мы же знаем.

Родзянко не удержался.

— Командую корпусом я! — ответил он, откидываясь на стуле.

На минуту все примолкли, ошеломленные.

— Полковник Родзянко? — неуверенно сказал кто-то, не видя знаков различия, поскольку Родзянко для спокойствия в пути приехал в Гельсингфорс в тужурке без погон, и о том, что он офицер, лишь свидетельствовала папаха, положенная на подоконник.

— Генерал Родзянко,— ответил он.

По залу пошел шум. К столику командующего Северным корпусом стали стягиваться со всех углов. Одни с простым любопытством в глазах, другие с надеждой на изменения в их унылой жизни. А краснолицый толстяк, штабс-капитан, подошел с иронической улыбкой.

— Вы родственник Михаилу Владимировичу, не так ли?

— Да, так.

— Ваша фирма, генерал, ненадежна. Старший, как всем известно, подорвал устои самодержавия в России. Его Дума только и занималась клеветой на царствующий дом, с ее трибуны ведрами выливались помои на императрицу, а следовательно, и на государя императора. Он, он, ваш дядюшка, виновен в том, что мы все оказались в таком тяжелом и глупом положении, без родного угла, без родины. Он, он подготовил, вспахал и удобрил почву для большевиков. А что теперь можете вы, племянник? Вы поведете нас под большевистские пули? Нас поодиночке, а может, в общих могилах закопают под Гатчиной и Красным Селом... Спасибо, ваше превосходительство!

— Не слушайте его, господин генерал. Он черносотенец, дитятя Пуришкевичей и Валяй-Марковых.

— Не черносотенец, а верный, последовательный слуга своего покойного императора! — выкрикнул штабс-капитан. — Зарублю! — Он сделал такой жест, будто хватается за шашку. Но там, где надо быть шашке, ничего у него не было. Штабс-капитан утер лоб обшлагом заношенной гимнастерки и пошел к выходу.

Оставшиеся все теснее окружали Родзянко. Он отвечал и отвечал на вопросы. Какое жалованье? Где квартировать? Обмундирование? Видно было, что вербовщики, побывавшие в Гельсингфорсе, отнеслись к своим обязанностям формально, не рассказали всего слоняющимся по Финляндии русским офицерам. И когда Родзянко всходил на пароход в гельсингфорсском порту, вместе с ним по трапу тянулось десятка два успевших собрать чемоданчики, наконец-то нашедших пристанище и пехотных, и артиллерийских, и кавалерийских офицеров. Еще столько же обещало выехать в Ревель завтра-послезавтра.

«Можно создать громадную армию,— размышлял с досадой Родзянко, стоя на верхней палубе отчаливавшего парохода. — Но для этого, наверно, надо, чтобы вербовщиками были сами командующие. Эх, мать-Россия! Ты все та же».

18

Возле халупки, в которой Осокин уже провел две ночи, были сложены бревна. Сложили их давно, они успели изрядно поистлеть, и в некоторых из них можно было

пальцем проковыривать дыры. Осокин сидел на одном из таких трухлявых бревен и, раздумывая, курил. Утро занималось тихое, безветренное. Над окрестными кустами всходили синеватые туманы. Весенняя земля парила, отходила от зимней стыли и, впитав влагу сошедших снегов, набирала сил. Кое-где на своих огородах крестьяне раздирали старую пашню деревянными сохами, женщины, идя следом за пахарями, кидали в борозды из лукошек слегка проросшие лиловыми росточками вялые картофелины. Кони в запряжках были мосластые, тощие. Зима для крестьян прошла трудно, изнурила всех. То врывались в село белогвардейцы, то вновь приходили красные. И те и другие испытывали нужду в фураже для коней, и те и другие реквизировали овес, сено, солому; своему скоту оставались корье да ветки с кустов и деревьев. «А ветка она и есть ветка,— как сказал вчера Осокину один местный старик.— Испробуй кормить человека дрекольем из плетня, чего с человеком будет? Так и лошадушка — вишь, идет, еле ноги переставляет, болезная».

И все же весна делала свое дело: почуяв тепло майского солнца, ожили они, ожили немногочисленные коровенки, по утрам пастух гоняет их в луга, но не как бывало — не в лесные кормежные дали, а пасет вблизи деревни, в пределах человеческого крика; в леса, в кусты гнать боязно — шатаются окрест голодные шатуны: не то дезертиры, не то просто грабители.

Старик был словоохотливый, от него да от хозяйки халупы Осокин узнал немало интересного.

Землю Советская власть крестьянам дала; радовались было, нарадоваться не могли, когда помещичьи угодья получали, в свои дворы добро волокли из имений, делили сеялки, веялки, конные грабли. Но спокоя из всего этого мужикам не получилось. То тебе новый налог преподнесут, то реквизицию объявят, то стрельба подымется по ночному времени, то пожар где заполыхает. Знай утешают да уговаривают советчики: обождите, мол, вот покончим с лютым классовым врагом... А пока давай да давай хлеб да мясо городу, рабочим и солдатам. «Незнамо, как и жить-то,— рассказывала вчера Осокину хозяйка, постелив ему полушубок на дощатом некрашеном полу.— О тринадцатом годе, перед самой ерманской войной, значитца, задумал мужик мой избу новую ставить. Лесу наготовил, вон бревна-т под окнами лежат. А тут, глянь, война. Мужика в солдаты забрали. Не вернулся

он, товарищ-гражданин. Бумажку только прислали: убитый, значитца, на чужой ерманской земле, и могилку не сыщешь евонную теперича. А бревна, ишь, лежат, ждут чего-то, прель их гноит. Дождутся ли чего?»

Осокин сидит на этих бревнах, из которых точится рыжая мука, и раздумывает. Двенадцатое мая, а Хамелайнена все нет. Ну, правда, рано еще беспокоиться: уговорились, что придет он в промежутке между десятым и пятнадцатым, время есть. Но и пораздумывать тоже есть о чем. В Полковой Горе, в окруживших село деревеньках расположилась часть 19-й красной дивизии — бригада, командует которой бывший царский генерал Николаев. Видел Осокин не раз генералов. Доставляли их в ЧК под конвоем минувшей осенью. Одни входили в комнату Яна Карловича этакие важные, негодующие, грозясь жаловаться в Париж и в Лондон; другие взирали на все с презрением и наотрез отказывались отвечать на вопросы; третьи мелко юлили и лебезили и нисколько не соответствовали представлению Осокина о генералах. До разговоров с ними его еще не допускали: молод-де, обождешь, подучишься, пооботрешься. Беседы с генералами вел Ян Карлович, а то и сам председатель ЧК. В представлениях Осокина они, эти генералы, так и существовали как люди другого мира, глубоко чуждого и ему, и всему народу, и революции. С ними надо было бороться, их надо было изолировать, а то и ликвидировать. И вдруг — генерал, который сам борется против белых, можно сказать, — красный генерал! Не слишком обычное положение. Осокину очень хотелось пойти к нему и побеседовать. Прямо подмывало пойти. Но командир бригады — это командир бригады, запросто к нему не заскочишь: так и так, мол, я Осокин, желаю пообщаться.

Осокин не считал себя неспособным побеседовать с генералом. Кое-какие знания, думалось ему, у него для такой беседы были. Не зря же со своей Счастливой улицы, которая возле Путиловского завода, он через вечер бегал в Автово, в школу для взрослых и подростков. Учитель Семен Григорьевич полюбил Костю Осокина, паренька с верфи, особо отмечал его любознательность, сам подбирал для него книги. «Можно, друг мой, нахвататься всего отовсюду, но если будет это нахватано как попало, без системы, то даже при множестве разрозненных знаний окажешься ты полным невеждой. Представь себе дом: третий этаж есть — висит этак в воздухе, а второго и пер-

вого нету. Чердак — вот он, а лестницу туда не построили. Окошек восемь штук, а двери ни одной. Можно в таком доме жить? А вот если есть фундамент, да хотя бы один первый этаж, да не только окна, а и двери пробиты — такой дом уже годится. Живя в нем, можешь постепенно возводить над первым этажом второй, третий. Но опять же не перескакивая от первого к третьему, а по порядку — от первого ко второму, от второго к третьему. Так и с учением, с образованием самого себя — порядок нужен строгий, полная последовательность».

Известную последовательность Осокин имел в своем багаже. Мог бы про «Слово о полку Игореве» поговорить с бывшим генералом Николаевым. Про Древнюю Русь, про Синеуса и Трувора, про набеги половцев и татар, про Ивана Грозного и Бориса Годунова. А то, если желательно, про римских полководцев и императоров или про то, как в греческой Спарте детей воспитывали. Но, может быть, для генерала это такая мелочь, которая годилась только тогда, когда он в гимназии учился. А после академии... наверно же, все генералы свою военную академию проходят... так после академии они про «Слово о полку Игореве» да о спартанцах и в памяти уже не держат. Они на пятых да на седьмых этажах живут. Осокин же все свой первый этажишко обжить толком не может.

Он поймал себя на невзрослом, на ребячьем, детском строе мысли. Боевой чекист, страж революции — и школьная дребедень в голове. С чего бы? Может, с того, что как раз школа вспомнилась, вспомнились учитель Семен Григорьевич, Счастливая их улица, окраинная, куцелькая — десятка полтора домишек по обе стороны, но продутая свежими ветрами с залива, освещенная солнцем, шумная по праздникам, когда выпьет водочки заводский люд, и вся живущая только трудом, только борьбой за существование по длинным, хмурым, бесконечным будням; отец — клепальщик с верфи, полуоглохший от его громыхучей профессии, мать — уборщица в конторе, хромая сестренка Валька, которая из-за хромоты сидит дома, не гуляет с ребятами, стыдится их и ведет хозяйство. Уже больше года, как бросил родных Осокин, уйдя в напряженную работу чекиста, живет по казармам, общежитиям, самого себя забыл, не то что их. Предстал перед ним отец с его жесткими усами, рыжими над губой от курева; в разговорах он всегда приставляет к уху ладонь, всю в таких же, как усы, рыжих мозолях — от молотков, от заклепок, от железа. Увидел

Осокин и мать с невеселым, в мелких глубоких морщинках, желтым лицом, и Вальку-сестренку, которая так неловко расшибла в девчонках колено о камень.

Для них, для таких вот, для рыжеусых папок да безрадостных мамок, для Валек, для крестьянок, потерявших мужиков на войне, для мужиков, медвежьими голосами орущих среди огородов на изнуренных коней, будто бы криком можно заменить охапку сена или торбу овса,— для них, для их лучшей доли ночей не спят ни Ян Карлович, ни председатель ЧК, ни Ленин в Москве, ни он, Осокин. Все из сил выбиваются за революцию, за лучшую жизнь для народа. И ничего в том детского нет, похлюпать маленько носом, повспоминать, пораздумывать о близких и о близком.

Осокин позабыл уже и о бывшем генерале, и о Хамелайнене, и вообще о том, зачем занесло его в это дальнее лесное село на Гдовщине; сам того не замечая, он тихонечко насвистывал известный всем мотив, на который поется и всем же известная песня новобранцев про последний нонешний денечек.

— Товарищ!

Осокин вздрогнул: так неожидан был этот оклик. Хватаясь за карман, обернулся. Позади него стояли два красноармейца.

— Закурить не будет? — спрашивал один из них.

Осокин достал кисет и сложенный во много раз газетный лист.

Красноармейцы подсели, не торопясь принялись отдирать косые полоски от газеты, затем так же деловито скручивали длинные конусные трубки, переламывали их на середине, заполняли раструб махоркой, обминали ее там пальцами и, закрепив загнутыми внутрь краями раструба, с минуту как бы любовались своими изделиями. Один из них, в зеленых ярких обмотках на толстых, крепких икрах, принялся после этого лязгать плоской железиной о желтый камешек-кремень, стараясь высечь искру так, чтобы она влетела в свернутый фитилем сухой трут.

Осокин нажал на колесико зажигалки, красноармейцы прикурили от дымного пламени, резко пахну́вшего бензином.

— Благодарствуем, товарищ. Сам-то не здешний поди?

— Из Питера.

— А мы новгородские. С-под Валдая. Слышал такой город? Колокольцы там льют знаменитые.

— Слыхивал. Еще девки там... эти... как их?

Все трое засмеялись.

— Девки обыкновенные, — посмеявшись, сказал тот, у которого были зеленые обмотки. — Как везде. Это со стороны погудка пришла про особливость наших валдайских. Надула одна потаскуха проезжего барина. Он и распустил и про нее и про всех других такую прилипчивую славу.

— Домой охота,— сказал второй, у которого на локтях вылинявшей гимнастерки лежали большие черные заплаты.

Были они оба постарше Осокина — лет поди по тридцать пять — по сорок каждому — и чем-то схожие меж собой; может, оттого схожие, что обоих совсем, видать, недавно подстригли одни и те же неумелые ножницы. Бороды получились этакие обкусанные, а виски и вовсе голые.

— Народ землю сохами пашет, — продолжал тот, у которого были в заплатках рукава, — а мы ее тоже, вишь, пашем, да только носом. Окопы роем, воду ведрами выплескиваем, брустверы кладем. Позиции, выходит, оборудуем. А какая может быть война в этих топях? Гадюки да ревматизьма вокруг. Эх, домой ба!..

— Мужики здешние на Советскую власть ворчат,— сказал Осокин. — С тутошними жителями общаетесь?

— К солдаткам захаживаем, бывает. — Оба ухмыльнулись, посмотрев друг на друга. — А чего?!

— Да нет, ничего. Замечали, говорю, как тут размышляют про современный момент?

— Про момент-то? Замечали. По-разному размышляют. — Красноармеец подправил свою зеленую обмотку пальцем. — В обчем если, то последнюю жилу надсаживает народ. Или надо одно, или уж как-нибудь по-другому. А посередке — не житье, мученье. В таком рассуждении толкуют.

— А ваше мнение?

— Мы что! Мы люди служивые. Наше дело: коли штыком да бей прикладом!

Осокин еще издали увидел, как, выйдя из кирпичного дома под зеленой крышей, в котором стоял штаб бригады, прямиком к ним направился молодой красноармеец. Подойдя к бревнам, красноармеец приложил руку к шапке и прокричал:

— Товарищ петроградский представитель! Вас в штаб требуют. К командиру бригады.

— Будьте здоровы, товарищи. — Осокин дружески кивнул своим собеседникам. — Может, еще свидимся. — И пошагал за посланцем из штаба, слегка волнуясь и раздумывая, зачем он понадобился командиру бригады и как с тем надо держаться при встрече.

В чистой горнице, за столом, покрытым клеенкой, сидел на табурете некрупный и совсем не старый, не генеральского, простецкого вида человек; поглаживая бороду, он смотрел на Осокина невыспавшимися глазами.

— Садитесь, молодой человек, — вялым тоном сказал он, указывая на второй табурет. — Может быть, документы покажете?

Просмотрев чекистский мандат, командир бригады вернул его.

— Что ж, будем знакомы, товарищ Осокин. — Он подал руку. — Николаев. Назвался бы и по имени-отчеству. Но, во-первых, это сейчас не принято. Во-вторых, отчество-то у меня слишком необыкновенное и весьма даже трудное. Пан-фа-ми-ро-вич, — произнес он по слогам. — Александр Панфамирович! Вот так! — И улыбнулся. — С чем же товарищ петроградский чекист пожаловал к нам? Мне доложили, что живете вы в нашем расположении уже два дня, а вот не удосужились объявиться, так сказать, старшему в гарнизоне, то есть мне. Непорядок, непорядок.

— Товарищ генерал... — Осокин остановился, не зная, как быть дальше.

— Я генерал бывший, товарищ Осокин, — пришел ему на помощь Николаев. — Теперь я командир бригады Красной Армии. С тех моих генеральских времен многонько воды утекло.

— Товарищ командир бригады, — сказал Осокин, — у меня такое дело, что я не могу о нем никому рассказывать. Вы же человек военный, понимаете сами.

— Ну-ну, не настаиваю. Нельзя так нельзя.

— А что касается того, что не доложился вам... Неловко было идти, беспокоить... Комендант отвел меня на ночлег, тем дело и кончилось. А если по-честному говорить, то хотелось зайти к вам. Здорово хотелось.

— Интересно, да? Генерал, и служит народу? — Николаев хорошо улыбнулся глазами. — Понятно, мой молодой друг, вполне понятно. Вы, вероятно, питерский рабочий,

ринулись в революцию добывать народу, таким же, как вы, рабочим — а их миллионы и миллионы, — хорошую жизнь. А что в революции понадобилось генералу, золотопогоннику, прихлебателю самодержавного режима, — это вам нелегко понять. Не так ли?

Осокин был смущен подобной откровенностью. Он попытался возразить. Но Николаев слегка поднял над столом руку: помолчи, мол, и продолжал:

— В отличие от многих моих коллег я не столько понял, сколько ощутил в ходе революции, что большевики — это не на час, не на месяц, не на год, а надолго и, может быть, навсегда. А позже и понял. Почему? Да потому, что люди всегда думали о более справедливом устройстве общества с древнейших времен. Но никто не знал, как это сделать, как этого добиться. Большевики предложили свою программу такого справедливого устройства. И в ней много привлекательного. Народу она понравилась, он ее поддерживает. Ну правда, как все новое, и сама эта программа, и особенно практика ее осуществления, может быть, пока не во всем совершенны, есть в них шероховатости, малые и более серьезные недостатки. Но это же временно, товарищ Осокин, временно. С ходом лет, не сомневаюсь, лишнее будет отброшено, недостающее восполнено. Ждать возврата к прошлому смешно. Следовательно, если сегодня бороться против большевиков, в которых поверил народ, значит, бороться против народа. Увольте, господа, от такой миссии! Я не пошел со своими коллегами и знаю, что им когда-нибудь придется жестоко, очень жестоко пожалеть о той антинародной войне, которую они ведут. Вам интересна моя исповедь, товарищ Осокин?

— Но скажите, товарищ командир бригады, — Осокин был взволнован беседой,— вы знаете, сколько мы, Чека, переарестовали и расстреляли бывших, а среди них и генералов? Об этом были сообщения в газетах...

— Вы хотите знать, как я отношусь к этому?

— Да.

— А что вам еще оставалось? — Николаев погладил ладонью клеенку на столе. — Ничего вам другого и не оставалось. Или вы, или вас. Жестокая, но никакими порывами добролюбия не преодолимая закономерность. Не вы, так вас бы те люди расстреляли. Притом с величайшей жестокостью, мстя за испытанный страх.

Удивительно, как рассуждения бывшего царского генерала совпадали с рассуждениями Яна Карловича. Осокин

слушал, боясь упустить хотя бы слово его речи, смотрел на собеседника так, будто старался запомнить каждую черточку на его домашнем, не командирском лице.

Осокину не понадобились школьные знания жизни римских цезарей, и Чингисхана не пришлось беспокоить в этом долгом интересном разговоре, и Грозного ворошить в гробу. Командир бригады расспрашивал про все, из чего состояла жизнь рабочего, чекиста Осокина. Осокин же узнал в тот день столько, что многое представало теперь перед ним не просто с фасада, который легче всего видится, а и в разных других поворотах, обычно, в повседневной сутолоке, трудноразличимых.

Вместе они пообедали. Николаев представил Осокина командирам и комиссарам батальона, начальнику штаба. Оставлял ночевать у себя. Но Осокин отказался, сказал, что уже освоился в халупке своей гостеприимной хозяйки, неловко будет уйти от нее, еще обидится.

Он долго не засыпал в эту ночь на тринадцатое мая. Не потому, что было жестко на полушубке, через который доски пола изрядно давали себя знать. Просто много думалось — о людях, о жизни, о бывшем генерале — добром человеке, честно пошедшем служить народу.

А когда уснул наконец, приснились ему Счастливая улица, отец, мать, Валька. Валька, прихрамывая, собирала на стол к обеду. Поспешив, она оступилась, и эмалированные миски, которые в их семье служили вместо тарелок, выпали из ее рук с таким железным грохотом, что дом вздрогнул. «Ложись! — заорал истошным голосом отец. — Рассыпься в цепь!»

Осокин вскочил. В окне стоял серый, туманный рассвет. Хлопали частые винтовочные выстрелы, слышались шальные, испуганные крики. И вновь железно ударило, сотрясая избушку. Было похоже, что разорвался артиллерийский снаряд.

Позабыв на гвозде кожанку, лишь затянув пояс с кобурой, Осокин выскочил на улицу. Мимо неслись красноармейцы. Стрельба была повсюду: и в лесу к западу, и в лесу к востоку. И с севера бухало.

Помчался в штаб.

— Если не ошибаюсь, это белые,— довольно спокойно сказал ему командир бригады Николаев. — И кажется, они зашли к нам в тыл. Ах, эти болота!

— Я с вами,— сказал Осокин. — Можете мной располагать.

— Хорошо. — Николаев кивнул. — Ни один человек сейчас не может быть лишним. Но только ваше оружие, этот наган, для настоящего боя негодно. Вот вам моя винтовка, а наган отдайте сюда. Вместе с кобурой. Потом снова обменяемся, когда, надеюсь, отобьем это нападение.

Они вышли за огороды, где командиры батальона уже распоряжались рытьем стрелковых ячеек. Но было поздно: белые наступали на деревню со всех сторон. Перед ними разрозненными и малочисленными группками пятились красноармейцы. Пулеметным огнем и время от времени постреливая из легкой пушки, белогвардейцы гнали отступавших — кого в болото, кого в овраг, чтобы зажать там в тиски. Затем с визгом и воем налетела конница.

Удар был таким внезапным и напористым, что не прошло и получаса, как дом штаба бригады уже заняли офицеры в погонах и в фуражках с кокардами. Разоруженных красноармейцев согнали на луговину перед домом. Тесной, сжавшейся толпой стояли они под дулами двух пулеметов и доброй сотни винтовок. В толпе пленных был и Осокин. Его захватили конники, которые над ним и над Николаевым с налета занесли свои огненные в лучах утреннего солнца, жутко взвывшие шашки.

«Глупо, глупо! — металась мысль Осокина. — Все погубил, не сумел избежать плена. Попался. А что болтал Яну Карловичу? «Живым никогда не возьмут». А вот взяли же, взяли... Верно сказал тогда Ян Карлович: мальчик он еще, младенец, а не чекист».

Он видел, как в дом провели Николаева. Командир бригады шел свободным шагом, как на прогулке, и о том, что это не прогулка, свидетельствовали лишь штыки конвойных, почти врезанные в спину комбрига. «Может быть, они еще и спознются? — подумалось Осокину. — Черт их разберет, генералов. Ворон ворону глаз не выклюет». И еще тошнее стало от мысли, что все вчерашние разговоры Николаева могут статься всего-то-навсего маскировкой. Знает же Осокин, кто такие царские генералы. Знает, а глаза вылупил, уши развесил.

Из дома вышел офицер.

— Эй вы, красная банда! — выкрикнул он. — Бригада ваша разбита. И вся дивизия разбита. А сделали это — да будет вам ведомо — орлы атамана Булак-Балаховича. Войска освобождения Петрограда от большевистской сволочи победоносно движутся на Петроград. Сейчас, надеюсь,

взяты Ямбург, Луга и Гатчина. День-другой — и красной чуме конец. В две шеренги становись!

Начались толкотня, давка. Перепуганные люди не знали, куда и как, рядом с кем становиться. К ним кинулись офицеры и, сортируя прямо штыками, принялись наводить порядок. Били в спины, в грудь прикладами, носками сапог по ногам. С трудом выстроились пленные красноармейцы в эти две унылые шеренги. Осокин прикинул: человек семьдесят — восемьдесят. Должно быть, только те, кто успел с передовой позиции отойти к деревне, к штабу. Где были остальные подразделения бригады — кто их знает. Скорее всего, рассеялись по лесу, по болоту.

— Итак! — продолжал все тот же офицер. — Добрая половина вашей шайки уже перестреляна и порублена кавалеристами полковника Булак-Балаховича. Если не хотите, чтобы и вас отправили на тот свет, немедленно выдать комиссаров, командиров и большевиков! Мы — регулярная часть Северного корпуса, которая будет развивать дальше наметившийся успех. Рядовые красноармейцы, обманутые и насильно мобилизованные русские люди могут нас не бояться. Они будут зачислены в наши войска, получат новое обмундирование, хорошую мясную пищу и оружие. Мы воюем не с народом, а с большевистской заразой. Итак, повторяю: комиссары, командиры, большевики!..

Шеренги молчали. Красноармейцы знали своих командиров, знали комиссаров. Но кто среди них большевик — в этом не все еще толком разбирались, а если кому и была известна партийная принадлежность другого и, дабы спасти свою шкуру, такой хотел бы его выдать, то как же вот взять и заявить об этом принародно? Потом свои же пустят в спину пулю в первом бою.

Тонкость создавшегося положения поняли и офицеры.

— Ладно! — крикнул их главный. — Дадим вам время поразмыслить. Шевелите мозгами.

Всех выстроили в колонну по четыре и под дулами винтовок конвойных, ехавших по бокам и сзади на конях, погнали из деревни. Шлепали красноармейцы по грязи весенних проселков — шлепали неведомо куда. Шли они унылой этой колонной три дня, располагаясь по ночам под открытым небом, при кострах, в окружении часовых, и, наконец, к вечеру третьих суток добрались до богатого, со множеством построек имения. Там их всех завели в пу-

стой коровник, сложенный из массивных гранитных валунов, и заперли на замки. Стены коровника были, как у старинной крепости — больше аршина толщиной. Прочнее тюрьмы не придумаешь.

Осокин не стал дожидаться более удобного случая — такого могло и не представиться. Когда все слегли от усталости, он свои документы, обернутые в рыжую прозрачную клеенку для согревающих компрессов, стараясь сделать это понезаметней, подсунул под дощатый настил коровьего стойла. Когда затем огляделся, то увидел, что лежит он возле уже знакомого ему красноармейца в гимнастерке с черными заплатами на локтях. Оба ухмыльнулись друг другу, как старые знакомые.

Пленные еще не понимали тяжести своего положения. Они надеялись на то, что после долгого, изнурительного пути по грязи им дадут отдохнуть и выспаться.

Но не тут-то было. Уже через час при бледном свете наступающей белой ночи офицеры начали процедуру проверки и отделения одних пленных от других. Подымая пинками ног с пола коровника, красноармейцев по очереди подгоняли к столу, принесенному и поставленному посредине помещения. За столом сидели три офицера; бочком к нему примостился и солдат, должно быть писарь, который составлял список.

— Фамилия? — орал председатель офицерской тройки.

— Соломин.

— Звание?

— Красноармеец.

— Большевик?

— Никак нет.

— Обыскать.

Вот тут-то Осокин похвалил себя за предусмотрительность с документами.

Два белых солдата, вывертывая карманы, сдирая сапоги или опорки — у кого что было, с треском отпарывая подкладку ватников, ощупывая гашники, старательно обшаривали каждого с головы до ног. Бумаги, кисеты, зажигалки, перочинные ножи — все летело на стол. Офицеры заинтересованно рылись в найденных вещах. С особым вниманием исследовали они документы и письма.

Если, на их взгляд, все было благополучно, выносилось решение:

— В третью роту! — И солдат-писарь делал отметку в своей ведомости.

Но вот выкрикнуто:

— Фамилия?

— Рогозин.

— Звание?

— Красноармеец.

— Большевик?

— Смотрите сами.

Офицеры вскочили.

— Обыскать!

Они впились глазами в документы Рогозина.

— Сволочь! — заорал председательствующий. — Коммунист! Военно-полевой суд тебя, красную собаку, приговаривает к смертной казни! Приговор привести в исполнение немедленно!

Загудел коровник. Кто лежал на досках стойла, поднялся на ноги. Люди шатнулись к столу. Но лязгнули затворы винтовок, стволы уставились на толпу, все стихло под их черными дырками.

Рогозина бросили на пол, били ногами, плевали ему в лицо. «Зачем? — думал с тоской и гневом Осокин. — Зачем? Это же бессмысленно. От него даже ничего не требуют, никаких сведений о расположении, о численности красных частей. Бьют просто так, от злобы. Зверье. Как прав Ян Карлович! Столкнулись две силы, которые на одной земле ужиться не могут и не смогут. Одна должна подавить или истребить другую».

Красноармейца коммуниста Рогозина изувечили так, что стоять на ногах он уже не мог. Солдаты под руки подтащили его к каменной стене, прислонили к ней спиной, но он сполз на цементный пол. Тогда, дав залп из трех винтовок в упор, застрелили лежащего.

У кровавой этой стены убили затем еще троих. Одного лишь потому, что при нем не оказалось никаких документов и никто не подал голоса за него, когда офицер гаркнул: «Кто засвидетельствует личность? Таковых нет? Что ж, к стенке!»

Осокин понял: точно такая участь ждет и его. Спасения не будет. Медленно, но верно, с неотвратимой неизбежностью приближается минута, когда его застрелят у той вот стены, он упадет на те цепенеющие тела, и никто — ни отец, ни мама, ни Валька, ни учитель Семен Григорьевич, ни суровый и добрый Ян Карлович, ни Павел Благовидов — не узнает о его гибели, о том, куда же

делся боец революции Осокин; только, может быть, сама революция будет знать это, да никому не скажет.

Его толкнули к столу. Он подошел, собирая все свои силы. Он решил, что когда его поставят к стене, успеть до залпа выкрикнуть: «Да здравствует революция!» Как телок — бессловесно, безропотно,— он умирать не хотел, и только это его еще поддерживало.

— Фамилия? — услышал он.

— Алехин,— не ведая почему, ответил первое, что пришло в голову.

— Звание?

— Красноармеец.

— Большевик?

— Никак нет.

Писарь заносил его ответы в список.

— Обыскать!

Обшарили. В карманах не было ничего.

— Где бумаги?

— Потерял, покуда по кустам-то бегал. Я и винтовку потерял.

— Кто может засвидетельствовать личность?

«Все, конец! — метнулась мысль. — Сейчас к стене — и выстрел». И от этой до предела ясной определенности стало не так даже страшно. Занимала, заслоняла все остальное мысль о том, какие же слова он должен крикнуть. А может быть, взять да и запеть «Интернационал»?

— Я,— вдруг услышал он голос, как показалось ему, из-под земли. К столу был выпихнут его знакомец в залатанной гимнастерке. — Я могу,— повторил тот.

Красноармейца допросили, обыскали, установили личность по документам, которые были у него в полном порядке: нижний чин, крестьянин, уроженец Валдайского уезда, Новгородской губернии.

— Так кто это перед нами? — задал офицер вопрос. — Только, смотри у меня, не врать. Иначе — туда! — Он указал в сторону обрызганной кровью стены.

— Красноармеец Алехин, Иван Иванович, наш новгородский земляк.

— Кто еще знает красноармейца Алехина, Ивана Ивановича?

— Я!

Вытолкнули к столу второго знакомого Осокина, того, у которого были зеленые обмотки.

— Алехин, Иван Иванович, он и есть,— бодро подтвердил тот.

— Ладно! В третью роту!

Осокина пнули прикладом, направляя в ту сторону коровника, где сгрудились прошедшие проверку. Туда же перегнали и его случайных знакомых. Сердце понемногу успокаивалось. Мысли приобретали порядок. Осокин подумал о том, что стоило офицеру спросить у него, а как зовут тех, кто свидетельствует его личность, и ему пришел бы конец. Был бы конец и им, свидетелям. Расстреляли бы всех.

Он протиснулся сначала к тому, с заплатками, пожал руку.

— Спасибо,— шепнул.

— Чего там,— услышал в ответ. — Ты мне только скажи в другой раз: Егор, мол, Петрович Козлов, так и так, и я завсегда готов приятелю поспособствовать. Что мы, не христиане, что ли?

«Вот это человек! — подумал Осокин. — До чего ловко он мне назвал себя. Тоже, значит, понимал и понимает опасность. Надо не забыть: Козлов, Егор Петрович».

А тот добавил:

— И деревенский наш, Степан Михайлович Озеров, одинаково душевный человек.

Степан Михайлович Озеров, обладатель зеленых обмоток, не был так догадлив, как его земляк. Он не назвался, на рукопожатие Осокина только и ответил:

— А, чего там! — И сплюнул на пол.

«Козлов, Егор Петрович, Озеров, Степан Михайлович»,— твердил про себя Осокин на случай новых допросов и проверок. И еще подумалось ему: «Теперь я беляк, враг Советской власти. Что бы сказал об этом Ян Карлович?»

19

Обойдя болотами бригаду Николаева, Северный корпус развивал наступление. Булак-Балахович с его нахрапистыми конниками устремился вдоль Чудского озера к Пскову, основные же части генерала Родзянко ударили с тыла по негустой цепочке красных войск, растянутых по деревням южнее Ямбурга. К северу от этого старинного уездного городка, расположенного на реке Луге, перешла в наступление и 1-я дивизия белоэстонцев, стре-

мясь блокировать береговые форты: Серую Лошадь и Красную Горку.

Новые коллеги подполковника Ларионова ошиблись, утверждая при его появлении в корпусе, что он сглупил, покинув войска Бермонта-Авалова, что здесь, под Нарвой, ему придется быть рядовым солдатом, как пришлось многим другим офицерам. Что сыграло роль, сказать трудно. То ли Георгиевские кресты на его офицерской гимнастерке... А может быть, сабельный удар через лоб, который он старался прятать под козырьком надвинутой низко фуражки? Могло как раз сказаться именно и то, что подполковник добровольно ушел из прекрасно экипированного и до излишеств обеспеченного продовольствием бермонтовского корпуса. Но как бы там ни было, он получил батальон.

Ларионов был аккуратен, каждое утро брился, что бы вокруг ни происходило. Артиллерийский ли огонь, контратаки противника, пожар в деревне, где расположились на ночлег,— все равно в положенный час он окликал вестового, требовал кипятку или, на худой конец, холодной воды и, разведя в чашке порошок, намыливал щеки.

Подполковник Ларионов не одобрял зверств, которые совершались над захваченными в плен красными. Конечно, коммунистов и комиссаров уничтожать следует, двух мнений тут может и не быть. Но почему при этом их надо избивать прикладами, топтать ногами, выкалывать им штыками глаза? Это же средневековье, это отвратительно. Глубоко и искренне он был возмущен тем, что сотворили балаховцы, захватившие в Попковой Горе штаб красной бригады. «Так нельзя, — доказывал он командиру полка.— Так мы перепугаем и красноармейцев и все население и вместо помощи получим в этих местах нашу петроградскую Вандею. Красноармейцы не станут сдаваться в плен, предпочитая биться до последнего патрона, а мужики уйдут в леса или затеют против нас партизанскую войну».

«Ерунда!» — кричали ему всюду. Никто не желал его слушать. Успех действовал на людей, как вино. В головах шумело. Батальоны, полки врывались в селения, хватали коммунистов, работников Советской власти. Под тяжестью мертвых тел трещали ветки деревенских берез, горели избы семей повешенных и расстрелянных, мертвецы с разрубленными головами, со звездами, вырезанными

на груди, на спинах, на лбу, валялись в придорожных канавах и на сельских площадях.

Главными своими силами белые шли на Ямбург, одну из колонн ответвляя к станции Веймарн, чтобы отсечь Ямбург от Гатчины, от возможных подкреплений. Булак-Балахович уже ворвался в Гдов. И там тоже на железных балконах главной улицы закачались мертвые тела. Со стороны Изборска, вдоль Рижского шоссе к Пскову, шла 2-я дивизия эстонцев.

А под Олонцом, на севере, все еще не утихали бои с белофиннами.

С каждым днем росло беспокойство в Петрограде. На заседании Комитета рабочей обороны Зиновьев сказал:

— У нас нет сил защищать город со всех направлений. Нас обескровили непрерывными мобилизациями для юга и востока. Мы стоим перед перспективой потери Петрограда. Мы будем сражаться до последних возможностей. Но возможности наши весьма скоро будут исчерпаны. В чем же задача? Задача в том, чтобы сохранить людей и материальные ценности Петрограда для страны, для Советской власти. Будет более чем разумно начать немедленную эвакуацию заводов и фабрик, а суда Балтийского флота в пределах города и в Кронштадте потопить. Это не единоличное мое мнение. Так думают и морские начальники.

По Петрограду и до этого дня ходили слухи об эвакуации промышленных предприятий и о затоплении кораблей. Но коммунисты были убеждены, что слухи такие распускает враг — для паники. И вдруг то же самое предлагает не кто-то там, а сам Зиновьев!

— Это что, мнение Советского правительства, Центрального Комитета партии? — после длительного, тяжелого молчания спросил Павел Благовидов, присутствовавший на заседании.

— У правительства и без того дел достаточно! — резко ответил Зиновьев. — Правительство и Центральный Комитет поставили во главе Петрограда нас, надеясь на то, что мы сами будем соображать в соответствии с той обстановкой, какая складывается.

— Совершенно верно, товарищ Зиновьев, — сказал один из членов Петроградского комитета Щукин.— Мы обязаны уметь соображать. Но это слишком государственное дело — сдавать или не сдавать Петроград. Без правительства решать его нельзя.

— А мы уже начали работу, товарищ Щукин,— с усмешкой ответил Зиновьев. — Мы не в том возрасте, чтобы по всякому поводу кричать няню. Из коротких штанишек выросли. Съездите на товарные станции петроградских вокзалов. Всюду грузят на платформы и в вагоны заводское имущество. И на черта нам сейчас эти заводы и фабрики? Нам бойцы нужны, бойцы! Надо всех рабочих Питера — всех до единого —мобилизовать в армию, на фронт. Только в этом сейчас спасение.

— Тогда начнется паника! — вновь возразил Щукин. — И никто не сумеет ее остановить. Паника перекинется в войска. Будем бежать до Москвы без остановки.

— Вот ты, товарищ Щукин, и есть паникер! — Палец Зиновьева, как гвоздь, устремился в его сторону.

— Товарищ Щукин прав! — крикнул Павел Благовидов. — Я знаю положение в войсках...

— А ты,—грубо перебил его Зиновьев,— просто слишком молод, Благовидов. Тебе в присутствии старших еще надлежит молчать.

Решения на этом заседании, как всегда, когда Зиновьеву возражали и он не собирал большинства, никакого принято не было. Но Зиновьев, высоко подняв голову, ушел с него, тоже как всегда, победителем. Он был убежден в том, что сумеет утихомирить, призвать к революционному порядку крикунов. Но в тот же самый день его ожидала крупная неприятность. Телеграф отстукал, и секретарь положил на стол перед Зиновьевым ленту с текстом требования немедленно представить в Совет Обороны республики объяснение, кто, зачем и почему распорядился эвакуировать петроградскую промышленность, кто придумал топить боевой флот Балтики и призывать в армию поголовно всех петроградцев. Подписал телеграмму Ленин.

«Кто, зачем и почему?.. — сказал сам себе Зиновьев, перечитывая телеграмму. — Интересно бы знать: кто, зачем и почему с такой поразительной сверхоперативностью сообщил об этом Ленину?» Перед ним поплыли лица Щукина, Благовидова, других партийных, советских, военных работников, людей, в которых он не чувствовал искреннего отношения к себе. Он хотел бы, чтобы его любили, всюду встречали овациями. У него были верные люди, которые со вкусом устраивали подобные встречи своему петроградскому вождю. На собраниях, на митингах он видел, как группировались такие в залах, чтобы

быть поближе к трибуне, на виду у него, как начинали они первыми ему аплодировать, а за ними, понятно, не зная, что к чему, подхватывал аплодисменты и весь зал. Верные люди вскакивали, чтобы встретить и проводить его стоя. За ними, опять-таки не совсем понимая, зачем это, нехотя, но все же поднимались — да, поднимались — и остальные. Любое дело требует организационной работы. А создание, укрепление авторитета и силы руководителя — тем более. Зиновьев ценил людей, которые умели это делать и делали, отмечал их, подкармливал, выделял. Им по его распоряжению были отданы лучшие квартиры бежавшей или выселенной буржуазии на Таврической улице, на Шпалерной, Сергиевской, Моховой, на Каменноостровском. Они ездили в автомобилях, реквизированных в свое время у богачей, у знати, в гаражах акционерных товариществ и обществ. Они поддерживают его, Зиновьева. Он всегда поддержит их.

Но ни Щукин, ни этот юнец Благовидов к таким не принадлежали. «Начатки фракционности,— с раздражением думал об их поведении Зиновьев. — Еще древние римляне предупреждали: сопротивляйся начаткам. Наверняка это Щукин сообщил обо всем в Москву».

Семнадцатого мая днем и поздно вечером Зиновьева, который лишь сутки назад послал в Совет Обороны, Ленину, свои пространные, расплывчатые не столько объяснения, сколько рассуждения, постигли подряд три жесточайших удара. Во-первых, пришла депеша о том, что Совет Обороны республики принял решение никаких общих эвакуаций из Петрограда не проводить. Лишь по определению специально созданной комиссии может быть, и то в отдельных случаях, вывезено особо ценное оборудование. Второй удар заключался в том, что Совет Обороны решил командировать на петроградский участок Западного фронта с самыми что ни на есть широкими полномочиями — трудно даже представить себе кого — Сталина!

Зубы Зиновьева скрипнули, когда он увидел эту фамилию. Он выскочил из-за стола, обошел его несколько раз вокруг, то возвращаясь к депеше, то подходя к окнам и выглядывая на темную площадь, будто бы этот представитель ЦК и Совета Обороны уже мог там появиться каким-то чудом. Сталин! Что дался Ленину этот не больно-то понятный, себе на уме, упрямый грузин? Почему Ленин дает такие поручения и такие полномочия именно

ему? А он, Зиновьев, пешка, да? Ему, вступившему в партию в 1901 году, члену ЦК с 1907 года, дядьку надо, наставника? А если и дядьку, то какой к черту дядька этот Сталин? Кавказский семинарист! Подумаешь, организовал где-то в кишлаках или шашлыках пару демонстраций, удрал из тюрьмы да из ссылки! А кто оттуда не удирал? А что еще за душой у этого «уполномоченного»? Пусть едет, черт бы его побрал, пусть. Пусть получает наступление под Ямбургом, бои под Олонцом...

После всего этого Зиновьев почти обрадовался третьей неприятности за один день — телеграмме из штаба 7-й армии. Белые заняли Ямбург. Сколь ни тревожно было известие, от которого еще час назад Зиновьев пал бы духом,— в эти минуты оно принесло ему и ехидную радость: пусть и этот подарочек получает высокий «уполномоченный»!

Перед Зиновьевым грудой лежали на столе телеграммы, письма, копии писем, резолюции собраний рабочих Ижорского завода, из Сестрорецка, из Шлиссельбурга, с Путиловского, с других заводов и фабрик Петрограда. Ижорцы писали, что протестуют против эвакуации, что они работают в данный момент для фронта — покрывают броней боевые автомобили. Эвакуация сорвет и провалит важное дело. Протестовали против эвакуации все. Но Зиновьев и в руки не взял эти письма и резолюции. О содержании их ему коротко доложил помощник. Что там рабочие! Не в них дело. Щукины, Благовидовы — вот кто постарался настроить против него Москву.

Белые наступали, они одно за другим захватывали селения Петроградской губернии, а Зиновьев сидел в кабинете в Смольном и, страдая от ущемленного самолюбия, метался в поисках достойного выхода из лично для него неблагоприятных обстоятельств.

После заседания Комитета обороны Павел Благовидов и Щукин вышли из зала вместе.

— Спасибо за поддержку, товарищ Благовидов. — Щукин крепко стиснул его ладонь. — Нельзя же в конце-то концов так самостийничать, как мы самостийничаем. Зиновьеву обидно, что покончили с его «северным правительством», с областным советом комиссаров. Но нам эти его обиды ни к чему. Помните басню про лягушку и вола? Лопнула бедняга, раздуваясь не по возможностям своей шкуры.

Подошел один из приближенных Зиновьева — Соткин, блеснул очками.

— Критиканы объединяются? Фракция недовольных?

Щукин спросил:

— А фракция — это когда большинство или когда меньшинство?

— Когда как,— ответил Соткин. —Смотря что исповедует большинство и что исповедует меньшинство. Иной раз меньшинство стоит на более верном пути, чем большинство. И даже на единственно верном.

— Помнится,— Щукин резанул Соткина глазами,— не очень давно было и такое меньшинство, которое выступало против захвата власти большевиками, а потом, когда власть все же была взята, настаивало на разделе ее с меньшевиками и эсерами. Было такое меньшинство?

— Чего ты от меня хочешь, Щукин? — Соткин хотел уйти. Щукин удержал его за рукав.

— А того, Соткин, что то высокоинтеллектуальное меньшинство так и остается в ничтожном меньшинстве, но мерзко пахнет еще и сегодня. Неразумное большинство все видит, все помнит. У него память крепкая.

— Хорошо, хорошо. — Соткин снова рванулся. — В таких тонах я не люблю дискутировать. Это для массовых собраний, а не для серьезных теоретических собеседований. Ты, Щукин, как теперь говорят, бузотер.

— Товарищ Соткин,— заговорил и Павел Благовидов. — По этой терминологии и я бузотер. Нас таких много.

— Да, да, я понял: большинство! Об этом здесь уже сказано. Но не большинством делается история! — Соткин возвысил голос, слова его гулко отдавались в сводчатом потолке коридора. На шум сходились люди. — Не толпами, не массами! — ораторствовал Соткин, может быть представив себе, что он на каком-то собрании. — Толпу и массу надо за собой вести. Ведут же ее единицы высокого интеллекта, высокой образованности, предельной собранности и организованности.

— Вы, конечно, говорите о Владимире Ильиче? — спокойно спросил Благовидов.

Соткин как бы с разбегу ударился о нежданно возникшую перед ним стену.

— Что? — Шальным взглядом он секунду-две смотрел в глаза Благовидову, резко повернулся и почти побежал по коридору в сторону кабинета Зиновьева.

— Чего это он? — спрашивали собравшиеся в коридоре.

— Да так. Теоретический спор, — ответил Щукин и, взяв Благовидова под руку, предложил: — А не пойти ли нам пообедать? В городе продовольствия дней на пять — на шесть. А муки и вовсе на три дня. Так что возможность пообедать не следует откладывать ни на час. Через час продовольственная норма может быть снижена. Пошли!

— Не могу, товарищ Щукин, не могу, — отказался Благовидов. — Надо ехать в Военный совет Седьмой армии. Экстренное заседание. Как-нибудь в другой раз.

— Ну, счастливо!

Военный совет армии заседал в одном из брошенных прежними хозяевами богатых особняков бывшего Царского Села, переименованного в Детское Село. То ли это был дворец одной из великих княгинь, то ли какого-то великого князя. Во время боев с кавалеристами Краснова кое-что в особняке попортило осколками снарядов, пулеметными очередями, винтовочными и револьверными пулями. Сетью трещин покрылись огромные зеркала в золоченых рамах на мраморной лестнице. Лепные амуры на потолках потеряли кто руку, кто ногу, а кто остался и без головы.

Но в целом дворец сохранял былое великолепие.

Члены Военного совета расположились вокруг овального стола посреди окрашенной в небесно-голубой цвет высокой залы. В соседних комнатах стучали пишущие машинки, велись крикливые разговоры по аппаратам полевых телефонов, попискивал телеграф.

Заведующий политотделом армии Семен Восков, прямой, честный большевик, прошедший школу дореволюционного подполья, делал резкий доклад о состоянии частей, ведущих бои с наступающими белыми. Из его доклада явствовало, что дела на фронте плохи и что, несмотря на героическое поведение отдельных частей и отрядов на Нарвском участке, общего отпора белые не получают. Почему? Слишком пестр состав частей, не соблюден в должной мере классовый подход при их формировании.

— За Советскую власть до конца могут и будут сражаться только рабочие, крестьяне-бедняки и сознательная часть середняков да коммунисты, члены большевистской партии! — горячо говорил Восков. — Наемники в таком святом деле не бойцы. Они разбредутся, прода-

дут и предадут. Такие факты мы, к сожалению, уже имеем. Всех партийцев, какие только есть у нас сейчас в тыловых армейских учреждениях, надо бросить в части, в красноармейскую толщу для цементирования ее, для воодушевления, для того, чтобы красноармеец, посылая пулю, знал, понимал, куда, в кого и зачем он ее посылает. Надо, чтобы в каждом отряде была своя партийная ячейка. При комплектовании новых частей это уже начали учитывать. Героический рабочий класс красного Питера, создавая новые отряды, батальоны, полки, шлет в них лучших своих партийцев. Это будут идейные, коммунистические части. Но надо укрепить и имеющиеся. Товарищи! Если мы потеряем Петроград, люди поколений, идущих за нами, наши внуки и правнуки поставят осиновый кол в память нашего с вами позора и наши имена будут произноситься с проклятиями.

Среди светлой майской ночи медленно брели по Петрограду Павел Благовидов и Александр Раков. Ракову с немалыми усилиями удалось еще разок поскрести от враждебных и случайных элементов бывший Семеновский полк.

— И все равно,— говорил он,— болит у меня душа за него, Павел Андреевич. Слушал я сегодня товарища Воскова и прямо-таки обмирал от беспокойства. Партийцев-то в полку единички. Хоть бы сотенку в него еще подбросить. Не дают. Вы, говорят, пока в резерве. Ждите. Пойдете в бой — добавим. А тогда уже может оказаться поздно.

Они шли через пустынное бывшее Марсово поле, которое носило теперь название площади Жертв революции. Раков остановился перед могилами, прочел вслух имена товарищей Урицкого, Володарского, похороненных в прошлом году рядом с героями революции.

— Могли бы жить,— сказал он. — Тоже поздно мы схватились. Беспечничали до тех пор, пока не заговорили револьверы убийц. Мы что же, эсеров не знали? Знали же их как профессиональных бомбистов, террористов, налетчиков. Понадеялись на совесть, да?

Вышли на Неву. Дул восточный ветер, и было прохладно. Темную, тяжелую воду рябило мелкой волной. Петропавловская крепость каменно дремала на противоположном берегу; влево от нее несли свою дозорную слу-

жбу массивные башни маяков Фондовой биржи. Город спал. Сонные фасады нависли над набережной. Дворцы. Особняки. Консульства. Бывшие посольства. Что там происходит за стеклами окон, задернутых шторами?

Два бойца революции вглядывались в эти окна, как бы пытаясь проникнуть своими взглядами внутрь притаившихся зданий. Но стекла, отсвечивая, лишь отражали темно-серую невскую воду да розовый свет встающей над Выборгской стороной молодой зари.

Пронесся, ревя мотором, длинный черный автомобиль.

— Чей, не знаешь? — спросил Раков.

— Григория Зиновьева,— ответил Благовидов.— Что-то, видать, случилось. Обратно с квартиры, из «Астории», в Смольный в такой час катит.

На Дворцовой площади они пожали друг другу руки.

— Я в Петропавловку схожу, насчет пулеметов. Обещали с десяток,— сказал Раков устало.

— А я на Балтийский вокзал. Посплю, пожалуй, в поезде. В Ораниенбаум надо. Есть решение сформировать сводную Балтийскую дивизию из тех отрядов, какие имеются, и из нового призыва.

Они разошлись в разные стороны, но шаги их по булыжникам пустой площади еще долго отдавались от стен Зимнего дворца и Гвардейских казарм к стенам Генерального штаба.

У Григория Зиновьева действительно кое-что случилось. В Смольном его ожидал прибывший экстренным поездом Сталин, который демонстративно разложил на столе Зиновьева свой мандат представителя Совета Рабоче-Крестьянской Обороны. Зачем он его так подсунул под самые глаза Зиновьева, будто Зиновьеву не известно, как пишутся подобные бумаги. Лишний раз хочет дать почувствовать свою значительность, что ли?

Подчеркивая безразличие к бумаге на столе, Зиновьев все-таки прошелся взглядом по машинописным строкам:

«Совет Рабоче-Крестьянской Обороны командирует члена своего, члена Центрального Комитета Российской коммунистической партии, члена Президиума Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов Иосифа Виссарионовича Сталина в Петроградский район

и другие районы Западного фронта для принятия всех необходимых экстренных мер в связи с создавшимся на Западном фронте положением.

Все распоряжения товарища Сталина обязательны для всех учреждений, всех ведомств, расположенных в районе Западного фронта.

Товарищу Сталину предоставляется право действовать именем Совета Обороны, отстранять и предавать суду Военно-революционного трибунала всех виновных должностных лиц.

Товарищу Сталину предоставляется право получать отдельные паровозы для экстренных поездок по всем железным дорогам РСФСР, право вести переговоры по прямым проводам и подачи военных телеграмм вне всякой очереди».

Зиновьеву хотелось в полную силу своего себялюбивого характера взглянуть прямо в глаза собеседнику, чтобы смять его, подавить. Но ему — и то не без труда — удавалось только коротко пробегать глазами по лицу с черными усами, с густыми бровями, с хмурым, упорно изучающим взглядом.

Зиновьева бесило то, что ему не воздают должного, как председателю Исполкома Коминтерна, то есть, по существу дела, вождю мирового пролетариата. Мирового, а не только российского! Выше этого поста нет, и быть не может. А вот на́ тебе!.. «Уполномоченные», проверяющие, надзирающие!

— Что ж,— усмехнулся он наконец, не глядя на собеседника,— паровозы товарищу Сталину найдем вне всякой очереди. Вот только с углем, с дровами дело плохо. А прямые провода... Они частенько подводят. Могут подвести даже и товарища Сталина.

20

В конце далекого XIV века сюда, на правый берег реки Луги, пришли новгородцы. Над песчаными обрывами они поставили город Ям, и в ту пору здесь был северо-западный край Новгородской земли; за ним уже начинались сложенные из камня разбойничьи гнезда — замки воинственных шведов и жестоких рыцарей Ливонского ордена.

Новый свой город новгородцы обнесли валом, поставили поверх него с углов четыре каменные башни, и начались в лесных этих болотистых пределах неисчислимые битвы против всех, кому соседство русских было не по душе. Двести лет стоял Ям, выдерживая и отражая осады шведов и ливонцев, и только к концу XVI столетия шведским полчищам удалось-таки сломить сопротивление его защитников. Но и десяти лет не правили здесь завоеватели. Русские полки выбили их и вновь утвердились на реке Луге, и держались бы они в этих местах и далее, не уступая врагу, да в дело вмешались тогдашние дипломаты, занялись политесом цари и короли, по-своему, поцарски и королевски, решая острые вопросы истории. Короли и цари определили: быть Яму в составе обширной Ижорской земли отныне под шведами.

Прорубаясь в Европу, меняя все вокруг только что заложенного Санкт-Петербурга, Петр I перекроил и ту часть географической карты, на которой стоял город Ям. Он вновь навечно закрепил его за Россией и собственноручно начертал новое название — Ямбург.

Пришел однажды порыв добродеяния — и великий самодержец подарил весь город своему любимчику Александру Меншикову. А когда Петра не стало и любимчик доживал век в опале, город перешел в казну и какое-то время находился в изрядном захирении. Наконец на него пал взор Екатерины II. Было повелено считать город Ямбург уездным; срыли тут валы и разобрали башни, зато учредили мануфактуру, на которой выделывались весьма тонкие полотна, шелковые чулки для петербургских модниц, ласкающие тело батисты, дорогие стекла и зеркала. Через весь город пролегла длинная и широкая главная улица, вдоль нее понастроили каменных домов и возвели гостиный торговый двор.

Затем пришли более поздние времена — времена Николая Павловича Романова. С екатерининским великолепием было покончено, и все ее сооружения, перестроив их надлежащим образом в соответствии с веянием века, превратили в солдатские казармы. Началась новая полоса хирения древнего города. Перед тем как России вступить в войну с Германией, во всех географических описаниях этого края отмечалось, что город Ямбург «принадлежит к числу беднейших в губернии» и что «главный доход обывателей составляет отдача внаймы домов офицерам квартирующих в городе войск».

На эту сторону дела, на экономическую сторону, командование белых родзянковских войск смотреть не имело никакого желания. Главное — что город древний, российский, исконный. Петр, Екатерина, Николай Павлович!.. Знамена, штандарты, серебряные трубы. Почти столица. Совсем без малого — сто с небольшим верст до Петрограда. Своя, родная, русская земля!

Едва город был взят зашедшими со стороны Веймарна белыми полками, как в него хлынули толпы тех, кому не терпелось в Петроград. Все дома были переполнены постояльцами. Иные квартировали в повозках. Кое-кто разбил чуть ли не цыганские шатры на окраинах. Бренчали колокола замолчавших было церквей.

Одними из первых в Ямбург прибыли родственники барона Тизенгаузена, имение которого, Торма, располагалось поблизости от станции Веймарн, меж деревнями Большая Пустомержа и Ястребино. Появились затем заводчики Гирс и Таубе, торопясь к своим лесопильным заводам в Ястребинской волости и на реке Долгой, которая впадает в Лугу. Покатились, гремя колесами, коляски и кабриолеты по выщербленным мостовым ямбургских улиц, зашагали по тротуарам дамы под вуалями.

В одном из казарменных флигелей обосновалась городская комендатура с назначенным Родзянкой комендантом полковником Бибиковым. Подвалы комендатуры были набиты захваченными в боях за город коммунистами, советскими и профсоюзными работниками. Каждый день конвоиры выводили из этих узилищ по нескольку человек, избитых, окровавленных, в рваном тряпье. Их вели то в сосновую рощу на северной окраине города, то прямо на главную улицу. Из рощи слышались залпы винтовок и одиночные револьверные выстрелы, которыми добивали раненых. А на главной улице к старым липам и тополям приставляли лестницы-стремянки, перекидывали через сучья намыленные веревки и на глазах у горожан вешали людей, известных всему городу.

В первые же дни так погибли захваченные под Веймарном курсанты гатчинских курсов красных командиров, красноармейцы-коммунисты из 6-й и 19-й красных дивизий, были повешены председатель следственной комиссии Ямбурга товарищ Лохе и профсоюзный работник товарищ Бустром.

В одном из казарменных помещений, где окно искрестила толстая железная решетка, ждал решения своей

судьбы командир красной бригады, бывший генерал Николаев.

Прошла неделя с того дня, как вместе со всем штабом его захватили в деревне Попкова Гора. У него гноился разбитый глаз, непрерывно, не утихая ни на час, болела голова. Слабость была такая, что и не поднимался бы никогда с вороха соломы, брошенной ему на пол вместо постели. Но все это было мелочью в сравнении с душевной болью, которая днем и ночью измучивала его, не давая уснуть. Бывший генерал терзался мыслью, что прорыв на Ямбург удался белым во многом еще и потому, что не выстояла его бригада, что он дал так легко себя опрокинуть и раздавить. Он говорил себе, что не оправдал надежд людей, которые поверили в него, понадеялись на его опыт, знания, приняли в свои ряды и поручили ответственный боевой участок! Отвратительна была сцена пленения. Его привели тогда в тот же дом, где стоял штаб бригады. Появился офицер в английской форме и, не задавая никаких вопросов, ударил его кулаком в лицо, отчего вот пухнет и гноится глаз. Офицеру было мало — он ударил еще и рукояткой нагана по голове. «Что ты делаешь? — истошно закричал другой офицер. — Это же генерал! Генерал Николаев». — «Неужели? Боже! — воскликнул тот, кто бил. — Ваше превосходительство! Прошу прощения!» Оба типа разыгрывали глумливую комедию.

И вот, доставленный в Ямбург, лежит на соломе «военный специалист» красных комбриг Николаев и мучает себя придирчивым анализом совершенных им ошибок.

На восьмые сутки его подняли с пола, дали умыться с мылом, с чистым полотенцем; через окруженный кирпичными стенами глухой двор повели в другой казарменный флигель.

В просторной комнате, за столом, на котором стояли бутылки с водкой и коньяком, тарелки с закусками, сидел невзрачный, белесый, бесцветный человек, тоже, как многие тут, в английском френче, но с золотыми погонами русского генерал-майора.

Человек этот не выразил приторно-приветливого радушия, как бывает в подобных случаях. Сухо предложил присесть к столу и представился:

— Владимиров. Прошу чувствовать себя как можно свободней. Будет деловой разговор генерала с генералом.

— Я не генерал, — ответил Николаев, ощущая приятность оттого, что может откинуться на спинку стула: в

своем заключении он или лежал на полу, или сидел на нем, прислонясь к стенке. — Я командир бригады Красной Армии, военный специалист.

— Полно,— с легкой улыбкой сказал Владимиров. — Я же не председатель Чека, я не испытываю вас.

Он прибыл в Ямбург по поручению Юденича. Когда герою Эрзерума сообщили, что в первый день наступления Северного корпуса взят в плен бывший генерал, как, мол, с ним быть, что сделать, Юденич вызвал Владимирова.

— Владислав Станиславович, это по вашей части. Надо бы поехать туда, как вы полагаете?

Владимиров мог бы ответить: «По вашей части тоже, господин бывший командующий Кавказским фронтом. Порубили голов вы немало». Но, конечно же, ответил совсем не так:

— Будет исполнено, Николай Николаевич. Я полагаю, что его надо примерно наказать в назидание всем изменникам. Повесить бы следовало. Притом — публично. С широким оповещением.

— Может быть, не стоит так-то, с генералом-то... Расстрелять бы... А вернее всего, — рассуждал вслух Юденич, — предложить ему полк или поначалу — батальон. Пусть смывает кровью свою вину и свой позор. Словом, действуйте по обстоятельствам. Будет кочевряжиться — к стенке!

Владимиров действовал в соответствии с этой инструкцией.

— Полно вам, — повторил он, разглядывая в упор покрытое синяками и кровоподтеками лицо Николаева. — Мы же... Я говорю с вами от имени генерала Юденича... Мы прекрасно понимаем, что вы не могли пойти к большевикам добровольно. Вас вынудили. Вы человек, привыкший к определенному комфорту, вам нелегко переносить физические и нравственные меры воздействия...

— Никаких мер не было! — оборвал Николаев. — Не придумывайте чепухи, генерал.

— Что же, вы вот этак, при полной ясности ума, в полном духовном здравии пришли к «товарищам» и, как бывало, говорилось, предложили им свою генеральскую шпагу?

— Не так оперно, как вы изображаете, но да, пришел к «товарищам» и в борьбе за будущее России встал на их сторону.

— Ого! — Владимиров достал портсигар и, не сводя белесых глаз с Николаева, закурил. — Так вы не идейный ли? — Ему очень хотелось сказать этому упрямому болвану, что он, Владимиров, перевидал таких заносчивых индюков и петухов сотни, тысячи на своем жандармском веку. Но то в большинстве были юнцы, желторотые дурни. Они плевались на допросах, орали возле виселицы «Марсельезу» и затягивали свои занудные революционные песни. Они утверждали, что борются и гибнут за идею. С ними было чертовски трудно из-за этой их идеи. Но смешно же видеть царского генерала, заболевшего революцией! — Вы не марксист ли, ваше превосходительство? — Владимиров рассмеялся.

— Я почти не знаю трудов Маркса, поэтому не могу вам ответить утвердительно. — У Николаева покруживалась голова, он делал усилия над собой, чтобы не показать перед противником слабости. — Но я знаком с программой Ленина, с программой большевиков. Над ней сейчас можно сколько угодно смеяться. Однако она народна и потому побеждает и победит. Для каждого нормального человека народное благо — закон. Не думаю, что возвращение царской охранки, помещичьих прав и прочих институтов прежнего — путь к народному благу.

— Красиво, красиво! — Усмехаясь, Владимиров согласно кивал. — Для сентиментальной пьески это превосходный сюжетец. Но если говорить по-деловому, я уполномочен предложить вам командование полком. На первых порах. Дальше возможно и дивизия. Вы возвращаетесь в семью русского офицерства, с ее понятиями о чести, благородстве поступков, патриотичности порывов. Вы вновь станете уважаемым человеком, и когда придет час полного освобождения родины от красной нечисти...

— Не будет такого часа, нет! Не обольщайтесь. Историю вспять не повернуть.

— Но для некоторых ее можно оборвать на самом нежелательном для них этапе! — жестко сказал Владимиров.

— Пуля? — Николаев взглянул на него с насмешкой.

— Петля! — Ладонь Владимирова стукнула по столу.

Выражение насмешки сошло с лица Николаева. Он знал, что его собеседник не шутит. Если в этой армии штабс-капитаны и поручики бьют рукоятками наганов по головам интеллигентных людей, зная, что те неизмеримо выше по воинскому чину, — на что же способны их

начальники, их генералы! Глаза Николаева приняли спокойное и строгое выражение.

— Тогда не мешкайте, не тяните. Готовьте свои веревки, господа.

Владимиров поднялся. Путы дипломатических увертов были сброшены. Он вновь обращался в беспощадного, жестокого жандарма.

— Ты сам, дубовый твой лоб, выбрал себе участь. Чего пожелал, то и получишь, — сказал вполголоса и выплеснул в лицо своему пленнику коньяк из начатой рюмки. — Скотина!

— Нервишки не выдержали? — Николаев с грустью покачал головой. —Вояка!

С английской винтовкой у ноги Осокин стоял в строю на Базарной площади Ямбурга. Две другие роты образовывали вторую и третью стороны прямоугольника. Четвертая сторона была открыта, и там, пестря одеждами, толпились горожане — одни из любопытства, другие потому, что им было строго-настрого приказано явиться с утра на площадь. Четкий строй батальона мог бы навести на мысль, что в этот майский день белое командование производит смотр войскам после победоносного сражения, если бы не виселица, широкой, приземистой буквой «П» вставшая посреди людского четырехугольника.

Осокин терпеливо, стойко, безропотно сносил тяготы и унижения плена. Он уже получил временный документ солдата Северного корпуса на имя Алехина Ивана Ивановича, ему выдали винтовку и пустой подсумок для патронов. В бою батальон еще не был, в него включили добрую сотню тщательно отсортированных пленных красноармейцев и, видимо, пускать в бой пока еще опасались, муштровали, обрабатывали, подтягивали, внушали новичкам основы дисциплины совсем иной, чем была у красных, — жесткой, бездушной, с непрерывными наказаниями и даже расстрелами тех, кто ее нарушает.

Снося все, Осокин ждал, когда же выдадут патроны и когда отправят в бой. В бою он немедленно сбежит и пробьется к Петрограду.

Каково положение на фронте, никто толком не знал. Офицеры кричали о величайших победах, о том, что Гатчина, Красное Село, Ораниенбаум, Петергоф, Царское Село взяты; что белые войска — на Пулковских высотах и

грозной лавиной спускаются с них к окраинам Петрограда. Неужели это так? — думалось Осокину. Неужели под огнем лежит его родная Счастливая улица? Где тогда отец, где мать, Валька? Что происходит в ЧК? Что думают о нем, об Осокине, Ян Карлович и председатель товарищ Петерс? Если враги у Нарвских и Московских застав, то как же нужна в Петрограде и его, Осокина, винтовка! А он?.. Он пригнан стоять среди пыльной площади и смотреть на то, как белые контрразведчики будут кого-то казнить. Войска, батальоны... Казнь обставляется пышно. Кого уничтожат сегодня? Которого из товарищей Осокина по большевистской партии?

Он оглядывал солдат, стоявших справа и слева от него. Он успел привыкнуть к ним за несколько дней, которые показались ему бесконечным годом, он узнал, что есть меж ними и отпетые сволочи, но большинство-то народ неприкаянный, застрявший в дни революции в немецких лагерях, скрывавшийся от керенщины в дезертирах, сборвавшийся, изголодавшийся. Этим людям было все равно кому служить, абы кормили да хоть как, хоть в обноски, но одевали. А сволочами были те, у которых революция поотнимала их имущество, их хозяйства, богатство: крепкие мужики, лавочники; были среди таких и уголовники — профессиональные разбойники, грабители, убийцы. Они охотно выполняли работу палачей, мучили людей, избивали их, живьем резали. Этих бы Осокин ставил к стенке без разговоров и формальностей.

Но Осокин терпел даже и общество мерзавцев, лишь бы пришел час, когда он сможет сбежать в Петроград.

Под треск барабанов из ворот казармы вышла процессия. К середине площади шагал взвод солдат с винтовками наперевес. А среди них, окруженный ими, с заложенными назад руками... Осокин готов был закричать от отчаяния, от жалости, от невозможности чем-либо помочь... Стараясь быть спокойным и безразличным ко всему, в окружении солдат медленно шел комбриг Николаев, Александр Пантелеймонович. Нет, значит, нет, ошибся он, Осокин, не изменил народу этот человек. Не признало генеральское воронье в нем своего ворона, ежели собралось глаза ему выклевывать.

Перед ошеломленным Осокиным то рассеивался, то вновь густел сизый дрожащий туман. Не сразу в туманных наплывах разглядел он тех, кто следовал за солдатами и за пленным Николаевым. А были там уже прославившийся своей жестокостью ямбургский комендант Бибиков и ни-

кому еще не ведомый невзрачный человек в иностранном мундире с золотыми погонами русских генералов. Сопровождали их офицеры — тоже в погонах, в крестах, с разными украшениями и побрякушками.

— Вся контрразведка, — шепнул Осокину сосед слева.

Осокин вглядывался в каждого из них, как бы стараясь запомнить навсегда. Зачем — кто его знает, но надо, надо запомнить! И этого, со шрамом на подбородке, и длинношеего верзилу, который вскидывает брови на лоб так, что они, будто черные гусеницы, ползают по его лбу во всех направлениях, и того, с толстой сигарой во рту, узко щурящего глаза от солнца... Всех!

Николаева подвели под перекладину, под бревенчатую, из свежеокоренного дерева букву «П». Кто-то дергал над его головой веревку с петлей на конце, примеривая нужную высоту. Подхватив Николаева под мышки, два солдата ловко взбросили его на заранее приготовленную табуретку. Снова кто-то стал то опускать, то поднимать петлю. Она задевала Николаева, ползала у него по лицу, спадала на плечи. Он, видимо, ничего не чувствовал, не замечал.

Офицер со шрамом на подбородке начал читать приговор военно-полевого суда:

—«Генерал-майор Николаев... Александр Панфамирович... поступив добровольно на службу к врагам России... тем самым предал... приговаривается...»

— Приговор привести в исполнение! — крикнул полковник Бибиков, взмахнув перчатками.

Солдаты бросились к Николаеву, чтобы накинуть на него примеренную по высоте петлю. Но тут он очнулся от своего безразличия ко всему, что происходило вокруг, решительно отстранил веревку рукой.

— Товарищи! — крикнул, обращаясь к горожанам. — У меня могут отнять и отнимут жизнь. Но веры в народ, веры в победу народа...

— Какого черта! — едва он заговорил, проорал Бибиков. — Где эти болваны?

Спохватились, что бездействуют барабанщики. Их привели именно на тот случай, если вдруг вздумает заговорить осужденный на смерть, но никто не подал им должного знака. Теперь они ударили с удвоенной силой, и последние слова Николаева растворились в дробном трескучем грохоте.

Осокин опустил глаза в землю, он не мог смотреть на то, что происходило дальше. Он так и ушел в строю роты

с площади, не взглянув больше, не обернувшись в сторону виселицы, оборвавшей жизнь хорошего, доброго, умного человека, с которым так интересно было говорить там, в деревне Попкова Гора.

Он видел, что большинство солдат тяжко удручено случившимся на Базарной площади уездного городка Ямбург. Среди них были же и такие, кто служил под командованием комбрига Николаева, кто не мог сказать о нем ни одного плохого слова. Только радостно скалился Митька Жильцов, толстомордый, рябой солдат с финским ножом у пояса.

— Пожил поди всласть этот комиссарский генерал, — разглагольствовал он в строю, благо поручик, встретив знакомого на улице, отстал от роты. — Поточат слезки теперь свинная генеральша да детушки-генеральчики. Так им, гадам, и надо! Я бы, моя воля, свежевал бы таких, как боровов.— Он потрогал свой нож в ножнах из желтой кожи.

Только теперь Осокин подумал, что, верно, у Николаева должна же быть где-то семья. Что станется с его семьей, с детьми? И вновь перед ним возникла Счастливая улица, он представил себе отца, мать, Вальку, к которым, возможно, тоже тянулись в этот час кровавые руки таких вот миток жильцовых с их разбойничьими ножами.

Не было сил ждать удобного часа. Надо было действовать немедленно. Но как? Нельзя спешкой все загубить и провалить. Ян Карлович, научите, пожалуйста, подскажите самое правильное решение.

Заплачет мать, заплачут се-е-стры,
Заплачет старый мой отец,—

услышал Осокин, как вокруг него затянули солдаты.

— Отставить! — заорал догнавший строй поручик. — Кто приказал пыть эту заупокойщину?

— Да вот он начал! — указал на Осокина Жильцов.

— Я тебе, Алехин, с заду ноги повыдергаю, слышишь? — Поручик успокаивался. — Смурной ты парень. Чертова деревенщина!

Осокин растерялся. Что же такое получается? Не подвела ли его на этот раз привычка произносить, надо ли, не надо, разные куплетики? Не сбрехнул же этот собака Жильцов.

Потом, вечером, он спросил одного из своих новых товарищей — Егора Козлова, которому, несмотря на щедрые обещания, залатанную гимнастерку так еще и не

обменяли, что за происшествие получилось в строю с этой песней.

— Заснул ты, что ль, паря? — удивился тот. — Ты же и подал первый голос: «Последний, мол, нонешний денечек гуляю с вами я, друзья». Ну, ребята подхватили, известно. На душе-то у каждого препогано было, вроде дерьма наевшись каждый. Душа и отозвалась. От песни человеку, всякий знает, легче становится. А ты что, спросонья это?

— Задумался, знаешь. От такого дела, как сегодня на площади было, разве заснешь?

— Да-да,— длинно и невесело протянул Козлов. — Да-а... — Что он думал при этом, Осокину очень бы хотелось знать.

21

Окно на улицу было открыто. За ним кричали воробьи, неведомо чем пробавлявшиеся в голодном Петрограде, пошаркивали шаги прохожих по плитам тротуаров, и дребезжал обруч от бочки, который через булыжную мостовую гоняли друг к другу мальчишки.

Подойдя к окну, взглянув на мальчишек, на их увлекательное занятие, Горчилич вернулся в кресло, на лице его была улыбка.

— Чудесная пора — детство, Ирина Владимировна.

Он сидел у Ирины уже более часа, и она никак не могла понять, зачем пришел к ней этот в общем-то симпатичный офицер, но не такой уж близкий к их дому, чтобы заходить запросто поболтать среди дня. А разговор идет именно такой — обо всем и ни о чем.

Когда он позвонил и назвался за дверью, Ирина готова была заплакать. Достаточно ей недавнего посещения Кубанцева, тех тяжелых корзин, о которых она ни на минуту не забывает, которые лежат на антресолях, тая в себе страшное, неведомое, гнетущее. Ну зачем еще и Горчилич? Он же воспитанней, умнее, тактичней хамоватого Кубанцева, мог бы понять, что не следует ходить, когда не зовут, не надо досаждать. Но она открыла, вот он сидит, и они разговаривают о пустяках.

— В нашем патриархальном Новгороде, где я родился и рос, Ирина Владимировна,— продолжал Горчилич,— гонять обруч было одним из любимейших мальчишеских занятий. Несешься, бывало, по Московской улице... Семья

наша жила на Московской, поблизости от аптеки... Гонишь, говорю, обруч палочкой, ловко так направляешь его меж прохожими, огибаешь возы с сеном или дровами, летишь по Буяновской к Волхову, под уклон, и не замечаешь, как ты уже на рыбном рынке. А рынок у нас!.. В чанах вот такие окуни! — Горчилич показал руками размер этих окуней.

Ирина засмеялась, сказала, что когда они с мужем, Ильей Андреевичем, выезжали на дачу в Елизаветино и Илья Андреевич увлекался ловлей рыбы в небольшой красивой речке, то его добычей были совсем другие окуньки.

— Вот такие! — Она показала мизинец.

— Елизаветино! — подхватил Горчилич. — Дылицы! Чудесные места. Имение княгини Трубецкой. Дом какой! Парк! Да, приходилось бывать, приходилось. Еще когда я был юнкером, там, в Дылицах, держала дачу семья одного из моих товарищей по училищу. Случалось, меня приглашали к ним провести свободное время. Но в тех местах нет порядочных рек, Ирина Владимировна. Вашему мужу не повезло. — Горчилич окинул Ирину быстрым взглядом. — Странно звучат эти слова: ваш муж. Муж! Вы так молоды, что невозможно представить себе вас замужней. Нет, нет, не думайте!.. — воскликнул он, увидев выражение досады на Ирининой лице. — Никаких пошлых офицерских излияний не будет. Я вам сейчас все скажу, скажу, зачем, почему, для чего пришел к вам. Думаете, я не вижу, как заботит и угнетает вас этот вопрос? Вижу. Вот что, Ирина Владимировна... — Не спрашивая разрешения, он закурил папиросу. — Вы помните Кубанцева?

— Да, конечно.

— Очень прошу вас не иметь с ним никаких дел. Очень. Это жандарм, я говорил, кажется. Он способен на все. Я уже вручил вам свою жизнь однажды, открыв тайну нашей организации. Не буду и сегодня ничего скрывать от вас, я верю вам. Я хочу вам верить, мне это необходимо, иначе я тоже погрязну в трясине заговоров и нечистоплотных деяний.

Он волновался, Ирина видела, чувствовала это. Она положила свою ладонь на его руку:

— Ну, пожалуйста, успокойтесь. Ну что вы так, Георгий Константинович. Пожалуйста.

— На Петроград со всех сторон наступают наши войска,— продолжал несколько спокойнее Горчилич.— Близок час, когда большевики отсюда побегут. Это несомненно. Северный корпус. Финны. Эстонцы. Английская эскадра на Балтике. Да, да. Вопрос решен. Но я не сомневаюсь, что большевики в этих гибельных для себя условиях начнут предсмертно зверствовать. И такие, как Кубанцев, замечутся под их чекистскими ударами. Будут проваливаться наши конспиративные квартиры, явки, тайники. Кубанцевы, хватаясь за соломинку, могут погубить честных, ни к чему не причастных людей. Не впускайте к себе Кубанцева, не давайте ему скрываться у себя, не позволяйте что-нибудь прятать в вашей квартире. Из-за репутации вашего мужа — она у большевиков вне всяких подозрений — кубанцевы непременно захотят этим воспользоваться. Вы понимаете меня?

Ирина ощущала, как с каждым его словом она все глубже погружается в цепенящий холод страха. Сказать или не сказать Горчиличу, что у нее на антресолях уже лежит что-то кубанцевское?

А Горчилич продолжал:

— Я потому заглянул к вам и только за этим пришел, что Кубанцев уже хвастался своим посещением вашей квартиры.

— Да, да, он здесь был.

— Ему только бы палец в рот, он доберется до всей руки. Мертвая хватка. Жандармский бульдог. Он знает приемы мгновенного умерщвления человека. Он знает, как через непереносимые мучения получить от человека полное признание в том, чего человек никогда не совершал. Бойтесь этой гадины, Ирина Владимировна.

— Но... но...— У Ирины не хватало дыхания.— Но почему же,— почти выкрикнула она,— почему вы, ваша организация, связываетесь с такими?

— А потому, что мы все за два послефевральских года до омерзения опустились в нашей морали. Мы готовы целоваться с жабой, лишь бы жаба тоже боролась против большевиков. Вы посмотрите: мы были правоверными монархистами, свято блюдя присягу царю. Сегодня мы сидим за одним столом с теми, кто вчера был царю заклятым врагом,— с бомбистами, социал-революционерами. Мыслимо ли? Все перемешалось: эсеры, кадеты, анархисты, монархисты... Ирина Владимировна, может ли быть съедобной кашa из толченого стекла, пуха, пе-

рьев, обрезков жести, извините, из навоза и всякой тухлятины со свалки? Вот что такое сейчас мы, борющиеся за возрождение России «единой и неделимой».

— Но вы же только что сказали: вот-вот большевики побегут, вот-вот от них будет очищен Петроград.

— Одно другому не противоречит. Да. Так и будет. Нам помогут страны Антанты. Это они двинули Северный корпус в наступление. Мы-то и по сей день все еще митинговали бы. Без организованности европейцев, без их деловитости разве мы что-нибудь можем?

В дверь позвонили тройным условным звонком.

— Это муж! — Ирина слегка побледнела. — Почему-то так рано. Необычное время. Третий час. Но в окно прыгать не надо. — Она вновь усадила в кресло поднявшегося было Горчилича. — И черным ходом убегать не стоит. Сидите.

Она пошла отмыкать задвижки, поспешно придумывая, как бы объяснить присутствие в их квартире незнакомого Илье гостя и кем бы его назвать.

Илья вошел возбужденный, оживленный.

— Знаешь, Иринушка, а я на днях уезжаю. Под нашим Петроградом идут сильнейшие бои. Белые подорвали несколько мостов на Балтийской и на Варшавской дорогах. Надо очень срочно восстановить.

Ирина сделала знак: тише — и кивком указала на дверь в гостиную.

— А за ремонт кораблей Петроградский Совет и военное ведомство мне благодарность объявили. Корабли вступили в строй,— продолжал Илья, шепча ей в ухо.

— У нас гость,— сказала она громко, радуясь наконец-то явившейся спасительной мысли, и распахнула дверь в гостиную. — Знакомься, Илюша. Это Георгий Константинович. Он из Новгорода. Земляк нашей прислуги Саньки. Пришел по ее просьбе передать поклон. Видишь, какая она добрая девушка.

— Да, да. Санька! Она хорошо устроилась,— забормотал Горчилич, поставленный Ириной в сложное положение.

Но выручил всех сам Илья.

— Новгород? Заповедник русской старины. Бывал там, бывал. Начали мы большой новый мост строить...

— Возле Юрьева монастыря! — подхватил Горчилич. — Стоят только быки посреди Волхова, и высоченная насыпь вид на озеро загораживает. У тех быков,

кстати... мне Ирина Владимировна рассказывала о вашем увлечении... преогромнейшие бычки водятся. На донную удочку надо ловить. Вершка по четыре, знаете. А то и больше. Приезжайте, Илья Андреевич. Рады будем, так рады.

— Э, милый мой Георгий Константинович! Совсем в другие места ехать я должен. Эти мерзавцы — генерал Родзянко с Юденичем, которые уже захватили Гдов и Ямбург и, если не ошибаюсь, Псков, безобразничают на дорогах. Как только мы их начинаем контратаковать и оттесняем, рвут перед нами мосты. А мы, мне сказали сегодня знающие люди, уже даем им на некоторых участках изрядно по губам.

— Илья,— у Ирины дыхания не стало совсем,— я соберу на стол? Может быть, попьем чаю?

Только тут она поняла, в какое чудовищное положение поставила Илью, своего мужа. Тому, кто враг Советской власти, которой с увлечением служит Илья, он раскрывает, выдает тайны защитников Петрограда. Если об этом узнает ЧК, Илья будет расстрелян как шпион, как враг, как пособник врага. Он погибнет по ее, Ирининой, вине. Никто другой, только она одна будет виновницей его трагической смерти. Два непримиримых врага легкомысленно сведены ею под одной крышей. Причем один из них, Горчилич, все знает о другом, а другой же, Илья, ничего не знает о ее госте. Илья в глупом, нелепом, смешном положении. И сделала все это она, она и только она.

— Илья,— позвала Ирина,— мне тебя надо на минутку. Помоги мне, пожалуйста. — Когда они вошли в кухню, она обняла его за шею. — Илюша, ну что ты так обо всем открыто говоришь, родной! Он же все-таки неизвестный нам человек. Кто его знает, с кем общается, с кем встречается. Главное, не говори ничего о Павле.

— О! Ты молодец,— согласился Илья. — Верно. Болтаю лишку. Сейчас везде призывы: берегись шпионов! Мы ему, не волнуйся, вкрутим очки. Георгий Константинович! — Он возвратился в гостиную. — Вы не играете в шахматы? Чудесно! Попьем чайку. Он немудрящий, конечно. Брандахлыст. Но все же согревает желудок. А когда в желудке тепло, то и весь организм в приятном состоянии. Так вот, попьем и сыграем. У меня превосходные шахматы. Редкой восточной работы. Чуть ли не персидской. Может быть, даже индийской. Тесть подарил, в день свадьбы. Очень дорогая, сказал, штука. У него

качество определялось только одной ценой. Брюллов? — сколько стоит? Суриков? — назови сумму в рублях.

Горчилич не знал, как быть ему с этим радушным, говорливым хозяином дома. Уйти? Не странно ли будет: пока хозяина не было, сидел, любезничал с хозяйкой, появился хозяин — бежит. Сидеть — это явно угнетает хозяйку. И все-таки, не находя ответа на свои сомнения, он сидел.

Когда принялись за чай с коврижками, испеченными Ириной из кофейной гущи,— причем гуща была из ячменно-желудевого кофе, так как настоящего уже давно не было, пропал Хамелайнен,— Илья, попивая пахучий настой, радостно нахваливал:

— Листья мяты завариваем. Приятно, правда? К тому же все боли и неприятности во внутренностях удаляет. Старинное народное средство. Ездил в Ораниенбаум, нарвал в одном огороде. Большой пучок. Как веник.

Горчилич отмалчивался. Он не мог ни о чем выспрашивать мужа Ирины Владимировны. Это было бы откровенным предательством, в ее глазах он выглядел бы последним подлецом.

Илья говорил о каких-то необыкновенных народных напитках, сожалел, что в доме нет ни глотка чего-либо более крепкого, чем мятная бурда. Вспомнил ресторан Соколова, где гуляли его свадьбу с Ириной. Какие-де там подавались водки. И с тмином, и анисовые, и с перцем, и с полынью. На любой вкус.

Ирина обрадовалась тому, что разговор ответвился в сторону от острых, опасных тем, принесла альбом, в который из книги именитых гостей и даже со стен она переписывала в ресторане Соколова интересные надписи.

— Там постоянно бывали господа Аверченко, Арцыбашев,— говорила она, раскрывая перед Горчиличем то одну, то другую надпись. — Удивительно! Такие знаменитые люди, а вели себя просто-просто! Иван Сергеевич Соколов рассказывал моему папе, что Арцыбашев часами игрывал у него на бильярде. Следом за ним в ресторан приходили толпы поклонников, литераторов, издателей. Иван Сергеевич говорил, что готов его кормить и поить бесплатно,— он составляет ресторану широкую рекламу. Или вот писатель Куприн. Мы сами за ним с Ильей Андреевичем однажды наблюдали.

— Да, было, было,— кивнул Илья. — Сидел он тогда

в углу литераторской залы, это было его постоянное место. Вокруг собралось много остряков и зубоскалов.

— А он молчал,— продолжала Ирина,— всматривался во всех такими изучающими, общупывающими глазами и вместе с тем совершенно отсутствующими, будто был далеко-далеко. Может быть, в Крыму, в Одессе, в Финляндии. Рассказывали, что он был большим охотником неожиданных поездок. Сидит, сидит, схватится за карту России и укатит назавтра в Балаклаву или в Житомир. Но если рассказчики вокруг него собирались хорошие, интересные и рассказывали не анекдоты, а случаи из жизни, он слушал со вниманием. Мы видели как раз такой момент. Положил подбородок на ладонь, прищурился и так слушал, что я сказала Илье Андреевичу: непременно напишет новый рассказ. Или еще были там разные поэты. Мы видели их: Игорь Северянин, Константин Олимпов, Грааль Арельский...

— Игоря Северянина знаю,— сказал Горчилич.— А этих, Олимпова да Арельского... Что-то не слыхивал о таких.

— Они — поэты оригинальничающие. У них еще была «Академия эгопоэзии», я читала про нее в «Синем журнале».

— А в этой «академии» не состоял часом поэт Лужанин?

Ирина быстро взглянула на Горчилича, не начнет ли он опасного разговора. Но Горчилич ограничился только этим вопросом.

— Состоял,— ответила она.— Один из наишумнейших. У нас где-то валяется множество брошюрок их «академии». Эти «академики» выпускали брошюрки по нескольку страничек, с крикливыми названиями. Их бесплатно рассовывали в почтовые ящики, раскладывали по столам в редакциях газет и журналов. Настойчивые поэты заставили заговорить о себе всю прессу. Они заглушали всех других. Уже никого не стало. Ни Пушкина, ни Некрасова, ни Лермонтова. Одни Олимпов да Арельский с Лужаниным. Еще к ним присоединилась какая-то Жозефина Лемье. Газеты кричали об эгофутуристах во все горло: «Константин Олимпов носит воротнички номер тридцать семь!», «Арельский живет на даче в Шувалове!» Может быть, помните, за несколько лет до войны появилась газета — «Петербургский глашатай»? Это была их газета. Этих поэтов.

— А есть у вас что-нибудь из их сочинений? — поинтересовался Горчилич, раздумывая о том, что теперь-то совсем пора уходить, но вот удастся ли уйти, или хозяин заставит его еще и играть в шахматы.

Ирина полистала свои альбомчики.

— Это образец поэзии Олимпова. Послушайте.

Она стала читать:

Тройка в тройке колокольной,
Громко, звонко пьяной тройке.
Колокольни колокольней
Колокольчик бойкой тройки.
В тройке тройка, пой, как тройка,
Звонко, громко, пьяно, тройко.
Колокольчик колокольный
Колокольни колокольней...
Колокольчик звонче тройки,
Колокольня, колокольня,
Тройка тройкой колокольней.
В тройке тройка пьяной тройки.

— Уф! — сказал Илья. — Грандиозно! Как были бы посрамлены Пушкин с Лермонтовым, доживи они до этих эго... кого?

— Эгофутуристов. Вселенских футуристов.

— Одного из них я знаю. Хорошо знаю,— сказал Горчилич. — Не случайно я помянул Вадима Лужанина. Через своих знакомых его знаю. Через петербургских. Я-то сам новгородский,— спохватился он. — Когда-то Лужанин писал такие же колокольные стишки. Баловался юноша. Ну, немножко «эго», чего там! — посмеивались над ним. Сейчас он научился стрелять из нагана.

Мы пройдем по земле ураганом.
Кровью черной Россию зальем,—

вспомнила Ирина страшный вечер на Фонарном переулке, страшных, пьяных людей, страшные стихи и страшное лицо Лужанина.

— Смотря в кого стрелять из нагана,— откликнулся на слова Горчилича Илья. — Сейчас такое время, такие дни — женщины берутся за винтовки. Петроград действительно же в большой опасности. Это будет катастрофой, если мы его потеряем. Но я думаю, Москва не допустит. Павел сказал... — Илья поперхнулся лепешкой, состряпанной Ириной, и никак не мог прокашляться. Он спохватился, что болтанул такое, о чем даже заикаться было нельзя, и не знал, как же быть дальше — кашлял да кашлял.

Ирина ударила Илью несколько раз по спине, выручая его, и сказала Горчиличу:

— Отец Павел — это наш знакомый батюшка. Он иногда приходит играть с мужем в шахматы.

— Так что же сказал батюшка? — спросил заинтересованно Горчилич, почувствовав ненатуральность этой сцены и этого объяснения.

— Он сказал,— Илья продохнул наконец,— что если бог не допустит, свинья не съест.

— Остроумный священнослужитель. Ну, спасибо за гостеприимство. — Горчилич встал. — Что ж, расскажу Феньке...

— Саньке! — крикнула Ирина почти в отчаянии.

— Тьфу! — сказал с досадой Горчилич. — Всегда путаю. У них в семье ее в шутку называют сдвоенно: Санька-Фенька. Расскажу ей, как мы провели сегодня вечер. Будет очень рада.

Он ушел. Ирина прислушивалась к его шагам на лестнице.

— Что за тип? — спросил Илья недовольно, когда шаги затихли совсем. — Почему ты его как бы и опасаешься и в то же время вроде бы лебезишь перед ним? — Он был необычно серьезен.

— А ты болтун, ты невозможный болтун! — перешла в наступление Ирина. — Ну зачем, зачем о Павле!.. Я же тебя предупредила.

— А вот и надо все сказать об этом типе Павлу.

— Зачем? Мы не знаем ни его адреса, ни одного человека, кто бы его знал, был бы как-то с ним связан. Случайный приезжий.

— Если он из Новгорода, там, в Новгороде, его и найдут.

— А зачем искать? Что он сделал?

— Что? А то, что перепутал, как зовут эту Саньку,— раз. Нисколько не поверил в твоего «отца Павла» — два. Человек с чистой душой должен был поверить. Он не поверил.

Ирина с трудом успокоила непривычно разошедшегося Илью.

— Милый мой,— говорила она, обнимая его,— это все пустяки. Меня тревожит, волнует другое — что ты хочешь уехать куда-то. И надолго?

— Не знаю, Иринушка. Не очень, наверно. Оно и не

так-то далеко. Сотня верст — самое большое. Я постараюсь ремонтировать мосты как можно быстрее.

— Не знаю, не знаю... — отчаивалась Ирина. — Мне будет трудно без тебя, Илюша, очень трудно.

— Мне тоже, дружок.

— Мне труднее, все равно труднее. Как ты не понимаешь?

Илья заставил ее с ногами взобраться к нему на колени, обнял, как обнимают малых ребят, начал покачивать, убаюкивать. Ирина прижалась щекой к его груди. Так было хорошо в его руках, спокойно, все темное отступало. Но она знала, что состояние это лишь на минуту, на десять минут. Стоит сойти с колен Ильи, и грозная, злая действительность, в которой все больше запутывалась Ирина, вновь встанет перед нею во весь свой беспредельный рост. У той действительности почему-то было отчетливо различимое лицо — белесое, ухмыляющееся лицо переодетого жандарма Кубанцева.

22

Телеги, грохоча и подбрасываясь, катились по разбитой лесной дороге. Молодая, просвеченная солнцем зелень покрывала березы, осины, ольхи, всю землю под ними, склоны насыпи железнодорожного полотна, временами видного среди кустов и деревьев. Посвежели, стали сочнее и гуще кроны сосен; бронзовые среди осин и ольх поскрипывали на ветру их столетние стволы.

Осокин во всю грудь дышал радостными запахами отмякшего, отошедшего от зимних стуж весеннего леса. Птичьего ликующего хора не могли заглушить даже колеса четырех крестьянских телег, следовавших за лакированной на мягких рессорах коляской, которую резво несла впереди пара серых в яблоках, похрапывающих коней.

В коляске, пригнанной из Нарвы, направлялся в свое имение один из ближайших родственников его прежнего владельца, недавно умершего в Петрограде барона Тизенгаузена,— тоже барон, и тоже Тизенгаузен. С ним была крупнотелая дама в широкополой, закрывающей лицо от солнца, обшитой серыми кружевами шляпе.

В телеге, которая едва поспевала за коляской, развалясь на подостланном сене, пожевывая сухие травинки,

ехали два поручика: один — из ямбургской комендатуры, другой — командир того взвода, где состоял рядовым солдатом Осокин. В трех остальных телегах, растянувшихся следом по трудной, колдобистой дороге на добрых пол-версты, трясся и сам этот взвод — двенадцать солдат, включая Осокина, его спасителей и знакомцев Егора Козлова и Степана Озерова да еще и отвратительного Осокину бандюгу Митьку Жильцова с его неизменным ножом у пояса.

У Осокина от тряски уже болело во внутренностях. Перевесив ноги через грядку телеги, он придерживал руками живот, чтобы утишить боль, не дать утробе окончательно вывернуться наружу. Но еще больнее было ему, члену большевистской партии, видеть, как быстро вернулось то, что, казалось, навсегда было сметено в семнадцатом году. Уже вот и коляска, и барин с барыней — землевладельцы, помещики, и согнанные из деревень мужички с подводами для отбывания барщины, которая, как ее ни называй по-иному, все равно так и есть барщина. Вчера мужички эти хаживали в волостной Совет, выправляли бумаги на землю, отнятую у барина и поделенную Советской властью между ними, а сегодня они же везут в свою деревню белых солдат, чтобы с помощью солдатских штыков барин мог вновь вступить в свои родовые владения. Сколько же, значит, было еще недоделано, недостроено, непереустроено, если так быстро могло вернуться старое, о котором говорили, что оно отжившее, сгнившее, смердящее.

О предстоящей экспедиции взводу объявили с вечера. «В случае чего,— сказал перед строем их командир поручик Попов,— если, допустим, красное мужичье вздумает шалить — немедленно приклад, штык, пуля!» Наконец-то в руках Осокина была не деревяга с железиной, какую представляла собой винтовка, не снабженная патронами. Это уже было боевое оружие, потому что каждому солдату, и Осокину в том числе, выдали по пять обойм патронов, по целых двадцать пять штук. И хотя Осокин понятия не имел, где там, впереди, проходит линия фронта, каких мест достигли белые, на каких рубежах сопротивляются красные, решение его было твердым — бежать, пробиваться к своим. Какой смысл ожидать боя? Винтовка есть? Есть. Патроны есть? Есть. Вокруг лес, буреломы, болота. В них можно исчезнуть так, что никто и не заметит, не хватится.

Осокин посматривал на Козлова с Озеровым — приглашать их в товарищи или нет? Оба уже доказали, что мужики они хорошие, очень хорошие, верные, с ними втроем было бы в пути легче, безопасней, чем в одиночку. Но согласятся ли? Все-таки риск, все-таки дело петлей пахнет и наверняка ею и кончится, если побег сорвется и всех поймают.

Коляска и телеги катились вдоль железнодорожного полотна. Не останавливаясь, миновали они лесной полустанок, и за ним все увидели на путях разбитый, исковерканный взрывом паровоз.

— Это что же, не знаешь? — спросил Осокин у возницы, подхлестывающего лошадь кнутом.

— Как что? Паровик, известно.

— А кто его так?

— Бой был. Которые от Ямбурга отступали...

— Красные, что ли?

— А я не знаю. Одно мы видели — отходят. На выручку к ним броневой поезд подошел. И ну лупить по тем, которые от Ямбурга наступают.

— Белые?

— Говорю ж, не знаю. Видели мы только, кто в какую сторону двигался, и все. Лупит, значит, бронированный поезд из пушек по тем, которые из Ямбурга наступают, головы поднять им не дает. Тогда в этом паровозе — он в Ямбурге на путях стоял — развели пару поболе да и подхлестнули его без машиниста на полный ход, прямо в грудь броневому поезду. А броневой поезд как даст, как даст встречь паровозу из пушек. И расколошматил его.

— А как полустанок-то называется? — Осокин не без удовольствия рассматривал работу красных артиллеристов. Паровоз, который белые решили использовать как таран, как сухопутную торпеду против одного из питерских бронепоездов, был изорван в клочья точными ударами снарядов. Осокин радовался за своих.

— Полустанок-то? — услышал он в ответ. — А Тикопись ему название, Тикопись.

Только поздно вечером добрались до бывшего имения барона Тизенгаузена. В свете северной ночи Осокин узнал каменный коровник, в котором две недели назад решалась его судьба — жить или не жить, и где ему так вовремя удалось спрятать под дощатый настил коровьего стойла чекистские документы. Если они целы, он боль-

ше здесь их не оставит. Это было совсем хорошо, это было добрым предзнаменованием для благополучного побега.

Поместили их на ночлег в нижнем этаже барского дома. От прежнего добра в нем не осталось ничего. В одной из комнат стояли сколоченный из неокрашенных досок стол, длинные деревянные скамьи да шкаф, закрытый на висячий ржавый замок. По стенам пестрели знакомые петроградские плакаты. Они были яркие, броские, зовущие. А один из них мог даже испугать тех, кто некрепок нервами. Изображался на нем как бы с птичьего полета весь Петроград: Нева, Адмиралтейство, Дворцовая площадь, Исаакий, Невский и Вознесенский проспекты, Гороховая... И над ними шестиногая, огромная, с охватистыми челюстями пучеглазая гадина. Написано было тревожно, с восклицательным знаком: «Вошь над Петроградом!» Плакат призывал бороться с разносчицей сыпного тифа.

Поручик Попов распорядился сорвать все плакаты и немедленно устраиваться на ночлег. Барон с баронессой поднялись на второй этаж, куда кучер стаскал из коляски их узлы и сундуки.

Солдаты попробовали было найти соломы или сена, но не нашли и стали расстилать на голом полу свои шинели. Оба офицера таким же образом принялись устраиваться в соседней комнате, размерами поменьше. Но их то и дело звали наверх. Барон учинял скандал за скандалом. Оказывается, он с баронессой тоже вынужден был ложиться на полу. «Все разворовано! — долетали до солдат его визгливые выкрики. — Пороть надо подлецов. Вернуть все немедленно!»

Поручик Попов расставил вокруг дома дозорных из солдат взвода и вернулся в свою комнату. Дверь затворялась неплотно, из нее были вывернуты ручки и замки, сквозь щели и скважины Осокин отчетливо слышал разговоры офицеров.

— Мать... мать... мать... — первое, что произнес там поручик Попов, стуча каблуком о пол, должно быть стаскивая тугой сапог. — Правы все-таки те, кто поразгонял этих бар из их гнезд. Сволочье недобитое.

— Поручик! — сказал офицер из комендатуры. — Крамола! — Но сказал он это тоном вялым и безразличным.

— Ну и мать... мать... мать... если и крамола. — Попов еще грохнул чем-то об пол, наверно, уронил кобуру с наганом.

Потом в дырьях дверей коротко помигал свет, и затем оттуда потянуло табачным дымом. Офицеры закурили.

— Вообще-то,— сказал представитель комендатуры,— нынешний помещик уже не помещик. Так, недоразумение...

— Но память о былом не дает им покоя,— ответил Попов. — Пыжатся. Эти вон, наверху, кудахчут: где кровати красного дерева, где оттоманки и канапе, обитые китайским шелком? Где, где, где? А хрен его знает где! Я вот, например, не знаю, где мои родители, не то что оттоманки!

— За своих родителей вы спросите с господ большевиков,— уверенно сказал собеседник Попова. — А барон за кровати и канапе законно хочет спросить с местных мужиков. Кто же другой? Это они, подлецы, все разворовали. Экспроприация экспроприаторов! Вот как это у них называется.

Осокин думал о том, в какую отвратительную историю его втянули сложившиеся обстоятельства. Может случиться завтра так, что его, большевика, ленинца, заставят пороть крестьян, тех самых, для которых, во имя которых он почти два года живет такой трудной жизнью. Это невозможно себе даже представить. Вот бы знали Павел Благовидов, или Ян Карлович, или отец с матерью, Валька. «Нет, мусульманин, верный измаилу, отступнику не выроет могилу»,— повторяясь и повторяясь в мозгу, привязалась к нему стихотворная фраза.

А те, за дверью, все говорили.

— В стародавние времена были помещики так помещики! — с ощутимым даже через дверь удовольствием восклицал представитель комендатуры. — Здесь, скажем, какой-нибудь Шереметев, а за десять верст от него какой-нибудь Строганов....

— Одни Притвицы здесь были, Тизенгаузены да Фан дер Флиты,— перебил Попов. — Прибалтийские губернии, серые бароны.

— Я обобщаю. Беру Россию в среднем. И вот сидит-сидит Шереметев-батюшка, скучает, значит, думает, чем бы поразвлечься. Сем-ка, думает, выпорю девок. Всю неделю хлопоты, вместе с управляющим батюшка отбирает подходящих девок, шлет соседу Строганову официальное приглашение: угощаю, мол, интересным зрелищем. Управляющий выдумывает девкам должную вину: не так

глянула, не так ступила, тарелку расколола, ягоду сорвала в барском саду — мало ли! В пятницу этих бедолажных трепух моют в бане с земляничным мылом, шелковые ленты им в волосы вплетают, духами опрыскивают. Ну а с утра сосед едет. Пожалуйста! Обед, возлияния и так далее. А на десерт идут оба — хозяин и гость — в сенной сарай. Там уже лавка установлена, прутья приготовлены, в квасу вымоченные. И начинается. Одну, значит, раскладывают, задирают рубашонку, другую. Экзекуторам наказ дан — не больно-то стараться, не в розгах дело... — Представитель комендатуры засмеялся, и слышно было, как заворочался на полу.

Осокин понимал, что самому этому сукину сыну понравилась картинка, которую он так старательно разрисовывал перед поручиком Поповым. Рассказчик сам бы жаждал быть на месте Шереметевых и Строгановых, да вот вместо этого валяется на грязном полу конторы, устроенной крестьянами в доме барона Тизенгаузена.

— А следующей субботой уже Строганов приглашает Шереметева. Теперь, мол, он угощает соседа. Умели жить, а?

Попов не ответил, должно быть, уже уснул.

Осокин мучился мыслью, как же ему выручить свои документы и как урвать минуту, чтобы поговорить с Козловым и Озёровым. Спалось от этого плохо: вздрогнув с чего-то, он просыпался, или получалось так, что и сон вроде видится, и вместе с тем и светлая ночь за окнами ощутима, и солдаты, раскинувшиеся на полу, с их могучим храпом. Позевывав так часа три, не выдержал, поднялся, вышел на крыльцо. На патронном ящике под старой липой сидел Митька Жильцов. Винтовка у него была положена поперек колен, тяжело нависла над нею большая, сонная Митькина башка.

Осокин шагнул за угол дома, в кусты сирени — мало ли зачем туда надо было солдату, и, не топая, не суетясь, не переходя на галоп, пошел к коровнику. Были еще где-то два дозорных. Но те не страшны. Осокин опасался одного этого Митьки.

Коровник по-прежнему пустовал. Пятна крови на торцовой его стене побурели и при сумеречном свете северной ночи казались почти черными. Отворачиваясь от них, Осокин кинулся к настилу, к тому месту, где лежал он тогда, и в нетерпении сунул руку под доску. Клеенчатый пакетик был на месте. Но что с ним делать: взять его уже

сейчас или же это небезопасно? Мало ли что может произойти утром и днем. А если оставить до минуты побега, то будет ли тогда возможность вернуться, забежать сюда? Ян Карлович, что делать? Как будет вернее, правильней?

Вокруг было тихо, лишь в парке, похожем на лес, перед близким восходом солнца запевали птицы.

Осокин решил взять свой пакетик. Он развернул его, осмотрел партийный билет, удостоверение чекиста и мандат, которым все организации и все должностные лица обязывались оказывать оперативному работнику К. Осокину всевозможное содействие в его работе. Да, за такие бумаги с него бы с живого содрали кожу, если бы их нашли. И ничто пока не миновало, еще в любую минуту он может быть схвачен и отправлен в ямбургские застенки. Разве исключена возможность, что его опознает кто-либо из офицеров, из этих баронов, из всей той шушеры, с которой он имел дело в Петрограде и в немалой своей части поудиравшей в Финляндию да в Прибалтику?

Положив пакет в карман под кисет с махоркой, Осокин вернулся к дому. Когда он выходил из-за угла, раздвигая кусты сирени, Жильцов окликнул его:

— Кто идет?

— Свои, свои,— ответил Осокин, для натуральности поддергивая штаны.

— Дай закурить,— попросил Жильцов. Осокин отсыпал ему на ладонь большую щепоть махорки. — Не спишь? — сказал Жильцов, зевая. — А я вон не совладал — ткнулся лбом в затвор. Глянь, шишку набил.

Днем взвод поручика Попова обшаривал крестьянские дворы в окрестных селениях. Ходили вместе с солдатами и два мужика, в которых барон признал служащих своего родственника. Они с готовностью указывали, в какой двор заходить, а какой и миновать можно.

— Откуда корова? — спрашивал поручик Попов, заглядывая в очередной хлев.

Крестьянин с крестьянкой молчали. Попов прикладывал руку к кобуре.

— Откуда ж, касатик! — вскрикивала крестьянка, понимая, что означает этот жест. — Власть дала, власть. Не сами же взяли.

— Что еще за власть?— вступал в разговор представитель ямбургской комендатуры. — Краснопузых за власть считаете? Ну?

Мужик мялся, баба ревела в голос.

— Чтоб через час корова была на месте, во дворе ее законного владельца, барона Тизенгаузена,— выносил решение поручик Попов. — Записать! — приказывал он бывшим служащим барона.— А тебя,— говорил он мужику,— придется выпороть. Чтобы понимал, где власть законная, а где узурпаторская. Добровольно явишься завтра к восьми утра на усадьбу. Вздумаешь уклоняться — избу спалим и самого вон на ту березу вздернем. Кто сажал-то? Поди еще твой дед. Вот и пригодится для его строптивого внука. Распустились, мерзавцы!

— Это что за стул? — начинался допрос в следующем доме.

— Из столового гарнитура господина барона,— докладывали добровольные фискалы, бывшие служащие имения.

— Чтоб был стул отнесен на усадьбу в целости и сохранности. Сроку — один час.

В третьем доме обнаруживался плуг баронский. В четвертом — веялка. Потом еще корова, третья, десятая... Стулья, столы, зеркала...

— Грабители вы, разбойники! — орал представитель комендатуры, когда в одной из деревень после обхода и сбыска дворов согнали крестьян на площадь перед церковью. — По решению законных властей у вас будет работать особая следственная комиссия. Она определит вину каждого из вас. Ни одно преступление не останется без наказания. В этом залог прочности и устойчивости всякого строя, всякой власти.

Крестьяне угрюмо смотрели из-под шапок. Среди них были разные. Были и такие, которые ждали прихода белых. Но не так представлялся им этот приход. Чаялось мужичкам, что ударят по-пасхальному колокола в церквах Ястребинской волости, выйдут певчие на дорогу, крестные ходы двинутся навстречу освободительному воинству. А воинство пришествует на белых пляшущих конях, с медной музыкой, со знаменами, хоругвями.

А тут одно эти замухрастые офицерики заладили: под розги да на березу тебя. Чего пужают, и без них жить страшно!

Вечером поручик Попов выстроил взвод и объявил:

— Нам тут дела не меньше чем на неделю. Устроиться

надо поосновательней. Говорят, если поискать, можно найти сено, солому, парусину или холсты. Пошевелитесь, братцы мои, сами раздобудьте, что надобно, сделайте сносные постели.

Крестьяне тем временем тащили в баронский дом разрозненную, пощербленную, облинявшую мебель, расставляли ее где попало и как попало. Барон с баронессой при виде каждой вещи ужасались:

— Неслыханно! Невиданно! Как все опоганили, варвары проклятые!

Осокин понял, что лучшего момента, чем этот, когда солдатам разрешено позаботиться о постелях, больше может и не быть.

— Эй, ребята! — окликнул он Козлова с Озеровым. — Пойдем-ка и мы за соломкой.

— Винтовок не оставлять! — крикнул поручик Попов. — При себе держите. Мали ли что!.. — Он помахал в сторону Гатчины, откуда доносился глухой, тяжелый гул артиллерии. — Не в летних лагерях в мирное время.

Пошли было на поиск втроем. Но увязался за ними и Митька Жильцов.

— А я тоже с вами.

Что было делать? Не скажешь же ему: «Поди прочь, паскуда, отстань, твое общество отвратительно» — или еще что-нибудь подобное.

Молча прошли мимо коровника, пересекли поле, на котором зеленели озимые. Сеяли их крестьяне для себя, но убирать будут для помещика-барона, если красные не вышибут отсюда белых. Вступили в кустарник.

— Тут должны быть стога,— сказал Осокин. — Крестьяне всегда косят на лесных полянах.

— А может, вернуться? — сказал Жильцов. — К ночи дело. Небезопасно.

— Вот баба, ночи испугался! — Осокин плюнул с пренебрежением. — А винтовки у нас на что?

Шли и шли, все глубже забираясь в лес. Осокину казалось, что и без разговоров два его товарища понимают, для чего он затеял этот дальний поход, и согласны с ним. Они весело шагали по непросохшей весенней земле. Козлов сказал:

— Солнце вон куда садится, за наши спины. Значит, мы что, на восток идем?

— Должно, так,— отозвался Озеров. — Не заплутать бы.

— Вернемся, а? — снова начал Жильцов. — Никаких стогов тут нет и не было. Коровы-то голодные по деревням стоят. Если бы свежая трава не пошла, сдохли бы.

— Хочешь, возвертайся,— ответил ему Озеров. — А нам не к спеху.

Осокин прикинул, сколько они прошли. Версты уже три, наверно, имение далеко позади. Вокруг лес и лес, редкие поляны, густое мелколесье, подлесок. Дорог нет, только людские тропы. Можно бы уже и концы рвать, как говорил один знакомый матрос с буксира у них на верфи. Но что делать с Жильцовым? Трудную загадку загадывала Осокину жизнь.

— Вот что,— сказал вдруг Жильцов, останавливаясь,— или мы возвращаемся вместе, или я пойду один.

— Иди,— спокойно ответил Озеров. — Иди. Тебя никто не звал. Никто и не держит.

Жильцов окинул всех троих понимающим взглядом, усмехнулся:

— Ладно. Пойду один.

Он постоял, поежился плечами, повернулся и пошел в ту сторону, где садилось солнце.

«Нельзя, нельзя, чтоб он ушел,— забеспокоился Осокин. — Никак нельзя. Он же, этот подлюга, не смолчит. Все расскажет. Пошлют погоню...»

— Жильцов! — крикнул он вслед. — Слышь, Жильцов!

Тот остановился.

— Чего тебе? — И снял винтовку с ремня.

— Правду тебе скажу, Жильцов. Мы уходим. Пойдем с нами, слышь? — Осокин ощущал, как сердце его все больше волновалось, все сильнее стучало под распахнутой шинелью. Надвигалась, подходила какая-то очень важная минута, которая решит все.

— Куда же? — спросил Жильцов. — Куда ты зовешь, Алехин? К красным?

— К красным.

Жильцов передернул затвор винтовки, загнав патрон в патронник.

— А мне это ни к чему. Я у них ничего не оставил. Не тронь меня. Пойду я. — Не опуская ствола, держа па-

лец на спуске, он стал медленно пятиться под защиту кустов калины.

От того, уйдет он или не уйдет, зависела жизнь троих человек. Осокин тоже медленно снял с плеча и положил на руку винтовку.

— Жильцов, тебе говорю, в последний раз говорю: не смеешь уходить. Стрелять буду.

— Попробуй только. — Жильцов был уже в двух шагах от калины. Прыгнет сейчас за нее и скроется в гущине — там его ни пулей, ничем не достанешь.

— Раз! — крикнул Осокин. — Два! — Вскинул винтовку, и вместо команды «три» ударил гулкий, раскатистый в лесу выстрел.

Жильцов упал.

— Ребята! — Осокин растерянно обернулся к своим спутникам.

Те стояли позади него, винтовки у обоих тоже на руке, оба побледневшие, серьезные.

— Не переживай, Алехин, — сказал Озеров. — Что же еще можно было сделать? Или ты его, или он тебя.

А деловитый Козлов пошагал туда, где лежал Жильцов. Опустился над ним, ощупал всего, прижал ухо к груди, послушал.

— Мертвый.

Взял из рук покойника винтовку, вытащил из подсумка обоймы с патронами, вернулся.

— Теперь пошли. Куда идти-то, Алехин?

Сердце не успокаивалось, стучало. Осокину слышался и слышался голос Козлова: «Мертвый». Жильцов был первым человеком, которого собственноручно лишил жизни он, Костя Осокин, рабочий парень с путиловской верфи, житель окраинной петроградской улочки, имя которой — Счастливая. Нет, это было не просто, очень не просто — решиться убить. Но другой дороги не было. Как прав Ян Карлович, как прав! Две враждебные силы живут на одной земле, обе эту землю считают своей, только своей, ни одна другой не уступит ее добровольно, и каждый раз при столкновении этих сил будет только так, только так, как получилось сегодня между ним, Осокиным и Жильцовым. И только потому, что Осокин на мгновение опередил Жильцова, не он валяется на этой мокрой земле, а Жильцов. Но могло быть и иначе, и кто знает, может статься, еще и будет иначе.

23

В полдень, едва отшумел короткий майский дождь и обмытые им булыжники слепяще засверкали под солнцем, в деревянных улочках Пскова из сотен прокуренных, проспиртованных самогоном глоток рванулась к голубому небу лихая и грозная песня, которая была знакома псковичам еще с недавней осени восемнадцатого:

Как ныне сбирается вещий Олег...

Густо цокали по булыжникам кованые копыта растянувшейся в длинную колонну кавалерийской массы. Покачиваясь в седлах, конники пели не так чтобы дружно, но зато со смаком, с разбойничьим пугающим свистом. Толпы мальчишек и девчонок вприпрыжку, кто так, а кто и на гибких хворостинках, стараясь блюсти равнение с рядами конников, вихрящейся толчеей окружали колонну.

Одни эти ребятишки, пожалуй, и радовались появлению новых войск со стороны Гдовской дороги. Жителям Пскова были хорошо памятны повадки конников Булак-Балаховича, и, услышав их отрядную песню, кто тревожно закрестился перед иконами, кто, не мешкая, бросился прятать добришко в подполье, кто, растерянный, затворял распахнутые на дымную, парную после дождя улицу окна, из которых совсем недавно повынимали зимние рамы.

Но были и такие, кто надевал праздничный сюртук или драповое пальто, чтобы поприветствовать доблестное белое воинство.

Никто бы не сказал, что подобных было много. Нет. Даже те, которые четыре дня назад радовались оттого, что белоэстонцы отогнали красных и заняли город, — даже и они встревожились при виде рыжих, буланых, гнедых, сивых и серых, плохо ухоженных коней, запрудивших главные городские улицы. В глазах обывателей средней зажиточности эстонцы были носителями европейского порядка, того самого, который основан на незыблемом уважении права частной собственности. А конники Балаховича — это же разгульная атаманщина; никто не ведает сегодня, что сотворят они завтра...

Сам Булак-Балахович гарцевал на рослом вороном коне. Он делал рукой направо и налево, отвечая на приветствия скопившихся на перекрестках любопытствующих зевак. Слева от него удерживал свою рыжую норовистую кобылу долговязый брат атамана Юзек. По правую же

руку находился адъютант Балаховича поручик Аксаков; поперек луки адъютант держал большой портфель из черной кожи с двумя медными замками; портфель тот вмещал в себя всю отрядную канцелярию. Чуть поодаль от главной троицы следовал штаб отряда — десятка полтора офицеров, разодетых кто в пехотное, кто в кавалерийское, а кто и в нечто среднее. А за штабниками — меж ними и первыми рядами отрядников — в длинном просторном интервале одна, отовсюду видная, эффектная, свободно держалась на чисто белом нервном коне красивая амазонка в тугих черных одеждах.

Обыватели шушукались: в минулый-де раз бабы при атамане не было. Кралю, значит, завел. Добра теперь не жди: начнутся поборы на наряды ей да на украшения.

Взирая на пеструю кавалькаду, лавочники, аптекари, льнопромышленники, чиновники в страхе и трепете думали о том, что вот уйдут с приходом Балаховича спокойные эстонцы, и разгуляется в древнем Пскове беззаконие, с пальбищей, свистопляской, непотребством.

Белоэстонская 2-я дивизия захватила Псков не потому совсем, что она располагала тяжелой артиллерией, что была вооружена и оснащена неизмеримо лучше красных, хотя и это, само собой, имело место. Но как во многих случаях, когда белые побеждали красных, одной из главных причин их побед было то, что в штабах у красных, среди командного состава красных частей сидели изменники — бывшие офицеры, матерые волки, прикинувшиеся образцово-дисциплинированными овечками.

При первом натиске эстонцев на Псков тотчас кто куда разбежался целый красный полк, только что присланный на пополнение. Его распустили по домам и по лесам командиры изменники. В открывшуюся брешь и прорвались оповещенные об этом эстонцы. В глубине красной обороны тем временем уже разбегались и резервные части, сигнал к бегству которым тоже подали военспецы, соответственным образом обработавшие своих подчиненных.

Бой за Псков по-настоящему вели большевики, их коммунистические отряды. Коммунисты упрямо сражались на подступах к городу, на его улицах, а затем медленно, с боями, отступали в сторону Острова, по пути все обрастая и обрастая новыми пополнениями коммунистов, превращаясь из отряда в боевую воинскую часть.

Балахович намеревался вступить в Псков если не раньше эстонцев, то, во всяком случае, и не позже их. Одновре-

менно. Но из его намерений ничего не получилось. Весь путь балаховцев от Гдова до Пскова прошел в непрерывных боях, в которых главной ударной силой красных неизменно были коммунистические отряды. Чтобы пройти сто верст, Балаховичу понадобилось девять трудных дней; отряд измотался, понес ощутимые потери и в людях и в конях.

Чтобы не омрачать радостной картины вступления конников в Псков, раненых балаховцев везли далеко позади конницы на телегах, на крестьянских клячонках мужики, которых согнали со всего Гдовского уезда.

Когда голова отряда — то есть Булак-Балахович с его штабом — достигла базарной площади, колокола Троицкого собора в Кремле, над рекой Великой, ударили во все их медные пасти. Навстречу конникам вышли священники в горящих золотым шитьем облачениях, выпорхнули уже взявшиеся откуда-то черносюртучные отцы города. Атаману были поднесены хлеб-соль на расшитом утиральнике знаменитого псковского льна. Говорились речи с дощатого, устланного коврами помоста.

Последним сказать слово псковичи попросили самого героя дня. Балахович взбежал на помост лихо, прыжками, придерживая шашку в дорогих, изукрашенных металлом и камнями ножнах. Туго затянутый в талии, он щипнул усы, сплюнул под ноги. «Наглотался в пути пылищи, — сказал стоящим в первых рядах. — Длинны и нелегки дороги военные».

— Люди! — крикнул затем в толпу чиновников, гимназистов и гимназисток, офицеров, солдат, всякого праздного народа. — Знайте, что скажу вам. Я воюю с большевиками не за царскую, не за помещичью Россию. К прошлому самодержавному угнетению обратного хода нет и не будет, если не предадут наш великий народ некоторые генералы. За что я, можете спросить. За новое Учредительное собрание, отвечу. Вот за что. Красные стоят под самым Псковом, рукой подать. У эстонцев не вышло отогнать их дальше. Кто же отгонит? Я отгоню. Я командую красными еще более, чем белыми. Они у меня здесь! — Балахович показал сжатый кулак. — Всем известно, что я не враг красноармейцам и всем насильно мобилизованным красным. Всем известно, что я их друг. И они в точности выполняют и будут выполнять приказы мои, а не своих комиссаров. У нас с вами будет демократический, народный порядок, почтенные горожане. Вы свободно бу-

дете решать сами, кого из тех, кто арестован или кто подозревается в преступлениях, карать, казнить, а кого помиловать.

Кое-кто из слушавших речь атамана обратил внимание на то, какие картинные позы принимает оратор, как лицедействует, с какой актерской доверительностью обращается к слушателям.

— Между прочим,— сказал один слушатель другому,— полгода назад он носил погоны ротмистра. Сегодня, глядите, уже полковник!

— Не будет никакой пощады только коммунистам и комиссарам! — продолжал Балахович. — Об их головах никто другой, один я самолично решать буду.

Под крики «ура», вырвавшиеся из нескольких пенстовых глоток, он закончил речь так:

— Вы мои дети, я ваш отец!

Балахович, амазонка в черном и весь его штаб удалились по направлению к губернаторскому дому, над крышей которого на флагштоке был поднят трехцветный российский флаг.

Утро следующего дня было солнечное, теплое. В стороне Торошина, через которое железнодорожный путь вел от Пскова на Петроград, бухали пушки красных. Снаряды не долетали до городских улиц, рвались в окраинных болотах и в песчаных карьерах. По улицам скакали группы балаховцев; они останавливались на перекрестках, чтобы прокричать на все четыре стороны:

— Эй, на Великолуцкую улицу! Эй, на Великолуцкую улицу! Батька всем приказывает.

К середине дня на улицах в центре города уже было довольно густо. Многих заинтересовало, зачем это горожан требует к себе «батька». Народ лущил семечки, шелуха шуршала под ногами на тротуарах и мостовой. Болтали кто о чем.

Затем начались приготовления, по которым нетрудно было догадаться, какие зрелища ожидали псковичей в тот день. Солдаты-балаховцы от одного фонарного столба на Великолуцкой к другому перетаскивали длинную лестницу, приставляли ее к столбу, один из них взбирался наверх и через железный кронштейн перекидывал веревку с петлей на конце.

Толпа загудела, зашумела, некоторые стали разбегаться в соседние улицы да и по домам. Но немало и осталось.

В послеобеденный час на Великолуцкую въехали

конники. На своем черном, вороном — Балахович. Рядом с ним, бок о бок, стремя в стремя — амазонка, следом — Юзек и адъютант Аксаков в выгоревшей офицерской фуражке, на фронтовой манер заломленной и помятой. За конниками подошли пешие отрядники с винтовками наперевес и в их окружении — пятеро оборванных измученных людей, кто в гимнастерках, кто в пиджаках, и все пятеро босые: обувь с них уже успели стянуть.

А позади — опять на конях — с полсотни кавалеристов.

У первого столба, оснащенного петлей, шествие остановилось. Прикладами в спину конвойные выпихнули парня лет двадцати пяти, перепуганного, с жалкими, умоляющими глазами. Его поставили под петлей, рядом с неизменной в таких случаях табуреткой. Парень, руки которого были связаны за спиной, забился, заметался, закричал: «Граждане, граждане! Да что же это такое! Спасите, граждане!» Его мечущаяся фигура отражалась в зеркальных стеклах магазина, над которым была вывеска: «Депо музыкальных инструментов Зильбера».

Один из конвойных стукнул парня прикладом по голове, парень качнулся и затих.

— Граждане! — сказал Булак-Балахович, выезжая вперед на коне. — Сейчас мы будем вершить суд суровый, но справедливый. Вместе с вами мы допросим этого взятого в плен красноармейца. Ну, отвечай! Коммунист? — Он повернулся к парню.

— Какой же я коммунист, господин хороший! — У парня подгибались ноги, он порывался плюхнуться на колени. Но конвоиры били его по ногам, чтобы он разогнул их, чтобы стоял прямо.

— А ведь у тебя в кармане нашли большевистский билет. Как понять это?

— Всех загоняли в большевики. Ну и меня. А теперь я... Какой я теперь большевик?

— Да, теперь ты полное дерьмо, и ничего больше. — Балахович говорил это с отеческим добродушием и, ухмыляясь, пощипывал ус. — И потому ты, друг ситный, дерьмо, что все вы такие, пашкодив, ответ достойный держать не умеете, без промедления кладете в штаны. Граждане! — Он повернул коня к толпе. — Если найдется кто, чтобы взять этого хлопца на поруки, кто примет на себя труд наставить его на путь истинный и свято соблюдать свое обязательство, я помилую преступника, хотя он есть истинный и тяжкий преступник, поскольку держал в кар-

мане своем большевистское удостоверение. Ну, кто, выходи, отзывайся!

Толпа молчала. Балахович подал знак плеткой. Парень завыл, его скрутили дюжие молодцы, надели петлю ему на шею. А дальше — табуретка, удар ногой. И кончено. Толпа замерла, потрясенная. Не слышно было ни слова. Только дыхание тяжелое и горячее.

— Следующий!

Процессия и зрители передвинулись ко второму столбу с петлей.

К табуретке — снова тычками прикладов — выпихнули еще более молодого парня, лет двадцати, а то и восемнадцати. Этот не кричал, только не хотел даваться палачам в руки, боролся с ними, толкая их то одним плечом, то другим, вывертывался. На нем в этой схватке разодрали рубаху, и тогда из-за пазухи поверх лохмотьев вывалился белый серебряный крестик на цепочке.

— Отставить! — рявкнул Балахович на отрядников. — Откуда у тебя крест, малый? — Он напирал конем на парня. — Кто тебе его повесил?

— Матка, кто же, когда на службу меня брали.

Балахович привстал на стременах, чтобы его было видно подальше, закрасовался, повысил голос.

— Знать, воистину верующая твоя матка! — сказал он так, чтобы вся толпа слышала. — Дошла ее материнская молитва до господа бога. Отпустить его! Ну, живо!

Толпа одобрительно загудела. Некоторые захлопали в ладоши. Парень, едва ему развязали руки, пробился меж людьми к боковой улице и понесся по ней хваткой рысью: как бы не передумали да не вернули к фонарю. Юзек свистнул вслед хлестнувшим по ушам разбойным свистом.

Балахович был доволен произведенным эффектом. Приложив руку к козырьку, под шум аплодисментов он направил коня к следующему столбу с петлей, уже к третьему. Приклады выпвырнули к табуретке человека лет сорока, обросшего, с кровоподтеками на лице. Одет он был в заношенный синий пиджак и косоворотку.

— Коммунист? — начались уже известные расспросы.

— Коммунист! — твердо ответил человек, подымая голову выше. Один глаз его заплыл кровью и не раскрывался.

Балахович как бы поразился твердости и ясности ответа.

— Чего ты так сразу-то? Петли, что ли, не боишься?

— Все ее боятся. И ты, живодер, когда придет твой час, не так нагло будешь вести себя перед нею.

— Что, что? — Балахович двинул коня прямо на человека в пиджаке. — Какие слова плетешь?

— Товарищи! — вскочив на табуретку, закричал смертник. — Слышите артиллерию у Торошина? Не сегодня-завтра вернутся наши, красные. И этот гад будет болтаться на этом же фонаре. Да здравствует коммуна! Да здра...

Юзек двумя пулями из нагана убил бесстрашного человека. Никто его не знал. Может, это был комиссар? Может, псковский коммунист-подпольщик?

— Нехорошо, Юзек! — сказал насупившийся Балахович. — Партизанствуешь. Надо все по порядку. Все-таки вы его подвесьте. — И он тронул коня к следующему столбу...

Началось страшное время. Что ни день — все новые и новые казни на Великолуцкой. Никогда не пустовали железные эти фонари. Трупы казненных висели по нескольку дней в назидание и в устрашение.

Но однажды был устроен спектакль иного содержания. Выставив стол прямо на тротуар перед занятым под штаб зданием, Балахович затеял запись добровольцев в свой отряд. Об этой записи кричали на перекрестках балаховцы, к ней же призывали и расклеенные по городу афиши.

Желающие нашлись. Уж больно завлекательные слухи ходили о веселой жизни балаховцев. Проходимцев тянуло в такую компанию. А были и неприкаянные, которые не знали, куда бы приткнуться. И те и другие шли к штабному дому, представали перед Балаховичем.

— Подходи! — приказывал он желающему записаться и, сидя в кресле за столом, разглядывал его в упор.

— Как твоя фамилия? Большевиков любишь?

— А кто их любит-то?

— Правильный ответ. Достойный. За святую Русь будешь биться без страха, без колебания?

— Буду.

— Бери листок, пиши в нем все, что там спрашивают. И айда в казарму!

— Постой! — окликал сидевший тут же возле стола казначей отряда. — Деньги у тебя есть?

— Деньги-то? Да бывают иной раз.

— Хорошо. Наш порядок знай: с друзьями делись, а с врагами дерись.

Все дружно при этом хохотали. Прямо-таки сцена набора добровольцев в Запорожской Сечи.

Время от времени часть отряда или весь отряд, который в городе называли полком, отправлялся за город, совершал налеты на расположение красных. Балаховцы нередко захватывали пленных и перебежчиков. Однажды они приволокли пулемет и возили его по городу как трофей, добытый в доблестном бою.

В таких вылазках участвовала и баронесса, Розенбергша, жаждавшая острых ощущений. На ее привлекающем взоры отрядников, туго обтянутом бриджами, крутом, раскормленном бедре висел пистолетик в кожаной кобурке. Баронесса палила из него в схватках с красными. Хвасталась потом числом убитых комиссаров.

Загадочная жизнь Балаховича и его окружения волновала, занимала и вместе с тем пугала горожан.

24

Под сводчатой кровлей Варшавского вокзала, из которой повысыпались стекла, прямо между рельсами и шпалами, из почвы, жирно пропитанной мазутом, лезли веселые, бойкие шильца тощих травок, развертывались бархатистые листья, подобные листьям лопухов, и даже цвел одинокий желтенький цветочек.

Увидев этот живой глазок, Санька радостно улыбнулась и хотела было спрыгнуть на рельсы, чтобы сорвать его. Но Павел Благовидов удержал ее за руку:

— Ты что? Состав подают!

Медленно пятились под вокзальную крышу гремучие товарные вагоны с широко распахнутыми пастями дверей.

На перроне, вокруг Благовидова и Саньки, кипел людской, казалось, непроваримый котел. Красноармейцы гремели винтовками, тащили пулеметы, мешки, ящики с патронами. Командиры выкрикивали сливающиеся в общий гул команды.

— Отойдем, Саня,— сказал Благовидов.— Вон туда, в сторонку.

Они встали под медный колокол, начищенный, как в прежние времена, до жаркого солнечного сияния.

Людское кипение, настойчиво направляемое неразборчивыми и непонятными со стороны командирскими выкриками, мало-помалу обретало порядок, и довольно быстро на платформе перед вагонами выстроились длинные шеренги в защитных гимнастерках. Шинели были уже в скатках и надеты через плечо.

— Скучать стану, Павел Андреевич,— говорила Санька, тыкаясь лбом в его плечо.— Возвращайтесь поскорее, а?

— Да уж это, Саня, как придется. Когда бой идет, трудно загадывать вперед.

— А я вот загадала: будете вы целый и здоровый, Павел Андреевич. Молиться за вас буду. Уже и вчера весь вечер молилась. Головой до самого пола сто раз достала.

Благовидов засмеялся:

— Верующая, значит?

— Чего вы? — Санька не поняла.

— В бога, говорю, веришь? — повторил он.

— А как же! — Санька недоумевала.— А вы разве не верите? Как же так — не верить! И что вы только сказали, Павел Андреевич? — Она смотрела ему в глаза и старалась понять, шутит он или говорит всерьез.— Павел Андреевич!.. Ну как же это? Спаситель-то, господь бог наш, он же все видит и все знает. Он смотрит сейчас на нас с вами, где мы тут стоим и про что разговариваем. Он слышит вас, Павел Андреевич... Не говорите так, бог рассердится и наказание вам пошлет, а тогда уж и мне не жизнь, Павел Андреевич. Вам будет плохо, и мне оттого станет плохо.

— Ладно, ладно,— все еще смеясь, ответил Благовидов.— Хочешь, даже перекрещусь для тебя? Но это, впрочем, не столь важно. Скажи лучше, как тебе удалось среди дня убежать от твоего Завадского?

— А чего я его спрашивать стану! Не крепостная, чай. Да он и сам теперь не сидит до́ма. И гостей не стало. Тихо. Придет, переночует. И опять айда. Что хочу, то и делаю.

Вновь закипело вокруг Благовидова и Саньки. Началась погрузка в вагоны. К Благовидову подошел Раков. В глазах у него виделась мучительная забота.

— Павел Андреевич,— сказал он, подав руку Благовидову; подал комиссар руку и Саньке, но так, что даже и не взглянул на нее.— Порядок такой: мы с тобой едем

автомобилем до Гатчины. А полк двумя эшелонами проследует дальше. Вагонов вот нехватка. В каждый набиваем не по сорок человек, как положено, а раза в два больше. Да ведь еще две пушки, пулеметы, добра всякого...

— А почему мы не с полком? — поинтересовался Благовидов.

— Побыстрей нам надо. Полк идет до Сиверской, мы должны побывать в штабе Шестой дивизии, у начдива. Они как раз стоят в Гатчине.

— Что ж, ладно.— Благовидов с грустью взглянул на Саньку.

— Пошли тогда. Автомобиль на площади.

В Санькиных глазах была такая отчаянная просьба взять и ее туда же, куда, может быть, под пули и под снаряды отправляется Павел Андреевич, что или ее надо было брать с собой, или немедленно от нее уезжать. Но первое исключалось. Значит...

— Я скоро вернусь, Саня,— сказал он успокаивающе и подал Саньке руку.— До свиданья.

Она не заметила его руки, кинулась к нему на шею, обхватила тонкими сильными руками так, что у Благовидова хрустнуло в позвоночнике. Потом она шла рядом с ним до автомобиля и только возле распахнутой автомобильной дверцы степенно протянула свою прямую, шершавую от кухонных работ горячую ладошку:

— Счастливо вам, Павел Андреевич.— Обернулась, постояла, глядя в сторону, пока шофер заводил мотор и дергал рычагами, и, когда мотор завелся, побрела вслед за удаляющимся автомобилем к Обводному каналу.

Тоскливая волна прошла по сердцу Благовидова. При повороте на набережную он обернулся на сиденье. Саньки в людской привокзальной суете не было видно. Лишь показалось на миг, будто бы над головами в шапках и платках взлетела ее торопливая рука. Он тоже махнул ей, и автомобиль, обогнув церковь, покатил к Забалканскому проспекту, а потом к дороге на Гатчину.

Рядом с шофером сидел командир полка Таврин. На заднем сиденье были они втроем: Благовидов, Раков и комиссар Купше, а притулясь в углу, с карабином — приклад в пол автомобиля — Алексей Лабзаев.

Было тесно, тряско. Благовидов думал, что лучше бы им, если бы не такая спешка, ехать вместе с полком в эшелонах. Куда приятней.

Молчали.

Бывших семеновцев — 3-й Петроградский полк бригады Особого назначения,— до последнего дня находившихся в резерве, спешно отправляли в район Сиверской. Решение было принято накануне поздно вечером, даже уже ночью, когда телеграф принес известие из Гатчины о том, что белые прошли станцию Волосово, с боями ворвались в поселок Кикерино на дороге к Гатчине и их разъезды достигли окрестностей Елизаветина. До Гатчины оставалось верст с десяток, если не меньше.

Комитет обороны передавал 7-й армии последние резервы Петрограда — Особую бригаду, ее полки, в том числе этот бывший Семеновский, в котором Ракову все же удалось произвести и еще одну чистку — и среди командного состава, и среди красноармейцев. Странно было — Раков уже рассказал об этом Благовидову,— что при последней чистке особое рвение проявляли помощник Таврина военспец Зайцев и командир батальона Самсониевский, о которых Ракову давно говорили, что это одни из главных смутьянов. Но что поделаешь? Зайцев уверенно называл тех, кого надо было удалять из полка; когда же проверяли его сведения, они оказывались правильными. А бывший офицер Самсониевский, чуть ли не по рекомендации самого Троцкого, доставленной телеграфом, был даже принят в партию большевиков; он демонстративно при многочисленных свидетелях изорвал свой партийный билет партии эсеров.

Представитель Комитета обороны Павел Благовидов не знал, как распорядится свежими силами штаб армии. Но в комитете считали, что 3-й полк вместе с некоторыми другими частями должен от Сиверской, использовав лесные дороги, зайти во фланг рвущимся к Гатчине белым и нанести удар по ним с тыла. Особых резервов, по данным разведки, у белых нет, все их части растянутыми колоннами устремлены вдоль дорог, и, если маневр пройдет успешно, скрытно, колонна, движущаяся на Гатчину, обречена на полный разгром, белое наступление на этом участке приостановится. Тогда красные получат возможность перейти в контрнаступление, для которого под руководством особоуполномоченного ЦК партии и Советского правительства Сталина Комитет рабочей обороны Петрограда собирал все наличные воинские силы, проводил мобилизацию на заводах, фор-

мируя там боевые отряды, призывая в армию крестьян в уездах и волостях губернии.

Ракову было дано поручение отправиться на Сиверскую вместе с 3-м, внушавшим ему опасения, Петроградским полком, на работу в котором он затратил так много труда. «Вы его сумеете сдержать в узде,— сказали ему в Комитете обороны,— при всех обстоятельствах».

Штаб 6-й дивизии и некоторые учреждения 7-й армии находились во дворце Павла I, в так называемой запасной его части, где, как знали и Благовидов и Раков, несколько ночей октября семнадцатого года провел премьер Временного правительства Александр Керенский и откуда он удрал, по рассказам одних, путаясь в юбках, содранных с какой-то из медицинских сестер, а по утверждению рассказчиков, расположенных к премьеру,— в тельняшке, в клеше и бушлате балтийского матроса.

В штабе дивизии вместе с представителями штаба армии решили именно так, как было намечено и в Комитете обороны: 3-й полк направить во фланг и в тыл белым со стороны Сиверской.

У Благовидова, когда он собрался в Гатчину, было намерение пойти дальше с полком, быть вместе с его командиром Тавриным, с комиссарами Раковым и Купше. Поэтому он взял с собой и Алексея Лабзаева — для связи, если понадобится отправить что-либо срочное в Петроград. Но начдив 6-й попросил его, как представителя Комитета обороны, пока осуществляется ответственный маневр, побыть несколько дней при дивизии.

Благовидову очень хотелось участвовать в боевых операциях. Он не представлял себе с должной ясностью, как и чем, но был убежден, что в бою сможет принести пользу командованию полка. Во всяком случае, будет там рядом с Тавриным и Раковым. И в то же время, если растерявшийся комдив просит остаться в штабе, верно ли взять и отмахнуться от его просьбы?

Пока он раздумывал об этом, ему принесли телеграфную ленту. Комитет обороны на все дни боев под Гатчиной назначал его своим представителем на этом участке. В телеграмме говорилось, что связь с армией плохая, сведения поступают с большим запозданием, пусть Благовидов особое внимание обратит на это.

Раков уже ушел на вокзал Варшавской линии, чтобы встретить подходивший эшелон; он сказал, что будет ждать Благовидова там.

Надо было догнать его, пожелать доброго пути и боевой удачи.

— Пошли, Алексей! — сказал Благовидов, поправляя ремни на кожанке, на которую несколько дней назад он сменил свою длинную, хлопающую по ногам, заношенную шинель.

К станции вела и более короткая дорога, но Благовидову захотелось еще разок взглянуть на дом, в котором жил писатель Куприн и куда его недавно приводил Осокин. Что делает этот человек, о чем думает? Белые совсем рядом, со стороны Елизаветина слышны их пушки. На войне всякое бывает — контрудар может быть и успешным и безуспешным. Никто не даст гарантии, что белые не займут Гатчину. Неужели писатель станет их дожидаться? Неужели не подумает о том, чтобы вовремя уехать в Петроград?

Когда проходили мимо знакомого забора на Елизаветинской улице, Благовидов заглянул в щель между досками. То же самое сделал и Лабзаев. Они видели, как писатель с лопатой в руках копался среди грядок под молодыми яблонями. Яблони цвели, лепестки падали на черную, хорошо вскопанную и удобренную землю, на плечи, на согнутую спину автора знаменитых сочинений, на его седые волосы. Писатель размеренно, не торопясь работал. На грядках местами были уже видны всходы овощей: краснели листики свеклы, кудрявились метелки моркови, вовсю лопушились репа и редиска.

Пошли дальше. Заметив любопытствующие, вопрошающие взгляды Лабзаева, Благовидов спросил:

— Куприна читал, Алексей?

— Кое-что. «Гранатовый браслет», «Олеся», «Белый пудель»... Очень трогательно, товарищ Благовидов. А что?

— Да то, что сейчас ты созерцал автора этих произведений.

— Этого огородника-то? — Лабзаев удивился.

— Да. Именно. Этого.

— Чудно́, Павел Андреевич! Я-то думал, что писатели — они совсем особенные. Они только думают, рассуждают, но ничего такого житейского и знать не знают.

— Без житейского никто прожить не может, Алексей. Писатель тоже. Он, может быть, как раз и думает в это время, когда лопатой ковыряет. Дело не в этом.

— А в чем?

— Да так.— Благовидов не мог ответить более определенно, не мог сказать, а в чем же все-таки заключается «дело». Ему было обидно, что такой человек отошел в сторону от забот и трудов, которыми в эти дни, в эти годы занят весь народ новой России. Жаль, очень жаль. Как бы слово его помогало людям. Но вот не хочет говорить такого слова. Может быть, еще не понял, что в дни эти не только рушится, ломается старое, ему привычное, а еще и рождается новое, неведомое, незнакомое. Будущее за ним, за новым, отмахнуться от него нельзя. Увидит человек это, поймет — и тогда тоже пойдет к народу.

Первый эшелон с полком стоял на станционных путях; подходя к семафору, дымил вдали и второй. Отыскав Ракова, Благовидов сказал ему, что дальше не поедет, останется в Гатчине. Но он хотел бы, чтобы ему сообщали о том, как будут проходить и маневр с заходом врагу в тыл, и вся дальнейшая операция.

— Вот что.— Он посмотрел на Лабзаева.— Есть у меня мыслишка. Возьми-ка, Александр Семенович, Алексея с собой. Как ты, Алексей, на это посмотришь?

Лабзаев засветился от радости.

— Сами знаете! — ответил.

— Тогда отправляйся с товарищем Раковым. И когда что-либо определится, с его письмом или с устным, но толковым сообщением немедленно примчишься обратно в Гатчину.

— Есть, товарищи комиссары!

В эту ночь Благовидову пришлось спать на дощатом топчане в окружении бесценных богатств одного из роскошнейших дворцов, некогда принадлежавших Романовым. Все во дворце было в полном порядке. В нем, как раньше, были служители, смотрители. Они берегли и самый дворец, и собранное в нем достояние народа.

Прежде чем улечься, Благовидов походил по залам и галереям с одним из этих служителей, стариком, хорошо знающим историю и каждой вещи во дворце, и жизнь каждого, кто обитал тут в XX, XIX и XVIII веках. При свете белой майской ночи нежданный посетитель поражался искусству, с каким из десятков пород дерева кре-

постные русские мастера выложили изящные узоры паркетов в залах и комнатах, мастерству и вкусу, с каким для царей изготовлялась мебель, в каждом следующем зале не похожая на ту, что была в предыдущем. Залюбовался он коллекцией старинного оружия, развешанного в одной из галерей по стенам. Чего только не было тут — мечи, сабли, ятаганы, кинжалы, стилеты, пищали и самопалы, гладкоствольные и нарезные ружья, обсыпанные камнями, перламутром, украшенные серебром и золотом!

— Не спасло их это все, владельцев-то, а? — усмехнулся Благовидов и похлопал рукой по кобуре со своим наганом: — Эта штука верней.

Служитель только пожал плечами, и Благовидов с досадой подумал о том, что на черта сказал он это старику, так нелепо похвастался и совершил, конечно же, глупость.

Он лежал среди ночи на топчане в холодном дворце, в комнате, тесно уставленной этими наскоро сбитыми из досок ложами военного времени, сожалел о том, что нет шинели,— кожанкой никак не укрыться. Перетягиваешь ее с груди на ноги, с ног на грудь: то верхняя половина тела зябнет, то нижняя. Думал о Ракове, о Саньке. Видел Саньку той грустной, печальной, какую оставил возле вокзала. «Скучать буду, возвращайтесь поскорее»,— слышал он ласковый голос, вновь посмеивался над ее рассуждениями о боге, который все видит. Он еще толком этого не сознавал, но Санька уже вошла в его душу, его тянуло к ней. Санька была необходима Благовидову в его суровой, аскетической жизни; она была ему нужна во всей полноте всех качеств, какие несет в себе женщина. Смешно, но такая девчонка в общем-то виделась ему даже как мать, которой у братьев Благовидовых не стало несколько лет назад, и как сестра, которой у них никогда не было, и как...

Благовидов смотрел в высокий потолок над собой. По карнизу в свете белой ночи на белоснежных легких крыльях порхали амуры. Все отчетливее выступало там, среди амуров, это слово, на котором остановилась его мысль: жена. Оно было непривычным для Павла Благовидова, странным, но отнюдь не нелепым. «Разве вам такая жена надобна? — слышал он знакомый нашептывающий голос.— Вам бы как Ирина Владимировна. А я глупая, необразованная, деревенщина. Дура я».

И не хотел, а сравнивал их — Саньку и Ирину. Было время, когда он остро завидовал брату, что у того такая красивая жена, тайком засматривался на нее, следил за ее плавными движениями, любовался, как ставит она ноги, как сидит, как берет что-нибудь на столе тонкими пальцами. Санька, конечно же, не такая. Санька проще, несравнимо проще. Но увидел ли Павел Благовидов хоть раз душу жены брата? Увидел ли ее теплоту, доброту или совсем обратное — гнев, скажем, вспышку ярости, злобы, раздражения? Нет же, все очень ровно, все хорошо, мягко, приятно. А Санька ни одного из своих истинных чувств скрыть не может, да и не пытается скрывать. Вся светлая душа ее как на ладонь тебе положена — на, смотри, видь ее, думай о ней что хочешь, воспринимай как знаешь.

Улыбаясь в ночных сумерках, Благовидов вспоминал, как говорила она о себе: «Санька. Можно и Саней». И видно было, что ей очень-очень хотелось бы, чтобы не Санькой называли ее, а именно Саней, так ей приятней. «Ах, Саня, ты, Санечка, — шептал он, глядя на упитанных амуров, шептал и самому себе и в то же время обращая это и к ней, к Саньке. — Смешная ты девчонка. Не нужны мне никакие Ирины Владимировны. Ты мне нужна. Ты. Не знаю только, как тебе все это сказать. Как взять на себя такую огромную ответственность перед тобой. С тобой шутить же нельзя, грешно шутить с тобой. А смогу ли я, при моей нескладной, не от меня зависящей жизни, сделать так, чтобы тебе-то было со мной хорошо, и не разбить, не разрушить твое сердце, не обидеть, не оскорбить твою еще не окрепшую, не защищенную опытом жизни, почти ребячью душу».

Он так и уснул в длинной, трудной беседе с оставленной в Петрограде, в подозрительной чужой квартире, такой ласковой и доброй Саней-Санечкой и даже слышал, как отзывалась на эти его слова Саня, но отзывалась она не словами, а тем, что нежно-нежно гладила его по щеке теплой ладошкой. Ладошка не была шершавой, какую он держал вчера в своей руке на Варшавском вокзале. Она была мягкая, воздушная.

Разоспавшийся, он не знал, что это уже был луч раннего майского солнца, медленно ползущий по его щеке, по губам и шее.

25

Пройдя пешим порядком несколько верст на запад от станции Сиверской, полк Таврина вступил в большое село Выру, красиво, в садах и садиках, раскиданное над берегом реки Оредежа. Берега Оредежа крутые, обрывистые, песчаные. И дно речное песчаное: то мелко, по щиколотку, то темные, пугающие омуты.

Красноармейцы, которых распределили по крестьянским домам на ночлег, бросились к реке — искупаться, смыть дорожную щекотную пыль. Вода еще была холодная, весенняя, не прогретая летним солнцем, лезть в нее было страшно. Но в нее лезли, рыча и охая, бросались вниз головой, прыгали «солдатиком», сложив руки по швам.

Под штаб полка заняли большой двухэтажный дом с остекленным мезонином в виде башенки. Дом принадлежал одному из местных богатеев и почти весь в летнее время сдавался внаем петербургским дачникам. Дачников же в Выру каждую весну наезжала тьма. Горожан привлекали и река со светлой чистой водой, и песчаные берега ее, и окрестные леса с черникой, брусникой, гонобобелью, с грибами — белыми, подосиновиками, рыжиками, и еще то, конечно, что дома в Выре были хорошие, не какие-нибудь избенки российской глухомани, а обшитые тесом, весело окрашенные, с террасками, верандами, беседками в садах. Сказалась близость большого села Рождествена, которое в конце XVIII века было возведено даже в звание города. Но ненадолго. Вскоре присутственные места его были переведены в Гатчину, туда же потянулась и посчитавшая себя навсегда городскою значительная часть населения. Так или иначе, и Рождествено и близко соседствующая с ним Выра обрели черты быта, в немалой мере сходные с городскими. Местный благотворитель, хозяин крупной лесопильни Рукавишников учредил на свои средства в Рождествене школу, амбулаторную больницу и хотя и небольшой, прямо сказать, неказистый, но все же театр для народа. В окрестностях Рождествена и Выры до Октябрьских дней существовал латунопрокатный заводик, который выпускал капсюльную латунь; по всем правилам земледелия велось поблизости имение князя Витгенштейна «Дружноселье» с большими урожайными садами.

Революция нанесла ощутимый удар местным помещикам, торгашам, предпринимателям, здешнему кулачью. Советскую власть приветствовали рабочие латунопрокатного завода, лесопильни, больших и малых имений да деревенская беднота. А те, некогда имущие, затаились в ожидании лучших времен, надежду на приход которых не теряли вот уже более полутора лет.

И штаб полка, и все красноармейцы отношение этой категории обитателей Выры смогли ощутить на себе в первые же минуты пребывания в селе. Только в бедных домишках хозяева хлопотали об устройстве ночлега для постояльцев: таскали для них из сараев остатки сохранившейся прошлогодней соломы, застилали ее мешковиной, угощали красноармейцев молоком и пахучим, вкусным деревенским хлебом, хотя и у самих его было в обрез в ожидании нового урожая. Кулачье же распахнуло двери своих домов лишь перед лицом оружия, на которое-де с голыми руками не полезешь, и тем ограничилось. Даже дети таких хозяев, босоногие, с соплями до пупков, прячась за сараи, за бани, коровники, и те смотрели оттуда на пришельцев глазами угрюмых волчат.

Помощник командира полка Зайцев доложил Таврину, что вокруг деревни расставлены дозорные посты и секреты на случай ночного нападения противника. Можно было садиться за разработку завтрашнего контрудара. Весь командный состав полка собрался в доме с мезонином башенкой; командиры и комиссары расположились за раздвинутым обеденным столом в комнате нижнего этажа. Тавринская карта-двухверстка, составленная еще по заказу Генерального штаба царской армии, была давно испещрена разноцветными карандашами. Но мест для новых пометок на ней все же еще было достаточно. Все следили за синим карандашом Таврина. От Выры, огибая Рождествено, на северо-запад к Волосову, разветвляясь и на Кикерино, вела вполне пригодная для передвижения войск дорога. Как раз по ней и предполагалось идти к Волосову — Кикерину, где можно очень ловко отрезать от ямбургского тыла группу войск противника, нацелившуюся на Гатчину.

— Важно знать,— сказал Таврин,— нет ли белых именно на дороге, которая ведет сюда. Если бы я был на их месте, я бы непременно обеспечил себе безопасность этого фланга.

— Они, наверно, тоже так рассудили,— сказал Раков.— Хорошо бы разведать дорогу.

— Разрешите мне? — предложил Зайцев.— Я отберу нескольких охотников, и мы к утру осмотрим весь предстоящий путь.

— Действуйте,— согласился Таврин.— Теперь следующее. Наступать будем двумя батальонами. До Большого Заречья,— его карандаш скользил по карте,— оба они идут вместе. В Большом Заречье, если дорога окажется свободной и не надо будет вступать в бой, они расходятся: первый — к Елизаветину — Кикерину, второй — прямо на Волосово. Возможно — разведка это покажет,— бой придется начать еще в пути: если на дороге есть вражеские отряды. Батальон Самсониевского останется в Выре. Это резерв для развития успеха или для отражения контратаки. Наш полковой штаб тоже остается пока здесь. Ночи светлые. Пусть красноармейцы сейчас же укладываются спать, чтобы уже в три часа утра начать движение.

Раков слушал и думал о том, что, в общем, полку приходится действовать почти вслепую. Штаб дивизии не позаботился произвести вовремя разведку и установить, где же на этом участке белые. Может быть, они еще там, возле Кикерина и Елизаветина? А может быть, уже поблизости от Выры, и батальоны, которые пойдут в наступление утром, тотчас наткнутся на засады, на хорошо подготовленную оборону. Перед его глазами возник вялый, бездеятельный начальник штаба 6-й дивизии. Из бывших царских штабников. Общая это беда: нет своих, красных революционных командиров. Точнее, их еще очень и очень мало. Прекрасные люди поступают на военные курсы — большевики, рабочие, идейные крестьяне. Из них получатся настоящие командиры революции. Но их еще нет, они еще только будут. А сейчас? Военспецы да военспецы. Ходи и гадай: сколько среди них честных, надежных людей или хотя бы просто лояльных, а сколько потенциальных предателей — кто это скажет?

— Товарищ Зайцев,— обратился он к помощнику Таврина,— для разведки отберите самых проверенных красноармейцев, по возможности коммунистов.

— Есть, товарищ комиссар бригады! — Зайцев козырнул.

Раков весь этот вечер бродил по деревне. С ним был и Алексей Лабзаев с карабином за плечом. Раков мол-

чал. Было и Лабзаеву неловко болтать, когда старший не начинает разговора. Но он долго выдержать не смог.

— Товарищ Раков, извиняюсь, а белые, пока мы тут собираемся на них наступать, не успеют захватить Гатчину?

— О Павле Андреевиче беспокоишься? — догадался Раков.— Может, конечно, и так быть. Мы думаем, но и враг думает. Никогда нельзя считать противника дурее себя. Сам в дураках можешь остаться. А что касается Павла Андреевича... Он отобьется, товарищ Лабзаев. Павел Андреевич — человек не слабенький. Большевик!

— А как вы думаете, товарищ Раков, вот я, скажем, большевик или еще нет? — Лабзаев споткнулся о корень березы, узловатым горбом вылезший из песчаной почвы: от его рыжего старого сапога по самый каблук отодралась подошва.— Извините, товарищ Раков,— сказал он смущенно, роясь в карманах. Вытащил кусок телефонного провода и стал подвязывать подошву.

Симпатичный был парень этот Лабзаев. Раков преодолел свое хмурое настроение, улыбнулся.

— Большевик,— сказал он, наблюдая за работой Лабзаева.— Только еще очень молодой, неопытный. О подошве-то надо было раньше позаботиться. В бою у тебя не осталось бы времени возиться с ней так. И взяли бы тебя в плен или штыком бы пырнули.

— Это верно, верно,— согласился Лабзаев, затягивая последние узлы.

Вернулись они в штаб, когда оттуда все уже разошлись к местам ночлега. Кроме Таврина, Купше и нескольких красноармейцев, которые устраивались спать в штабе.

Таврин сказал Ракову:

— Зайцев отправился на разведку с командиром батальона Самсониевским. С ними трое коммунистов. Когда вернутся, я распорядился, чтобы шли прямо сюда. Местные жители утверждают, будто вчера видели белый разъезд совсем рядом, верстах в двух-трех, недалеко от Замостья. Так что спать надо вполглаза, палец на спуске. Я приказал один пулемет притащить в штаб. Мало ли что.

Почти квадратный, коренастый Зайцев упруго шел впереди. Следом тянулись красноармейцы. Замыкал группу разведчиков Самсониевский. По сторонам от

дороги — мелколесье, кустарник; тускло поблескивают оконца воды в болотах; над ними — белесыми космами холодный туман. Ветра нет, тихо. Далеко-далеко побрякивает медная побрякушка, должно быть на лошадиной шее.

Большим серым ящиком из затянутых туманом кустов справа от дороги выплыл сенной сарай.

— Осмотреть! — приказал Зайцев.— Вперед, ребята! Двое с фронта. Один с тыла. Тихо только. Никакого шума.

Он и Самсониевский остались на дороге, красноармейцы по кустам, крадучись, подходили к сараю. Как было приказано, один обогнул его справа, двое распахнули скрипучие ворота. Но едва они сунулись внутрь, оттуда из темноты на них бросилось с десяток людей. Не прошло и полминуты, оба разведчика лежали на земле, заколотые финскими ножами. Третий остался за сараем с перерезанным горлом. Его там тоже встретили кулацкие сынки, с которыми еще днем, как только полк пришел в Выру, успел договориться Самсониевский.

Вытирая ножи пучками прошлогодней травы, сорванной под кустами, беляки возвращались к дороге. Трое из этой шайки вооружились винтовками убитых красноармейцев.

Встав лицом к северо-западу, куда уходила дорога, один из них длинно и резко свистнул в четыре пальца. В той стороне застучали копыта, и из белесого тумана вынырнула группа всадников. Их было десятка два-три.

— Поручик Саюшев,— сказал командир конной группы, спешиваясь и приподымая руку к фуражке.

— Подполковник Зайцев,— услышал он в ответ.

— Капитан Самсониевский.

— Прибыли по приказанию подполковника Ларионова,— доложил Саюшев.

— Прекрасно. Задача теперь такая,— заговорил Зайцев.— Сейчас вы идете в Замостье. Оно почти смыкается с Вырой. Вас там ждут. В деревушке несут дозорную службу верные нам люди. Они помогут укрепиться. Сейчас,— Зайцев вынул из кармана серебряные часы, отщелкнул крышку,— третий час. В три с минутами батальоны полка проследуют по этой дороге навстречу вашим засадам. Тогда вы врываетесь в Выру, а

мы подымаем наших солдат, которые пока что носят звезды красноармейцев. Помогут нам и местные патриоты. Разоружаем оставшийся, третий, батальон. Ясна задача?

— Так точно, господин подполковник!

Лабзаев проснулся оттого, что внизу, на первом этаже, слышались удары, крики, будто там били каблуками по дощатому полу. Раков тоже открыл глаза. Оба они лежали на полу в комнате второго этажа. Разделял их карабин Лабзаева.

Лабзаев вскочил и кинулся к двери на лестницу, ведущую вниз.

— Стой! Назад! — шепотом крикнул ему Раков. Он уже был возле окна и через тюлевую занавеску смотрел на улицу. По улице скакали конные солдаты с погонами на гимнастерках, среди них мелькали офицеры в своих прежних, царских времен, офицерских регалиях. Одни из красноармейцев полка под штыками винтовок вели других красноармейцев, безоружных, со снятыми поясами. Среди безоружных он узнал тех троих, которые когда-то приходили к нему жаловаться на бывшего фельдфебеля Сидорина. Сидорина, обещавшего красноармейцам пулю в спину, Раков давно из полка убрал. Но Синягин, Левонтьев и Чудиков с разбитыми в кровь лицами шли под конвоем каких-то других бывших, сохранившихся, которые хлестали их по ногам ремнями с пряжками.

Случилось, видимо, нечто страшное и, возможно, такое, о чем Раков никогда не забывал в глубине сознания, но чего не смог вот предотвратить из-за упорного сопротивления то в штабе армии, то еще выше, в военных петроградских учреждениях.

Внизу тем временем утихло. Зато крики и шум нарастали на улице. Теперь уже не только Раков, но и Лабзаев смотрел сквозь пыльный тюль. Толпа в несколько десятков незнакомых солдат и не менее полусотни молодых парней с винтовками, с вилами, ломами окружала только что выволоченных из дому Таврина и Купше; к ним вели — Раков узнал, тоже окровавленные, лица — коммунистов полка Сергеева, Калинина и Дорофеева. Подавая команды, в толпе орал помощник Таврина Зайцев. Вместо вчерашней шинели на нем была

новая кожаная куртка с золотыми погонами подполковника. Офицерские погоны были на плечах и многих других военспецов 3-го Петроградского полка. Раков знал их всех. Оказались среди них и те, кто должен был уйти с двумя батальонами в наступление.

Что же произошло? Что? Он видел, как били прикладами еле стоявшего на ногах Таврина, как волокли за ноги по земле, гогоча, ревя, свистя, окровавленного Купше. Появляться на глаза этой банде было, конечно, нельзя. В одиночку справиться с ней невозможно. Но что же тогда делать? Нельзя же и ждать, пока тебя так же поволокут на расправу.

Бледный Лабзаев с карабином в руках то смотрел на улицу, то на него, Ракова, ждал приказаний, решений.

— Стой здесь,— сказал Раков,— направляясь к двери. Осторожно приоткрыв ее, он вышел на площадку лестницы, перегнулся через перила, взглянул вниз. Там было пусто, лишь все перевернуто, сдвинуто с места. Ясно, что Таврина и Купше мятежники захватили среди сна. На полу валялись шинели красноармейцев, и меж ними, меж вещевыми мешками, поблескивал металлом пулемет на треноге. В спешке палачики помнили только о ненавистных им людях, о красных командирах, о большевистских комиссарах, и ни о чем другом.

Раков сбежал вниз, схватил пулемет и так же бегом вернулся наверх.

— Красноармеец Лабзаев,— сказал он строго.— Вокруг дома во дворе пусто. Все ушли на улицу. Немедленно отправляйтесь вниз, бегите в сад и дальше по своему усмотрению. Но чтобы сегодня же, как можно скорее, прибыть в Гатчину, в штаб дивизии, к Благовидову.

— Разве я могу вас оставить, товарищ Раков? — Лабзаев с испугом смотрел на комиссара бригады.— Вы сами сказали, что я большевик. А большевики...

Раков выхватил из кармана наган, положенный туда с вечера.

— Приказа не слушать? Ну!

— Не пойду! — Лабзаев подставил грудь под ствол нагана.— Я не гад.

Раков понял, что ошибся, не тот перед лицом опасности взял тон.

— Лешка,— сказал он, обхватывая руками плечи парня. — В тебе спасение всего нашего дела. В Гатчине

никто ничего не знает о том, что происходит здесь. Как старший товарищ, как большевик большевику говорю тебе: действуй. Все расскажи. О Зайцеве, о Самсониевском, обо всей этой сволочи. Революция этого требует. Путь твой будет не менее труден и опасен, чем если бы ты остался со мной. Беги, Лешка, во все ноги! — Он прижал его на мгновение и резко оттолкнул.

У Лабзаева текли слезы по щекам. Он взял на руку карабин и побежал вниз по лестнице.

Раков подтащил к двери все, что было в комнате: платяной шкаф, обитый медью сундук, стулья — и вновь вернулся к окну. Таврин уже лежал на земле неподвижно. Остервенелые парни и солдаты орудовали над ним с ножами. Кровь заливала землю вокруг. Купше стоял раздетый догола возле березы, его оплетали толстые веревки. На табуретке среди толпы возвышался Самсониевский.

— Вот,— кричал он, выхватив из кармана какую-то книжечку,— вот эта большевистская каинова печать, которую некоторые из нас были вынуждены носить на себе помимо своей воли, но всегда оставаясь при этом верными великой матери-России! Это партийный билет большевиков! С ним покончено! — Самсониевский разорвал книжечку на несколько частей и швырнул на землю. Затем он положил на плечи золотые погоны.

Толпа радостно заорала.

— Эй, комиссар! — крикнул Самсониевский, обращаясь к безмолвному Купше.— Ты думал, что ваша взяла, что в России навсегда утвердилось царство красного хама. А вот люди, вот народ перед тобой. Он ликует, видя возврат святого прошлого. Кончайте его!

Несколько солдат вскинули винтовки, и с дистанции в пять шагов они дали залп в грудь комиссара полка.

Раков закрыл глаза. Постоял так, видя суматошную игру кровавых пятен под опущенными веками, затем взял пулемет и приготовил его к бою. Бездействовать дальше было нельзя, нельзя было позволять врагу так безнаказанно торжествовать.

Откинув створки окна, он высунул наружу ствол пулемета, навел на толпу и дал подряд несколько коротких гулких очередей. Он экономил патроны.

Вой страха, боли, смерти раздался в ответ на выстрелы. Толпа шарахнулась во все стороны — во дворы, в сады, в дома. На земле, кроме мертвого Таврина, лежало

еще несколько неподвижных тел. Но Раков не мог сказать толком, он ли скосил их своими очередями или это замученные коммунисты полка.

Мятежники вскоре пришли в себя. Вокруг дома защелкали выстрелы, пули стали влетать в окна, впиваясь в дощатые стены, расшибая их в щепки, иссверливая дырами. На крыше — Раков догадался об этом по грохоту — разорвалась закинутая туда ручная граната.

С улицы золотопогонники штурмовать его уже не решались. Они проникли в нижний этаж со двора, и теперь выстрелы стучали внизу в доме, пробивая дверь его комнаты. Раков разобрал свою баррикаду, она уже была не нужна, распахнул дверь и длинной очередью очистил от врага нижнюю комнату. Вновь над ним запели пули с улицы. Там, слышно по звуку, враз работали два пулемета. Он лег на пол, и пули прошивали над ним стены комнаты в двух направлениях.

Время от времени он поднимался над подоконником и бил по кустам сирени, в которых мог быть скрыт один пулемет, в окна дома напротив, где могли спрятать второй.

Но пришел такой миг, когда он нажал гашетку, а выстрела не последовало. Все! Можно было бросать пулемет.

Оставался наган с его семью патронами в барабане и с десятком-другим в карманах. Минута за минутой приближался конец, неизбежный, неотвратимый, страшный. Жизнь его проносилась в памяти комиссара, жизнь недолгая, но целиком отданная народу, революции. Жалел ли он, что встал когда-то на этот путь, приведший его под пули, под штыки белогвардейских палачей? Нет, об этом не было и мысли. Думалось совсем о другом — о том, как придут сюда, в Выру, другие части Красной Армии и выбьют изменников, как начнется решительное контрнаступление против белых, как Советская Россия отобьет окончательно атаки непрекращающейся контрреволюции и сможет спокойно строить свою новую жизнь.

Внизу вновь послышалась возня, заскрипели ступени лестницы. Комиссар Раков подошел к двери, выстрелил вниз три раза подряд, там кто-то упал; выстрелил еще два раза. В барабане, подсчитал, осталось всего два

патрона. На то, чтобы перезаряжать, времени может уже и не оказаться. Если выпустить шестой... а вдруг седьмой даст осечку. Приставил ствол к груди в том месте, где тяжело и торопливо билось сердце, и, подумав об Алексее Лабзаеве, выстрелил.

26

Спеша отойти подальше от имения Торма, от застреленного Митьки Жильцова, группка Осокина сбилась с дороги и забрела в топкие комариные болота. Куда ни пойди — все топи, топи, скрытые прошлогодней жесткой травой да кривыми, корявыми ракитниками, ветви которых истекали белой пачкучей дрянью. От голода расплывалось в глазах, ноги отказывали, хотелось лечь на бугристые, шаткие под ногами кочки и уснуть — пусть будет то, чему суждено быть.

Но и сдаваться не было никакого желания. Если прошли плен, если избегли смерти, которая две долгие недели крутилась вокруг них в образе белого офицерья и контрразведчиков, то можно ли покориться этому угрюмому, холодному болоту?

Главная беда — голод. Его бы преодолеть. Несколько сухарей, которые Осокин прикапливал в последние дни перед побегом, он разделил поровну, и они втроем прикончили скудный этот запас в первый же вечер, когда устраивались под сосной на ночлег. Степан Озеров сказал тогда: «А мы, брат Алехин, сразу смикитили, что ты вовсе и не Алехин».— «Чего же так дружно меня выгораживали, не зная, кто я?» — «Смикитили, говорю, кое-что. Как сказал ты, что из Питера, так и подумали: по секретному делу. Верно?» — «Верно,— согласился Осокин.— Мне от вас скрывать теперь нечего, ребята. Я из Петроградской Чека. И не Алехин я, а Осокин». Помолчали. Вопрос задал Егор Козлов: «А вот ежели бы мы с тобой тикать не согласились? Как тот Жильцов. Что бы ты с нами делать-то стал?» — «А я тоже не дурной: видел, что вы со мной согласные, идете да идете, ни про дорогу, ни про что не спрашиваете».

Теперь, среди болот, стоят они оба понурые, эти симпатичные новгородцы, и, само собой признав Осокина командиром, ждут от него решений, приказов, которые бы вывели их всех на дорогу, к жилью и хлебу.

— Надо идти,— сказал Осокин.— Идти и идти. Куда-нибудь да придем же. Не трущобы Индии и не пустыня Сахара. Ямбургский уезд.

Снова зашлепали по студеной болотной воде, путаясь в прошлогодних травах, в корнях ракитника и куги.

— Стой! — услышали впереди в кустах шальной крик.— Стой, говорят! Стрелять будем.

Стволы двух охотничьих берданок смотрели им прямо в глаза.

— Не кипятитесь, отцы. Спокойней,— ответил Осокин вяло, раздумывая, кто же эти бородачи с берданками, как бы возникшие из болотной тины.

— Кидай винтовки! — снова крикнул один из лесовиков.— Не то кокнем всех троих.

— Не можем кидать,— не согласился Осокин.— Никак не можем. Вода кругом. Пропадет оружие. А нам оно еще надобно. Мы из белого плена к своим пробиваемся. Где красные-то, может, слыхали, а? Может, сами красные? А если белые, драться с вами будем.

Бородачи посовещались меж собой. К ним еще подошло с пяток мужиков. Внимательно и настороженно разглядывали они терявшую последние силы группочку Осокина.

— А сколько вас ишшо-то? — спросил один из подошедших.

— Все тут. Трое.

Опять посовещались. Бородач с берданкой сказал:

— Винтовки сдайте. Проверку сделаем. Опосля возвернем.

Ничего иного не оставалось, потому что не оставалось и сил ни на что иное. Составили винтовки пирамидкой, прикладами в воду, отошли.

Потом их вели еще с полверсты под конвоем, тащили следом за ними винтовки.

Вышли на островок среди трясины, поросший старыми, кряжистыми соснами. Под деревьями было сухо, песчаный грунт устилался слоем за много лет слежавшейся бурой хвои. Дымились два костра, огонь мягко облизывал округлые бока черных чугунных котлов. Над котлами подымался парок — пахло едой.

Осокин успел лишь съесть несколько ложек горячего варева, от тепла и пищи его сморило, он завалился на бок возле одного из костров и уснул так внезапно, будто потерял сознание.

Проснулся среди белой призрачной ночи. По-прежнему курился костерок, все так же вокруг, дымя цигарками, сидели крестьяне. Еще не подымая головы, лишь раскрыв глаза, он увидел под соснами костистых, тощих коровенок, несколько лошадей. В распряженных телегах спали, по цветным юбкам судя, женщины.

Сел, поводя плечами под взглядом нескольких пар испытующих глаз. Спутники его, Козлов с Озеровым, спали поблизости на еловых лапах, приткнувшись друг к другу.

— Спасибо за хлеб-соль, — сказал Осокин, обращаясь к бодрствовавшим мужикам.— От кого же вы прячетесь в этой глухомани — от белых или от красных?

— Да ведь мы, по чести ежели говорить,— начал мужичонка в потрепанной меховой шапке, одно ухо которой было поднято кверху и болталось при каждом повороте головы,— мы, значитца, красных не больно жаловали. Покудова царские офицеры и не возвернулись. А возвернулись они той неделей, и такое непотребство изделалось, сказать не скажешь. Все подчистую выгребать начали. Мы и того... Сидим, значитца, кукуем на болоте. А кто овощ сажать будет? Кто поля упаземит да уходит?

— Наказанье господне,— поддержал мужичонку один из давешних бородачей.

— Где же мы теперь? — поинтересовался Осокин.— Как места-то ваши называются?

— Да это ж, — объяснили ему,— Глумицкое болото. На заход от него деревня Черная. На север — Калитино. Мы аккурат калитинские все да старораглицкие. Соседи, значит. На восход смотреть — Большое Заречье будет, а дальше — Выра да Рождествено. А уж ежели к югу-то — дебря одна, такие же гиблые топи. Соображаешь?

— Соображаю.

Со дня революции занятый тем, что выслеживал, вылавливал в Петрограде ее врагов, Осокин никогда прежде не задумывался над тем, а что же еще делала в это время Советская власть. Даже заводские дела, даже дела своей семьи он воспринимал лишь с той точки зрения: кто, мол, ушел в Красную гвардию, а потом в Красную Армию, кто ремонтирует пушки, корабли, паровозы для фронта. А что у Советской власти были дела еще и в деревне, где выращивался хлеб для всего народа, о том он не имел ни малейшего представления, ничем подобным голову свою не занимал. А тут, оказывается, труд-

ностей не меньше, если не больше, чем в Петрограде. Как же достается тем большевикам, думалось ему теперь, тем представителям Советской власти, которые живут и работают среди этих мужиков, что ни день, то мотающихся из стороны в сторону! Советская власть еще не с полной прочностью вошла в деревенскую жизнь, ее укреплять да укреплять здесь надобно. Одним она своя, кровная, другим чужей чужого, третьи никак не определят свое отношение к ней, выжидают, осматриваются, примериваются. Белое нашествие многих заставит сделать окончательный выбор. Как засвистели шомпола, да как заревели коровенки, угоняемые на прокорм солдатне, да как завыли бабы от страха, от горя, так и принялись мужичонки прикидывать на свои весы: на одну чашу — Советскую власть, которая наделила их долгожданной землей, а на другую — белый порядок, установленный с возвратом золотопогонников и позабытых уже было господ.

Осокин, когда группа его отоспалась и подкрепила силы крестьянскими харчами, решил пробиваться на восток, к Выре, а затем к Варшавской железной дороге. Крестьяне толком не знают, где белые сейчас, но по отголоскам дальней стрельбы из винтовок и пулеметов можно предположить, что именно в тех местах и развертываются бои.

Им отдали их винтовки, кроме взятой у Митьки Жильцова, которую Осокин решил оставить крестьянам, снабдили кое-какими припасами на дорогу, и ранним солнечным утром группа снова двинулась в путь. За день преодолели топи, вышли под вечер к большой деревне. Судя по направлению, указанному болотными сидельцами, это было Большое Заречье.

Остановились в кустах перед бревенчатым мостом через веселую быструю речку.

— Что делать? — раздумывал вслух Осокин, всматриваясь в ближайшие за речкой избы, сараи, хлевы.— Есть там белые или нет? Рискнем, а?

— Вроде бы тихо. Коровы молчат, петухи поют.— Козлов прислушался.

Держа винтовки на ремнях, перешли спокойным шагом мост, вступили в деревенскую улицу. Обмундирование на них было ямбургское; в карманах они на всякий случай хранили свои тряпичные погоны: ежели что, до-

стал да нацепил; солдатские документы тоже могли бы, если понадобится, удостоверить принадлежность всех троих к войскам генерала Родзянко. А партбилет и чекистские бумаги Осокин еще на островке зашил в гашник.

Только дойдя до полукаменного двухэтажного дома, в котором, судя по старой, облезлой вывеске, прежде была бакалейная лавка, они поняли, что деревня занята белыми. Возле этого дома стояли две телеги с пулеметами «максим»; на лавках, врытых в землю, сидело десятка два солдат, а трое офицеров, присев на корточки, чертили на земле щепками то ли план, то ли карту и спорили.

Надо было уносить ноги. Но как? Что делать, если их окликнут, остановят?

Никто, однако, не окликал и не останавливал, может быть потому, что уж очень спокойно шли они посреди улицы. Солдаты смотрели на них, не выражая никакого любопытства, офицеры же даже и не взглянули в их сторону, занятые своим чертежом.

Миновали улицу, свернули было в проулок, чтобы по нему выбраться за деревню да и махануть там в кусты. Но с той стороны, где, по их расчетам, должно было быть село Выра, нарастал глухой гул.

— Конница! — первым догадался Озеров.

Не сговариваясь, но будто по команде, проломили плечами плетень и бросились в густо разросшийся, неухоженный малинник позади сарая, который примыкал к двору перед домом. Сделали они это более чем своевременно. С полсотни конников уже влетели в деревню.

Выкрикивались команды, конники соскакивали с седел, шли к колодцу напротив дома; скрипел, постукивал ворот, слышно было, как выплескивается вода из ведра, как, ахая и охая, пьют из него солдаты.

Время было позднее, но никто из прибывших, видимо, не думал о ночлеге. До ночлега ли, когда оттуда, где была Выра, сначала поодиночке, затем все чаще, чаще начали хлопать и хлопать винтовочные выстрелы. Солдаты, забегая во двор, лезли в малинник по своим малым нуждам. Группа Осокина сидела, взведя курки винтовок, готовая принять бой, и если умереть, то в бою, а не на виселице. Через столько опасностей прошел за две с небольшим недели Осокин, сколько раз стоял один на один со смертью, что острота очередной опасности при-

тупилась, пришло знание, что не каждая из них непременно влечет за собой смерть, и уже не было того страха, как было там впервые, в деревне Пошкова Гора и в бывшем помещичьем скотном сарае, где белое офицерье сортировало пленных красноармейцев.

Осокин подумал о том, что, если кого-либо из кавалеристов прижмет уже не малая, а большая нужда, тот непременно попрется в самую гущу малинника. Он потрогал доски тыльной стороны сарая. Доски обветшали, едва держались на изъеденных ржавчиной гвоздях. Легкое усилие — и одна из них бесшумно отвалилась. Не составило труда пролезть сквозь эту брешь внутрь сарая, где было темно и пыльно. Тесно стояли там веялка, пароконная косилка с дышлом; громоздилось множество круглых корзин, вставленных конусными доньями одна в другую; кучей были свалены лопаты, грабли, вилы.

Осторожно пробирался Осокин среди этих предметов, из которых каждый, неловко задень его, наделает шума и грохота. Он слышал, как следом за ним проникли в сарай и его спутники. Но они дальше лезть не решались, тихо устроились у тыльной стены.

Осокин добрался до дверей, выходящих во двор. Он услышал голоса, бубнящие во дворе. Сквозь щель увидел там круглый стол, врытый на бревенчатой ноге в землю, стулья, расставленные вокруг стола, и развалившихся на этих стульях четверых офицеров. Перед ними было несколько бутылок, были стаканы и тарелки с едой. За спинами офицеров сновала солдатня.

Один из белогвардейцев, с погонами подполковника и сабельным шрамом на лбу, показался Осокину знакомым. Ну да, ну да, это же командир второго батальона белого полка, в который входил и батальон, вместе с балаховцами захвативший Пошкову Гору. Значит, тут могут оказаться и все те, с кем вместе Осокин попал в плен. С волнением узнал он капитана из полковой контрразведки, того жестокого зверя, который руководил сортировкой пленных красноармейцев в скотном дворе.

— Мы не бандиты, Барский,— раздраженно говорил подполковник, обращаясь к этому контрразведчику.— Я буду докладывать в полк, в дивизию. То, что сделали с красными командирами,— это же...

— Бросьте вы разводить свой мелкий мандраж! — огрызнулся тот, кого подполковник назвал Барским.—

Цацкаться с коммунистами и комиссарами — значит предавать родину! Я бы не советовал вам заниматься этим, подполковник Ларионов.

— На черта мне ваши советы! Я офицер, а не мясник. В русской армии я не знал должности, подобной вашей. Были жандармы. Но кто же их считал за офицеров! Вы что — жандарм?

— Подполковник, подполковник! — Барский сожалеючи качал головой.— Вы же не офицер, а барышня. Чувствительная притом. До крайности. Ну, отрезали ухо, ну, выдернули большевистский язык?.. В борьбе с красными нельзя без крайнего ожесточения. Русский мужик добр, отходчив. Из него трудно сделать солдата-мстителя. И если сегодня он выдрал язык, то это уже...

— Перестаньте вы, живодер! — Подполковник Ларионов так стукнул по столу, что бутылки опрокинулись. Два других безмолвных офицера — молодые поручики — едва успели их подхватить на лету.— Я не желаю больше слушать ваши пакости.

Из этих разговоров Осокин понял, что белые в этих местах с кем-то зверски расправились; может быть, с кем-нибудь из тех, кого он знал, а если и не знал, то все равно это был его товарищ по революционной борьбе: красноармеец ли, командир, комиссар.

Контрразведчик Барский тем временем налил себе в стакан из бутылки, выпил залпом, усмехнулся:

— Что ж, живодер так живодер. Учтите, господин подполковник, что после победы заслуги каждого из нас будут подытожены, им определят должную цену. И поведение каждого получит свою оценку. Вы будете выглядеть в весьма и весьма непривлекательном свете.

— С такими, как вы, нам не видеть никакой победы.— Ларионову явно надоел разговор с контрразведчиком.— Какого черта вы увязались за нами? И без вас тошно.

Стрельба со стороны Выры все усиливалась. В суетливый стук винтовок вплетались четкие очереди пулеметов.

В деревне, постепенно переходя в суматоху, началось торопливое движение пеших, конных, катящих на подводах. И когда, туго провыв, на огородах рванули два артиллерийских снаряда, бестолковая суета превратилась в общий панический бег.

Ларионов встал:

— Вот вам, болван, ваши языки и уши! Вы за них поплатитесь. Нас сомнут разъяренные красные.

Барский, вскочив, схватился за кобуру.

Взялся за кобуру и Ларионов.

Они постояли так несколько секунд. Барский, трясясь от ярости, Ларионов, прислушиваясь к гулу все приближающегося боя.

Два новых, еще более близких разрыва предотвратили стычку офицеров. Ларионов повернулся и вышел за палисадник на улицу. За ним последовали оба поручика. На улице раздались команды, конники повспрыгивали в седла, застучали копыта, отряд поскакал по дороге на Выру, навстречу бою.

Барский остался в одиночестве за столом среди двора. Глядя, как под стол, ему под ноги, нахально лезут куры во главе с пестрым петухом, он наполнил вином еще один стакан — выпил. И еще один, и еще, пока не опустела бутылка. Хотел взяться за следующую, но во двор вбежал запыхавшийся подпоручик:

— Капитан, капитан! Вы что? Красные рядом!..

Барский оправил свой английский френч и, пошатываясь, пошел к калитке. С помощью подпоручика он коекак взгромоздился на коня, и оба — он и подпоручик — неторопливо порысили в сторону, противоположную той, куда ускакал со своим отрядом подполковник Ларионов.

Выстрелы гремели уже, казалось, в самой деревне. Осокину даже слышались похожие на «ура», пока еще далекие, но дружные стоголосые крики. Пора было покидать сарай и тоже вступать в бой.

Выбрались через брешь назад, в малинник, подползли к забору и стали ждать своего часа, если такой час наконец-то придет, на их счастье.

Панический бег белых через Большое Заречье в сторону Старых Раглиц и Калитина, а следовательно, прямым ходом на Волосово, все убыстрялся. Проносились телеги, ошалевшие возницы которых нахлестывали вожжами и без того шальных лошадей, пролетали одиночные конники, бежали пешие солдаты, некоторые уже без винтовок — то ли потеряли, то ли бросили.

Красная артиллерия целила теперь не только по деревне, но и по дороге, по которой, покидая деревню, отступали белые.

— Чего делать-то? — спросил Егор Козлов. — Пора бы и нам начинать, товарищ Осокин.

— Боязно,— отозвался Степан Озеров.— Найдут по стрельбе, кишки выпустят.

— Так рассуждать, оно и на печи лежать боязно. Вдруг свалишься.

— Давайте, ребята,— решился Осокин.— Давайте стрелять их поодиночке. Прицельно. Подождем только нового снаряда, и за ним сразу...

Снарядов ждать пришлось недолго. Разрывы ухнули среди домов. И тогда выстрелил из своей винтовки Козлов. Он целил в солдата на подводе. Но, видимо, промахнулся. Услыхав близкий выстрел, солдат еще пуще подхлестнул конягу. Пешие шарахнулись на другую сторону улицы. А когда за винтовкой Козлова заговорили и две другие, не столько поражая кого-либо насмерть, сколько наводя еще большую панику, в улицу, отстреливаясь на скаку, влетели остатки конников Ларионова. Их было уже не более десятка. Не останавливаясь, они пронеслись по улице в сторону Волосова. А следом, по их пятам, паля во все стороны, бежали красноармейцы.

Несколько часов спустя Осокин и Павел Благовидов стояли над обезображенными телами Ракова, Таврина, Купше, троих комиссаров батальонов 3-го Петроградского полка, многих других коммунистов, два дня назад погибших в селе Выра. Останки героев, поднятые из общей ямы, красноармейцы укладывали в изготовленные сельскими столярами простые сосновые гробы, обтянутые кумачом.

Осокин и Благовидов встретились в Большом Заречье, где разгоряченные боем красноармейцы захватили группу Осокина и чуть было ее не прикончили. Хорошо, что Осокин успел разодрать гашник и извлек свои чекистские документы. Но даже и тогда красноармейцы еще не успокоились. «Может быть, это фальшивые бумаги,— рассуждали они вслух,— а три типа с погонами беляков в карманах — белогвардейские шпионы». Всех троих доставили к командиру бригады Особого назначения, с которой шел в наступление и Павел Благовидов.

Алексей Лабзаев выполнил приказание товарища Ракова. Пока мятежники зверствовали на улице, он вышел во двор, дошагал, насколько смог спокойно, до дощатого отхожего места в углу огорода, завернул за него, при-

гнулся в канаве у плетня и так, канавой, скрываясь за плетнями, добрался до кустов; кустами же достиг леса, а в лесу со всех ног припустился в сторону Варшавской железной дороги. К середине дня он уже был в Гатчине. К Сиверской немедленно были брошены части 6-й дивизии. Сколько нашлось, 7-я армия дополнила сил из своих резервов. Бой был упорный, долгий. Белые уступать захваченное не желали. Но уже на третий день красные оттеснили их от Сиверской, вышибли затем из Выры и погнали в сторону Волосова.

Благовидов рассказал Осокину о мятеже бывших семеновцев. Подробности этого кровавого события Благовидову сообщили красноармейцы, которых мятежники не успели прикончить. От них же стало известно и о том, что было после мятежа. Как только белые покончили с командиром и комиссаром полка, с комиссарами батальонов и когда застрелился Раков, офицерье выстроило батальон среди сельской улицы, будто на плацу для парада. Зайцев объявил перед строем о том, что отныне командир полка — он. Оркестр грянул Семеновский марш, и вчерашние красноармейцы, нежданно-негаданно ставшие солдатами белой армии, проследовали перед новым командиром церемониальным маршем.

Дальше пошло уже не так гладко. Красноармейцы, хоть они и превратились в солдат, были взволнованы, потрясены зверствами, какие офицеры и местное кулачье сотворили над прежними командирами, над комиссарами, над коммунистами, и стали — кто поодиночке, кто сбиваясь в малые группки — разбегаться из Выры. Тем временем к Сиверской и Выре все подходили новые красные части. Бывшие семеновцы сражались плохо. В помощь им белое командование гнало отряды из Калитина и Волосова. Но уже ничто не могло спасти изменников, час расплаты приближался.

Благовидов с Осокиным сидели на ступеньках крыльца того двухэтажного дома с башенкой, в котором так геройски погиб Александр Семенович Раков, молча курили, думали о жизни. Из нее ушел их боевой товарищ. Кто знает, когда, в какой час настанет очередь каждого из них? Битва, начатая в октябре семнадцатого года, не только не закончилась, но все больше, все жарче разгорается на юге, на севере, на востоке, на западе Советской республики, и сколько еще потребует она жизней для полной своей победы?

В своем просторном смольнинском кабинете раздумывал о жизни и руководитель Петрограда Григорий Зиновьев. Среди других бумаг на столе перед ним лежала копия телеграммы, переданной из Москвы Сталину. Два дня бумага эта не дает ему покоя.

«Петроград, Смольный, для Сталина»,— вновь и вновь всматривался в ее текст Зиновьев.

«Вся обстановка белогвардейского наступления на Петроград заставляет предполагать наличность в нашем тылу, а может быть и на самом фронте, организованного предательства. Только этим можно объяснить нападение со сравнительно незначительными силами, стремительное продвижение вперед, а также неоднократные взрывы мостов на идущих в Петроград магистралях. Похоже на то, что враг имеет полную уверенность в отсутствии у нас сколько-нибудь организованной военной силы для сопротивления и, кроме того, рассчитывает на помощь с тыла (пожар артиллерийского склада в Ново-Сокольниках, взрывы мостов, сегодняшние известия о бунте на Оредеже). Просьба обратить усиленное внимание на эти обстоятельства, принять экстренные меры для раскрытия заговоров.

Ленин»

Над чем же раздумывает Зиновьев? Что так заботит его, от каких мыслей в тесную гармошку сжалась кожа на бледном лбу?

Сталин проинформировал Москву, Ленина, минуя его, Зиновьева. У Сталина свои информаторы, он не ходит за сведениями к Зиновьеву. Кто же они? Что за люди? Телеграмма Ленина подана двадцать девятого мая. Семеновцы затеяли мятеж в селе Выра двадцать девятого мая утром, и в тот же день Ленин узнал об этом: «Сегодняшнее известие о бунте на Оредеже». Он, Зиновьев, здесь, в Петрограде, в семидесяти верстах от Выры, от Оредежа, и ему ничего еще не было известно. А Ленин там, за семьсот верст, в Москве, уже все знал. Так жить и работать невозможно.

Зиновьев не в первый раз старался припомнить лица тех, кто был ему неприятен и кто мог бы вот так обходить его стороной. То возникнет энергичное, волевое лицо Шатова, то вспомнится худощавый, с хитрым прищуром Щукин. И даже мелькнул в мыслях неразговор-

чивый, по себе на уме Благовидов, который — о том сообщалось Зиновьеву тоже уже не раз — изволит иметь, видите ли, свое мнение по важнейшим вопросам защиты Петрограда.

Лицо Павла Благовидова увиделось Зиновьеву не напрасно. Едва Алексей Лабзаев достиг Гатчины в день мятежа семеновцев в Выре, как именно Павел немедленно отстучал телеграмму особоуполномоченному Совета Обороны республики Сталину о том, что принес с собой Лабзаев. А Сталин в свою очередь тотчас телеграфировал в Москву; в телеграмме, в частности, отмечалось:

«Немедля передайте Ленину или, если нет его дома, Склянскому следующее. Сегодня утром после начатого нами усиленного наступления по всему району один полк в две тысячи штыков со своим штабом открыл фронт на левом фланге под Гатчиной, у станции Сиверской, и со своим штабом перешел на сторону противника».

«Ну, ну,— подумал Зиновьев, раздраженно отбрасывая в сторону снятую для него помощником копию телеграммы Ленина Сталину,— мы еще с вами поговорим, любезные. Шутить изволите? Дошутитесь».

27

Илья Благовидов сидел на берегу одной из речек, коим нет числа под Петроградом, бросал в воду свежие сосновые щепки и смотрел, как быстро уплывают они по течению.

На исходе вторая неделя с того дня, когда, надев стеганку и высокие сапоги, прихватив саквояжик с принадлежностями для бритья и парой чистых сорочек, приготовленных ему Ириной, он вышел из дому, чтобы специальным поездом выехать на ремонт железнодорожного моста возле Пудости.

Мост был приведен в порядок менее чем за трое суток. Работали не отдыхая, не ложась спать, потому что окончания их работы ожидали, нетерпеливо пыхтя у семафоров, спешившие к фронту воинские эшелоны.

Вот он, этот специальный поезд, стоит за спиной Ильи на невысокой песчаной насыпи: вагон — слесарная мастерская — большой, длинный пульман, рядом —

зеленый пассажирский вагон третьего класса, который превращен в жилье для бригады ремонтеров, дальше — платформа с двутавровыми стальными балками, с бревнами, досками, лебедками и еще две красные теплушки с иным необходимым ремонтникам скарбом. В одной из них, между прочим, и кухня — несколько котлов на кирпичном основании, возле которых бодрствует курносая, щекастая стряпуха Семеновна. Она постоянно занята тем, что или помешивает длинной деревянной мешалкой в котлах, или что-то в них сыплет — пшено или ядрицу, сушеный картофель, чечевицу. Поэтому, проходя мимо вагона с кухней, мало какой из ремонтеров, заглянув в распахнутую дверь, не пропоет бодрое: «Эх, сыпь, Семеновна, да подсыпай, Семеновна!..» — «А у тебя, Семеновна, да юбка-клеш, Семеновна!..» — когда у нее хорошее настроение, откликнется этак стряпуха. Если смолчит, значит, дела ее неважные — нечего, значит, сыпать в котел.

Ремонтный отряд, в котором работает Илья, составлен из опытных мастеров. Кто с заводов, кто из железнодорожных мастерских. А плотники — те из саперной воинской части, красноармейцы. У них и винтовки с собой — на случай нападения, которое никогда не исключено. Всем известно, что белые наступают от Нарвы вдоль побережья Финского залива, от Ямбурга — к Гатчине и Красному Селу; неспокойно под Псковом, у Белоострова, на северных озерах. Да и в самом Петрограде есть пособники белых. Почему две недели не может попасть домой Илья, бесконечно длинные дни и ночи не видит он свою Иринушку? Да потому, что, едва был отремонтирован мост возле Пудости, отряду тотчас пришлось отправиться под Вырицу — и там кто-то взорвал мост. А это вот третий, возле которого сейчас стоит их поезд.

Место оказалось бойкое. День и ночь, так же как ремонтеры, без сна и отдыха по берегам безымянной речки копают, ворочают землю прибывшие с экстренными поездами петроградцы: готовят окопы для пехоты, позиции для артиллерии. Живут они в землянках, в палатках, а кто и в шалашах. По ночам всюду костры, огни, возле них разговоры. Днем стук лопат и топоров. Эти люди здесь уже работали, когда прибыл поезд Ильи. Мост взорвали, перепугав их всех среди ночи, позавчера. Сильным зарядом динамита разнесло каменные

береговые опоры, искорежило пятки главных балок, стальное полотно осело от этого в воду.

На моторной дрезине приезжали представители штаба 7-й армии, приезжали из Петроградской ЧК, осматривали разбитые опоры, склоны насыпи, шарили по окрестным кустам, расспрашивали Илью, как и кто, по его мнению, мог это сделать. Илья сказал, что с таким умением произвести взрыв могли только специалисты и взрывного и мостового дела, но не случайные налетчики.

И вот тяжело и торопливо стучат топоры за его спиной, скрипят сверла, проедая в металле дыры для заклепок, шуршат пилы, грохочут молотки. Осевшие балки еще вчера были подняты из воды лебедками и домкратами. Их выправили, выровняли, укрепили. Теперь ставят на место. Завтра, Илья рассчитал, по мосту можно пускать поезда. А дальше что? Громыхнет еще один мост где-нибудь на Ижоре или Суйде, и снова ремонтному отряду в путь, снова круглосуточная спешка.

Илья раздумывал о своей Иринушке, представлял мысленно, как ей трудно и страшно одной в их просторной квартире. В бумажнике у него всегда хранилась ее фотографическая карточка, обернутая в пергамент. Карточку эту он никогда не вынимал из бумажника, он давно изучил каждую черточку на Ирининном лице, ему достаточно провести ладонью по карману, нащупать там бумажник, чтобы увидеть Иринушку так, как если бы она чудом явилась перед ним живая, с ее глубокими глазами, красивой шеей, с продуманно-строгой эффектной прической.

Одну за другой бросал Илья щепки в быструю воду, вода вздрагивала, мелко рябила, и в этой ряби тоже виделось ему все оно же — лицо Ирины.

Как удивился бы инженер Благовидов, если бы, пройдя вдоль речки туда, где копались петроградцы, увидел среди них не меньшего, чем он сам, знатока мостостроительного дела, вместе с ним, Ильей, восемь лет назад окончившего Путейский институт. Инженер Игумнов тоже был в высоких сапогах, в заношенной куртке и суконном старом картузе. Под курткой — сатиновая косоворотка, опоясанная ремнем с медной бляхой. Не то мастеровой, не то городской обыватель. Рядом с Игумновым не слишком ловко ковырял землю шанцевой лопатой плотный седеющий человек с обдутым весенним

ветром, крупным, темным лицом. Ни Игумнов, ни его сосед не слишком усердствовали в работе, подолгу отдыхали, курили, ходили к речке напиться свежей проточной воды.

Увидев этого второго, седеющего, плотного, если бы так могло случиться, уже удивилась бы Ирина. В квартире Виктории Федоровны его называли при ней Романом Антоновичем. А Горчилич, рассказывая о том, что Роман Антонович — один из тех, кто пытался спасти царскую семью от гибели, назвал его и по фамилии — Незнамовым. Полковник Незнамов.

Но и Илья и Ирина поудивлялись бы только одну первую короткую минуту, не долее. Время на земле стояло такое, когда прапорщики командовали армиями, а генералы из-под своей генеральской полы продавали сахарин, работницы с ткацких фабрик заседали в Советах, верша государственные дела, а молодые, гордые графини, дабы не умереть с голоду, стараясь лишь хоть слегка прикрыться видимостью светской жизни, ложились в постель с казачьими сотниками и подхорунжими, с бакалейщиками и сахарозаводчиками. В восемнадцатом году тысячи буржуев были привлечены к общественным работам, тоже вот так копали землю, пилили дрова, чинили мостовые на улицах. Кто знает, может быть, инженера Игумнова и полковника Незнамова Петроградский Совет прислал сюда отработать неотработанное своевременно. Кто станет об этом расспрашивать, интересоваться этим?

Среди дня объявили отдых. Игумнов с Незнамовым отошли подальше к бережку, каждый из них развернул газетный сверток с дневным пайком, розданным еще утром: у того и у другого было по половине рыжей селедки, по куску тяжелого, непропеченного хлеба, а еще и по обломку подсолнечного жмыха. Незнамов постучал жмыхом о каблук сапога: звук был — как доской по доске — деревянный. Оба переглянулись, усмехнулись. Оглядываясь, не видит ли кто, достали из-под этих непривлекательных кусков завернутые в белую писчую бумагу кружки копченой колбасы, пачки галет, кубики сахара. Ели они аппетитно, не торопясь, запивая водой, зачерпнутой котелком в речке. Под конец Незнамов разломил надвое плитку французского шоколада. Бумажную обертку с золотым тиснением он сжег над пламенем зажигалки, а фольгу скатал в тугой серебряный шарик

и бросил в речку; шарик блеснул там, как рыбка, и ушел на дно.

Инженер и полковник не разговаривали, молчали. О чем могут говорить и вообще могут ли говорить два голодных, истомленных человека!

Солнце первых дней июня никак не хотело уходить за горизонт. Даже опустившись к горизонту, оно еще долго не спеша катилось дальше к западу, почти по самой зубчатке темных лесов. По земле от каждого предмета тянулись поэтому длинные, в десятки саженей, сине-лиловые тени.

В этот вечерний час ремонтеры собрались возле вагона с кухней. И слесари тут были, и железнодорожники, и красноармейцы-саперы. Брякали ложками о котелки, приканчивали ужин. Молодой слесаренок с Балтийского завода, то и дело утирая нос о рукав гимнастерки, играл на двухрядной гармони. Два его приятеля складно пели под немудреную пиликающую музыку:

Серая свита
И серый картуз,
Полбашки обрито,
И бубновый туз.
Две пары портянок
И пара котов,
Кандалы надеты,
И в Сибирь готов!

Пели они долго, жалостливо, излагая предлинную и невеселую историю молодого каторжника. Никто их не перебивал, никто не мешал. Семеновна, сидя на ступеньках лесенки, приставленной к ее вагону, не скрываясь, не отворачиваясь, лила горючие бабьи слезы в грязный поварской фартук.

Выйду за ворота,
Мать моя сидит,
Она слезно плачет,
Сыну говорит:
— Сын ты мой, сыночек,
Сын мой дорогой,
Что же ты наделал,
Сын мой, над собой?

— Ладно вам! — не выдержав, сказал пожилой железнодорожник в форменной фуражке.— Хватит людей-то за душу тянуть. Веселую бы какую сыграли.

Взялись за другую, но дело не пошло: никто не знал ни одной веселой песни до конца, начинали, сбивались и бросали. Позевывая, стали расходиться, полезли в вагон, укладывались на жесткие матрацы, каждый на своей полке. Решено было поспать не долее чем до пяти утра. Петроград торопил. К завтрашнему вечеру мост должен быть сдан.

Илью мучила тоска по Ирине, думал он и о брате своем Павле. Вспоминал детство, себя и Павлушку мальчишками, бранчливого отца, а потому и не менее бранчливую мать. Павлушка постоянно схватывался с родителями, упрекал их в несправедливости и, когда его лупили за правдолюбие, стойко выдерживал трепку. Ему же, Илье, всегда хотелось, чтобы в семье никогда и никаких не возникало ссор, были бы мир в ней и спокойствие. Но сделать так не удавалось, за миротворчество свое он тоже, как ершистый Павел, все равно получал оплеухи и где-нибудь в чулане, на чердаке, в сарайчике с курами плакал от обиды.

Вокруг Ильи разноголосо храпели его ремонтеры, а он все ворочался с боку на бок, сон к нему не приходил. Не выдержал, в конце концов встал, вышел из вагона на воздух. Вечерняя заря переходила в утреннюю. Небо высилось над землей все в алых, голубых и синих акварельных тонах. Там, где оно было синим, еще золотилось несколько звездочек. В окрестных лугах с мудрой неспешностью перекликались дергачи. Над рекой тянулся парок, вода была спокойна, и в ней всплескивали рыбы. Илья мечтал о хорошей рыбной ловле с детства. Но в детстве мечта эта не осуществлялась потому, что не было ни крючков, ни лесок: родители не позволяли транжирить деньги на глупости. Потом, когда и деньги появились, не стало времени. А если и выпадало время, то лавливались невзрачные окуньки да плотвички. А вот так, чтобы вытащить большую, настоящую, рвущуюся из рук рыбину,— это всегда оставалось лишь мечтой. Жаль, что сейчас нет под руками никаких снастей,— заветная мечта могла бы наконец осуществиться: вон какие подскакивают в воде под мостом толстоспинные красавцы. Язи, наверно, или щуки.

Илья присел на свежее, пахнувшее смолой бревно, которое плотники уложили днем на каменный устой под выправленную ферму, и смотрел в воду, плавно утекающую туда, под искалеченный и вновь восстановленный

мост. Он небольшой, этот мостик, всего несколько саженей от берега до берега. Но от него зависит деееспособность железнодорожной магистрали длиной в сотни километров.

Вода перед глазами бежала, бежала, плыла и плыла, и вместе с нею уплывал в налетавший сон и Илья, поклевывая носом.

Удар по затылку чем-то жестким, оглушающим сбросил его с бревна под откос. Он поплыл дальше, но уже не среди приятных, ласкающих волн сна, а в багровом, жарко опалившем голову густом тумане. Он слышал обрывки слов над собой. Но, может быть, слов и не было, может быть, их наносило тем огненным туманом.

Потом вокруг резко, тяжело дрогнуло, встряхнулось. Илья ощутил от этого новый удар — в грудь. И больше уже не ощущал ничего.

Шевеля светлыми бровями, Ян Карлович стоял возле вторично обрушенного в воду моста на этой важной дороге. Подошедшая из Петрограда санитарная летучка только что увезла убитых и раненых. Их было, кроме инженера Благовидова, еще пятеро. У вагона, в котором спали ремонтные рабочие, вырвало стенку. Двоих взрывом динамита поразило насмерть, трое были искалечены.

Осмотр местности вокруг моста результатов не дал. Помощники Яна Карловича исползали каждый квадратный аршин насыпи, осмотрели оба берега реки. Взрывная волна смела все следы, уничтожила возможные вещественные доказательства ночного преступления.

Чекисты отправились туда, где производились фортификационные работы, беседовали с одним, с другим, с третьим. Да, все слышали, конечно, как ночью, вернее, уже на рассвете, громыхнул сильный взрыв, не услышать его было невозможно. Многие видели и столб дыма, земли, обломков над мостом. А больше — нет, ничего.

— Ян Карлович! Ян Карлович! — позвал один из молодых чекистов.— Что нашел! — В руках его был смятый окурок папиросы, который чекист вытащил из торфянистой рыхлой почвы.— Глубоко был втиснутый. Еле заметил.

Ян Карлович взял окурок, положил на свою вместительную ладонь. Из надписи на мундштуке следовало, что папироса была иностранная. «Эксцельсиор»,— прочел он вслух. Затем спросил обступивших его людей, есть ли у них старший.

Привели двоих.

— Мы оба старшие. От райсовета. В чем дело?

— Кто у вас курит такие папиросы? — Ян Карлович показал райсоветчикам окурок.

Те весело рассмеялись.

— Папиросы?! Да откуда теперь папиросы, товарищ! Загибаешь.

— Пусть подходит каждый, и пусть каждый смотрит,— сказал Ян Карлович и положил окурок на опрокинутое вверх дном цинковое ведро.

Сто восемьдесят человек — группами, по одному — подходили посмотреть. Все разводили руками. Ни сами они, ни кто-либо из их товарищей таким роскошным куревом не баловался. Но когда стали оглядываться да приглядываться, мало-помалу определилось, что нескольких человек в рабочем отряде недостает. Вот был такой седоватый, коренастенький да еще и второй, все глазами моргал, будто песок у него под веками. Не больно оба нажимали на лопаты, все больше покуривали да посиживали. Но покуривали-то, кажись, обыкновенное, как все,— самокрутки.

Еще пооглядывались и еще двоих недосчитались.

Ян Карлович завернул окурок в бумагу, положил в карман куртки.

— Что ж, спасибо,— сказал и, позвав жестом руки своих помощников, пошагал к ожидавшей их на полотне дрезине.

28

Шли трудные дни самого трудного для революции года. Далеко в Сибири, в Омске, адмирал Колчак, объявивший себя «верховным правителем России», под диктовку французских, английских и американских генералов и полковников, которые представляли при нем Антанту, быстрой нервной рукой набрасывал на листе хрусткой бумаги с узорными водяными знаками пространную телеграмму генералу Юденичу в Гельсингфорс. Из телеграммы явствовало, что с этого исторического дня Юденич

главнокомандует «всеми Российскими вооруженными и морскими силами, действующими против большевиков в Прибалтике».

В Лондоне и Париже военные стратеги, а особенно политиканы-премьеры, водя пальцами по географическим картам, с удовольствием следили за тем, как стрелы наступающей к северу колчаковской армии Гайды где-то выше Перми смыкаются с интервентскими войсками, идущими со стороны Архангельска, как финны охватывают Петроград с востока, как Деникин устремился от Ростова к Харькову, Курску, Орлу, Туле и в конечном счете к Москве. Удар из Прибалтики, со стороны Нарвы и Пскова, обеспечит быстрое взятие Петрограда. У России, истерзанной большевиками, еще до освобождения Москвы будет наконец-то своя, подлинная, историческая столица, не какая-нибудь Самара, Уфа или Омск. Воспрянут все, кто способен держать в руках оружие, все, кто пал было духом и потерял надежду на возрождение родины.

Телеграмма «верховного правителя», датированная пятым июня, отправилась в дальний путь, огибая вокруг Юго-Восточной и Южной Азии добрую половину земного шара. В Европе ее перехватят правительственные кабинеты. Тринадцатого июня сообщение о ней появится в лондонской «Таймс», и только четырнадцатого представители союзнических миссий в Прибалтике торжественно вручат ее Юденичу в отеле «Societethouset».

Но Северный корпус Родзянко, как бы чуя грядущие события, уже четвертого июня, в канун того дня, когда адмирал Колчак ставил подпись под своей телеграммой, перешел, собрав все наличные силы, в новое наступление со стороны Ямбурга и Нарвы. В последнюю неделю он был отброшен от многих захваченных к концу мая рубежей. Сводная Балтийская дивизия вышла через Котлы на Ямбургское шоссе и погнала белых к Веймарну и Ямбургу. 6-я дивизия, в составе которой действовала бригада погибшего комиссара Ракова, осуществив свой фланговый маневр, выбила противника из Кикерина на железной дороге Гатчина — Ямбург.

Но теперь, с первыми июньскими днями, казалось, что вновь все оборачивается в пользу Северного корпуса. Восемь тысяч штыков и восемьсот сабель бросил четвертого июня в бой генерал Родзянко. В его войсках появились ныне и отряд белофиннов, и набранные в

Стокгольме шведские добровольцы, отлично экипированные и вооруженные. Пятого июня в районе Белоострова границу перешли части регулярной финской армии Маннергейма. Опять зашевелились финны в Прионежье. В Пскове, распоряжаясь очередной казнью на Сенной площади, «батька» Булак-Балахович кричал: «Вперед, на Торошино и дальше — на Москву!»

Северный корпус клином вошел меж флангами сводной Балтийской и 6-й дивизий, где никакой сплошной линии фронта не было; отряды белых стали быстро растекаться по тылам красных частей, порождая среди них беспорядок и панику. Красные стали откатываться.

В ночь на девятое июня Зиновьев, только что возвратившийся из штаба действующих боевых кораблей, где, пожалуй, уже в десятый раз вел разговоры о потоплении Балтийского флота, лишь бы не отдать его врагу, с нескрываемым злорадством перечитывал копию полчаса назад отправленной Сталиным телеграммы Ленину.

«Учитывая положение на других фронтах,— бежали его глаза по строчкам,— мы до сих пор не просили новых подкреплений. Но теперь дело ухудшилось до чрезвычайности... Питер висит на волоске. Для спасения Питера необходимо тотчас же, не медля ни минуты, три крепких полка».

Зиновьев несильно стукнул кулаком по столу. «Завертелся самоуверенный кавказец! А то расхаживал тут, пыхтел трубкой и грозился Центральным Комитетом. Пусть поплящет теперь. Мы-то, питерцы, будем сражаться. Питерцы — народ крепкий. Если и оставим Петроград, то не без боя. Рабочие выйдут на баррикады как один. А вот вы, господин хороший, что запоете, когда дойдет до уличных боев? «Три полка»! Как раз — будут вам эти полки! Где возьмет их Москва?»

Ничего не понимал этот человек, ослепленный злобой против тех, кто, как ему думалось, его недооценил. Если бы он только мог увидеть Ленина в те минуты!.. Председатель Совета Обороны республики не покидал своего рабочего кабинета. Стучали телеграфные аппараты, звонили телефоны. Следовал приказ:

— Немедленно в Седьмую армию три полка!

За этим приказом — новый:

— Помочь Питеру с Восточного фронта!

Реввоенсовету Восточного фронта идет разъяснение:

— Иначе нельзя.

Десятого июня Центральный Комитет вынес решение признать петроградский участок фронта первым по важности. Ленин предупреждал:

— Полки, идущие в Питер, должны быть абсолютно надежны!

Центральный Комитет требовал усилить контроль над военспецами в войсках, обороняющих Петроград.

Враг наступал. Но навстречу ему уже шли новые полки и отряды, катились бронепоезда, выходили в море балтийские крейсеры и эскадренные миноносцы, рабочие на заводах вступали добровольцами в Красную Армию, из них составлялись роты, батальоны, артиллерийские батареи и дивизионы. На фронте если одни части и поддавались панике, бросали свои позиции, то другие стояли на рубежах насмерть. От многого это зависело, и в немалой мере от комсостава. Где не было внутренних врагов, где не было предателей, там никто не пускался в бегство. Составляя Комитету обороны доклад о положении в частях 7-й армии, Павел Благовидов особо отметил курсантов Первых Новгородских пехотных курсов командного состава. Их боевой отряд вдоль шоссе отходил от Ямбурга на Красное Село. Курсантам удалось закрепиться возле деревни Щелково. Сдержав врага, они по всем правилам военной науки оборудовали позиции и решили, что назад не сделают больше ни шагу, будут драться до последнего. Белые обтекли их с двух сторон, зашли в тыл и окружили. Курсанты и в таком положении не дрогнули. Они стали спешно перестраиваться для круговой обороны.

Офицерской группе белых все же удалось лихим штыковым ударом прорваться в деревню. Рассчитывая на панику, офицеры подожгли несколько домов, принялись стрелять в спины курсантам из ручного пулемета, швыряли гранаты. Казалось бы, ничего не оставалось третьего: или погибай, или, если сумеешь, разбегайся по окрестным лесам.

Энергичный, молодой комиссар отряда Иван Степанов отобрал два десятка курсантов для того, чтобы те окружили прорвавшихся офицеров, тем более что сделать это было нетрудно, так как офицеры засели в двух домах. Бой пошел как бы двумя кругами, в одном колесе вращалось другое колесо. Если большее, наружное,

кольцо направляло свой огонь вовне, то внутреннее, малое, било из винтовок внутрь, по тем двум домам. Будущие красные командиры-новгородцы сражались несколько часов. К ним в конце концов подошли другие части армии, со стороны Красного Села, и противник был отброшен.

Благовидов собирал скупые сводки из частей, то выезжая в них сам, то посылая нарочных, то накручивая ручку телефонного аппарата. Полной ясности положения на фронте требовал уполномоченный Совета Обороны республики Сталин.

Бои шли на шоссейных и железных дорогах, возле мостов через реки и речки, в селах, деревнях, на лесных просеках. Родзянко, прибывший из Нарвы в Ямбург, бросал в огонь свои последние резервы.

Белые штабы, белая разведка, белые генералы и полковники, генерал Родзянко с начальником штаба Северного корпуса генералом Крузенштерном, ревельское штатское болото, состоявшее из лиапозовых, карташевых, волконских и прочая, прочая, сам Юденич, еще не знавший, что он уже главнокомандующий белыми войсками под Петроградом, но постепенно входящий во вкус новой своей жизни, в окружении адъютантов, холуев, контрразведчиков, князей и экс-министров,— все они ждали еще и внутреннего взрыва в Петрограде, об осуществлении которого так много хлопотал загадочный помощник Юденича генерал Владимиров. Вот-вот должно было грянуть, вот-вот должно было свершиться. Лишь бы как можно ближе подойти к Петрограду.

Одиннадцатого июня по искровому телеграфу от одного из своих агентов в Кронштадте Владимиров получил скверное известие. Председатель Петроградской ЧК приказал: все жители Петрограда, не имеющие права на хранение оружия, обязаны сдать таковое к первому часу ночи четырнадцатого.

— Что-то пронюхали,— докладывал Владимиров Юденичу.— Это очень опасно. Это означает, что по истечении указанного срока начнутся массовые обыски, Николай Николаевич. Уж поверьте мне, я-то знаю.

— А что делать? — Юденич раздувал усы.

— Усилить натиск. Ускорить события. Надо, чтобы генерал Родзянко...

— Он строптив, этот ваш генерал! — перебил Юденич.— Сам узурпировал командование корпусом, а когда

ему не то что приказание — простой совет дашь, рассматривает его как ущемление своих прерогатив.

— Надо повлиять на англичан, на адмирала Коуэна. Его эскадра...

— Англичане!..— Юденич грузно ерзал в кресле.— Да они же — вся история говорит нам об этом — лишь тогда вступают в дело, когда оно абсолютно верное, и только на том этапе, когда оно уже завершается. Англичане будут выжидать. Сначала им нужен наш крупный успех.

— Но нельзя же смиренно ждать неожиданного удара.

Юденич молчал.

Осокин и Ян Карлович сидели возле постели Ильи Благовидова в госпитале. Голова его еще была в бинтах, но глаза уже смотрели с обычной ясностью и добротой. В первые дни состояние Ильи было очень тяжелым: врачи установили сотрясение мозга из-за сильного удара в голову, но, по счастью, чем-то не металлическим, а деревянным — поленом, может быть, толстой палкой или прикладом винтовки.

Несколько ночей возле него провела Ирина. Теперь опасность миновала. Илью посещали его товарищи из Петросовета, на несколько минут раза два-три заезжал Павел. Ирина приходит каждый день, грустно сидит перед койкой, гладит его руку, улыбается, но почти не открывает рта — все молча да молча.

— Вы, пожалуйста, меня извините, товарищ Благовидов,— заговорил Ян Карлович.— Но мне хотелось бы, чтобы вы нам немножко помогли. Вы достаточно хорошо знаете профессора Завадского?

— Да, конечно,— ответил Илья.— Я у него учился. Именно он преподавал нам курс мостов.

— Вы бывали у него дома, в его семье?

— Случалось. Редко, правда. Очень редко.

— А когда вы были там в последний раз?

Илья поморщился.

— Примерно в марте. Может быть, в апреле. Плохо помню.

— Да, да,— согласился Ян Карлович.— Такой удар. Знаю, знаю.

— Не в этом дело! — Илья отрицательно повел рукой.— Я должен вам сказать, товарищ, что в нашей институтской среде и позже, в среде инженеров, фискаль-

ничанье или доносительство всегда считались и считаются одним из мерзейших пороков человека.

— Но это же не то, не то,— запротестовал Ян Карлович.— Как вы не хотите понять, товарищ Благовидов! Это не доносительство, это помощь народу, помощь революции против контрреволюции.

— Не все средства хороши, нет, — стоял на своем Илья.— Помогать надо открыто, честно, а не так.

— Илья Андреевич,— вступил в разговор Осокин.— Вы только скажите, кто там был и о чем шел разговор. И все.

— Ах, товарищ Осокин, товарищ Осокин! — Илья качнул забинтованной головой.— Этого-то я как раз и не скажу вам. Именно этого.

— Но почему?

— А потому что в Чека служите вы, а не я.

— Ах, товарищ Благовидов, товарищ Благовидов, отвечу я вам,— в тон ему сказал Ян Карлович.— Мне пришлось видеть вас возле взорванного моста. Страшно было смотреть на то, как вы были изувечены врагами. Но это лишь эпизод. А представьте себя в их руках. Разве бы они вас пощадили? Разве бы так вот рассуждали о чести и совести, о фискальстве? Пусть вам Осокин расскажет, что он видел у белых, что сам на себе испытал.

— Но мы не можем повторять их, этих ваших белых! — воскликнул Илья.— У них одна мораль, у нас она должна быть другой, совсем другой.

Ян Карлович встал с табуретки, молча пожал руку Илье и направился к двери.

— Зря вы так, Илья Андреевич, зря,— сказал Осокин и тоже вышел следом за своим начальником.

Спускаясь по госпитальной каменной лестнице, Ян Карлович говорил:

— Я не хотел бы, Осокин, чтобы этому хорошему человеку было плохо. Но ему, должно быть, мало разбитой головы. Он может дождаться от своих знакомых, которых так смешно и трогательно оберегает, еще и не этого. Жаль мне его, Осокин.

— Ян Карлович,— выйдя на улицу, сказал Осокин.— А знаете, все это очень сложно. Вот я видел офицера — я же вам рассказывал,— подполковника одного, там, возле Выры. Здорово он возмущался зверствами, какие творили его приятели. Еще бы маленько, и мог кокнуть капитана из контрразведки.

— Что же ты хочешь мне этим сказать?

— Как же, Ян Карлович, получается тут насчет того, хочу сказать, что если одна сторона никогда не примирится с другой, то какая-то из них непременно должна истребить другую?

— Ишь ты гусь, Костя Осокин! — Ян Карлович хмыкнул.— Тебе тот офицерик приглянулся? А он, может быть, просто слабый на нервы. Он хочет, чтобы всю грязную работу делали другие, а он бы ничего этого не видел. Откуда ты знаешь?

— А может, он считает, что воевать надо честно, без зверств?

— Тоже может быть. Есть, не спорю, и такие офицеры.

— Ну и что, их тоже к стенке?

Ян Карлович ответил, когда уже сели в автомобиль:

— Это хорошо, что ты над такими вопросами, Осокин, задумываешься. Но ты уж меня извини, не на все твои вопросы я смогу ответить. Каждый сам, по обстоятельствам, многое должен в жизни решать.

— А вот я... вы мне этого еще не сказали... правильно я решил, что не признался белым, кто я, а? Может быть, надо было сказать: коммунист, чекист, презираю вас, плюю в ваши морды.

— Там, в сарае-то? А кто бы тебя услышал?

— Ну те офицеры... Пленных красноармейцев было человек семьдесят. Белые солдаты...

— Все это ты должен был говорить в том случае, если бы тебя уже поставили к стенке. Вот тогда, Осокин, плюй во все морды и говори все, что успеешь сказать, чего не можешь не сказать. А если еще до стенки дело не дошло, не теряйся. Можно и смертью своей воевать за революцию — это когда уже больше нечем. Но все-таки жизнью воюется лучше. В общем, ты поступил правильно. Очень правильно. И товарищ Петерс так сказал, когда я ему о тебе докладывал.

К двенадцатому июня прорыв белых был остановлен. Ни на фронте, ни в Петрограде чуда, которого ждали не только в Гельсингфорсе, в Ревеле, Нарве, Ямбурге, но и в Париже с Лондоном, все не было и не было. Напротив, красные наносили один ответный удар за другим. В Петроград прибывали полки и отряды с других фрон-

тов республики, они тотчас вступали в бой, напористо громили передовые части врага, вырвавшиеся чуть ли не к самым подступам города. Уже угадывался благоприятный перелом в ходе боев. Красные части отбросили финнов под Белоостровом, задержали белых на дорогах к Красному Селу и Гатчине.

И тогда в ночь с двенадцатого на тринадцатое июня разразился мятеж на форту Красная Горка. Мятежников возглавил комендант форта — бывший поручик Неклюдов. Триста пятьдесят избитых, окровавленных коммунистов и верных Советской власти беспартийных краснофлотцев было брошено мятежниками в бетонные казематы Башенной батареи. С форта к финнам полетели радиограммы Неклюдова о том, что с этого часа Красная Горка в их полном распоряжении. Другой радиограммой предъявлялся ультиматум Кронштадтскому Совету о немедленной сдаче крепости. Сроку давалось пятнадцать минут, после чего форт откроет артиллерийский огонь. Ответа, конечно, не последовало, и мятежные орудийные башни загромыхали. Линейные корабли «Петропавловск» и «Андрей Первозванный» ударили по ним из своих двенадцатидюймовок. Мешкать нельзя было ни минуты. В Петрограде с полной ясностью сознавали, что означает потеря Красной Горки, переход ее в руки белых. Особоуполномоченный Совета Обороны республики Сталин настоял, и крупные силы войск и флота начали одновременную атаку с моря и с суши.

Но мятежники в тот самый день, когда Юденич получил телеграмму Колчака, как бы в ознаменование этого события успели на берегу реки Коваши расстрелять двадцать коммунистов. Гремели артиллерийские залпы по форту, тяжелые снаряды ломали его бетонные и стальные башни. Но гремели и залпы винтовок, нацеленных в грудь большевиков, комиссаров, красных командиров.

И в этот же день — так все совпало — истекал срок приказа председателя Петроградской ЧК о сдаче оружия в Петрограде.

29

Ирина под вечер вернулась из госпиталя от Ильи. Истомленная, она присела на стул возле окна, положила руки на подоконник, голова сама склонилась к рукам.

Стояло лето, теплое, с легкими свежими ветерками, от которых пахло морской водой; еще не было пыли, листва в парках, садах, на бульварах зеленела молодо; была она тоже пахучей, душистой; в комнату влетали составленные из многих запахов природы зовущие, тревожные ароматы.

В былые годы запахи эти, такие ветерки звали на дачу, в лесные, приморские окрестности Петрограда, куда-нибудь туда, где собиралось веселое, остроумное общество, о котором поэт Александр Блок так и сказал: «Среди канав гуляют с дамами испытанные остряки». А было, ездили Ирина с Ильей и годовалой Лялькой в Крым. Но в тот год уже началась война и чувствовалось, как на людей надвигаются беды и несчастья. А вот раньше, спустя год после свадьбы, когда они отправились в Кисловодск,— то были полтора чудесных месяца. Верхом ездили в горы, пили кислое, легкое вино в черкесских духанах, купались в шипучих, как шампанское, нарзановых ваннах. Вечером — курзал, концерты, оперетта, знаменитости и тоже остроумные, легкие общие беседы. Кто-то слегка ухаживал за ней. Илья, конечно, злился.

Ах, бедный, милый Илья... Ирина только что оставила его на несвежей госпитальной постели. Ему лучше, лучше. Слава богу! Как испугалась она, когда за нею приехали, повезли в госпиталь и показали ей его беспамятного, обмотанного кровавыми бинтами. У нее отнялись ноги, отнялся язык, руки повисли, бессильные и безжизненные. Она думала, что все кончено, что Ильи, ее доброго, хорошего мужа, у нее уже нет, и было от этого так страшно, что Ирине показалось, будто бы и она в тот миг умирает вместе с ним. Кто-то говорил какие-то слова: «Найдем гада, найдем, не волнуйтесь!», «За товарища Благовидова враги еще ответят, еще сами слезами умоются». Но разве она волновалась о том, как бы найти того «гада», который так искалечил Илью? Какое уж это все имело значение. Ничто уже не имело никакого значения.

И вот ему наконец-то лучше, господи, господи! Уходя от него, покидая госпиталь, она каждый раз видит провожающие ее, неотпускающие, любящие глаза. Уходить вот так, под этим взглядом,— пытка, мучение. В первое время ее оставляли возле него и на ночь. Она спала на соседней койке. Но это было очень неудобно, потому что в палате кроме Ильи лежали еще семеро больных и ра-

ненных мужчин, присутствие женщины их смущало, и, как только Илья пришел в сознание, ей уже не позволили ночевать в палате. Да она и рада была этому. Сама бы покинуть его не решилась, а коли нельзя, так нельзя.

Позже Ирина стала задумываться над тем, кто же мог так жестоко изранить Илью. Конечно, тот, кто пришел вновь взрывать восстановленный отрядом Ильи мост, это ясно. Но кто он был, кто? И беспокойно, больно пыла в сознании мысль о том, что она, Ирина, знает людей, скрывающихся от Советской власти, от ЧК, и вот сама в какой-то мере скрывает их от красного закона и даже от брата Ильи — Павла. Корзины и сундуки на антресолях — что это такое? Пьяный дом на Фонарном переулке, с вопящими переодетыми офицерами, с Вадимом Лужаниным, призывающим к мести, крови, убийствам,— чей это дом? А эта загадочная квартира Виктории Федоровны?.. Надо идти и все-все рассказать. Надо. Но кому? Кому об этом рассказать? Павлу? Павел мелькнул раза два в госпитале возле Ильи, и его вновь нет. Он все время на фронте. А еще кому? Ну хорошо, если даже и найдешь, кому рассказать, что получится из этого? Как объяснить, почему у нее в доме стоят эти проклятые корзины? Почему она не сообщила о них раньше? А потом появится Кубанцев, который, как сказал Горчилич, способен на все. Кубанцев убьет ее, убьет Илью. А если и никто никого не убьет, если все окажется не таким, как думает Ирина, то все равно начнет разматываться нить, дай только ЧК ее кончик; схватят Горчилича, Викторию Фёдоровну, многих других, и что скажут они о ней, Ирине Благовидовой, которая им казалась такой милой, приятной, интеллигентной, была из порядочной семьи. О боже, боже!

Ирина вздрогнула от звонка у входной двери. Она не ждала никого. Но звонок повторился, и она подумала, что, может быть, это Павел, подошла, спросила.

— Кубанцев беспокоит, Кубанцев,— услышала за дверью деланно добрый, ласковый, отвратительный ей голос.

— Что вам нужно? — сказала она растерянно.

— Вещички хотим забрать, Ирина Владимировна. И всего-то, всего.

Ирина почувствовала, как с души ее начал спадать тяжелый, давящий груз: наконец-то! Она отомкнула

засовы и задвижки и тотчас поняла, что сделала еще одну, очередную — в который уже раз! — грубую ошибку. За дверью, за спиной Кубанцева, стояли не двое-трое, как было прежде, а чернела там густая плотная толпа. Один за другим все эти люди входили в переднюю — их было не менее десяти. Впустив последнего, Кубанцев принялся сам тщательно запирать замки.

— Извините, извините, мадам,— говорил почти каждый из входивших. Они сбрасывали в передней картузы, непромокаемые накидки, куртки. Постепенно Ирина стала различать среди них знакомые лица. Кроме известного ей Кубанцева был здесь молодой краснолицый офицерик, конечно, по-прежнему переодетый, который в доме Виктории Федоровны порывался идти провожать ее; был и тот, о котором с уважением рассказывал ей Горчилич,— полковник Незнамов. Присутствие этого человека в ее доме показалось Ирине особенно страшным. Среди дурно пахнувшей махрой, грязной одеждой и сапогами толпы он был, несомненно, главным. Войдя в гостиную, он хмуро осмотрелся и тоном приказа сказал Кубанцеву:

— Где оружие?

— Сейчас будет, господин полковник.

Несколько человек полезли на антресоли, остальные же, не слишком церемонясь, растекались по Ирининым комнатам. Они проверяли замки на дверях черного хода, выглядывали в окна на улицу так, чтобы самих их с улицы не было видно, задергивали тюлевые гардины. Ирина не знала, что говорить, как себя вести. С волнующимся от тревоги и страха сердцем ходила она следом за этими людьми и чувствовала, что теперь-то уже в ее жизни гибнет окончательно все доброе, никакого иного будущего, кроме тюрем, решеток, крови, у нее нет.

— Успокойтесь,— сказал ей строго Незнамов, усаживаясь в гостиной на диванчике.— Так надо. Понимаете? Время суровое. Не до сантиментов. Посидите! — Он указал ей на кресло.

Но Ирина не села. Ее бил мелкий, отнимающий последние силы, самопроизвольный озноб. Она не могла сидеть. Незнамов и не настаивал.

— Мы проведем у вас одну ночь, и завтра нас здесь не будет. Всего одну ночь. Ротмистр Кубанцев поручился за вас. Сказал, что вы человек надежный, полностью

наш, преданный, верный родине, России. Это хорошо, благородно.

В коридоре тем временем брякнуло железо, обернувшись, Ирина увидела винтовки. Да, да, так она и чувствовала, что в корзинах Кубанцева находилась смерть для ее семьи, гибель. Кубанцев раздавал винтовки пришедшим. Этих пришедших Ирина наконец сосчитала — их было девятеро. На столах, на стульях появились пачки патронов. Все щелкали затворами, вгоняли обоймы в магазины винтовок, проверяли наганы и браунинги, вытащенные из карманов. Уютная, чистенькая квартира Ирины становилась похожей на военный лагерь, на казарму, на каземат какой-нибудь крепости. Незнамов распоряжался:

— У входной двери с парадной лестницы — двое. У черного хода — тоже двое. Извольте устраиваться на полу, как угодно, но чтобы с дверей не сводить ни одного глаза. Остальные рассыпьтесь по комнатам. Дежурство возле окон, тщательное наблюдение. Но чтобы и носа не показать тому, кто станет наблюдать за нами с улицы. Не сомневаюсь, что эта квартира в полнейшей безопасности. Но шутки черта общеизвестны, он не брезгает ничем, когда хочет пошутить. Примем бой. Если даже половина из нас погибнет, то вторая непременно должна вырваться из огня. Отходить через дворы. Ни в коем случае не вылезать на улицу. На улицах сегодняшней ночью будут просеивать всех сквозь мельчайшее сито.

— Я бы хотела уйти,— сказала Ирина.— Простите, но я женщина, и мне очень страшно.

— Увы, Ирина Владимировна,— с его обычной, сладко-насмешливо-ехидной улыбкой ответил Кубанцев.— Нельзя.

— Но почему? Вы остаетесь.— Она уже решила, что побежит на Гороховую искать какого-то друга Павла — Костю Осокина, о котором ей приходилось слышать в разговорах Павла и Ильи. Что будет, то будет,— пусть, но и так она жить уже не может.

— Нельзя, нельзя,— повторил Кубанцев.— Идите к себе в спаленку. У вас там уютненько, я заметил, и ложитесь спать. Дверцу, правда, не запирайте, пожалуйста. Иначе придется повредить замочек. Вы в полной безопасности, Ирина Владимировна, в полной.

Похрустывая суставами пальцев, которые она сплетала и стискивала в отчаянии, Ирина ушла. Она плотно закрыла за собою дверь. Но дверь, чего не случалось прежде, тотчас вновь отошла, образовав — едва просунуть спичку — щель. Ирина вновь притворила створку, и та вновь отошла на толщину спички. За дверью стоял Кубанцев.

— Вот так пусть. Вернее, — сказал он.

Ирина села в мягкое, с пуховой подушкой, свое любимое креслице возле постели.

— А не связать ли ее, ротмистр? — услышала она голос Незнамова. — Шутки черта общеизвестны.

— Не беспокойтесь, господин полковник. Беру на себя.

«Поздно, поздно, поздно»,— стучало в висках Ирины. Да, она опоздала со своими намерениями, со своими решениями. Как всегда, растратила время на колебания, сомнения, рассуждения.

Ирина не заметила, как задремала от усталости, от трудных переживаний. Она поняла это лишь, когда очнулась от спокойного, одинокого бархатного удара часов в кабинете Ильи. Было или половина какого-то часа, или первый ночной час. Определить невозможно, на улице светло — белая же ночь!

Стекла в оконных рамах задребезжали — по булыжникам мостовой тяжело прокатил грузовой автомобиль. Он остановился, застучали сапоги по камням, ударили кулаками в ворота. Ирина подошла к окну. Грузовой автомобиль стоял наискось от их дома на той стороне улицы. Десятка полтора вооруженных винтовками людей толпились у ворот. Среди них были матросы в пулеметных лентах, мастеровые в пиджаках, комиссары в кожаных куртках. Ворота отомкнули, вооруженные хлынули во двор.

— Отойдите от окна! — уже не прежним своим вкрадчивым тоном окликнул Кубанцев. — Вам сказано — ложитесь спать! Не укладывать же вас насильно.

Отошла, снова опустилась в кресло. Вслушивалась в шумы, в шаги на улице, в гулкие среди ночи оклики и команды. Видимо, уже шли пешие отряды. Да, да, это по приказу Петерса идут проверять тех, кто не сдал оружие. Приказ его объявлен еще позавчера.

Ирина слышала и торопливые шаги в коридоре своей квартиры. Люди Незнамова и Кубанцева перебегали от

черных дверей к парадным и обратно, от одних окон к другим. Она не слышала этого, но полковник Незнамов, стоя за дверьми в передней, различал каждое слово, сказанное на лестнице. Чей-то голос спросил там:

— А здесь кто квартирует?

— Здесь-то? — ответил, видимо, представитель домового комитета. — А здесь, не извольте беспокоиться, граждане-товарищи, инженер Благовидов из Петросовета. Контрреволюционеры его без малого чуть не насмерть зашибли той неделей-то. В госпитале он.

— А!.. — ответил первый голос. И все-таки в квартире раздался длинный, сплошной звонок.

Ирина вскочила, рядом с ней, держа наган в руках, тотчас появился Кубанцев.

— Сидеть! — крикнул он сквозь зубы, как кричат собакам. И толкнул обратно в кресло. — Убью, мадам, слышите?

В квартире все замерло. Ирина представляла себе, как каждый в ней вцепился в винтовку, и если кто-то сумеет открыть или сломать входную дверь, начнется такая стрельба...

Она тряслась от страха, не будучи в силах совладать с этой жуткой дрожью. А Незнамов все слушал с лестницы:

— Должно быть, в госпитале она. Ночевать там приходится. При супруге-то. Уж очень жестоко с ним обошлись.

Звонков больше не было. Ноги стучали на площадках других этажей.

В окнах Смольного — по всем этажам, во Дворце труда возле Николаевского моста, на Гороховой, 2, в зданиях районных комитетов партии, районных комендатур, районных Советов всю эту ночь, хотя и была она светлой, белой, не гасли огни. Двадцать тысяч коммунистов, революционных рабочих — мужчин и женщин, советских работников, чекистов, отрядами по пять, по десять, пятнадцать человек, одну за другой осматривали, до закоулков исследовали все взятые на подозрение квартиры бывших буржуев, генералов, крупных меньшевиков, эсеров, князей и баронов, загадочных представителей иностранных государств, даже и после отъезда посольств в Москву зачем-то оставшихся в Петрограде в их

обширных, роскошных особняках. Железные, твердые руки пролетариата выполняли указание правительства своего пролетарского государства и Центрального Комитета большевистской партии. Грохотали по городу грузовики все с новыми и новыми отрядами, шли и шли из улицы в улицу люди с винтовками за плечами и с наганами в руках. Надо было срубить голову гадине в Петрограде, прежде чем гадина оскалит свои зубы за спиной отбивающих внешний натиск врага полков и дивизий Красной Армии.

Возвращаясь в комендатуры, грузовики везли вороха винтовок, револьверов, ящики патронов и гранат. Растерянно смотрели на отнятое у них, найденное, извлеченное из тайников оружие схваченные, арестованные полковники, ротмистры, поручики, кадетские эмиссары, эсеровские функционеры, меньшевистские демагоги, заговорщики, пригретые в замаскированных апартаментах иностранных особняков.

В эти же решающие часы шел грозный артиллерийский бой и в районах мятежных фортов Красная Горка и Серая Лошадь. Каждые пять минут на Большом Кронштадтском рейде громыхал, подобный грому, залп главных калибров линейного корабля «Петропавловск». Маневрируя в заливе, бросал оттуда свои двенадцатидюймовые снаряды «Андрей Первозванный». Крейсер «Олег», эсминцы «Гайдамак» и «Гавриил», десятки гидропланов участвовали в этом сражении с моря. На Красной Горке, перепахиваемой снарядами и бомбами, вставали дымные столбы огромных пожаров.

Гул с залива катился над Петроградом. В городе ревели ночные грузовики. Запах щедро цветущей в пригородах сирени заглушался запахом пожарного дыма, бензина и пороха.

Уполномоченный Совета Обороны республики Сталин вышел из автомобиля на шоссе за Ораниенбаумом. Земля вздрагивала под ногами от пушечных ударов. По усам Сталина прошла хмурая, непреклонная улыбка. Петроград, или, как подчас говорят о нем, колыбель пролетарской революции, не должен, не может быть сдан врагу, как бы складно ни рассуждал на эти темы Зиновьев. Он, Сталин, имеет право доложить Совету Обороны, Центральному Комитету, Владимиру Ильичу лишь одно: «Поручение выполнено», — и если в запасе Зиновьева сколько угодно иных вариантов, у него, Сталина, только один —

этот. И какие могут быть другие варианты при такой готовности питерцев биться насмерть за свой город? При такой мощи Кронштадта, кораблей, при том порыве рабочих, матросов, верных революции красноармейских частей?

Чекисты и матросы Осокина перерыли всю квартиру профессора Завадского, выстукали стены, полы, даже потолки. Завадский во время обыска сидел на стуле в столовой в войлочных домашних туфлях, в подтяжках поверх ночной сорочки и сонно курил сигарету за сигаретой. Возня в квартире, казалось, его нисколько не волновала. Зато Санька ходила следом за матросами и работниками ЧК. Глаза ее с укоризной посматривали на Осокина. Ну зачем, мол, приперлись, ничего же тут нет, говорила я вам. Заставили меня сидеть в ненавистном доме, сижу зря, хозяин стал совсем страшный, даже бриться перестал, щетиной обрастает.

— Извините, гражданин Завадский, — было сказано в конце концов подремывающему с сигаретой, прилипшей к губе, профессору. — Порядок такой. Всех сегодня беспокоим. — Осокин приложил руку к фуражке, и группа его покинула квартиру Завадского.

— Чего им надо-то было? — как бы стряхивая с себя сон, спросил Завадский у Саньки. — Какого черта все перерыли?

— Так ведь сказано же было — оружие искали. У вас уши, что ли, позаложило? — не скрывая своей неприязни к хозяину, дерзила Санька.

— Оружие! — Завадский хохотнул. — Ну и отдала бы им свой секач для рубки мяса. Все равно мяса у нас никакого нет. — И он, зевая, пошлепал к спальне.

Ирина вновь и вновь уплывала в сон, свернувшись под закинутым одним краем на спину одеялом. На улице утихло, грузовик ушел. Иногда топали по тротуарам, перекликались, но уже в их дом никто не входил. В сознании Ирины брезжили неясные сны — то Лялька весело смеялась перед ее глазами, то вдруг вздыхала мать и отчитывала за грязь в квартире, то звал, просил пить Илья. Он ловил, хватал ее руку.

Очнувшись, Ирина увидела Кубанцева. Он сидел на краю постели и держал ее пальцы в своей гадкой

холодной руке. Она дернулась, бросилась от него, выхватив руку.

— Что это значит? Вы с ума сошли! Я буду кричать, кричать, кричать!

— Кричите, — спокойно ответил Кубанцев. — Придут и увидят, что вы прячете у себя группу вооруженных контрреволюционеров. Пятый час утра. — Он взглянул на часы с ремешком на руке. — В десять вас вместе с нами, уважаемая, уже поставят к стеночке. Пиф-паф! Потом и супруга вашего поднимут с постельки. И тоже: пиф-паф! — При этом Кубанцев делал указательным пальцем так, будто это револьвер. — Не валяйте дурака! — вдруг рявкнул он полушепотом, схватив ее за горло своей жесткой рукой и, не успела она сказать слова, придавил у нее пальцами за ушами. Сознание покидало Ирину, она дергалась, напрягалась, пытаясь высвободиться. Но это уже были вялые, слабые движения.

— Я спущу с вас шкуру! — услышала она взбешенный голос. В дверях с наганом в руке стоял Незнамов. — Вон отсюда! — Кивком головы полковник указывал Кубанцеву дорогу в коридор. — Скотство, ротмистр. Мы вас будем судить офицерским судом.

Кубанцев выскочил мимо него из спальни.

— Мадам, приношу свои извинения за этого мерзавца, — сказал Незнамов. — Спите спокойно. Ничто подобное не повторится. Во-первых, я буду охранять ваш покой сам. Лично. Во-вторых, мы не позже чем завтра покинем вашу квартиру.

— Завтра? Только завтра! — воскликнула Ирина, ошеломленная, подавленная тем, что только что произошло в ее спальне. Нет, она не могла ни секунды находиться под одной кровлей с Кубанцевым, с негодяем, подлецом, чудовищем, нет. — Нет, нет, — сказала она, умоляя, протестуя, крича всей душой. — Нельзя до завтра, нельзя. Я должна сегодня быть в госпитале у мужа.

— Что? — Незнамов встревожился. Старый, опытный волк почуял опасность. Этот меланхоличный тип, которого он тогда возле моста двинул поленом по голове, если сегодня к нему не явится его женушка, поднимет панику, и кто-нибудь непременно явится узнать, в чем дело, почему она не пришла. Увидят, что дверь заперта, тотчас — сигнал в домовый комитет, оттуда в ЧК, следственным властям. — Да... Хорошо... Шутки черта... — произносил он ничего не означающие слова, обдумывая,

как же быть его группе. — Что ж, уйдем раньше, мадам. Не волнуйтесь. Я вам очень благодарен за убежище, Кубанцев понесет наказание, верьте моему слову. Это ему так не пройдет. Русский офицер — рыцарь без страха и упрека. Впрочем, — он состроил гримасу презрения на своем грубом лице сильного человека. — Впрочем, — повторил, — к Кубанцеву это не относится. Жандарм! Таких просто бьют по морде. Еще раз простите.

Он вышел.

В гостиной долго тянулось совещание группы. Наконец все тот же Незнамов объявил Ирине, что они поодиночке, на протяжении часа-двух, уйдут после десяти утра.

Закончив обыск в квартире Завадского, Осокин вел свою группу дальше. Обыскивали Завадского только для виду, хотя и тщательно. Сам Осокин и не подумал бы заходить в эту квартиру, где вела постоянное наблюдение Санька. Но Ян Карлович приказал. Ян Карлович сказал ему: «Если обойдешь ее, будет очень подозрительно. Там, Осокин, тоже не дураки. Понял? Весь Петроград обшарили. Одного Завадского не замечаем. Сообразят молодцы. Провалится дело. Иди, иди, дружок!»

В эту ночь, конечно же, не спал и Павел Благовидов. Вместе с матросами и рабочими Адмиралтейского завода он в каретном сарае румынского посольства на Захарьевской улице разбирал хлам, растаскивал ящики из-под макарон, в груде которых было скрыто трехдюймовое орудие. Группа Благовидова была удачливей группы Осокина. Ее грузовик уже давно переполнился винтовками, гранатами, баллонами с каким-то газом. А вот теперь приходится выкатывать на улицу и прицеплять к нему сзади и эту неведомо как оказавшуюся у румын полевую пушку.

В Кронштадте рука революции настигала одного за другим предателей, на которых так рассчитывали и представители союзнических миссий в Ревеле, и генерал Юденич со своим Владимировым, и Неклюдов, затеявший мятеж на Красной Горке. Матросы и чекисты вели под штыками по кронштадтским улицам начальника штаба крепости Будкевича, помощника главного инженера порта инженер-механика с миноносца «Достой-

ный» Апурова и еще с десяток «спецов», которые пошли служить Советской власти только затем, чтобы вредить ей, тайно бороться против нее и ждать такого часа, когда можно будет выступить открыто.

30

Юденич поставил свою подпись с вялой, бесформенной закорючкой на конце под приказом о преобразовании и переименовании Северного корпуса в Северную армию. Это был первый приказ, под которым появилось официальное: «Главнокомандующий». Все эти политиканствующие деляги, которые вертелись вокруг него в Гельсингфорсе, как они сами называли, в качестве «Политического совещания», уже давно величали его то командующим, то главнокомандующим. Но чем он тогда командовал и кто его на это уполномочил? Первым, если не изменяет память — да, именно так,— первым его как будущего командующего представил «русскому комитету» Петр Бернгардович Струве. С того и пошло. Бородатый козел удрал теперь в Париж, путается с хитрыми политиканами на улице Гренель, в бывшем царском посольстве, и махровый кадет чуть ли не стакнулся с бомбистом-эсером Савинковым. Юденич фыркнул, вспомнив болтливого Струве, и среди дня и среди ночи способного рассуждать о демократии, о революции, о походе на большевиков и притом не забывавшего пичкать превосходной финской сметаной своего рыжего сынка-балбеса Глебушку, который с младенческих ногтей стал баловаться литературой.

Если бы ему, боевому генералу, побольше сил и власти, он бы знал, что делать с этой разговорчивой шушерой, от которой, если с ней провозишься день, к вечеру голова трещит, как после крупной попойки. Ну, к примеру, этот Карташов, глава «русского комитета», бывший во Временном правительстве министриком исповеданий. В «Политическом совещании» он ведает делами пропаганды и агитации. Хитрый, подловатый святоша, с виду сахар медович, на самом же деле интриган из интриганов. Чего ему надо? Зачем он путается тут? Не надеется ли, возвратясь в Петроград, сделать государственную карьеру? Маком, почтенный, маком! А второй профессор, старая кляча Кузьмин-Ка-

раваев, с его воплями: «Вешать!», «Расстреливать!..». Будто без него никто не знает, что надо делать, когда белые войска войдут в Петроград. Крутится среди этих липовых профессоров липовый генерал Суворов. Со своим великим однофамильцем он не имеет ничего общего, кроме громкой фамилии, и известен лишь тем, что некогда сильно либеральствовал в военной среде. Эти политсовещанцы прочат его чуть ли не в министры внутренних дел. Но он же тоже, подобно им, безудержный болтун. Какие с него «дела»! Лишь об одном из всей шатии можно сказать добрые слова — о Лианозове. Ни в военные вопросы, ни в политику сей король нефти и керосина не суется и даже виду не старается делать, что он в них что-либо смыслит. Занимается человек изысканием финансов для армии, делает это дело в меру своих сил и возможностей, ну и ладно, делай.

— Вот у нас уже и армия! — сказал Юденич, отодвигая от себя папку с подписанным приказом.

Генерал Владимиров закрыл ее, положил себе на колени.

— Но это пока только бумага,— бурчал дальше Юденич. — А что там, там?.. — Он указал рукой в сторону залива через гельсингфорсские крыши. — Плохи дела-то?

Владимиров понял, что Юденича интересует положение под Петроградом и в Петрограде. Северный корпус Родзянко, только что росчерком пера переименованный в Северную армию, отходит под ударами красных. Москва подбросила Петрограду свежие силы. Петроградцы и сами провели широкий призыв и мобилизацию. И вот принялись нажимать. Но Родзянко, сидя в Нарве, плохо информирует об этом Гельсингфорс. Если бы не люди Владимирова в Ямбурге, при штабе корпуса, здесь и вообще бы ничего о боевой обстановке не было известно.

Лучше, чем дела корпуса, Владимиров знает положение в Петрограде. Верных людей там у него несравнимо больше — и в учреждениях гражданского управления, и в Красной Армии, в ее штабах.

— Разгромили большевики наших, а? — повторил Юденич, видя, что Владимиров молчит. — Здешние газетки кое-что пронюхали.

— Собираюсь с мыслями, Николай Николаевич,— заговорил Владимиров.— Да, удары получены ощутимые. И Красная Горка, и провал в Кронштадте, и эта варфо-

ломеевская ночь четырнадцатого числа, когда они перехватали сотни наших людей и ликвидировали чуть ли не все склады оружия. Но, Николай Николаевич, отчаиваться нельзя. Главное-то ядро уцелело, да. И оружия еще предостаточно. Вчера прибыли мои курьеры с подробным докладом. Вильгельм Иванович, правда, попался. Потеря для нас тяжкая. Но группа его сумела ускользнуть от обысков и облав.

— Какой такой Вильгельм Иванович? Нелепейшее сочетание русского с немецким, тьфу!

— Штейнингер, Штейнингер, Николай Николаевич!

— А, все позабываю! Инженер-то этот, «Вик»? Да, да. Попался, значит? Жаль, жаль. Весьма полезный был человек.

— Но Владимир Яльмарович Люндеквист на месте. И многие, многие другие наши. Что делать, что делать! Война! Она всегда несет и потери, не только победы, и без потерь побед не бывает.

— Это философия, генерал, философия. Мне нужен подсчет сил в цифрах, а не во вздохах и восклицаниях. Придется, полагаю, мне самому посетить войска, объехать фронт армии. Какие там пути сообщения?

— От Ревеля до Нарвы и Ямбурга — железнодорожный, вполне исправный путь. До Пскова — тоже от Ревеля через Юрьев — железная дорога. Поездом, вагоном надо.

— Позаботьтесь, генерал.

Псков жил в постоянном напряжении. Совсем близко от него стояли красные войска, которые время от времени предпринимали попытки выбить белых из города. Уже не только железнодорожники или рабочие фабрик ждали этого часа. Все большее число обывателей начинало вспоминать Советскую власть, установленный ею законный порядок, отсутствие страха за свой карман и даже за жизнь. Красным сочувствовали, их ждали.

Но Булак-Балахович укрепился в Пскове, казалось, надолго. Его собственные вооруженные силы были невелики. Но каждый раз, когда становилось туго, на помощь к нему приходили белоэстонцы с их бронепоездами и тяжелой артиллерией. Балахович не столько воевал на фронте, сколько бесчинствовал в городе. Он по-прежнему развлекался публичными выступлениями в стиле а-ля Запорижська Сичь, ломал из себя «батьку»,

продолжал вешать, перенеся теперь место казней с Великолуцкой улицы на Сенную площадь, путался со своей красавицей баронессой. Все, что ни происходило, делалось по его настроению, от случая к случаю.

Зато начальник местной контрразведки полковник Энгельгардт, комендант Псковско-Гдовского района подполковник Куражев, комендант Пскова капитан Макаров, всяческие стоякины и якобсы со зверской методичностью творили расправу над населением Пскова, все вылавливая и вылавливая тех, кто сотрудничал с большевиками при Советской власти, кто выражал какие-либо недовольства происходившим в городе. Тюрьма и несколько каменных зданий, тоже превращенных в тюрьмы, были переполнены.

Белое офицерье кутило в ресторанах и трактирах, било посуду, палило из револьверов в потолки. В деньгах не стеснялись. Одни, так сказать, офицерье рядовое, не приближенное к «батькиным» верхам, просто входили в дома торгашей и предпринимателей, известных городу граждан и, приставив к носу револьверные стволы, забирали деньги, драгоценности, вещи. «Верхи» налагали контрибуции, устанавливали сроки и к этим срокам получали требуемое. Был придуман и другой способ добывания денег. Редактор белогвардейской газеты, он же помощник районного коменданта Афанасьев, нашел гравера с литографским камнем, и в номерах гостиницы «Лондон», где обитала часть «батькиной вольницы», началось печатание «керенок». Об этом пронюхали иностранные корреспонденты и американские фотографы с киносъемочным аппаратом. Они уже засняли для своих кинематографов сенсационные ленты публичных казней на Сенной, а теперь попытались проникнуть и в эту гостиницу, чтобы запечатлеть процесс подпольного делания денег. Во избежание скандала и для усиления конспирации все предприятие по приказанию Балаховича перенесли прямо в здание районной комендатуры к Афанасьеву.

Погожим летним вечером Балахович, развалясь на мягком диване, сидел в своем штабе в захваченном для этого здании возле городской почты.

— Что носишь, что носишь? — говорил он одному из своих верных помощников по отряду полковнику Стоякину. — Баба тебе эта люба?

Тот кивал чубатой головой, жал саженными плечами.

— Ну и любись с ней. А что там судачат вокруг и стыдят ее всякие сучки, мы им заткнем глотку. Эй, Аксаков! Бери бумагу и перо. Пиши, что тебе продиктую. Так пиши: «Удостоверение». Написал? Подчеркни. Дальше: «Сие дано начальнику оперативного отделения штаба командующего войсками Псковского района полковнику Стоякину в том, что ему разрешается вступить во временный брак с...» Как зовут-то ее? Фамилия? Ну вот, Аксаков, вписывай в точности, как говорит Стоякин. Вписал? Дальше. Значит: «...во временный брак впредь до возвращения мужа». Дату и подпись. Хотя обожди.— Балахович призадумался, пощипывая ус.— Вот что надо добавить: «Поводом к расторжению брака может послужить также появление во Пскове жены полковника Стоякина».

Все присутствующие радостно и шумно захохотали. Усмехнулся и автор необыкновенного документа.

— Теперь справа, значит, ставь подписи. Мою и свою, Аксаков. Дату, номер там, как положено. Перестучи на машинке, и вручим молодожену. Как, Стоякин, полный порядок?

Вошел брат Балаховича Юзек.

— Телеграммочка, Станислав, — сказал он. — От Родзянки. Предупреждает, что двадцать четвертого июня к нам прибудет главнокомандующий.

— Какой еще главнокомандующий? — Балахович уставился на брата непонимающим взглядом.

— Генерал Юденич. Его адмирал Колчак над нами поставил.

— Пусть едет, если желательно. Только командующий во Пскове я, а не он. Что за гуси эти генералы! Как воевать — в огонь тычут Балаховича. А как парады устраивать — тут тебе и фон Неф явится, и Родзянко, и вот этот Юденич. Да он же старый матрац. Из него пыль колоти палкой — не выколотишь. Словом, так. Виселицу с площади убрать. Встретить генерала по должной форме. Но никаких парадов, никаких колоколов. Не царь. Надо просто, демократично.

Юденич прибыл поездом, который состоял из паровоза и двух вагонов: один из них — роскошный салон-вагон, одолженный главнокомандующему эстонцами, второй — обычный классный. Переезжать из вагона в гостиницу Юденич не захотел: «Клопы сожрут». Поезд под охраной двух десятков офицеров остался на главных стан-

ционных путях. Встреча была скромная, главнокомандующему это не понравилось.

— А скотина ваш Балахович, — сказал он Владимирову.

— Он вовсе и не мой, Николай Николаевич, — ответил Владимиров.

— А чей тогда? Мой, что ли?

Несколько утешило генерала от инфантерии то, что совсем иначе, чем Балахович, к его появлению в древнем Пскове отнеслись отцы города, вопреки желаниям Балаховича устроившие торжественный молебен в соборе. Поглазеть на главнокомандующего в собор набилось множество народу. Всё заполнили сюртуки, кружевные платья, шляпы с перьями. Дымили свечи, пахло ладаном, стройно пели певчие. Басили подвыпившие дьяконы. Было весьма все велелепно.

Тогда дрогнули и военные. Они дали Юденичу большой, обильный российский обед. Сидя за кофе и коньяком в стороне от остальных, Юденич вернулся к своей мысли и напрямик, со свойственным ему солдафонством, сказал Балаховичу:

— Полковник, о вас ходят разные слухи.

— Именно, ваше превосходительство?

— Красным-то вы служили.

— А год назад им многие служили.

— Так вы же не просто тянули лямку. Вы усмиряли крестьян, которые бунтовали против Советской власти. Как же это?

— Я их усмирял так, что они еще злее становились против нее, против этой власти. Я порол тех, кто землю чужую присваивал, поделенную меж ними красными, тех, кто имения растаскивал, тех... Да вы что, допрос мне устраиваете, ваше превосходительство?! — Балахович закипел.— Да я уже год в бою! Кто Гдов взял? Кто Псков держит? Кто?..

Его еле успокоили. Он ушел в другой угол обеденного зала, сел там, крутил колесико зажигалки, никак не мог прикурить папиросу. «Дерьмо!» — сказал он вслух, сверля глазами Юденича, который уже разговаривал с кем-то другим.

А Юденич, когда они с Владимировым возвратились в поезд, сказал:

— Убрать бы надо этого сукина сына. Мешать будет своим партизанством.

Колесил генеральский поезд по железным дорогам Эстонии. Одним ранним утром, миновав Ямбург, он прибыл в Веймарн. До района боев отсюда было рукой подать. Красные уже вновь заняли Кикерино, приближались к Волосову. Их артиллерия гудела и на востоке и на юге.

Юденич вышел на платформу. Походил, разминая ноги, вслушиваясь в артиллерийские гулы. На автомобиле подъехали генерал Родзянко, начальник его штаба Крузенштерн — тощий, бледный, в пенсне на носу с крутой горбинкой, граф Пален и два полковника, ведавшие материальным снабжением корпуса, переименованного в армию.

Позавтракав, все уселись за длинный стол в салон-вагоне.

— Господа, — сказал Юденич, — такое совещание просили созвать генерал Родзянко и граф Пален. Я пошел навстречу. Прошу вас, господа, высказывайтесь.

— Наши ресурсы на исходе, — заговорил Родзянко. — Перед наступлением мы собрали все до малых крох. Красные нас остановили. С чем же мы будем начинать новый натиск? Нам известен ваш приказ, Николай Николаевич. У нас теперь армия. Но разве в названии дело? Союзники только болтают. Где обещанное ими обмундирование? Где снаряды, патроны, винтовки, артиллерия?

Один за другим говорили генералы и полковники. Они готовы сражаться до полной победы, до вступления в Петроград, до разгрома большевиков. Но чем это делать? Голыми руками?

Юденич слушал, казалось, подремывая за столом, дул время от времени в усы, пыхтел: было жарко.

— Учтите, — ответил он на все претензии, — хозяевами положения мы будем только в Петрограде. Здесь мы почти полностью, и даже просто полностью, зависим от союзников. А у них там, в их правительствах, тоже нет единодушия. Одни настаивают на неограниченной помощи нам. Другие не хотят ввязываться в такое дело. Дескать, завязнешь в чертовой России, и, глядишь, у себя дома революция грянет. Пример Германии у всех перед глазами. Но как бы ни было, помощь идет. В Англии зафрахтованы пароходы. Получим обмундирование, боеприпасы, оружие. Даже танки. Надо сейчас удержать красных, не дать им оттеснить нас снова на чужую тер-

риторию. И затем с большой обстоятельностью подготовить новый удар.

Ему задавали вопросы о переформировании частей, о возможностях мобилизации крестьян в Псковском, Гдовском, Ямбургском уездах, об административном устройстве на занятых территориях.

— Это мелочи, мелочи, господа, — отвечал Юденич с досадой. — Надо думать о главном. Только о главном. Не разменивайтесь.

Потом, оставшись с Владимировым, Родзянко и Арсеньевым, он сказал:

— Непременно обратите особое внимание на Псков. Опасный фланг. Надо покончить с единовластием псковского Тараса Бульбы. Непременно займитесь им, господа генералы.

На обратном пути в Нарву он захотел остановиться в Ямбурге, взглянуть на то место, где казнили «красного генерала» Николаева. Пояснения ему давали и Владимиров и ямбургский комендант полковник Бибиков. Виселица на площади стояла по-прежнему, время от времени Бибиков устраивал здесь зрелища вроде тех, какими не мог насытиться в Пскове Балахович. Юденич постоял перед виселицей, утер лоб белым платком.

— В назидание, в назидание, — сказал он. — В подобных случаях снисхождения быть не может.

Нарва могла бы поразить кого угодно, только не русского главнокомандующего. Старый город был похож на удивительный музей под открытым небом. Генерала возили по средневековым каменным улицам, рассказывали о доме Петра I, о городской ратуше, о соборах, о Персидском дворце, в котором Петр устроил склад персидских товаров, но последующие цари превратили его в казарму. Что-то объясняли о готике, о романском стиле. Юденич даже и не кивал на все это. Зато он долго и внимательно с левого, эстонского, берега быстрой Наровы, от подножия башни шведской крепости, рассматривал ивангородские стены на правом берегу.

— Вот так, — сказал не без высокопарности, — стоят сейчас две России одна перед другой. Как эти крепости, как эти башни. Отсюда Россия белая, православная, нанесет удар по России красной, большевистской. Как ни сильны были твердыни шведов, но русские войска их одолели. Россия знала временные поражения, но последнее победное слово всегда оставалось за ней.

— Извините, господин генерал, что вмешиваюсь, — сказал прихваченный из музея знаток местной истории, щуплый, хитро щурившийся старичок с белым хохолком над большим покатым лбом. — Но Россия-то стояла с той стороны, а не с этой. Здесь, вы сами изволили отметить, шведы располагались. Та сторонка всегда била эту. Слóва из песни не выкинешь. Россия-то все-таки там, а не здесь...

Владимиров молча показал историку кулак в светлых волосках. А генерал Арсеньев сказал:

— Вы уже в преклонных годах, господин историк, а ведете себя, как гимназист. Стыдно!

Юденич смолчал. Только покраснела, как от сильной натуги, его крепкая шея в складках.

В поезде, по дороге к Ревелю, главнокомандующий сидел и смотрел в вагонное окно. Мелькали бугры, поросшие редкими, чахлыми кустарниками, синел вдали Финский залив, пролетали аккуратные эстонские селения с деревянными домиками и каменными скотными дворами.

Прав чертов старикашка, думалось генералу. Прав в том, что здесь уже не Россия. Потеряла она, матушка, эти свои прибалтийские губернии. Шебаршили, шебаршили местные большевики, а что выиграли? Ничего. Недолго прожила их Советская власть. А вот духа национализма из бутылки выпустили. Теперь самих же их свои же эстонские генералы и буржуи давят.

Зло думал об отделившейся от России Эстонии Юденич. Ладно, ладно — плыли мысли — поиграйтесь в республику. Дойдем до Петрограда, обратим на вас внимание. Все ваши Пятсы и Лайдонеры полетят кверху задницами. В ту сторону — прав старикашка — действовать нелегко. А уж с той-то стороны Россия не растеряется. Лайдонер. Тоже нашлась фигура! Знает его Юденич. В России учился этот эстонец, грамотный, конечно, но разве он полководец! Карла XII Петр Великий разгромил, одного из выдающихся военачальников своего времени. А тут Лайдонер!..

Никак не думалось генералу Юденичу, что если Лайдонер не Карл XII, то и сам-то он совсем не Петр I. Смешалось все в этой не сильной на знание истории, гладкой, как арбуз, голове. Вновь и вновь думал он только об одном: как вступит в Петроград, как покончит с шушерой, с этими болтунами из «Политического совещания»,

как займет в Петрограде то место, какое в Омске занимает адмирал Колчак. А скорее всего, место это будет неизмеримо значительней колчаковского. Омск — разве он Петроград? Зимний дворец! Генеральный штаб! Можно не сомневаться, что с вступлением Северной армии в бывшую столицу России верховным правителем будет уже не Колчак. У Колчака только то надо обязательно взять в пример: как он решительно, одним ударом, покончил со своими болтунами, с этими эсериками и прочими политиканами, спевшимися в Уфе и вообразившими себя правительством. В годы тяжких испытаний правительствует тот, кто распоряжается дивизиями, у кого в руках пушки и новое, неотразимое оружие — танки.

Мысли главнокомандующего становились все светлее и радостнее. Никто к нему в салон не заходил, никто не мешал предаваться мечтаниям.

31

На обеденном столе, с которого была снята скатерть, перед профессором Завадским во всю ширь лежала цветная карта железнодорожных, водных и гужевых путей сообщения северо-западной части России, включая бывшие прибалтийские губернии и Финляндию.

Окна столовой выходили на улицу Гоголя. Дневная июльская жара разогрела сосновые торцы, которыми была покрыта мостовая, и по квартире от этого несло мазутной пропиткой. Такой запах не был неприятен Завадскому, напротив, он напоминал ему о железных дорогах, вокзалах, станциях и полустанках, о строительных работах и путешествиях.

Отмеривая циркулем вершки на карте и по масштабу превращая их в версты, Завадский посматривал по временам на дверь в коридор, где со щеткой возилась Санька. Щетка стукалась о плинтусы, о дверные створы, и это раздражало Артура Ксаверьевича, мешало ему работать.

С некоторых пор Завадский ни на минуту не забывал о том, что в доме существует вот эта рыжая девка. С тех самых пор, когда она вновь возвратилась к нему после почти месячного отсутствия. Сам-то Завадский не думал этого, но полковник Незнамов сразу тогда сказал: «Уважаемый профессор, вы получили в дом персонального

агента Чека».— «Чушь, ерунда! — загорячился Завадский. — Эту девчонку мы с женой привезли из Старой Руссы, прямо из деревни. Она у нас как родная». — «Не забывайте теорию Карла Маркса о классах, профессор, — настаивал на своем Незнамов. — Вы буржуй, она пролетарка, вы эксплуататор, она эксплуатируемая. Вы присваиваете результаты ее труда, и она никогда вам этого не простит».

Он, этот, как о нем говорили, железный полковник, поигрывал зажигалкой на цепочке и угрюмо усмехался. В незнании жизни его обвинить было нельзя. Командир отчаянной «волчьей сотни» на Западном фронте, наводившей панику в тылах противника, был в свое время замечен и отмечен. Генерал Алексеев, еще когда ставка была в Барановичах, взял его к себе в штаб, в отдел разведки. Там, в ставке, но уже в Могилеве, Незнамов имел счастье быть представленным государю императору как смельчак, герой, истинный служака царю и отечеству. Дело было на пасху шестнадцатого года. Перед праздничной рюмкой водки, христосуясь с десятками штабников, царь позволил приложиться к своим подстриженным, пропахшим табаком, жестким усам и Незнамову. После этого Николай стал для Незнамова подлинным кумиром. Как удары ножом в самое свое преданное сердце воспринимал уже ставший полковником Незнамов сначала отречение царя, затем его арест в Царском Селе, его изгнание в Тобольск. Одним из первых по предложению московских и петроградских монархических кружков и организаций отправился он туда, за Урал, и совместно с братьями Раевскими, в контакте с епископом Гермогеном, с якобы большевистским, тоже прибывшим в Тобольск эмиссаром Яковлевым принимал отчаянные усилия для того, чтобы освободить, выручить, умчать царскую семью или подальше в Сибирь, или на север в устье Оби, где ждала такого часа специально снаряженная морская яхта.

Не его вина, что из этого ничего не получилось. Еще при первом знакомстве с Незнамовым в доме Виктории Федоровны Завадский с интересом рассматривал дорогие, сохраненные боевым полковником реликвии: листок бумаги с императорскими водяными знаками, на котором собственной рукой царя был вычерчен план дома в Тобольске, где под стражей содержались Романовы, иконка божьей матери в ладонь величиной, подаренная Незна-

мову Александрой Федоровной, и даже карточка меню одного из последних обедов царской семьи перед отправкой августейших узников в Екатеринбург.

Незнамов был и в Екатеринбурге, видел, как среди ночи грузовой автомобиль увез из Ипатьевского особняка свой страшный груз. С тех минут он посчитал себя мстителем за царя, совершал террористические убийства, нападения, участвовал в любых антисоветских заговорах. Пока Юденич был в Петрограде, возвратившийся с Урала Незнамов состоял при нем. Потом, когда жандармский полковник Новогребельский переправил генерала через границу в Финляндию, Незнамов явился к Юденичу и в Гельсингфорс. Но он не мог там сидеть без дела и попросился у шефа на боевую работу. По совету Новогребельского-Владимирова Юденич снова отправил беспокойного полковника в Петроград, где к тому времени возникла ветвь сильной, опекаемой и снабжаемой англичанами тайной организации противоборствующих Советам национальных русских сил. Ее так и называли, эту организацию, — «Национальный центр».

Завадского и Незнамова свели рамки именно этой организации. Вильгельм Иванович Штейнингер поручил Завадскому контроль над всеми ведущими из Петрограда и в Петроград путями сообщения. Дороги, мосты, станции, сигнальные устройства, блокпосты. Когда Незнамов по заданию Владимирова создавал группу для взрыва мостов во время майского наступления Северного корпуса, чтобы мешать красным подбрасывать силы, маневрировать бронепоездами, подвозить боеприпасы, Завадский дал ему в качестве специалиста инженера Игумнова, знающего, опытного путейца, и провел с ними обоими долгий, обстоятельный инструктивный разговор. Завадскому было известно, что Незнамов чуть не убил инженера Благовидова при осуществлении одного из взрывов. Он тогда поразводил руками, пофилософствовал на ту тему, что-де во время борьбы противодействующих сил нельзя, исповедуя некое христианское прекраснодушие, занимать среднее положение. Или та или другая сторона тебя в пылу борьбы все равно заденет. Так и случилось с уважаемым, молодым, жизненно неопытным Ильей Андреевичем Благовидовым. Жаль, жаль, но что поделаешь. Можно было бы, конечно, не бить бревном по голове, а связать человека, заткнуть ему рот. Гуманно, христолюбиво. Но ведь и время не ждало — в вагонах по со-

седству спали готовые вскочить при первом шуме люди с винтовками. Борьба, борьба! И подозрительность Незнамова в отношении прислуги Саньки Завадский тоже отнес бы в конце концов к издержкам этой борьбы, если бы агентура «Центра» не установила с точностью, что девчонка эта встречается то с представителем военного отдела Смольного, фамилия которого пока неизвестна, то с прямым агентом ЧК, фамилия которого тоже еще выясняется.

Незнамов, когда этими сведениями подтвердились его подозрения, предложил, не мешкая, задушить девку и сунуть труп в канализационный люк. Но бывший жандарм Кубанцев, приглашенный на совет по этому делу, только посмеялся над таким легкомысленным решением трудного вопроса. «Теперь уж ни-ни! — сказал он. — Теперь перед этой дамой расшаркиваться придется. Уж вы мне поверьте. Что надо сделать? Надо немедленно и непременно в ее отсутствие удалить из дома господина профессора до мелочи все, что может скомпрометировать и его лично и организацию. И пусть она себе живет как жила. При ней — только усыпляющий чекистов пустопорожний разговор». — «Значит, пропала явка, удобная квартира?» — сказал Незнамов. «Да, увы. Бывает. Но зато какой это громоотвод, какой ложный след для Чека!»

У Завадского у самого по временам является желание сунуть эту рыжую дрянь головой в выгребную яму да притиснуть ее там покрепче железной крышкой. Она испортила ему жизнь. Мало того, что непрерывно надо ждать нового обыска по ее указке, мало того, что никого не пригласи и ни с кем ни о чем не поговори, — так Кубанцев еще требует от него, чтобы он, когда ее нет дома, сжигал все бумажки, все черновики писем, записок и даже окурки, если он курит папиросы, получаемые «Центром» от иностранных представителей. «Сопоставят ваш домашний окурочек, отнесенный из вашей пепельницы в Чека, — сказал Кубанцев, объясняя, почему надо делать так, а не иначе, — с тем окурочком, который вы по профессорской рассеянности бросите возле одной из наших других квартир, до которых чекисты еще не добрались и, дай боженька, не доберутся, если мы не наделаем ошибок, и вот вам след! Устанавливают наблюдение, садятся в засаду — и хлоп!» Да, нельзя теперь в забывчивости, в рассеянности оставить окурок в пепельнице, и даже

пепел надо вытряхнуть за окно, чтобы разнесло ветром. Как у конандойлевского сыщика Шерлока Холмса. Ну и дожили! Ну и властишку себе приобрели! Весь семнадцатый год после февраля господа кретины социалисты, октябристы, монархисты, анархисты делили ее — не могли поделить, пока, как говорит Кубанцев, не сделали всем и всему «хлоп!» большевики.

Завадский мог предъявить длинный счет и Советской власти, и этим большевикам. Красная солдатня спалила его новую, только что, в пятнадцатом году, законченную дачу в Озерках. Для ее строительства Завадский приглашал модного архитектора из Копенгагена. Это была не дача, а игрушка, сказка, мечта. Оставили непогашенной «буржуйку» с трубой, варварски высунутой в широкое, почти во всю стену зеркальное окно, — и не стало мечты, сгорела. Автомобиль, его бежевый лимузин с бронзовым орлом на радиаторе, сразу же после Октябрьского переворота забрали для комиссаров в Смольный. Все акции машиностроительных и металлургических компаний, в которые профессор двадцать лет вкладывал свои средства и средства Зои Иннокентьевны, унаследовавшей от родителя-вдовца угольные шахты в Донецком бассейне, — все исчезло, как мираж в пустыне, едва лишь закатилось солнце старого мира. С добродушнейшей улыбкой большевики вывернули всем карманы. «Экспроприация экспроприаторов» — красиво и почти убедительно.

Что ни день, то вновь и вновь ставят эти господа его, профессора, былого пайщика доходнейших предприятий, все в более и более глупое положение. Уже не говоря о домашнем агенте ЧК. Но даже и жены дома нет все из-за них же. «Национальный центр» предполагал, что квартира Завадского будет надежным убежищем для офицеров-боевиков. Удобство ее состояло в том, что поблизости — ЧК, совсем рядом, на Гороховой, за углом. И понятно, что чекисты у себя под носом искать не будут. Потому и Зоя Иннокентьевна перебралась к Виктории Федоровне. Остался, мол, один средних лет мужчина, охолостел, мужские компании у него собираются, девицы захаживают. Все честь по чести. Сорвалось! Чертова девка все провалила. И Зою Иннокентьевну теперь уже не вернешь. Опасно. Где была — начнутся расспросы. Пусть уж пребывает в нетях. Теперь таких, которые в нетях, великие тысячи.

Завадский отбросил циркуль. Возня с картой — тоже для отвода глаз. По заданию советских директивных организаций путейский профессор, осуществляя свою лояльность, составляет проект строительства новых путей сообщения на северо-западе. Такое поручение ему официально дал Багловский. После ликвидации «северного правительства» Багловского понизили в должности, но он все же как-то еще держится, хотя уже не прочно, одной рукой, за руль управления областью.

Кстати, Багловский однажды признался Завадскому, что хотя и вступил в партию к большевикам и носит их партийный билет в кармане, но по убеждениям своим и по партийной принадлежности остался эсером, своей партии никогда не изменял и не изменит. Он гордится тем, что тайными путями, через Псков и Новгород, сопровождал Александра Федоровича Керенского, когда тот в конце семнадцатого года пробирался в Петроград, чтобы оказаться там в день открытия Учредительного собрания. Они, эсеры, в ту пору были убеждены, что безусловно победят в Учредительном собрании и законным, не узурпаторским путем придут к власти. «Мы прибыли в Новгород ночью, — рассказывал Багловский. — Вьюжной, сырой декабрьской ночью. Город был переполнен большевистской солдатней. Показываться было нигде нельзя. Нас приютил заранее оповещенный служитель психиатрической лечебницы в Колмове, близ города, почти на самом берегу Волхова. Мы сидели у топившейся печки, при свете лампешки, вернее, фитилечка, плававшего в деревянном масле. Александр Федорович то молчал, вглядываясь в пламя, то вдруг взрывался негодованием по поводу того, что творится в России, то доверительно рассказывал о своих планах. «Мы были не социалистами-революционерами, а примитивными либералами, когда выпустили из рук господина Ульянова-Ленина. Не знаю, надо ли было его казнить...» — «Александр Федорович, — вставил свое слово хозяин дома, — оно бы само собой так получилось. Ведь не выпустили бы его офицеры живьем, даже если бы и суда никакого не было». Александр Федорович сделал вид, что не слышал этих слов. «Да, да, — продолжал он, — не знаю. Но что выслать его надо было немедленно снова в Швейцарию, это несомненно. Многое было бы не так, как есть сегодня».

Мысль Завадского вновь возвратилась к действительности, к тому, что и он имеет сегодня. Он слышал стук швабры в коридоре и раздражался. Чертова девка! После ночного обыска, когда по всему городу искали оружие, Кубанцев порекомендовал не спешить с выводами насчет нее. «Видите ли, — рассуждал он на днях, — если бы она была чекистским агентом, вполне возможно, что Чека и не явилась бы к вам, господин профессор. Но что касается меня, то я бы на их месте непременно устроил такой обыск, будь даже трое моих агентов в вашем доме. Для отвода глаз — на общих, дескать, основаниях. Во всяком случае, с выводами не спешите, но и не утрачивайте зоркости. Посмотрим — увидим».

— Санька! — крикнул Завадский.

— Чего? — появилась та в дверях.

— Почисть мои ботинки.

— А чем их чистить-то? Ваксы нету. Плевать на них, что ли?

— Как знаешь. Можешь и плевать. Лишь бы чистые стали. Я должен уйти. Снова одна останешься. Тоже можешь отправляться в город.

— А чего мне там?

— К своему солдату, скажем. Или еще куда ты там ходишь. В кинематографе посидите, семечек полузгаете.

Он смотрел на девчонку, которую Зоя Иннокентьевна, когда они еще до войны гостили на старорусских лечебных водах, выпросила у ее родителей к себе в прислуги. Была миленькая девчушка, с добрыми глазами, услужливая, веселая, и, вот смотрите, в какую дерзкую гордячку превратилась. Агент ЧК, черт побери! «Шутки черта общеизвестны», как любит говорить полковник Незнамов. Но может быть, сочиняют про нее эти Незнамов с Кубанцевым? Подумать только, какую прическу сорудила вместо прежних косичек! Этакий благородный греческий узел на затылке. Голову как держит — принцесса Турандот, да и все тут.

Откуда было знать Артуру Ксаверьевичу, что, побыв в доме Ирины Владимировны Благовидовой и уверив себя, что только такая, как Ирина Владимировна, нужна Павлу Андреевичу, деревенская Санька во всей своей внешности, в манерах держаться, ходить, ставить ноги, взглядывать на людей с тех пор подражала хозяйке, у которой пожила так недолго. Пока Завадского не было дома — а его очень часто не бывало, — она часами

простаивала перед зеркалом, сверяя по памяти какой-нибудь полюбившийся ей поворот головы Ирины Владимировны; или, надев не по ее ноге большие туфли Зои Иннокентьевны на высоких каблуках, прохаживалась в них, тоже, конечно, перед зеркалом, плавно покачивая боками. Все это делалось для него, только для него — для Павла Андреевича. И уже много было такого приобретенного ею, которое она тотчас выложила бы перед Павлом Андреевичем, появись лишь он наконец. Но он все не появлялся. Телефон его молчал. Только раз кто-то другой ответил ей сухо: «На фронте». Совсем неожиданно Санька увидела Павла Андреевича восьмого июля, когда к прежним могилам на площади Жертв революции были добавлены новые. Придя на площадь с толпами петроградцев, она слышала, как перед выставленными в ряд на земле красными гробами Павел Андреевич говорил речь. Она не знала людей, которые лежали в закрытых гробах, осыпанных цветами, но она так горько плакала по ним, ей так было их жаль, этих, должно быть, близких, дорогих Павлу Андреевичу его товарищей, если говорит он о них такие хорошие слова, что у нее тягучей, давящей болью заболело в сердце.

Павел Андреевич увидел ее, рыдающую, все посматривал в ту сторону, где она стояла, и, когда гробы под залпы из винтовок опустили в могилы, когда их забросали землей и над могильными холмиками поставили дощечки с надписями: «А. С. Раков», «П. П. Таврин», «А. И. Купше», подошел к ней. «Саня!— сказал.— Ты как здесь?» Она уткнулась ему в грудь лбом. «Как, как! По всему городу который день ищу. Пропали совсем, Павел Андреевич».

Они посидели в Летнем саду на лавочке. Павел Андреевич все больше только улыбался. Да и ей, Саньке, в тот раз почему-то не очень говорилось. Вздыхала, поглядывая на него синими глазами, замирала вся. А как вздумает сказать — слово скажет, и больше будто бы нечего говорить. А как же нечего-то? Говорила бы да говорила, если бы знала, что это ему надобно. Но он такого знака не подавал. Он сказал, что опять уезжает, приехал вот со специальным поездом хоронить погибших, замученных беляками боевых товарищей, и надо снова на фронт. «Взяли бы меня с собой, Павел Андреевич. Сестрой бы милосердной была. Понадобилась бы, а?»—«Ты и тут нужна. Обожди, погоди, вернусь надолго». Одно радовало

чуткую Саньку, что и он все-таки рад встрече с ней, по всему же видно, что рад. И улыбается как хорошо, и смотрит, и руку погладил.

Она плевала в кухне на толстоносые штиблеты хозяина и, с улыбкой вспоминая эту нечаянную встречу, старательно начищала их сапожной щеткой.

Спустя полчаса Завадский был готов. Он остановился в дверях.

— Следовательно, вот так,— повторил.— Можешь располагать собой.

— Ага,— ответила Санька.— Пойду к солдатам. Они меня обожают.

Завадский внимательно посмотрел на нее. Санька спокойно стояла под его взглядом, со щеткой в руке и при своей сделавшей ее выше прическе с большим узлом на затылке.

В квартире был телефон. Но Осокин не велел ей говорить с ним по этому аппарату. Она дошла до почтамта и позвонила Осокину оттуда.

Встретились они в Александровском саду, возле Медного всадника.

— Ну,— нетерпеливо спросил, подходя, Осокин,— есть новое?

— Ничего нету,— ответила Санька.— Хочу, чтобы отпустили вы меня. Опостылел этот дом. Мертвый он совсем. Нечего мне в нем делать. В милосердные сестры хочу.

— Ах ты елки-палки!— Осокин сел на железную невысокую ограду памятника.—«Гляжу я безумно на черную шаль».

— Чего-чего?

— Да ничего. Не знаю, что делать с тобой, вот что.

— А где Павел-то Андреевич теперь?— Санька тоже присела на оградку.

Осокин испытующе оглядел ее:

— Сохнешь по нему, что ли?

— А чего мне сохнуть!— Санька вздернула голову.

— Смотри, чтоб этого не было.—Осокин был строг.— Павел Андреевич — идейный большевик. Ему не до этого.

— До чего — не до этого?

— До вашего женского вопроса. Ясно? «На заре туманной юности всей душой любил я милую» — ты ему этими штучками голову не морочь. Как чекист тебе говорю. За революционный порядок я полностью отвечаю.

Санька с изумлением смотрела на него.

— Вот что,— сказал Осокин, почесав лоб.— Ты все-таки там еще побудь. Гнездо, понимаешь. Чую, что гнездо. Только уж очень ловко они затаились. Сообразили что-то. Запасная малина. Ну еще маленько. А я, если хочешь, конечно, в кинематограф тебя приглашу, а?

В «Паризиане» на Невском шел заграничный боевик «Камо грядеши». Санька невольно жалась к Осокину, когда сицилийский вулкан Этна стал выбрасывать столбы огня, дыма, лавы, камней в черное небо над городом, в котором кипели страсти человеческие. Страсти природы и страсти людей, объединяясь на экране, потрясали зрителей. Охваченные переживаниями, они еще энергичней плевались в спины сидящих впереди шелухой от подсолнухов, ахали, кое-кто слегка матюкался. На такого оборачивались и обещали, вот часть кончится, набить морду.

Между частями устраивались перерывы, зрители выходили в фойе и степенно прохаживались по кругу.

— Я их знаю,— сказала Санька, указывая на двоих, которые курили в углу фойе.

Осокин посмотрел туда. Люди как люди. Один коренастый, плотный, уже в возрасте — седина в голове. Другой молоденький, вроде сына первому. На обоих куртки, ботинки. Все обыкновенное. Курят, молчат.

— Кто такие?— спросил он без интереса.

— Как звать, не знаю. Только видывала их у нас в доме. Особенно вон того, постарше который. Молодой тоже был. Лез ко мне. Я его по сопатке съездила.

— Постой вот тут, за углом,— сказал Осокин Саньке.— И не показывайся. Чтобы тебя не видели.

Он стал не спеша продвигаться среди толпы, постепенно пробиваясь к тем двоим. Зачем он это делал, что это могло ему дать, Осокин еще не знал; может быть, просто следовало запомнить их лица на всякий случай, и больше ничего. Он прошел возле них туда и обратно. Старший заметил это. Окинул Осокина коротким, быстрым, но цепким взглядом. Осокин понимал, что или надо уходить, или как-то объяснить им свой интерес к их персонам.

— Извиняюсь, закурить у вас не найдется?— сказал он, подходя, с виноватой ухмылкой.

Старший вытащил из кармана кисет, небрежным движением, почти не глядя на Осокина, подал. Осокин отсыпал на ладонь щепоть махорки, оторвал клок газеты, тоже поданный этим человеком, поблагодарил, отошел,

стал деловито свертывать. «Сами-то они курят не махорку,— думал он, стоя к ним спиной.— У них-то в зубах папиросы. А меня махоркой угостили. Почему же так?»

Зазвенел звонок, все снова пошли в зал. Осокин задержался, походил в том месте, где стояли и курили те двое,— не бросили ли окурок. Окурков на каменном полу было сколько угодно. Но не папиросных — цигарочных. Где же окурки их папирос? Он ведь явно видел длинные, чуть кремоватые мундштуки.

Кое-как просидел рядом с Санькой до следующего антракта, выскочил. Обошел все фойе, вглядываясь в каждого. Но тех двоих с папиросами уже не было.

После сеанса он попрощался со своей спутницей и побежал на Гороховую.

Положив большие, тяжелые руки на стол, Ян Карлович внимательно его слушал, по временам покачивал головой: так, так, так.

— Ты прав, Костя Осокин,— сказал он.— В этом есть нечто такое, о чем следует подумать. Почему, куря папиросы, они угостили тебя махоркой? От жадности или от чего-либо иного? Но теперь думай не думай, туда они больше не придут, и ты их об этом уже не спросишь. Они тоже, видимо, что-то подумали. Но не огорчайся, Осокин. Большего ты ничего сделать не мог.

— Я мог бы их задержать.

— Нет, ты бы их не задержал в одиночку. Один из них заорал бы, что ты грабитель, что ты залез к нему в карман, и, огрев тебя по голове кастетом, в суматохе бы скрылся. И второй бы скрылся. А тебя еще минут десять лупили бы добровольные стражи порядка. Но факт фактом: за квартирой Завадского наблюдение надо продолжать. Пусть твоя знакомая потерпит. Ты ей хорошо это объясняешь? Надо, чтобы она сознавала всю ответственность своей задачи.

32

Буфетчик петербургского «Медведя» Сонькин давно уже из школы деревни Большие Поля перекочевал в две залы некогда существовавшего в Ямбурге трактира. Господа офицеры расположенных в Ямбурге военных учреждений и приезжие с подступивших к городу участков боевых действий имеют возможность отвести в уездной ресторации душу за рюмкой водки и за хорошим бифштек-

сом по-гамбургски, или, как кто-то сострил и с тех пор пошло, по-ямбургски, что означает с мухами, с тараканами, с волосами и щепками в гарнире.

С первого июля Северная армия по требованию миссии союзников, дабы ее отличать от белой армии, действовавшей со стороны Архангельска, переименована в Северо-Западную армию. Офицеры и солдаты северозападники получили особый знак на левые рукава шинелей и гимнастерок: матерчатый белый крест под нашитыми углом трехцветными российскими лентами. Все белогвардейское движение пошло теперь под этим осеняющим его белым крестом. Белый крест нашит и на старом русском трехцветном флаге, и отныне это как бы государственный флаг всех тех, кто идет на Петроград за генералом Юденичем. «Белым крестом» называется газета, которую выпускает еще с июня явившийся в войсках тот, кого когда-то прозвали в России Валяй-Марковым, думский скандалист и погромщик Марков-второй. По документам, выданным ему гвардии полковником Хомутовым, который ведает военно-гражданским управлением в Ямбурге, он уже не Марков. Он штабс-капитан Лев Черняков.

Господа офицеры имеют теперь и чем рассчитываться в ресторане. Не надо сдергивать с себя нательные кресты, или прощаться с утаенными при обысках и реквизициях в обывательских квартирах портсигарами, кольцами, серьгами, царскими золотыми пятерками и десятками, или, что еще хуже, умолять официантов, чтобы твой долг записали в книгу. По образцу и подобию «керенок» выпущены свои, армейские, бумажные деньги — «родзянки». Они обеспечены, как смеются в армии, лишь золотом генеральских погон, тем не менее покладистые кабатчики от них не отказываются.

В заношенной офицерской гимнастерке, в сапогах с грубо наложенными заплатами, в углу ресторана, перед столиком, скрытым круглой голландской печью, хмурясь, сидел подполковник Ларионов. Белого креста на его рукаве было не видно, потому что левая рука подполковника лежала на груди в черной повязке. Он только что возвратился из госпиталя в Нарве, где провел около месяца. После боев возле Сиверской и под Вырой он был ранен на станции Кикерино в грудь и в руку осколками красного снаряда, сброшен с лошади и остался жив только потому, что двое из его солдат по переменке тащили своего командира на плечах до Волосова.

Рана в грудь оказалась менее опасной, чем рана в руку. Осколок повредил локтевой сустав, и теперь там что-то не улаживалось, рука плохо сгибалась и почти все время нудно, изматывающе болела. Ларионову предложили было выехать для лечения в Финляндию или еще куда-нибудь подальше от фронта. Но он, добровольно прибывший из войск Бермонта-Авалова под Петроград только затем, чтобы быть поближе к семье и в конце концов попасть в родной город, вновь тащиться отсюда в неведомые края отказался. Но и командовать боевой частью он еще пока не мог. Подумав, его прикомандировали к армейскому управлению по военно-гражданским делам. По приказанию главного начальника тыла армии ему предстоит наутро отправиться в бывшее имение бывшего предводителя Ямбургского уезда графа Сиверса. Что там натворили, в том имении, рьяные контрразведчики, черт их знает. Ларионов должен разобраться.

По-гурмански потягивая из рюмки водку под малосольные огурчики, подполковник раздумывал о тех бумагах, которые находились в его кожаном портфеле. Некто Петр Михайловский до большевистского переворота состоял управляющим в имении графа Сиверса «Георгиевское». После переворота немалая часть графского имущества была роздана Советами крестьянам, другая же часть осталась в имении, которое большевики превратили в свое советское, государственное хозяйство. Михайловский, как опытный специалист, был оставлен на службе у большевиков и служил им до тех пор, пока в мае Северный корпус не изгнал красных из «Георгиевского». Ничего необычного в этой ситуации не было. Многие бывшие управляющие, агрономы, ветеринарные врачи имений оставались при большевиках на прежних местах и продолжали служить по специальностям. Они же не офицеры — зачем и куда им было бежать, в какие другие армии?

Но контрразведка схватила Михайловского, предъявила ему обвинение в расхищении имущества владельца «Георгиевского», в службе большевикам и, следовательно, в большевизме. Михайловский, как свидетельствуют бумаги, ныне уже казнен через повешение. Заодно с ним повешен еще и какой-то Каттель — за принадлежность к партии коммунистов.

В деле Каттеля разобраться совсем невозможно. Видимо, он и на самом деле большевик. Но что касается Михайловского, то из-за него в Нарве и даже в Ревеле

поднят сильнейший шум. Во все инстанции жалуются его родственники; они утверждают, что если Петр Михайловский и позволял растаскивать имущество графа Сиверса, которому служил честно до последнего своего часа, то при этом тщательнейшим образом записывал, кто что взял, чтобы знать, от кого что возвращать потом, когда наконец придут законные власти. Он сохранял, оберегал имущество, а не пускал его на поток.

Что делать теперь? Ну хорошо, с помощью свидетельских показаний, без которых так лихо обошлась контрразведка, Ларионов докажет, допустим, что Михайловский не виновен, — не вернешь же его с того света. К чему тогда вся эта контролерская канитель? Какой смысл имеют эти расследования, когда коменданты уездов и волостей делают такие дела, что даже и контрразведчикам за ними едва ли угнаться? В портфеле Ларионова лежат копии нескольких документов, из которых ясно, что человеческая жизнь для этих комендантов не стоит и копейки.

Он открыл портфель, стал перелистывать листы, подшитые в папку. Вот уездный комендант Гдова пишет коменданту Мошковской волости, очевидно отвечая на запрос: «Фельдшера разрешаю оставить, а лиц подозрительных и возбудивших население арестовывайте и представляйте ко мне. По постановлению военно-полевого суда уже расстреляно 6 человек». И еще. Тому же тот же: «По постановлению военно-полевого суда граждане: дер. Дымоколь, Мошковской волости, Семен Калин повешен, дер. Зуевец, той же волости, Константин Германов расстрелян, а потому предписываю вам конфисковать их имущество».

— Ларионов? — услышал он голос над собой. — Вот встреча! Здравствуйте!

К столику, улыбаясь, подходил штабс-капитан Снегирев, с которым лет десять назад они начинали службу. Позже Снегирев занялся политикой, он состоял в какой-то, кажется в эсеровской, партии; в начале войны его в полку уже не стало, и на том знакомство кончилось. Но был он, запомнилось Ларионову, человеком веселым, остроумным, общительным, и потому Ларионов обрадовался встрече.

— Снегирев! — воскликнул он. — Садитесь, прошу вас. Откуда вы? Какими судьбами? Рюмку водки, а?

Ларионов окликнул официанта, тот принес еще одну рюмку, налил в обе из графинчика. Офицеры чокнулись, с интересом и дружелюбием рассматривая друг друга.

— Честно говоря, — сказал Снегирев, закусывая огурцом и скользя взглядом по сабельному шраму на лбу Ларионова, — в Ямбург я прикатил из чистого любопытства. Знаю эти места с детских лет. Мой отец служил в здешних имениях. Он был агрономом. Мы жили в Елизаветине, в Гомонтове... А это что? — Снегирев указал на повязку Ларионова.

— Война! Стреляем. Кто в кого попадет первый.

— Не сильно?

— Могло быть и хуже. Но для меня и этого достаточно.

— А голова?..

— Это старое, давнишнее. Восточная Пруссия.

Радуясь встрече, они выпили еще по рюмке.

— Ну, а где служите вы? — поинтересовался Ларионов.

— Пока еще нигде. Прискакал курьером из Парижа в Гельсингфорс через Стокгольм. А в Гельсингфорсе никого и не оказалось. Все ваши вожди кто в Ревеле, кто в Нарве. Юденич-то уже в Нарве со своим штабом.

— Курьером? Из Парижа? — удивился Ларионов. — А знаете, это здорово интересно. Расскажите, пожалуйста.

— Я уже и в Архангельске успел побывать. Гоняют по всей Европе.

— С какими же вестями?

— Напротив, за вестями. Сейчас в европейских правительствах идут дебаты, решают, сколько и чего вложить в Северо-Западную армию. Наше парижское «Политическое совещание», естественно, оснащается фактическим материалом, дабы продемонстрировать союзникам то, подо что те вкладывают свои средства.

Снегирев внимательно осматривал бывший трактир, убогую его мебель, мух, роящихся над столами, фуксии и герани в горшках на подоконниках.

— Да, — сказал он, — гниете вы здесь, друзья мои, в родных российских болотах. Дырявят вас красные товарищи пулями и осколками. А там, в Парижах и Лондонах, все они же, они же, кто и прежде был на верхах, пребывают в полном довольствии. Слушайте, Ларионов, мне пришлось повидать многих. И Маклаковых всяких, и Сазоновых, Извольских, Гирсов. Сидят в нашем бывшем

посольстве на ля рю Гренель, в помпезном громоздком палаццо. Войдешь — и не поверишь, что империи Романовых уже нет. Гобелены, персидские ковры, лепка, позолота по стенам и потолкам. О-ля-ля! — как говорят французы. Всюду портреты наших обожаемых монархов — и поясные и в полный рост. А под монаршей сенью заседают с постными рожами, скорбя, должно быть, о вашей искалеченной руке, великие российские демократы.

Снегирев выругался и потребовал у официанта еще графинчик и еще огурцов.

— Это, так сказать, одна компания. Государственные умы! А есть еще и идеологи, этакие проводники идей в массы. Ну уж, конечно, не последний среди них господин Струве. Ну уж, конечно, знаменитый Бурцев. Ну, естественно, и вездесущий Савинков. Я побывал у него в бюро на улице Ренуар. Все они мыслят масштабами половины земного шара — от Владивостока до Одессы и от Мурманска до Батума. А сами кто? Смешно смотреть, Ларионов. Пигмеи. Карлики. Слушайте, где же люди-то в России? Большие, подлинно государственные умы? Дельцов одних видим да комбинаторов. Страшно даже как-то. Ведь были же они, а?

— Если бы были, не развалилась бы Россия, — ответил Ларионов.

Снегирев оглянулся, не слышит ли кто, заговорил тише, чем до этого:

— Когда на такое насмотришься, честное слово, подумаешь: ни черта у нас не получится. Историю обратно не повернуть. От нечего делать в длинных дорогах я кое-что почитываю, на что времени прежде недоставало. Например, интересный труд Шарля Монтескье «Размышления о причинах величия и падения римлян». По аналогии взялся читать, увидав название. Россия тоже была великой. Почему же она пала? Монтескье утверждает, что империя, основанная на силе оружия, должна и сохранять свою силу посредством оружия. Я согласен. А как же иначе? И у римлян, когда они пустились в гульбу, армия пришла в упадок, и у нас в последние годы от нее оставалась одна парадность. Не петровской, не суворовской стала армия и даже не времен Николая Палкина. Монтескье говорит о придворной заразе, разъевшей Рим. Императорский двор все дальше отходил, отстранялся от государственных дел. Никто ни о чем не высказывался прямо, обо всем важном предпочитали

умалчивать, этак намеками пытались изъясняться. Гонение шло на тех, кто чем-либо был славен в прошлом и потому позволял себе иметь собственное суждение. Министры и военные начальники, как раз те, кто обязан был поступать самостоятельно, вертелись по указке таких людишек, которые и сами не способны служить государству да еще и не выносят, когда другие служат ему с честью.

— Это все Монтескье? Или уже вы? — Ларионов был заинтересован.

— Он, он. Я только утверждаю, что точно так же было и у нас. И поэтому мы повторили историю и погибли в полном соответствии с ее законами. И нашим пигмейчикам уже ничего не вернуть. Зря вы пожертвовали своей рукой, Ларионов. — Он снова оглянулся. — Мало того, я согласен и вот с чем из этого оригинального автора. Он утверждает, что ни одно другое государство не представляет такой сильной угрозы для остальных, как то, которое испытало ужасы гражданской войны. Потому что все его граждане — знатные, горожане, ремесленники, крестьяне — становятся солдатами.

— А знаете, это верно, — подумав, сказал Ларионов.— Чертовски верно. Но это свидетельствует о том, что таким государством станет государство большевиков. У него уже, кажется, трехмиллионная армия горожан, ремесленников и крестьян, как называет ваш автор. А еще не меньше вооруженных рабочих на заводах. Рабочие отряды петроградцев бьют нас не хуже, а даже лучше, чем иные регулярные части Красной Армии. Вот только «знатные» России пошли особняком.

— Значит, ход истории сметет их в мусорный ящик. Нет умов у нас, нет, Ларионов. А у большевиков?.. Монтескье говорит: гражданские войны способствуют появлению великих людей, ибо в общей смуте выдвигаются те, кто имеет заслуги, и соответственно этому они занимают место и получают должность. У наших парижских мудрецов с языка не сходит имя Ленина. И так и эдак его полощут. Ну и что? И ничего. Победит Ленин. Потому что он личность. А наши... — Снегирев снова зло выругался.

В залу вошла большая группа офицеров, они стали сдвигать несколько столиков вместе, в длинный общий. Один из пришедших кивнул Ларионову, окинул взглядом Снегирева. Ларионов сказал вполголоса:

— Здешний комендант. Полковник Бибиков.

— О! — Снегирев усиленно занялся закуской.— А что это вы с портфелем? — поинтересовался он затем. — Не чиновником ли заделались?

— Именно. Кстати, взгляните на эти бумаженции. — Ларионов стал открывать замки портфеля. — Вы говорите, здесь жили. Может быть, знаете названия этих деревушек?

Снегирев перелистывал страницы, вшитые в папку, как час назад делал это Ларионов.

— Ну вот, — сказал он, возвращая папку Ларионову, — я и говорю: конец нам. Этими виселицами чего добьются наши кретины? Того, что у красных не трехмиллионная армия будет, а тридцатимиллионная. Да эти же мужики из Дымоколи и Зуевца не захотят завтра, чтобы их так поштучно подвешивали к перекладинам. Они винтовки возьмут в руки против комендантов, против нас с вами и тех господ с парижских улиц Гренель и Ренуар.

Офицеры за длинным столом, выпив по первой рюмке, подняли такой шум и крик, что Ларионов предложил Снегиреву пройтись по городу. Тот согласился. Они расплатились и не спеша двинулись к реке Луге. Под берегом сидело несколько мальчишек, которые удочками таскали узких серебристых рыбок.

— Уклейка, — сказал Ларионов, следя за тем, как мальчишки забрасывали удочки без грузил, отчего насадка плыла почти по поверхности воды. — Бывало, тоже лавливали, бывало.

Снегирев не ответил. Они присели на траву под березой, закурили.

— Чертовски не хочется заниматься этими делами. — Ларионов похлопал здоровой рукой по портфелю.

— А чего вам хочется? — после паузы спросил Снегирев.

— Честно?

— Честно.

— Увидеть свою семью. Жену, дочку Ниночку, сына Петьку. И ничего больше. Пришел бы к ним, лег на диван и так бы лежал две недели не вставая, а они бы сидели вокруг и смотрели на меня.

— Основательно же вас умотала жизнь, друг мой. — Снегирев с любопытством смотрел на Ларионова. — А где они, ваши родные?

— В Петрограде.

— Что? — Снегирев отбросил в сторону едва начатую папиросу. — В Петрограде?

Он хотел сказать еще что-то. Но не сказал, откинулся спиной на траву, стал смотреть в небо, по которому шли редкие облачка. Под ними стремительными эллипсами и параболами резали воздух черные стрижи с соседних колоколен. Земля подрагивала время от времени, грузно и грозно.

— Это где же палят? — спросил Снегирев.

— Большевистские форты, наверно. Или железнодорожные артиллерийские установки.

— Положение-то на фронте каково?

— Они жмут. Мы отходим.

— Здесь, в ваших краях, в Ревеле например, тоже беспечные живут людишки. Вроде тех парижан. Когда я проезжал Ревель, мне показали господ из местного «Политического совещания», которое при главнокомандующем. Этих Волконских, Карташевых... Сидели, ужинали в парке Екатериненталь, слушали местных певичек. Не лица, а кирпичи, без мысли и волнения в глазах.

— Между прочим, именно они, эти «кирпичи», называют «кирпичом» генерала Юденича, — сказал Ларионов. — Скажите слово «кирпич», и все знают, о ком оно.

— Жаль только, что из таких «кирпичей» порядочного здания не построишь.

Ларионов чувствовал, что и на этот раз Снегирев хочет сказать еще что-то. Но тот снова промолчал. Спросил лишь:

— Вы где остановились?

— В офицерском общежитии.

— А мне порекомендовали один частный дом, пойду поищу. Что ж, пока прощайте, подполковник. Рад, рад вам. Чертовски рад. Вы когда уезжаете?

— Я же говорю: и вовсе бы не уезжал.

— Вечером-то, во всяком случае, еще будете в Ямбурге?

— Конечно.

— Зайду. Отыщу ваше общежитие и зайду.

Снегирев пошел в город. Ларионов остался сидеть на траве под березой. Разговор с этим режущим правдуматку штабс-капитаном разволновал его. Он ясно представил свою Шпалерную улицу близ Таврического дворца, свой, может быть, не очень казистый снаружи, но

скрывающий в себе их небольшую уютную квартирку, дом № 39. Как живут, что делают сейчас в ней, в этой квартирке, его Нинка и Петька, их мама Люда? И живы ли, здоровы ли они? Не мстят ли им большевики за то, что отец у них белый офицер, по большевистской терминологии — контрреволюционер? Если разобраться как следует, то он же действительно и есть контрреволюционер. Перед Ларионовым вновь со всей отчетливостью предстала картина расправы офицеров-семеновцев в селе Выра над красными командирами и комиссарами. Это был чудовищный возврат к средневековым зверствам, и он, Ларионов, как ни доказывай иное, тоже причастен к ним. Он добровольно состоит в этой зверствующей армии, он ее офицер, один из ее командиров, и нет никаких сомнений в том, что вместе со всеми ответствен и за смерть гдовских мужиков, повешенных белыми комендантами, и за другие тысячи жизней, оборванных пулями, веревками, шашками, штыками завшивевших рыцарей белого креста, которые вломились в этот мирный край — во имя чего? Во имя, как декларировалось всюду, благополучия, процветания — кого? Этих мужиков, вздернутых и расстрелянных в деревнях Дымоколь и Зуевец и в десятках, десятках других селений? Так разве не вправе петроградские большевики поступить точно так же с женой, с детьми офицера-палача Ларионова?

Он понимал, что да, да, вправе, в полном праве, и вместе с тем говорил себе, что этого не может быть, не может быть. И тут же с горькой усмешкой себе же и отвечал: те мужики тоже, конечно, по дороге к виселице думали, что не может быть, не может такого быть. А вот же — в его портфеле лежат эти бесстрастные по форме и жуткие по содержанию документы: оно, такое, было.

Ларионов поднялся с земли и вялым, никуда не устремленным шагом побрел. Сначала вдоль берега, в сторону железнодорожного моста. Потом свернул в город.

— Подполковник Ларионов! — окликнул его полузнакомый поручик, кажется из контрразведки или комендатуры.

Ларионов остановился.

Подойдя, поручик спросил:

— Что это за индюк был с вами в ресторане? Я сидел за печкой и кое-что из его разглагольствований невольно подслушал.

— Он из Парижа. Курьер к главнокомандующему, — ответил встревожившийся Ларионов.

— То-то и видать. У этих господ никаких ограничений на язык нет. «Монтескье, Монтескье»! Никакой не Монтескье, самая что ни на есть большевистская пропаганда. Напрасно вы ему так неопределенно отвечали... Я, правда, не все слышал... Надо было напрямик. По-солдатски. Другого разговора эти златоусты не понимают. Ну, прошу прощения, прошу прощения.

Поручик козырнул и пошел своей дорогой. А Ларионов остался стоять, волнуясь все больше и больше. Не за себя — за Снегирева. Надо его непременно предупредить. Жаль, не поинтересовался адресом того частного дома. Теперь жди вечера. Может быть, Снегирев и придет, как обещал.

33

Две дивизии 7-й армии, 2-я и 6-я, начали бои за овладение Ямбургом. 6-я наступала со стороны Копорского залива, вдоль озер Копанского, Глубокого и Бабинского, нацеливаясь прорваться к северным подступам к Ямбургу через Котлы. 2-я дралась на шоссе Ямбург — Красное Село.

Другие части армии, соприкасающиеся слева с 15-й армией, в упорных, трудных боях оттесняли противника обратно в лесные, болотистые края Гдовского уезда, откуда так стремительно те вылезли тринадцатого мая.

Павел Благовидов приехал в деревушку, расположенную между Копорьем и Котлами, и вместе с новым начальником 6-й дивизии Солодухиным, с его начштаба, с командирами полков сидел над картой, обсуждая направления и последовательность ударов.

Потерять Ямбург для белых означало потерять многое. Ямбург стал их базой, откуда они бросались в наступление по двум прямым и удобным магистралям к Петрограду: одна — это железная дорога через Гатчину, другая — хорошее шоссе через Красное Село. Поэтому-то и поставлена была именно такая задача перед красными дивизиями: во что бы то ни стало вырвать Ямбург из рук противника.

Обе дивизии, предназначенные для этого, были укреплены, пополнены, получили достаточно оружия. Павел

Благовидов сам занимался отбором для них свежих пополнений.

По решению Петроградского комитета обороны и Реввоенсовета армии на этот же участок пришло несколько отрядов моряков, пришли коммунисты с питерских предприятий; командирами взводов и рот во многие части были назначены недавние красные курсанты. Павел Благовидов строго соблюдал классовый принцип при отборе людей в армию, помня, что об этом постоянно говорит товарищ Ленин. Мятеж на Красной Горке, мятеж бывших семеновцев в Выре, переходы целых полков к белым под Псковом, возле Ямбурга в мае, измены и предательства многому научили петроградских большевиков.

Немало изменений произошло за последнее время и в самой системе организации защиты Петрограда. Пленум Центрального Комитета, собравшийся в Москве в начале июля, особое внимание уделил событиям под Петроградом. Для централизации руководства боевыми действиями, для собирания сил в одних руках решением ЦК Петроградский комитет обороны в оперативных и прочих военных делах был подчинен Реввоенсовету 7-й армии. Деятельность Сталина, полномочного представителя Совета Обороны республики, получила хорошую оценку, Сталин был переброшен на Западный фронт и в Петроград после пленума уже не возвратился.

Центральный Комитет партии усилил помощь Петрограду и людьми, и продовольствием, и военными материалами. Поспособствовало этому изменение обстановки на Восточном фронте. Колчак, так решительно наступавший весной, был к тому времени сломлен. Разбитые его войска откатывались все дальше в Сибирь, распадаясь в дороге на шайки бандитов и грабителей. Освобождались хлебные, богатые продовольствием районы.

Петроград и сам напрягал все силы. В эти дни, когда 7-я армия развертывала наступление на Ямбург, Петроградская партийная конференция постановила отправить в дивизии и полки еще пятьсот коммунистов. Пятьдесят ответственных партийных и советских работников пошли организаторами в войска. На плацах и площадях Петрограда горожане каждый день видели отряды коммунистов, которые обучались стрельбе из винтовок и пулеметов, осваивали управление бронемашинами, готовились

стать наводчиками и заряжающими в артиллерийских батареях.

Вместе с командным составом дивизии Павел Благовидов еще и еще раз обсуждал осуществимость задуманного удара. Он и начдив Солодухин за день до этого участвовали в заседании Реввоенсовета армии. Новый начальник штаба, военспец, бывший полковник Люндеквист, после разгрома белофиннов под Видлицей возвратившийся с Севера, высказал сомнение в своевременности ямбургской операции. Он предлагал закрепиться на нынешних рубежах, создать прочную оборону, а под ее прикрытием накапливать силы и совершенствовать боевую подготовку частей. «Но ведь пока мы это делаем, то же самое будет делать и противник, — возразил ему Благовидов. — Мы имеем доказательства того, что союзники начали поставлять Северо-Западной армии вооружение, боеприпасы и продовольствие». — «Что они там могут? — Люндеквист поморщился. — Капнуть каплю возможного в океан необходимого. А за нами — великая страна, Республика Советов!» — «Но республика еще не покончила с Колчаком, а Деникин все еще наступает, у него Харьков, у него Царицын, — сказал новый командующий армией Матиясевич. — Затягивать под Петроградом нельзя, товарищ Люндеквист. Правы товарищи. Мы не имеем права давать такую спокойную возможность Юденичу набираться сил. Принимаем решение: усилить натиск на Ямбург и взять его во что бы то ни стало».

Люндеквист промолчал, вертя в руках остро заточенный карандаш.

— Что ж, — сказал Солодухин, поглядывая на Благовидова, который вспоминал этот вчерашний разговор, — ударная группа двинется, обходя Котлы, затем вдоль этой вот железнодорожной линии на Килли, на Большой и Малый Луцк. А когда мы появимся там, белые сами бросят Ямбург. Побоятся быть захлопнутыми в мышеловке.

— Гладко было на бумаге!.. — Командир одного из полков засмеялся.

— Да забыли про овраги? — Начдив взглянул на него из-под припухших век. — Как раз об оврагах-то и помнили. Тут много скрытых подходов лощинами и лесами. А наш фланг со стороны реки Луги будет обеспечен еще и вот этими, — он указал на карте, — обширными болотами. Так что ни о чем мы не позабыли.

Назавтра с утра Павел Благовидов уже был в бою. Один из полков 6-й дивизии наступал на деревню Пиллово. Первыми через несжатую рожь шли моряки-краснофлотцы. Шли лихо, в полосатых тельняшках, с вьющимися по ветру ленточками бескозырок; винтовки — штыками вперед. «Ура» волнами катилось по полю наступления. Но до деревни никто из них дойти не смог. Одни попятились назад, другие то ли окопались во ржи, то ли залегли в ней так, что уже никогда и не подымутся. Из Пиллова по наступающим било не менее пяти пулеметов. Через густой их, плотный огонь прорваться было совершенно невозможно.

Благовидов посоветовал командиру полка тот стрелковый батальон, который был подготовлен к атаке вслед за моряками, не посылать с фронта, не бросать его под пулеметы, а направить в обход через деревушку Каллина и зайти Пиллову в тыл. С фронта же усилить огонь стрелкового оружия и приданной дивизии трехорудийной батареи полевых пушек.

Командир согласился, и к середине дня обходный маневр был осуществлен. Увидав красных, охватывающих их с тыла, белые перебросили свои пулеметы туда, на фланг, и в тыл. Тогда другой батальон и уцелевшие во ржи моряки кинулись в новую атаку на Пиллово. Белые побежали. Первый батальон полка перехватывал их на дорогах к Крестову и Килли, кося винтовочным и пулеметным огнем, встречая прямо на штыки. Многие белые солдаты бросали винтовки и подымали руки.

Павел Благовидов вошел в Пиллово, изрытое окопами и ячейками для пулеметов. Столетние березы и липы вдоль улицы, посаженные еще, быть может, дедами и прадедами нынешних жителей деревни, были срублены и превращены в баррикады. Всюду валялись мертвые. Выяснилось, что это были не только белые солдаты. Отступая, белогвардейцы застрелили нескольких крестьян, которые своевременно не ушли в лес, как это успело сделать большинство.

Деревня была разорена. Растащены крестьянские погреба с припасами, порезан скот, побита птица.

— Два месяца они у нас стояли, — объяснял один крестьянин, не то со страхом, не то с надеждой поглядывая на Благовидова. — Своего-то у них ничего не было. Все наше жрали. А разве на нее, на саранчу эту, напасешься было! Девок всех перехватали, баб молодых. Один

сельчанин наш за бабу за свою — не стерпел человек — солдата ихнего шкворнем до смерти зашиб. Дак и самого его, и бабу, и деда восьмидесяти годов воп к той избе поставили и с ружей лишили жизни. Смотри иди, гражданин-товарищ!..

Старик подвел Благовидова к дому, и Благовидов увидел вошедшие в бревна винтовочные пули. Он попросил топор, выковырнул одну из пуль. Она была измятая и такая рыжая, что Благовидову подумалось, не кровь ли на ней того разгневанного мужика или его обесчещенной жены, убитых этим самым кусочком свинца в медной оболочке.

— Ребятенки вот остались! — Старик указал на двух жавшихся друг к другу желтоволосых девочек. Торчали в стороны их детские косички, испуганно и серьезно смотрели синие глаза. Было им лет по восемь, по девять, но они до удивления напомнили Благовидову Саньку. Подрастут — и порыжеют их головенки, еще гуще, синее станут глаза. Саньки и Саньки. Две враз.

— Как же они живут-то теперь? — спросил он старика, с жалостью разглядывая маленьких желтоволосых крестьянок.

— Да вот, видишь, ни отца, ни матери. Ни деда с бабкой. Одни на свете остались. Но ты, гражданин, не думай: обчество их не бросит. Вырастим. По домам на срок брать станем, вырастим. Замуж опосля повыходят. Испокон веков так в деревне-то.

— А может, в город их отвезти, в детский дом? — сказал Благовидов.

При этих словах девочки, все время смотревшие ему в лицо, подхватились и, держась за руки, изо всех сил побежали прочь.

— Нет, — сказал старик, — негоже это. И не думай. Деревенские дети что козлятки дикие. Не могут они в городу. Вырастим, вырастим сами.

С тяжким сердцем покидал Благовидов деревню Пиллово, на огородах, на улице, во дворах которой красноармейцы и моряки подбирали убитых и раненых, отыскивали винтовки, пулеметные ленты, всякий иной военный скарб.

Вечером вместе с начдивом и другими командирами допрашивали пленных. Солодухина интересовали вопросы военные: где, сколько, номер части? А из головы Благовидова не выходили девочки-сиротки.

— Зачем крестьян-то убивали? — спросил он солдата, который, по лицу судя, показался ему более сообразительным, чем другие.

Тот стоял потупясь, ожидая, видимо, верной и неизбежной смерти.

— Чего молчишь? Говори, рассказывай, как против женщин и детей воевал, вояка.

— И не я это вовсе. Я сам крестьянин. Чего мне людей убивать, — ответил солдат, с которого сняли пояс, и он стоял перед Благовидовым в распущенной чуть не до колен, великой ему, вылинявшей гимнастерке, смешной и жалкий, на тощих кривых ногах, обернутых рваными обмотками.

— А кто же?

— А это которые с контрразведки. Офицеры. Они и своих солдат к стенке то и дело ставят. Не то что чужих.

— Врет он, товарищ комиссар, — заговорил другой пленный, утерев предварительно нос рукавом. — Офицеры офицерами. А и среди нас, солдат, сволочь есть хорошая. Я этих белых гадов всех бы передушил без разбирательства! Вот этот кривоногий козел, скажем. Он, верно, убивать тут никого не убивал, а курям головы откручивал за милую душу, в погребах шарил, подлюга, на виду у хозяев. Винтовку покажет — и лезет.

— А ты кто же такой? — Благовидов разглядывал словоохотливого солдата с трехцветными лентами и белым крестом, нашитыми на левом рукаве, как и положено солдату Северо-Западной армии.

— Да я, товарищ командир или комиссар, по второму разу плененный. Красный я, красноармеец. Из бригады товарища Николаева, зверски казненного красного генерала, душевного русского человека.

— Николаева? — О трагедии в Попковой Горе и о казни бывшего генерала Благовидову рассказывал Осокин. — Где же тебя белые взяли в плен? В каком месте?

— Перед самой Попковой Горой. Мы там оборону держали на лесных позициях. Нас исподтишка...

— Это я знаю, — перебил Благовидов. — А вот почему ты остался служить у белых, а не нашел возможности вернуться к своим, вот что объясни мне.

Солдат опять утер нос рукавом: его прохватывал нервный насморк.

— Вот это да, это да... Тут по чести скажу, врать не буду. Не знал, куда подаваться. Зачислили меня в роту, винт выдали — винтовку, значит, эти хреновины велели нашить, — он указал на свои нарукавные эмблемы, — и вот служил. А что делать, товарищ комиссар? Пужливый я сызмальства. Коров боялся, коней... Меня и в ночное из-за этого ребята не брали. От козла на печку в избе залазил, под тулуп. Куда ж я побегу? У нас в роте четыре солдата тягу дали, с другого взвода, не с нашего. Они в имение поехали, мужиков усмирять. И убегли. Только, видать, не все у них ладно было меж собой, одного опосля мертвым в лесу нашли. А трое так и утекли. Переполоху было! Остатних во взводе в кутузке целую неделю парили, все допрос вели. Взводному нагоняйка была от верхних командиров.

— А фамилии тех солдат не помнишь? — Благовидов понимал, что «дважды плененный» рассказывает ему о побеге Осокина с двумя красноармейцами.

— Откуда ж мне? — ответил солдат. — Они же из другого взвода. Верно, меж ними были, тоже как я, пленные из нашей бригады. А кто — вот не скажу.

«Что же делать со всей этой шушерой? — размышляли командиры в дивизии. — Держать в плену и дорогой народный хлеб на них, дарможоров, изводить? В боевую часть влить, как после сортировки на коммунистов и беспартийных поступают белые с захваченными в плен красноармейцами?»

Ни то, ни другое не подходило. Штаб армии распорядился гнать их под конвоем в тылы — там заставят рыть землю на оборонительных рубежах или еще что-либо соответственное.

Хотелось бы встретиться с пленным офицером. Но офицеры пока не попадались. Нашли несколько убитых, а вот пленных все нет и нет. Нашкодили, боятся, что будут расстреляны.

День за днем дивизия все дальше пробивалась к Ямбургу. На левом ее фланге уже слышали стрельбу со стороны Ямбурского шоссе, вдоль которого наступала 2-я дивизия северной группы 7-й армии. Благовидов решил побывать и там.

На крестьянской подводе он приехал в большое село Ополье на самом Ямбургском шоссе, где расположился штаб дивизии. Отсюда совсем немного оставалось до Веймарна. За Веймарн белые держались цепко.

С церковной колокольни Ополья, на которой дежурили наблюдатели, отчетливо виделись дымы белогвардейских паровозов на станции.

До полуночи проговорил Благовидов с работниками штаба, поселившимися в каменных строениях старинного почтового двора. Сначала разговор шел вяло, перебрасывались словцом-другим, курили, сплевывали на пол, растирали плевки проношенными подошвами.

Потом, когда один из штабников, зевнув, сказал, что пойдет спать, и ушел, все оживились.

— Из офицеров он, товарищ Благовидов, — объяснил ведавший связью в дивизии, как Благовидову уже было известно, питерский рабочий, коммунист с дореволюционным партийным стажем. — Мы знаем, руководящие верхи все время нам разъясняют, что к бывшему офицерью надо по-разному относиться, не все они волки, не все в лес смотрят, есть и честные, которые без подвохов служат Советской власти. Понимаем мы это. Умом. А тут, — он приложил руку к сердцу, — тут приема для них нету, товарищ Благовидов.

Начался спор. Одни утверждали, что без офицеров Красной Армии не обойтись. Другие — что от офицеров одни несчастья в войсках.

— Товарищи дорогие, — с улыбкой сказал Благовидов, — а я-то ведь тоже бывший офицер. Как же относиться ко мне? Гнать меня, на строгое подозрение взять? Или оставить? Я же коммунист большевистской, ленинской партии.

— Да... — послышалось вместе со вздохами. — Вопрос не простой.

— Что верно, то верно: офицерский корпус в немалой мере оказался контрреволюционным, — продолжал Благовидов. — Но какая его часть контрреволюционна? В основном это та, старая, кадровая, дворянско-помещичьего корня, составлявшего оплот романовской династии. Князья, бароны, дворяне — о них что там и говорить. Но во время-то войны из военных училищ вышли и совсем другие офицеры: дети служащих и даже рабочих и крестьян. Что же вы думаете, надев погоны прапорщиков, они переродились, перестали принадлежать своему классу?

Говоря так, Благовидов подумал о начальнике штаба армии Люндеквисте, сыне царского генерала, полковнике Генерального штаба, дворянине. Пришла мысль о

том, что даже если тот и честно служит в Красной Армии, то служит он по-чиновничьи, без революционного огня. Не его класс взял верх, а чужой, противоположный его классу, — как же иначе он может ему служить? Люди рвутся в бой, у всех одно желание: вышибить белых из Ямбурга, прогнать их к Нарве, за реки Лугу и Нарову, за Чудское озеро. А бывший полковничек спокойненько рассуждает: закрепимся, накопим сил, за нами мощь республики. Ему оно, и верно, не к спеху.

Мысль о Люндеквисте плохо вязалась с доказательными, стройными рассуждениями об офицерах, которые только что высказывал он, Благовидов, товарищам из штаба дивизии. Ему стало досадно за такое раздвоение дум. И чтобы не сбиться с позиции, он принялся рассказывать о бывшем генерале Николаеве. Кое-кто уже слышал об этой истории, но отдаленно; подробностей не знал ни один. Благовидов во всех красках, со слов Осокина, описывал, как белые генералы отомстили в Ямбурге тому, кто пошел не с ними, а с народом.

— Не прощает класс отколовшимся от него, нет, — подвел кто-то итог разговору.

Стали собираться ко сну. Благовидов вышел на крыльцо почтового двора покурить. Деревенской жизни он не знал. Его жизнь проходила в Петрограде, сначала среди заводских заборов, потом в стенах реального и военного училищ. Ни полей, ни лесов он толком не видел, не дышал их воздухом и крестьян тоже не знал. Только теперь, в дни боев, он начал соприкасаться с ними, в какой-то мере заглянул в их жизнь. Вступая в революцию, отдаваясь ей всеми помыслами, он так же, как его друг Осокин, думал лишь о том, какую завоюет жизнь рабочему классу. Всегда видел перед собой одних рабочих, — рабочих, мастеровых. О крестьянах никогда и не думалось. Но вот он повстречал сельских девочек, похожих на Саньку, и они не дают ему покоя, эти маленькие, худенькие, надолго, может быть даже на всю жизнь, напуганные жестокой действительностью крестьяночки. Если бы не тот старик, Благовидов, конечно же, не оставил бы их в разоренной деревне, увез бы в Петроград, определил в детский дом. Но старик так убедительно говорил о том, что «испокон веков» деревня, «обчество», растит сирот, что Благовидов отступился перед силой вековых обычаев.

Жалостная эта нежность к сироткам сложными путями сплеталось у него с нежностью к Саньке. Он смотрел в черно-синее июльское небо, все в таких крупных, ясных звездах, каких в Петрограде не бывает, и видел там синие глаза и путался в мыслях, то жалея девчушек из Пиллова, то задумываясь о трудной деревенской жизни, где все добывается изнурительным, почти лошадиным трудом, то желая, чтобы вот сейчас, здесь, рядом с ним, сбоку, под его рукой, оказалась бы Санька.

34

У рыбацких причалов Усть-Нарвы разгружался серый английский пароход из Либавы. Вниз по трапам на шаткие доски причалов, а с них на песчаный дюнистый берег стекали два солдатских потока. В них плыли винтовки, пулеметы, патронные ящики, бомбометы; кранами из трюмов вытаскивались повозки-двуколки, четырехколки, в защитный цвет окрашенные походные кухни.

Взглянуть на новую, только что прибывшую в его распоряжение дивизию автомобилем из Нарвы, из своей ставки, приехал сам главнокомандующий Северо-Западной армией.

Не выходя из автомобиля, Юденич из-под широкого козырька роскошной гельсингфорсской фуражки следил за выгрузкой войск. Солдаты были обтрепанные, матерщина среди них стояла такая, что от нее, казалось, завивало пыльные, с мусором вихри на берегу. Люди путались один возле другого, никто не знал, куда, ступив на землю, двигаться дальше, никакого не было разделения на взводы, роты. Происходила суматошная толкотня, как бывает на прибрежных базарах Днепра или Волги с прибытием рейсового парохода, когда пассажиры со всех ног, дабы не опоздать обратно на пароход, кидаются закупать арбузы и баклажаны.

Всезнающий генерал Владимиров, который повсюду рассовал своих агентов, уже успел доложить главнокомандующему историю этой дивизии. Во всех телеграммах и документах она почему-то называлась «тульской». Дивизией ее числили при этом лишь для видимости. По сути дела, был это отряд в шестьсот солдат и офицеров. Но уж коли армии нужны дивизии, то и это дивизия.

За неделю до «туляков» вот так же прибыла другая партия в тысяча двести пятьдесят человек. Ее тоже именовали дивизией, и притом Ливенской, поскольку начальствовал над нею гвардеец князь Ливен. Какая бьющая в глаза разница между двумя воинскими формированиями! Ливенцы явились прекрасно обмундированными, полностью всем снабженными. Генералов Северо-Западной армии смущало, правда, то, что и солдаты и офицеры этой дивизии были одеты в немецкую военную форму, вплоть до железных касок, вооружены исключительно немецким оружием.

Ливенцы блеснули выправкой. Удивляться этому не приходилось. Дивизию вышколили немцы в составе войск фон дер Гольца. Князь Ливен располагал даже эскадроном кавалерии, красивых, породистых лошадей для которого отобрали у латышских крестьян.

Несмотря, однако, на сверкающий вид ливенцев, Юденич не слишком радовался инициативе союзников, добившихся переброски этого отряда из бермонтовских войск сюда, под Нарву. Офицерский состав его целиком был набран из кадровых гвардейцев царского времени, половина из которых были прибалтийские бароны, и все вместе они молились на немцев, утверждая, что только немцы способны освободить Россию от большевиков, а не какие-то провинциальные Юденичи и Родзянки.

Нет, ни Юденичу, ни Владимирову эти полунемецкие-полурусские аристократы не нравились.

Но то, то явилось взору главнокомандующего сейчас, тем более не могло доставить ему радости. Сброд, толпа, шайка.

Владимиров подробно рассказывал вчера об этих «туляках». Никакими туляками они не были. По сведениям Владимирова, история высаживающейся дивизии была иной. В марте месяце из Москвы на фронт против поляков, под Речицу, перебрасывался железнодорожным эшелоном полк, сформированный из служащих учреждений и из студентов советской столицы. Рабочих в нем не было, коммунистов почти не было, и когда на станции Гомель, где остановился эшелон, в полк явились агитаторы из антисоветской офицерской организации, «интеллигенты», как их вскоре прозвали в Гомеле, оказали неповиновение властям: дальше-де ни шагу, воевать не станем. Антисоветской тайной деятельностью в Гомеле руководил капитан Стрекопытов, который служил в одной из красных

частей. Он давно занимался разложением гомельского гарнизона, готовил его к восстанию, и теперь, когда забузотерил этот «интеллигентный» полк, Стрекопытову показалось, что момент подходящий. Он подал сигнал. Начались бунты и в других, подготовленных Стрекопытовым полках. На железнодорожной станции завязался настоящий бой. Многие из прибывших московских красноармейцев с оружием в руках пытались помешать беспорядкам. Но силы были неравны, и мятежники оттеснили их за реку Сож, в Ново-Белицу.

Офицерье, скрывавшееся под видом «военспецов», устроило в городе погром. Они атаковали гостиницу «Савойя» на Румянцевой улице — Юденич помнил эту гостиницу, где он останавливался однажды в начале войны. В «Савойе» собрались партийные и советские работники Гомеля, и было там до батальона их красных бойцов. Они отбили несколько атак. Тогда мятежники с вокзала Гомель-Полесский открыли по гостинице огонь из пушек, разбили здание и в конце концов взяли его штурмом.

Хмельной угар вскоре прошел. Спровоцированные офицерьем красноармейцы поостыли, увидели, что ими наделано, и стали разбегаться кто куда. Красные подтянули к Ново-Белице силы из Брянска, и через несколько дней Стрекопытов с толпой наиболее верных ему бунтовщиков сбежали через Речицу к полякам.

Большевики, вступившие в город, в полуразбитых помещениях «Савойи» нашли тела двадцати четырех своих комиссаров и коммунистов и похоронили их в Гоголевском сквере. А интернированные стрекопытовцы вместе со своим вожаком угодили в польские концентрационные лагеря. Французы, собиравшие противобольшевистские силы по всей Европе, вызволили их оттуда и через Литву отправили в Латвию. Теперь же они, эти «туляки», от которых можно черт-те чего ждать, уже здесь.

«Не войско это, не войско», — размышлял Юденич, глядя на бестолковщину среди солдат, расползшихся по берегу. Тот, кто начинает свою военную службу с неповиновения одним командирам, думалось генералу, непременно несет в себе заразу неповиновения вообще; не будет он повиноваться и другим. Офицеры что-то там орут, а солдаты и не думают слушаться.

— А где их командир-то, этот капитан? — Юденич обернулся к Владимирову.

— Он уже не капитан, Николай Николаевич,— ответил Владимиров, склоняясь к главнокомандующему.— Он полковник.

— Ну и где он, где?

Кинулись искать начальника «тульской» дивизии. Минут через десять перед Юденичем, рапортуя, стоял человек лет сорока.

Юденич вышел из автомобиля, без особой охоты подал Стрекопытову руку. Адъютанты сбегали в соседний рыбацкий домик, принесли табуретки.

— Присаживайтесь, полковник,— сказал Юденич, с опаской опускаясь на одну из них и указывая прибывшему начдиву на другую.

Чуть в сторонке, на третьей табуретке, устроился генерал Владимиров.

— Ну это... как оно...— заговорил Юденич.— Рассказывайте, словом.

— Да рассказывать нечего, — ответил Стрекопытов. — Вот будем воевать — весь и рассказ.

«Развязен,— с неприязнью подумал о нем Юденич.— Вояка!»

— Полковник, — сказал Владимиров,— это правда, что из Государственного банка в Гомеле... как бы это точнее... вы, уходя, захватили семьдесят пять миллионов рублей наличными?

— Преувеличил кто-то, господин генерал.— Стрекопытов не смутился.— Не более тридцати или сорока. А что было делать? Оставлять большевикам?

— Как же вы распорядились теми тридцатью — сорока миллионами?

— А людей вот этих,— Стрекопытов кивнул в сторону своей солдатни,— кормить-поить несколько месяцев надо было? На польских харчах все бы давно передохли. Они же нас, от себя-то, коровьей свеклой снабжали да серой капустой.

Юденич сказал, что с этого дня начальствующему составу дивизии надлежит заняться военной выучкой и укреплением дисциплины, без чего к походу на Петроград он дивизию не допустит.

Быстрым шагом к нему подошел офицер, подкативший со стороны Нарвы на мотоциклете, и, отрапортовав, подал спешный пакет.

Юденич, не торопясь, отломал сургучные печати, вскрыл конверт, пробежал глазами по строчкам.

Первые слова, которые он произнес вслух, были матерные. Из следующих стало ясно, что курьер доставил ему известие о падении Ямбурга.

— Красные вышли к Большому и Малому Луцку севернее города. Наши отступают вдоль правого берега Луги. Эстонцы взорвали мост, чтобы перекрыть красным путь на Нарву.— Юденич хмуро взглянул на Стрекопытова.— Приготовьтесь к тому, полковник, что сегодня-завтра вам, может быть, придется вступить в бой. От Ямбурга до Нарвы — два десятка верст.

35

«Батька» Булак-Балахович, несмотря на августовскую жару, в полной генеральской форме расположился среди тесного зальца полутораэтажного особняка в Завеличье, где, дружно соседствуя, помещались и штаб эстонской дивизии полковника Пускара, и квартира с канцелярией консула Эстонии господина Пиндинга.

Генеральский чин был пожалован Балаховичу совсем недавно, по представлению генерала Арсеньева, которого Юденич прислал в Псков с довольно-таки хитроумной целью.

Привыкший жить и действовать вольно, по своему усмотрению, иначе говоря — просто бандитствовать даже и в те времена, когда служил у красных, Балахович и здесь, на Гдовщине и Псковщине, в составе бывшего Северного корпуса был до крайности недоволен попытками Родзянки, а затем и Юденича преобразовать его вольницу в регулярную часть и подчинить ее твердой воинской дисциплине. При благосклонной поддержке белоэстонцев он давно превратился в самодержавного диктатора Пскова и никого, кроме себя, не признавал. Это несло в себе бациллу возможных неожиданностей, и бравые вояки из штаба Северо-Западной армии, а с ними и мудрецы из «Политического совещания» при Юдениче задумали во что бы то ни стало ограничить его власть, поставить «батьку» на должное место. Для этого-то в Псков одним июльским днем и прибыл представитель главнокомандования генерал Арсеньев. Со всей торжественностью Балаховича сначала произвели в генералы, так сказать, отметили и обласкали, а затем определили ему быть начальником дивизии в том корпусе, который принялся

формировать Арсеньев. Таким образом, в Пскове начала свое существование вторая белая дивизия, не подчиненная Балаховичу, появился второй начальник, второй штаб. Балахович понял, конечно, куда идет дело и куда оно пойдет дальше. И вот они сидят с господином Пиндингом, также отлично понимающим ситуацию, и обдумывают, как быть в столь непростой обстановке.

Господин Пиндинг и Булак-Балахович уже успели съездить в Ревель. Консул встретился там с премьер-министром Эстонской республики, бывшим присяжным поверенным округа Петербургской судебной палаты, господином Штрандманом. В бывшем губернаторском доме, в той же губернаторской приемной, где посетителей принимали и в царские времена, провел полтора часа и ставший генералом Балахович.

Белоэстонское правительство побаивается того, что с ростом и укреплением Северо-Западной армии русская белогвардейщина станет в Прибалтике, и в частности в Эстонии, забирать все большую силу. А так как Юденич — махровый монархист, поборник России единой и неделимой, над Эстонией нависнет опасность вновь подпасть под тяжкую десницу чего-либо подобного былому самодержавию.

Учитывая все это, хитрый Балахович решил вступить с эстонцами в переговоры на предмет образования самостоятельной «Псковской республики». Он был бы ее главой, диктатором, нисколько не зависимым от Юденича, а эстонцы могли бы тогда не опасаться неожиданностей со стороны дружественного соседа.

Господин Пиндинг, в легкой белой сорочке с закатанными рукавами, и генерал Булак-Балахович, с расстегнутым воротом генеральской тужурки, сидели друг перед другом за круглым столиком посреди зальца, пили коньяк и обсуждали подробности предстоящих акций.

Тому и другому уже было давно известно о том, как десятого августа, через пять дней после сдачи Ямбурга, в Ревеле было образовано «северо-западное правительство» из господ Лианозовых, Карташевых, Суворовых и других, крутившихся сначала в гельсингфорсском «русском комитете», затем в «Политическом совещании» при Юдениче. Под диктовку представителя английской миссии генерала Марша «правительство» было сформировано в течение сорока минут. При помощи этой комбинации союзники делали попытку добиться урегулирования

отношений белоэстонского правительства с русской белогвардейщиной. Но что это дало практически? Все равно эстонцы не верят Юденичу, а Юденич все равно лелеет мысль покончить с эстонцами, как только дойдет до Петрограда и укрепится в столице бывшей Российской империи. Эстонские правители давно прикинули все «за» и «против» и пришли к выводу, что Балахович, с его программой разгульной, бесшабашной, веселой жизни, им несравнимо менее опасен, чем оголтелые самодержавники Юденича, и всячески приручали «батьку», потворствовали ему, помогали. В Эстонии он был почти свой человек.

На этот раз Балахович вел разговор с Пиндингом о том, что хотел бы несколько большей поддержки со стороны эстонских войск на фронте. Дивизия полковника Пускара могла бы, по его мнению, действовать активнее: она хорошо оснащена, хорошо вооружена, обучена.

— Красные начали новое наступление на Псков,— говорил Балахович, крутя коньячную рюмку в пальцах.— Они жмут вдоль железной дороги, движутся вдоль левого берега Великой, атакуют со стороны Порхова. Они собрали все: и отряды фанатиков-коммунистов, и мужиков-партизан. Кроме кадровых десятой и одиннадцатой дивизий, кроме артиллерийских частей у них, господин консул, да будет вам известно, сформирована целая красная эстонская бригада. Да, эстонская!

— Мне это известно, господин генерал. И давно. И именно это в немалой мере мешает полковнику Пускару действовать активней. Пример красных эстонцев очень влияет на наших солдат. В Юрьеве из повиновения командованию вышел целый полк. Полковник Пускар не без основания опасается массового дезертирства с позиций.

— Стрелять надо негодяев!— Балахович стукнул донцем рюмки о стол.

— Стрелять надо в противника.— Консул улыбнулся.

— К нам идут свежие части с севера. Талабский и Семеновский полки, конно-егерский... Идут бронепоезда, броневики, новые батареи...— Балахович горячился.

— Это прекрасно, это прекрасно!— Консул удовлетворенно кивал при упоминании каждой следующей части. — Я свяжусь с генералом Лайдонером, с полковником Пускаром. Да, да, да.

Когда было переговорено обо всем, Балахович вышел на улицу к ожидавшим его штабникам, приказал им возвращаться в штаб, а сам вскочил на коня, чтобы в окружении «малого» конвоя отправиться под Изборск, где в последние дни его экспансивная, полная сил баронесса от нечего делать убивала время при помощи ловли рыбы на удочку в окрестных речках. Он решил сгонять туда, пока к Пскову для нового наступления подходят упомянутые им у консула новые боевые части.

Он безмятежничал, потому что многого не знал. Далекий от штабных тайн Юденича, он прежде всего не знал, кто такой генерал Владимиров, верный советчик и охранитель главнокомандующего Северо-Западной армией.

Два дня назад, поутру, едва главнокомандующий поднялся с постели и расчесал свои почти обретшие прежнюю красоту знаменитые усы, Владимиров, немало потрудившийся над планом ликвидации не только самостоятельности Балаховича, но и самого Балаховича, принес ему на подпись приказ. В параграфе втором этого приказа Юденич вслух прочел:

— «Полковнику Пермикину, командиру третьего стрелкового Талабского полка, взяв в свое распоряжение полки: конно-егерский, Семеновский и Талабский, две конные батареи, три бронепоезда и две бронемашины, арестовать в городе Пскове чинов штаба генерал-майора Булак-Балаховича, замешанных в беззаконных действиях, весь состав личной сотни генерал-майора Булак-Балаховича и представить их в мое распоряжение для расследования и предания суду виновных». — Кое-какие места пробежав еще раз глазами, главнокомандующий согласился: — Что ж, превосходно! Действуйте, Владислав Станиславович. С богом! — И поставил свою подпись с безвольной закорючкой в конце.

Владимиров принял подписанную бумагу в кожаный бювар, сказав:

— А уж потом, когда он будет в клетке, этот псковский тигр, мы сумеем изготовить из его шкуры ковер к камину.

И пока Балахович не спеша рысил на гнедом жеребце по Рижскому шоссе к Изборску, в Псков для его арестования, для разгрома его атаманщины вступали помянутые в приказе полки, батареи и бронепоезда.

Первым делом Пермикин со своими талабцами ворвался в штаб Булак-Балаховича. Встретил его полковник Стоякин.

— А, дружище! — радостно вскричал Стоякин, которого месяца полтора назад «батька» так своеобразно обвенчал на время с женою живого мужа. — Давно тебя было не видно.

— Где батька? — не приняв его восторгов, спросил Пермикин, озираясь.

Комнаты штаба тем временем наполнялись офицерами-талабцами.

Стоякин заподозрил неладное и стал пятиться, стараясь зайти за письменный штабной стол. Рука его потянулась к кобуре.

— Руки вверх! — скомандовал Пермикин. Несколько офицерских наганов устремили стволы на Стоякина.

Тот, выдергивая на ходу свой наган, бросился к распахнутому окну. Никто не успел спустить курки: он был уже во дворе. Но там угодил прямо в руки солдат.

— Держи его! — заорал в окно Пермикин.

Во дворе началась свалка. Стоякин стрелял из нагана. Один из солдат с воем повалился лицом в землю, другой присел, схватившись за бок. Стоякина это все равно не спасло. Пока Пермикин бежал из дома во двор, молодожена-полковника уже молотили прикладами по голове.

— Сволочь! — сказал Пермикин, увидав его труп. — В случае чего надо будет говорить, что убит при попытке к бегству. Что и есть на самом деле. Бежал? Бежал. Ну и убит!

Других штабников, в том числе и начальника штаба ротмистра Звягинцева, обезоруживали, брали под стражу уже без скандалов. Оказался в штабе и брат «батьки» Юзек. Пермикин написал Балаховичу письмо, приказал Юзеку:

— Даю тебе автомобиль с охраной. Чтоб тотчас догнал батьку и передал это приказание прибыть в Псков. Не я, главнокомандующий так приказывает. Прапорщик Шувалов! — Пермикин нашел глазами молодого офицера. — Будете старшим в автомобиле.

Балаховича настигли на шоссе. Он принял от Юзека сложенный вчетверо лист с посланием Пермикина и, не слезая с коня, ухмыляясь, начал читать.

Пермикин сообщал ему о том, что получил приказ Юденича арестовать штаб Балаховича, персонально полковника Стоякина, разоружить всю личную сотню «батьки» и его самого взять под стражу для охраны от возможных эксцессов.

«Предупреждаю, что я, как офицер, — читал Балахович, сдерживая коня, — не могу не исполнить приказа своего главнокомандующего и должен буду исполнить его в точности, не считаясь ни с какими условиями. Более тяжелого положения в жизни я не переживал. Ты меня, предполагаю, знаешь и мне поверишь. Знай, что твоя жизнь и свобода в полной безопасности и ты ей волен распоряжаться как угодно и в будущем, в этом порука — мое слово, которое для меня дороже жизни. Я прошу тебя об одном, как батьку, любящего солдата, что ты примешь все от тебя зависящие меры, чтобы наши младшие братья меньше пролили нужной для нашей родины крови».

— Красиво строчит, сукин сын, — сказал Балахович вслух, с наигранным весельем оглядывая тех, кого за ним послали. — «Предполагает», что я его знаю! Ну и крючкотвор!

Балаховичу припомнилось, как, служа у красных, они с Пермикиным пороли крестьян, как вместе бежали к немцам в Псков.

— Что ж, поворачивай, хлопцы! — скомандовал он своим конвоирам. — Поедем покалякаем со старым дружком.

Балахович не мог даже подумать, что все уже совершилось. Он увидел разгромленный штаб, запертых под замок штабников.

— Это что же такое? Подлость! — заорал он на Пермикина. — Старый друг называется.

— Тише, батька, тише. Мы офицеры, и приказ главнокомандующего для нас обоих закон. Я беру тебя под стражу. Вот прапорщик Шувалов... Сдай ему оружие.

— Может быть, не надо сдавать оружие? — Шувалов смутился. — Достаточно честного офицерского слова?

— Ваше дело, прапорщик, — сказал Пермикин. — На вашу ответственность.

— Граф? — Балахович сощурил глаза на молодого прапорщика.

— Так точно, господин генерал. Граф! — ответил тот.

— Я и гляжу, фамилия известная. Ну веди, где будешь караулить-то меня, твое сиятельство, господин граф.

— Вы должны находиться на своей квартире до прибытия главнокомандующего. И дать офицерское слово никого не принимать, пока не дождетесь генерала Юденича.

— Идет. Поедем со мной, дорогой граф!

Через час, выбравшись через окно комнаты, в которой, как он сказал молодому Шувалову, собрался якобы вздремнуть на кушетке, плененный «батька» с полсотней всадников уже гнал галопом в сторону Изборска, под защиту тяжелой артиллерии эстонцев, их бронированных поездов.

Посланные Пермикиным вдогонку разъезды настигли было его в пути. Но Балахович развернул своих кавалеристов в цепь. Они спешились и приготовились к бою.

Приблизившимся посланцам Пермикина Балахович объявил, что ничьих приказаний исполнять не намерен, а если ему попытаются угрожать силой, прикажет открыть огонь.

— Но ведь офицерское слово!... —воскликнул прапорщик Шувалов.

Балахович даже не взглянул на него, только сплюнул на дорогу и, взявшись за луку, легко вспрыгнул в седло.

В Изборске он узнал, что должной поддержки от эстонцев уже не получит. Приют ему они еще дать могли. Но выступить в бой — нет. Эстонские солдаты, как было когда-то с солдатами русскими — об этом верно говорил консул господин Пиндинг, — самочинно стали покидать позиции, не желая больше войны и сидения в окопах под снарядами красных. Массами они расходились по домам.

Разведка красных, тем более что коммунисты в Пскове, несмотря на свирепый террор, ни на час не переставали жить и действовать в подполье, тотчас донесла в свои штабы о положении у белых. Красные части усилили натиск под Псковом. Начальник эстонской дивизии полковник Пускар заявил, что держаться на фронте он больше не может, и принял решение отходить на Изборск. Громя белых, двигаясь по пятам эстонцев, красные вырвались на железную дорогу между Изборском и Псковом. Все эти Талабские, Семеновские и конно-егерские полки, прибывшие с Пермикиным, дабы не только арестовать Балаховича, а и на случай, если Балахович взбунтуется и откроет фронт, заслонить Псков от красных, все приданные полкам батареи, бронепоезда и бро-

цевики под ударами наступающих советских войск, боясь окружения, стали поспешно откатываться по дороге на Гдов.

Толпы солдат запрудили дороги, вереницы телег с наворованным скарбом тянулись прямо по лугам, пашням, перелескам. В общей толчее скрипели колесами дрожки, повозки, фаэтоны. В них удирали коменданты, губернские белые власти, служаки Балаховича, тюремщики и палачи, а с ними и князья, бароны, помещики, весной после ухода красных нахлынувшие в Псков — к своим имениям. Все это, оря, бранясь, сталкиваясь, сцепляясь осями возков, катилось теперь к Гдову.

Красные выпускали узников из псковских тюрем, сдирали с брошенных белыми губернских учреждений вывески, вновь в древнем русском городе устанавливали Советскую власть.

36

Илья поправлялся медленно. Тяжелый удар по голове нарушил что-то важное в его нервной системе, и кроме нестерпимых болей в висках и затылке Илью мучили пугающие онемения то рук, то ног, когда ему казалось, что отсыхают ничего уже не чувствующие пальцы или в ногах возникала воздушная пустота, будто бы ног совсем у него и нет. Илья лежал на госпитальной койке тоскующий; по ночам ему было нестерпимо жаль всего, что отняла у него эта нежданная ночная рана — движения, беспокойства нелегкой, но, в сущности, счастливой жизни с Ириной. Маленькая Лялька отошла так далеко, что в памяти она появлялась лишь по временам; Илья думал тогда, что как же хорошо они с Ириной поступили, отправив девочку с бабкой и дедом. Где бы ни были сейчас родители Ирины, там она переживет с ними тяжелые годы несравнимо легче, чем если бы осталась в Петрограде.

В минуты ночных раздумий Илья ощущал, как из его глаз сами собой бегут и бегут слезы. Остановить их он не мог, и даже, напротив, когда начинал уверять себя в том, что впереди еще много хорошего, что трудное пройдет и вновь настанут такие же радостные дни, как были они всегда у них с Ириной, он окончательно расстраивался и начинал озираться на похрапывающих соседей, не слышат ли они его жалких всхлипываний.

Но когда наступал день и где-то в середине его приходила Ирина, Илья даже виду ей не показывал, что ему вовсе уж не так весело, как он старается перед ней представить. Он улыбался открытой — глазами, губами, всем лицом,— доброй улыбкой, мял в своих, иной раз не очень послушных руках ее тонкие пальцы, гладил ладони и все смотрел на нее.

У него и в мыслях не было винить Ирину в том, что на его радостные улыбки и порывы она отвечает скупыми дрожаниями губ, почти ни о чем другом, кроме его здоровья, не говорит, и уж совсем ничего не стало видно в ее глубоких, темных, затененных длинными ресницами глазах.

Могла ли Ирина улыбаться иначе? Могла ли в эти дни распахнуть зеркала своей души перед ним? Она уже окончательно, без остатка, оказалась во власти черных, злых сил, которые, тихо вкравшись весной в их с Ильей жизнь, в их квартиру, полностью завладели теперь и квартирой и самой Ириной. Пользуясь безопасностью жилища советского инженера Благовидова, офицерская банда дневала в ней и ночевала, пила, спала, играла в карты, прятала оружие, скрывала связных и курьеров из того, другого мира, который, по терминологии Павла, определялся словом «контрреволюция». Со всей остротой сознавала Ирина, что теперь и она вместе с ними контрреволюционерка, что она борется против Советской власти, против Павла и даже против своего Ильи; и в том, что Илью так безжалостно покалечили, повинна тоже она, его жена, которую он самозабвенно любит.

Давно уже не стало мысли о том, что можно пойти к Павлу, пойти на Гороховую, найти товарища Павла — Осокина, что каких-нибудь пять — десять минут чистосердечного рассказа, и весь ужас ее скрытого от людей существования окончится. После той страшной ночи в июне, после торопливых, жестких, шарящих рук Кубанцева она отправилась было туда, на эту Гороховую, но, постояв возле заколоченных дверей бывшего ресторана Соколова, повернула назад. Из двух страхов она выбрала, как ей казалось, меньший. Но он, этот меньший, с каждым днем стал все нарастать, нарастать, охватывая и захватывая Ирину так, что, кроме него, она уже не ощущает ничего другого. Теперь ей, подавленной этим страхом, уже поручают относить, держа за лифчиком, пакеты по тайным адресам, предоставлять ночлег людям,

неведомым в лицо, но верно назвавшим условленный пароль; не на антресоли, а просто под матрац ее постели укладывают револьверы и коробки с патронами. Вадим Лужанин приходит запросто и говорит ей «ты». «Ирка, водка есть? Достань. На то ты и баба, чтобы все уметь». А Ирина уже не может гордо выпрямиться и указать наглецу на дверь, не может ударить его по оплывшей от пьянства рыхлой щеке. Та июньская ночь ее надломила, а последующие недели и месяцы сломили совсем. Она, которая содрогалась, выпив рюмку сухого вина, теперь хватается за стаканы самогона. От мерзкого, вонючего пойла шумит и кружится в голове, зато в этом приятном кружении отдыхаешь от всего, что гнетет, что давит, насилует душу.

И вот она сидит возле постели Ильи, чувствует, как нежно, добро, ласково гладит он ее руки, и прячет от него глаза, и кричит неслышным криком от нестерпимой боли в сердце. Кубанцев сказал ей однажды: «Уж помер бы, что ли, ваш благоверный, Ирина Владимировна. И вам бы и нам легче стало». Нет, нет, Ирина не хочет этого, нет. Пусть лучше она умрет, только не Илья.

О Кубанцев, Кубанцев! Он объяснялся ей потом в любви, и так странно было видеть его лицо без ядовито-сахарной жандармской улыбочки, серьезное, взволнованное, краснеющее от напряжения. Он просил прощения за свою ночную выходку. Он-де ничего не мог поделать с собой, чувства к ней отшибли его разум. Согласись Ирина пойти с ним, бросить все иное, он увезет ее из Петрограда в Париж. Денег у него столько, сколько не было у самого графа Монте-Кристо. Для нее, для Ирины, он может купить целый остров в Средиземном море, лучший дворец Венеции, собор Парижской богоматери, Вестминстерское аббатство.

Ирину от Кубанцева спас благородный Горчилич. Однажды она услышала их разговор у себя в гостиной. Она стояла тогда в коридоре. Если прислушиваться только к тону их речи, мужчины мирно беседовали, сидя друг против друга за курительным столиком. Но что они говорили, боже! «Мы условимся, Кубанцев, так,— очень спокойно говорил Горчилич. — Если вы хоть раз попытаетесь нанести оскорбление Ирине Владимировне, я вам обещаю пулю в лоб без всякого предупреждения. Это предупреждение делаю сейчас. А тогда просто подойду — и в лоб. Вы улавливаете мою мысль?» — «Но вы же, господин

Горчилич, — тоже спокойно, лишь с ехидством в голосе отвечал Кубанцев, — прекрасно знаете, что я стреляю несравнимо лучше вас, и трудно сказать, чья пуля быстрее найдет заинтересующий ее лоб — ваша или моя». — «Во всяком случае, я вас предупредил». — «Что ж, тронут теплой, дружеской заботой обо мне».

Ирина вошла, и разговор прекратился. Но и приставать к ней с того дня Кубанцев перестал.

Зато часто ходит Горчилич, целует ее руки, говорит, что она осветила его жизнь совсем другим светом, что ему он нее ничего не надо, лишь бы видеть ее, слышать ее голос. Он не современен, он это понимает, он романтик, он жаждет быть ее рыцарем, пусть она наградит его шарфом с ее цветами, и он будет повязывать им эфес своей шпаги перед боем, что принесет ему удачу, счастье, победу.

Понимая, что все это шутка, но шутка красивая, Ирина подарила ему купленный еще в Ялте пестрый газовый шарфик. Горчилич бережно сложил его и, поцеловав, опустил во внутренний карман куртки, рядом с браунингом.

Иногда он играл ей на пианино и приятным баритоном пел романсы. Однажды Горчилич запел романс «Очи черные, очи страстные», и, когда дошел до слов «знать, не в добрый час я увидел вас», повернулся к ней на вращающемся стуле и сказал: «Это обращено к вам, Ирина Владимировна». — «Но у меня же глаза не черные,— возразила Ирина,— значит, недобрый ваш час не со мною связан». — «Нет, нет, они черные. Они такие бездонные у вас, Ирина Владимировна, как таинственные глубины в морях. Они всегда черны именно от этой глубины и таинственности». — «Ну хорошо. А о каком недобром часе идет речь?» — «Близок он, Ирина Владимировна, близок. Только чудо пока что спасает нас от рук Чека. Я, например, все время ощущаю, как руки эти шарят вокруг меня, вот тут, совсем рядом. Мы обречены, Ирина Владимировна. Колчак разбит. Юденич, на которого было так много надежд, снова отброшен в гдовские болота, из которых вылез весной. Будет разбит и Деникин, не сомневаюсь. Мы воюем против народа. Это безнадежная война. Народу большевики ближе, чем мы. Для народа мы всегда были, есть и будем насильниками, экспроприаторами, и никем больше». — «Что же делать?» — «Ничего.

ждать. Я счастлив тем, что на свете есть вы. Остальное — чушь».

Совсем о другом говорила Виктория Федоровна. Она зашла за Ириной и пригласила ее с собой в один из домов на Английском проспекте. «Та прекрасная квартира, где вы бывали, дорогая, провалилась. Это было ужасно. Но не по вине Вильгельма Ивановича Штейнингера, нет. Он тут совсем ни при чем... Вы знаете, его тогда, летом, арестовали. Чекисты перехватили письмо Вильгельма Ивановича с очень важными сведениями военного характера, предназначенные для передачи генералу Юденичу. Вильгельм Иванович, конечно, конспирировался, подписывался «Вик». Но чекисты так вездесущи: им помогает вся чернь, каждый дворник, каждая кухарка. Всех до одной, этих баб, мы от себя повыгоняли, все делаем сами: я, Мария Дмитриевна, Зоя Иннокентьевна... Да, так я о чем? Чекисты дознались в конце концов, кто такой «Вик», хотя Вильгельм Иванович и молчал, ни в чем не сознавался, никого не выдавал. Но увы, чекисты, чекисты... Хорошо, что кое-где еще есть наши люди, нас вовремя предупредили, и мы успели покинуть квартиру до налета. Мы наводили справки. Чекисты несколько часов спустя ворвались туда чуть ли не с пулеметами. Ужас! Но там уже было пусто».

Виктория Федоровна привела Ирину в тесную, темную квартирку в одном из домов близ пересечения Английского проспекта и Офицерской. Ирина понимала уже, какую роль в тайной борьбе играют черные лестницы и проходные дворы. Заваленные хламом дворы этого дома были превосходны. Через них можно было проходить и на Английский, и на Офицерскую, и на Пряжку — к психиатрической лечебнице Николая Чудотворца. Неподалеку были с одной стороны Мойка, с другой — корабельный завод с его сараями, ангарами, заборами, свалками металлических частей.

Встретили Ирину Мария Дмитриевна и Зоя Иннокентьевна. Поили кофе. Виктория Федоровна говорила о том, как все они любят ее, Ирину, как верят в нее, в их надежного друга, и что в случае чего они вынуждены будут воспользоваться ее гостеприимством. Временно, временно, конечно. Близок час нового, очень сильного наступления на Петроград. Очень сильного. Множество войск и оружия подвозят союзники генералу Юденичу в Ревель и Нарву. А когда армия генерала Юденича

будет у ворот Петрограда, патриотические русские силы воспрянут, их еще достаточно в Петрограде, и в Петроград придет освобождение. О, какой это будет радостный день! Молебны в Казанском соборе, в Исаакиевском, во всех церквах бывшей столицы, которая вновь станет столицей. Если Горчилич был полон пессимизма, то Виктория Федоровна кипела, бурлила оптимизмом.

Они условились встречаться почаще и в случае чего немедленно извещать друг друга о переменах в обстановке. Виктория Федоровна сказала на прощание: «Вы, милочка, делаете для России великое дело. Наши военные вам так благодарны. У вас такое надежное место» — и поцеловала Ирину в щеку.

При очередном посещении Ильи Ирина встретилась в его палате с Павлом. Илья уже вставал и ходил, настроение его стало лучше. Поговорили с ним, посидели, и, когда покидали госпиталь, Павел сказал, что проводит Ирину до дому. Ирина взволновалась. Сказать «нет» она не могла. Это было бы невозможно ничем объяснить. И привести Павла домой, если он пожелал бы зайти, опасно. Он все время пропадает на фронте, появления его она давно не ждала, и в запакощенной квартире могут оказаться следы пребывания ее гостей. А может быть, кто-нибудь и из них самих там находится. Все они понаделали себе ключей и приходят, когда кому вздумается. Правда, есть условие, что, если опасность, надо четыре раза коротко дернуть за медный шарик звонка и, пока сложными ключами один за другим отворяются запоры, тот, кто в квартире, уходит из нее по черной лестнице. Но как при Павле станешь ни с того ни с сего звонить в пустую квартиру?

Ирина терялась. И чем ближе подходили они к дому, тем труднее становилось ей переставлять ноги. Павел о чем-то рассказывал, но она не понимала смысла ни одного его слова. Ей казалось, что приближается катастрофа, грядет то самое, о чем с такой горечью и фанатизмом постоянно твердит Горчилич. Кирпичные стены домов, мимо которых они шли, виделись Ирине той самой стенкой, к которой ее сегодня же, после пыток и мучений, поставят чекисты.

— Знаешь,— сказала она, хватаясь за последнее средство, когда они уже были возле подъезда,— постой, пожалуйста, минутку. Я забыла, на какие ключи заперла дверь. Может быть, придется с черного хода идти. Тебе

же известна моя страсть к этим замкам. — Она даже сделала попытку улыбнуться.

Павлу это нисколько не показалось необычным. Он действительно знал Иринины причуды с замками. Ей же почудилось, что он взглянул на нее испытующе, и, взлетев на лестницу, она тотчас дернула четыре раза звонок, забрякала ключами и длинными складными отодвижками; покончив с замками, вбежала в комнаты, осмотрела пепельницы, повыбрасывала из них окурки в плиту, поправила скатерти и салфетки на столах, поставила на место стулья и, задыхаясь от спешки, распахнула окна на улицу.

— Иди! — крикнула Павлу, ожидавшему у подъезда. — Все в порядке. — Ее радовало хотя бы то, что никого из шайки Кубанцева и Незнамова в квартире не оказалось.

Павел завел разговор о том, что Илью пора бы взять домой. Дома он скорее придет в себя, врачи ему, Павлу, сказали сегодня, что опасность миновала, теперь нужны домашняя обстановка, забота, теплый уход, и тогда Илья поправится очень скоро.

— Мало того,— добавил Павел со смехом,— и тебя это подтянет. Одна-то ты не такая, оказывается, чистюля, как при Илье. Конюшневатый вид имеет твоя квартира. Пол!.. Никогда не видывал у тебя подобного. И не мыла, должно быть, месяц целый. Не говорю уж про натирку. И куришь много, пеплу всюду понасыпала. Опускаешься, Иринушка.

Павел смотрел на нее с улыбкой, и ей казалось, что он видит ее насквозь, видит ее мысли, ее душевное смятение, и смеется над нею, и вот сейчас встанет, возьмет за руку и скажет: «А ну-ка пойдем в Чека, контрреволюционерка паршивая. Была ты буржуйкой, буржуйкой и осталась. К стенке!»

Но Павел сказал:

— Я давно хотел спросить тебя, Ирина. Помнишь... В марте, кажется... Я приходил к вам, и у тебя в шкатулочке были папиросы. Хорошие папиросы. Не запомнила ли ты их марку? Не «Эксцельсиор» ли, а? С такой золотой коронкой на мундштуке. Я-то упустил это из памяти. Сигаретину тогда схватил.

— Не помню марки, — ответила Ирина. — Но хорошие папиросы были, да. А теперь нет, извини.

— Я не о том. Скажи, папиросы эти ты только от своего липового Бабашкина, на самом деле который Хамелайнен, получала? Или у тебя есть и другие источники? Только правду говори. Это очень важно.

— А что? — вся обмирая, спросила Ирина.

— Не бойся. — Павел заметил ее растерянность. — Никто тебя за твои шашни со спекулянтами никуда не потянет. Не в этом, говорю тебе, дело. Слушай внимательно. Папиросу марки «Эксцельсиор»... конечно, окурок ее... нашли близ того места, где было совершено нападение на Илью. И это единственный след, оставленный преступниками. Надо же найти тех, кто покушался на Илью, кто взорвал мост. Бабашкина — Хамелайнена нет, он пропал. Спросить не у кого. Спрашиваю у тебя.

Мысли, одна суматошнее другой, каруселью пошли в голове Ирины. Замыкался роковой, страшный круг. Ирина не помнила марки тех папирос, но, может быть, на них и была золотая коронка. Что же тогда? Может быть, те, кто хотел убить Илью, ходят, кружат где-то близко, совсем близко, вокруг. Может быть, они целуют ей руки, подлые и мерзкие, сидят в ее доме, в доме Ильи, смеются над нею, простушкой, дурой, безвольной тряпкой.

— Ой, Павел, ой, Павел! — вырвалось у нее, и она спрятала лицо в ладони.

— Ну, ну, — сказал Павел. — Почему ты так? — Он отвел ее руки от лица, посмотрел в глаза почти с такой же доброй, как у Ильи, улыбкой. — Успокойся. Тебе и без меня тяжело. А еще и я ковыряю раны. Извини. Все будет хорошо. Бери Илюху домой. Организуем его возвращение. Он и мне нужен. Не только тебе. Он нужен Петрограду. Белые столько мостов наломали, отходя!..

— Не пущу я его больше никуда! — закричала Ирина. — Сами делайте, сами! Чтобы совсем человека убили, хотите, да? Да? Да?

— Не бушуй, не пугай людей таким грозным видом. — Павел поднял руку, чтобы погладить по ее слегка скуластенькой щеке.

Ирина отшатнулась.

— Все равно не пущу его никуда!

Вечером к ней пришел Горчилич.

— Георгий Константинович, вы когда-нибудь видели папиросы марки «Эксцельсиор»? — спросила Ирина среди разговора.

— «Эксцельсиор»? — Горчилич смотрел в потолок, припоминая. — О да, конечно! Происхождения они, если не ошибаюсь, французского. Но в Петроград проникают через персонал бывшего швейцарского посольства. А впрочем, есть такие и у англичан. Хорошие папиросы. А что, Ирина Владимировна, почему они вас заинтересовали?

— Вы их курите?

— Курю. Когда угостят. С иностранцами я ведь не связан. Для связи с ними есть другие люди.

— Кто, например?

— Ну, скажем, полковник Незнамов. Только, Ирина Владимировна, это очень строго между нами. Сейчас стены стали слышать, у трамвайных столбов и афишных тумб выросли уши. Молчок!

— Понимаю. А Незнамов имеет эти папиросы?

— По-моему, да. Мне кажется, он меня ими угощал. Если вы хотите, я попрошу у него для вас.

— Да, да, попросите, Георгий Константинович. Пожалуйста. Я бы и сама могла. Но он так давно не бывал здесь. Куда он подевался?

— Он ушел, как раньше говорили революционеры, в самое что ни на есть глубокое подполье. После летних провалов Чека, кажется, нащупала его след. За ним уже стали ходить их агенты. В кино на Невском привязался один. Еще где-то. И Роман Антонович, опытный воин, счел за благо не испытывать судьбу. За последний месяц я его видел всего два раза. Он на самых надежных квартирах.

— А моя разве не надежна?

— О, что вы! Это наше последнее прибежище! Кажется, вы от нас теперь отдохнете. Есть приказ — пользоваться вашей квартирой только при крайней надобности, как неприступной крепостью. Она под охраной закона!

— Но это уже не так, Георгий Константинович. Надо известить ваше командование. Сегодня мне сказали в госпитале, что я должна взять мужа домой.

— Что? — Горчилич смотрел на нее непонимающе. — Мужа? — Из его сознания уже давно ушел тот чудной человек, с которым они так мирно однажды беседовали, разглядывая Иринины альбомы со стихами. — Да, это большая неожиданность. Как же быть?

— Не знаю. Я вас об этом спрашиваю. Это его дом. Он сюда вернется. Он будет снова здесь.

— Да, да, понятно. Он хозяин. Это его дом. Бездомны мы, гонимые русские офицеры. Нас, как сухие осенние листья, которые сбросило наше дерево, любой ветерок перекидывает охапками с места на место, гонит по мостовым и тротуарам жизни, на нас каждый может наступить, вытереть о нас ноги, отшвырнуть в сторону.

Впавший в сентиментальность Горчилич стонал о чем-то своем, Ирина же раздумывала то о папиросах марки «Эксцельсиор», то об Илье, которого надо было брать домой. Ей думалось о том, что с появлением Ильи с глаз ее исчезнут Кубанцевы, всякие ротмистры, поручики, полковники. И может быть, рассосется, рассеется черная грозовая туча, которая повисла над их домом, по-смертельному заслонив собой весь свет жизни.

Горчилич встал, как обычно поцеловал Иринину руку, сказал с печалью:

— Но учтите, Ирина Владимировна. Что бы ни случилось, какие бы ни происходили перемены, я ваш рыцарь, я с вами. Надо будет — позовите, примчусь.

37

— Его высокопревосходительство, наш господин «кирпич», ведет крупную международную игру. — Генерал Родзянко ногтем отчеркнул в английской «Таймс» колонку, в которой было опубликовано интервью Юденича корреспонденту газеты, данное на днях в Нарве. — На всю Европу он вещает о боевом духе нашей Северо-Западной армии. Но что, скажите мне, он знает об армии?

Начальник штаба, к которому обращался вопрос, генерал Крузенштерн понимал, конечно, что командующий армией не ждет от него никакого ответа и, несомненно, ответит себе сам.

— Нас снова загнали в болота,— продолжал Родзянко. — Со страниц газеток господ Ивановых и Марковых мы вопияли, что красные — это сброд, полураздетая толпа мужиков и городских люмпен-пролетариев. А они нас, чудо-богатырей, вышвырнули из Пскова, из Ямбурга, отогнали почти от самой Гатчины, от петроградского порога. Вы виноваты, генерал, или я виноват в этом? Ну скажите, пожалуйста?

Генералы сидели за столом в штабе, в нескольких шагах ходьбы от квартиры главнокомандующего. За ок-

пами остро устремлялись в серое балтийское небо закопченные готические кровли и шпили Нарвы. На шпилях, поскрипывая, вращались под ветром с Финского залива железные петухи, скорее похожие на хорошо откормленных индюков, вострились длинные черные стрелы, указывающие север и юг, вглядывались в заречные дали латунные рыцари, в латах, шлемах и с копьями или мечами. В чашках, принесенных солдатом-гвардейцем с тремя «Георгиями» на гимнастерке, простывал перед генералами черный пахучий кофе.

— Мне думается, Александр Павлович, — заговорил Крузенштерн, — что все-таки не Николай Николаевич поведет войска в новое наступление, а вы. Поэтому вам не стоит отвлекать свою мысль на явления случайные, побочные, всегда паразитирующие на главных, и всецело отдаться только главным.

— Что же главное, по-вашему, Оттон Акселевич?

— Главное — собирание сил. Войска сейчас главное, вот что.

— Хорошо, давайте прикинем еще разок все, что мы уже имеем. — Развалившись в кресле, Родзянко вытянул ноги по ковру, уперся в него каблуками до блеска начищенных хромовых сапог, сложил руки на животе; глаза его смотрели в потолок, где в розово-голубых аркадийских кущах резвились козлоногие фавны и белогрудые, широкобедрые нимфы. Он приготовился слушать.

— Итак, — начал генерал Крузенштерн, листая страницы толстой тетради в черной тисненой коже, — картина несравнимо более отрадная, чем та, которую мы имели перед майско-июньским наступлением. Перечисляю вам полки, которые Николаю Николаевичу почему-то угодно называть дивизиями.

— То есть как почему? — воскликнул Родзянко. — Совершенно ясно почему. Чтобы как можно больше получить под эти дивизии средств. А вот потом как он будет объяснять причины того, что эти полки, отряды и отрядики не выполнили задачу, возложенную на них как на полнокровные дивизии, — вот вопрос. Так я вас слушаю, Оттон Акселевич.

— Пожалуйста. Конно-егерский полк. Первый, второй, третий и четвертый Рижские полки. Семеновский. Третий Талабский. Первый и второй Островские. Седьмой Уральский. Пятьдесят третий Волынский. Вятский. Красногорский. Первый, второй, третий запасные полки

корпуса Палена. Двадцать третий Печерский. Двадцать первый Чудский. Конный полк Балаховича...

— Минутку, — остановил его Родзянко. — Полк Балаховича? Он что же, наш милейший атаман, возвращается в строй?

— Увы, Александр Павлович. Это его брат Юзек, Иозеф Балахович. Сам Булак, боюсь, для Северо-Западной армии потерян. Он разгуливает по Ревелю и в крайне остроматерных словах отзывается о главнокомандующем, грозит арестовать его как самозванца.

— Да, да, мне говорили об этом. Ну так, дальше?

— Продолжаю. Первый Георгиевский. Второй Ревельский. Четвертый Гдовский. Третий Колыванский. Второй Литовский. Тринадцатый Нарвский. Первый Псковский. Деникинский. Вознесенский. Второй Тульский...

— Постойте, что это за Тульский? Все та же шайка, которая устроила тарарам в Гомеле?

— Да, сброд порядочный, Александр Павлович. Они заняты кражей кур по деревням и щупанием солдаток. Может быть, разогнать их по другим частям?

— Подумаем. Еще что?

— Второй Гатчинский. Кочановский. Первый запасный полк корпуса генерала Арсеньева.

— Все?

— Из регулярных войск — да. Но есть еще тысячный отряд ингерманландцев, тот, что был под Красной Горкой.

— Из Финляндии?

— Да. Есть легион шведов и датчан. Есть даже — но не хочется об этом говорить всерьез — батальон местных, нарвских бойскаутов. Хотя их считается до восьмисот штыков, но это же мальчишки, гимназисты. Главнокомандующий устроил им недавно смотр. Он очень ими гордится.

— Для таких старых кряхтунов парад — это как бы венец их воинских деяний.

— В итоге, Александр Павлович, мы предполагаем к концу сентября иметь двадцать шесть пехотных и два кавалерийских полка, два десантных батальона, десантный морской отряд, пятьдесят семь орудий разного калибра и четыре снаряжаемых сейчас заново бронепоезда: «Адмирал Колчак», «Адмирал Эссен», «Талабчанин» и «Псковитянин». В Ревеле и Усть-Нарве почти еже-

дневно разгружаются пароходы. Английские и американские. С очередным пароходом нам должны будут прислать несколько танков. Кстати, эстонцы получили уже двадцать штук.

— Потом они, поверьте мне, Оттон Акселевич, в случае чего двинут этими танками нам в зад. Между прочим, сволочи эти союзники. Эстонцам — танки! А что нам? Вы знаете о том английском пароходе, который только что пришел в Ревель?

— С футбольными мячами и клозетной бумагой?

Оба генерала рассмеялись.

История эта уже прошумела в газетах. Вместе с сорока тысячами комплектов обмундирования для солдат и офицеров, почти с пятьюдесятью тысячами ботинок и другими весьма полезными для армии вещами на пароходе том, который помянул Родзянко, оказалось двадцать тысяч чемоданчиков с бритвенными приборами, зубные щетки, футбольные мячи и три огромных тюка пипифакса. Присылку такого груза англичане объясняли тем, что пароход снаряжался для их войск, находящихся в Архангельске. Но порт назначения неожиданно был изменен уже в пути.

Мячи и пипифакс вызвали всеобщее веселье в белогвардейском мире.

— Англичане! — сказал Родзянко. — Они могут воевать только при полном комфорте. Наша русская кобылка, она, естественно, должна довольствоваться соломой вместо постелей, а им извольте подать тюфяки из верблюжьей шерсти. Иначе и с места не сдвинутся. Им до страсти хочется урвать кое-что у нашей матушки-России. Все же видят это. Но урвать не своими руками, не своей кровью, а нашей, русской же. Сволочи! Для чего они всю эту историю с образованием «правительства» затеяли? Чтобы мы, русские, гарантировали существование Эстонии, дали бы обязательство не возвращать ее в лоно России. Им надо растащить Россию на куски. Эх!.. — Племянник бывшего председателя бывшей Государственной думы закатил длинную матерную руладу, желая, видимо, продемонстрировать ею могучий корень своего истинно русского происхождения. — А ничего не поделаешь, — сказал он после этого, — ровным счетом ничего. Мы никому пока диктовать не можем. Диктуют нам. А мы должны кланяться в пояс и благодарить добрых дядюшек, сдирающих с нас шкуру. Ну

ладно, это пустая лирика. Так сказать, одни эмоции. Возвратимся к планам. Если они нам все-таки пришлют танки, я полагаю, что их надо придать нашему самому надежному, отлично показавшему себя полку талабцев полковника Пермикина. Этот полк должен идти на прорыв. Как вы считаете?

— Вполне согласен с вами, Александр Павлович. Уже не одна ночь ушла у меня на то, что я с вечера и до утра ползал и вдоль, и поперек, и по диагоналям карт предполагаемого наступления. Сил у нас, если смотреть на дело с полной трезвостью, не так-то много. Поэтому фронтального наступления мы вести не сможем. От такого наступления наши силы только еще больше распылятся. Надо идти колоннами, решительно и без оглядки вламываясь в расположение противника. Прямиком устремиться к Гатчине, Ропше, Красному Селу и, не мешкая, прыгнуть оттуда на Петроград. Если верить Николаю Николаевичу и... гм... генералу... гм... Владимирову, то в Петрограде нас давно ждут, там начнется немедленное выступление офицерских отрядов, последует ликвидация советских властей, партийных главарей, всех красных штабов и «чрезвычайки». Словом, задача в том, чтобы дорваться, достигнуть окраин города, его первых улиц.

— Это верно, это верно. Возможно, что наше майско-июньское наступление было неудачным лишь потому, что мы не имели должной решимости в наступлении, делали передышки, накапливали силы, противник тем временем тоже собирался с силами. Надо учиться на ошибках. Но... — Родзянко поднял указательный палец. — Особенно-то на внутренний взрыв в Петрограде рассчитывать не стоит. Какие радужные надежды были у нас на подобный взрыв внутри Красной Горки и что из этого получилось? Полный разгром наших сил. На себя надо надеяться, только на себя. А если помогут изнутри, тем более хорошо.

Генералы взялись за карту, стали чертить на ней свои генеральские, разящие противника стрелы. Опять поминались реки Плюсса и Луга, селения Большой Сабск и Муравейно, железнодорожные станции Веймарн и Молосковицы. Конница Ливена должна вырваться на Ямбургское шоссе, талабцы — идти на Гатчину вдоль железной дороги... Ломались карандаши, ломались спич-

ки от первных закуриваний, сыпался на паркетный пол пепел папирос.

Генералы не сразу поняли, чего от них хочет адъютант начальника штаба, появившийся в дверях.

— Что-что? — переспросил Родзянко.

— Прибыл его высокопревосходительство генерал Краснов.

— Кто? — уже удивился и Крузенштерн.

— Генерал Краснов! — повторил адъютант.

Родзянко и начальник штаба переглянулись.

— Ну-ну, просите! — сообразил наконец Родзянко. — Нельзя же столь знаменитого полководца заставлять ждать в приемной.

Поблескивая стеклами пенсне с золотыми зажимками, чуть усмехаясь, вошел энергичной походкой кавалериста не поладивший ни с генералом Алексеевым, ни с Деникиным на юге и потому вот устремившийся на север недавний атаман Всевеликого Войска Донского, в прошлом фельдфебель роты его величества, гвардеец, танцор, сочинитель романов, стихов, виолончелист, дававший, бывало, в столичных гостиных сольные концерты.

Генералы поднялись ему навстречу.

— Господа! — не погасив своей усмешки, сказал, подходя, Краснов. — Чрезвычайно рад видеть настоящих рыцарей белого движения.

Были пожаты руки, все вновь, в том числе и гость, опустились в кресла. Глаза Краснова скользнули по разостланной на столе карте.

— Гатчина? — сказал он. — Царское Село? Александровская? Знакомые места, господа.

Родзянко и Крузенштерн заерзали в креслах. Им не нравилось, что этот фанфарон заглядывает в их сокровенное. Русским офицерам давно было известно по тому телеграфу, который летит от губ к уху, от следующих губ к следующему уху, что донской атаман разошелся с генералами белых армий юга из-за своей германской ориентации. Немцы его вооружали, немцы ему покровительствовали, поддерживали его. Кто знает, откуда он появился сейчас. Не из тех ли русских формирований Бермонта-Авалова, не из тех ли войск, в которых германские генштабисты скрывают от жестких параграфов Версальского договора своего фон дер Гольца с его «Железной дивизией»? У той части русских белогвардейцев, накрепко спаявшихся с немцами, совсем другие планы.

Генерал Юденич предпринял уже не одну попытку объединенных действий с Бермонтом, но каждый раз как бы наталкивался на стену. Кто их знает: может быть, они сами хотят пойти на Петроград со стороны Риги? И кто знает, не их ли агент этот кавалерийский вояка-сочинитель, по пути в Нарву из Новочеркасска обогнувший всю Европу?..

Крузенштерн позвонил в колокольчик, сказал вошедшему адъютанту, чтобы тот распорядился подать еще кофе.

— Прибыл, господа, в вашу армию,— заговорил Краснов, качая ногой в щегольском генеральском сапоге. — Но в строй, очевидно, не пойду. Я уже имел беседу и с главнокомандующим и с весьма интересным человеком генералом Владимировым. Приму участие в пропаганде.

Родзянко и Крузенштерн снова переглянулись. От такого заявления их подозрительное отношение к гостю усилилось.

— Что ж, рады, безусловно рады,— ответил Родзянко, встав, и, как бы показывая тем, что служебная работа завершена, сложил карты. — Газеты, листовки, прокламации... У нас даже есть специальные аэропланы, которые предназначены для разбрасывания всего этого на головы противника. Благодатное поле, генерал.

Принесли кофе. Посверкивая пенсне, Краснов пил его маленькими глотками.

— В Батуме турки приготавливают прекрасный напиток из тех же зерен, что получаем и мы. Но у нас их только портят. Нет должной школы. Но ваш вполне приличный. Кто варит?

— Простой солдат, совершенно простой,— ответил Крузенштерн. — А сам он этого кофе и в рот не взял ни разу.

— Ах, господа! — перейдя на другую тему, с пафосом заговорил Краснов. — Кто бы мог подумать, что мы будем сидеть когда-либо на самом краю родной земли и терзаться мыслью, как вернуть себе свой родной дом! На той карте, которую вы только что сложили, генерал, я увидел всем нам известное село Пулково. Помню грандиозные маневры, кавалерийские примерные атаки на глазах его и ее императорских величеств. Если быть откровенным, господа, я был серьезно влюблен в нашу императрицу. Обаятельнейшая женщина, обая-

тельнейшая. Тонкой, изящной души человек. Если бы мне в руки попались те ее хулители, которые с трибун Государственной думы склоняли августейшее имя вместе с именем грязного мужика, я бы...

— Вы это можете сделать, генерал! — радостно воскликнул Родзянко. — Случай благоприятствует вам. В наших войсках, под чужим именем, правда, подвизается, кто бы вы думали? Господин Марков-второй! Один из тех самых, вам ненавистных. Вы с ним будете трудиться по одному ведомству. Он издает изумительную газетку «Белый крест».

Краснов насупился. Невозможно было не почувствовать, что над ним смеются.

— Да, — отделался он невнятным ответом, так и не найдя, что же сказать еще.

— А между прочим,— сказал Крузенштерн,— мы в наших войсках, и особенно среди населения освобожденных уездов, стараемся не поминать членов царствовавшего дома. Идея монархизма не встречает сочувствия в народе. Как вы ни думайте, а с монархией в России покончено. Это бермонтовцы, те германофилы в Латвии, еще носятся то с великим князем Николаем Николаевичем, то с Кириллом Владимировичем. А мы, генерал, нет. Новое устройство в России будет основано на республиканских началах. Учтите это, пожалуйста.

Краснов понял, что здесь, в штабе, к нему относятся с неприязнью. Разговор с генералом Владимировым был ему несравнимо более по душе. Владимиров проявил полнейшую почтительность к бывшему донскому атаману, благодарно восторгался тем, что столь известный всей России боевой генерал прибыл в Северо-Западную армию и что, если он хочет получить дело в пропаганде, вся она будет предоставлена ему.

Допив кофе, Краснов встал и попрощался. Проводив его до дверей, Родзянко вернулся к столу.

— А ведь хлыщ! — сказал он. — Чего удивляться, что он подвел Керенского. Таких, знаете, в оперетках представляют. Вокруг них субреточки миловидненькие крутятся, а они индючками, индючками, хвост веером, по сцене фланируют и этакие-разэтакие куплетики распевают.

— Не скажите, Александр Павлович,— не согласился Крузенштерн. — А мне думается, что это лишь видимость легковесности. На самом деле он человек опасный. Карьерист. Себялюбец. И очень-очень подозрителен со своей

ориентацией на Германию. Какого ему у нас черта надо? Немцы его прислали, немцы! Вынюхивать будет. Недаром же не захотел в строй. В пропаганду ему! Чтобы свободней болтаться повсюду да вот, говорю, вынюхивать.

— Посмотрим, увидим... Что же, продолжим нашу работу. Разворачивайте карту. Вы заметили, как он лез в нее глазами?..

Пока, визжа талями, в портах Ревеля и Усть-Нарвы подъемные краны разгружали пароходы Антанты с боевыми грузами для Северо-Западной армии, пока на дорогах от этих портов к рекам Нарове, Плюссе, Луге тащились обозы из конных подвод и неуклюжих громоздких грузовых автомобилей, пока шло насыщение войсками каждого селения, прилегающего к линии фронта против красных, генералы в Нарве все в новых и новых подробностях разрабатывали план удара на Петроград.

Русские политики из различных «комитетов» и «совещаний», разбросанных по Европе, утверждают, что удар этот будет вспомогательным, по стратегическому значению второстепенным — только-де для отвлечения большевистских сил от армий Деникина, которые устремились к Москве. Пусть себе тешатся этим. На самом же деле удар на Петроград решит все.

Опасность удара на Петроград в условиях стремительного наступления на Москву офицерских полчищ Деникина не могли недооценивать и в Совете Обороны республики. В последних числах августа Павел Благовидов вместе с другими военными работниками Питера встречал на Николаевском вокзале человека, которого Москва слала к питерцам на усиление. Из вагона на перрон энергично вышел рослый человек в старенькой гимнастерке, в порядком изношенных сапогах. Через плечо была туго набитая полевая сумка, на руке шинель, тоже видавшая виды. Серые глаза его смотрели на встречающих пытливо, слегка исподлобья.

— Авров,— сказал он коротко, подавая руку встречающим. — Дмитрий Николаевич.

Павел уже знал кое-что об этом человеке. Один из петросоветчиков только что рассказывал о нем в ожидании поезда. Встречался с Авровым еще в семнадцатом году, в октябре. «Было это на Северном фронте,— расска-

зывал петросоветчик. — В местечко Альтшванепбург съезжались делегаты на съезд представителей Первой армии фронта. Нас с ним и поселили в одной комнате, койки рядом стояли. Из офицеров, школу прапорщиков окончил в Иркутске, служил в сто семьдесят четвертом запасном батальоне в Нарве, потом в других частях, в боях участвовал, за храбрость его в шестнадцатом году подпоручиком сделали, дошел в чинах до штабс-капитана...» — «Военспец, значит», — резюмировал кто-то. «Да как сказать, — ответил петросоветчик. — Он хоть и беспартийный...» — «Член партии с сентября восемнадцатого года, — поправил его другой из встречающих.— Нам это сообщили из Москвы».— «Ясно,— сказал петросоветчик. — Так и должно было быть. Он уже тогда, в семнадцатом, был полковым комиссаром. На съезде его избрали членом армейского исполнительного комитета, даже членом президиума, одним из пяти. Во главе стоял старый большевик Войтов, слышали, конечно. Потом Авров мелькнул у нас тут в Питере, был членом госкомиссии и помзав отделом воспитания комиссариата соцобеспечения северных коммун. А дальше вот не знаю».

Авров как чувствовал, что о нем только что говорили, что интересуются его личностью, его биографией.

— Игра судьбы,— заговорил он, шагая к выходу с вокзала.— Родился на Нижегородчине, в симпатичном селении с приятным названием Липовка. А вот и Питер мне не чужой город. Я же здесь в институте учился.

— В военном?— спросили его.

— Какое — в военном!— Авров весело усмехнулся.— Даже не поверите. В психоневрологическом. Сестренка меня на это подбила. Она у меня медик.

— Окончили?

— Нет, война помешала. Мобилизовали «скубента», прапором сделали. Кстати, я и в этом обличье бывал в Питере. В запасном полку на Охте, в Новочеркасских казармах. Вместе с маршевой ротой, в качестве полуротного, и отправился на фронт.

Вышли на площадь перед вокзалом, сели в автомобиль, отправились в Смольный. Там Авров предъявил документы Зиновьеву, и тридцатого августа горожане прочли в «Петроградской правде» слова приказа: «В исполнение предписания Главнокомандующего всеми вооруженными силами Республики объявляю, что я с 26 августа вступил во временное исполнение должности коменданта Петро-

градского укрепленного района. Врио коменданта Петроградского укрепленного района Авров». Второго сентября, сообщая об учебных стрельбах в Екатерингофском парке, он подписался уже без всякого «врио».

Укрепрайон этот был огромный: весь Карельский перешеек до Финляндской границы, пространства вокруг Ораниенбаума, Гатчины, Тосно, Шлиссельбурга и Званки должны были обороняться теми силами, которые сумеет сорганизовать и обеспечить оборонительными сооружениями и средствами новый комендант, пришедший на смену Петерсу.

38

Без дела Илья не мог провести дня. Возвратясь из госпиталя, он раздобыл несколько березовых поленьев, старых консервных банок, листов фанеры и из всего этого принялся мастерить модель эскадренного миноносца. Ирина видела, как тщательно обстругивал Илья части будущего кораблика, как с помощью ломаного стекла и наждачной бумаги до полной обтекаемости доводил его формы. Потом в квартире остро запахло олифой и скипидаром: Илья малярничал, разделывая свой миноносец серой, красной и белой красками.

На это ушла неделя. Все семь дней Илья был охвачен деятельностью. За те дни он незаметно для себя и для Ирины окончательно окреп и уже не чувствовал слабости в ногах. Так, иной раз, покружится голова — и пройдет, оставив испаринку на лбу и за воротничком. Илья оботрет лоб рукавом, достанет платочек, проведет им вокруг шеи — и мастерит дальше.

На восьмой день у дверей позвонили товарищи из Петросовета, а с ними еще явились и военные. Снова на железных дорогах летели в воздух мосты, и снова защитникам Петрограда приходилось создавать подвижные ремонтные отряды, и снова для технического руководства восстановительными работами пришли приглашать Илью.

— Дорогой Илья Андреевич!.. — Люди смотрели на него с просьбой и надеждой. — Теперь уже не будет так беспечно. Не сами саперы станут нести караульную службу, Илья Андреевич, а специальная команда красноармейцев. Побережем вас. Если надо, доктора с собой возьмем, сестру милосердия.

— Илья Андреевич никуда не поедет! Слышите? — У Ирины дрожали пальцы и губы, из глаз летел огонь. — Нет, нет и нет! Он не может. Он болен. Зачем вы пришли? Вы же сами знаете!

Илья улыбался, посмеивался, говорил: «Да, да, вот такое дело», пожимал плечами: что, мол, я могу поделать со своей крутой супругой? И вместе с тем глаза его выражали явное желание и полную готовность умчаться с летучкой на те реки и речки, к тем искалеченным мостам, где его ждут воинские поезда, обшитые броней дрезины, блиндированные вагоны и паровозы.

Два дня Ирина металась по квартире, говорила, что выкинула за окно ключи и не сможет отворить двери, падала в обмороки, держала на голове то холодные, то горячие полотенца, пила валериановые капли, отчего к ним в окна, шествуя по карнизам, заглядывали неведомо как существовавшие в голодающем городе тощие, костистые коты. Она говорила, что куда-то уйдет, уедет — искать своих родных и Ляльку. А однажды сказала, что просто покончит с собой.

Она и в самом деле была на грани помутнения разума от страха, от невыносимой мысли, что вновь может остаться одна, что вновь, зная ее безволие, в квартиру полезут страшные люди и повторится все то, от чего она начала было отходить в последние дни.

Кончилось тем, что Илья все-таки собрался и уехал. Когда он складывал свои вещички в дорогу, пришла к тому же, совсем расстроив Ирину, разбитная смазливая бабенка и заявила, что пусть, мол, гражданка Благовидова не волнуется за своего муженька, она, эта бабенка по имени Клава, полностью берет на себя заботу о нем. Она еще и подмигнула со смешком: «Инженер Благовидов получит все, что ему захочется. Как при родной жене будет жить». Глупая курносая дура со своими глупыми, дурацкими шуточками! Она бы так не шутила, если бы знала Илью, его любовь к ней, к своей Ирине. Да он на такую лахудру, пусть та хоть и еще в десять раз будет смазливее, даже не взглянет. Мелкая, пошлая дрянь!

Ирина проводила Илью на Варшавский вокзал, дошла с ним рядом, переступая рельсы и шпалы, до очень дальних запасных путей. Там он поднялся в вагон и еще долго стоял у окна; долго стояла и Ирина возле вагона на шпалах, но они уже ничего не говорили. Илья

улыбался, как всегда, широко, добро, любя. Ирина лишь кривила губы да утирала глаза платочком. Слезы бежали сами. У нее было чувство, что она погибает, что это ее последние дни, последнее над нею солнце, последнее небо, последние травки меж шпалами, чахлые, почуявшие осень. Последнее все.

И она не ошиблась в своих опасениях. Два дня спустя к ней явился самый страшный из всех страшных — Кубанцев. На этот раз он не расточал свои мерзкие улыбочки, не пугал Ирину мелкими, редкими, каждый по отдельности, вурдалачьими зубами. Он рылся в корзинах, которые все еще стояли на антресолях, набивал патронами магазины двух браунингов и барабан нагана и, только рассовав оружие по карманам брюк и куртки, присел в гостиной и закурил. Он не ухаживал, не объяснялся в любви; он непривычно угрюмо молчал, делая одну за другой глубокие затяжки табачным дымом. Невольно для себя Ирина отметила в уме, что там такое он курит, не «Эксцельсиор» ли? Нет, Кубанцев дымил плохонькими, скверно пахнувшими папиросками.

Он не говорил Ирине о том, что случилось в их подполье, отчего оно заметалось по городу, прячась в самых надежных местах, на самых надежных квартирах, пробираясь дворами в бывшие посольства, в миссии, к всесильным дюксам и прочим иностранным резидентам, которые разгуливали по Петрограду кто с корреспондентскими карточками английских газет, кто представляя американский Красный Крест, кто как сочувствующий русской революции французский товарищ.

Вслед за летним арестом Вильгельма Штейнингера, главы петроградской ветви «Национального центра», контрреволюционное подполье поразил, потряс новый тяжелый провал. ЧК пересажала уйму белых офицеров, боевиков той «армии», которую тщательно, отбирая в нее по человеку, просеивая каждого и отсеивая недостаточно годных, готовил для удара в спину Красной Армии полковник Люндеквист, начальник штаба 7-й армии. Из группы полковника Незнамова, в которую среди других входили и Кубанцев с капитаном Горчиличем, чекисты выхватили четверых — опытных, искушенных, непримиримых. «Армия» Люндеквиста состояла из десятков таких групп, из нескольких сотен отчаянных голов, готовых на все, и почти каждая группа понесла теперь весьма ощутимые потери.

Правда, не всех схваченных следовало жалеть. В «армию» входили не только офицеры, был в ней и всякий другой народец — и эсеры, и черносотенные монархисты, и даже бывшие тюремные сидельцы, осужденные отнюдь не за политику, а за профессиональный удар ножом под ребро прохожего человека, за ограбление квартир, за карманные кражи.

Кубанцев хотел было что-то сказать, Ирина видела, как он уже шевельнул губами, но у двери позвонили так для обоих нежданно, что и она и он вздрогнули на глазах друг у друга. Звонок был не четверной, а тройной. Таким звонили или Илья, или Павел.

— Кто?— спросил Кубанцев, хватаясь за карман.

— Может быть, муж, может быть, его брат! — ответила Ирина, став мертвецки бледной.

— Какой еще брат? Почему вы никогда о нем не говорили? — Кубанцев вытащил браунинг и бросился к дверям черного хода. Но там, как в парадной, тоже было закрыто на множество Ирининых замков, а где ключи, в волнении она не могла вспомнить. Куда-то спрятала, когда решила не выпускать Илью из дому. Но куда же, куда?

Метаться по квартире дольше было нельзя, и тянуть, не отворяя столько времени дверь, тоже. Пусть там будет Илья, пусть окажется Павел. Но надо открыть. Иначе начнут взламывать. Ирина сказала Кубанцеву:

— Сидите курите как ни в чем не бывало. — Она с ненавистью смотрела на этого коверкающего ее жизнь человека. Если там за дверью не Илья, а Павел, что он подумает об этой затянувшейся паузе?

Звонок снова зазвонил. Ирина подошла к двери:

— Кто?

Свершилось худшее из худшего. Это был Павел.

Увидав в гостиной незакомца с заурядной, не слишком привлекательной внешностью, Павел, конечно же, ни на минутку не заподозрил Ирину в любовной истории. Он не сомневался в том, что человек этот — очередной спекулянт и не открывали ему так долго лишь потому, что подальше с глаз прятали те товары или припасы, которые приволок Ирине этот дядя. Павел улыбнулся своей летучей, быстрой улыбкой, давая Ирине понять, что все видит, все знает и что она неисправима, сколько раз предупреждал он ее, чтобы не путалась со

спекулянтами, — упрямо продолжает и в конце концов нарвется на крупную неприятность.

Кубанцев же, не выпуская руки из кармана, встал, представился, назвав фамилию, которая первой пришла на язык:

— Шашкин.

— Здравствуйте, гражданин Шашкин. — Называть себя Павел не стал, будучи уверен, что имеет дело с жуликом. — А где же Илья? — спросил он у Ирины.

— Ах, если бы ты пришел дня три назад, ты бы помог мне с ним справиться! — заговорила Ирина с дрожью в голосе — от всего: и от страха, и от волнения, и оттого, что Павел вновь вернул ее к мыслям об Илье. — Он опять сбежал со своим поездом.

— Что ты говоришь! — Павел сел напротив Кубанцева. — Куда же?

— Куда-то по Варшавской линии. За Лугу, кажется.

— За Лугу? — Павел знал о том, что как раз за Лугой, между нею и Псковом, именно два дня назад, когда в те места отправился Илья, Юденич двинул свои полки в наступление, целясь и на Псков и на промежуточную станцию Струги Белые, а дальше, надо полагать, и на самую Лугу. — Да, да, там работа есть. Но он здоров? Окончательно?

— Разве вы спрашиваете о здоровье человека? — вспыхнула Ирина. — Увидели, что уже на ногах, и вот тебе — поезжай, живи там как попало.

Кубанцев смотрел то на Благовидова, то на Ирину, стараясь сообразить, как бы выбраться из опасного положения. Кто таков этот брат Ильи Благовидова? Кожаная тужурка, ремни, фуражка со звездой, наган в кобуре, сапоги. Командир или комиссар? Если командир, то в красные командиры брат инженера Благовидова мог попасть и из офицеров, и совсем не обязательно тогда, что он враг. Но если это комиссар, то надо подняться, всадить ему пулю в его эту кожаную грудь и бежать. Но как узнать, кто же он: комиссар или командир?

— Извините, гражданин Благовидов, — сказал он, набравшись духу, и Павел тотчас отметил для себя, что тип этот, оказывается, знает его фамилию, знает, очевидно, и то, что он брат хозяина дома. Следовательно, когда Ирина так долго не шла отмыкать дверь, они тут совещались вдвоем, и она сказала своему гостю, кто такой мог оказаться за дверью. — Что-то лицо мне ваше

знакомо, — продолжал тем временем Кубанцев. — Не встречались ли где на фронте или в военном училище?

— Могло быть и на фронте, могло быть и в училище, — ответил Павел, все более и более внимательно присматриваясь к гостю Ирины. — Вы где воевали?

— Да на Западном, под Двинском, у генерал-лейтенанта барона Будберга. — Кубанцев никогда не служил в армии и никогда не был на фронте. Но о семидесятой пехотной дивизии, в которой начальствовал барон фон Будберг, ему приходилось слыхивать от полковника Незнамова. — Вы, значит, офицер? — снова поинтересовался он. — Если в училище были.

— Да, прапорщиком вышел.

— Очень рад! — Настроение Кубанцева поднялось, он вытащил руку из кармана. — А я, господин прапорщик, был ротмистр. — Он смотрел в лицо Павлу, стараясь опытным глазом жандарма ловить малейшие движения на нем, малейшие перемены. Лицо Павла не дрогнуло. Тогда Кубанцев решился добавить: — Собственно, что значит — был! Офицер всегда остается офицером, не так ли, господин прапорщик?

— Разумеется, — ответил Павел, понимая, что в кармане у назвавшего себя Шашкиным Ирининого визитера лежит оружие, не зря же Шашкин так долго продержал там руку — до тех пор, пока не узнал, что перед ним тоже бывший офицер. Надо бы арестовать молодца да проверить как следует, кто он такой. Но как на глазах у него вытащить наган из кобуры? Тот свое оружие выхватит раньше. Ему не надо возиться с отстегиванием кожаного клапана.

А обрадованный Кубанцев уже начал расспросы о том, где учился господин прапорщик, где служил, у каких командиров. Павел отвечал односложно, упорно думая свое, но понимал, что так, своими неохотными, рассеянными ответами, он может спугнуть Шашкина — тот заподозрит неладное и насторожится.

Терзания его разрешил новый звонок в дверь и тоже условный.

— Теперь-то это уже Илья! — Ирина бросилась отворять. Павел воспользовался случаем и поднялся.

— Пойду встречу братца, давно не виделись, — сказал он Кубанцеву.

Тот уже сунул обе руки в карманы — одну в брючный, другую в карман куртки.

Осокина не переставала мучить мысль, куда же подевался Хамелайнен. В Петрограде его не было: ни по одному из названных им адресов — Осокин проверял не однажды — он не появлялся. Что же, значит, остался в Эстонии, в Ревеле? Но почему? Зачем? Такие вопросы Осокин обращал и себе и Яну Карловичу. «А ты возьми и слетай,— сказал ему на днях Ян Карлович,— туда в Финно-Высоцкое, где проживают его родственники. Может быть, они что и знают. Тебе известны их фамилии, имена?» — «Известны». — «Давно бы надо было съездить, Костя Осокин. Ты проявил вялость в действиях». — «Не от вялости это, Ян Карлович. Времени же нет. Сами знаете, как мотаюсь. А туда ехать — весь день ухлопаешь. Автомобиль-то не дадите?» — «Не дам, Осокин, не дам». — «Ну вот, на поезде надо до Красного Села. А оттуда, если попутной подводы не окажется, пехом дальше. Полный день, говорю, пройдет». — «Тогда продолжай сидеть на стуле и каждую неделю приходить ко мне со своими вопросами, что же делать, как же быть».

Выбрав подходящий день, Осокин отправился в Красное Село. Истрепанный паровозик тащил несколько вагонов пригородного поезда не менее трех часов, надолго застревая то в Лигове, то в Горелове. Едва добрались до места.

В Красном Селе, подобно тому, что Осокин видел когда-то в Гатчине, по всем улицам бродили красноармейцы, что-то на что-то выменивали у местных жителей: то за пяток огурцов отдадут зажигалку, то за крепкие свои сапоги получат чужие дырявые, но зато с придачей куска свиного сала.

Долго протолкался Осокин в том месте, где от главной улицы ответвлялась дорога на Кипень, все ждал попутную подводу. Но была первая половина дня, и крестьяне все еще ехали из своих селений в Красное Село. Обратно они отправятся лишь под вечер.

Узнав, что до Финно-Высоцкого верст шесть-семь, Осокин пустился в пеший путь. Сентябрь подходил к концу, погода стояла ясная, солнечная, было не жарко, даже скорее свежевато, полевой воздух бодрил, шагалось весело и ходко. На полях стояла капуста, тугие белые кочаны. Их охраняли хозяева, сидя в шалашах — каждый в своем, посередине своего поля. Хотелось бы погрызть капустки, добраться до кочерыжки, сладкой,

вкусной. Даже челюсти сводило от мыслей о таких лакомствах. Но как их взять? Крику сколько будет — грабеж, мол. Вот она, Советская-то власть.

С кочерыжек мысль перестроилась на воспоминания детства. Стало думаться о доме, об отце, матери, Вальке. До чего же рады были они все, когда, вырвавшись из белого плена, их Костя добрался наконец до своей Счастливой улицы, до родной халупы. Послушать его рассказы сбежалось человек сто. Крановщики с Путиловской верфи, сверловщики, чеканщики, клепальщики. Народ глуховатый, орать пришлось — охрип к концу рассказа о том, что видел в тех местах, где появились и начали хозяйничать белые, об офицерских расправах, о бывшем генерале Николаеве и его смерти, о порках крестьян, о крови и слезах. «Ты бы к нам на Путиловский заявился,— сказал ему партийный сосед, которого уже лет двадцать все звали Яковлевичем. — А то некоторые наши хлюсты, которые в эсерах путаются, всякую муть несут про то, дескать, что Юденич да Родзянко, если придут, сейчас же созовут новое Учредительное собрание и власть будет другая, расчудесная. Денег сколько хочешь, харчей бери — не хочу, и всякие такие узоры. Они даже забастовку, эти сладкопевцы, чуть было не устроили. Кое-кто уже побросал работу. Пришел бы, Костька, а? Порассказывал бы дуракам». Обещал, собирался, да так и не собрался. Где уж! Разве найдешь лишнее время при такой работе?

В Финно-Высоцкое надо было идти через Русско-Высоцкое — большое, красивое село с церковью, окруженной кладбищем. А само-то Финно-Высоцкое оказалось мелкой деревенькой. Нетрудно было найти тут родственников Матти Хамелайнена. По-русски они говорили плохо и с трудом разобрали, чего хочет от них приезжий человек из «Петтерпурка». А когда наконец поняли, то дружно закивали в сторону востока: «Там наш Матти, там. Ропша он, Ропша. Это мы тут шивем. Матти шивет Ропша». Осокин сказал, что с удовольствием прогуляется в Ропшу — приходилось слышать об этой богатой и красивой царской мызе,— но сначала он хотел бы узнать, бывал ли их Матти в здешних местах после мая. «Как ше, как ше! — зашумели родственники. — Третьим тнем пришел, польной весь, в ревматисьме. С утра то ночи в пане моется».

Хамелайнен искренне обрадовался, когда Осокин нашел его в сторожке среди фруктового сада при охотничьем дворце русских царей.

— Товарищ Осокин! — закричал он, вскакивая с постели. — До чего хорошо, что вы прибыли! Я бы еще не скоро собрался в Петроград. Совсем ноги не ходят. Распухли. Да и вот там, прошу вас, посмотрите... — Он сбросил теплую жилетку и задрал рубаху на спине. Осокин увидел синие, рваные, кое-как заживающие, в струпьях, рубцы. — Железными палками от ружей били, товарищ Осокин. — Хамелайнен сел обратно на постель и заплакал. Он хлюпал носом, губами, лицо его стягивалось в морщинистый мешочек. Он исхудал, изболелся. Где тот боевой «Бабашкин», каким был он весной, когда сидел в предварилке ЧК!

— Что же с тобой случилось, Хамелайнен? — спросил Осокин, присаживаясь на стул. — Кто это тебя так?

— Белые. Они меня, как только я перешел туда, схватили, сказали, что я шпион, и вот с тех пор держали в разных подвалах, в холодных погребах с другими бедными людьми. Все требовали, чтобы я сознался, кто меня послал. И золото отобрали. Все отобрали. У них начальники каждую неделю новые. А каждый новый как придет, так сразу: «А ну всыпать двадцать пять горячих этому негодяю!»

Осокин видел, что Хамелайнен не врет. Не столь уж он великий актер, чтобы так натурально исполнять непростую роль потерпевшего, битого, пострадавшего.

— Значит, ты и в Ревеле не был?

— Какой Ревель, товарищ Осокин! Сразу же за Поповой Горой меня взяли. Потом в Ямбург перевезли. Потом — в Нарву. Оттуда и ушел.

— Когда?

— А дней как с десять. Долго плутать пришлось. Сначала на белых боялся наскочить. А потом уже и красных надо было избегать.

— Что так?

— Не один я шел, товарищ Осокин. — Хамелайнен не решался говорить дальше, мялся.

— Ну-ну, не один, значит. А с кем же?

— Да вы с ними сами поговорите лучше, товарищ Осокин. Они-то меня из кутузки и вызволили. Господин подполковник...

— Кто, кто?

— Подполковник, говорю, подполковник. Белый офицер. Он проверку в тюрьме делал и распорядился меня выпустить. Не совсем вот так: выпускайте Хамелайнена, и конец. Да вы лучше уж сами с ними...

Осенняя ночь была непроглядно черна. Шумел сырой ветер над липами старого парка, хлюпала вода на перепадах ропшинских прудов, под ногами мягко шумели сдутые ветром в вороха опавшие листья. Осокин почти на ощупь шел через сад за прихрамывающим впереди Хамелайненом, крепко держа в кармане кожанки рукоять нагана. «Господа офицеры!» Не так легко разобраться, зачем они тут и кто такие. Разведка? Курьеры от белых к контрикам в Петроград? Может быть, специально держали Хамелайнена в тюрьме именно для такого случая, а когда им понадобилось, устроили совместный с ним ложный побег.

Хамелайнен привел Осокина к омшанику. Окон избушка не имела, только дверь. Хамелайнен осторожно постучал в нее, видимо, условным стуком. Дверь отворилась, в ее проеме Осокин увидел человека, едва освещенного изнутри тускло теплившимся в омшанике фонарем «летучая мышь».

— Господин подполковник, — тихо заговорил Хамелайнен, — не бойтесь. Если вы взаправду решили перейти к красным и не передумали, то я привел к вам самого нужного в таком деле человека. Это товарищ Осокин. Из Чеки.

Человек в дверях отступил назад. Осокин вытащил наган наполовину и с четким, резким щелчком взвел курок.

— Прикажете поднять руки? — спросил человек в дверях. За ним Осокин увидел и второго.

— Руки можете не поднимать, если сдадите оружие, — ответил Осокин. — Хамелайнен, прими!

Хамелайнен передал Осокину наган и браунинг.

— Докладывайте: кто такие? — Осокин вошел в омшаник и старался разглядеть лица приведенных Хамелайненом белых офицеров. — Рассаживайтесь! — Он указал на табуреты и ящики в избушке. Сам опустился на лавку возле подобия стола, сколоченного из досок, на котором стоял фонарь, и огляделся. В углу увидел несколько пустых ульев; на них были положены доски и навалено сено, покрытое серым солдатским одеялом.

Офицеры напряженно смотрели в лицо решительного парня из страшной ЧК, одно название которой способно заморозить кровь в человеке. С чем он пришел: с жизнью или смертью? Не зря ли они затеяли этот поход с вызволенным из заключения типом, который, может быть, подосланный ЧК провокатор? Не поспешили ли сдать оружие?

— Господин... — начал было тот, кого Хамелайнен назвал подполковником.

Но Осокин остановил его:

— Никакой я не господин. Моя фамилия — Осокин. Но я вам и не товарищ.

— Как же, простите, нам быть? — осведомился тот.

— Очень просто: гражданин Осокин.

— Гражданин Осокин, я не настаиваю на том, чтобы вы вот так, сразу, с налету поверили каждому нашему слову. Это и невозможно. Тайком пришли два белых офицера, два ваших врага, и понятно, что вы должны относиться к нам как к врагам. Но я начну с того, что мы вам представимся. Подполковник Ларионов!

— Штабс-капитан Снегирев! — подал голос и второй офицер.

— Мы больше не можем оставаться в армии генералов Юденича и Родзянко, — продолжал Ларионов. — А третьего пути у нас нет. На бегство в Европу и на жизнь там достаточных средств мы не имеем. Мы же не капиталисты, не буржуи. Необходимость привела нас к вам. Тем более что уже несколько лет оба мы не виделись со своими семьями. Они в Петрограде. Может быть, правда, их уже и нет в живых. Может быть...

— ...Чека их прикончила? — подхватил Осокин. — Граждане офицеры, Советская власть с детьми и женщинами-матерями не воюет. Она бьет и карает ваших генералов, ваших полковников и подполковников, ротмистров и капитанов. И вы, если ничего не врете, пройдя проверку, сможете получить работу, службу, стать советскими гражданами. Ясно?

Внезапно Осокина осенило.

— Ларионов? — Он вскочил со скамьи, схватил фонарь и поднес к самому лицу Ларионова, рассмотрел длинный шрам на его лбу. — Подполковник? Командир батальона?

— Так точно.

— Я вас знаю, подполковник! — Осокин разволновался. Ему во всех кровавых, мучительных подробностях вспомнился плен, расправа над красноармейцами в скотном дворе имения Торма — вспомнилось все, что творили однополчане подполковника. Но он увидел и того Ларионова, который готов был прикончить контрразведчика Барского в Большом Заречье под Вырой. — Грешны вы, подполковник, грешны,— сказал, ставя фонарь на место. — К стенке бы вас прислонить надо. Но не я это решаю. Советская власть решит.

Назавтра Осокин вместе со спекулянтом Хамелайненом, который волею судеб превратился в его помощника, доставил Ларионова и Снегирева в ЧК, к Яну Карловичу. Ян Карлович поочередно вызывал офицеров в кабинет и, побуждая своей спрашивающей бровью говорить правду, стал выяснять одну деталь их биографии за другой. Осокин сидел у края стола и обстоятельно записывал.

Когда Ларионов дошел до рассказа о том, как белые зверствовали в Выре, против чего он потом якобы решительно протестовал, и назвал деревни Замостье и Большое Заречье, Осокин подтвердил:

— Точно, Ян Карлович. Это же тот самый офицер, о котором я вам рассказывал. Не все, дескать, они одинаковы-то — помните? А вы говорили: потому, мол, он тогда взвился, что сам не любит грязной работы, на других ее переваливает.

Ларионов смотрел на сухого, жилистого чекиста и, волнуясь, ждал решения своей судьбы.

Потом Яну Карловичу долго рассказывал штабс-капитан Снегирев, побывавший в Курляндии, в Риге, в странах Европы, повидавший там организаторов белых походов на Советскую Россию.

— Что ж, граждане бывшие офицеры, — в конце концов сказал обоим Ян Карлович, — о вас, о вашем желании служить народу, о всех ваших мыслях я доложу председателю Чека. Он снесется с какими следует организациями. И они вместе решат вашу судьбу. Я мог бы уже сегодня отпустить вас к вашим семьям. Под честное слово. Но, извините, ни один из ваших генералов и офицеров — пока еще такого случая мы не

знаем — не сдержал слова. Все немедленно скрывались. Придется вам побыть под стражей.

Осокин принялся звонить Павлу Благовидову: ему очень хотелось рассказать товарищу и о возвращении Хамелайнена, и о белых офицерах, которые могут дать ценные сведения военной разведке. Алексей Лабзаев, дежуривший у телефона в смольнинской комнате Благовидова, узнав, что говорит с товарищем Осокиным из ЧК, назвал адрес, по которому два часа назад отправился товарищ Благовидов,— к своему брату на Прядильной улице, дом такой-то.

— Хамелайнен, — сказал Осокин спекулянту, который ожидал его в дежурной комнате внизу,— поедем со мной, покажу тебя товарищу Благовидову. Мы с ним оба все лето прождали тебя, оба гадали, загадывали и ничего о твоем исчезновении не разгадали. «Бежал бродяга с Сахалина глухой звериною тропой».

Через несколько минут автомобиль уже нес их на Прядильную улицу.

Увидав Осокина, а за ним и Хамелайнена, которых Ирина впустила в переднюю, Павел на какое-то время позабыл о Шанкине, оставшемся за его спиной в гостиной.

— Хамелайнен! — воскликнул он. — Ты откуда? Пропащий!

Улыбаясь во все свое губастое лицо, Хамелайнен стоял перед ним смущенный и вместе с тем довольный тем, как его встречают, как к нему относятся. Павел протянул было ему руку. Но улыбку как сдуло с лица Хамелайнена. Не то с испугом, не то со злобой он уставился мимо Павла, в сумеречную глубь коридора.

— Он! — заорал Хамелайнен. — Он! Который...

Удары выстрелов, резкие в стенах передней и коридора, заглушили его слова. Павел выдернул было наган из кармана, но на него стал падать Осокин. Едва успел подхватить Осокина,— под ноги ему уже валился Хамелайнен. Выстрелы загромыхали теперь в глубине квартиры. Они слились там с обвальным грохотом; пронесшаяся по коридору горячая волна ударила Павла так, что он едва удержался на ногах, все еще не выпуская из рук бессильное тело Осокина.

— Ирина! — закричал Павел. Трясущаяся, она стояла рядом. — Помоги!

Вдвоем они втащили Осокина в ее спальню, положили на кровать, и Павел с наганом в руке кинулся по коридору. Но там уже никого не было. Тот, кто назвался Шашкиным, ушел через дверь на черную лестницу, в щепки разбитую, по-видимому, ручной гранатой.

— Кто он был? — сжимая кулаки, еле сдерживаясь, чтобы не ударить эту запутавшую всех паскудную бабу, прохрипел Павел. И только тогда почувствовал рвущую боль в бедре. Взглянул: по штанине, сползая к колену и ниже — к голенищу сапога, плыл, густо и липко пропитывая ткань, кровяной поток. Круто закружилась голова. Павла шатнуло, и, чтобы не упасть, он, хватаясь за стены, опустился на пол передней возле раскинувшего руки Хамелайнена.

— Где ты, Ирина? — сказал из последних сил. — Ни с места! Приказываю... Слышишь?

Но ему никто не ответил. В квартире было тихо, как на кладбище.

39

Двадцать восьмого сентября, собрав немногочисленный, но увесистый ударный кулак войск, белые из гдовских и осьминских лесов правым флангом своей Северо-Западной армии начали наступать в направлении Пскова и Луги. Вламываясь в стык 19-й и 10-й красных дивизий, колонна наступающих быстро расширяла прорыв.

Опасаясь захода противника в тыл, части красных отступали, тем более что в их командном составе по-прежнему было сколько угодно бывшего офицерья, связанного с петроградским контрреволюционным подпольем, которое ловко путало все планы обороны. Четвертого октября правофланговые части северо-западников уже были в Стругах Белых, перерезав железную дорогу из Луги на Псков. Штаб 7-ой красной армии, где с удвоенной энергией продолжал помогать врагу его начальник Люндеквист, утратил всякую связь со своими левофланговыми частями, перестал получать от них донесения об обстановке и начал впадать в панику. По подсказке Люндеквиста были отданы поспешные приказы о немедленной переброске войск из-под Ямбурга в сторону Луги. Красный фронт под Ямбургом и

Нарвой оголялся. Все шло как надо. Белые радостно потирали руки, дожидаясь условного часа.

Отвлекшая внимание и силы красных хитроумная операция правого фланга Северо-Западной армии, которую разработал штаб генерала Родзянки при помощи Люндеквиста, ни на один день не прекращавшего связи с Нарвой, убедила главнокомандующего в том, что план захвата Петрограда вполне реален, составлен умно и правильно и теперь уже нет никаких сомнений, что на этот раз он будет выполнен.

Одно раздражало и обескураживало Юденича. Поведение Бермонта-Авалова. Юденич долго не терял надежды, что рано или поздно русские войска в Латвии одумаются и вместе с войсками его Северо-Западной армии пойдут на Петроград. Во имя этого он перед самым наступлением выехал в Ригу, чтобы встретиться с Бермонтом. Но Бермонт к месту встречи не прибыл, только все обещал и обещал, оттягивая время. Ждать больше было нельзя, время уходило, не воевать же под Петроградом зимой. Перед возвращением в Нарву Юденич оставил в Риге для войск Бермонта свой приказ № 21 от двадцать седьмого сентября. В приказе было сказано: «Северо-Западная армия вас ждет к себе; ждет с нетерпением. Она верит, что вы придете, что вы ей поможете, что вы нанесете тот жестокий удар, который сокрушит большевиков под Петроградом.

Вы вместе с Северо-Западной армией возьмете Петроград, откуда соединенными усилиями пойдете для дальнейшего освобождения родины.

Приказываю: сейчас же всем русским офицерам и солдатам корпуса выступить в Нарву под командой командующего корпусом полковника Бермонта и оправдать надежды Северо-Западной армии и надежды нашей исстрадавшейся родины».

Но вместо того чтобы оправдывать надежды северо-западного главнокомандующего, Бермонт поступил совсем иначе. Он начал наступление на Ригу, намереваясь существовавшее там правительство, кстати, весьма благосклонно отнесшееся к Юденичу, заменить другим, угодным немцам. Начались новые бои в Латвии. Немецко-русские аэропланы повисли над Ригой, на ее предместья посыпались бомбы.

Горнисты английских и французских крейсеров и миноносцев, дымивших на Рижском рейде, сыграли бо-

евую тревогу. Антанту уже давно тревожило то, что побежденная ими Германия не склонила голову перед параграфами Версальского договора и продолжала стоять на пути стран Согласия, отнюдь не отказываясь от своих планов относительно России. Немецкие аэропланы с русскими авиаторами сбрасывали над Ригой не только бомбы, но и пропагандистские листовки. Были даже сброшены пачки митавской газеты «Троммель» («Барабан») с тем номером, в котором сообщалось о создании бермонт-аваловского «Западно-Русского центрального совета». Рижане узнали, что в «совет» этот «входят: бывший товарищ председателя Государственной думы князь Волконский, сенаторы граф Пален и Римский-Корсаков, генерал Черниговский-Сокол, бывший начальник Либаво-Роменской железной дороги Ильин и другие менее известные лица». В этом же номере «Троммеля» Бермонт сообщал, что, опираясь на свой «центральный совет», он от имени Великороссии начал организацию государственного строя. Как представитель русской государственной власти, он выражает благодарность германскому правительству за оказанные услуги по освобождению бывших окраин России. Он обязывается позаботиться об обратной отправке немецких войск и защищать завоеванные земли.

Карты раскрылись полностью. «Северо-западное правительство Лианозова и Карташева истошно взревело в Ревеле, получив такие известия. Военный министр «правительства» Юденич издал новый приказ:

«Ввиду того что полковник Бермонт ни одного из моих приказаний в назначенные сроки не исполнил и, по полученным сейчас сведениям, открыл даже враждебные действия против латышских войск, объявляю его изменником родины и исключаю его и находящиеся под его командою войска из списков Северо-Западного фронта; оставшимся верным долгу офицерам и добровольцам приказываю немедленно поступить под команду старшего из них, которому при содействии представителя английской миссии принять все меры к безотлагательному отправлению по морю и присоединению к Северо-Западной армии».

Тотчас стало известно, как на этот приказ отреагировал Бермонт. Он пообещал немедленную смертную казнь каждому из своих подчиненных, которому вздумалось бы отправиться в войска генерала Юденича.

Клубок противоречий и раздоров накручивался. Командующий английской эскадрой адмирал Коуэн послал радио Бермонту:

«Я не признаю русского командира, воюющего вопреки директивам генерала Юденича и ведущего борьбу под руководством немцев».

Англо-французские крейсеры открыли огонь по бермонтовским позициям на левом берегу Двины. Англичан хватало на все — одновременно они могли вести торпедные атаки на Кронштадт, прикрывать орудийным огнем высадку «добровольцев», стекавшихся к Юденичу через Ревель и Усть-Нарву, бомбардировать подступы к Риге, нести патрульную морскую службу возле важного порта Либавы. Черчилль победил в Лондоне осторожного Ллойд-Джорджа и вопреки желаниям английского народа вовсю развертывал новый поход «14 государств против Советской России». Союзники настояли перед Колчаком — и тот перевел Юденичу на полное его усмотрение, если исчислять в английской валюте, почти миллион фунтов стерлингов.

Можно было радоваться и радоваться. Но, кроме осечки с Бермонтом, Юденич к самому началу наступления Северо-Западной армии получил и еще один малоприятный сюрпризец. От неугомонного Булак-Балаховича. Деятельный атаман, скоропалительно, в несколько месяцев, прошедший путь от ротмистра до генерала, не сидел без дела. Меньше всего он увлекался рыбной ловлей в обществе баронессы Элеоноры; ее дудение на фисгармонии в изборском доме ему давно приелось. Все свое время «батька» проводил с эстонскими военными, которые разделяли с ним планы, направленные против его обидчиков — Юденича и Родзянко. В последние дни сентября, не зная, что Юденич в Риге, Балахович с тремя сотнями своих основательно оснащенных пулеметами «сынков» погрузился в специальный поезд под Изборском и, получив на то пропуск от своего собутыльника, начальника 2-й Эстонской дивизии полковника Пускара, двинулся на Нарву, на штаб Северо-Западной армии, чтобы арестовать ее командование. Поезд до Нарвы не дошел, и Родзянко тотчас телеграфировал Юденичу:

«26 сентября в «Новой России» напечатана была телеграмма о наступлении Балаховича в тыл красным. Между тем в этот день Балахович с бандою в триста человек садился в поезд для движения в Нарву с целью

производства переворота и захвата власти. Сегодня Балахович прибыл в Вайвару. По распоряжению генерала Теннисона (1-я Эстонская дивизия) навстречу ему выслан был бронепоезд с приказанием, в случае если Балахович двинется дальше, открыть огонь. Так как вся эта авантюра представляет собой, несомненно, большевистскую затею, вдохновителями которой являются большевистские агенты Иванов и Озоль, то ходатайствую об аресте Иванова и Озоля и разоружении отряда Балаховича. Считаю долгом подчеркнуть благородные и доброжелательные к нам действия генерала Теннисона».

Катавасия эта была тем более неприятна Юденичу, что история с Балаховичем произошла именно двадцать восьмого сентября, в тот самый день, когда правый фланг Северо-Западной армии начинал свое отвлекающее внимание и силы красных успешное наступление.

Победы на фронте в конце концов нейтрализовали, умерили для Юденича горечь внутренних раздоров. Красные не поняли замысла северо-западного командования. Их основательно в этом запутали, и, бросив все свои силы под Лугу и Псков, они роковым для себя образом оголили фронт под Ямбургом. Теперь, перед лицом грядущих важных событий, можно было предпринять кое-какие не менее важные шаги, подсказанные мудрым Владимировым.

Возвратившийся в Нарву из Ревеля, где только что отзаседало «правительство», Юденич вызвал генерала Родзянко.

— Я вам благодарен, Александр Павлович, за то, как вы развернули наступление под Стругами Белыми. Правильно, что послали туда три английских танка. Это еще больше укрепит большевиков в том, что именно там направление нашего главного удара.

— Сегодня, Николай Николаевич, красные снова заняли Струги Белые.

— Но почему! Потому что они оттянули туда уйму своих сил с Нарвского фронта. Разве не так?

— Думаю, что так.

— И вот, Александр Павлович, теперь самое главное. В столь решающем походе мне, именно мне самому, надлежит встать во главе армии. Да, мне. Я и правительство решили так.

Лицо Родзянки налилось кровью.

— А вам,— Юденич заметил это,— приказано быть моим помощником.

Родзянко молчал.

— Как же, Александр Павлович?

— Ваше решение неправильно,— наконец сказал Родзянко. — Оно глубоко ошибочно. Мы начали наступление. Я со своим штабом долго и тщательно разрабатывал его план. Я, и только я, знаю все детали, все нюансы задуманного. Если вы недовольны мною, если я совершил промахи, скажите мне о них прямо. Можно подумать над их исправлением. А менять командование на ходу, если командующий соответствует своему месту,— значит погубить все дело.

— Но так уже решено,— глядя в стол, повторил Юденич.

— Почему же перед столь важным решением ни о чем не спросили меня? В конце-то концов, — Родзянко повысил голос,— кто создал армию: вы или я?

— Вы, вы, и что же из того?

— А то, что армия — это мое детище! Меня все в ней знают и уважают. Я авторитетен, я...

— Напрасно кричите, генерал, напрасно. Я нисколечко не отрицаю, что вы организовали армию, да, да. Но кто добыл деньги для нее, снаряжение, вооружение? Вы? Нет, не вы. А я. И только я.

Юденич в противоположность Родзянке голоса не возвышал. Говорил ровно и скучно. Как бы ни доказывал Родзянко иное, он все равно останется при своем. В армии более двадцати тысяч активных штыков и сабель. Каждый полк имеет по два орудия. Общий состав войск с их тылами и прочими учреждениями — более пятидесяти тысяч людей. Это подлинно армия, это сила, махина. Есть танки. Солдаты полностью обмундированы — союзники дали все, что надо. Вдоволь снарядов, патронов. Рядом, в Балтике и Финском заливе, курсирует английский флот. Есть аэропланы с бомбами. Противник не понял замысла Северо-Западной армии, он мечется. Ничто теперь не остановит воинство с белым крестом на знаменах на его пути к Петрограду. Деникин оттягивает силы красных на свой фронт, результативно высшее красное командование помочь Петрограду не в состоянии. Да, да, да, он, командующий силами белых на северо-западе,— недалек такой час — въедет на белом коне в столицу Российской империи. И что же,

на исторического этого коня прикажете сажать препустячного человечка — племянничка фанфаронского думца? А ему, полному генералу, полководцу, тащиться в обозе? Нет, не выйдет. Воевать Родзянко может и любит. Вот и пусть воюет, пусть делает свое дело.

— Вот так, Александр Павлович. Продумайте мое предложение о том, чтобы стать мне добросовестным помощником. Моей верной правой рукой.

— У вас есть такая рука! — дерзко ответил Родзянко. — Ваш любимец Владимиров. Вездесущая и всеведущая десница.

Юденич подул в усы.

— А вот это не вашей компетенции дело, генерал, — ответил, уже начиная сердиться. — Да, да, не вашей. Когда мне скажет правительство...

— «Правительство»! Всем ведомо, что это размалеванная ширма. Когда вам надо будет, генерал Владимиров, прекрасно изучивший там, где он служил некогда, как это делается, за полчаса покончит с таким «правительством».

— Довольно, генерал. Ступайте и думайте о моем предложении.

Родзянко вышел взбешенный. Он шагал по каменным улицам Нарвы, не замечая, куда идет. Он кипел, но не знал, как быть и что делать. У него не было таких отпетых войск, как у Бермонта, который, опираясь на них и на немцев, мог наплевать на приказы Юденича. У него нет восхитительных головорезов Балаховича, с которыми их «батька» — вольный казак и может пойти куда вздумает. Он, Родзянко, вырастил дисциплинированную, организованную армию. Она не потерпит авантюр. У нее определенные цели, перевороты в ней невозможны. Юденич признан главнокомандующим, и никому нельзя будет объяснить, почему же только сейчас против его командования возражает он, Родзянко. Начнут проводит параллели: вот, мол, в пятнадцатом году царь Николай сместил с главнокомандования русскими армиями великого князя Николая Николаевича, и что из того получилось? Но ни он, Родзянко, — не великий князь, ни Юденич — не государь император. Получится глупо, смешно, по-мальчишески. Ужасное положение. А до удара главными силами остались уже не недели, не дни, всего-то часы. Что делать? Что делать?

Всю ночь Родзянко провел в кругу приятелей, собравшихся у него на квартире, и всю ночь обсуждался там один этот вопрос: как быть и что делать? Недавний комендант-вешатель Ямбурга, старый друг Родзянко, полковник Бибиков твердил:

— Тебя, Александр, армия знает. Дай согласие, и мы арестуем Юденича.

Родзянко нисколько не сомневался в том, что арест Юденича вполне возможен и пройдет здесь, в Нарве, без всяких осложнений. Но какая же свистопляска поднимется в Ревеле! «Правительство» Лианозова, миссии союзников — все они дружно обрушатся на него, на Родзянко; прекратится помощь армии, будут применены экономические санкции, и что же? Вместо наступления на Петроград надо будет куда-то бежать, а куда? Кто знает генерала, вчерашнего безвестного полковника, там, в Европах? На что он будет существовать без подачек от союзников?

— Нет,— сказал он под утро, придя к выводу, что бунтовать против главнокомандующего не в его силах. — Поздно. Приказ о наступлении готов, начать неповиновение сейчас — уже преступно. Я солдат.

На рассвете к нему пришли граф Пален с начальником штаба и начальниками дивизий, и от имени генералитета армии граф обратился к Родзянко с просьбой согласиться занять пост помощника главнокомандующего.

— Александр Павлович, — сказал Пален,— все мы понимаем, что такого поста как действенной единицы нет и быть не может. Но в вашей власти встать во главе отдельного отряда на каком-либо из решающих направлений и повести свои войска вполне самостоятельно.

На совещании генералов у Юденича в тот же день главнокомандующий, утверждая план кампании, объявил, что генерала Родзянко он назначает своим помощником и поручает ему руководство действиями 3-й дивизии генерала Ветренко, которая пойдет на Гатчину.

2-я дивизия под начальством графа Палена — ее решили называть корпусом — должна двигаться левее 3-й — частью в обход Ямбурга, частью на Гатчину и

Красное Село. 1-я во главе с Дзерожинским будет брошена правее — к Луге.

— Итак, с богом! — Юденич встал, постоял с полминуты в торжественном молчании, не глядя на тоже поднявшихся генералов, и так же молча вышел из зала совещания.

На рассвете десятого октября вся лавина приодетых в английское, французское, в шведское и германское, хорошо вооруженных и снаряженных войск Северо-Западной армии, сопровождаемая английскими танками, двинулась в наступление.

Удар был очень быстрым и внезапным, поскольку красные были заняты оборонительными боями возле Стругов Белых. 6-я и 2-я их дивизии были смяты и стали в беспорядке отступать. Предатели из бывших офицеров-«военспецов» приводили в расстройство связь между частями, отдавали противоречивые и просто нелепые приказы, с помощью разных слухов сеяли панику. Кухни, обозы были отправлены далеко в тыл. Красноармейцы остались без пищи, без патронов.

Возле озера Дубское в плен белым был сдан изменившими «военспецами» один из красных полков. Значительную часть другого полка белые тоже с помощью предателей захватили в районе озера Березново.

И случилось так, что уже одиннадцатого октября пал Ямбург, а двенадцатого белые вышли к станции Волосово.

Родзянко самолично вел дивизии генерала Ветренко. Полки пробирались через болота по заранее разведанным, хорошо изученным лесным дорогам. Проводниками были бежавшие от красных «военспецы». Уже захвачены селения Сара Лога, Сара Гора, пройдены деревни Люботяжье и Поля. Двенадцатого вся дивизия подтянулась к Красным Горам вблизи линии Варшавской железной дороги. Назавтра Темницкий полк отсюда напрямик устремился к станции Мшинская, остальные части пошли к станции Преображенская.

Слева белые тоже безостановочно наступали. В ночь на десятое полки Семеновский и Островский возле Сабска и Редежей захватили переправы через Лугу и двинулись в глубь обороны красных. В прорыв устремился и конно-егерский полк. Конники понеслись по дорогам на деревни Устье, Яблоницы, Литошицы, чтобы с ходу атаковать станцию Волосово. Ливенцы переправились через Лугу возле Муравейно и заняли село Среднее.

Взяв затем Веймарн, они перерезали дорогу Ямбург — Гатчина.

Отдельная группа с приданными ей танками шла со стороны Нарвы прямо на Ямбург. Защитники Ямбурга не устояли перед неведомыми им стальными коробками англичан, начали отступать с заречных позиций в город. Танки не смогли преследовать их, потому что взорванный мост через реку Лугу давно лежал обломками в воде. Но белая пехота, следовавшая за танками, сидела у красных почти на плечах и ворвалась в Ямбург.

К Волосову первыми вышли талабцы, которыми командовал полковник Пермикин. Конные егеря двинулись отсюда на север: на Клопицы, затем на Бегуницы, Тешково, Новокемпелово и даже к Копорскому шоссе, имея целью Ораниенбаум и Петергоф. Ливенцы же от Новокемпелова продолжали наступать по шоссе Ямбург — Красное Село к Кипени, Ропше и Красному Селу.

Через день Родзянко вместе с генералами Ветренко и Дзерожинским уже осеняли себя истовыми крестами на благодарственном молебне в Луге по поводу одержанной Северо-Западной армией великой победы над большевиками. Ничто, казалось, не могло теперь остановить воинство под знаменами с белым крестом в его священном походе на Петроград.

Белые лавиной катились вперед. Заняты были станция Сиверская и село Выра, где в мае против своих комиссаров и красных командиров взбунтовались бывшие семеновцы.

В Выре генерала Родзянко нашли связные из Талабского полка, действовавшего в составе войск графа Палена; они доставили известие о том, что на центральном участке белые прошли Елизаветино и приближаются к Гатчине.

— Генерал Ветренко, — отдал распоряжение Родзянко,— с одним полком при двух орудиях вы от станции Сиверская немедленно пойдете по шоссе на Вырицу и дальше на Лисино и Тосно. Ваша задача — захватить часть Николаевской железной дороги и на ней закрепиться. Ни один красный эшелон не должен проследовать из Москвы в Петроград, не должен быть провезен ни один красноармеец, ни один снаряд или патрон. Приступайте к исполнению, дорогой генерал. А мы будем развивать успех на Гатчину. Она уже рядом!

Ветренко еще не успел выступить, как из корпуса графа Палена поступило новое донесение: дивизия Ливена, та, в черных германских касках и длинных германских шинелях, со своими конниками на реквизированных в Латвии упитанных конях, уже была на подступах к Красному Селу.

Родзянко вновь вызвал Ветренко.

— Можете взять не полк! — расщедрился он от такой радости. — Берите бригаду. И не два орудия, а полную батарею. И немедленно, немедленно! Вы должны на большом пространстве разрушить полотно Николаевской дороги, взорвать все мосты, даже мелкие. Пусть ваши подрывники проберутся к реке Тосне возле Колпина. Там очень важный мост. Его тоже к черту! Петроград должен стать ловушкой, мышеловкой для красных!

Со всех сторон стягивалось вокруг Петрограда полукольцо белых войск. Дивизия Дзерожинского, заняв Лугу, станции Фан дер Флит и Серебрянку, шла к Оредежу и Батецкой.

Исполком Петроградского Совета четырнадцатого октября получил телеграмму Ленина:

«Ясно, что наступление белых — маневр, чтобы отвлечь наш натиск на Юге. Отбейте врага, ударьте на Ямбург и Гдов. Проведите мобилизацию работников на фронт. Упраздните девять десятых отделов...» Ленин настаивал: «Надо успеть их прогнать, чтобы вы могли опять оказывать свою помощь Югу».

Пятнадцатого октября Политбюро ЦК партии большевиков вынесло решение: «Петрограда не сдавать! Снять с беломорского фронта максимальное количество людей для обороны Петроградского района».

В тот самый день, ожидая скорого прибытия Троцкого, поскольку уже было известно о том, что Политбюро предложило главкому съездить на день в Петроград, Зиновьев выступил на заседании Петроградского Совета с длинной успокаивающей речью. Он утверждал, что нет никаких оснований для беспокойства, для того, чтобы принимать сверхчрезвычайные меры. Что же, что взят Ямбург? Он и в июне был взят белыми, но в августе мы их оттуда вышибли. Вышибем и теперь. Сил у противника на этот раз не больше, а меньше, а у нас, напротив, больше, чем летом, войска лучше снаряжены и выучены.

Такая речь могла бы ввести в заблуждение членов Петроградского Совета, если бы они не были людьми, прошедшими огонь революции, борьбы с Красновым и Юденичем, наступавшим на Петроград несколько месяцев назад; если бы среди них не было большевиков-ленинцев с опытом подпольной работы; если бы из-за прошлых его виляний они не относились к Зиновьеву, к его заявлениям критически, если бы жили не своим революционным умом, а действовали по указке одного человека только потому, что он занимает такой высокий пост.

Перед питерцами, и в том числе, а может быть, и прежде всего перед новым комендантом укрепрайона Дмитрием Авровым, поскольку белые пошли не теми дорогами, на которых их ожидали, встала задача срочной переброски частей с второстепенных участков на первостепенные, самые горячие. Павел Благовидов и многие другие товарищи носились в автомобилях и на паровозах по фронту в Карелии, снимая полки с позиций, подымая их на марш, обеспечивая средствами экстренной перевозки.

Одновременно шло спешное формирование новых частей для фронта. В считанные дни и даже часы удалось отправить на передовую восемнадцать тысяч свежих бойцов при пятидесяти девяти орудиях.

Комендант укрепрайона и те, кто работал с ним плечом к плечу, спали в сутки по два-три часа, не более, а то и вовсе оставались без сна. Работы было так много, что, казалось, человеческими силами ее и не выполнить. В частности, были зарегистрированы все военнослужащие, имеющие отношение к воздухоплавательным частям, офицеры и унтер-офицеры саперных подразделений. Взяты на учет бывшие помещики, всякого рода капиталисты, высшие чиновники. Их бросили на оборонные работы. Мобилизовали автомобили и мотоциклеты. Отключили в городе все частные телефоны, кроме тех, о которых было особое указание коменданта.

Павлу Благовидову часто приходилось встречаться с Авровым. Не раз он бывал в его штабе, сначала помещавшемся на улице Гоголя, 19, затем переехавшем в Петропавловскую крепость. Однажды пришлось увидеть и темное, сырое, почти казематное жилище Аврова

в Петропавловке, там же, где был штаб. Авров при Павле набрасывал в тот день слова приказа № 24, которым в Питере устанавливалось осадное положение.

«Воспретить, — быстро писал химическим карандашом Авров, — всякое свободное движение по улицам города Петрограда после 8 часов вечера. Все увеселительные места: театры, кинематографы — закрыть. Частную торговлю кафе, квасных, фруктовых и пр. прекратить. Установить проверку автомобилей, мотоциклов, экипажей в течение всего дня».

— Согласен? — спросил он, подписывая бумагу и передавая ее помощнику для перепечатки на машинке.

— Полностью, — ответил Павел. — Положение острое. — Ему нравился этот прямой, ясный, убежденный человек, преданный делу революции.

Как раз пятнадцатого октября, когда князь Ливен подходил к Красному Селу, а Родзянко был в трех километрах от Гатчины и еще не ворвался в нее лишь потому, что его солдатам не давал поднять голову красный бронепоезд, — именно в тот самый день, не поддавшись расслабляющим речам Зиновьева, этот приказ, подписанный Д. Авровым и членом Военного совета П. Исаковым, вступил в действие. После восьми вечера на улицу без пропусков уже нельзя было выходить никому. Закрывались кинематографы и театры, прекращалась торговля в частных кафе и лавочках, в квасных и фруктовых. Уличные патрули несли дозорную службу круглые сутки, проверяли каждый автомобиль, мотоциклет, повозку.

Белое подполье заметалось. Связь между его группами могли в какой-то мере осуществлять теперь лишь иностранные подданные с дипломатическими паспортами. Растерялся даже неуязвимый из-за своей сверхосторожности Владимир Яльмарович Люндеквист. Чекисты закрыли одну из лавчонок, торговавших сахарином на углу Бассейной и Надеждинской, которая называлась «Люпар», а хозяйкой ее была не кто иная, как жена самого Люндеквиста. Закрывая лавочку, никто, правда, не знал о том, что к этой лавчонке сходятся все передаточно-связные нити белых заговоров; тем не менее деятельность шпионской сети полковника Люндеквиста сильно осложнилась.

Шестнадцатого октября, выполняя указание ЦК партии и товарища Ленина об «упразднении девяти десятых

отделов», на фронт срочно отправлялся большой отряд взявших в руки винтовки ответственных работников областного Совета народного хозяйства. На позиции выехал и отряд работников Революционного трибунала Западного фронта.

Надо ли было говорить о рабочем классе красного Петрограда, о коммунистах заводов, о молодых ребятах из Союза коммунистической молодежи!

Петроград стеной вставал навстречу рвавшимся к нему белым.

«Петрограда не сдавать!» — вынесло пятнадцатого октября свое решение Политбюро ЦК. «Петрограда не сдадим!» — боевым кличем подхватывали питерцы.

А покачиваясь на мягких рессорах личного салон-вагона на пути из Москвы в Петроград, председатель Реввоенсовета Лев Троцкий, где-то в районе Бологого, вписывал в свой приказ от шестнадцатого октября такие строки: «Задача не в том только, чтобы отстоять Петроград, но в том, чтобы раз навсегда покончить с Северо-Западной армией». У Троцкого было свое мнение, весьма заметно отличающееся от мнения Центрального Комитета. «С этой точки зрения,— быстро строчил он далее,— для нас, в чисто военном отношении, наиболее выгодным было бы дать юденической банде прорваться в самые стены города, ибо Петроград нетрудно превратить в большую западню для белых».

Семнадцатого октября при участии Троцкого заседал Комитет обороны Петроградского укрепленного района. При обсуждении плана организации внутренней защиты города Троцкий развил содержание своего приказа.

— Петроград не Ямбург и не Луга! — восклицал он, поблескивая очками и угловато жестикулируя. — Петроград занимает площадь в девяносто одну квадратную версту! В Петрограде почти два десятка тысяч коммунистов, значительный гарнизон, огромные, почти неисчерпаемые средства инженерной и артиллерийской обороны. Прорвавшись в этот гигантский город, белогвардейцы попадут в каменный лабиринт, где каждый дом будет для них либо загадкой, либо угрозой, либо смертельной опасностью.

Он отпил глоток воды из стакана.

— Для этого нужно, — продолжал, — только, чтобы несколько тысяч человек твердо решили не сдавать Петрограда...

Увидав недоуменные улыбки на лицах заседавших, уловив глухие протестующие возгласы, он тотчас разъяснил:

— Конечно, я понимаю вас, товарищи, уличные бои сопряжены со случайными жертвами, с гибелью женщин и детей, с разрушением культурных ценностей. Но невинные жертвы и бессмысленные разрушения легли бы не на нас с вами, а целиком на ответственность белых бандитов. Зато ценой решительной, смелой, ожесточенной борьбы на улицах Петрограда мы достигли бы полного истребления северо-западных белых банд.

Павел Благовидов слушал эту речь, не веря ушам. На заседание его привезли из госпиталя, бледного, слабого. Рана в бедре была неглубокой, но пуля Кубанцева задела артерию. Павел потерял много крови, и пожалуй, как говорят врачи, умер бы от этого, если б не шофер автомобиля, на котором Осокин доставил тогда Хамелайнена. Услышав выстрелы в доме, шофер бросился по лестнице, добежал до незапертой двери в квартиру Ильи Благовидова и застал в ней такой разгром, что сначала было растерялся, не знал, что и делать. Затем покатил в госпиталь, привез врачей, а пока врачи делали свое дело, понесся в ЧК за помощью.

Хамелайнен был мертв. Кубанцев в него первого всадил три пули из браунинга, и притом почти в упор. Одна из пуль прошла через горло к затылку и поразила Хамелайнена насмерть. Осокин получил две пули. И не совсем метко. В него Кубанцев стрелял, уже отходя по коридору. Первая перебила ключицу, вторая, из-за чего Осокин потерял сознание, касательно порвала кожу над ухом, скользнула по кости черепа; черепная кость дала небольшую трещину. А в него, Павла, негодяй, назвавшийся Шашкиным, пустил пулю не из браунинга, а из нагана, будучи в самой глубине коридора. Угодил в бедро. Павел остро досадовал и на эту рану, и на свою оплошность с тем Шашкиным.

Куда подевался Шашкин, где теперь Ирина, которая как исчезла тогда, так больше и не появлялась, — никто сказать ему не мог.

Узнав от товарищей, посещавших госпиталь, о заседании Комитета обороны, Павел потребовал, чтобы его тоже отвезли туда. Он еще хромал, но держался твердо. Только бледность выдавала его нездоровье. А слушая Троцкого,

он бледнел еще больше. Не выдержал, в конце концов попросил слова и, опираясь на палку, встал.

— Товарищи... — сказал он. Все уже знали о его ранении, и кто с интересом, кто с сочувствием, кто с тем и другим вместе смотрели на него. — Товарищи, — повторил, — я, конечно, понимаю... Товарищ председатель Реввоенсовета и так далее... Приказ... Но товарищ Ленин нас учит: если член партии имеет что-то сказать и не может волнующее его не высказать своим товарищам по революции, он не должен молчать, он обязан сказать все, что думает. Извините, но я ни умом, ни сердцем не могу принять такой план, когда бы сознательно впускали врага в Петроград. Дети же, женщины!.. Народу сколько! И нельзя утешаться тем, что это все ляжет на ответственность белых. Как хотите, но оно будет и на нашей ответственности. И прежде всего на нашей. Нет, я полностью за решение Политбюро: «Петрограда не сдавать!»

Люди загудели, заволновались еще больше. Выступил Дмитрий Авров, сказал, что он тоже за решение Политбюро и готов отстаивать его перед кем угодно. За ним взяли слово еще двое, поддерживая и Павла Благовидова и Аврова и тоже не соглашаясь с тем, чтобы добровольно впустить врага в улицы города.

Троцкий пожимал плечами. Яростно взблескивали его очки. Склоняясь к сидевшему рядом с ним за столом Зиновьеву, он возбужденно зашептал тому в ухо.

Зиновьев встал:

— Товарищи, что касается товарища Аврова, то мы с ним поговорим позднее. Сейчас я о Благовидове. Все мы знаем его как человека искреннего, прямого. Но он молод, очень молод. У него нет опыта, нет мудрости, выдержки старших бойцов революции. Простим ему все, но сделаем лишь кое-какие уточнения. Никто не говорит, что мы вот так возьмем и сейчас же впустим белых в Петроград. Полевое командование, об этом и товарищ Троцкий упомянул в приказе, обязано принять все меры к тому, чтобы не допустить врага в Петроград. Но ведь не все в наших силах, верно? Враг располагает большой армией. У него танки... — Зиновьев уже забыл о том, что́ два дня назад говорил на Петросовете: о слабости Юденича, о силе питерцев. Он уже был согласен с Троцким. — И мы разговор ведем о том, чтобы кажущееся наше поражение — отступ-

ление внутрь города — превратить в нашу победу, перебить врага на улицах.

Спор разгорался. Троцкий и Зиновьев, крутясь, уточняя позиции, смягчая и меняя формулировки, все же стояли на своем. Мало находилось таких, кто бы поддерживал их безоговорочно. В конце концов Зиновьев прокричал со злостью:

— Нельзя устраивать базар в такие решающие дни! Есть приказ председателя Реввоенсовета. И мы обязаны его не обсуждать, а выполнять! Все! Приступаем к разработке конкретного плана внутренней обороны города. Кстати, теперь уж мне никто не докажет, даже товарищи Щукин с Благовидовым, что мы неправильно делали весной, эвакуируя часть нашей промышленности из Петрограда. Пока не поздно, мы и сейчас возобновим эту работу.

Вечером они оба, Троцкий и Зиновьев, сидели в вагоне главкома на путях Николаевского вокзала.

Троцкому не было нужды переселяться в город. Ни одна гостиница не дала бы ему столько удобств, сколько давал собственный поезд из множества прекрасных вагонов, сформированный для него верными людьми еще в августе восемнадцатого года и с тех пор непрерывно совершенствуемый. Не считая личного вагона с апартаментами главкома, которым мог бы позавидовать царь Николай, когда-то тоже гордившийся своим царским поездом, поезд Троцкого располагал типографией на колесах, телеграфной станцией, радиостанцией, электрической станцией, обширной библиотекой со справочной литературой, пульмановским вагоном-гаражом, в котором были два автомобиля с мощными моторами; была даже своя баня, чего у царя Николая не было.

Зиновьев с Троцким сидели при зеленой лампе в салон-вагоне главкома, оснащенном множеством телефонных аппаратов, подключенных к городской сети.

Перед ними была телеграмма Ленина, полученная в Петрограде еще утром, во время заседания Комитета обороны. Ленин уже знал о разговорах по поводу сдачи Петрограда. Минувшей ночью он созвал заседание Совета Обороны республики и вот что протелеграфировал из Москвы:

«Постановление Совета Обороны от 16 октября 1919 года дает, как основное предписание, удержать Петроград

во что бы то ни стало до прихода подкреплений, которые уже посланы».

— Что же делать? — Зиновьев вопросительно смотрел на Троцкого.

— Что «что»? Доказать ему, доказать!.. — Троцкий взорвался. — Доказать, черт побери, что он не безгрешен, не бог Саваоф и не может, не может быть всегда правым!

— Как же доказать?

— Да так, так, товарищ Григорий! В этой телеграмме, смотри дальше, сказано еще и то, что даже если враг ворвется в город, не прекращать борьбы на улицах. Значит, допускается такая возможность, что он ворвется. Вот и мы с тобой ее допускаем, а не декретируем. До-пус-ка-ем, понял?

Они посмотрели друг на друга. Троцкий развел руками:

— А что делать? Ворвались-таки господа белые в Питер.

Зиновьев задумался. Крепкий чай перед ним остыл. Он смотрел, как от резких жестов Троцкого колеблется поверхность жидкости в стакане, и думал о том, что на этот-то раз он и в самом деле сможет доказать Ленину свою правоту не словами — такого оратора разве словами одолеешь! — а делом, делом, ходом действительности. Мысли его прервались оттого, что в салон с какой-то срочной депешей вошел Яков Блюмкин. Зиновьев знал, что этого бывшего скандального эсера, застрелившего в прошлом году германского посла Мирбаха, Троцкий почему-то недавно приблизил к себе и сделал даже начальником своей личной охраны.

Пока хозяин вагона писал вкось через лист с депешей длинную резолюцию, Зиновьев думал о том, что Лев Давидович куда ловчее его умеет устраиваться: имеет целый поезд в несколько вагонов, имеет человек двадцать охраны, путешествует более чем с царским комфортом, даже псы вон лежат на ковре.

— Кстати, — сказал он с усмешкой. — Лев Давидович, а это правда, что генерал Мамонтов где-то под Тамбовом захватил твой вагон в твое отсутствие и получил вместе с ним в качестве трофея какого-то редкостного бульдога? Белые газетки писали, что генерал привез его то ли в Таганрог, то ли в Новочеркасск.

Не поднимая головы и не отрывая руки от бумаги, Троцкий быстро ответил:

— А я вот в тех газетках прочитал, Григорий, что ты взял к себе повара убиенного Николая Александровича Романова. Не шикарно ли?

У Зиновьева дернулись губы. То, о чем сказал Троцкий, было правдой. Но он, конечно же, об этом нигде не вычитал, а ему уже доложили об этом его петроградские агенты. Все видит, все знает, во все запустил свои щупальца.

Зиновьев молчал и с неприязнью смотрел и на самого Троцкого, и на бомбиста Блюмкина, и на все барское великолепие вагона предреввоенсовета. Он не любил Троцкого давно и стойко, но что поделаешь, надо смиряться и с таким ненадежным соратником.

41

В госпитале в эти дни оставались только те, кто не мог подняться с коек. По осенним стылым водам Финского залива до петроградских улиц докатывался неблизкий, но грозный гул орудий Кронштадта, береговых фортов, линейных кораблей. С фронта прибывали эшелоны, летучки, автомобили, конные повозки — все с новыми и новыми партиями раненых. На фронт уходили все новые и новые свежие отряды. Волнение охватывало даже тех, кто не старался вникать в суть противоречий между красными и белыми. Было простейшее беспокойство за свою жизнь, за свою шкуру, над которыми нависнет опасность, если сражения перекинутся сюда, в улицы, в дома, во дворы. А такая возможность, как видно, не исключена, поскольку по всему городу нагромождаются баррикады, ставятся пушки, роются окопы.

С госпитальных коек, конечно, вскакивали и уходили проситься в бой не они, не эти перепуганные. Преодолевая недомогания и слабости, подымались на ноги раненые коммунисты, большевики, кадровые красные командиры, люди Октябрьских дней семнадцатого года, рабочие, чекисты.

На десятый день лечения вышел на улицу и Осокин. В бинтах, с едва начавшей срастаться ключицей, держа руку в повязке, он вошел в комнату Яна Карловича, утер

рукой осыпанный каплями пота лоб и, не спросясь, сел на стул возле стола.

— Осокин! — Ян Карлович поднял на него вопрошающую бровь. — Что за неумное представление? Я тебя сейчас же отправлю обратно.

— Не подчинюсь, Ян Карлович. В первый раз, но не подчинюсь. Не могу я там.

— А что ты можешь здесь?

— Хоть что-нибудь.

Ян Карлович долго рассматривал своего помощника. Курил. Кашлял.

— Вот что, Осокин, — заговорил. — Хорошо. Бороться с тобой я не буду. По совести говоря, я тебя понимаю. Вчера председатель решил судьбу твоих перебежчиков. Штабс-капитана Снегирева затребовала Москва, к самому товарищу Дзержинскому. Белый офицер этот много знает о врагах Советской власти, которые сидят сейчас в Европе — в Париже и Лондоне. А подполковник Ларионов останется здесь. Мы снеслись с военными, они готовы взять его к себе. Но Ларионов поставил условие: он не может воевать против, так сказать, своих. Не может активно воевать против них. Он будет заниматься боевой подготовкой молодых красноармейцев в Петрограде. Это, говорит он, для него допустимо. А стрелять в своих... Лучше, говорит, его самого расстреляйте. Так что дело, видишь, ему нашлось. Но он еще не побывал у себя дома. Семья его здесь, все у них в порядке. Жена работает машинисткой, получает карточки. Дети тоже получают карточки. Давай сделаем так. Проводи ты сегодня Снегирева в Москву, куда он отправится с сопровождающим. А затем отвези домой Ларионова. Вот тебе и боевое поручение. — Заметив недовольство на лице Осокина, Ян Карлович добавил: — Погоди, погоди петушиться, Костя Осокин. Это не пустячки. Это тебе проверка: можешь ты мотаться по заданиям или нет. Давай действуй.

Перебежчики, находившиеся под стражей до полного прояснения своей судьбы, подполковник Ларионов и штабс-капитан Снегирев, когда увидели Осокина, то признали его не сразу — всего в бинтах и повязках. А узнав, обрадовались как старому знакомому, принялись расспрашивать о том, что же случилось с товарищем Осокиным, почему он в таком огорчительном виде. Осокин ответил, что все это пустяки и мелочи жизни. «Блеснула шашка раз и два, и покатилась голова». Бывает.

Он принялся водить офицеров по отделам, им выписывали временные справки и удостоверения. Потом все вместе, в том числе и чекист, который должен был сопровождать Снегирева в Москву, отправились в автомобиле на Николаевский вокзал. В залах и на перронах вокзала была такая толчея, что Ларионов, Снегирев и сопровождавший его чекист должны были обступить Осокина, чтобы того не двинули сундуком, корзиной, винтовкой по незажившим, больным местам.

Плотной группкой пробились они к экстренному поезду из нескольких вагонов, в котором уже заранее было приготовлено место для Снегирева и его спутника.

Снегирев ехал в Москву тем более охотно, что, по наведенным Яном Карловичем справкам, семья его еще в восемнадцатом году перебралась туда из Петрограда. «Наверно, к теще, — сказал Снегирев. — Это понятно. Легче жить».

Ларионов и Снегирев по-братски обнялись перед отходом поезда. «Беляки, — раздумывая, глядя на обнимающихся офицеров, Осокин, — а все у них, как и у нас, обыкновенно, по-человечески. Черт их, дураков, знает, зачем они сунулись воевать против своего же народа?» Снегирев тем временем вошел в вагон, и поезд двинулся. Железнодорожники и военное начальство вокзала говорили, что полной гарантии за безопасность проезда дать не могут. Белые, слышно, прорываются к Николаевской колее. Вчера их разъезды уже были замечены на дорогах от Вырицы к Тосно.

Прямо с вокзала Осокин отвез Ларионова на Шпалерную, к тому дому, где Ларионов когда-то оставил свою семью.

— Что ж, гражданин, — сказал Осокин ему на прощание, — через два денечка явитесь в военный комиссариат, о вас там уже будут знать, получите должность. А пока счастливо, желаю хорошей встречи с родными.

Он видел, как нетерпеливо бросился к подъезду дома человек, вышедший из него в последний раз пять с лишним бесконечно долгих лет назад. Как-то встретит его жена? Узнают ли выросшие дети своего отца? «Да, жизнь, — все думал Осокин. — До чего же много надо испытать самому, чтобы хоть как-то начать разбираться в ее сложностях и путаницах, а не рубить направо и налево сплеча»,

Пришло время ему и самому повидаться с семьей. Пока лежал в госпитале, никак не мог сообщить родным о себе. Сказал теперь шоферу катить за Нарвские ворота, на улицу Счастливую.

Шофер такой улицы не знал.

— Зато я знаю! — Осокин поудобнее расположился на сиденье. — Хорошо знаю. Лучше некуда!

Еще издали, от Нарвской триумфальной арки, он увидел черный дым возле «Путиловца», в Автове, катившийся клубами по всей городской окраине.

— Пожар, должно быть, — сказал шофер.

— Жми, товарищ, жми! — торопил Осокин.

Автомобиль подскакивал на рытвинах, увязал в полных изжеванной колесами грязи осенних лужах. Каждый толчок до потемнения в глазах отдавался в пораненной голове Осокина. Он стискивал зубы и терпел.

Когда по его указкам добрались до Счастливой, Осокин не узнал свою улицу. Не только родительского дома он на ней не увидел — вообще здесь уже не было никаких домов. Груды гнилых бревен и досок, стреляя, чадя, дымя, пылали рыжим пламенем. Толпы людей возились возле пожара. Они были с лопатами, с кирками, ломами. Но они не гасили огонь. Они делали совсем другое дело.

Осокин смотрел на возводимые ими сооружения из броневых плит, рельсов, цементных прямоугольников и кубов, за которыми моряки устанавливали пушки с длинными стволами. Он спросил кого-то, что происходит, почему жгут дома.

— А потому, что эти халупы помешают стрельбе из орудий, — ответил торопливый человек. — Видишь, блиндируем огневые позиции. Приказ товарища Аврова. Только что сам здесь был, распоряжался.

Осокин бродил в толпе, пытаясь увидеть если не своих родных, то кого-либо из знакомых. Но народ здесь был, как выяснилось, со всего города, не одни путиловцы.

Наконец он наткнулся на Феклу Дмитриевну Жигалину, тетку Павла Благовидова. Она тоже не сразу узнала его, обвязанного бинтами.

— Фекла Дмитриевна! — заговорил он. — А где мои-то, не знаете?

— Твои-то? Да у нас покедова, Костенька. Добришко в сарай спихали. А сами у нас в дому. Больше народу — веселей.

Покатил обратно, на Петергофское шоссе. В доме застал только мать. Она уж и плакала, и смеялась, и обнимала сыночка, радовалась, что хоть живой-то остался.

Ни отца, ни сестры Вальки не было.

— Все на защите стоят, Костюшка. Батька броневой поезд снаряжает, Валька копает где-то. Она же ничего, что маленько хромая, а сильная, сам знаешь.

Отправился на завод. В заводских мастерских, на дворах кипело народом чуть ли не так, как только что было на Николаевском вокзале. Шагали отряды рабочих с винтовками, выкрикивались команды, всюду под молотами и молотками громыхало железо; визжало оно под сверлами, сыпалось искрами от автогенных аппаратов.

Отец подал руку, осмотрел всего.

— Да, — сказал. — Приукрасился, сынок. Но ничего, заживет. Наша порода живучая. На меня раз, еще в молодости, чугунная чушка завалилась, пудов на тридцать этакая. Полежал, покряхтел да и пошел.

— Мать, помнится, рассказывала, что лежал-то и кряхтел ты целых два месяца, прежде чем пошел.

— Может, и так, запамятовал. Одно помню: полежал да и пошел.

В мастерской готовили бронированный поезд. Состоял он из нескольких защищенных стальными плитами вагонов и платформ. Отцовым делом было обшивать броней главные части паровоза.

— А ты посмотрел, что Жигалин делает? — спросил отец. — Степан-то Егорович. Говорят, у Юденича с Родзянкой английские лохани есть?

— Танки-то? Да, есть. Серьезные штуки.

— Вот и иди в тот конец, в лафетно-снарядную мастерскую, к Степану Жигалину, полюбопытствуй.

Осокин нашел Степана Егоровича возле внушительного сооружения. Среди мастерской стояло нечто угловатое, громоздкое, на металлических гусеничных лентах-дорожках. С прорезями амбразур в стальной обшивке.

— Танк, Костенька, танк! Наш, свой, рабоче-крестьянский, — объяснял ему довольный Жигалин. — Ребята сообща придумали, как в такую штуку превратить грузовой автомобиль английской фирмы «Остин» с вездеходным гусеничным устройством Кегресс. Это уже пятый наш танк для Красной Армии.

Осокин знал, что и его отец, и его мать, и Фекла Дмитриевна, которая там, на бывшей Счастливой улице,

возилась с лопатой, и бессонный Степан Егорович, и все, кто, может быть, завтра на этих рабочих окраинах Петрограда вступит в бой с хорошо накормленными заморским харчем дивизиями и полками белых, — все они в день получают по карточкам мизерный кусочек хлеба — две «осьмушки», две восьмых доли фунта, или, по метрической системе, сто два грамма. Но они не только живут на этом скудном пайке, а и роют, копают траншеи, устанавливают на огневых позициях пушки, придумывают свои красные танки; притом способны еще и шутить, радоваться — не унывать.

В железном заводском громе к Осокину пришло чувство большой, бодрящей радости — от сознания того, что и он такой же, как они, эти крепкие, стойкие люди, вырвавшиеся из потемок вместе с революцией. «На черта мне эти повязки», — подумал он в азарте, разглядывая танк, на одной из бронированных боковин которого рабочий парень, макая кисть в банку с краской, выводил пятиконечную звезду и под нею слово: «Петербург».

— Гражданин, ваш пропуск!

Чья-то рука легко, но решительно тронула Осокина сзади за локоть здоровой руки. Он обернулся: крепкий парень в бушлате, с наганом и двумя гранатами у пояса.

— Брось, Алексей, — сказал Жигалин парню. — Это же Осокин, старого Осокина сын.

— С верфи? Все одно — пропуск, гражданин!

Осокин достал из кармана удостоверение. Строгий парень улыбнулся:

— Ладно. Глазей.

— Это Алеха Золотов,— пояснил Жигалин.— Он наша заводская охрана. Почти что самый главный в ней. Все знает, все видит. Вчера эсеровскую шайку арестовал, сдал к вам в Чеку.

— Рад познакомиться с тобой, товарищ Золотов. — Осокин протянул руку.

Золотов стиснул ее.

— А я тебя, товарищ Осокин, в общем знаю. Видал разочка два. Да понимаешь, порядочек. Гад всякий лезет на завод.

— Понимаю. Вместе гадов-то ловим. Видишь, как они меня изукрасили. Одна картинка. «Смотрите здесь, смотрите там, нравится ль все это вам?»

42

По заданию Комитета обороны Павел Благовидов выехал автомобилем в Гатчину. Предстояло непростое дело — разобраться в том, что происходит с частями 2-й и 6-й дивизий, отступающими в беспорядке от Волосова и Сиверской. Белые шли, вытягиваясь вдоль дорог, заходя в тылы красным войскам, совершая быстрые налеты и создавая панику. Юденич и Родзянко рассчитывали на быстроту, на оглушение защитников Петрограда. Были сняты полки даже из-под Гдова. Родзянко, отдавший распоряжение об этом, знал, что на псковском участке красного фронта немало таких «военспецов», которые верны белому движению и успешно делают там свое изменническое дело. За боевой участок по побережьям Чудского и Псковского озер можно не опасаться.

Три дополнительных полка, снятых оттуда, заметно ускорили темп белого наступления.

В Гатчине Павел застал обстановку настоящего бегства. На улицах уже рвались вражеские снаряды. Белым артиллеристам, экономя снаряды, изредка отвечали тяжелые пушки красных бронепоездов с Балтийской и Варшавской веток. Над городскими крышами плавали в воздухе хлопья горелых бумаг. На подводы — то возле советских учреждений, то у жилых домов, где квартировали семьи ответственных советских работников, коммунистов и военных, — грузились домашние вещи. Не без грусти следил Павел за тем, как женщины и дети таскали добро, привычно окружавшее их, может быть, не один год и с которым они не решались расстаться даже в такой тревожный час. Столы, стулья, постели, небогатые, плохонькие, но привычно обжитые, — как их бросить, как не увезти поначалу в Детское Село, а дальше, может быть, и в Петроград. Граммофоны с ярко-зелеными или розовыми трубами, клетки с канарейками и перепуганными попугаями, визжащие поросята в ящиках со щелями, куры и утки, сквозь дерюжную обшивку выставившие ошалелые головы из корзин.

Молча стояли на углах группочки матросов и людей в штатском, но, как и матросы, с винтовками. Назвав себя, Павел поинтересовался, кто они такие. Матросы были из Особого отряда. А штатские — местные коммунисты.

— Будем прикрывать отход наших, если так случится, — сказал Павлу один из них, в кепке и рваном

шерстяном шарфике вокруг шеи. Он кашлял, у него была ангина. Слова произносил с трудом.— Ведь говорят,— продолжал он,— сволочь эта зверствует, как в средние века было. Звезды режут ножами на живых людях. Раненых вывозим поэтому в первую очередь.

— А это что же? — Павел кивнул на подводы со скарбом, съезжающиеся с других улиц к проспекту Павла I, чтобы свернуть здесь на дорогу к Пулкову и Детскому Селу.

— А это сами граждане на свое последнее понанимали чухонские телеги. Что поделаешь? Никому неохота угодить в белые лапы.

— А писатель Куприн как? — поинтересовался Павел.

— Куприн-то? Эй, кто знает, как там Куприн? — Человек в шарфе обернулся к своим товарищам.

— Он-то? — отозвался один из них.— Да никак. Картошку копает. А ему чего! Его никто не тронет. Он ни красный, ни белый. Посередке он.

Павел с трудом нашел штаб полка, разместившийся на станции Балтийской линии. Но командира в штабе не оказалось. Был только комиссар. Он сказал, что и командир, и начальник штаба, и все другие военспецы исчезли еще под Волосовом; ушли там к своим, к белым, так их и перетак, и еще так и еще растак. Он один теперь кукует здесь с двумя сотнями людей и ровным счетом не знает, что делать дальше, никто не дает никаких указаний, не делает никаких распоряжений.

— А где противник? — спросил Павел.

— Вон там, в деревне Большие Колпаны. За веткой.

— Занимайте на станции оборону,— посоветовал Павел.— Окапывайтесь. В случае чего будете отступать через парк к дороге на Детское Село, минуя город слева.

Он говорил об отступлении лишь потому, что и сам не знал, как быть.

Гатчину Павел покинул с тяжелым чувством. Понимал, что ничего не сделал, и хотя он и не мог что-либо сделать в обстановке сплошного расстройства управления войсками на этом участке 7-й армии, все равно был собой недоволен. Ощущение от всего происходившего вокруг было такое, что кто-то сознательно довел дело до полной безнадежности. Не могли воинские части развалиться так сами собой. Невозможно, чтобы без управляющей палочки столь дружно и одновременно разбежались командиры из бывших офицеров, чтобы разладилась вся связь и

между частями и между штабом армии с частями. Со стороны Петрограда то и дело подкатывали на грузовых автомобилях отряды, готовые вступить в бой. Но никто их не принимал, никто не ставил перед ними никаких задач. Они видели только поток отходящих разрозненных красноармейцев, голодных и оборванных, многие из которых были уже без оружия; издерганные, беглецы эти думали только об одном — как бы добраться до безопасного места, лечь там, заснуть и никуда не идти дальше.

«А ведь, пожалуй, так, и верно, дело может дойти или до уличных боев в Петрограде, или до сдачи города белым»,— подумал Павел, вспомнив заседание Комитета обороны, на котором выступали Троцкий и Зиновьев.

Он решил ехать в Детское Село, в штаб армии. Но в помещениях армейского штаба уже было пусто. Штаб только что отбыл в Петроград.

У Павла заныла растревоженная за день нога. Он попросил шофера обождать немного, а сам прилег на уличной скамье и вытянул ногу, чтобы успокоилась. В душе все росла и росла тревога. Так же нельзя, думал он, нельзя ожидать хода событий пассивно. Он обязан вмешаться в события, вмешаться деятельно и действенно. Сейчас же надо вернуться в Петроград и потребовать, чтобы его отправили в боевой строй. Не дадут полк, пусть дают батальон, пусть роту. Но он должен воевать, идти в атаку, бить, бить, уничтожать врага.

К этому порыву примешивалась и тревога за Илью. Известно, что с ремонтным поездом Илья был за Лугой и не вернулся оттуда. Может быть, он в руках белых? В тех местах орудует 4-я дивизия Северо-Западной армии; дивизией командует спятельный живодер князь Долгоруков, и вся она почти целиком составлена из бывших полубандитских отрядов Балаховича. Именно эта долгоруковская дивизия и захватила Струги Белые. Ее дважды или даже трижды вышибали оттуда, но она снова и снова переходила в наступление и снова продвигалась вперед.

С тоской представлял себе Павел брата попавшим в руки белых контрразведчиков. Добрый, душевный Илья, как ему тяжко там, как невыносимо, как поди тоскует он по Ирине. Ирина... Ах, Ирина! Квартира их брошена, все брошено! Нет семьи, которая еще так недавно благоденствовала и строила планы на будущее.

В клубке мыслей Павла, отдыхавшего на скамье, нашлось, конечно, место и Саньке. С нею он не виделся уже

давным-давно. Она поди и не ведает, что стряслось с ним, что был он ранен, лежал в госпитале. Иначе бы прибежала, непременно бы прилетела проведать.

Среди общего мрака последних дней мысль о Саньке была, пожалуй, единственным лучом света. Павлу было отрадно думать, что на земле есть такой человек, который может к нему прийти, прибежать, прилететь и который уже немного родной ему, близкий, способный понять и разделить его душевную боль.

— Гражданин,— услышал он голос. Возле скамьи стоял кто-то в черном пальто и каракулевой шапке пирожком. Павел повернул к нему лицо. — Гражданин,— повторил тот,— у вас оружие, вас ждет автомобиль. Очевидно, вы должностное советское лицо?

— Чего вы хотите? — спросил Павел, садясь.

— Ничего особенного. Просто интересуюсь: действительно ли к Петрограду идут армии генералов Юденича и Родзянко?

— А если так, то вы запишетесь добровольцем и пойдете в бой против них?

— Я человек больной, мне воевать поздно, и никуда я не запишусь. Моя мысль не об этом. Я с вами о другом. Скажите,— он присел рядом,— почему вы сопротивляетесь? Почему не согласитесь с тем, что из того переустройства общества, которое задумал ваш Ленин, ничего же не получается?

— Ну, ну, интересно.

— Вам, может быть, и интересно, вы от этого эксперимента ничего не потеряли и не теряете. А мне неинтересно. Моя жизнь разбита, разрушена, искалечена вашими революциями. У меня умерла от сыпного тифа жена. Моя старшая дочь ушла из дому с каким-то таким, вроде вас, в коже и в ремнях. Я остался с младшей дочерью и с сестрой. И нам нет места в вашем райском коммунистическом обществе.

— Как так нет? Вы где работаете?

— Нигде. Я арабист, гражданин, и ориенталист. Вы знаете, что это такое?

— Догадаться можно. Ориенталист — значит, что-то по изучению Востока. Арабист — и того проще, само слово за себя говорит.

— Кое-что, вижу, у вас есть за душой. Ну вот, где же, по-вашему, может найти сейчас применение своим знаниям человек, как вы правильно поняли, изучающий

Восток и знающий несколько десятков языков этого Востока? Ближнего и Среднего — добавляю для точности.

— Так есть же университет в Петрограде, он работает.

— Бросьте вы это все! — Человек стукнул о землю железным стержнем свернутого зонтика, на изогнутой ручке которого лежали кисти его исхудалых рук. — Вы обязаны публично признать, что у вас ничего не вышло, что вы искалечили жизнь миллионов людей, и как можно скорее отдать власть и страну в знающие, опытные руки тех, которые умеют мыслить по-государственному.

— Юденичу и Родзянке?

— Не им, они солдаты, а тем, кто идет за ними, столпам русского общества. Кто был ничем, не может стать всем. Такие скачки противоестественны. Это не закономерный процесс истории, а узурпация. Вы узурпаторы!

Он горячился, он стучал зонтиком, тряс бородкой, с носа у него то и дело сваливалось пенсне на тонком черном шнурочке. Павел даже развеселился от разговора с ним.

— Вы говорите о миллионах, у которых искалечена жизнь, — дождался своей очереди сказать Павел. — Где же эти миллионы? Я знаю миллионы рабочих и крестьян, которые только сейчас и стали свободными. Свободой, знаете ли, не калечат, а исцеляют. Вы считаете, что свет там, у генералов. Но у вашего Юденича всего несколько десятков тысяч войск. Кого же они хотят освобождать? Миллионы рабочих и крестьян? А от чего освобождать? От свободы? От самих себя? Не получится же так, дорогой гражданин, никак не получится. Человека можно освободить от рабства. Но от свободы — нет. Никто на подобное освобождение не согласится. Кроме разве что вас с вашими близкими. Но вас всего лишь трое. Целой-то армии не многовато ли для освобождения троицы брюзжащих, недовольных, не пожелавших работать рука об руку с народом? Вы мне надоели, гражданин, как впрочем, и самому себе. Идите своей дорогой. У меня нога болит. Ну вас к черту!

Павел встал и пошел к автомобилю, где за рулем спал и видел сны улыбающийся им усталый шофер. Арабист-ориенталист что-то кричал вслед, потрясая зонтиком.

Из какой человеческой мешанины состояло общество молодой Советской России, раздумывалось Павлу, и

сколько еще потребуется усилий, сколько труда будет затрачено, прежде чем возникнет, образуется то, о чем сегодня мечтают коммунисты, пошедшие в партию большевиков именно для того, чтобы добровольно и сознательно делать эту неимоверно сложную работу...

43

Осенью 1919 года Александр Иванович Куприн собрал обильный урожай со своего участка. Писатель любовался превосходной свеклой, морковью, брюквой, уже выкопанными из земли и уложенными на зиму в подпол. Кочаны капусты еще стояли на грядах, и по утрам, случалось, их обметывал искрящийся иней. Зима виделась Александру Ивановичу безбедной, обеспеченной продовольствием. Ну, а остальное? Душа? Сердце? Он предоставлял это остальное течению времени и тем политикам, которые, заварив кашу, рано или поздно, да должны же ее расхлебать. Рядом с ним его добрая семья, под рукой старый фарфор, старые верные книги, наполненные нетленными, непреходящими сокровищами того духовного мира, в который можно уйти в любую минуту, стоит лишь перелистать несколько драгоценных страниц.

В последние дни вокруг Гатчины сильно грохотало. Соседи сообщали Александру Ивановичу о том, что по всем окрестным дорогам на Петроград из Гдова и Нарвы идут войска белых. Выйдя вчера днем на улицу, он своими глазами увидел отступление красных и отъезд из Гатчины совдепчиков и их семей. А вечером на окраине города, возле станции Балтийской линии, вспыхнул огневой бой. Почти час продолжалась ружейно-пулеметная перестрелка.

Сегодня утром все прояснилось. Генерал Родзянко, подошедший к Гатчине со стороны Сиверской, никак не предполагал, что Гатчина уже занята другими частями Северо-Западной армии. Наткнувшись на пулеметы, он тотчас выставил против них пулеметы своей личной сотни, и начался тот вечерний бой. Только через час, побив друг у друга немало солдат, разобрались, что помощника главнокомандующего обрабатывал пулеметным огнем Талабский полк полковника Пермикина, уже захвативший окраину Гатчины.

Мощно, торжественно гудят сегодня соборные колокола, сзывая именитых горожан к молебну, имеющему быть по случаю вступления белых войск в Гатчину, до которой пять месяцев назад они дойти так и не смогли, несмотря на все старания. Полковник Пермикин, отправляясь в собор, запасливо положил в карман две пары золотых погон: добрые люди из штаба уже успели сообщить ему о том, что по окончании молебна Родзянко поздравит его с производством в генералы. На парад, местом которого назначена площадь перед дворцом Павла I, старый друг Балаховича, такой же бандит и вешатель, как сам Балахович, лихой командир талабцев вырысит на коне в новой генеральской форме.

Одни в этот день шли к собору, другие же — к комендатуре и контрразведке, обосновавшимся в бывшем полицейском управлении царских времен. На стенах домов, на длинных гатчинских заборах были расклеены подписанные Пермикиным распоряжения всем гражданам явиться на регистрацию к коменданту и всем, кто хранит оружие, немедленно его сдать. Иначе...

Александр Иванович с наганом в кармане, дабы не нарываться на это недвусмысленное «иначе...», медленно брел по улицам. Печатая шаг, по проспекту Павла I шагали орлы-талабцы с белыми крестами и бело-сине-красными лентами, углами нашитыми на рукавах шинелей, и дружно орали старую солдатскую песню:

— Здравствуй, Маша, здравствуй, Даш,
Здравствуй, милая Наташ!
Здравствуй, милая моя,
Дома ль маменька твоя?

Лихой многоколенный свист заполнил паузу, после которой вновь грянуло:

— Дома нету никого.
Полезай, майор, в окно. —
Майор ручку протянул,
Ко мне в спаленку скакнул.

Озорная песня эта помнилась Александру Ивановичу еще с далеких кадетских лет. Заслушался, прошлое подступило, сам невольно стал подпевать бравым пермикинским молодцам.

Возле крыльца полицейского дома, занимая чуть ли не всю площадь перед тяжелым каменным зданием, гу-

дела, волновалась толпа горожан, пришедших регистрироваться. Александр Иванович приуныл, не зная, сколько ему придется потерять времени в этой не ведавшей, что ее ожидает, толпе. Но не минуло и десяти минут, как на крыльцо выскочил молодой офицерик в ремнях и прокричал:

— Ти-ше! Нет ли, случаем, среди вас господина Куприна?

— Я, я! — обрадовался Александр Иванович. Значит, помнят, значит, знают, что он гатчинец, что в Гатчине его давний, обжитой дом и что он его не покинул.

Работая быстрыми локтями, офицерик помог Александру Ивановичу пробиться к крыльцу. Сердце писателя екало. Знают-то знают, помнить-то помнят. А зачем помнят? На что он им понадобился? Разное же бывает. Александр Иванович не пошел смотреть, а соседи уже спозаранку сбегали и сообщили, что на проспекте-то висят на деревьях трое красных. Два красноармейца — это понятно. Но почему же еще и гатчинский портной Хипдиванец, которого заказчики обычно именовали господином Хиндовым. Если и он красный, то так могут объявить красным любого. Правда, в какой-то мере это понять можно: спешка, война, кто кого.

В полуподвальном помещении, где при царе полицейские раздавали зуботычины пригородным крестьянам, за столом в казачьей своей форме сидел хорунжий — один из небольших чинов контрразведки. Круглое лицо в веснушках, над левым ухом роскошный чуб.

Увидел здесь Александр Иванович еще и смотрителя Гатчинского дворца. Тот стоял под зарешеченным окном, а перед ним возбужденно расхаживал остроносый капитан с черными усиками.

— Вот, пожалуйста! — Александр Иванович выложил на стол хорунжего свой наган.

— Вы же офицер, господин Куприн! — резко сказал капитан с усиками. — И вдруг сдаете оружие! Я бы, например, никогда этого не сделал. — Неожиданно он улыбнулся и подал руку: — Капитан Барский. Из контрразведки. Рад познакомиться.

Куприн ответил на рукопожатие, сказал:

— Ладно уж. А то, знаете... Мне Борис Викторович Савинков как-то в Ницце, лет семь назад, объясняя свою страсть к убийствам, говорил: «А как же иначе-то, если

в кармане у тебя заряженный револьвер. Он сам просится выстрелить».

— Возьмите обратно,— предложил хорунжий и двинул наган на столе.

— Нет уж. Может быть, он армии пригодится. А у меня есть еще и небольшой «мервинг». Прекрасно бьет.

— Хорошо. Как знаете. Мы вас не поэтому, а совсем по другому делу побеспокоили, господин Куприн. — Капитан-контрразведчик указал глазами на смотрителя дворца. — Вам известен этот советский комиссар? Предупреждаю, что каждому вашему показанию беспрекословно поверю. И от вас зависит все. Уведите его! — приказал он солдату у дверей, кивнув в сторону смотрителя.

Того удалили за дверь.

— Ну? — Контрразведчик смотрел на Куприна.

— Какой же это комиссар, господин капитан? — Александр Иванович улыбнулся. — Он только по названию комиссар. На деле — самый настоящий смотритель. Добросовестно сберегает дворцовое имущество. Я его очень хорошо знаю по этой работе. В его руки однажды попали портфели с перепиской одного из великих князей. Он пришел ко мне за советом, как ему быть. А как было тогда быть? Большевистская Чека — организация вездесущая, прячь от нее или не прячь — найдет. Решили мы совместно все портфели, дабы не достались большевикам,— всего их было двадцать четыре, из прелестной сафьяновой кожи,— сжечь в печке. Согласитесь, это не совсем-то большевистский поступок.

Барский еще пошагал по комнате, раздумывая. Потом распахнул дверь.

— Вы свободны, — не без наигранного пафоса сказал он смотрителю. — И благодарите за это господина Куприна.

Когда смотритель ушел, Барский заговорил доверительным тоном:

— Вы здесь знаете всех, господин Куприн. Может быть, согласитесь поработать у нас, а? Это очень почетно и патриотично — каленым железом выжигать красную заразу. Мы спасем от нее человечество, и оно нам за это будет вечно благодарно.

Александр Иванович протестующе поднял руку.

— Ну, ну, ладно. — Барский усмехнулся. — Странный вы народ — русские интеллигенты. Со всем смиряетесь, лишь бы собственных рук не запачкать. Ладно, идите

к коменданту, капитану Лаврову. Желаю вам успеха. Все ждем ваших новых книг.

Капитан Лавров поразил Александра Ивановича внешностью — этакий вояка времен войны с Наполеоном. «Высок, худощав, голубоглаз и курнос, — отметил себе Александр Иванович. — Надень на него ментик, кивер — и чем не рубака-гусар!»

— Очень приятно вас видеть! — воскликнул Лавров. — Чем же вы хотите быть нам полезны, господин Куприн?

— Никуда не напрашиваюсь, ни от чего не откажусь, господин капитан. У вас есть прифронтовая газета? Вот бы в ней посотрудничать. Прокламации составлять, воззвания...

— Прекрасно! — Лавров схватился за перо и сделал пометку на листе бумаги. — О вас и о вашем желании я сегодня же сообщу в штаб армии. А пока — вот, побалуйтесь. — Он протянул раскрытый портсигар с папиросами.

«Настоящие!» — сказал себе Александр Иванович, взяв дрожащими пальцами одну папиросу; прикурил, сделал затяжку, и голова его приятно закружилась. Давным-давно сидя на махорке, отвык он от турецкого табака.

— Вы шли сюда, видели мертвеца на дереве? — спросил Лавров, тоже закуривая.

— Для меня это не лучшее из зрелищ. Я, знаете, люблю живых людей.

— Дело вкуса. Но каков, я хочу сказать? Каков вояка! Отчаянный, видимо, большевик или комиссар. Взобрался на дерево и давай палить в наших солдат, которые пытались его снять живьем. Несколько магазинов сменил в маузере. Семерых ранил. Двоих тяжело. Может быть, они и скончаются. Пришлось застрелить-таки мерзавца. Висит на ветвях, запутался. Потом снимем.

Начав с посещения контрразведки и комендатуры, ходом событий Александр Иванович поднимался все выше по лестнице белых учреждений.

Следующей ступенью уже был штаб корпуса, занявшего Гатчину. Разместился штаб в бывшем учительском институте. Александр Иванович прошел через светлый вестибюль, через еще более светлую залу с неповрежденным паркетом. Встретил его адъютант, подтянутый, щеголеватый, щелкнул каблуками, провел к начальнику штаба полковнику Видягину. Полковником Видягин стал только

что, как Пермикин генералом, после благодарственного молебна в соборе. Когда Александр Иванович вошел, новоиспеченный полковник прилаживал к плечам полковничьи погоны. Подав руку, он заложил ее затем за спину, стал смотреть в упор, морща крупный лоб; видимо, всем этим стремился изобразить работу глубокой и значительной мысли.

— Как, господин Куприн, — сказал он, приглашая присесть в кресло, — насмотрелись картинок большевистского рая? Хлебнули горюшка? Да, да, да. Тысячи русских людей два долгих года пребывали в смятении. Теперь этому конец. Мы уже входим в Царское Село, мы на пороге Красного Села и Лигова. Впереди — последний штурм. И снова все мы в Петрограде! Вы понимаете, что это значит?

Александр Иванович только кивал.

— Перехожу к делу, — сказал начальник штаба. — Я предлагаю вам ответственное, офицерское занятие. Не согласитесь ли вы взять на себя регистрацию пленных и добровольцев?

Александр Иванович в изумлении развел руками:

— Уж какой я регистратор, господин полковник! Перепутаю все. Добровольцы у меня попадут в пленные, пленные — в добровольцы.

Видягин посмеялся, сказал, что еще подумает о судьбе известного писателя России.

На улице Александр Иванович вновь повстречал смотрителя дворца.

— Александр Иванович! — воскликнул тот. — Что делать, научите?! Я совсем растерян. Этот капитан с усиками, Барский, предлагает, чтобы я пошел служить к ним в контрразведку.

— Вы регистрировались?

— Да, конечно.

— Что же тогда рассуждать! В таком случае это уже не предложение, а прямой приказ.

— Но мне бы не хотелось... Ведь это...

— Бросьте ершиться! — Александр Иванович даже ногой топнул. — Вам совет нужен? Вот он! Идите за событиями, а не против них. Будет вернее. Честный человек и в контрразведке полезен и необходим. Не столько станет твориться несправедливостей.

В Александре Ивановиче проснулась его обычная писательская любознательность. Он бродил по городу, под-

мечая внешние признаки перемены власти и строя городской жизни. На вокзале с железнодорожных платформ сгружались никогда еще не виденные им танки. Он их, одетых в броню, осыпанных крупными заклепками, с амбразурами, из которых торчали пулеметы и даже короткие двухдюймовые пушки, сравнивал то с ромбическими сороконожками, то с ядовитыми сколопендрами. На ржаво-серых боках танков были выведены названия: «Доброволец», «Бурый медведь», «Капитан Кроми»... «Капитан Кроми»?! Вот и вернулся в Россию этот английский шпион, застреленный при аресте чекистами прошлым летом в Питере. Основательный народ — англичане.

Потом забрел в лавку старых вещей к Сысоеву и купил погоны поручика без золота, полевые. «Четвертый раз их надеваю, — подумал с усмешкой. — Ополченческая дружина, Земгор, Авиационная школа и вот Северо-Западная армия. Что-то они принесут мне на этот раз?»

Дома, когда затеял было прикреплять погоны к военной куртке, на левый рукав которой еще предстояло нашить трехцветный добровольческий угол с белым крестом, к нему, зная, что на Елизаветинской живет писатель, так образно описавший быт военных, нагрянули молодые офицеры-артиллеристы.

В разговоре за принесенной выпивкой они вспоминали эпизоды борьбы с красным бронепоездом.

— Страшнейшее сооружение! — говорил один из них. — Название его — «Ленин». Последнее слово военной техники. С двойной броней из ванадиевой стали. Наши снаряды отскакивают от него, как комки жеваной бумаги. И команда на бронепоезде, вся орудийная прислуга — сущие черти. Мы с ним, Александр Иванович, не однажды встречались. В последний раз он не подпускал нас к Гатчине, бил с путей Балтийского вокзала. А то был случай под Волосовом! Этот «Ленин» отбрасывал наших пехотинцев пресильнейшим пулеметным и артиллерийским огнем. Тогда мы позади него разобрали рельсы. Но красные не растерялись, надо сказать. Они спустили с бронепоезда десантную команду. Наш конно-егерский полк палил по десантникам пачками. Те даже не дрогнули и не ушли, пока не починили путь. «Ленин» отбыл сюда, в Гатчину. Да, грозное оружие! Немецкое, конечно, изделие.

— Слышал, читал в газетах, — ответил Александр Иванович. — Но какое же это немецкое изделие? Оно с Пути-

ловского завода. Русские мастера его сработали. Командир у него, говорят, отличнейший человек, Авраамий Шмай. А еще, как всегда у большевиков, большую силу имеет там комиссар-путиловец Иван Газа. Вы правы, этот бронированный поезд стрелял с Балтийского вокзала. Все тряслось.

Назавтра Александр Иванович был вновь приглашен в учительский институт, в штаб корпуса. Видягин о нем не забыл. На Елизаветинскую прикатил автомобиль, и писателя торжественно повезли через Гатчину.

Заехавший за ним полковник пояснил, что теперь они отправляются прямо к генерал-губернатору Петербурга, Петербургской губернии и всех областей, отторгнутых от большевиков,— генералу Глазенапу, одному из героев корниловского «ледяного похода», блестящему молодому гвардейцу с огромным будущим.

В кабинете генерал-губернатора Александр Иванович увидел находившегося в одиночестве генерала лет сорока трех — сорока пяти, подумал было, что это и есть Глазенап, хотел уже представиться, но полковник опередил:

— Вы не знакомы? Петр Николаевич Краснов!

О, Краснов! Петр Николаевич! Автор романов, стихов, очерков. Знаменито-шумный военный литератор. Александр Иванович знал его лишь заочно. Естественно, что Краснов знал Александра Ивановича по книгам.

— Рад быть знакомым, ваше высокопревосходительство! — Александр Иванович вытянулся перед генералом от кавалерии.

Тотчас вошел и хозяин кабинета Глазенап, быстрый, подвижной брюнет лет тридцати пяти. Усы у него были, как у Юденича на портретах, распушенные, внушительные. Держался он легко, подобно всем кавалеристам, и вместе с тем со свободой светского человека. Что говорить — гвардеец!

— Итак,— с места в карьер начал петербургский генерал-губернатор,— вместе с Петром Николаевичем вы, господин Куприн, будете выпускать газету. Первый номер ее надо, чтобы вышел в ближайшие два-три дня.

— Видите ли, ваше превосходительство... — раскрыл было рот Александр Иванович.

Глазенап его тотчас остановил:

— Зовите меня, пожалуйста, по имени-отчеству, дорогой Александр Иванович, Петром Владимировичем. Попросту.

— Видите ли, Петр Владимирович, — продолжал Александр Иванович. — Многое зависит от материальных возможностей.

— Деньги? Не стесняйтесь, они есть. Северо-Западная армия выпустила их достаточно. Свои собственные. «Крылатки», «юденичевки». Получите, сколько надобно.

— Это хорошо. Но и кроме денег... Располагает ли штаб бумагой?

— Только писчей, почтового формата. Но вы можете реквизировать любую бумагу в любом магазине, где только она вам приглянется. — Глазенап отвечал мгновенно, точно, определенно. Чувствовалось, что он сумеет навести порядок в Петрограде и вокруг него.

Недаром Юденич назначил такого решительного вояку генерал-губернатором в Петроград. Глазенап уже побывал деникинским генерал-губернатором на Ставропольщине. Он сек, порол, резал, вешал, сжигал живьем людей, искоренял красную крамолу. В крае, стонавшем от белого террора, зверствовали особые отряды «имени ставропольского губернатора», собранные из кулачья, уголовников, садистов и прочего отребья человеческого. Такой, только такой губернатор нужен был для красного Петрограда, этого гнезда большевиков и комиссаров.

— Что еще? — спросил Глазенап Александра Ивановича.

— Располагает ли штаб красными газетами? И можно ли из них делать вырезки? Иначе для первых номеров неоткуда будет взять телеграфные сообщения.

— Красные газеты есть. Резать можно. Но только в виде исключения для первого номера.

— А иностранных газет нет?

— Найдутся. Все?

— Пока все.

— Итак, когда же будет первый номер?

— Завтра утром.

— Вы Суворов, господин Куприн! Суворов литературного войска. Желаю вам и его высокопревосходительству Петру Николаевичу Краснову успеха.

Заметив улыбку сомнения на лице Краснова, Куприн пояснил:

— Это, конечно, будет не «Таймс» с десятками страниц в номере, но выйдет наша газета в срок и будет она газетой.

— Прекрасно! Еще раз вам обоим успеха. Передаю вас, господин Куприн, Петру Николаевичу. А меня, извините, ждут. — Глазенап уже входил в свою новую роль, все с большим рвением проникая в суть обязанностей петербургского губернатора. Впереди было много заманчивого. За губернаторство в Ставрополе он, недавний полковник, получил чин генерал-майора. За губернаторство в Петербурге, ой-ой, что получить можно!..

Началась работа. Вместе с Красновым первым делом Александр Иванович стал обдумывать название газеты.

«Свет»? «Север»? «Нева»? «Россия»? «Луч»? «Белый»? «Будущее»? — назывались и назывались подобные слова в разных порядках и комбинациях.

Наконец Краснов предложил:

— Надо проще, бросче и точнее. Например: «Приневский край».

Он вспомнил донской «Приазовский край», на страницах которого не так-то давно его превозносили и славили.

Куприн пошевелил губами, со всех сторон прощупывая в уме такое сочетание слов.

— А не будет оно звучать как «При, Невский край»?

— Может быть. Вначале. Потом привыкнут.

Была найдена типография и приглашены трое наборщиков, среди которых оказался и хозяин типографии. Дальше — все это в короткие, считанные часы, военным ускоренным порядком — с помощью комендатуры реквизировали бумагу в магазине Офицерского экономического общества.

Когда же с организацией материальной части было покончено, оба, Краснов и Александр Иванович, уселись за статьи и заметки. Краснов трудился над патетической передовой. Александр Иванович составлял отчет о параде, правил проповедь отца Иоанна, произнесенную в соборе, насочинял что-то о Ленине, все время уверяя себя в том, что делает это без злобы, объективно, строго держась личных впечатлений, не позволяя эмоциональных излишеств, подготовил какие-то стихи к набору, настриг статеек из красных петроградских газет и соответственно прокомментировал их.

Он чувствовал, что пишется, работается плохо. Ни слов не находилось должных, ни мыслей — одна серятина, жвачка или же сплошные выкрики с восклицательными

знаками чуть ли не после каждого слова. Но работал, работал упорно, стараясь сдержать свое обещание.

К утру девятнадцатого октября на плоскопечатном, вращаемом вручную станке, на котором печаталась только одна полоса газеты, после чего лист бумаги надо было переворачивать и печатать следующую полосу, отстукали 307 экземпляров «Приневского края». А в два часа дня, то есть через двадцать восемь часов после разговора Александра Ивановича с генералом Глазенапом, на улицах Гатчины продавалась газета Северо-Западной армии. Она считалась «петроградской» газетой, которая лишь временно выпускается за пределами Петрограда, до дня его занятия белыми войсками.

Первый номер разошелся в течение часа, и цена ему была пятьдесят копеек в пересчете с «керенок».

Краснов и Куприн поздравили друг друга с успехом, выпили по стопке водки, взялись за папиросы.

— Извините, Петр Николаевич, — спросил Куприн, — хочу поинтересоваться, почему вы избрали себе такой псевдоним, которым подписали статью: «Гр. Ад.»?

— Да так, знаете. Любимую свою коняжку вспомнил. Была у меня такая. Ее звали Град. В свое время немало призов взяли мы с ней вместе в Красном Селе и Михайловском манеже. Люблю лошадей, Александр Иванович.

— Ваш брат, слышал я, любил растения, был большим естествоиспытателем, ботаником, путешественником.

— Совершенно точно. Самый старший брат. Андрей Николаевич. Батумский Ботанический сад — его детище. Он натащил туда зелени со всего света. Бывал в Японии, Китае, Индокитае, на Цейлоне... Чай, всякие такие экзотические культуры, прижившиеся на Черноморье, — все это он, все он, Андрей наш. Его работа. Жаль, рано умер. В год начала войны. У него там, в Батуме, на Зеленом мысу, свой дом. Чудесный уголок. Писать, сидя над морем, среди зелени, — одно удовольствие. После Новочеркасска... Вы знаете, конечно, мою историю с Деникиным?.. После нее я уехал именно туда, на Зеленый мыс, и начал было новый роман...

— Бывает же так, жизнь в разные стороны разводит близких людей, родных братьев... — Куприн задумчиво щурился: вежливо слушая генерала, он думал свое.

— Да, разводит, вы правы, — рассуждал Краснов. — Брат делал одно, очень мирное. А я вот всю жизнь воюю. Эти места — Гатчина, Царское, ох как мне знакомы они

все, дорогой Александр Иванович! Между прочим, если бы тогда, в октябре семнадцатого, у меня под ногами не путались эти опереточные персонажи — господин Керенский, месье Савинковы, Станкевичи и всякие иные, — я бы уже тогда покончил с большевиками, их комиссарами, и с Лениным в том числе. У тех, если посмотреть, не было тогда никаких сил. А у нас они были. Вернее, могли быть. Что ж, наверстаем. За ваше здоровье! За нашу газету!

44

Белые шли крутым кипучим маршем. От Гатчины и Красного Села они уже прорвались к Лигову; до Путиловского завода им оставалось каких-нибудь несколько верст; они вступили в Павловск, в Детское Село, которое по-прежнему называли Царским, и приближались к Колпину, к Ижорскому заводу. Их передовые роты укрепились в селе Ям-Ижора.

Напряжение в Петрограде нарастало. Каким-то образом в город забрасывались белогвардейские газеты «Свободная Россия» и «Приневский край». «Петроград взят!» — кричали их крупные, через все полосы, победные заголовки. «Петроград взят!» — на весь мир передала захваченная белыми генералами радиостанция в Детском Селе. В тот же день, 12 октября, когда из штаба внутренней обороны Петрограда, пытаясь соединиться с одним из советских учреждений, позвонили в Павловск, к аппарату неповрежденной линии подошел некто, назвавший себя комендантом Павловска. «Какой такой комендант? Что вы там делаете?» — растерялся звонивший. «Подготавливаем веревки, — радостно гаркнул тот, кого только что на комендантскую должность назначил генерал-губернатор Петрограда Глазенап. — Завтра будем вас развешивать на Невском».

Родзянко, гарцуя на караковом жеребце, выехал на возвышенность возле села Большое Кузьмино. Взорам его открывалась широкая низменная равнина — до самых петроградских окраин. Под выглянувшим октябрьским солнцем в самом центре Петрограда, подобно шлему древнего рыцаря, ярко горело золотом знакомое, дорогое каждому петербуржцу творение Монферрана.

— Боже! — произнес генерал. — Купол святого Исаакия Далматского! — И поскольку справа и слева от него

толпились корреспонденты английских и американских газет, осенил себя широким крестным знамением.

Адъютант подал было ему полевой бинокль. Родзянко отстранил его небрежным жестом руки.

— Зачем? Завтра я сам буду гулять по Невскому.— И это было сказано также в расчете на внимание корреспондентов.

На железнодорожных путях Гатчины в этот день появился салон-вагон главнокомандующего. Юденич объехал на автомобиле Гатчину, побывал в Детском Селе. На высоты, с которых виден был Петроград, подниматься, однако, не стал. Ему уже было известно, что генерала Родзянко с этих высот согнала морская артиллерия красных. Снаряды линейных кораблей ударили по гребню Пулковских высот, по дорогам к ним. Земля дрожала от их взрывов, столбы черного дыма, осенней грязи, обломков бревен вскидывались чуть ли не до самых студеных туч.

Наступившей ночью в вагоне Юденича было созвано сугубо секретное совещание. Кроме самого главнокомандующего, присутствовали на нем лишь генералы Владимиров и Глазенап да несколько верных Владимирову полковников разведки и контрразведки.

Поручики, капитаны и ротмистры — подручные бывшего жандарма — с винтовками в руках, с наганами в карманах и гранатами у поясов встали на путях вокруг вагона. Было проверено все, вплоть до уборных в тамбурах и угольных ящиков под вагоном,— дабы не оказалось там вражеских лазутчиков. Врагом на этот раз были не красные, не от них принимались столь строгие меры охраны совещания и его секретности. В виду имелась агентура «северо-западного правительства», военным министром которого числился Юденич. Юденич этого правительства не признавал. Оно было создано Антантой, а не русским обществом, и никто, считал главнокомандующий, в таком сборище бездарностей не нуждался.

— Господа,— сказал он, прихлебывая для бодрости кофе из чашечки, который лично сварил один из полковников контрразведки. — Наступил великий час. Мы должны встретить его железной организованностью. Лавры победы не должны быть вырваны из наших рук кучкой... я буду прям, я солдат... кучкой политических спекулянтов, во главе которых стоит господин Лианозов, сей просвещенный — за ним числятся два факультета Московского университета: юридический и естественно-истори-

ческий... Так вот, повторяю, сей просвещенный нефтяной делец, который самоуверенно полагает, что такого рода деятели могут распоряжаться судьбами России. Мне известно, что именно он, а не кто другой, пустил в обиход слово «кирпич», применяемое к моей особе. Да, я не юрист, и не историк, и не естествоиспытатель. Но и этот господин не юрист, и не историк, и никто, кроме того, что он торгаш, рыцарь чистогана. Итак, я призываю вас подумать об этом полуспекулятивном полуправительстве. За кем слово?

— Мое предложение очень простое,— заговорил Владимиров. — Как только наши передовые части вступят в Петроград, все это остроумно названное вами, Николай Николаевич, полуправительство надлежит поместить в отдельный вагон для следования якобы прямо в Зимний дворец, но в пути на вагон надеваются решетки со всеми вытекающими из такого положения дальнейшими действиями. В Петрограде к этому времени должно быть без промедления создано полностью наше, верное белому кресту, белому движению, настоящее, подлинное правительство.

— Николай Николаевич уже отдал распоряжение о формировании такого правительства. Наши курьеры с инструкциями Николая Николаевича отправились в Петроград,— заговорил Глазенап, посверкивая черными быстрыми глазами.

Юденич не без удовольствия смотрел на молодого генерала, совсем еще недавно железной рукой наводившего порядок на юге. Красные недаром проклинают его на каждом шагу. Известно, что, кого ругает враг, тот истинно надежный человек. Глупец, кто этого не понимает.

— Да, да,— сказал Юденич.— Там работают. Осложнение лишь в мелочах. Мне не совсем приятно, правда, что в наше дело впуталась госпожа Петровская из партии социал-революционеров. Но сейчас многое перемешалось, и бог с ней, если она верой и правдой послужит общему делу. Эта дама сообщила вчера, что правительство, по сути дела, уже есть. Но и тут имеется неприятный элемент. Нас опередили, и опередили все те же англичане. Как его зовут, этого вездесущего Фукса-Пукса?..

— Дюкс,— подсказал Владимиров. — Поль Дюкс.

Юденич хитрил перед Глазенапом и перед собранными полковниками. Как карточный игрок, он не хотел раскры-

вать свои карты. Ему прекрасно был известен агент английской разведки, организовывавший петроградское противобольшевистское подполье. Русский генерал и британский шпион были тесно связаны. Через Дюкса Юденич информировался о том, что происходило в Петрограде. Об этой тайной связи не все было известно даже Владимирову. Контакт с Дюксом установился через Сиднея Рейли еще в Москве, до Петрограда, в те дни прошлого года, когда там предполагалось поднять восстание, во главе которого должен был стать он, Юденич; ему обещали тогда армию чуть ли не в шестьдесят тысяч офицеров.

— Да, да.— Юденич кивнул.— Дюкс, с его мешками фунтов стерлингов, с его подачками нашим людям. Он поспевает всюду. Он сформировал правительство, и госпоже Петровской ничего не оставалось, как сообщить нам об этом. Кто там у них? — Юденич обратил взгляд на Владимирова.

Владимиров и виду не показал, что это игра перед другими, что Юденичу все, что он сейчас скажет, и так известно. Если у него, Владимирова, есть свои верные люди в Петрограде, то у Юденича тоже. Чего один полковник Незнамов стоит!

— Во главе — господин Быков, кадет, крупный деятель подпольного центра, профессор двух петроградских институтов. Сенатор Вебер, бывший в свое время товарищем министра, становится министром финансов. Инженер Альбрехт — путей сообщения. Кстати, — Владимиров усмехнулся, — предполагалось... мы предполагали... что пути сообщения возглавит господин... или, скорее, «товарищ»... Багловский. Он ведал путями сообщения у господина Зиновьева в его «северном правительстве» до того, как правительство это было разогнано Лениным. Но Багловский в последние дни исчез, найти его не удалось. Вы удивитесь,— усмешка Владимирова стала еще саркастичней,— но в правительстве Дюкса нашлось место и нашему господину Карташеву. Конечно же, по делам вероисповеданий.

— Нет, это все не то,— сказал, выслушав, Юденич. — Совсем не то. Нам надобно правительство — так сказать, кабинет министров — железной руки. Что может этот, извините, профессор Быков? Способен ли он на действия решительные и бескомпромиссные? С его участием пой-

дет этакая дохлая игра в демократию, и красные снова выбросят нас в Эстонию.

— Ничего, Николай Николаевич, ничего,— сказал Владимиров.— Это лишь для первых шагов по проспектам столицы. А железной рукой все равно останетесь вы. Они, «правительство» это, всего лишь декорум. Главные пружины останутся в наших руках. Господин Глазенап как генерал-губернатор предлагает, например, на пост петроградского градоначальника назначить нашего верного и надежного Владимира Яльмаровича Люндеквиста.

— Да, да,— подтвердил, кивнув, Глазенап.

— Прекрасно,— согласился Юденич.— Полковник Люндеквист — выдающийся работник, умный, ловкий, всезнающий. Что ж, господа, в общих чертах мы пришли к общему согласию. Детали будем уточнять на месте. Но есть и еще кое-что, требующее безотлагательного решения. Петроград полон комиссаров, коммунистов и других советчиков. Кое-кто успеет удрать в Москву. Но кое-то не удерут. Николаевская дорога еще не выведена из строя.

— Никак нет, Николай Николаевич,— ответил Владимиров.— Родзянко сваливает на генерала Ветренко: тот, дескать, не выполнил его приказ, пошел не на Тосно, как предусматривалось, а тоже устремился к Петрограду по кратчайшему пути. Оба они авантюристы. У того и у другого на уме лишь белый конь, на котором им желательно въехать в Петроград.

— Мерзавцы! — Юденич раздул усы.— И того и другого я отдам под суд. Дайте только войти в Петроград. Белый конь! Хороши молодчики. Подготовьте приказ этому Родзянке, чтобы завтра же начал атаку на Петроград и взял его. И бросить на Тосно лучшие полки. Что там происходит?

— Москва шлет свежие силы. Высаживаются на станции Поповка.

— Черт знает что! Тем более, господа, наиважнейшим становится то, о чем я начал разговор. В первые же дни мы должны очистить Петроград от враждебных нам агентов, от всех красных. Какие меры принимаются? Докладывайте.

— Господа! — Владимиров встал.— Уже несколько дней мы ведем большую работу по формированию специальных летучих колонн, оснащенных автомобилями.

Некоторые генералы, например генерал Краснов, выражают недовольство тем, что мы не даем в их распоряжение ни одного автомобиля, хотя располагаем таковыми. Но я собрал все автомобили в кулак. Их несколько десятков, сегодня они сосредоточены здесь, в Гатчине, а часть уже и в Царском Селе. На этих автомобилях в Петроград въедут особые отряды лучших, лично мною проверенных офицеров контрразведки. Они, господа, въедут туда в ту ночь, которая будет предшествовать нашему торжественному вступлению в Петроград. Еще с весны у нас заведены подробнейшие списки. В них вы можете насчитать около тысячи фамилий советчиков наипервейшей опасности. — Владимиров не сказал вслух, но с удовольствием подумал о том, что в списках первой группы наконец-то появилась фамилия того ненавистного ему латыша-чекиста Яна Карловича, который однажды заставил его испытать поистине звериный, заячий страх. Верный ротмистр Кубанцев сообщил ему на днях: Краминьш, Краминьш. — До пяти тысяч,— продолжал он, внутренне улыбаясь, — составляет вторая группа. И десятка три-четыре тысяч — третья. Первая группа ликвидируется немедленно, в первую же ночь. Комиссары, все, кто связан с «чрезвычайкой», все главари. Эту операцию мы тщательно разработали вместе с Петром Владимировичем Глазенапом.

— Прекрасно! — одобрил Юденич. — Дядюшка моего помощничка, господин Родзянко, помнится, затеял крупный скандал в Думе, когда я немножко подогрел пятки носатым молодцам в Батумском районе боевых действий, кое-кого подвесил, повыжег их шпионские гнезда. Да, пришлось поработать. Зато какая там наступила тишина, какое пришло умиротворение. А как же иначе? Или ты врага, или враг тебя. Третьего не дано.

До пяти утра в вагоне главнокомандующего шла напряженная работа. Разошлись перед самым рассветом. Генерал Юденич, насвистывая мотив популярной детской песенки о козлике, от которого бабушке остались лишь рожки да ножки, готовился отойти ко сну. Мотивчик привязался неспроста. Под козликом главнокомандующий в некотором, правда, туманце, но все же достаточно отчетливо подразумевал всех тех, кто, прикрываясь его именем, намерен составить себе карьеру в Петрограде. Дудки, господа, не на того нарвались. Не с белого коня будете вы взирать на освобожденный Петроград, а из-за решетки.

Сильнейший грохот сотряс вагон. В уборной, где в ту минуту пребывал главнокомандующий, вылетели стекла.

Вызванный адъютант доложил, что красные аэропланы швыряют бомбы на эшелоны, загромоздившие станционные пути. Появившемуся Владимирову Юденич отдал приказание:

— Немедленно возвращаемся в Нарву. Нечего здесь торчать, пока Петроград еще не занят.

Поезд через Волосово помчался в сторону Веймарна и Ямбурга, чтобы дальше проследовать на Нарву. Но в Ямбурге Юденич потребовал остановиться.

— Надо отправить телеграмму господину Лианозову. Такого содержания. Запишите, пожалуйста, «Завтра-послезавтра Петроград будет занят. Правительству надлежит позаботиться о запасе продовольствия для петроградцев. Отправка первых партий должна быть произведена незамедлительно, пусть обыватель бывшей столицы в первый же день увидит разницу между красным режимом и белым. Белый хлеб это докажет, белый хлеб!»

Юденич обрадовался удачно придуманному обороту.

— В первый же день в булочных должен появиться свежий пшеничный хлеб. Булочки! Пирожные!

Илья Благовидов вместе со всем своим ремонтным поездом был захвачен в плен солдатами 4-й дивизии князя Долгорукова возле Стругов Белых, на мосту через небольшую речушку.

Получилось так, что бывшие балаховцы, отлично знавшие те места, отрезали поезд и от Луги и от Пскова. Охрана пыталась повести с ними бой, но в течение нескольких минут была зверски перебита. От белой пули погибла и озорная Клава, которую так невзлюбила Ирина. Человек двадцать, в том числе Илью, машиниста паровоза и нескольких слесарей, узнав их профессии, белые сохранили в живых. «Понадобитесь! — было им сказано. — Поработаете на Северо-Западную армию». Их привезли в Гдов — в главную тыловую базу северозападников. Все слесари, рабочие питерских заводов, железнодорожных мастерских, кроме одного, который плаксиво ссылался на многодетность, отказались работать на белых. На протяжении двух-трех дней их расстреляли. Машинист паровоза ухитрился сбежать, после чего Илью били кулаками по лицу и требовали от него ответа, как машинисту уда-

лось это сделать и почему Илья не сообщил вовремя о намерениях красного негодяя. «Вы же инженер, интеллигентный человек, а ведете себя, как вся прочая красная сволочь».

Илья был потрясен: его бьют по лицу. Он даже слова не мог вымолвить от возмущения, обиды, унижения; он не чувствовал боли физической, потому что боль душевная была в тысячу раз сильнее, острее, неотразимей. И он ничего не мог сделать, ничем не мог себя защитить, он был беспомощен, бессилен. Он пытался закрывать лицо руками. Но умелые кулаки отбрасывали то одну его руку, то другую и с неотразимой точностью находили глаза, рот, нос. Трескалась кожа, текла кровь; Илья продолжал тщетные попытки закрываться, уклоняться от ударов и чувствовал, что плачет, плачет жалкими слезами, по-бабьи.

Валяясь на кирпичном, остро вонючем полу гдовского рыбного склада, он до разрыва души думал об Иринушке. Боже, как могло случиться все это нелепое, неправдоподобное, что он оказался вот здесь, бесконечно далеко от нее, и с ним происходит такое, какое может присниться лишь в очень дурном сне! Когда он прочитывал о подобном в газетах или слышал из чьих-либо уст, для него это звучало и выглядело не бо́льшим, чем досужей беллетристикой. Не может же быть, чтобы такое могло существовать в действительности.

Он требовал, чтобы к нему пришел кто-нибудь из старших офицеров, какой-нибудь инженер, есть же у белых инженеры, есть же культурные, образованные люди. Но вместо них по-прежнему появлялись лихие прапорщики в заломленных фуражках, злобные подхорунжие, а то и просто негодяи в штатском. «Что надо, краснозадый? К стенке не терпится?»

Наконец его доставили в один из гдовских домов, к офицеру с погонами инженерных войск.

— Господин Благовидов,— сказал военный инженер,— вы извините, что так все нескладно получилось. Война, знаете. Люди ожесточены. Одним словом, вам пора работать. Отступая, ваши красные наломали дров. Надо восстанавливать мосты, ремонтировать паровозы, вагоны.

— Но я же не могу ничего делать,— ответил Илья. — Сами видите, что со мной сотворили. Я болен. У меня глаза не смотрят, опухли.

— Бросьте дурить, господин Благовидов. Вам сделают примочку, и глаза ваши будут смотреть.

— Но я просто не желаю что-либо делать для тех, кто способен бить человека по лицу.

— Не я вас бил.

— Но это же ваша армия, эти прапорщики и подхорунжие!

— Хватит вам, баба!

— Сами вы порядочная скотина!

Как бывает с добрыми людьми, когда перейден предел их долгого, почти безграничного терпения, Илья закипел. Он говорил и говорил белому инженеру все, что думает о нем, самодовольном тупице, который воображает себя правомочным распоряжаться судьбами других; что пусть даже его раскромсают на куски, он ни за что не станет работать на белых, он красный, да, красный и даже коммунист. У него брат — партийный работник, большевик.

Потом он угас. Тогда белый инженер сказал:

— Я у вас не требовал этих признаний. Вы сами их сделали. Передаю ваше дело в контрразведку.

И Илью перевезли в Ямбург. Там уже не было страшного Бибикова, свирепствовавшего в городе летом. Были мелкие офицерские сошки. С Ильей никто даже не захотел разговаривать. Армия победно наступала, и он день за днем сидел за железными дверьми глухих, скрытых застенков контрразведки. Он передумал, перебрав чуть ли не по отдельным суткам всю свою жизнь. Снова он встретил на Невском кокетливую стройную барышню, продававшую «белый цветок»; снова, смущаясь и краснея, бродил за нею по городу, влюбленным взором умоляя ее обратить на него внимание; снова сидел за свадебными столами рядом с этой барышней, ставшей его женой. Иринушка, радость, солнышко! Что я наделал, что наделал! Я виноват перед тобой, виноват перед Лялькой.

Но в чем, собственно, виноват? Мысль становилась жестче, он снова чувствовал удары на опухшем лице. И его охватывало бешенство. По лицу! По лицу! Скоты! Как же прав, бесконечно прав был тот чекист Осокин, друг Павла. «Эх, товарищ Благовидов, товарищ Благовидов! Не хочу, чтобы вы попали в их руки. Но если бы попали, разве ж они станут так цацкаться с вами?» Именно такое или похожее на это говорил Осокин, придя

однажды к нему в госпиталь с пожилым молчаливым чекистом. «Осокин, до чего же ты прав! — хотелось кричать во весь голос. — Осокин, приди, помоги, выручи, вызволи, верни его, Илью, к Ирине».

Пока поезд стоял в Ямбурге, генерала Владимирова вызвали из вагона. Комендант города приложил руку к фуражке:

— Ваше превосходительство! Инженер тут один красный содержится уже скоро месяц. Работать у нас не хочет. Выдерживает принципы. Утверждает даже, что он коммунист. Только врет, кажется. Не похож. Что с ним делать, не знаем. Может, распорядитесь?

На площадку вагона вышел сам Юденич, без фуражки, водя ладонью по своей наголо обритой голове, чтобы не застудить ее под осенним ветром.

— Что там такое? — спросил.

— Да вот судьбу одного красного инженера не могут решить. Захватили с ремонтным поездом возле Стругов Белых,— доложил Владимиров.

— Коммунист?

— Утверждает, что да,— ответил комендант, вытягиваясь перед главнокомандующим.

— Из Петрограда?

— Так точно.

— Что же тут раздумывать? Все равно их всех, этих строптивцев, будем ликвидировать в Петрограде. — И Юденич сделал такой жест, будто бы сметает кого-то с лица земли.

— Собирайтесь, Благовидов! — В скрипнувших дверях узилища Ильи появился полусонный прапорщик.

— А чего мне собираться? — зло ответил Илья. — Мне нечего собираться. У меня ничего нет.

— Встаньте с койки хотя бы. И айда впереди меня.

— Куда еще?

— На тот свет, куда же больше. Пора.

Илья почувствовал, как все его тело холодеет, как останавливается сердце, как мгновенно пересохло у него во рту. Этого же не может, не может быть! Он хочет до-

мой, к Иринушке, в свою квартиру, к привычному, любимому. Нет, нет, нет! Не может быть! «Идите, черт возьми! Или вас волочить за руки и за ноги?» — слышит он раздраженный голос, но не имеет ни малейших сил, чтобы сдвинуться с места.

— Это убийство! — вдруг кричит он. — Где суд? Где обвинение? Прокурор? Защита?

Прапорщик вытаскивает из кобуры наган и бьет Илью по голове.

Илья стискивает зубы. Перед ним, сплываясь, проносятся лица Ирины, Ляльки, Осокина, Павла, тысяч и тысяч людей, живущих на земле. Глаза всех смотрят на него, смотрят пристально, внимательно. Чего-то от него ждут.

— Вы мерзавец! — говорит Илья и идет к двери. — Отпетый мерзавец! Когда придут сюда наши, они вам еще покажут.

Он идет коридорами. Знакомые лица не исчезают, люди земли смотрят на него. Они подбадривают, что-то говорят, но что — он не слышит. Он видит лишь их суровые, мужественные улыбки. Сейчас он встанет перед строем палачей и скажет... Что он скажет, Илья еще не знает. Но скажет такое, чего палачи не забудут никогда.

Двор старых ямбургских казарм был пуст. Дождь хлестал по холодным мутным лужам. Илья поежился, отыскивая глазами строй солдат с винтовками наперевес. Но их не было. Только осторожно, потряхивая лапами, наискось через залитый дождем двор шла облезлая рыжая кошка.

— Иди же! — сказал прапорщик позади.

— Куда?

С грохотом остро рвануло в затылке. Илья осел на подломившихся ногах и плюхнулся боком в лужу. Прапорщику лень было выходить на дождь, и он убил этого очередного красного прямо у порога.

45

— Дорогой мой товарищ, Костя Осокин! — Ян Карлович затягивал пояс с подвешенным к нему на длинных ремнях маузером в деревянной кобуре. — Ты бы тоже пошел, Осокин. Да. Пошел бы. Но тебе нельзя, нельзя с твоими ранами. Мешать только будешь.

Осокин стоял перед начальником понурый, расстроенный. Вчера, как объявил чекистам их председатель, Петроградский комитет партии получил письмо Ленина: «Мы послали вам много войска, все дело в быстроте наступления на Юденича и в окружении его. Налегайте изо всех сил для ускорения. Громадное восстание в тылу Деникина на Кавказе и наши успехи в Сибири позволяют надеяться на полную победу, если мы бешено ускорим ликвидацию Юденича». А сегодня утром в «Петроградской правде» — вот она лежит на столе Яна Карловича, испещренная пометками синим карандашом,— Владимир Ильич пишет петроградцам, обращается «К рабочим и красноармейцам Петрограда». «Товарищи! — отчеркнул Ян Карлович слова. — Вы знаете и видите, какая громадная угроза повисла над Петроградом. В несколько дней решается судьба Петрограда, а это значит наполовину судьба Советской власти в России...» Да, опасность огромная. Не случайно от организации отпора белым отстранены паникеры и болтуны Зиновьев, Евдокимов, Бакаев. Все дело фактически взял в свои руки Владимир Ильич, и теперь на каждом шагу видна его организующая работа.

— Осокин,— говорил Ян Карлович, глядя ему прямо в глаза. — Я очень на тебя надеюсь. Не спи, а закончи работу с этими офицерами, которые разбойничают в городе и, возможно, уже сидят сейчас в засадах с винтовками и гранатами в руках. И еще, Осокин, если меня долго, очень долго не будет... А, что там!..

Будь на его месте кто-либо другой, тот, возможно, обнял бы Осокина, прижал к груди, а может быть, даже и прослезился. Ян Карлович лишь кивнул на прощание:

— Надеюсь, Костя Осокин.

Он уходил на фронт во главе отряда чекистов. Ленин, двинувший под Петроград все, что только можно было с других фронтов гражданской войны, предупреждал Реввоенсовет республики, что дальше это уже опасно, и рекомендовал мобилизовать на месте в Петрограде еще двадцать тысяч питерских рабочих. Почти все чекисты были рабочими, поэтому немедленно откликнулись на ленинский голос.

В ту самую минуту, когда Ян Карлович спускался по лестнице к подъезду на Гороховую, перед которым выстроился его отряд, готовый пойти к Балтийскому вок-

залу и выехать под захваченное белыми Лигово, Павел Благовидов на перроне Николаевского вокзала вслух, громко, отчетливо читал перед строем красноармейцев из той же призывной статьи Ленина в «Петроградской правде». «Враг старается взять нас врасплох,— неслось над притихшими рядами. — У него слабые, даже ничтожные силы, он силен быстротой, наглостью офицеров, техникой снабжения и вооружения. Помощь Питеру близка, мы двинули ее. Мы гораздо сильнее врага. Бейтесь до последней капли крови, товарищи, держитесь за каждую пядь земли, будьте стойки до конца, победа недалека! Победа будет за нами!»

Павла по его настойчивейшей просьбе поставили во главе молодежного комсомольского полка Петрограда. В полку было до сотни девушек — и не только в санитарном отряде, но были среди них и пулеметчицы и меткие стрелки из винтовок, отчаянные головы, готовые идти в разведку. Павел смотрел на них и думал о Саньке. Как просилась она в полк, как плакала вчера, прощаясь с ним. Но Осокин не позволил ей никуда уходить, сказал, что наступают решающие дни и от нее, от Саньки, теперь может зависеть чуть ли не судьба всего Петрограда.

Эшелон с полком через час прибыл в Колпино. Под городом в этот день разгорался сильный бой. Белые с утра устремились в атаку. Вдоль дороги от Ям-Ижоры, по торфянистым полям и кустарникам, рвались снаряды, стучали пулеметы, нестройно, вразнобой, хлопали винтовочные выстрелы.

Полк Благовидова с ходу начал контратаковать врага. Долго тянулись часы тяжелого сражения — в огне, в разрывах снарядов и гранат, в рукопашных схватках, в штыковых поединках. Казалось, эти часы никогда не окончатся и белые никогда не остановятся. Но к вечеру их натиск все же ослаб, солдаты и офицеры армии Юденича стали откатываться к Ям-Ижоре.

Молодые бойцы взялись за лопаты и, окопавшись, закреплялись на захваченных позициях.

Павел подсчитывал потери. Были убитые, но особенно много было раненых. Девушки из санитарного отряда еще не очень умело, но старательно перевязывали раны, напрягая силенки, они таскали и таскали тяжелораненых к конным повозкам, которые дожидались их среди окраинных домиков Колпина.

К Павлу пришли представители отряда колпинских рабочих. Уже со вчерашнего дня они вели бой на подступах к своему городу. У них не хватало патронов.

Вместе с отрядниками Павел пошел потом на завод. Была ночь, но в мастерских, в цехах завода работа не прекращалась. Громыхали молоты, их тяжкие удары тряско отдавались в кровлях цехов. Мастера-ижорцы обшивали сталью вагоны для бронепоездов, кузова и кабины грузовых автомобилей, ремонтировали артиллерийские орудия. Павла нисколько не удивило, что среди глубокой ночи люди не спят. Весь Петроград в эти дни не ложился ни на час, ни на минуту. Учреждения, связанные с защитой города — а они все были связаны с нею,— были вновь, как и в мае — июне, открыты и работали круглые сутки. Ни у Смольного, ни во Дворце труда не угасали огни в окнах, в три, в пять часов ночи там было так же людно и шумно, как в три, в пять часов дня. Уснуть на час — значит дать врагу продвинуться на версту ближе к городу. Уснув в эти дни, можешь уже проснуться в плену у белых.

Нет, не это удивляло Павла, не круглосуточный, напряженный фронтовой труд ижорцев. А его тщательность. В таких невыносимых условиях, невысыпавшиеся, голодные, часто простуженные люди могли бы и не помнить о качестве работы — сделано, и ладно. Но нет, мастера придирчиво, придирчивей, чем обычно, осматривали каждую заклепку, каждый стык броневых листов. Что не так — исправь, переделай.

Если бы Павел смог перенестись в эту ночь на другую окраину Питера, на Путиловский завод, к своему дядьке Степану Егоровичу, он и там увидел бы весь рабочий класс в цехах. Чего только не делали путиловцы! Специалист по паровозам, Степан Егорович и пушки-то ремонтировал, и бронещиты склепывал для баррикад у Нарвских ворот, и даже коней ковал для каких-то обозов. Подремывала возле своего неугомонного супруга и Фекла Дмитриевна, снабжавшая его пустыми, из одной голой свеклы, борщинками, которые она в чугунке, обвязанном платком, дважды в день приносила в мастерскую. Степан Егорович хлебал из чугунка деревянной некрашеной ложкой, красная свекольная шинковка оставалась у него на обвисших мокрых усах, он ничего не чуял, глаза его заводило, вот-вот повалится и уснет.

Фекла Дмитриевна смотрела на него с жалостью, и у нее тоже глаза уходили под веки. Но взревывал мотор грузовика, над которым закончены ремонтные работы, и сонная одурь надолго ли, накоротко, но отступала.

Подобное происходило всюду, на каждом питерском заводе, в каждом цехе, где был рабочий класс, к которому обращал свои слова, свои надежды и свою уверенность Ленин. Читая строки Ленина к петроградцам, копии его телеграмм в Петроградский комитет партии, Павел Благовидов представлял себе человека, которого в семнадцатом году ему не раз доводилось видеть то в Смольном, то на митингах в городе, и вновь и вновь удивлялся Павел его нечеловеческому умению объять поистине необъятное. Мысленным взором он видел этого человека там, в Кремле, где Ленин дни и ночи проводит возле телеграфных аппаратов, получая сообщения и отдавая распоряжения по всем фронтам. Как может помнить он о каждом полке, о каждом отряде, которые рабросаны на тысячеверстных пространствах, как ухитряется видеть все, что в ту или иную минуту происходит под Харьковом или Омском, под Ямбургом или здесь, возле Колпина? Не зря и брат Илья постоянно восхищается Лениным как самым деловым и точным, обязательным человеком, какого только знала и знает история человечества. «Он же настоящий инженер!» — восклицает Илья.

Инструктор по боевой подготовке молодых красноармейцев, военспец Ларионов спешил домой. Прибыли мобилизованные парни, или, как бывший подполковник называл по старой памяти, новобранцы, предстояло в короткий, в очень короткий срок обучить их, подготовить к ведению боя, и он перед этой горячей работой отпросился у районного военного комиссара на часок к семье.

Ларионова покачивало на ногах от усталости, от недоедания. Но настроение у него было превосходное. Он снова с женой, с детьми после стольких-то лет разлуки! В ЧК ему сказали правду: жена работала машинисткой, ребятишки получали хотя не богатый, весьма-таки даже скудный, но постоянный паек и учились в школе наравне со всеми детьми советских служащих. Встреча с Людой, с Петькой, с Ниночкой, после того как Осокин подвез его к дому, была такой радостной, такой сумасшедшей, что

спустя некоторое время он и Люда признались друг другу в таком испытанном в те минуты волнении, от которого можно было и умереть. Были слезы, был смех — все было.

Теперь Ларионов находился на казарменном положении, но почти каждый день снисходительное начальство отпускает его ненадолго домой. Нет, никто, не испытавши этого, не может знать, что́ значит для человека после многих лет отсутствия вдруг вновь оказаться среди родных, близких, которые любят тебя, понимают тебя.

В далекое темное прошлое ушло все, что было связано с германским пленом, со скитаниями по лагерям Германии и Польши, по «братствам офицеров», разными средствами — даже путем унижения — выколачивавшим иностранные гроши себе на пропитание, на то, чтобы не сдохнуть с голоду среди чужого обжорства. Какое счастье все-таки, что подвернулся этот ингерманландец Хамелайнен.

Снегирев, правда, не сразу согласился бежать за этим проводником из стана белых войск. После того как Ларионов передал ему разговор с контрразведчиком, подслушавшим их в ресторации Сонькина, Снегирев заволновался и стал думать, как бы вернуться в Париж или хотя бы махнуть под Ригу, к Бермонту; но верх взяло то, что он тоже давно не виделся с семьей, и поэтому в конце концов и штабс-капитан принял решение уйти вместе с Ларионовым в Петроград.

Правильно они сделали тогда, очень правильно. Страшно будет, конечно, если Северо-Западная армия, несмотря на усилия красных, возьмет Петроград. Тогда его, Ларионова, не пощадят. Будут судить как изменника. Могут очень сурово наказать. Известно, что сталось с генералом Николаевым. Но нет. Красный вождь Ленин, пожалуй, прав, утверждая, что сила Юденича только в наглости офицеров, в технике снабжения и вооружения. Эта сила непенсякаема.

Шагая уже по Шпалерной и раздумывая обо всем этом, Ларионов не заметил того, что в некотором отдалении за ним следовало несколько человек. Моросил октябрьский дождь, и те люди подняли воротники курток, надвинули на брови шапки. Казалось, что это озябшие, спешащие к теплому очагу мастеровые.

Достигнув подъезда дома, он бодро взбежал по лестнице на свой этаж. Отворила Люда, обняла его, прижалась лицом к груди.

— Я всегда тебя так жду, так жду. Все боюсь потерять снова. Ты дома — хорошо, светло. Уйдешь — новые и новые тревоги.

Моя руки, утирая их полотенцем, разговаривая с обступившими его Петькой и Ниночкой, которые за годы, пока он пропадал, неузнаваемо выросли и стали настоящими человеками, со своим миром чувств и представлений, Ларионов впервые подумал, что, если войска Северо-Западной армии все-таки начнут штурм Петрограда, уже нельзя будет оставаться пассивным и хотя бы во имя этих ребятишек, во имя спокойствия жены он должен будет тоже принять участие в бою на стороне красных.

Все вчетвером уселись за стол пить чай. Петька, которому исполнилось девять лет, спросил:

— Папа, почему так сильно вокруг стреляют? У нас стекла дрожат.

— А это корабли из больших пушек бухают. У них снаряды с тебя ростом.

— А в кого они стреляют, пап?

Что было ему ответить? Сказать: во врагов? На это Ларионов еще решиться не мог. Разве те, с кем он бок о бок провел несколько месяцев, эти поручики и капитаны Саюшевы, Трегубовы и множество, множество других — разве они его враги?

Стук в дверь с лестницы насторожил семью. Ни Люда, ни тем более сам Ларионов никого не ждали.

Люда пошла отворять. Поднялся из-за стола и Ларионов. Вошло пятеро, в куртках, тужурках, руки в карманах, лица мокрые от дождя, дождинки на усах, на бровях.

— Подполковник Ларионов? — спросил, видимо, их старший, с холодным тяжелым взглядом.

— Да, бывший, — неуверенно ответил Ларионов.

— Мадам, — сказал старший Люде. — Уведите детей и сами побудьте там с ними. У нас с вашим мужем будет небольшой офицерский разговор.

Когда взволнованная Люда увела встревоженных Петьку и Ниночку в спальню, второй из пришедших, рыжеватый, с редкими острыми зубами, замкнул за ними дверь на внутренний ключ, торчащий в замочной скважине.

— Вернее, — сказал он, — меньше визгу будет.

— Итак, подполковник Ларионов, — заговорил старший, присаживаясь на стул, — перед вами гвардии полковник Незнамов. Не бывший, как изволили сказать о себе вы, а настоящий. Вы тайно бежали из Северо-Западной армии генерала Юденича и добровольно поступили на службу к красным. Так?

— Да, если хотите...

— Нет, я этого не хочу. — Незнамов холодно и зло усмехнулся. — У вас, у офицера русской армии, есть последний шанс вернуть себе доброе имя — пойти сейчас с нами и завтра же вступить в бой против большевиков на петроградских улицах. Завтра весь первый корпус нашей армии начнет штурм Пулковских высот. Мы в составе офицерских отрядов выйдем встречать его на дорогах от Лигова к Нарвским воротам, от Пулкова к Московским воротам, от Колпина к Николаевскому вокзалу и к Невскому. Одевайтесь!

— Я этого сделать не могу, — бледнея, ответил Ларионов. Глаза его метнулись к вешалке, куда вместе с шинелью он повесил на крючок свою кобуру с наганом. Незнамов заметил это.

— В последний раз предлагаю вам, подполковник Ларионов, почетные условия возвращения в офицерскую семью. — Он достал портсигар, вынул папиросу и закурил. — Я считаю. Один! Два! — Делая затяжки, Незнамов всматривался в лицо Ларионова. Тот стал еще бледнее, но молчал. — Три! — сказал Незнамов, подымаясь со стула. — Ротмистр Кубанцев, делайте свое дело! — Он отошел к окну, стал смотреть во двор.

Какими-то четко отработанными, рассчитанными движениями трое молодцов, которыми распоряжался тот, рыжеватый, мелкозубый, названный ротмистром Кубанцевым, крепко схватили Ларионова за руки, стянув его локти за спиной, связали жесткими, больно режущими веревками, в рот впихнули тряпку. Все было сделано быстро, тихо, без всякого шума, даже без неизбежного при такой возне стука каблуков о паркет пола. Ларионов не успел ни рвануться, ни крикнуть. Правда, кричать он бы не стал, чтобы напрасно не беспокоить Люду и ребят раньше времени. Ему и в голову не приходило то, что собирались сделать с ним эти злобные, хмурые люди. Но когда они связали еще и его ноги, он забеспокоился по-настоящему. Могут же

увезти и силой заставить вступить в их тайную организацию.

Беспомощный, лежал он на кушетке, с тряпкой во рту, и смотрел то на Незнамова, который так и стоял возле окна, устремив взгляд в колодец двора, то на Кубанцева, рывшегося у себя в карманах, то на остальных троих, молчаливых и оттого особенно страшных.

Кубанцев отыскал наконец в кармане сложенную бумагу, развернул ее и стал читать. Плохо доходил смысл его слов до сознания Ларионова. Это не могло быть действительностью, это был неправдоподобный, горячечный бред. Он слышал слова: «измена родине... переход к врагу... именем закона России единой и неделимой... к смертной казни...»

Незнамов рванул створы окна, только что, на днях, заклеенного перед близившейся зимой. Ларионов помогал тогда Люде намазывать клейстером длинные полоски бумаги, а Петька с Ниночкой укладывали между рамами слои ваты, посыпая их обрезками цветной бумаги. Бумажная заклейка под рукой Незнамова с треском отлетела. Незнамов распахнул и наружные рамы, в комнату задуло сырым холодом.

Кубанцев скомандовал:

— Берись!

Подхваченный тремя парами крепких жестких рук, Ларионов все понял, дернулся связанным телом, но уже было поздно, совсем поздно...

Через час его, успевшего окоченеть, случайные люди нашли на мокрых булыжниках двора. Немногим позже Осокин отомкнул дверь спальной и, не в силах удержаться при виде ребятишек Ларионова с их испуганными, ничего не понимающими глазами, сел на стул, на котором до него сидел Незнамов, и заплакал. Нервы нормального человека не рассчитаны на такие сверхчеловеческие перегрузки.

Длилось это лишь несколько коротких секунд. Затем Осокин провел ладонью по глазам, как в таких случаях делает подруга Благовидова Санька, передернул зябко плечами — и увидел на полу раздавленный окурок. Он поднял его, прочел на мундштуке: «Эксцельсиор». На этот раз Незнамов не был так осторожен, как обычно.

Осокин не мог больше оставаться в доме, где горько, тихо плакали дети, где, не сдерживаясь, рыдала такая

молодая и уже овдовевшая женщина. Он завернул окурок в клок газеты, положил в карман и уехал. Но поехал он еще не на Гороховую, а попросил шофера как можно быстрее докатить до Нарвских ворот. В доме Жигалиных он опять отыскал свою мать.

— Мам, — сказал, — прошу тебя. Помоги людям, побудь с ними хоть немного. Ты умеешь очень хорошо утешать.

— Глупый, — ответила она, когда Осокин рассказал ей, о том, что произошло на Шпалерной.— Так это ж я тебя умела так утешать да Вальку, когда вы то коленку рассадите о камень, то щеночек у тебя сдохнет, или еще что. А в таком деле, Костюшка, разве же я утешу? Нет тут утешений, милый ты мой сыночек, нету их, нет.

Всю ночь Осокин расхаживал по кабинету Яна Карловича, зверски курил; пожалуй, здесь было еще дымнее, чем при самом хозяине. На столе, на листе бумаги, были разложены все собранные и сохраненные Яном Карловичем и им, Осокиным, окурки «Эксцельсиора» с золотыми коронками на мундштуках. И тот, измятый, втиснутый в землю, который Ян Карлович нашел близ моста, где ударили по голове Илью, и тот, что однажды по дороге к дому Ильи Благовидова, на Прядильной улице, нашел Осокин, и еще несколько других, подобранных на тротуарах в разных частях Петрограда, и вот, наконец, и этот, из квартиры на Шпалерной.

Напрягая голову, Осокин пытался представить возможные маршруты того, кто курил эти дорогие — настоящие! — папиросы. Лицо его он видел отчетливо. Для него это был тот тип, которого он приметил в кино на Невском, когда ходил туда с рыжей Санькой. Это было грубое, сильное лицо, с тяжелым смелым взглядом глаз. Тот тип, совершенно же ясно, курил именно «Эксцельсиор». Осокин помнил в его зубах хорошую, крупную папиросину. Но окурка смекалистый вражина тогда не оставил, заподозрив, конечно, что не зря же вокруг него кто-то вьется и просит закурить. И если раньше трудно было сказать, офицер он или нет, то теперь ответ только один: офицер. С Ларионовым так беспощадно расправиться могла лишь офицерская организация. За то, что пошел служить красным.

Болела голова, в повязки закована рука, все еще надо опасаться за эту несчастную ключицу. Иначе... Иначе он бы пошел по городу. Он бы... Осокин метался в кабинете

Яна Карловича и слышал голос своего начальника: «Я очень на тебя надеюсь, Костя Осокин. Не спи, а закончи это дело с офицерами. Они сидят в засадах. Они целят в спину революции».

Светало. Тяжело ухали пушки кораблей в Морском порту, на заливе, на Неве, возле села Рыбацкого. Был тот день, когда Северо-Западная армия белых начинала штурм Пулковских высот.

46

Гений бескомпромиссной классовой борьбы, великий стратег и тактик революционных битв, Ленин с полнейшей точностью знал пункт, в котором надо было сосредоточить главные силы для разгрома врага под Петроградом. Мало было немедленно снять их с других фронтов и с предельной быстротой переправить по железным дорогам к Петрограду. Но где, где им высадиться из вагонов и откуда нанести удар по врагу?

Ленин указал, где и откуда: Тосно, Поповка, Колпино. Именно сюда стягивались лучшие, самые боеспособные части из Москвы, Новгорода, Твери, Вологды, Рыбинска, Боровичей и Череповца. Именно сюда шли кавалерийские и стрелковые полки, отряды ВЧК, Петроградской ЧК, внутренней обороны Петрограда, моряки, курсанты; сюда же подтаскивалась артиллерия и подходили бронепоезда. На Неве в секторе Рыбацкого и Усть-Ижоры бросили якоря боевые корабли красной Балтики. В ночь на двадцать первое октября в колпинско-тосненскую ударную группировку влился, прямо из вагонов, 5-й Латышский полк. Ленин приказал снять его с охраны Московского Кремля. Подошли курсанты из Москвы, в том числе конные, прибыл отряд коммунистов петроградских учреждений, и отдельно — для действий совместно с бронепоездами — отряд Петроградского губернского комитета партии. Коммунисты, собранные в отряды, прибывали из Новгорода, Череповца, Вологды, Москвы...

5-й Латышский полк с ходу двинулся в бой. Вместе с полком Павла Благовидова он захватил Ям-Ижору. Одетые в немецкую форму батальоны князя Ливена были отброшены от линии Николаевской железной дороги, от Колпина, до которого, поливая кровли Ижорского завода не только шрапнельным огнем, но уже и из пулеметов,

дорывались передовые белые разъезды. Под утро латыши отогнали ливенцев еще дальше — к Федоровскому посаду под Павловском.

Погарцевав на пляшущем коне возле станции Александровская и проскакав по улице Большого Кузьмина, Родзянко вернулся в Детское Село, чтобы отправить депешу английскому полковнику Карсону с просьбой двинуть на Пулково танки.

Карсон не захотел рисковать танками. На Пулковских высотах бушевал непреодолимый артиллерийский ураган. Корабли во главе с дредноутом «Севастополь» математически точно посылали гигантские снаряды на исходные позиции белых, перепахивая, переворачивая землю на этом участке. А когда и здесь пошли в атаку защитники Петрограда — моряки-балтийцы, путиловские рабочие, коммунисты, парни и девчата из отрядов Союза Коммунистической молодежи,— противник стал отступать повсюду.

Полк Павла Благовидова после удара на Ям-Ижору следовал справа от полка латышей. Латыши дальше двинулись на Павловск, полк Павла — прямо на Детское, бывшее Царское, Село. Направление это оказалось трудным. В помощь смятым было ливенцам Родзянко перебросил сюда еще и дивизию князя Долгорукова — жестоких и беспощадных в бою балаховичевских головорезов. Они и ливенцы то и дело бросались в контратаки.

У Павла в его полку было достаточно пулеметов, которыми молодых петроградцев снабдили рабочие заводов, были бомбометы, две двухдюймовые пушки. Полк — таков был приказ командира — без того, чтобы предварительно не обработать противника огнем, в атаку не шел. Белых сначала прижимали к земле, заставляя под пулями и осколками снарядов вдавливаться в торфянистые болота, а уж тогда поднимались на них в штыки.

Путь по равнине был долгим и кровавым. С болью отмечал Павел, как, несмотря на его предусмотрительность, полк все таял и таял, как падали и падали и уже не поднимались безусые его бойцы. Сам он еле тащил через болота, через канавы, через воронки раненую ногу. Ее разрывало от боли так, будто меж мышцами насовали битого стекла. В сапогах хлюпала холодная болотная грязь; даже кожа его куртки напиталась, набухла водой, стала скользкой и стылой, как ледяная корка. «Товарищ Благовидов! — предлагали ему его помощники. — Давайте мы сделаем по-

силки из жердей и понесем вас на них?» — «Ничего, ничего, товарищи. Не отвлекайтесь на мелочи. Только вперед, вперед и вперед!»

Двадцать третьего октября латыши и их соседи слева — отряд коммунистов — ворвались в Павловск. Полк Благовидова вместе с курсантами Первых Петроградских пехотных командирских курсов подошел к деревне Новой в полуверсте от Детскосельского вокзала. Слева была деревня Тярлево, за которую вели бой те, кто уже занял Павловск. В Тярлеве шел огневой бой. Справа среди поля, окруженного колючей проволокой, стояли мачты Детскосельской радиостанции, через которую три дня назад белые прокричали на весь мир о взятии Петрограда. А прямо, за домами деревни, был вокзал. Перед деревней лежали открытые поля. Ни кустика на них, ни канавки. Стоило подняться для атаки, белые хлестали из пулеметов.

Одним из батальонов курсантов командовал молодой командир, который назвался Павлу Оскаром Карловичем Орбетом. Он сказал:

— Знаешь, Благовидов, мне чертовски жаль твою молодежь. Им строить новое общество. Хорошие они у тебя. Давай-ка я подниму своих курсантов в атаку, мы захватим белые пулеметы. А вы уж тогда атакуйте с ходу вокзал.

— Но у тебя тоже не старики, Орбет, — ответил Павел.

— Но мои выбрали себе военную профессию. А твои — это же заводские мастера.

В конце концов так и сделали, как предложил Орбет. Курсанты кинулись в штыковую атаку, которой белые не выдержали, стали бросать пулеметы, винтовки и спасаться бегством. Тут-то очень понадобились быстрые ноги бойцов Благовидова. Ребята неслись следом за белогвардейцами длинной улицей деревни Новой, нагоняя, коля штыками, лупя прикладами, и неудержимо приближались к вокзалу. Тем временем через поле радиостанции тоже к вокзалу, но только справа, заходил отряд коммунистов из Череповца и второй батальон курсантов под командой бывшего штабс-капитана Вержбицкого.

Общая атака была так напориста и быстротечна, что белые не смогли задержаться на вокзале, устремились вверх по улицам в город, к парку, к дворцам, в Софию — к казармам. Но в районе казарм уже слышались вы-

стрелы красных, идущих из Павловска. Лавина отступавших стала сваливаться к дорогам на Александровскую и Гатчину.

Нога Павла не выдержала такого поспешного бега. Его уже несли на носилках, подобранных на вокзале. Он лежал на них бледный, но сердце его билось радостно. Враг бежит, враг не выстоял!

Улицы города, этой некогда ухоженной летней резиденции русских царей, были завалены повозками, неведомого назначения тюками, ящиками, усыпаны стеклом, перегорожены сбитыми артиллерией телеграфными столбами, от которых по земле спиралями вились провода и в них путались ноги наступающих. То там, то здесь вставали столбы черного дыма, из их глуби к облачному небу выплескивались языки пламени. По улицам от этих пожаров тянуло гарью, летели черные хлопья, и на землю сыпался пепел. В каждом дворе, в каждом доме, из каждого окна кто-то стрелял. Кто?

Возле особняка Кочубея полк Павла и курсанты Орбета попали под пулеметный огонь. За стенами особняка, за баррикадами у ворот прятались белогвардейские офицеры. Они не собирались ни отступать, ни сдаваться. Они ожидали подкреплений.

Офицерские пулеметные очереди никого не остановили. Несколько сотен бойцов ринулись к особняку, и с офицерами было покончено.

Сметая засады, заслоны, полк Благовидова, петроградские курсанты и череповецкие коммунисты дошли до северо-западных окраин Детского Села. Перед ними расстилались поля, по которым, преследуемые броневиками, огнем бронепоездов, бежали к Гатчине и Красному Селу пешие и конные белогвардейцы.

Бойцы опустили Павла на землю. Он сел на носилках, поблагодарил своих добровольных носильщиков:

— Спасибо, товарищи. Уж очень не хотелось сдаваться перед болью и уходить к санитарам. Теперь, пожалуй, можно отдохнуть.

Появился комиссар полка, ходивший устанавливать связь с курсантами.

— Есть приказ располагаться на ночлег, — сказал он. — Противника преследуют другие части. А мы двинемся дальше только на рассвете.

Батальоны стали занимать окрестные дома, устраи-

вать из соломы и сена постели. Павел дохромал до одного из домишек, брошенного хозяевами, прилег там на кровать, застланную ватным одеялом.

— Товарищ Благовидов! — сказал комиссар, недавний секретарь одного из районных молодежных комитетов Петрограда. — Полюбуйтесь. — Он подал Павлу вчерашнюю газету под названием «Приневский край». — Белогвардейская газетка-то! И кто пишет, смотрите!

Павел увидел подпись «Куприн» и стал читать статейку. «Граждане, — читал он, — вчера вы целовались от радости на улицах, как в первый день пасхи, сегодня вы ропщете: «Однако наступление что-то затянулось». А вы думаете, одерживать победы — семечки грызть? Большевики выслали против нашей армии все, до последнего, свои лучшие силы. Это их конечная, отчаянная ставка. Оперативная сводка ясно показывает наше преобладающее положение, но деремся мы на местности пересеченной, болотистой и населенной густо. Каждый дом, занятый коммунистами, приходится брать с бою и обходами. Оттого наше наступление идет хотя и успешно, но несколько медленно...»

Павел невесело усмехнулся.

— Знаешь, — сказал он комиссару, — жаль мне этого человека. Он думал отсидеться в своем доме от событий, которые вот уже два года сотрясают мир. Он против насилия, против крови. И вот смотри — посередине остаться не удалось. Заставили — пишет. Плохо, видишь, пишет, не так, как писал свои знаменитые повести и рассказы, без чувства, из-под палки. Нет, несладко ему, думаю.

Павел вспомнил прищуренные, настороженные, но добрые, как у Ильи, глаза писателя, его тихую, неторопливую речь, спокойные жесты. Вздохнул. Вздох этот уже относился не к Куприну, а к Илье, о котором Павел давно ничего не ведал. Жив ли тот, цел ли? Ах, братишка, братишка!..

Бои развертывались на широком фронте от станции Батецкой до Стрельны. По общему стратегическому плану разгрома войск Юденича перешла в наступление и 15-я красная армия. Она двинулась несколькими колоннами, стремясь зайти в тыл белым, отрезать пути их

отхода. Одна дивизия из района Новоселья направлялась к Ямбургу и Нарве, оставляя Гатчину справа. Другая, как раз из числа тех, что были отрезаны от 7-й армии при наступлении частей князя Долгорукова, устремилась на Волосово и Молосковицы, а левофланговая колонна пошла на Гдов, где белые почти уже полгода чувствовали себя полными хозяевами.

Очень скоро Родзянко, а за ним и Юденич поняли всю опасность, которая грозила им со стороны 15-й армии. Они предприняли отчаянную попытку еще раз рвануться к Петрограду под Красным Селом в районе Ропши.

К этому времени оживились и англичане, которые день-два назад еще были уверены, что участь Петрограда решена окончательно. Теперь положение складывалось так, что медлить было уже нельзя, надо было вступать в дело самим. Английские корабли открыли огонь по красным фортам под Кронштадтом; знаменитый их монитор «Эребус» бил по красным войскам, наступавшим на суше, пятнадцатидюймовыми снарядами. Аэропланы британцев вились над позициями защитников Петрограда, сбрасывая бомбы. Зашевелились и белофинны. Крупный финский отряд напал на советские части под Белоостровом и двинулся на Левашово и Парголово.

Тридцатого октября на помрачневшем было горизонте белых вдруг вспыхнул радостный свет. Несколько дней назад их выбили из Ропши и отбросили в лесные деревеньки. Один из красных полков в ходе преследования продвинулся от деревни Витино по дороге к Ямбургу и там, измотанный боями, остановился на отдых. Командование части то ли из-за предательства, то ли из-за чьей-то беспечности не выставило секретов, не выслало разведки в сторону противника, повело себя так, будто бы часть не в бою, а в летних лагерях. Генерал Родзянко, казалось, только этого и дожидался. Опасаясь, что 15-я армия загонит его в мешок под Гатчиной, он перекинул свои войска оттуда на Красносельский участок.

В ночь на двадцать восьмое октября Талабский полк под командованием генерала Пермикина вновь захватил Витино, перебил почти всех командиров красного полка, а тридцатого октября, развивая наступление, уже ворвался и в Ропшу. Из Ропши последовал дальнейший удар на Русско-Высоцкое. Пермикин оправдывал свои генеральские погоны. Талабцы разбили еще один крас-

ный полк и даже захватили весь его штаб — и все по той же самой причине: из-за беспечности и небрежности. А может быть, и из-за предательства. Штабных командиров спасло от гибели и расстрела лишь то, что на этот участок фронта прибыла бригада Особого назначения, во главе которой стал начальник внутренней обороны Петрограда Дмитрий Авров. Другие красные части очень быстро выбили талабцев и семеновцев из Русско-Высоцкого. Плененному командиру полка, его адъютанту и еще некоторым в горячке боя, в панике, охватившей белых, удалось бежать.

Бои вокруг Ропши разгорались все с новой и новой силой. На помощь талабцам и семеновцам Родзянко бросил ударный танковый батальон с английскими офицерами, две десантные роты, авиароту и конный полк Иозефа Балаховича, брата «батьки». Но красная бригада Особого назначения действовала превосходно. В нее входили три стрелковых полка, отряды петроградских и новогородских курсантов. В их распоряжении были две легкие артиллерийские батареи, кавалерийский эскадрон, отряд автомобилистов. Кроме того, подходили и другие части, с марша громя белых.

Родзянко в кровь искусал губы. Поначалу он еще получал если не личные, то хотя бы телеграфные, приказы Юденича, безвыездно сидевшего в Нарве. «Взять Петроград!», «Перерезать Николаевскую дорогу!», «Вернуть обратно Царское Село!». Комкая в руках эти бумажки, он швырял их адъютантам: «Отдайте солдатам для естественных надобностей!» Но вот кончились и эти приказы, Нарва умолкла. Родзянко понял, что разбит, что и на этот раз, и уже, видимо, навсегда, Петроград ушел из рук Северо-Западной армии.

Влетев на автомобиле в Гатчину, на подступах к которой уже несколько дней шел беспрерывный бой, он увидел, даже его поразившую, картину всеобщего мародерства. Сотни подвод везли и везли к станции Гатчина-Балтийская неисчислимые, наворованные контрразведкой, растащенные офицерами и чиновниками белых учреждений ценности бывших царских пригородов. Помощник главнокомандующего знал из донесений в корпус, что, отступая от Павловска, при всей спешке тех дней ливенцы — русские белогвардейцы в немецких шинелях — ухитрились мобилизовать в окрестных деревнях до тысячи подвод под награбленное имущество дворца и пав-

ловских особняков. В Гатчине происходило то же самое. В дворцовых залах упаковывались в тюки и ящики шелковые портьеры, сервизы с царскими вензелями, старый фарфор, картины — все подряд, лишь бы оно было поценнее, подороже. Добром заполнялись десятки товарных вагонов.

В окружении личной сотни Родзянко подскакал к подъезду дворца, поднялся по мраморной парадной лестнице, прошелся по залам, в которых суетились его офицеры, и из коллекции старинного оружия выбрал для себя две сабли в ножнах, усыпанных драгоценными камнями, и пару пистолетов с золотой насечкой.

— На память, господа! — без всякого смущения сказал он окружающим. — Все равно большевикам останется.

Адъютант завернул генеральскую добычу в китайский желтый шелк, содранный с окна. Свита генерала тоже разбежалась на полчасика по залам. Каждому хотелось стащить кое-что «на память».

На станции Родзянко встретил генерала Краснова и писателя Куприна. Оба они наблюдали, как погружают в вагон их печатную машину, которую редакторы «Приневского края» решили тащить за собой в Ямбург.

Краснов бодро поблескивал стеклами пенсне — ему не впервой было покидать Гатчину под натиском красных. А писатель Куприн выглядел удрученным. Грустно смотрели его прищуренные глаза на весь тот шабаш, который творился на станционных путях возле эшелонов.

Третьего ноября, когда благовидовский полк вступил в Гатчину, Павел не узнал города, в котором бывал весной и летом. Разграбленные, разгромленные общественные здания, улицы, заваленные оброненными с возов вещами, обрывками книг, бумаг, окровавленными бинтами. Запустение, грязь, скотство. К бойцам полка то и дело подбегали родственники казненных советских людей, просили найти могилы их близких, умоляли отомстить.

От одного из них Павел узнал, что писатель Куприн уехал с белыми генералами в Ямбург.

— Жаль! — сказал Павел. — Очень жаль!

— Что поделаешь! — Его собеседник вздохнул. — Жил Александр Иванович тихо, мирно, никто же его не трогал. Писал бы себе да писал. Разве ж не о чем было? Но вот не хотел, что ли? А белые пришли, закрутили, запу-

тали, затянули его в свою компанию... Недаром сказано: коготок увяз, всей птичке пропасть.

— Он не пропадет, товарищ. — Павел поежился под холодным дождем со снегом. — Но пальцы грызть когда-нибудь станет, жалеючи, что не остался, что бросил свой край, свою землю, свой народ. О чем ему там писать, на чужбине? Он же всегда о русских людях писал, о тех, кто составляет русский народ. А какой русский народ в Парижах и Лондонах, куда бегут сейчас наши запутавшиеся интеллигенты? Жаль, очень жаль! — повторил он.

В тот студеный день третьего ноября начался общий отход белых по всему фронту. Части Красной Армии порой даже утрачивали соприкосновение с противником, так поспешно бежали войска Юденича и Родзянки в сторону Ямбурга. За линию границы были выброшены уже и белофинны, десять дней назад прорвавшиеся у Белоострова.

Зиновьев только что возвратился со станции Бологое, куда он отбыл в самое критическое для Петрограда время и где целых шесть дней просидел в вагоне вместе со своим обычным окружением и даже с поваром Николая Второго, о котором поминал Троцкий. Свое бегство из Петрограда Зиновьев объяснял тем, что он теперь председатель Коминтерна и рисковать жизнью уже не имеет права.

В своем смольнинском кабинете, просматривая сообщения с фронта, ушедшего на многие десятки верст от Петрограда, он медленно размешивал сахар в стакане густого чая. Несмотря на радость победы, его мучила все та же застарелая мысль: опять, оказывается, прав Ленин, а не он, Зиновьев, и не Троцкий, вместе с которым они предлагали впустить врага в Петроград и устроить белым мышеловку в городских улицах. Значит, что же? Значит, ему, Зиновьеву, припомнят теперь и этот план отступления, и начатую было эвакуацию заводов, и намерение потопить Балтийский флот, который благодаря тому, что не был потоплен, громит сейчас врага на побережьях Финского залива? Что ж, придется многое, очень многое стерпеть, перетерпеть, закусив губу, смирившись, притихнув. Но будет же день, будет, когда все силы, недовольные диктатом Ленина, его невозможнейшей уверенностью в своей правоте, которая, как на грех, каждый раз находит подтверждение в фактах, — будет

такой день, да, да, будет, когда эти силы отбросят наконец всякие распри, объединятся, спаяются в монолит и скажут веское, убежденное и убеждающее слово, которое услышит и разделит вся партия. Без надежды на это не стоит жить. Нельзя не надеяться. А надежды, в свою очередь, должны быть подкреплены практической работой.

Одного за другим Зиновьев вновь и вновь припоминал верных ему людей. Их было немало. Но были они до раздражения мелки, излишне угодливы, не имели никакого собственного авторитета; держатся такие только на нем, на нем, на своем вожде. Вокруг Ленина — Дзержинский, Сталин, Калинин, Орджоникидзе... Каждый из них — это же готовый предсовнаркома. А кто вокруг него, Зиновьева, или хотя бы рядом с ним?

Мысль остановилась на Троцком. Но Лев Давидович — личность сложная, он сам себе на уме. Он возле тебя, пока ты нужен ему. А если уже не нужен — предаст, продаст и отбросит в любую минуту.

Но что делать, что делать? Смириться, молчать? До чего же это трудно! Мучительно трудно!

47

В тесной квартирке на Английском проспекте, где ютились не только Виктория Федоровна, жена Завадского Зоя Иннокентьевна и баронесса Врангель — «художница Веронелли», но уже и Ирина, после бурного подъема чувств двадцатых чисел октября, когда все здесь кроме Ирины, ликовали и готовились к встрече белых войск, наступило черное ноябрьское уныние. Нервы дам не выдержали, стали возникать резкие ссоры, дамы впадали в истерики, но уже ни одна из них в этих случаях не оказывала помощи другой, никто никого не утешал.

Мужчины, приходя, были тоже угрюмыми, озирающимися и все время спешили, спешили. Каждый новый день преподносил новую неприятность. Сначала это были известия о потерях Царского Села и Красного Села. Затем пришел черед Гатчины. Дальше пали Ямбург и Гдов... Красные выбросили белых за пределы даже такого жалкого клочка русской земли, с которого белые начинали свое дело весной и осенью. Еще значительней стали по-

тери и в петроградском подполье. Летним провалом Штейнингера потери эти только начались. Теперь большевиками, их страшной ЧК был схвачен и тот, на ком держалось все белое проникновение в красные воинские части,— сам полковник Люндеквист. Чекисты взяли его в госпитале, куда он лег, чтобы не выполнить приказ Реввоенсовета и не уехать в решающий час под Астрахань. При нем оказались уличающие подполье записки, важные документы. Это был самый тяжкий, самый чудовищный провал. За ним, конечно же, как всегда бывает, потянулась вереница новых и новых арестов. Никто уже ни в чем не был уверен, все метались, все боялись. Укрыться было невозможно нигде. Может быть, последними, во всяком случае немногими из последних сколько-нибудь надежных квартир, оставались пока квартира Завадского да вот эта, на Английском проспекте, окруженная спасительными проходными дворами.

Ирина жила затворницей и нахлебницей. В тот жуткий день, когда в ее доме жандарм Кубанцев одного за другим в упор расстреливал Павла, чекиста Осокина и спекулянта Хамелайнена, она не выдержала всего, что обрушилось на нее. Вместо того чтобы помочь раненому Павлу, который еще говорил ей что-то, она через разбитую гранатой черную дверь тоже бросилась бежать, как только что сделал Кубанцев. Она летела через дворы, через арки ворот, выбегала на улицы, сворачивала в переулки. За нею, не отставая, хватая за локти, за плечи, гнался ее смертельный страх. В конце концов он загнал ее сюда, к Виктории Федоровне. С ходом дней на душе и на сердце лучше не становилось. Ирина даже во сне испытывала все заново — опять она видела погоню, все бежала и бежала на тяжелых, каменных ногах и не могла убежать; ее настигали, срывали с нее одежду и перед огромной толпой ненавидящих ее людей расстреливали. Гремел залп за залпом, но она все еще жила, все металась на постели. Проснувшись от этих метаний, слышала удары морских пушек у Гутуевского острова.

Возможно, что Ирина сошла бы с ума — во всяком случае, она убеждала себя в этом,— если бы не Горчилич. Георгий Константиныч, с его тактом и мягкими манерами, с его теплым участием, был единственным, кто относился к ней искренне. Она это ясно, отчетливо видела и понимала. Он приходил, сидел, о чем-то рассказывал,

расспрашивал, она отвечала, и все это отвлекало ее от гнетущих дум.

Но бывал не только Горчилич, появлялся и Кубанцев. В первое свое появление он с ухмылкой сказал, что теперь-то они с Ириной крепко связаны одной веревочкой, что квартиру ее чекисты обыскали самым строгим образом, нашли там корзины с оружием, сундучок с гранатами, и, увы, дорогая Ирина Владимировна, в Петрограде объявлен розыск не только его, ротмистра Кубанцева, бывшего жандарма, участника тайной офицерской организации, на счету которого немало большевистских жизней, но ищут и ее, жену инженера Благовидова, добровольно сдавшегося в плен белым под Лугой. «Но этого же не может, не может быть! — шептала Ирина, не в силах закричать или заплакать, отчего разрядилось бы ее душевное напряжение.— Илья Андреевич никогда бы этого не сделал. Он не такой». — «А вот, получается, такой, коли сделал.— Кубанцев развел руками.— Значит, не все вы о нем знали». — «Это правда? — спрашивала Ирина Горчилича.— Правда, что рассказывает Кубанцев?» Горчилич пообещал выяснить и несколько дней выяснял. «Да, правда, Ирина Владимировна,— сказал он наконец.— Но только в той части, что Илья Андреевич в плену. А добровольно или нет — этого пока никто не знает».— «Я должна быть там, там, там, с ним, с Ильей! Помогите, помогите, Георгий Константинович! Сделайте так, чтобы я могла быть с ним. Потом требуйте все, что угодно, все, что угодно... Но только чтобы туда, к Илье. Я обязана быть с ним. Я должна быть рядом».

Стоял дождливый ноябрьский день. По стеклам за окнами бежали потоки дождя; дождь не переставал вторые сутки. С взлохмаченного штормами залива накатывались морозные туманы, пронизывающие, простудные. Все кашляли, чихали. Закутанная в платок, Ирина расхаживала по комнате и все думала и думала.

— Перестали бы вы, милочка, мотаться-то маятником,— сухо и раздраженно сказала Виктория Федоровна. На квадратик тончайшей бумаги, чтобы его можно было вложить в мундштук папиросы, она переписывала какое-то сообщение туда, в Нарву, в Ревель, может быть, даже в Париж.— Профессор Быков арестован, все наше правительство полетело в тартарары. А вы только о себе, о своем. Каждую минуту и мы можем ожидать стука в дверь. Понимаете? И тогда...

— Я буду рада! — выкрикнула Ирина, чувствуя, что волны страха с новой силой несут ее в неизвестность. — Пусть, пусть стучат!

— Глупая вы, простите меня. — Виктория Федоровна даже не подняла головы, не оторвалась от своего занятия.

— Вики, что ты говоришь? — отозвалась зато Мария Дмитриевна. — Неужели могут прийти? Но здесь такая глушь... Никто же не знает...

— Они всё знают. Всё.

Еще страшнее стало в квартире, когда в один из таких дней с дождем и снегом Мария Дмитриевна ушла и уже больше не вернулась. Виктория Федоровна осмотрела шкаф, постель «художницы» и сказала:

— Крысы покидают корабль. Баронесса задала стрекача.

Она угадала. Какие бы конъюнктурные объединения ни происходили в подполье, организация офицеров-монархистов держалась особняком от «Национального центра»; помимо общих с кадетами и эсерами, у нее были свои собственные явки, свои конспиративные квартиры и свои способы сообщения с зарубежными центрами, с югом, с Крымом. Один из агентов этой организации служил вместе с Марией Дмитриевной в Аничковом дворце. Уже давно он снабжал ее деньгами якобы из сумм, отпущенных организации адмиралом Колчаком. Теперь он предложил поместить ее в общежитие, которое надежно упрятано в пригороде и где до лучших времен находят приют люди, не желающие мозолить глаза большевикам. Мария Дмитриевна согласилась. И пока в квартире на Английском проспекте продолжали накаляться дамские страсти, «художница Веронелли» преспокойно квартировала в четвертой части небольшой комнаты в дачном доме, разгороженной пестрыми ситцевыми занавесками. «В каждой четвертушке, — записывала в дневник Мария Дмитриевна, — стоят железная кровать с соломенным блином вместо тюфяка, шкаф, стол, два стула, умывальник на ножках и ведро. Две обитательницы на своей стороне имеют окна и двери, мне же досталась четвертушка без окна».

Кому она писала? Может быть, сыну, который к этому времени без малого вытеснил генерала Деникина на юге и вот-вот станет там главнокомандующим? А может быть, так, «для истории»?

«Две женщины — милые образованные девушки, а моя соседка — голова в голову — отвратительная старая дева, из учительниц. В былое время она частенько забегала ко мне, ходила передо мной на задних лапках, а теперь, если впотьмах уроню ложку или близко к ее занавеске подвину стул, кричит на меня, как на собаку. Но, по счастью, тут в общежитии, кроме таких, собрались десятки приятных, образованных, душевных людей, как бы тени прошлого, чудом уцелевшие. Все очень известные фамилии, но я пока воздержусь их называть. Мы живем с опаскою».

По утрам Мария Дмитриевна по-прежнему таскалась к трамваю и ездила на службу. Зато вечерами можно было всласть наговориться с людьми этих известных фамилий. В обстоятельных общих разговорах обитательницы общежития установили, что бывшая начальница Ксенинского института, шестидесятивосьмилетняя княгиня Голицына торгует на петроградских улицах бубликами. А бывшая фрейлина Эмма Эллис, дочь недавнего коменданта Петропавловской крепости, умерла от потрясений. Сыпной тиф скосил мадам Арапову — дочь Натальи Николаевны Пушкиной по ее второму браку с Ланским.

Мария Дмитриевна радовалась, что сама-то все еще цела, что успела унести ноги из грязной кадетской квартиры, над которой навис дамоклов меч, и что ныне она среди истинно своих. Можно жить и можно ждать.

А на Английском, чего так всегда боялась Ирина, однажды среди ночи раздался стук.

— Вы дождались. Идите, милая, отворяйте! — приказала Виктория Федоровна. — Но делайте это не слишком спеша. — И вынула из сумочки браунинг.

В третьем часу ночи Осокина подняли с койки. Он только что заснул после длинного дня нудных допросов разной мелкоты, вертевшейся возле «правительства» профессора Быкова; мелкота отвечала откровенно и даже наговаривала сверх спрашиваемого; но знали такие не главное, а второстепенное и, может быть, поэтому были столь неудержимо болтливы. Осокин едва дождался возможности прилечь и уснуть. А вот снова его толкают.

— Чего еще? — спросил он, не открывая глаз.

— Девчонка прибежала. Очень важное, говорит, сообщение,— докладывал дежурный.

— Как звать? — Осокин вскочил на койке. — Девчонку как звать?

— Извиняюсь, не спросил.

Через минуту Осокин был одет и перед ним сидела Санька. Она только что высыпала на стол горсть принесенных окурков.

— Товарищ Осокин,— торопливо рассказывала она.— С вечера Завадский выставил меня из дому. Иди, говорит, на всю ночь, если хочешь. И уж, во всяком случае, раньше часу не вертайся. Я пошла, товарищ Осокин, путалась по нашим дворам, совсем прозябла, с носу во уж как течет! Куда же я пойду, думаю? Павла Андреевича нету. По улицам таскаться... Патрули же! Еще скажут, что гулящая.

Осокин тем временем сортировал окурки. Среди двух десятков окурков разных марок он, волнуясь, нашел восемь штук «Эксцельсиора».

— Что ты говоришь-то? — Он поднял горящие глаза на Саньку.

— Пришла, говорю, через полчаса домой. А их там человек с пятнадцать. Дым, шум. «Чего приперлась? — орет Завадский. — Ступай спать! Живо!» Я нахватала этих вот окурков с полу в коридоре да на кухне, как вы велели, да и бежать.

— Ложись на мою койку. И ни шагу отсюда. Ты свое дело сделала.— Осокин взялся за кобуру с кольтом. Кобуру отбросил, пистолет сунул в карман.

Дежурный поднял наряд чекистов. Совещание оперативной группы длилось не более пяти минут, и три десятка людей, среди них красноармейцы, вооруженные винтовками, двинулись к дому, где жил Завадский. Одни шли к квартире двором, черной лестницей, другие, стараясь не шуметь и не греметь, подымались с парадной, которую им отомкнул дворник.

Тем, кто шел вместе с ним с парадного, Осокин приказал прижаться к стенкам и надавил на кнопку звонка.

— Кто? — спросили за дверью.

Врать не было смысла. Никаким «телеграммам» и прочим наивным выдумкам никто уже давно не верил. Он негромко ответил:

— Чека.

Грохот и шум вспыхнули в квартире. Слышно было, как там то подбегали к дверям, то убегали обратно, передвигали что-то, роняли.

Расчет Осокина был именно на то, о чем он и высказал предположение на совещании группы. Он полагал, что находящиеся в квартире разделятся на две партии: главари, думая, что основные силы чекистов непременно будут сосредоточены у противоположных дверей, устремятся к той двери, у которой раздается звонок.

Так и получилось. Сквозь дверные филенки, гулко отдаваясь на лестнице, загремели выстрелы, и дверь распахнулась. Выставив перед собой штыки винтовок и стволы наганов, чекисты бросились на повалившую из передней толпу заговорщиков. Одни из них, прижатые штыками, подняли руки, другие же, которые были за их спинами, поспешно повернули обратно в квартиру.

На черной лестнице тем временем тоже шел бой.

Осокин влетел в одну из комнат следом за плотным, коренастым человеком. Первым делом тот выстрелил в электрическую лампочку. Но промахнулся. Лампочка горела. Человек не успел повернуться — Осокин ударил его ногой в спину, сбив этим ударом с ног. Подоспевшие красноармейцы вырвали из рук стрелявшего наган и стали его связывать. Осокин увидел взбешенные глаза на крупном, в грубых чертах лице. И тотчас узнал его. Да, это был он, тот, из кинематографа. Но одновременно это был и тот, кого описала Осокину вдова зверски убитого подполковника Ларионова. Окурки «Эксцельсиора», найденные на месте преступления, подтверждают, что это был еще и тот, кто взрывал мосты под Петроградом, кто покушался на жизнь Ильи Благовидова. ЧК уже располагала данными о том, что этот опасный, сильный, опытный враг еще ранней весной был заслан в Петроград Юденичем для связи, для организации диверсий, убийств, для контроля за своими «политиками».

— Подымите его! — приказал Осокин.

Красноармейцы подхватили белогвардейца с пола, поставили на ноги.

— Полковник Незнамов...— Тот дернулся от слов Осокина, повернул к нему еще больше потемневшее лицо, глаза его заледенели от ненависти.— Да, да,— повторил Осокин,— именно так: господин полковник. Даже гвардии полковник. Позвольте ваш портсигар?

Выньте-ка у него из кармана! — обратился он к красноармейцам.

Портсигар был положен на ладонь Осокина. Осокин нажал на кнопку защелки, крышка откинулась. В портсигаре еще оставалось несколько папирос.

— «Эксцельсиор»,— прочел вслух Осокин.— Это очень хорошо, что вы так стойки в привычках, полковник. Ну, пошли! Вперед!

На улице, окруженная группой Осокина, уже толпилась вся захваченная в квартире компания. Кроме молодцов с военной выправкой, были в этой толпе и Завадский с Багловским, и какие-то бородачи, и люди в пенсне — народ все солидный, осанистый, представительный. Подгоняя штыками, их повели за угол на Гороховую. «Ян Карлович,— радостно думал Осокин,— все, как вы сказали, я сделал, все выполнил. Если не полностью разбойничья шайка, то половина-то ее наверняка в наших руках».

Когда под утро он вошел в свою комнату, Санька хотя и лежала на его койке, но не спала. Дожидалась.

— Ну что? — Она соскочила на пол и одернула платье.

— Конец, товарищ Саня! Молодец ты! Буду писать рапорт председателю, чтобы тебе дали награду. Долго ты мыкалась, но дело сделала великое.

Санька заплакала от волнения, от радости, от сознания того, что кончилась ее собачья жизнь, от всего.

— Где Павел Андреевич? К нему хочу,— всхлипывала она. — К нему поеду, как рассветет. Где он?

— Поедешь, поедешь. Куда хочешь, поедешь. А сейчас ложись и поспи. У меня дел до самого горла. Надо еще кое-куда съездить. Спи. Домой тебе никак нельзя. Там обыск идет. А потом двери сургучом опечатают. Поняла? «Где стол был яств, там гроб стоит». Вот так, гражданочка дорогая!

В квартиру первым вошел Вадим Лужанин, вторым был Кубанцев, третьим Горчилич; за ними, так же по очереди, проскользнули еще четверо, уже незнакомых.

Виктория Федоровна, пряча браунинг в карман халата, сказала:

— Почему такой суматошный стук? Условный забыли?

— Забыли, забыли, — бросил зло Кубанцев. — Только что провалился Завадский. Там и Незнамов. Финита ла комедиа. Через час-два чекисты будут здесь. Собирайтесь!

— Куда?

— Ноги надо уносить, ноги! Мадамы!..

Зоя Иннокентьевна охала, убивалась по поводу ареста своего Артура Ксаверьевича. Ирина молча смотрела на все происходящее. Виктория Федоровна, с презрением оглядывая мужчин, коротко кидала:

— Можете бежать. Куда хотите. Господа крысы. Я останусь здесь. Мое место в Петрограде. Здесь расстрелян мой муж. И я никуда не уйду от его могилы. Идите, идите! Когда-нибудь вам будет стыдно: мужчины бежали, а женщины боролись!

Горчилич, отведя Ирину в сторону, внушал ей тихо и проникновенно:

— Необходимо уехать, Ирина Владимировна. Кубанцев все организует. Завтра, послезавтра мы будем в Финляндии, а через несколько дней — уже и в Нарве. Наконец вы узнаете о муже. Может быть, и встретитесь с ним.

— Правда? Это правда? — В глазах Ирины засветился огонек жизни.— Тогда надо собираться. Как можно скорей.

Начался трудный поход через границу. Болотами, топями, вокруг финских деревень возле Парголова, забираясь далее все севернее, в леса, шла и шла группа, которую вел Кубанцев. Зоя Иннокентьевна осталась в Петрограде, но с опасной квартиры, конечно, убралась. Напоследок она рассорилась с Викторией Федоровной, которая звала ее с собой к каким-то иностранным подданным. Зоя Иннокентьевна сказала: «Нет уж, спасибо, Виктория Федоровна. С вами на каторгу пойдешь».— «Не на каторгу, а к стенке!» Виктория Федоровна презрительно скривила полные губы. Передернув кожух браунинга, она загнала патрон в патронник, поставила пистолет на предохранитель, положила его в карман прямого английского пальто и, не взяв больше ничего, ушла из квартиры раньше Зои Иннокентьевны. Через болота за Кубанцевым брели Лужанин, Горчилич, она, Ирина, и трое из тех незнакомых, кто пришел той, последней ночью. Четвертый остался в Петрограде. Для связи.

В другое время Ирина не смогла бы выдержать трудностей этого похода. Но теперь по схваченной ранним морозом земле ее как бы несли крылья надежды, надежды на то, что она скоро, совсем скоро увидит Илью. Милый Илья, милый, милый. Отныне она будет с ним совсем другая. Он увидит, как она его любит. Каждое желание его будет для нее законом. Он всегда так хотел ласки, а она на нее скупилась, была сдержанна, излишне рассудительна. Нет, теперь этого уже не будет.

С неделю на подходах к Ямбургу шли сильные бои. Белые успели основательно изучить здешние места и, отступая, все еще пытались на них сопротивляться. Вторую годовщину Октябрьской революции полк Павла отпраздновал неподалеку от Ямбурга, в селе Ильеши. Павел выстроил бойцов перед церковью, взобрался в отпряженную повозку и громко, на всю площадь, прочел приветствие Ленина петроградцам, опубликованное в «Петроградской правде».

— «Войска Юденича разбиты и отступают! — читал он отчетливо и с выражением. — Товарищи рабочие, товарищи красноармейцы! Напрягите все силы! Во что бы то ни стало преследуйте отступающие войска, бейте их, не давайте им ни часа, ни минуты отдыха. Теперь больше всего мы можем и должны ударить как можно сильнее, чтобы добить врага.

Да здравствует Красная Армия, побеждающая царских генералов, белогвардейцев, капиталистов!»

Дружное «ура» было ответом на слова Ленина. Кричали и крестьяне, собравшиеся на митинг. Под шомполами комендантов Родзянки они окончательно прозрели. У них уже не было колебаний, кого выбирать: красных или белых.

И вот прикрываемые огнем бронепоезда «Черноморец» части, наступавшие на Ямбург, выполняли ленинский наказ. Не давая врагу ни часа, ни минуты отдыха, они гнали его до города, а потом — и за город, дальше к Нарве. В Ямбурге было захвачено в плен шестьсот белых солдат и офицеров. Солдаты сдавались охотно. Отступать в Эстонию, на чужбину, вслед за своими оскандалившимися генералами, никто из них не рвался. Среди пленных Павел увидел даже английских офицеров. За-

несла же их нелегкая с Британских островов в далекий русский город. Взяты были и трофеи: орудия, пулеметы, много разного военного имущества. В боях за Ямбург наступающие полностью разбили гордость генерала Пермикина, его Талабский полк, один из лучших полков Северо-Западной армии.

Павел Благовидов отыскал в Ямбурге помещения брошенной белыми комендатуры: ее канцелярию, комнаты допросов, застенки.

Ему уже было давно известно, что Илья попал в плен и что белые таскали его сначала в Гдов, а затем — в Ямбург. Сообщили об этом захваченные под Ропшей контрразведчики из корпуса Палена. Одного никто не мог сказать Павлу, даже те контрразведчики: где же Илья и что с ним? Груды бумаг остались в шкафах и столах разгромленной комендатуры. Молодые бойцы полка, его комиссар и сам Павел вместе с прибывшими чекистами рылись в этих уже и без них основательно переворошенных бумажных залежах.

Общими стараниями был разыскан страшный документ, нацарапанный не слишком грамотной рукой, которая химическим обслюнявленным карандашом водила по листу приходо-расходной книги, разграфленной на «дебет» и «кредит». В приходной части Павел прочел: «Илья Благовидов, большевистский инженер, 1883 г. рождения». А в расходной: «Расстрелян 19 октября 1919 года. Основание: личное распоряжение главнокомандующего генерала от инфантерии Н. Н. Юденича».

Невыносима была мысль о том, что Илья мертв, что его уже нет на свете. Немыслимо было представить его в тюремных казематах, под дулами винтовок. Павел сел на табурет и долго сидел, подавленный, оцепеневший.

Потом он спросил одного из местных жителей, где же белые закапывали тех, кто был казнен ими в Ямбурге. Ему указали сосновую рощу, которую ямбуржцы уже успели назвать «рощей пятисот»: столько погибло в ней командиров, большевиков, красноармейцев, матросов.

В сопровождении группы бойцов и вместе с комиссаром полка Павел отправился в рощу. Земля под деревьями была изрыта, исковеркана, бугрилась песчаными холмиками. Кто лежит под которым, никто не знал — все могилы были безымянными.

Не знал Павел еще и того, что тело Ильи закопали не здесь, не в этой роще, а прямо во дворе казармы, и где та могила, позабыл, наверно, даже тот, кто выстрелил Илье из нагана в затылок.

Павел снял шапку, склонил голову. Мелкий снежок сеялся на него, подтаивая, стекал струйками по щекам, по губам, и кто мог сказать, что капли эти не были солеными?

48

Северный ветер, провыв, просвистав над ледяными пустынями Финского залива, до этих болотистых мест между реками Плюссой и Наровой долетал уже накаленным морозами до двадцати с лишним градусов по Реомюру. Он рвал снег, осевший на болотах после ноябрьских гололедов, выламывал хрупкие от стужи чахлые ракиты, больно, до крови, хлестал в лица людей ледяной дробью.

Остатки Северо-Западной армии, прижатые к колючей проволоке, которую на своей границе поспешно натянули эстонцы, вяло отбивались от наседающих красных.

Положение было безвыходное: впереди красные, позади эстонцы. И те и другие ничего хорошего разгромленным белым не сулили.

Остатки 2-й и 3-й дивизий сидели в полузастывших болотах прямо против Нарвы и ждали, как милости, что, может быть, эстонцы впустят их в Нарву отогреться на теплых зимних квартирах. Нарва виделась им как рай земной. Но попадут ли они когда-нибудь в этот рай? 1-я дивизия Дзерожинского отошла было под ударами с фронта через Скарятину Гору на эстонскую землю, чтобы там привести себя в порядок, переформироваться, но была немедленно разоружена эстонцами. Всех солдат и офицеров новые хозяева без разбора отправили в леса на заготовку дров: не кормить же русских мужланов задаром!

Бешено, ни на что больше не рассчитывая, ни на Нарву, ни на победу, дрались только бывшие балаховцы и ливенцы. Изо всех сил они оттягивали, отдаляли час возмездия за пролитую ими кровь на землях Псковщины, Гдовщины, в петроградских пригородах.

Несколько сотен ливенцев закрепилось возле станции Низы на железной дороге Псков — Нарва и возле деревни Усть-Жердянка. Они опутали свои позиции четырьмя

рядами колючей проволоки, высунули в амбразуры крытых траншей и землянок десятки стволов пулеметов и отбивали одну атаку красных за другой.

Своим правым флангом возле Усть-Жердянки ливенцы соприкасались с балаховцами князя Долгорукова, которые укрепились вокруг села Криуши, тоже на восточном берегу Наровы. Всего белых солдат и офицеров на этом участке собралось не более тысячи, но при сорока пулеметах и с артиллерией на западном берегу.

Ни Юденича, ни Родзянки в Нарве к этому времени уже не было.

Однажды, когда Родзянко в очередной раз потребовал от главнокомандующего заняться наконец судьбой армии, загнанной красными в болота, Юденич ответил: «Александр Павлович, я вас посылаю в Лондон».— «Слушаюсь! — Родзянко до крайности удивился.— Но зачем?» — «Получите инструкции, из коих все и узнаете».— «Когда прикажете отбыть?» — «Как можно скорее».

В тот вечер помощник главнокомандующего Северо-Западной армией отбыл в Ревель. Сиживая в ревельских ресторанах, ожидая там оказии в Европу, он делал скорбное лицо. В душе же безгранично радовался: кончилось все, и не по его почину кончилось, теперь в своих воспоминаниях вину за неудачу похода на Петроград он может валить на кого угодно и может выдумывать все, что выдумается.

После его отъезда недолго просидел на месте и сам Юденич. Прямо с фронта к нему в его штабной кабинет стали вламываться начальники растрепанных, разбитых дивизий, погибающих от голода и мороза на виду у эстонцев, и требовать от главнокомандующего необходимых мер, указаний, распоряжений. Они дошли даже до того, что, собранные командующим корпусом графом Паленом, устроили совещание и подали Юденичу рапорт о необходимости немедленно передать главнокомандование русской армией эстонскому генералу Лайдонеру.

Юденич вызвал Глазенапа, неудавшегося генерал-губернатора Петрограда и окружающих губерний.

— Петр Владимирович, я присваиваю вам звание генерал-лейтенанта, — сказал он торжественно в присутствии начальника штаба главнокомандования генерала Вандама и правой своей руки генерала Владимирова. Глазенап щелкнул каблуками и склонил голову. — Я на-

граждаю вас, — продолжал Юденич, — орденом Анны первой степени с мечами.— Глазенап еще звонче щелкнул каблуками. — И наконец, генерал, вам вручается главнокомандование нашей героической и многострадальной Северо-Западной армией.

Глазенап открыл рот от неожиданности. Юденич же со всей своей свитой тотчас отбыл в Ревель.

Первого декабря новый главнокомандующий издал в Нарве приказ № 373. «Я крепко взял в свои руки дело,— писал он для солдат и офицеров,— и его не выпущу: ни один офицер, ни солдат не погибнет напрасно и не будет оставлен врагу».

И тоже, собрав чемоданы и сундуки, отбыл туда же, в Ревель.

Несколько тысяч солдат и офицеров продолжали сражаться в болотах, несколько их тысяч пилили и кололи дрова в эстонских лесах, а еще тысячи, просачиваясь через границу правдами и неправдами, слонялись по Нарве, по Ревелю, по другим эстонским городам, спекулировали, дебоширили, продавали с себя последнее, превращались одни в пьяниц и побирушек, другие — в грабителей.

Когда Горчилич, Кубанцев и Ирина через Гельсингфорс и Ревель добрались наконец до Нарвы — Горчилич, чтобы вступить в армию, Кубанцев, стремясь поскорее доложиться своему шефу генералу Владимирову, а Ирина в надежде найти следы мужа,— все они угодили в пьяную, угарную, бесшабашную атмосферу. В ресторане нарвской гостиницы, где номера для них устроили вездесущие друзья Кубанцева, днями и ночами не прекращались гулянки с непременными скандалами. На столы — прямо в селедочные паштеты и в салатницы с винегретами — выбрасывались золотые вещи, брильянты, музейные изделия из слоновой кости, янтаря и малахита. Обалделые официанты пялили глаза на табакерки XVIII века, на шкатулки из горного хрусталя незапамятных времен, на драгоценные кинжалы и стилеты. Все шло в ход, все обменивалось и пропивалось.

«Жаль, Вадька наш остался в Ревеле, — сказал Кубанцев. — Любит он такую жизнь! Подумаешь, обожательниц там нашел! Да тут их вон за каждым столиком по две штуки». Ирина же была довольна тем, что Лужанин отстал от них. Этот ноющий эгоист не давал никому покоя своими претензиями и требованиями. Он не умел

быть просто с людьми, ему нужны были только слушатели и обожатели.

Сам Кубанцев вертелся в шальном парвском вентиляторе как заправский перекупщик. Откуда только у бывшего жандарма взялись коммерческие способности? Ирина его боялась, все время ждала от него какой-нибудь подлости.

Однажды, отомкнув дверь не то отмычкой, не то подобранным ключом, он среди ночи, без предупреждения и без спроса, вошел в ее номер.

— Не орите, — сказал спокойно, опережая ее крики о помощи. — То, что было, уже не повторится. — Придвинув стул, Кубанцев подсел к ее постели. — Не скрою, — заговорил, закуривая, — я чувствую к вам ничуть не меньшее, чем прежде, влечение. Да. Но насильно мне ничего не надо. Мне надоело насилие. Я устал от него. Я хочу человеческого, женского тепла если и не по ответному порыву, то, во всяком случае, добровольного.— Он помолчал, затягиваясь дымом. — Я предлагаю вам, Ирина Владимировна, союз. Добровольный союз двух изгнанников. — Кубанцев снова глубоко затянулся. — Мы завтра же уедем в Европу. Куда хотите: в Париж, в Монако, на остров Капри, где так любит коротать годы «буревестник революции» господин Горький, которого вы, кажется, не только читаете, но и почитаете.

Ирина, ошеломленная, молчала, лишь подтягивая и подтягивая к подбородку не слишком чистое гостиничное одеяло. Глаза ее еще глубже запали от событий последних дней и казались совсем бездонными.

Кубанцев расстегнул потайные карманы куртки, которую во весь путь через Финляндию ни разу не снял, извлек несколько кожаных кисетов и на столик, возле постели Ирины, горсть за горстью принялся высыпать из этих кисетов остро сверкающие в свете ночника, чистые и прозрачные, как капли ключевой воды, яркие блестки. По стенам от них побежали веселые светлячки.

— Это брильянты, — сказал он. — Одни брильянты. А еще у меня есть золото, Ирина Владимировна. Много золота. Есть деньги. Франки, фунты, доллары, марки, кроны, лиры. Их нам хватит на десятки лет. Хотите — у вас будет вилла под Ниццей? Скажем, в Ментоне или Сан-Тропезе. Хотите — будет морская яхта? Хотите...

— Я ничего не хочу, — перебила наконец Ирина, — ничего, кроме как найти моего мужа. Как можно скорее

найти.— Она заслонялась ладонью от слепящего блеска брильянтов.

— Вы его не найдете, — жестко ответил ей на это Кубанцев. — Никогда. Его нету. Он мертв.

— Неправда! — Ирина вскочила на постели, одеяло сползло, открылись ее плечи, грудь. — Неправда! — выкрикнула она, уже не помня ни об одеяле, ни о чем. — Вы нарочно.

— Больше я вам не скажу ничего. — Не отрывая от нее взгляда, Кубанцев на ощупь собирал со столика и рассовывал по карманам свои сокровища. Один или два камешка, твердо стукнув, упали на пол. Он не стал их искать.

Ирина потянулась к нему, цепко обхватила его шею руками.

— Не уходите, Кубанцев, не уходите. Вы должны мне сказать все, все, что знаете. Ну скажите же! Не молчите. Прошу вас, Гаврила Лукич!

Прожженный негодяй, для которого никакие понятия о чести, совести, порядочности, сострадании не существовали, замер от ее прикосновений, в этих невольных ее объятиях. Он боялся шевельнуться в них, только судорожно что-то глотал и не мог проглотить.

— Простите, — внезапно охрипнув, выговорил он. — Да, я соврал вам, Ирина Владимировна.

Почему он сказал именно так, Кубанцев не смог бы ответить. От своих приятелей он уже точно знал о казни в Ямбурге красного инженера Благовидова. И еще минуту назад ему доставило удовольствие сообщить Ирине о том, что муж ее мертв. А вот сейчас... Ах эти руки! Что они с ним сделали! Он бы так и остался в них навеки, навсегда. Но Ирина, как только Кубанцев сказал, что соврал, тотчас убрала их и вновь скрылась под одеялом.

Он ушел тихий, подавленный. Ирина проверила замок в двери, защелкнула дополнительную задвижку. Но уснуть уже не смогла, мучаясь мыслью, а вдруг все-таки Кубанцев сказал правду.

Утром его нигде не было. На вопрос о нем портье ответил, что господин из такого-то номера ранним поездом уехал в Ревель.

Вдвоем с Горчиличем они сидели в ресторане за завтраком. Ирина пересказала Горчиличу почти всю ночную сцену — и о брильянтах, и о предложении Кубан-

цева уехать с ним — и, наконец, повторила его слова о том, что Ильи нет в живых. Умолчала лишь о своем порыве, которого теперь стыдилась, о том, как с более чем неприличной, прямо-таки с паскудной суетливостью обхватывала шею Кубанцева и умоляла его взять те слова обратно.

Помешивая ложечкой в стакане с чаем, Горчилич сказал:

— Я навел кое-какие справки, Ирина Владимировна. В Нарве все разложилось. Все поубегали: кто в Ревель, кто по заграницам. Сколько-нибудь сведущие люди остались только там, где еще идут бои. Если хотите, я готов вас сопровождать туда. — Он примолк и добавил: — Я, вы знаете это, готов сопровождать вас куда угодно. Ничего не требуя. Ничего. Лишь бы возле вас. Простите.

Полдня они добирались санным путем до разбитой деревеньки, возле которой еще кое-как держались остатки 2-й дивизии. Перед дорогой Горчилич на неведомо какие средства приобрел Ирине теплую шубу из лисьих шкурок, эскимосскую шапку с длинными ушами, которые можно было завязывать вокруг шеи, и эскимосские же, расшитые яркими цветными суконками меховые сапоги.

Ехали в розвальнях, заполненных сеном, медленно тащились по снежным морозным лесам. Ветрище с залива чуть не сбивал лошадь с ног. Но Ирина в таких северных одеждах не чувствовала ни ветра, ни мороза.

В деревеньке офицеры жили по избам, по курным баням, солдаты же, как медведи, сидели вокруг нее в земляных тесных норах. Солдаты были терпеливей и целыми днями били вшей. Офицеры же, озлобляясь друг на друга, то и дело срывались в разговорах на истерику.

В грязном, задымленном вертепе, где люди при свете двух тусклых масляных коптилок вповалку лежали на дощатых нарах, Ирину с Горчиличем пригласили к столу, возле которого офицеры по очереди пили чай.

Разглядев женщину, притом молодую и привлекательную, обросшие щетиной существа на нарах зашевелились, стали подниматься, одергивать гимнастерки, застегивать куртки, затягивать пояса.

— Горчилич! — воскликнул один из них. — Господин капитан!

— Так точно!

Бородатый человек протянул руку:

— А я же Трегубов, и тоже капитан. Месяц назад преподнесли этот долгожданный чин. Догнал я вас, Горчилич.

— Шестнадцатый год? Наступление австро-венгров?..

— Да, да, точно! — Трегубов обхватил плечи Горчилича. — Как давно, чертовски давно это было! Ах, времена!.. Надежды... Фантазии... Порывы. У вас нет с собой бутылки, а?

У Горчилича было несколько бутылок. Он захватил их в расчете на холод, на морозы.

В избе повеселело и, как всем показалось, даже стало теплее. Забренчали жестяные кружки, звякнули стаканы. Забулькала водка, которую делили по-братски.

С мороза вошел еще один офицер, одетый в рваную романовскую шубу.

— Господа! Солдаты только что подобрали пачку красных газет, сброшенных с аэроплана. Прелюбопытно!.. — Он запустил было матом. Но на него дружно шикнули. Он увидел Ирину и смутился. — Прошу прощения, мадам. Вы извините, одичали немножко. Прошу прощения.

Газеты, принесенные им, уже шли по рукам.

— Советские «Известия ВЦИК»! — воскликнул один из офицеров. — Они, кажется, выпускаются в Москве? Смотрите, откуда доставили к нам. Обычно бросают «Петроградскую правду».

— «Усилиями Петроградской чрезвычайной комиссии,— уже читал кто-то вслух, поднося газету к самой коптилке,— особого отдела ВЧК и особого отдела Н-ской армии...»

— Седьмой, конечно! — Трегубов усмехнулся. — Великие конспираторы эти господа большевики!

— «...в Петрограде,— продолжал читающий,— раскрыт крупный белогвардейский шпионский заговор, в котором принимали участие крупные сановники царского режима, некоторые генералы, адмиралы, члены партии кадетов, «Национального центра», а также лица, близкие к партии эсеров и меньшевиков».

Офицеры слушали внимательно, напряженно.

— «Вся деятельность заговорщиков протекала под бдительным наблюдением агентов Антанты, главным образом английских и французских, которые руководили всем делом шпионажа, финансировали заговор и держали в своих руках нити его».

Начался шум, кто-то ругнул Антанту, этих пронырливых, вездесущих англичан.

— Читать или нет? — крикнул чтец.

— Читай, читай!

— «Организация имела связь во всех штабах, систематически снабжала Юденича сведениями военнооперативного характера. С помощью бывшего начальника штаба Н-ской армии полковника генерального штаба Люндеквиста разработала и послала Юденичу план общего наступления на Петроград».

Шум опять начался. Пошли разговоры. Сквозь них прорывался голос читавшего:

— «...под руководством Люндеквиста и бывшего адмирала Бахирева организацией был разработан план восстания в Петрограде... было сформировано новое правительство, которое должно было в момент занятия Петрограда заменить северо-западное правительство...»

Голос чтеца окончательно утонул в общем шуме.

— Прокакали! — крикнул Трегубов. — Все прокакали! Извините, мадам, но это так.

— На черта здесь гнить!

— Генералы уже гуляют по Ревелю!

Черный от многодневной копоти, плечистый офицер подошел к столу и ударил по нему кулаком:

— Я артиллерист, господа, вы знаете. У нас в артиллерии главное — математика. Точность расчета. Нацеливая удар на Петроград, генералы не были математиками. Они не определили с должной точностью угол падения массы нашей армии на этот красный город.

— Пустое говорите! — крикнул Трегубов. — Угол падения равен углу отражения. Всякий гимназист знает это. Азы! И не в них совсем дело.

— Вы не желаете слушать? Я же артиллерист! Простите, мадам, я сейчас употреблю единственно понятные этим господам слова...

— Не смей, застрелю! — рявкнул голос из темноты, и там щелкнул взводимый курок нагана.

— Саюшев, не играйтесь! — не оборачиваясь, сказал Трегубов.

— Продолжайте, артиллерист, но без хамства!

— Артиллеристы знают, — говорил закопченный человек, — что если выбрать правильный, определенный угол падения снаряда, даже не крупного, обыкновенной гранаты, то он может производить действие в несколько

раз большее, чем на какое рассчитан. Надо бить по касательной к земле, снаряд тогда рикошетирует и рвется в нескольких саженях над землей, нанося ощутимые потери живой силе противника. Командиры Северо-Западной армии, ее господа генералы не изволили определить этот угол нашего падения на врага...

— Вашему углу падения они предпочли низость падения! Где генерал Юденич? Где те деньги, которые он получил для нас от Колчака? Почему мы дохнем здесь, а он...

Снова начался крик. Ирина сидела в этом всем более ожесточавшемся окружении подавленная, растерянная; она понимала, что и здесь ничего не добьется, ничего не узнает; к сердцу подступало отчаяние, а вместе с ним и равнодушие ко всему, даже к своим несчастьям. Слишком их было много, чтобы выдержать одному человеку, тем более слабому, неспособному к борьбе. «Угол падения, угол падения... — почему-то твердила она запавшие в сознание два слова, и сквозь них ей все отчетливей виделся страшный смысл всего, что происходило и с нею самой и со всеми, кто ее окружал. — Угол падения, угол падения...»

— Вы тут читаете про раскрытые большевиками заговоры! — орал тем временем еще один заросший офицер. — А вот вам ревельская газетка... Не те «Известия» красных, а беленькие «Последние известия». Объявленьице! «Охотничья карета Александра Второго. Отделана слоновой костью, продается на Большой Розенкранцевской, шестнадцать, узнать в магазине номер один». Симпатичненько? Кто ее спер в Гатчине, Ропше или Павловске? Кто приволок в Ревель? Не я, не ты, не ты!.. — Он устремлял палец в своих слушателей. — А кто же?

— Слушайте, я был на днях в Нарве. По улице ехал начальник третьей дивизии генерал Ветренко...

— Который нарушил приказ, не пошел на Тосно?

— Именно этот, по сути дела, изменник. Так вот он ехал в санках, запряженных прекрасными лошадьми. А на лошадях попоны с вензелями императорской охоты. Один штабной офицер сказал мне, что у сего малопочтенного генерала дома еще и скатерти с такими же вензелями и посуда Константина Константиновича.

— Угол падения... Низость падения... Ужасно!

Ирина, пораженная, вскинула голову. Это, оказывается, уже не она говорила. Вместе с ней повторял это Трегубов. Боже правый!..

— Господа! — Из мрака вышел офицер, правая рука которого была обмотана грязными бинтами. — Мне известно, как в смысле наживы, или попросту грабежа, старался Даниловский полк. В Павловске я сам все это видел, но сделать ничего не мог. Из павловских особняков они тащили ящиками серебро, фарфор, портьеры, картины!.. Тут помянули вензеля Константина Константиновича... Один чайный и столовый сервиз великого князя состоял из шести дюжин комплектов тарелок, чашек, блюдец. Даниловцы недавно устраивали полковой вечер, там любой из вас мог обозревать эту посуду и эти вензеля. А в Гатчине? Чины штаба Первого корпуса уволокли лично для себя из дворца ни более ни менее как полных три вагона имущества! Все это сейчас, как вот карета царя Александра, идет в Ревеле с молотка или распродается на ревельских толчках. Господа офицеры!.. Господа генералы!..

— Я хотел бы знать,— сказал захмелевший Трегубов, — почему красные, которых мы называем варварами, сохраняли это в полной неприкосновенности, берегли дворцы, произведения искусства, просто дворцовое имущество. А мы, освободители, все разграбили. А? Кто упал-то под этот угол или под откос? Вот почему нас разбили. Потому что мы оказались вульгарными налетчиками, грабителями, вешателями.

— Я никого не вешал! — заорал кто-то.

— Ну смотрел, как вешают. Это одно и то же.

— Господа! Вы что, с ума посходили? Что за речи? Это же речи смутьянов! Мы мало вешали. Больше надо было, больше!

— Поезжай на юг к Деникину и восполни недостачу.

— Деникин кончен, господа. Как мы. Его армии отступают. Точнее, бегут.

И вдруг в избе настала тишина. Слышно было, как за окном выл ветер, как снежная сухая крупа хлестала по бревенчатым стенам. И уже не было больше ничего на свете, кроме этой избы. Ни сбежавших в Париж и Лондон дельцов из «северо-западного правительства», ни генералов, бросивших свою армию, ни Деникина на Дону, ни Колчака в Сибири. Все вокруг было кончено. Остались только одна эта закопченная изба, переполненная

завшивевшими офицерами, да несколько сотен солдат неподалеку от нее, зарывшихся в снег с пулеметами. Ходят слухи, что эстонцы вот-вот заключат мир с красной Россией, и тогда не станет даже этой избы.

49

Ночью на двадцать восьмое января, за пять дней до заключения мира между Советской Россией и Эстонией, Юденич был поднят с постели в ревельской гостинице «Коммерс», где квартировал после бегства из Нарвы, и оказался лицом к лицу с Булак-Балаховичем. За спиной «батьки атамана» толпилось несколько вооруженных русских офицеров и три чина эстонской полиции.

— Вы арестованы, генерал,— не без удовольствия объявил Балахович. — Прошу следовать за нами.

Растерявшийся, не нашедший что и ответить, герой Эрзерума был проконвоирован в автомобиле на вокзал, посажен в вагон и вывезен за пределы Ревеля. В вагоне Балахович потребовал от него отчета о состоянии сумм, которые летом перевел Юденичу бывший верховный правитель Колчак. Суммы эти, находившиеся в личном распоряжении главнокомандующего Северо-Западной армией, изрядно подрастаяли. Но в руках бывшего главнокомандующего еще оставались сотни тысяч фунтов стерлингов, многие миллионы эстонских марок, финские марки.

Сколько забрал у него «батька атаман» якобы на нужды какой-то его «армии», то есть лично себе, ни Балахович, ни Юденич нигде потом не распространялись. Но возвращенный назавтра в Ревель герой Эрзерума поспешно подписал чеки на двести двадцать семь тысяч фунтов стерлингов, на четверть миллиона финских марок и на сто пятнадцать миллионов эстонских марок, которые предназначались на ликвидацию Северо-Западной армии, для материального обеспечения ее офицеров и солдат. Балахович позаботился даже взять с него подписку о том, что бывший главнокомандующий ничего не утаил, не припрятал в карманах.

Проживать в гостинице Юденич после этого уже опасался. Он переехал в помещение английской военной миссии. Но и там не чувствовал себя в безопасности. Несмотря на подписку, изрядные суммы все-таки были

утаены, и их тоже по примеру Балаховича могли отнять у него какие-нибудь другие предприимчивые генералы.

Во избежание новых неожиданностей генерал Владимиров-Новогребельский развил энергичную деятельность и через несколько дней ранним февральским утром в предрассветных потемках увез бывшего главнокомандующего и своего благодетеля в закрытом автомобиле на одну из станций за Ревелем. Там был подготовлен вагон под флагами союзников, и этим вагоном, в котором нашлось еще место и верному агенту Владимирова, ротмистру Кубанцеву, Юденич прибыл сначала в Ригу, затем путь его пролег дальше, в Копенгаген, и, наконец, в Париж.

Перед самым отъездом Кубанцев заявился на квартиру, где остановились Горчилич с Ириной. В Ревеле они проживали незаконно и тайно, вопреки строгим предписаниям эстонской полиции. Но Кубанцев их, конечно, нашел. Один на один с Горчиличем он сказал:

— Вы, капитан, кажется, удачливее меня. Но будет время, я возьму реванш, даю вам слово. Однако я пришел не для этого. Я хочу поговорить с Ириной Владимировной. Не суйте, пожалуйста, свой нос на время нашего разговора. Можете?

— Могу, Кубанцев. Но прежде вы мне ответьте: это было сказано вами сгоряча Ирине Владимировне, что муж ее повешен?

— Не повешен, а расстрелян. Девятнадцатого октября в Ямбурге.

Затем, также один на один, Кубанцев разговаривал с Ириной. Разговор был совсем коротким.

— Мы еще с вами встретимся, Ирина Владимировна, — сказал он. — Наши пути не разошлись. Эта разлука временная. Примите на память о ротмистре Кубанцеве... Прошу вас, не отказывайтесь. — На стол перед нею он положил кольцо с большим, почти с лесной орех, брильянтом.

— Что вы, что вы! — Ирина отшатнулась, пораженная блеском дорогого камня.

Тогда он вложил кольцо в Иринину руку и зажал его там ее холодными пальцами. Она так и осталась стоять, глядя вслед быстро уходящему Кубанцеву.

— Что это? — спросил появившийся Горчилич.

— Кубанцев преподнес. — Ирина смотрела на кольцо, которое сверкало у нее на ладони.

Горчилич взял его, отворил форточку и выкинул подарок жандарма во двор, запесенный снегом.

— Что вы сделали? — воскликнула Ирина. — Зачем? Это же деньги! На них можно жить. В конце-то концов у меня же нет ни копейки, вы это прекрасно знаете.

— У вас есть если не миллионы, то, во всяком случае, десятки тысяч, Ирина Владимировна. — Горчилич мягко, дружески улыбался. — Да, да, я богат, представьте себе. Откуда? Так, родовые драгоценности. От бабок и прабабок. Я ведь дворянин.

Не мог же он сказать, что и его богатства имели тот же источник, из которого появилось это только что вышвырнутое кольцо. Волей рока, как говорил Горчилич самому себе, он был вовлечен в экспроприаторскую организацию офицеров, которую возглавлял ротмистр Кубанцев. Спекулянт Хамелайнен — мелкая песчинка на пути шайки офицеров-грабителей, которые с наганами в руках добывали деньги для борьбы с большевиками. Люди Кубанцева грабили бывшую знать, взламывали тайные сейфы. Кое-что из награбленного шло в общий котел белого движения, но большая часть делилась меж самими грабителями. Горчилич не выдержал, покинул группу Кубанцева, за что Кубанцев все время грозился с ним покончить. Но поскольку Горчилич молчал, то и Кубанцев не предпринимал ничего, только ненавидел и презирал этого хлюпика.

Как бы там ни было, рано или поздно вышел Горчилич из группы, но он тоже — не столько, правда, сколько Кубанцев, — имел возможность высыпать на стол перед Ириной немало интересных для нее вещиц.

— Да, да, — сказал он, — бабки и прабабки кое-что мне оставили. И все, что есть у меня, — это и ваше, и прежде всего ваше, Ирина Владимировна.

Она смотрела на него и чувствовала, что так заканчивается ее сопротивление ходу событий. На чужой земле, среди чужих людей, без гроша в кармане, не умеющая, не наученная делать что-либо, чем можно зарабатывать на хлеб, она беспомощна перед этими событиями, перед жизнью. Где-то есть Илья, где-то есть Лялечка, где-то родители, сестры. Но где, где? Реально, сегодня, сейчас возле нее только один в какой-то мере близкий ей человек во всем холодном, пустом, житейском море. Это он, Горчилич. Отныне он все, что способно поддерживать ее на поверхности жизни. И если ему сегодня

ночью вздумается прийти к ней, она не сможет его оттолкнуть, отказать ему. Странствуя по холодным, чужим волнам, отталкиваться от твердой земли, от берега хорошо лишь тогда, когда есть надежда пристать к другому берегу, к другой тверди. В подхватившем Ирину жизненном океане она не видела другого берега, его просто не было. Был только этот, один, Горчилич.

Она опустилась на стул. Холодные руки ее повисли. Горчилич взял одну из них, поднес к губам.

— Я люблю вас, Ирина Владимировна, — сказал он тихо, как бы боясь ее испугать.

50

На перроне Николаевского вокзала, возле теплушки с раздвинутой на полный размах дверью, стояли Павел Благовидов, его дядька Степан Егорович Жигалин с Феклой Дмитриевной, Осокин, начальник Осокина Ян Карлович, Алексей Лабзаев и те два красноармейца-новгородца, которые вместе с Осокиным прошлым летом бежали из белого плена: Степан Озеров и Егор Козлов. И конечно же, за левым плечом Павла, сияя синими глазищами, зрачки которых под ярким апрельским солнцем встали римскими единичками, крутилась Санька.

Перрон был запружен людьми в новых, свежих шинелях: глухо, когда то один, то другой красноармеец протискивался через толпу в вагон или из вагона, одна о другую звякали винтовки. Все говорили, выкрикивая прощальные слова; были женщины, которые и плакали, не без этого. Над головами в шапках и защитных фуражках всплывали облака махорочного дыма.

Новые шинели были и на Павле и на Озерове с Козловым. Когда стал формироваться отряд петроградцев на Южный фронт, для окончательного разгрома Деникина, который уже откатился к Новороссийску, и против Крыма, где барон Врангель собирает новую белую армию, Осокин привел к назначенному командиром отряда Благовидову этих крестьян, уже целых пять лет не расстающихся с винтовками. Выбравшись из плена, они состояли в ЧК, при Осокине, а тут, когда пошел новый набор добровольцев, обоим опять захотелось на фронт. «К хорошему командиру устрою», — пообещал Осокин. И вот устроил.

После подписания мирного договора с Эстонией, в Прибалтике, на подступах к Петрограду, с белыми было покончено. Северо-Западная армия рассеялась. Солдаты ее разбрелись по эстонским хуторам. Генералы удрали кто куда: кто в Европу, кто на юг. Палач Гдова и Пскова Булак-Балахович бросил в Изборске свою баронессу и подался к забряцавшим оружием полякам. Петроград мог вновь помогать своими силами другим фронтам, другим армиям, мог готовить новые и новые отряды для юга и запада. Когда Павлу сказали, что для него есть боевое задание — командовать одним из таких отрядов, который может превратиться в полк и даже в дивизию, он обрадовался. Ему нелегко стало в Петрограде после нескольких выступлений с острой критикой Зиновьева. Зиновьев однажды даже сказал Павлу: «Вам бы молчать, Благовидов. У вас брат сдался в плен белым». — «Товарищ Зиновьев, стыдно! — ответил тогда за растерявшегося Павла Щукин. — Брат Благовидова погиб на боевом посту. Он расстрелян белыми в Ямбурге». Зиновьев кашлянул, и губы у него дернулись.

Узнав, что Павел уезжает, Санька попросилась с ним. «Все равно сбегу за вами, Павел Андреевич, — заявила она. — Уж лучше сразу решайте. Санитаркой буду, поварихой могу, прачкой — кем угодно, только чтоб с вами».

В жизнь Павла она вошла настолько, что он уже не мог без нее, спешил к ней в свободную минуту. Но вечером она, взятая на работу в ЧК посыльной, бегала в ликбез и самозабвенно училась. С ней можно было говорить о чем угодно, даже о самом серьезном, государственном. У нее был острый, цепкий ум, она могла рассудить самый запутанный жизненный вопрос. «Ладно, — сказал он ей, — поедем. Только, знаешь, придется предварительно оформить наши с тобой отношения. Пожениться надо официально». — «Не надо, — просто ответила Санька. — А что, вам так-то плохо?» — «Да нет, что ты! Но все-таки...» — «Пустое, — сказала Санька на его не очень ясную речь. — Может, потом разонравлюсь, другую какую встретите, вам легче будет отвязаться от меня. Вы человек хороший, Павел Андреевич, совестливый. Поженитесь со мной по бумагам, стесняться будете, ежели что... ежели уйти захотите. Мучиться станете. Нет уж, пусть так. Может, потом как-нибудь, если не раздумаете».

И вот она за его плечом, в длинной кожаной куртке, затянутая в поясе новым желтым ремнем. Кто бы ни шел мимо, все оборачиваются на нее: так умеет держаться, насмотревшись на Ирину Владимировну. Ян Карлович взглядывает на нее, и бровь его удивленно, вопрошающе поднята.

— Вас, гражданка, трудно стало узнать, — говорит он как бы без улыбки, но улыбка почти неслышно ходит по морщинам его бледного лица. — Год назад прибегал к нам такой желтенький цыпленочек. А сейчас...

— Целая курица? — Санька весело смеется.

— Нет, почему же курица? Курица — птица глупая. Ты, Саня, райская птичка с золотыми перышками. — Ян Карлович трогает Санькины вьющиеся, солнечного цвета волосы под лихо заломленной серой папахой, перешитой из генеральской.

— А до чего же голосисто поет эта птичка! — говорит Фекла Дмитриевна. — Уши распустишь. Вы бы послушали.

Ян Карлович тоже едет этим эшелоном. Но он сойдет в Москве. Его вызвал на работу в ВЧК товарищ Дзержинский. На месте Яна Карловича остается Осокин, которого за активное участие в разгроме белого подполья в Петрограде отметили и повысили. «Судьба играет человеком, — сказал тогда Осокин. — Она изменчива порой».

— Бери его к себе, Костя, этого молодца. — Павел положил руку на плечо Алексея Лабзаева. — Пусть на смену тебе растет. Чека, наверно, долго еще быть. Кто знает, когда эти подполья кончатся, когда буржуазный мир перестанет щелкать зубами на нас. Из Алешки может толковый чекист получиться. Я им мало занимался, на побегушках он у меня был. Винюсь.

Состав возле перрона дернулся, загремели буфера, вагоны от одного к другому с грохотом передавали толчок прицепленного паровоза. Вдоль вагонов понеслась команда.

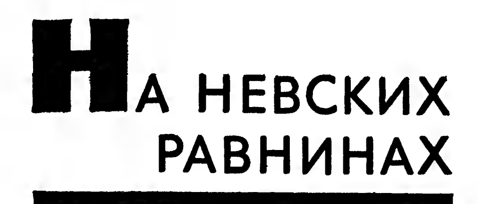
Пожаты крепко руки, незаметно смахнуты с ресниц соленые капли, которые, как ни хмурься, как ни суровей, выдадут тебя в последнюю минуту. И вот, медленно уплывая по рельсам в неведомое, на новые фронты, к новым боям, стоят в распахнутой двери теплушки Павел и Санька. Павел обнял Саньку, охватив рукой ее плечи.

За Павлом и Санькой дымит цигаркой Ян Карлович, кивает Осокину.

Провожающие еще какое-то время идут рядом с вагоном по перрону.

— Ты береги ее, Павел, от пули, от сабли! — кричит напоследок Фекла Дмитриевна. — Кроме нас-то со Степаном Егоровичем... да мы ведь ломоть для тебя отрезанный... она единственная твоя сродственница на всем белом свете! Слышишь?!

1967



НА НЕВСКИХ РАВНИНАХ

ПОВЕСТЬ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Дверь теплушки была раздвинута, и в черный ее квадрат со всего маху врывался ветер теплой июльской ночи. Стучали колеса, вспыхивали, налетая из мрака, зеленые огоньки семафоров, теплушку мотало на стрелках, и от «козьей ножки» Бровкина под нары сыпались махорочные искры.

— Вагон спалишь, дед! — сказал чей-то встревоженный голос. — На, возьми папиросу.

— В папиросах дым резкий,— ответил Бровкин. — Кашляю с них. Махорка мягче.— Он обернулся на голос.

Фонарь «летучая мышь» дрожал на вбитом в старые доски гвозде; фитиль за черным от копоти стеклом давал скудный мигающий свет; в нем то возникали, то исчезали, расплываясь в сумраке, фигуры людей, застывших на полу, на нарах, на скатках шинелей и вещевых мешках. Не различив того, кто предлагал ему папиросу, Бровкин сделал последнюю затяжку, выбросил окурок в темноту и облокотился о кожух пулемета. Его нисколько не обидело это мальчишеское «дед». Сивоусый, седой, он давно привык к тому, что возраст его пареньки на заводе излишне завышали. Да старый лекальщик и в самом деле несколько лет назад стал дедом: и у старшей дочери и у сына родились свои ребятишки. Он сплюнул горькую махорочную слюну, прислушался. За спиной его негромко разговаривали:

— Есть семь способов правильного обертывания портянки. А ты какой-то восьмой выдумал.

— Так я же в армии не служил. Я ботинки ношу. На кой леший мне было эти семь способов изучать!

— Натер же ногу?

— Натер.

— Вот тебе и «на кой»! Нога знаешь как должна чувствовать себя в портянке, если правильно ее обернуть? Что барыня в пуховиках. Нежась и млея.

Бровкин узнал басок Тишки Козырева, своего сменщика, горячего и путаного парня. Когда Тишка сдавал или принимал смену, он непременно затевал спор, а не то и скандал целый,— в том смысле, что сменщики, дескать (подразумевался, понятно, Бровкин), все дело портят, станок разладился, мусору вокруг до ушей, работать так дальше, по старинке, он не может,— и делал вид, будто терпит Бровкина из снисхождения к годам: семья, мол, дети да внуки.

«Батька у тебя пролетарского корня, — пытался Бровкин обрывать в таких случаях Тишку. Сивые усы у него приходили в грозное движение при этом. — Откуда сын таким звонарем произошел? Словоблуд ты, Тихон, трепач и ёрник».

Тишка в ответ только взглянет с косой, непонятной усмешечкой.

Но случалось и так, что, когда Бровкин, нарушив обещание, каждое воскресенье даваемое своей Матрене Сергеевне, в понедельник с похмелья тыкался носом в станок, роняя то ключ, то резец, то готовую деталь, Тишка, ни слова не говоря, укладывал его на войлоке за фанерной конторкой начальника цеха, укрывал потеплее и отстаивал у станка еще одну смену. Бровкин наутро примется благодарить, но Тишка отмахнется: «Как-нибудь в другой раз объяснитесь, Василий Егорович. А сейчас работать, понимаете ли вы, работать надо. Страна кронциркулей ждет». Что ни слово, то непременно подковырочка.

Даже и здесь вот, сменив спецовку на гимнастерку, Тишка остается самим собой: никто его не просит, а вяжется к людям. Ну что травит паренька с этой портянкой? Тот спать поди хочет. Третьи же сутки гоняют их в эшелонах по пригородным станциям, третьи сутки слышат они гул не таких уж и далеких бомбежек и артиллерийских боев. Нервы у всех, что струны. Но в общем-то прав он, Тишка: многое надо знать молодому парню, чтобы стать хорошим солдатом; и портянка

совсем не последнее дело. По себе это известно Василию Егоровичу. В четырнадцатом году под крепостью Новогеоргиевском крепко пострадал он из-за нее, из-за портянки. На каком-то длинном, тридцатикилометровом переходе до того натер пятку, что уже и шагу шагнуть не мог. Добрались до окопов, повалился от усталости, заснул. Нет чтобы переобуться-то, перемотать портянку. А под утро их в атаку подняли. Выскочил на бруствер вместе с другом своим, с отцом Тишкиным, Федей Козыревым, пробежал маленько сгоряча, а дальше — будто режут ему ногу тупыми ножами — присохла портянка к ране и рвет ее враздер по живому. А тут, как на грех, спину ему показывает немецкий офицер в каске с шишаком. Хотелось, ох как хотелось взять живым да целеньким вильгельмовца. Портянка не позволила. Взял немца не он, Бровкин, а Федя. Да и «Георгия» за это Федя получил.

Рассказать бы про то ребятам, про случай этот из боевой жизни. Но удержался Василий Егорович, не стал брать сторону Тишки против молоденького паренька. Наоборот, сказал так, будто бы никуда не годится Тишкино сравнение: нога — не барыня, она рабочая часть человека, трудящаяся; от нежности и мления только дрябнет.

Козырев принялся спорить, доказывать свое.

— Бросьте, — остановил их схватку командир роты старший лейтенант Кручинин, тот самый начальник цеха, за конторкой которого отлеживался, бывало, Бровкин под присмотром Тишки Козырева. — Отставить! Спать товарищам мешаете.

Вчерашний инженер, начальник инструментального цеха большого завода, а теперь вот командир стрелковой роты, Андрей Кручинин сидел у дверей вагона, свесив одну ногу наружу, другую подогнул, обхватил ее руками и уперся в колено подбородком. За спиной его шушукались, шептались, храпели, кашляли,— Кручинин смотрел и смотрел на черную стену леса, бесконечной лентой мчавшуюся вдоль железнодорожного полотна навстречу поезду. Лента порой обрывалась, и тогда мелькали такие же черные, как она, строения поселков и станций. Ни жизни, ни луча света нельзя было угадать за их окнами, плотно затянутыми маскировочными шторами. Паровоз, как бы тоже чувствуя необычность

обстановки, встревоженно рвался вперед, отстукивая колесами километры.

Опережая его бег, летели тревожные мысли. Что ждет всех собранных в этом вагоне, что ждет их там, за черныю ночи, за стеной лесов, где поезд прекратит наконец свой бег? Что ждет там Бориса Андреевича Селезнева, полтора десятка лет просидевшего на заводе с логарифмической линейкой в руках над таблицами и диаграммами? Что ждет этих смешных спорщиков и прекрасных мастеров — Бровкина и Козырева? Что ждет кандидата геологических наук Вячеслава Евгеньевича Фунтика, не пожелавшего выехать из Ленинграда со своим институтом? Фунтик готовил докторскую диссертацию, но уже двадцать второго июня, услышав страшную весть, зарыл свою рукопись в дровяном сарае на даче и с первым поездом отправился в город; а полторы недели спустя получил винтовку и встал в общий строй с бывшими слесарями, монтерами, техниками, водопроводчиками.

Война... Разве так представлялась она до этого? Вот уже почти месяц шагает немец по советской земле, почти месяц стоят столбы дыма над улицами советских городов и сел, ревут пушки под Смоленском, танки рвутся к Днепру, падают бомбы на Киев... Мог ли кто-нибудь думать об отходе, ждал ли кто врага на Днепре или здесь, на асфальтовых дорогах под Ленинградом?

Сквозь мысли Кручинина кралась тревога о детях, о Зине, с которой, не расставаясь ни на один день, прожили они пять лет; даже в санаторий в Крым ездили вместе. Припомнился день третьего июля, когда в заводских цехах в необычное время выключили моторы и слушали речь Председателя Государственного Комитета Обороны. И хотя еще несколько минут назад никто не думал, что это произойдет именно так,— здесь же, у станков, у верстаков, на кусках кальки возникали списки добровольцев в народное ополчение. Между многими другими прочертилась и аккуратная подпись инженера Кручинина. Он вывел ее «вечным» пером неторопливо, ровно и твердо. И с того момента все его прежние планы и замыслы как-то сами собой отошли, отвалились назад. Так случается, когда пройдешь длинный-длинный путь по примелькавшимся дорогам, поднимешься в конце его на гору и, не оглядываясь, смотришь только вперед, на панораму новых гор и долин, на неясную в дымке линию

горизонта, не ведая, что́ скрывается за нею, но в то же время зная, что путь назад непоправимо закрыт.

Дома, разговаривая в последние дни с Зиной, Кручинин ловил себя на том, что слушает рассеянно, совсем не вникая в ее тревоги. Зина говорила, что спрячет его костюмы и пальто в сундук. Но это не имело для него уже никакого значения, он вяло отвечал: «Хорошо, правильно». Приходили товарищи, беседовали только о самом важном, очень коротко. В городе нарастала непривычная торопливость. Из окна было видно, как люди спешили из магазинов с пакетами, очевидно запасались на дорогу. На какую? Куда? За домом, на пустыре, устанавливали аэростат заграждения; его оболочка отливала золотом в лучах вечернего солнца. Ночью, если бы это не было время белых ленинградских ночей, город уходил бы, наверное, в непроницаемый мрак: все фонари были выключены.

Андрей Кручинин получил вскоре военную форму, опоясался новенькими тугими ремнями, на бедро давила тяжесть пистолета в скрипучей ярко-желтой кобуре. В какой-то день он ушел из дому в казарму и больше уже не возвращался. Зина не плакала. В эти дни слез было не так уж и много. Люди понимали: решается судьба страны, судьба каждого из них, — и разве слезы помогут?..

Небо на западе озарилось серией ярких вспышек, как бывает в городах от трамвайных дуг. Но за этими тревожными вспышками следовал тяжелый, прерывистый гул.

— Бомбят, — сказал кто-то почти шепотом. Разговоры в теплушке умолкли. Только лязгали буфера да скрипели доски вагонной обшивки.

2

В ту ночь не спал и командир дивизии ополченцев полковник Лукомцев.

На втором этаже в одном из старых кирпичных домов Кингисеппа, в большой комнате какого-то районного учреждения — не то райзо, не то райфо — он и его старый друг генерал-майор Астанин сидели над раскинутыми на столе картами. Тикали ходики, у которых вместо гири было подцеплено к цепочке увесистое пресс-папье; в

стеклах стандартных шкафов из светлого дерева отражались лучи двухсотсвечевой лампочки под потолком, в шкафах громоздились стопы папок с делами учреждения, только минувшим днем отдавшего свои комнаты военным из Ленинграда.

Астанин в числе нескольких других опытных командиров с наивозможной срочностью организовывал оборону на этом участке фронта.

— Справа,— говорил он, отчеркивая на карте,— у тебя будет Бородин. Дивизия у него отличная, кадровая. Сейчас они на марше. Слева на рубеж выходит пехотное училище. Курсанты.

Они переглянулись. Оба знали, что такое курсанты. Оба в годы гражданской войны сами были курсантами, сами не раз в дни тогдашней учебы «выходили» вот так «на рубежи» то в районе Перми, то здесь, под Нарвой, то под Павловском и Ям-Ижорой, и всюду, где дрались красные курсанты, противник бывал неизменно бит.

Весь минувший день они проездили по дорогам участка, добрались пешком до берега Луги. Немцы наводили через реку переправы в двух местах. Нашей авиации почему-то не было — Астанин так и не смог выяснить почему; дальнобойная артиллерия не подошла. Сопротивление немцам оказывали только разрозненные отрядики: то ли службы ВНОС — воздушного наблюдения, оповещения и связи, то ли совхозные и эмтээсовские добровольцы — истребители вражеских десантов.

— Твои части ближе всего, дружище, и на тебя ложится эта наиважнейшая задача: вышибить противника снова за реку. Нельзя ему тут быть. Ты же помнишь, что именно здесь переправилась конница Ливена. Когда это было? Да, да, в девятнадцатом! И как, черт бы их побрал, лихо прорвались они отсюда на Гатчину и на Царское Село.

Лукомцеву прорыв белых конников в районе Поречья был хорошо памятен. Как раз в тех боях он получил свою первую рану и пролил первую кровь за Советскую власть.

— Ты должен сковать врага самым отчаяннейшим сопротивлением и тем предотвратить прорыв, совершенно недопустимый по его катастрофическим последствиям. Если мы это сделаем — а мы обязаны это сделать,— то у командования фронтом будет время для

переброски необходимых сил. А затем, конечно, контрудар...

Лукомцев поглаживал ладонью гладко обритую голову. Где-то — он даже точно знает где — в эшелонах в эти минуты к станции Вейно движется его дивизия. Его дивизия! Слов нет, бойцы и офицеры той дивизии — цвет Ленинграда, в их мужестве, отваге, преданности Родине сомнений быть не может. Но это все-таки ополченцы, мирные, славные люди. Война же требует большего, чем только мужество и отвага. Она требует умения, требует специальных воинских знаний, навыков. А тут слесари, токари, инженеры, экономисты, парикмахеры... Большинство из них и в армии-то никогда не служило.

Не допустить прорыва, выбить за переправы!.. Два дня назад он был на Военном совете в Смольном. Там тоже чертили на картах. Блицмарш немцев на новгородском направлении сорван контрударами наших войск в районе Сольцов и Шимска. Остановлены немцы, как уже все теперь видят, и на подступах к Луге. Наиболее короткие и удобные пути на Ленинград противнику закрыты. Но угроза городу тем не менее продолжает расти: враг двинулся в обход лужских рубежей. Астанин прав. Воздушной разведкой мотоколонны наступающих обнаружены значительно правей первоначального направления: немцы пошли лесами через Ляды. Намерения их очевидны: в районе Сабска форсировать Лугу — река в этом году сильно обмелела,— выйти к Молосковицам и Кингисеппу, перерезать железную дорогу Нарва — Красногвардейск и шоссе Нарва — Красное Село. А это значит, что Лужская группа наших войск отсечется от войск, ведущих тяжелые бои в районе Нарвы. Войдя в этот прорыв, немцы растянутся и по тылам.

Так говорили два дня назад в Смольном. Но вот противник уже на берегах Луги, в районе Сабска наводятся переправы, того и гляди, танки Гитлера ворвутся в Кингисепп... События нарастают со страшной скоростью. Уже еще меньше надо рассуждать и больше надо делать.

Немолодой полковник знал, что такое война. Не зря они с Астаниным вспомнили и курсантов и конницу Ливена. В этих самых местах, здесь, под Кингисеппом и в Кингисеппе — в те времена это был Ямбург,— они тоже когда-то дрались с Юденичем и Родзянко, отступали отсюда чуть ли не до окраин Петрограда, а потом без

остановки вновь катились до Ямбурга и даже до Нарвы. На войне всякое бывает. Но для того чтобы было так, как надо тебе, а не твоему противнику, необходимы боеспособные, хорошо оснащенные, хорошо обученные войска.

— Ох-хо-хо, Петр,— сказал он. — Две только недельки и позанимались командиры с дивизией. Где же, где же наши кадровые части?

— Сам знаешь где,— ответил Астанин.— Сам знаешь, в какой перемол пошли они в западных областях. Восьмая армия откатывается из Прибалтики. Поезжай в Нарву, полюбуйся — одни остаточки. Не знаю, как тут судить, но, на мой взгляд, дело они в общем-то сделали. Смотри, Таллин как держат. Я, знаешь, не из тех, которые готовы за каждую военную неудачу тащить командира в особый отдел. Война есть война. Ты — одна сторона, а там, у них,— другая. И у нее, у той стороны, тоже свои головы и свои умы. В общем, вот так!..

Лукомцев еще раз окинул взглядом эту случайную, чужую комнату. Пожалуй, здесь было все-таки не райфо, а райзо. Для чего бы иначе за тем вон шкафом стоять снопу пшеницы. Хозяйствовал, значит, за этим столом, за которым сидит сейчас генерал Астанин, какой-то человек, обеспокоенный судьбами урожаев в Кингисеппском районе, говорил по тому вот телефону с председателями дальних и близких районов: с Сабском, наверное, говорил, с Поречьем, где сегодня немцы; сиживали перед ним на этом стуле, на котором сидит он, Лукомцев, с утра до вечера посетители — тысячи их тут поди перебывали,— требовали суперфосфата, сеялок, жнеек, тракторов, семян, денег. А чего потребует он, Лукомцев, у Астанина? Надо или очень многого требовать, или ничего. Многого у Астанина у самого нет. Да, если поразобраться как следует, у него только и есть покамест, что эти исчерченные карты, да и будет ли что-либо, кроме них, кто знает...

— Слушай, Петр, я, пожалуй, поеду,— сказал он, подымаясь. — Встречу дивизию.

— Чаю не хочешь?

— Нет, не хочу. Ни чаю, ни водки.

Пожали руки друг другу. Лукомцев вышел на улицу к своей машине. Это был большой черный «студебеккер». Где его успели захватить, трудно сказать. Может быть, конфисковали у прибалтийского немца-помещика, а мо-

жет быть, отбили в боях: из-под Сольцов, как известно, противник только что бежал и кое-что, удирая, бросал на дорогах. Как бы там ни было, машина оказалась исправной, сильной, удобной. За два с половиной часа доехали вчера от Ленинграда до Кингисеппа. До Вейно тут совсем недалеко, менее чем за полчаса доедут, можно не спешить — эшелоны подойдут только к утру.

— Поезжайте потише,— сказал он шоферу. — Прокатимся по улицам, посмотрим городок.

Начинало светать. Город спал, спал мирно, тихо, в старых домишках и в новых домах. Войны бы совсем не чувствовалось, если бы не грузовики во дворах и на улицах, если бы не зенитные пушки у моста через реку, если бы не связисты с катушками, среди ночи тянувшие линию через сады и огороды.

На одной из улиц, которая показалась ему знакомой, Лукомцев вышел из машины и встал против бревенчатого, обшитого тесом домика, который тоже, как ему казалось, был связан с какими-то далекими воспоминаниями. То ли ночевать здесь приходилось когда-то, то ли штаб в нем располагался... Что-то такое было, а что — и не вспомнить.

— Товарищ командир,— услышал он голос, и со скамейки возле ворот поднялась женщина.

— Вы кто? — спросил Лукомцев, стараясь быть строгим.

— Дежурная я. Сижу вот и думаю: неужели немцы к нам придут? Бежать же тогда надо, не оставаться же у них. А власти наши районные помалкивают: ни да не говорят, ни нет. Если самим, без распоряжения, эвакуироваться — струсили, скажут. А ждать — вдруг не дождешься, вдруг опоздаешь. Как быть-то, товарищ командир?

Что мог сказать в ответ Лукомцев? Бегите, дескать? Панику подымешь. Оставайтесь, ждите. Какими же словами будет поминать его эта женщина, попав к немцам.

— Не знаю,— сказал он честно. — Не знаю, дорогая. И не сердитесь на меня, пожалуйста, за это.

— Чего же сердиться-то. — Она потеряла к нему интерес и вернулась на скамейку.

Он сел в машину и уехал. Чувство вины в нем не проходило. Возможно, именно так чувствует себя и врач у постели больного, которому помочь не в силах. «Но что,

что я могу? — думал он, нетороплнво катя лесной дорогой к Вейно. — У меня всего несколько тысяч бойцов. Да и те едва умеют держать винтовку...»

Он вздрогнул. Впереди громыхнуло так, что толчок отдался в пол машины, ударил по каблукам сапог. Шофер затормозил. При выключенном моторе грохот впереди стал еще сильнее. В утреннем безоблачном небе ходили самолеты. «Бомбят,— подумал он. — И, кажется, бомбят Вейно».

— Давай туда! — скомандовал он шоферу. —Но осторожно. Под бомбы лезть не надо.

3

Третий день шла усталая Зина по шоссе вдоль залива. Асфальт сменился спачала щебенкой, а теперь — круглым горячим булыжником, на котором подкашивались ноги. С утра до ночи палило совсем не ленинградское, жаркое солнце, тонкоствольные высокие сосны, поднимавшиеся прямо из прибрежного песка, почти не давали тени, натертые ремнями мешка плечи деревенели. Только ветер, прорываясь порой сквозь сосны с моря, освежал лицо, проскальзывал в рукава. На минуту от этого делалось легче.

Впереди на береговых холмах стоял лес — настоящий, густой и темный. Зина прибавила шагу, чтобы переждать полуденный зной в тени. Не в этом ли лесу ученицей восьмого класса она собирала ландыши? Недалеко где-то обрыв над морем, там, помнится, много земляники. Зина узнавала места. Сторонясь встречных и обгоняющих машин, она шла быстрей и быстрей. Но, войдя в лес, невольно остановилась. На знакомом обрыве — две строгие шеренги матросов в бушлатах. Пред ними — прямоугольная яма в желтом песке, красный гроб с бескозыркой на крышке. Кто-то с непокрытой головой стоит перед строем, резко выбрасывая руку вперед. Удары волн под обрывом, шум сосен заглушают его слова.

Зина бывала на море, видела матросов на Севастопольском рейде в белых шлюпках, над которыми ряды весел взлетали легкими, многоперыми крыльями. Она видела, как шлюпки приставали к берегу, матросы выскакивали на пирс и шли на городские бульвары. Веселыми, энергичными, ловкими запомнились они ей. Но

эти, здесь, на обрыве, будто окаменели в своей траурной безмолвной шеренге.

Зина отерла ладонью влажный лоб, откинула за ухо темную прядь. Резкий возглас «Залп!» прервал ее мысли, земля дрогнула, и, разметав чаек, в море покатился тяжелый гул. Ветер потянул чем-то кислым и острым. Зина девочкой слышала пушку Петропавловской крепости, которая стреляла ежедневно в полдень. Выстрел был мягкий и величественный, такой же непременный в городе, как и сама крепость. А эти выстрелы гремели раскатами грома. За каждым из них что-то злое, шипя, вспарывало морской воздух. В память о погибшем товарище балтийцы салютовали боевыми. Снаряды шли через залив, к изломанной линии противоположного берега. А когда над свежей могилой на обрыве вырос песчаный холм, в морской дали нежданно возник гул ответной канонады. Те снаряды, падая в море, взбрасывали белые фонтаны воды и брызг. Они не достигали обрыва, но Зина прижалась к стволу сосны и не могла оторвать глаз от взблескивающих на солнце водяных столбов. Она догадалась, что это немецкие снаряды и что на том берегу — уже враг.

Зина вернулась на дорогу и снова пошла по горячим камням. Ее обгоняли грузовики с войсками, тягачи тащили орудия; навстречу катили санитарные машины с матовыми стеклами кузовов — на шоссе пешеходу не оставалось места. И вдруг совсем невоенное слово «Воздух!», выкрикнутое тревожным голосом, все изменило. Машины с полного хода свернули в кусты; пушки, укрытые ветвями, застыли на обочинах, люди бросились врассыпную — под деревья, в канавы. Дорога опустела. Зина машинально сделала то же, что и другие: она побежала в лес, легла на теплый песок, усыпанный хвоей, и замерла в ожидании страшного. Было томительно тихо. И вот, воя моторами, издавая ревущий свист, над дорогой пронесся самолет — так низко, что Зине показалось даже, что она видит очки и шлем летчика. Из-под черных свастик к земле брызнули пучки белых струй — пули, как искры, вспыхнули на дорожных камнях, заставив Зину еще плотнее прижаться к земле, закрыть голову руками и зажмурить глаза. В эту минуту она представила себе Андрея, который, может быть, так же, как и она, прячется от немецких самолетов. А что, если

и он, как сегодняшний моряк, там на обрыве?.. Нет, нет, не может быть, не может!

Пять дней... Как это теперь кажется давно! Она пришла к школе на Обводном — там полк Андрея дожидался отправки на фронт,— и они так хорошо тогда побеседовали. Она поднялась на носки, протянула к подоконнику руку. Андрей сжал ее и поцеловал кончики пальцев — дальше достать не мог,— засмеялся. На прощанье сказал: «Завтра приходи, сейчас некогда, много работы». Но назавтра окно было пусто, двери подъезда раскрыты настежь, часового возле них нет, на мостовой — картон от раздавленных пакетов, в каких, Зина знала, хранятся патроны, в здании по длинным коридорам бродил ветер...

Из подъезда вышла дворничиха с метлой и сказала участливо: «Своего высматриваешь? Ушли. Ночью ушли, ласточка. Ружья зарядили и ушли. Жди письма теперь». Ушли. А куда? На фронт, на войну. Но разве это адрес! Зина готова была пойти к дворничихе, попросить у нее чернил, бумаги и тут же, сию минуту, — ей это было до крайности необходимо — написать длинное, в пять, нет — в десять, в двадцать страниц письмо. Рассказать Андрею все, что думает она о нем, о их жизни, о любви. Когда были вместе, казалось: к черту слова, все ясно и без них. А теперь выяснилось, что за пять лет жизни вообще ни о чем, что было в сердце, по-настоящему и не сказано.

Но дворничиха принялась сметать мусор с тротуара, и Зина побежала в партийный комитет района, пославший дивизию добровольцев на фронт. Измученный бессонными ночами, секретарь райкома рассеянно поглядел на Зину, хотел было сказать что-то, но помешал телефонный звонок. Потом зазвонил второй аппарат. Секретарь беспрестанно снимал трубки, прикладывал их то к одному, то к другому уху, в кабинет входили люди, косились на Зину, вели разговор вполголоса. Зина почувствовала, что мешает, и ушла, так и не выдав своих дум, не сказав, что, кажется, она сглупила, что ей тоже надо было идти в полк: дружинницей, машинисткой, прачкой — лишь бы с Андреем.

На улице ее остановила полная молодая женщина в широкой и длинной, скрывавшей беременность толстовке. Она спросила: «Жена Кручинина?» Зина бросилась к ней: «Вы знаете Андрея?» Неизвестная за ми-

нуту до этого женщина уже казалась ей давно знакомой и близкой. «И вас встречала, — ответила та, — в одном доме живем. Я Соня Баркан. Смешная фамилия, да? На родине мужа, в Дновском районе, так морковку в деревнях называют. Муж теперь комиссаром в полку, в том же, где и ваш. Куда уехали, не сказал, сам не знает, но по слухам — в Маслино. Помните, прошлым летом дети там в лагере были».

Вечером Зина зашла к Соне. «Поезда не ходят, пойду в Маслино пешком. Может быть, и подвезут. А в полку, думаю, дело найдется».

Детей — четырехлетнюю Катю и трехлетнего Шурика — она отвела к матери Андрея, суровой и умной старухе. «Уж вы, мама... — начала было Зина виновато. — Они шалуны...» Но старуха остановила: «Не объясняй. Троих вырастила. А ты его береги там и сама берегись. Вояка!» — Она прижала Зину к груди.

Многие уходили в те дни. Мужчины — с винтовками за плечами, женщины — с санитарными сумками. В железнодорожных эшелонах, в грузовиках, в автобусах, взятых прямо с городских улиц, они отправлялись за Лугу, под Нарву, в Новгород... Все смотрели на карты. Стрелы немецкого наступления, пронзив Каунас, разветвлялись к Риге, Тарту, к Острóву, огибали Чудское озеро... И по мере того как стрелы приближались, все меньше людей оставалось в городе. Ленинградцы шли им навстречу.

Зина складывала белье в охотничий рюкзак Андрея, совала туда свертки с колбасой, сыром, сахаром. Вдруг, тяжело дыша, вошла Соня. «Думала, не поспею... Зиночка, милая, просьба к тебе. Через неделю моему супружку тридцать стукнет. Подарок ему. Не тяжелый: письмо да вот коробка. Она удобная, дай я ее тебе сама в мешок устрою. Помнется — не беда. Подумать только — тридцать. А совсем недавно двадцать семь было...» Соня вздохнула, то ли сожалея о том, что муж будет праздновать свое рождение без нее, то ли, что годы летят так быстро.

И вот уже третий день Зина в пути. Ночевала на сеновале, в копнах среди поля. Маслино осталось в стороне. Полк Андрея и в самом деле проходил там, но не остановился. Дежурный парнишка-телеграфист сначала отказался разговаривать: военная, мол, тайна. Но, по-мальчишески оглянувшись, — не слышит ли кто? —

посоветовал: «В Вейно идите, тетенька, наверное, там». И Зина идет в Вейно. Слово «Воздух!» заставило ее близко ощутить войну.

Стукнув о землю, упала сосновая шишка. Зина подняла голову: по ветвям над ней прыгала белочка и опасливо поглядывала вниз. Люди выходили из леса, шоферы снова заводили машины. Группа командиров собралась возле опрокинутого в канаву грузовика с ящиками. Зина тоже подошла: грузовик был словно искусан огромными зубами.

— Из крупнокалиберного запустил, — сказал майор в пограничной форме. Окинув быстрым взглядом потрепанные туфли Зины, ее тяжелый рюкзак, он спросил: — Далеко путь держите? В Вейно? Что ж, садитесь, немножко подвезу, — и открыл дверцу «эмки», затянутой зеленой маскировочной сеткой.

«Пограничники, пограничники, — думала Зина. — А где же теперь граница? Неужели надолго такой ужас, охота на людей с самолетов, смерть, кровь? Какая чудесная начиналась жизнь! И вот все пошло прахом, прахом». Она думала об Андрее, о своих ребятишках, о доме. Лишь бы дети, лишь бы Андрюша были живы, а дом... что дом! Домов можно сколько угодно настроить, человека же, если его не будет, уже никто не вернет. Опять перед глазами возникла черная бескозырка на красной крышке гроба и чайки, плачущие над морем.

4

В нескольких километрах от Вейно, в большом селе Оборье, под кладбищенской часовней врыт в землю прочный и мало кому заметный блиндаж. На грубых, наскоро сколоченных столах, на бревнах, подпирающих кровлю, на стенах, обшитых пахучей фанерой, трещат звонки полевых аппаратов. Их более десятка. Раннее утро, над землею рассвет, но здесь, в блиндаже, ни утра, ни ночи — круглосуточное, неусыпное бодрствование. Возле каждого аппарата дежурный. Аппараты живут: живут и дежурные.

Из разноголосого гула вырываются фразы условного языка:

— Курс 95, высота 30, три Ю-88, два МЕ-109.

— Курс 95, четырнадцать Ю-88...

— Курс 95...

Курс 95 — генеральный курс немецких бомбардировщиков. Этим курсом «юнкерсы» и «хейнкели» прокладывают воздушный путь на северо-восток, к Ленинграду. Тяжело груженные бомбами, они прячутся в облаках или жмутся совсем к земле, пытаясь так или иначе прорвать кольцо зенитной обороны. Но наблюдатели замечают их еще над линией фронта. И тогда с какой-нибудь колокольни, с крыши или сосны телефонный звонок несет в блиндаж роты воздушного наблюдения:

— Курс 95...

Под выкрики дежурных в углу блиндажа на широком сундуке дремлет политрук Загурин, комиссар батальона ВНОС. Ночью он объезжал посты на берегу залива. Загурину снится командир полка. Дымя папиросой, тот говорит: «Товарищ политрук, вы давно проситесь на командную должность. Вы, кажется, строевик?» — «Да, я строевой лейтенант, товарищ майор». — «Прекрасно. Мы дасм вам стрелковую роту». — И командир кладет ему на плечо тяжелую руку. Загурин вскакивает, но за плечо его трогает не командир полка, а встревоженный командир роты:

— Товарищ политрук, с четырнадцатого доносят, что обнаружены немцы. Танки, пехота, грузовики...

В трубке аппарата, связывающего с четырнадцатым, — шум, треск и торопливый голос:

— Мы под обстрелом...

— Снимайтесь! — крикнул в трубку командир роты. — Сматывайте кабель! Отходите!

— Чепуха какая-то... — Сон окончательно покидает Загурина. Он вскакивает со своего сундука. — Постойте! Какие немцы? — Загурин раскладывает зеленую карту с голубыми пятнами озер. Шоссе от Оборья, где стоит рота, бежит к югу лесом до Вейно, пересекает там железнодорожную линию и подходит к большому селу Ивановское. В пятнадцати километрах за Ивановским — лесопильный завод, где на крыше одного из корпусов — дозорная башня четырнадцатого поста. Фронт — вон он где, на юго-западе, за Плюссой. А здесь, под Ивановским, какие здесь немцы?! — Ну-ка, вызовите еще раз четырнадцатый.

— «Пенза», «Пенза»! — кричит телефонист. — «Пенза»! Не отвечают, товарищ политрук. Видать, смотались.

Загурин молчит с минуту, вглядываясь в карту, потом приказывает:

— Ермакова ко мне!

Утирая ветошью руки, вбегает загорелый, наголо обритый боец:

— По вашему приказанию, товарищ политрук, шофер Ермаков явился!

— Как машина, Василий?

— В порядке. Только что масло сменил.

— Заводи!

— Куда? — с тревогой спрашивает командир роты.

— Лично проверю...

Миновав ажурные кладбищенские ворота, черная «эмка» свернула на шоссе и сразу же утонула в клубах рыжей пыли. Семикилометровый путь до Вейно занял несколько минут. Но у шлагбаума пришлось задержаться: над железнодорожной станцией большой плавной каруселью ходили, как Загурин сразу узнал по характерному излому крыльев, немецкие пикировщики Ю-87. По одному отделялись они от стаи, резко падали вниз и почти над самой землей сбрасывали бомбы. Густой дым волнами катился по пристанционному поселку, и, когда рассеивался, открывались раздавленные, рассыпанные по бревнышку, когда-то уютные желтые домики железнодорожников, разбросанные повсюду доски, жесть, шкафы, кровати и мелкое, сверкающее на солнце стеклянное крошево.

— Ну как? — Загурин вопросительно взглянул на Ермакова. — Проскочим?

— Попробуем, товарищ политрук. — Ермаков дал полный газ, пролетел короткой улицей по разметанным щепкам и кирпичам и через линию свернул на Ивановское.

После вейнинского грохота неожиданная тишина в Ивановском показалась особенно глубокой и мирной. Загурин приказал остановиться, вышел на дорогу, прислушался: было тихо и за лесом, тянувшимся к югу от села. Только на луговине возле прудка кто-то бегал, слышались крики, хохот. Окликнул женщину с корзинами на коромысле:

— Что там за возня?

— Наши, деревенские. Сегодня ж воскресенье. А вчера рожь дожали. Вот и веселятся.

Успокоенный, Загурин поехал дальше.

Впереди был глубокий овраг, на дне которого горбился свежими бревнами мост. Ермаков знал дорогу и не тормозил, машина ходко понеслась под кручу. Внезапно переднее стекло коротко хрустнуло и, словно схваченное морозом, покрылось густым сплетением трещин. Встречный ветер со свистом потек в кабину. Ермаков и Загурин переглянулись: пуля!

Вторая пуля ударила в раму, третья полоснула тент. Ермаков даванул педаль тормоза, машина задымила резиной и остановилась. Политрук, а за ним и шофер выскочили в канаву.

На противоположной стороне оврага, за мостом к лесопильному заводу, они увидели танкетку.

5

В тот день эшелон с полком, в состав которого входила рота Кручинина, прибыл на станцию Вейно. Геолог Фунтик, который бывал здесь в прошлом году на сланцевых разработках, безмолвно оглядывался вокруг. Половина легкого вокзального зданьица, как будто его с размаху ударили сапогом великана, была сброшена прямо на железнодорожные пути. В оставшейся половине блестел кипятильник-титан, на буфетной стойке, торопливо растаскивая хлебные крошки, возились галки и воробьи. Над поселком все еще висела пыль, и в развалинах, отыскивая поломанную мебель, остатки одежды, битую посуду, копошились люди; где-то плакали — тонко, монотонно, будто стонали. Сердце Кручинина сжалось: может быть, и в Ленинграде уже так? Сумрачный, выстроил он роту возле вагонов и приказал начать перекличку.

— Селезнев Борис? — вызывал старшина.

— Козырев Тихон?

— Бровкин Василий?

— Фунтик Вячеслав?

Люди отвечали нечетко, сбивчиво. Ошеломленные, растерянные, они косились на свежие развалины станции. «Что же будет дальше?» — читал Кручинин во взгляде каждого. В эту минуту он увидел инструктора политотдела дивизии Юру Семечкина. Юра был членом парткома, на заводе его любили за веселый, простой нрав, за те добрые, хорошие советы, которые он умел дать

товарищу. Кручинин хотел было его окликнуть, но следом за Юрой, тоже по путям, медленно шел пожилой полковник. Несмотря на палящее солнце, он был в кожаном пальто, на петлицах которого поблескивали ряды красных прямоугольников. Невысокий хмурый полковник слегка сутулился, смотрел в землю. Кручинин догадался, что это командир дивизии Лукомцев.

Когда комдив поравнялся с ним, Кручинин скомандовал роте: «Смирно!» — и отдал рапорт. Полковник поздоровался, внимательно, исподлобья осмотрел шеренгу бойцов.

— Вы кадровый? — спросил он Кручинина.

— Из запаса, товарищ полковник.

— Воевали?

— В финскую кампанию, товарищ полковник. Но на передовой не был. Человек десять у меня в роте обстрелянных, дрались на Карельском перешейке. Есть, которые служили действительную. Но большинство... сами понимаете, товарищ полковник. Добровольцы. Желание бить врага...

Лукомцев смотрел на него и молчал. Не таким представлял себе Кручинин командира дивизии. Он представлял его бравым, живым, энергичным, за которым не задумываясь кинешься в пекло. Тягостное молчание смутило Кручинина, и он сказал невпопад:

— Зато есть замечательные лыжники.

Лукомцев усмехнулся:

— Не по сезону, дорогой друг. В январе пригодятся. Берегите. — И пошел дальше.

— Воздух! — крикнул наблюдатель между эшелонами, и под его ударами загудел вагонный буфер.

— Во-о-з-ду-ух! — понеслось по путям, где шла выгрузка дивизионного имущества. Все засуетились, поглядывая в сторону водонапорной башни, над которой со стороны солнца летели бомбардировщики — пока еле заметные точки в голубом тихом небе.

Зазвучали тревожные команды. Бойцы подхватывали пушки за колеса. Тракторы рвануди тяжелые гаубицы. На потные спины взваливались ящики с патронами и снарядами. Словно стремительный шумный водоворот закипел на путях. Затем он распался и несколькими потоками схлынул с полотна, унося с собой все, что можно было унести за эти короткие секунды. Станция обезлюдела, только длинными шеренгами остались стоять вагоны.

Они дрогнули, заходили, закачались под ударами бомб.

— Черт побери! — буркнул Лукомцев, наблюдая бомбежку. — Опаздывают морячки. — Он окликнул побледневшего адъютанта и не спеша сошел с путей в кустарник под насыпью.

Рота Кручинина укрылась в огромных воронках, вырытых немецкими бомбами утром,— земля в них была припудрена желтым и еще пахла серой. Бойцы, всем телом ощущая близкие тупые удары, тесно прижимались друг к другу. Слышался шепот: «В одну воронку второй раз не попадает». Так же шепотом отвечали: «Это если артиллерия, а тут авиация. Еще как попадет!» Кручинин, лежа рядом с Селезневым, лекции которого по экономике он посещал когда-то на заводском семинаре, переживал чувство беспомощности и стыда. Ему казалось, что все видят, как он борется и не может побороть в себе страх, не может выпрямиться в рост. А тут еще, будто назло, руки скользят по свежей глине, и его тянет и тянет на дно воронки.

— Растеряли роту? — услышал он голос над собой. Поднял голову: командир дивизии. Кручинин вскочил и, балансируя на комьях глины, вытянулся:

— Вся рота налицо, товарищ полковник. В укрытии.

Лукомцев сделал вид, будто не замечает испуга людей, достал трубку: «Огонь есть?» Упираясь коленями и руками, Кручинин выбрался из воронки и чиркнул спичкой. Лукомцев затянулся, кивнул за спину Кручинина:

— В укрытии? А это что за граф Монте-Кристо?

Кручинин оглянулся. На краю соседней воронки во весь рост стоял неуклюжий боец в новом, необмятом обмундировании и, казалось, с интересом смотрел на то, как взрывы раскидывают рельсы, ломают телеграфные столбы.

— Что за тип? — повторил Лукомцев.

— Козырев! — крикнул Кручинин, узнав Тишку. — Приказа не слышал?

— Простите, товарищ старший лейтенант, невозможно это все видеть,— ответил Козырев и спрыгнул в воронку.

— Выдь-ка сюда!— окликнул его полковник.

Козырев снова поднялся из воронки и встал перед командиром дивизии.

— Чего ты тут не можешь видеть?

— Где же наша авиация, где зенитчики, товарищ полковник? Я думал, они как дадут, дадут... А тут что? Лупят нас как маленьких. Это же...

Лукомцев прищурился:

— Ну и что — носом захлюпали? Это война. Испытание нам.

Он чувствовал, что говорит что-то не то, сухо, казенно говорит. Но слов настоящих не было. Была тревога: сможет ли он с этими бойцами-философами выполнить задачу командования. Не осрамится ли? Да, собственно, дело не в сраме, а в том, что немец вырвется, смяв дивизию, на прямой путь к Ленинграду.

Он хотел сказать еще что-то, но в соседнем лесу застучали выстрелы и вокруг вражеских самолетов вспыхнули круглые дымки, тугие и белые, как вата. Строй бомбардировщиков распался, и «юнкерсы» и сопровождавшие их «мессершмитты» по одному стали уходить в разные стороны. Но белые хлопья следовали за ними, окружали их, и вспыхивали они до тех пор, пока за одним из бомбардировщиков не потянулся черный хвост дыма. Самолет заметался, пошел круто вверх. Став почти вертикально, он вдруг перекинулся через крыло и под радостные крики с земли развалился. Обломки его, свистя, посыпались в лес.

— Молодцы балтийцы! Не подвели! — крикнул Лукомцев и пояснил собравшимся вокруг него: — Морской бронепоезд. Подоспел-таки! — Он нашел взглядом Козырева: — Вот, товарищ боец, и наши зенитчики!

Через час после того, как самолеты ушли, тут же, рядом со станцией, на белом от ромашек пригорке похоронили убитых. Двоих из них Кручинин знал. Это были нормировщик Мустафин, молодой практикант из электромоторного цеха, и начальник заводской пожарной команды, рыжеусый знаток бесчисленных охотничьих историй — Данила Ерш. Третий же, как говорили, пришел в ополчение из часовой мастерской на Международном, где шлифовал камни для механизмов.

Комиссар второго стрелкового полка старший политрук Баркан сказал речь. Он говорил тихо, волнуясь. Не все его, может быть, и слышали, но все хорошо поняли. Эти первые жертвы тяжело легли на души бойцов. Потом не раз придется им видеть и кровь и смерть товарищей, но первая могила на ромашковом поле, грубый столбик с большими буквами, глубоко вырезанными по-

жом, надолго, а может быть, и навсегда, останутся в памяти каждого, кто стоял здесь с обнаженной головой в этот час.

Лукомцев нервничал, посматривая на часы. Его уже дважды вызывал по рации Астанин. В Смольном ждали донесения о выходе дивизии на рубежи Луги, ждали, что переправы противника через Лугу сегодня же будут разрушены. Поэтому, едва прогремел прощальный ружейный залп над могилой, полк выстроился в длинную колонну и двинулся по дороге на Ивановское.

К станции тем временем подходил новый эшелон с частями ополченческой дивизии.

До Ивановского дойти не удалось. Испуганные жители, спешившие к Вейно с узлами за спиной, с детишками, коровами, козами, сообщили, что в селе хозяйничают немцы. Это подтвердила и разведка. Батальоны с марша стали развертываться на опушке перед Ивановским. Все знали, что за тем сюда и ехали, чтобы встретиться именно с немцами, но никто не думал, что произойдет это так скоро. В сознании не укладывалась мысль, что в этих лесах, близ Ленинграда, бродят немцы. Еще никто из дивизии их не видел. Они казались загадочными, эти чужаки, какими-то механическими и одноликими.

Под покровом темноты начались земляные работы. Артиллеристы и минометчики устраивали себе огневые позиции: рыли котлованы для орудий, ниши под боеприпасы; саперы натягивали колючую проволоку на широкой луговине. До Ивановского было километра три, но место, где работали бойцы, находилось в низине и со стороны села закрывалось густым, в рост человека, можжевельником. Люди невольно вглядывались во мрак, туда, где лежало тихое и ставшее теперь таинственным село Ивановское.

Бровкин и Козырев работали рядом, копали твердую сухую землю.

— С командиром дивизии, значит, покалякал, — неодобрительно заметил Бровкин, присаживаясь покурить.

— А вам-то что, Василий Егорович? Вот и покалякал.

— А то, что ты еще и стоять перед полковником не научен, а туда же — в разговоры лезешь. Это штатская привычка. На войне болтовня — только вред. Человек, может, думает. Думает, как боевую задачу выполнить, а ты...

— Постараюсь учесть ваши замечания, Василий Егорович. Я же не старый вояка. Это вы чуть-чуть было «Георгия» не получили.

— Ах, Тихон, Тихон, возле смерти мы сейчас с тобой стоим, помолчал бы.

Кручинин, отдавая распоряжения, поминутно отвечая на вопросы взводных командиров, нервничал оттого, что уж слишком медленно углубляются зигзагообразные щели траншей, и ни на минуту не мог забыть о Зине. Ему казалось, что этой ночью не спит и она, что сидит с детьми где-нибудь в подвале, а над городом, как сегодня над Вейно, ходят немецкие бомбовозы...

6

— Нельзя оставлять,— сказал Загурин, поняв, что «эмку» уже не развернуть на дороге, и расстегнул сумку с гранатами. — А ну, Василий, разом!

Гранаты ударили одновременно. Машина осела, в ней заплескалось дымное пламя.

— Теперь пошли! — И они канавой поползли в сторону от оврага. Пули били им вслед, срезая листочки подорожника, молодые ветви ракит, вскидывали песок. Странное было чувство. Нет, это не было страхом. Скорее, оно походило на недоумение, смешанное с какой-то азартной лихорадкой. За ними охотятся, но они во что бы то ни стало должны перехитрить, обхитрить, победить. Они сильнее, умнее, ловчей. Они советские люди, коммунисты, большевики. А там?.. Там гитлеровцы, фашисты, отбросы человечества, возомнившие себя «над всеми», «юбер аллес!» Нет, черта с два! Посмотрим, чей верх будет!

Загурин оглянулся, заметил позади, тоже в канаве, немецкие головы и несколько раз подряд выстрелил из пистолета в темные каски. В живых людей он стрелял впервые в жизни. Это получалось совсем иначе, чем в те мишени, которыми изображались люди условные. Ермаков разогнулся на мгновение, швырнул гранату, и тогда оба броском поднялись на крутой склон, скрытые ельником, побежали к лесу. Загурин чувствовал сильную боль в ноге, но не останавливался. Только, когда опасность миновала, где-то уже далеко от дороги, он повалился в мох. Ермаков снял с его правой ноги пробитый сапог и

осторожно загнул штанину. Пуля повредила мышцу ниже колена.

— Царапина! — Такой бравадой Загурин старался ободрить и себя и Ермакова. Он сам достал бинт из сумки противогаза. — Затяни-ка потуже.

А когда рана была забинтована, предложил отрезать голенище, чтобы ноге было спокойней.

— Что вы, товарищ политрук! — Ермаков возмутился. — Такой хром гробить!

— Потом пришьем когда-нибудь.

— Вида не станет, товарищ политрук. Лучше я вам голенище закатаю. — И Ермаков ловко превратил сапог в подобие домашней туфли.

С полчаса они брели опушкой вдоль дороги, укрываясь в спасительном ельнике. Загурин прихрамывал, останавливался. Во время очередной остановки он услышал оклик из чащи:

— Товарищ политрук!

— Из-за сосен вышел командир четырнадцатого поста младший лейтенант Рубцов и поманил рукой в лес. Загурин и Ермаков пошли за ним. Навстречу поднялись еще четыре бойца. У их ног стояли аппараты полевых телефонов, лежали винтовки, мотки провода.

— Троих потеряли, товарищ комиссар,— доложил Рубцов. — Пробивались лесом, кружным путем, километров двенадцать. Да все бегом, взмокли. Вот остановились передохнуть.

— Кого потеряли-то? — спросил Загурин, оглядывая бойцов и стараясь вспомнить всех, кто был на четырнадцатом посту. — Семенова, что ли?

— Так точно, товарищ политрук.

— Шургина тоже?

— Да, и Шургина.

— И Авдеева?

Он представлял лица погибших, простых, хороших, веселых ребят; вздохнул, снял фуражку.

— Садитесь, — сказал обступившим его бойцам и сам опустился возле сосны, привалясь спиной к липкому от смолы шероховатому стволу.

Посидели так, покурили, пораздумывали. Потом Загурин разложил на коленях карту:

— Вот что, ребята. Я вам тут маршрутик покажу, как до роты добраться. Смотрите.

Рубцов тоже склонился над картой и внимательно следил за кончиком загуринского карандаша — лесом, целиной, по еле приметным тропкам спешившего на восток.

— Ясно? — спросил Загурин, когда карандаш уперся в кружок «Оборье».

— Ясно, товарищ политрук.

Загурин набросал в блокноте несколько строк, со слов Рубцова сообщая командиру роты число танков противника, число грузовиков и солдат, и заканчивал просьбой немедленно донести об этом командованию. Сложив листок, он протянул его Рубцову.

— А теперь — марш! Пути километров двадцать пять. В распоряжение у вас пять часов. В двадцать три ноль-ноль приказываю быть в Оборье.

— Есть, товарищ политрук, в двадцать три ноль-ноль быть в Оборье. — Бойцы подняли на плечи аппараты, и Загурин всем пятерым пожал руки: счастливой дороги. Протянул руку и Ермакову. Тот отшатнулся.

— Нет, товарищ политрук. От вас никуда. Вместе ездили, вместе и ходить будем.

Загурин прикрикнул:

— Отставить разговоры!

Он взял у Рубцова листок и протянул его взволнованному шоферу:

— Сержант Ермаков! Ровно в двадцать три лично вручите командиру роты. Повторите приказание!

Все шестеро ушли. Загурин остался один. Он отнюдь не полагал, что совершает нечто героическое. Бойцов держать здесь, при себе, было нельзя. Они могли быть остро необходимы в роте. А он сам? Потихоньку и он добредет до Оборья. У немцев здесь, видимо, только разведка. Когда еще они двинутся основными силами. А завтра он будет в Оборье. Отдохнет вот только, поуспокоит ногу. А кроме того, есть возможность последить за вражеской колонной. Это тоже пригодится командованию.

Он сидел под сосной до тех пор, пока не услышал шума моторов. Тогда подполз ближе к дороге и стал наблюдать. Сначала проехала группа мотоциклистов, за ними прогремели три танкетки. «Которая же из них мою «эмку» изуродовала?» — подумал Загурин. Потом пронеслась неуклюжая пятнистая, как пантера, машина с поднятым парусиновым тентом, в ней, судя по заломленным фуражкам, несколько офицеров. За этой маши-

ной появились танки, приземистые, плоские, как крабы. Пять, десять, пятнадцать, двадцать... Наконец показались грузовики с пехотой. Загурин поднялся и, с трудом ступив на больную ногу, пошел вдоль дороги, не выпуская немцев из виду. Он продолжал считать машины, насчитал около двух тысяч солдат мотопехоты и сбился со счета.

Пробираясь кустарником, Загурин сопровождал немцев до самого Ивановского. Остановился на краю леса перед сжатым полем. Дорога, тянувшаяся к селу, была загромождена автомобилями, вездеходами, броневиками, тягачами с орудиями на прицепе, мотоциклами. Крики солдат и команды офицеров, скрежет металла, стук моторов гулко отдавались в лесу.

В душу стало вползать смятение. Что же это такое? Это уже не разведка. Это боевые, отлично оснащенные техникой части. Значит, обошли, прорвались. Теперь пойдут на Вейно, на Оборье, а дальше — ровный широкий асфальт до Ленинграда... Загурин гнал от себя мысль о том, что и он сам, в сущности, уже отрезан от своих. Он думал о Ленинграде. А вокруг слышалась чужая речь, рокотали чужие моторы.

7

Утром в блиндаже командного пункта дивизии зазуммерили телефоны, телефонисты вызывали то «Волгу», то «Каму», то «Урал». По лесным тропинкам побежали, помчались на мотоциклах связные, посыльные, делегаты связи прятали за пазухи гимнастерок засургученные пакеты; к середине дня в лесу началось движение: артиллерия меняла позиции. Снялись и куда-то ушли штабные установки четырехствольных зенитных пулеметов. Лукомцев лично дал им какое-то задание.

На «Каму», как условно назывался второй стрелковый полк, ложилась вся тяжесть предстоящей операции. Операция была задумана Лукомцевым смело. Командир полка капитан Люфанов и комиссар старший политрук Баркан прекрасно понимали, что успех предстоящего боя может надолго отнять у немцев инициативу на этом решающем участке фронта. Но если неудача? Люфанов откровенно волновался: первый бой, да к тому же рискованный. Баркан скрывал волнение. Неразговорчивый по

натуре, он только еще больше молчал. Что принесет полку, всей дивизии этот бой?

Прошла еще одна тревожная и бессонная ночь. На рассвете немцы, сосредоточившиеся в Ивановском, открыли ураганный минометно-артиллерийский огонь. И как раз по участку второго полка. Казалось, что противник разгадал планы Лукомцева. Этот огонь подействовал на всех угнетающе—на всех, кроме полковника, который свой наблюдательный пункт поместил в непосредственной близости от полкового и, выбритый, свежий, бодрый, занял место возле полевого аппарата. Перед ним на раскладнсм столике была раскинута карта, лежали цветные остро отточенные карандаши—«штабное оружие», как он их называл.

Лес ревел от взрывов, мины ломали вершины сосен, осколки горячим косым ливнем хлестали по ветвям, по стволам, по земле. Сбитые листья кружились и падали густо, как в октябре после ночного заморозка.

— Запаслись боеприпасиками,— мрачно повторял начштаба майор Черпаченко, устроившись на раскладном стуле напротив командира дивизии.

Наблюдатели донесли наконец, что немецкая пехота замечена в можжевельнике. Затем — что из Ивановского вышли танки. Сообщая об этом в дивизию, Люфанов пехоту называл «ноги», а танки — «коробочки».

— Где? — Лукомцев при этом вскочил с телефонной трубкой в руках; карта на столе загнулась, карандаши посыпались на пол. — «Коробки» где?

— На флангах, по десять штук с каждого.

— На флангах? — Полковник сел на место и не спеша раскурил трубочку. — Отлично. Вот это отлично.

Немцы поднялись в атаку. Они не бежали, не кричали угрожающе, а шли большими, длинными шагами, двигались плотной массой сразу против всего фронта второго полка. Справа и слева, обгоняя солдат, не слишком торопясь, как бы нащупывая дорогу, ползли танки. Черный, обломанный снарядами лес стоял перед наступающими. Может быть, немцам казалось, что лес пуст и уже мертв, во всяком случае, они очень уверенно шагали. Но лес не был мертв. Артиллеристы ждали сигнала возле орудий, пулеметчики держались за рукоятки «максимов», стрелки ловили мушку в прорезь прицела.

— Страшновато, батя, — прошептал Козырев и поднял воротник гимнастерки. — Это вроде, как в «Чапаеве» каппелевцы. А?

— Ну, брат... Ничего, — бодрился Бровкин. —Двум смертям не бывать. На рожон, Тихон, не лезь, а и спину не показывай. Даст бог, выдюжим.

Старик и молодой прислонились плечом к плечу: так было легче переносить опасность.

Танки тем временем подошли к проволоке, стали мять ее широкими шипастыми гусеницами. Солдаты бросились к проходам. Они бежали по безмолвному, пустому полю, пока из леса навстречу им не сверкнула красная ракета и за ней, словно за молнией, грянул раскат грома. Поле охватило огнем. Тяжелые гаубицы били в упор по танкам, проламывали броню, сносили башни; в воздух взлетали куски роликов, звенья гусениц, взрывались боеприпасы. Горячий ветер проносился по окопам, со стенок траншей от сотрясения пластами обваливалась земля.

Сила артиллерии, разом остановившая танки, подняла дух бойцов. Вид наступающего врага вызывал в них уже не тот, первый, казалось, непреодолимый страх, а ярость, злость, желание бить и крушить, мстить за испытанный страх. Пулеметы ополченцев скашивали пехоту. Но немецкие солдаты упрямо лезли на проволоку, стригли ее ножницами, ползли под ней на животах, перебирались по телам убитых. Проволоку заваливал серо-зеленый вал из немецких трупов. И когда враг ввел в бой резерв и из можжевельника ринулось еще несколько сотен солдат с автоматами, они перемахнули через этот могильник прямо по своим покойникам и с дикарскими, жуткими воплями устремились к линии окопов.

— Ничего, ничего, — говорил Бровкин Козыреву, в растерянности вооружившемуся саперной лопаткой. — Винтовку, винтовку бери. Дело к штыковой подходит. Ничего... Крепче локтем прижимай приклад...

До штыковой схватки в эти минуты, однако, еще не дошло. Неожиданно для бойцов и еще более неожиданно для гитлеровцев из леса на полном ходу вылетели машины с зенитными пулеметами. Зенитчики ворвались в цепи немецких солдат и ударили свинцом в упор. Казалось, противник сейчас побежит. Но тут по дороге от Ивановского немцы пустили к лесу лавину мотоциклов с колясками. Их было, может быть, сотня, может быть, полторы. А это означало, сотня — полторы гремящих пулеметов.

Кручинин, расположившийся со своей ротой как раз у дороги, почувствовал то, о чем постоянно пишут в книгах

о войне,— озноб, побежавший по телу, и противную, подлую слабость в ногах. Собрав все свои силы, он крикнул:

— Пулеметчики, ни с места, до последнего патрона! Остальные, бей гранатами! Бей и держись!

Сам он поднял из траншеи один взвод — люди выбежали вперед и притаились в придорожных канавах. Едва успели залечь, как возле Кручинина появился запыхавшийся комиссар полка Баркан.

— Правильно поступили, — почему-то шепотом сказал Баркан. — Если тут пропустим — дрянь получится. Дайте-ка и мне парочку.

Кручинин отцепил от пояса две «лимонки». Чтобы скрыть волнение, Баркан усмехнулся:

— Сегодня мой день рождения, тридцать бьет.

— Если так, то для подарка вот вам. — И Кручинин протянул ему еще и противотанковую гранату.

Баркан подбросил ее на руке:

— Вместо именинного пирога! Вот ведь какие штуки бывают на свете! Думалось ли когда...

Эти слова Кручинин уже едва расслышал: грохот нарастал лавиной. Сквозь зелень молодых сосенок он увидел, как впереди колонны в коляске мотоцикла подпрыгивает офицер в заломленной фуражке, и сжал «лимонку» в руке. Но за спиной его поднялся комиссар и, выкрикнув что-то совсем не именинное, швырнул свою противотанковую гранату. Шлепнувшись, она некоторое время катилась по дороге и грохнула почти под самой коляской. Силой взрыва, рассчитанного на танк, мотоцикл разнесло в куски. И это было как бы сигналом.

Гранаты полетели пачками и рвались на дороге залпами — голова колонны попала в ад.

Кручинин выпустил ракету, и тогда два других взвода, покинув траншеи, ударили в штыки. А стрелки соседней роты отрезали немцам путь отхода.

В рукопашной Тихон Козырев всю силу вкладывал в удары штыком и прикладом, бил гитлеровцев с яростью, нисколько не думая, что это люди, что у них где-то есть родители, дети. Это были враги, злобные и беспощадные, никем сюда не званные.

Четверть часа спустя Лукомцев прикладывал платок к своей бритой, лоснящейся голове. Ему было жарко даже в прохладной землянке, куда он перешел к этому времени; немолодое сердце давало себя знать. Карта

была истыкана булавками, чем-то закапана, как будто и на ней бушевало сражение, и даже прорвана возле узкой полоски, обозначавшей дорогу из Ивановского. Это произошло в ту минуту, когда донесли, что немцы пустили мотоциклистов. Лукомцев, предположив, что немецкие танки пойдут в обхват (так и вышло), стянул на фланги почти всю артиллерию, вплоть до тяжелых гаубиц; он рискнул оголить центральные участки обороны; он предвидел, что немцы преодолеют проволоку, и выдвинул в засады на опушку леса зенитные установки на машинах. Но мотоциклистов и вообще удара вдоль дороги не ожидал. Этот трюк с мотоциклами способен был внести немалую дезорганизацию в оборону, и неизвестно, к чему бы еще он привел. Потом, когда ему доложили, что атаку мотоциклистов по своей инициативе отбил старший лейтенант запаса Кручинин, Лукомцев вспомнил Вейно, роту, выстроенную возле вагонов, пытливые, присматривающиеся к нему, полковнику, взгляды, как бы говорящие: «Мы-то ничего, выдержим, мы еще Зимний брали, а вот как ты нас поведешь?» Улыбаясь, он туго набил трубочку «Золотым руном», и в землянке запахло медом. Что ж, перед ним уже не Родзянко и не Ливен, перед ним войска, в считанные недели и даже дни одну за другой покорявшие страны Европы, но воевать все же и с ними можно. И не только воевать, но и бить их. И он еще не такая ученая развалина, которая только и способна вести «бои» в ящиках с песочком.

8

Зину задержали в лесу. Оперативному дежурному она заявила, что хочет видеть командира. Лукомцев, узнав об этом, нахмурился:

— Дама? Нечего ей тут делать!

Но когда ее привели и он просмотрел документы, то встал навстречу и крепко пожал руку:

— Кручинина? Жена? Прошу, прошу. Только сегодня вам его, пожалуй, увидеть не удастся. До вечера, по крайней мере. Слышите — бой?

Затем полковник сел в свой черный лакированный автомобиль и уехал. Зину отвели в землянку политотдела. Здесь навстречу ей бросился заводской друг Андрея Юра Семечкин:

— Зиночка?! А вид какой! «Бежал бродяга с Сахалина...» Как ты сюда попала?

Обвешанный гранатами, с пистолетом на боку, с карабином за плечами, в огромной каске, Семечкин оставался прежним весельчаком и балагуром.

— Юра, — сказала Зина, — почему к Андрею нельзя сегодня?

Он наклонился к ней:

— Готовится атака. Ивановское будем брать... Наша задача выбить немцев с переправ. Ясно? Увижу Андрея, скажу ему. Вот будет рад!

Ушел и Юра. Усталая, легла Зина на его жесткую постель.

Пять раз в этот день бойцы достигали огородов и первых строений села. И пять раз откатывались под неистовым, проливным огнем.

В прошлом письмоносица восьмого почтового отделения, худенькая бледная Ася Строгая при каждой атаке неотступно следовала за Кручининым: «Если ранят командира, его ни на минуту нельзя оставлять без помощи». Она склонялась то к одному раненому, то к другому, делала перевязки, но и Кручинина не упускала из виду. Над полем стояли грохот, свист, крики, то тут, то там падали люди...

И Асе стало так горько, как было в минуту расставания с подругами на прощальной вечеринке. Подруги целовали тогда, шептали на ухо: «Жди нас, мы тоже придем. Думаешь, усидим тут?» И только Настя Семенова сказала: «А может быть, и не увидимся больше...» «Что ж, может быть»,— мысленно повторила Ася, пригибаясь от близкого разрыва мины, обдавшего ее комьями земли, и побежала догонять командира роты.

Кручинин шел впереди своих бойцов. Позавчера, встречая мотоциклистов, скрытый от пуль в канаве, он не мог удержаться от нервной дрожи. А сегодня почти на голом поле, перед пулеметами врага, до того к ним близко, что уже ясно видны амбразуры дзотов и вспышки выстрелов, он все-таки находит силы не только держать себя в руках, но и видеть все, что происходит на поле боя, уверенно подавать команды. Кручинин замечал, как Селезнев неуклюже держит винтовку и жмурится от своего же выстрела, как геолог Фунтик, забыв, должно быть от волнения,

правильный прием, вынимает из обоймы патроны и по одному вдавливает их пальцем в патронник. Хотелось подбежать и показать, как это делается, но Фунтик мчался дальше, не сгибаясь и пренебрегая опасностью. Бровкин, солдат первой мировой войны, пытался применять свои полузабытые армейские навыки. Он делал правильные перебежки, аккуратно прикладывался, долго целился и стрелял с колена обстоятельно и уверенно. Рядом с Бровкиным держался Тихон Козырев. Стрелять он, очевидно, тоже умел, стрелял быстро, навскидку. Друзья перебрасывались между собой отрывистыми замечаниями.

Во всех атаках участвовал и Баркан, комиссар полка, столь необычно вместе с Кручининым отпраздновавший в придорожной канаве свое тридцатилетие. С Барканом произошло то же, что и с Кручининым; он тоже не чувствовал того противного озноба, как было в первом бою, но все еще не мог определить своего места политработника и действовал то за простого бойца, то за командира.

Как ни напрягались силы дивизии, в этот день Ивановское взять не удалось. Работники штаба и политотдела по одному возвращались к вечеру в свои землянки. Юра Семечкин пришел ночью, исцарапанный, без каски. Напрасно Зина расспрашивала его об Андрее, он только сказал что-то вроде «в порядке» и заснул тяжелым сном, лежал на постели безжизненный, серый.

На рассвете Зина, не выдержав, пошла к начальнику штаба расспросить о дороге в полк. Черпаченко сказал устало:

— Связной туда едет на мотоцикле, отвезет.

Через полчаса Зина сидела на пригорке, поросшем ольхой. Было тихое росное утро, звонко кричали дрозды, и дятлы стучали по стволам деревьев.

Разбуженный Баркан вышел в сопровождении нескольких командиров. Он взъерошил волосы растопыренными пальцами и, сорвав с ольхи седой от росы листок, приложил его к глазам. Все подошли и сели на траву вокруг Зины. Она достала из мешка измятую коробку с письмом под голубой ленточкой. Баркан разорвал шелковую полоску, раскрыл коробку и поставил ее перед Зиной.

— Угощайтесь,— пригласил он всех и, пока командиры лакомились шоколадом, читал письмо Сони, быстро водя глазами по строчкам. Зина следила за ним. «Сухарь,— думала она,— даже не поблагодарил...»

Когда Баркан принялся аккуратно складывать письмо обратно в конверт, Зина сказала:

— Я хочу видеть Кручинина, мужа.

Пожилой капитан, сидевший поодаль, быстро взглянул на нее и тут же отвел взгляд. Кто-то странно кашлянул. Зина сердцем почуяла неладное.

— Андрей... — начал наконец один из командиров, но Баркан резко перебил его:

— Прекрасный командир. Смелый. Верный сын Родины!

Зина поняла. Маленькая, серая в своем пропыленном с дороги жакете, она сжалась, стала еще меньше и, закрыв лицо руками, неслышно заплакала.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

После неудачной попытки отбить у противника Ивановское командование перебросило на этот участок танковую бригаду. С ее помощью Лукомцев и Черпаченко осуществили неожиданный для немцев маневр. Два батальона второго стрелкового полка лесами и болотами двинулись в обход вражеских позиций. Под гул артиллерийской канонады бойцы прорубали просеки для танков, на зыбких местах настилали гати. Путь был тяжелый, руки от топоров и лопат покрывались волдырями, обувь размокала в трясине, одежда пооборвалась. Зато, когда танки вышли почти в тыл врагу, немцы были застигнуты врасплох, удара не выдержали и оставили деревню Юшки, расположенную на скрещении дорог правее Ивановского. Деревня горела. Бойцы, может быть, и попытались бы гасить пожары, но в колодцах воды было едва на дне, речка далеко, и они с болью в сердце смотрели, как в огне тают и превращаются в дым бревенчатые домики. Они уже в Вейно видели разрушения, произведенные врагом. Но то было сделано бомбами издалека

прилетавших самолетов. А здесь еще полчаса назад по зеленой улочке носились с факелами немецкие солдаты и поджигали все, что может гореть. Было непонятно — зачем это им? Отмахиваясь от искр, сыпавшихся с обвитой языками пламени старой узловатой березы, Бровкин сказал:

— Гермáн — он что свинья: захочет яблоко съесть, все дерево повалит. И в ту войну так было.

Каждому хотелось узнать хоть что-либо о враге: как вели себя в русской деревне немецкие солдаты и офицеры, как держались, как жили. Но спросить было не у кого, жителей не осталось; то ли раньше ушли, то ли сейчас разбежались они по лесам, укрываясь от пуль и снарядов.

Ротой Кручинина, не возвратившегося из боя, теперь командовал бывший командир взвода младший лейтенант Марченко. От Юшков рота продвинулась еще на несколько километров во фланг Ивановскому, но была остановлена сильным минометным огнем и по приказу командира полка вместе со всем батальоном стала окапываться.

Наступило некоторое затишье; ободренный успехом наступления, Лукомцев строил новые планы, тем более что вышестоящее командование, покинув Кингисепп, слало приказы только на наступление.

— Я думаю, майор, — сказал он как-то начальнику штаба Черпаченко, — что следующий удар мы нанесем на Понизовку, и тогда Ивановское будет совсем в кольце.

— Опять правым флангом? Рискованно. А что будем делать вот с этой группой на левом?

Лукомцев склонился над картой. В левый фланг дивизии, между хутором Осиновским и рощей, условно названной «Орех», вклинилась полуизогнутая жирная стрела, которую Черпаченко старательно заштриховал коричневым карандашом.

— Риск, конечно, есть. Но если мы возьмемся укреплять левый фланг, можно упустить время. Противник перегруппируется. Давайте ударим на Понизовку?

— Все-таки это большой риск, — повторил Черпаченко. — Вместо того чтоб окружить, мы сами можем оказаться в мешке.

Начальник штаба посеял сомнение. Не доверяясь картам, Лукомцев, прежде чем принять окончательное

решение, хотел лично провести рекогносцировку. Он объездил и исходил почти весь фронт дивизии, побывал на передовых наблюдательных пунктах, понял, что немцы не оставили мысли прорваться к Вейно и что сейчас не о мелких наступательных операциях думать надо, а укреплять оборону. Коричневый клин, встревоживший Черпаченко, не случаен. Какой-то расчет немцы, конечно же, на нем строят.

2

Зине, оставшейся в полку, взамен изодранных туфель выдали парусиновые сапожки, в каких ходили дружинницы; измазанный сосновой смолой жакет она запихнула в рюкзак и надела гимнастерку с фронтовыми защитными петлицами. На берет прикрепила звездочку, подаренную Юрой Семечкиным. Она так же, как и все другие женщины и девушки, перебирала бинты в санчасти, чистила картошку на кухне. Но часто руки, скатывавшие бинт, непроизвольно прекращали движение, нож надолго врезывался в картофелину — Зина прислушивалась к шороху ветра, к далеким выстрелам. Все дни она ждала, ждала известий об Андрее. Толком никто ничего сказать о нем не мог. Тела его так и не нашли, да и искать было почти невозможно под огнем из Ивановского.

Юра Семечкин говорил, что видел Андрея где-то в кустарнике, когда отходили. Бойцы мялись, смущенно молчали, уверяли, что командира разорвало миной, потому и трупа нигде нет.

Виновато чувствовала себя и Ася Строгая. Она тоже ничего не могла сказать Зине, хотя во все время боя следила за Кручининым. Занявшись раненым пулеметчиком, Ася на каких-нибудь пять минут потеряла командира из виду. Она металась по можжевельнику, но напрасно: найти его уже не смогла. Тем временем был получен приказ отходить. Потом она узнала, что Кручинин пропал без вести, она представляла его беспомощного, теряющего силы, одинокого, где-нибудь в воронке и плакала от горя, от обиды, от сознания невыполненного долга. Встречаясь с Зиной, которая как бы видела в ней последнюю надежду, Ася краснела и опускала голову.

Так продолжалось несколько дней. Наконец как-то под вечер Зину вызвал к себе в землянку Баркан. Он

усадил ее на нары, предложил чаю и, пока Зина медленно размешивала ложечкой сахар в стакане, ходил из угла в угол. Потом сел рядом и, как Зине показалось, раздраженно сказал:

— Кручинина, у вас двое детей, зачем вы их бросили? Идите домой. Когда понадобитесь на фронте, вас позовут. А сейчас — идите. Специальность у вас есть? Бухгалтер? — Баркан снова помолчал, ероша волосы. — Ну ничего, вас научат, патроны будете делать. Идите, берегите ребятишек. Адрес оставьте.

На рассвете Зина ушла. Никто ее не провожал, она тихо покинула землянку и сквозь чащу выбралась на дорогу. Было такое же свежее ясное утро, как и в день ее прихода: влажный от росы песок под ногами, сосны, звонкие крики дроздов. Вокруг все оставалось неизменным. Белая царапина от осколка на стволе осины? Год-два — и она затянется новой корой. Выжженная земля на полянке? Уже будущей весной здесь пробьется трава. Колючую проволоку растащат крестьяне для изгородей на огородах. И ничто в этом лесу не будет напоминать о войне. И только в сердце навсегда сохранятся и этот белый шрам, и эта гарь, и песок, изрытый снарядами. Вся жизнь ее осталась здесь. А впереди? Какие-то патроны, как сказал Баркан. Вспомнив его, Зина тоже сорвала листочек, и, влажный, холодный, приложила к векам. Это освежало. Она охватила рукой черемуховый куст и мокрыми ветками умыла лицо.

— Зиночка, —услышала голос. Обернулась: Юра.

Семечкин подумал, что Зина плачет, и немного смутился.

— Прощай, Юра,— грустно сказала Зина, подавая руку. — Иду домой.

— Правильно! — Семечкин оживился. — Как раз об этом и я хотел с тобой поговорить. Здесь жара начинается, немцы танков подтянули — жуть. Будем держаться. Сегодня вызвал командир дивизии: «Юра, говорит, на тебя вся надежда». Вот иду в полк.

Зине показалось, что Семечкин выпил. А он обнял ее, сунул в руку какой-то пакетик и пошел. Юра оступался на выбоинах дороги, и Зина снова подумала — пьян. Она развернула пакетик: три слипшиеся раздавленные конфетки «Аида». Как ни тяжело было на душе, этот неожиданный подарок вызвал улыбку.

Зина шла к Вейно; густой дым стлался над станцией, над окружающими полями и рощами, утренний воздух дрожал от взрывов.

— Дура, куда прешься! — крикнул взъерошенный конник, попавшийся навстречу. — Там немцы, не видишь? — И он ускакал через ячменное поле к лесу.

Зина остановилась в нерешительности. Но мимо нее к Вейно промчались связной броневичок и санитарная машина, а за ними вскоре пошли грузовик с пушкой и автобус с бойцами. Зина двинулась к Вейно. Немцев там не было, но бой шел совсем рядом. Железнодорожные составы, один за другим, уходили на Молосковицы.

За станцией в березовой роще били тяжелые орудия. Не зная, как быть дальше, Зина решила пойти на звук этих выстрелов и углубилась в рощу. Неожиданно на повороте лесной дороги она услышала плач. За канавой, на поваленном дереве, сидел мальчик лет восьми и, опустив голову в колени, плакал.

Зина остановилась:

— Мальчик, что ты? Кто тебя?

Мальчик поднял лицо с опухшими глазами, хотел что-то сказать и заплакал еще горше. Зина протянула ему конфеты, которые все еще держала в руке. Но ребенок, надрываясь от плача, снова ничего не ответил. Тогда она присела и обняла его; мальчик прижался к ее груди, судорожно обхватил руками шею:

— Тетенька, не оставляй, возьми меня с собой, тетенька!

— Эй, пацан, что авралишь? — На дороге стояли два моряка в бушлатах. Один с винтовкой за плечами — прикладом вверх, другой с наганом и кинжалом у пояса.

— Ваш? — спросили они Зину.

Она отрицательно качнула головой.

— Ага, от части, значит, отбился? — Краснофлотец с кинжалом улыбнулся.

Мальчик притих, разглядывая моряков.

— Как зовут? — спросили его.

— Вася, — ответил он, все еще всхлипывая. — Василий Петрович.

Моряки рассмеялись.

— Василий Петрович, вот здорово! Садись-ка сюда. — И тот, кто был с кинжалом, посадил его к себе на плечо. — Меня тоже Васей зовут, тезки, значит. Пойдем с нами кашу есть.

Моряки с Васей быстро зашагали через рощу. Зина в отдалении шла за ними.

Вскоре деревья поредели, и там, в березняке, на рельсах, она увидела бронепоезд. Оттуда уже махали руками и кричали:

— Донцов, старшина! Сейчас отходим.

На бронепоезде все было в движении, он только что отстрелял, орудия опускали свои длинные стволы, командир искоса поглядывал с мостика на небо, где появился «горбач».

Старшина Донцов тоже взглянул на воздушного разведчика:

— Засекли, паразиты! Сейчас крыть начнут.

Он высоко поднял Васю, моряки подхватили мальчика и втащили в бронированный вагон. Донцов обернулся на сиротливо стоявшую Зину:

— А вам куда, гражданочка? Может, подбросим?

— Не по пути нам, мне в Ленинград.

— Почему так думаете — не по пути? А ну, садитесь, живо!

Зина заторопилась, подбирая узкую юбку и больно стукаясь голыми коленками о железные ступени отвесной лесенки. Она чуть не сорвалась, когда близкий взрыв вскинул кверху черные комья сырой лесной земли.

— Ну вот, так и есть, нащупали! — сказал Донцов, поддерживая Зину. Снова невдалеке ударил снаряд, но бронепоезд уже набирал скорость.

Точнее говоря, это была железнодорожная батарея. На открытых площадках стояли два тяжелых дальнобойных орудия, а на двух других расположилось до десятка легких зенитных пушек. Бронированным был только один вагон, тот самый, где находился командир и где сейчас Зина с Васей пили чай. Краснофлотцы радушно угощали необычных гостей всем, что только нашлось в их запасах. Появились и печенье, и шоколад, и шпроты, а командир, порывшись в чемодане, извлек и положил на стол лимон. Все уже знали грустную историю молодой женщины. Старшина Донцов расспрашивал Васю:

— Откуда же ты топал, тезка?

— Из Алексеевки, от бабушки. — Вася сосредоточенно набивал рот булкой, обмакивая куски ее в масло, светившееся на дне банки, где только что были шпроты.

— А зачем в такое время ушел от бабушки?

— Умерла. — Мальчик вздохнул, перестал жевать, и крупные слезы скатились на кончик маленького носа. Губы задрожали, Вася снова заплакал, как тогда в лесу. Он отвернулся от еды.

Все принялись утешать мальчика. Показывали оружие, бинокль, кто-то принес ему штык от английской винтовки в лакированных ножнах. Вася успокоился лишь тогда, когда этот великолепный меч прикрепили к его поясу. Никто его больше не расспрашивал, но он, выдернув и снова вложив в ножны свое оружие, сурово сдвинул брови и сказал:

— Папу убило бомбой на паровозе. Папа был самый лучший машинист. Мама в речке утонула, когда мы от фашистов убегали. Я два дня шел к бабушке. А бабушка умерла... Я всех их убью!

Командир потрепал мальчика по голове:

— Будешь у нас жить, Василий Петрович. Краснофлотцем будешь. Донцов, — обратился он к старшине, — завтра же экипировать хлопца. Перешить там что-нибудь, бушлат чтобы, бескозырка...

— А клеш? — сказал Вася.

— Ну, конечно, и клеш. Без клеша — какой моряк.

— Воздух! — крикнул снаружи наблюдатель.

Заревела сирена.

— Все наверх! — скомандовал командир, бросаясь к трапу.

На бронепоезд, прямо навстречу, над линией железной дороги шли три «юнкерса». Командир приказал в трубку:

— Полный вперед!

Разрывы бомб грохнули позади. Зенитчики ударили по самолетам, и «юнкерсы» скрылись. Но через несколько минут они, выскочив из-за деревьев, снова с воем пронеслись над бронепоездом, обдав его градом разрывных пуль.

Поезд шел по узкому лесному коридору, стены деревьев затрудняли зенитную стрельбу. Самолеты появлялись внезапно и, сбросив бомбы, сразу же исчезали. Так коршуны в степи охотятся за крупной дичью, остерегаясь ее зубов, надеясь улучить момент, чтобы ударить клювом в затылок.

Сквозь смотровые щели в броне Зина видела, как краснофлотцы быстро работали возле зенитных орудий

на площадках. Щелкали замки, гремели выстрелы, гильзы со звоном вылетали на рубчатый железный пол и дымились. Кто-то упал, должно быть раненый; его заменил другой моряк.

Наконец самолеты отстали, все стихло, только стучали колеса и тяжело пыхтел паровоз, преодолевая подъем.

— Ну, вот и все. — Зина с облегчением опустилась на ящик и погладила по голове примолкшего Васю. — Прогнали их. А ты испугался?

— Я фашистов не боюсь, — ответил мальчик.

Глядя на него, Зина подумала о Шурике и Кате, которые, наверно, ожидают маму, пристают к бабушке с расспросами. Она уже сама с нетерпением ждала часа, когда снова вернется домой. А бронепоезд, как назло, шел медленно.

3

Генерал фон Готлиб, командовавший немецкими войсками на этом участке, как и предполагал Лукомцев, начал решительно теснить дивизию. Многочисленные танки, о которых Семечкин говорил Зине, поддерживаемые самолетами десанты автоматчиков на бронетележках, летучие отряды мотоциклистов все сильнее нажимали на ополченцев. Немцы не жалели боеприпасов, их артиллерия и минометы пахали, пахали и пахали землю, занятую дивизией. Самолеты, выстраиваясь «каруселями», могли час за часом швырять бомбы любых калибров или, опускаясь до бреющего, поливать траншеи пулеметным огнем. Удержаться в этом пекле было нелегко. Приходилось медленно отступать от разрушенных, разбитых позиций к новым, более или менее подготовленным. Так же, видимо, поступали и соседи — справа и слева. Следовательно, даже если и удержишься — попадешь в окружение. Окружения же боялись все. Лукомцеву нелегко было слушать каждый вечер голос Астанина в телефонную трубку. Каждый раз приходилось называть новую позицию своего КП. На подступах к Вейно батальоны, казалось, закрепились довольно прочно — в кустарнике перед шоссейной дорогой. Бойцы уже знали вражескую тактику, знали, как, уперев автоматы в животы, фашисты будут идти в полный рост почти до самых окопов, как потом офицеры, размахивая парабеллумами, будут орать «Форан!» и как, сбившись в кучу, солдаты упрямо

полезут на брустверы. Бойцов уже не пугали ни треск автоматов, ни эти крики «Рус, сдавайс», ни упрямство наступающего врага. Они напряженно, но стойко молчали, подпуская немцев все ближе. Бой грудь в грудь был не так страшен. Лишь одно выводило из себя: окружение, обход.

В девятой роте, которая за ночь успела вырыть в сухой земле окопы в полный рост, в бывшей роте Кручинина, находился комиссар полка. Эту боевую роту по-прежнему ставили на самые ответственные участки. Баркан стоял в стрелковой ячейке рядом с командиром роты Марченко, грустно улыбался, глядя на молоденького лейтенанта, и, когда тот порывался было подать команду, мягко останавливал его:

— Рано, дружок, рано. Бить надо только в упор. Обождем еще минутку. — Позиция была удобная, Баркан видел, как суетятся немцы, двигаясь по открытому месту к кустарнику. Уже не было того, как было совсем недавно, — не было эффектных «психических» атак — большие потери научили врага бояться смерти. Да, немцы суетились, сгибали спины, готовые каждую минуту шлепнуться наземь.

Взлетели две зеленые ракеты: это был сигнал комбата. Фланговым огнем ударили полковые пушки. Немецкие цепи тотчас смешались. Солдаты дружно поворачивали назад; лишь небольшие их группки, помня приказ о том, что из-под огня выходить надо только броском вперед, прорвались к траншеям. Но здесь их встретили гранатами. А затем девятая рота, видя свой успех, решительно вырвалась на бруствер и ударила в штыки.

Видимо, столь же безуспешно атака фашистов прошла и на других участках, потому что противник, отступив, свою попытку не возобновлял. Это было против обычая. Обычно немцы лезли и лезли, пока не добивались успеха.

Обходя траншеи, шутя с бойцами, Баркан повстречался с Бровкиным.

— Василий Егорович, привет! Скольких уложил-то, старый солдат?

— Не считал, товарищ комиссар, горячка была.

— История подсчитает! — Это сказал недавний экономист — рядовой Селезнев. Он достал и надел на нос пенсне, на время боя аккуратненько уложенное в футляр.

— Так, пожалуй, наш Василий Егорович и медаль заработает. «За отвагу»,— вставил Козырев.

— То-то, брат... Практика! — Бровкин был доволен. Он хлопнул Козырева по спине.

«Взрослые люди, — думал Баркан. — А тут стали как ребятишки. Чему радуются? Тому, что уложили сегодня несколько десятков немецких солдат, несколько десятков людей. Но ведь и я этому радуюсь, и я готов всех тут обнимать, хлопать по плечам, по спинам. Все мы, конечно, не столько смерти тех, оставшихся на поле, радуемся, сколько радуемся своей жизни, тому, что мы живы, тому, что враг не прошел, что будут, значит, живы и наши дети, наши жены, матери, отцы, тому, что будет жив Ленинград». «Можешь ли ты, — спросил он самого себя,— можешь ли ты пожалеть перебитых сегодня немцев? Можешь ли вспомнить о том, что и они люди, что и у них есть дети, жены, отцы, матери, которые ждут своих родных домой?» «Нет,— себе же ответил Баркан.— Нет. Пока нет. Может быть, когда-нибудь, когда фашизма не станет на земле, мы вспомним о тех потерях, которые человечество понесло от войн, затеянных империализмом. Может быть. Но пока надо убивать, убивать и убивать. Если хочешь жить, если хочешь отстоять свою Родину и построить в ней социализм».

Немец все-таки оказался себе верен. Передышка была очень недолговременной. Во второй половине дня противник обрушился на соседнюю с девятой восьмую роту. Фланг слева оголился. Баркан запросил указаний от командира полка, но связь со штабом была нарушена. Сидели, ждали ночи, чтобы произвести разведку. Разведчики, пошарившие в ночной темноте, установили, что сосед справа тоже отошел, а позади расположения роты на шоссейной дороге стоят немецкие танкетки.

Ночь была темная, безлунная, только небо вспыхивало на миг артиллерийскими зарницами. Командир роты и комиссар полка, накрывшись плащ-палаткой, долго рассматривали карту при свете ручного электрического фонарика. Решили пробираться через поле дневной битвы, — единственное направление, где могло не быть немецких засад. В случае удачи — через болотце в лес, а там — обходом на Вейно, куда, по предположению Баркана, отошел полк.

Спешно похоронили убитых, и сорок четыре человека, оставшиеся от роты, в полной тишине покинули тран-

шеп, чтобы двинуться во мрак. Шли осторожно. Только жнивье шуршало под ногами. Раненых несли на шинелях.

Когда вошли в лес, уже начинало светать, сонные птицы с шумом вырывались из-под ног, заставляя отряд замирать на месте. Один из раненых заметался на самодельных носилках, застонал, тело его дергалось, он словно хватал что-то, видное только ему, но недоступное, уходящее. По лицу шла судорога, и стиснутые веки мелко дрожали.

— Кончается, — сказал Бровкин.

— Опустите, — распорядился Баркан.

Бойцы положили раненого на землю и сначала один, за ним другой, третий сняли пилотки.

«Потом разберемся, потом подсчитаем, — снова подумал Баркан. — Может быть, найдутся такие, которые, не понюхав пороху, не пройдя по болотам, предъявят счет не одному этому молоденькому командиру, Марченко, но и ему, комиссару Баркану. Конечно, счет не только за убитых немцев, «сыновей, мужей, отцов», а и за этого умершего бойца. Может быть, может быть. Но пусть-ка они сами сначала повоюют».

Снова пробирались сквозь чащу, держа курс на Вейно, брели болотами, вязли во мхах. И в тот момент, когда трудный путь остался уже позади, когда казалось, что еще две-три сотни метров — и на открывающейся впереди просеке будут свои, — кругом затрещали автоматы, между деревьями замелькали немецкие мундиры. В первую же секунду разрывом мины наповал сразило Марченко. «Но это ничего не значит. Счет ему предъявят и мертвому. Только захоти».

Баркан подумал об этом мельком, совсем мельком. Раздумывать было некогда.

— Ребята, оставьте нас, бегите, — просили кругом раненые.

— Миша, Миша, — шептал один из них товарищу, — уходи, браточек милый. Жинке моей напиши, адрес у меня тут, на конверте. Пусть к матери, в деревню едет. Уходи, Миша. Вставь мне в лимонку детонатор. Дай сюда...

Другой раненый сам закладывал в гранаты взрыватели и тоже просил:

— Уходите, ребята, уходите!

— Никуда мы не уйдем! — закричал Козырев. — Вы что, за гадов нас считаете, за предателей?

Впервые в своей жизни Баркан ощутил такую невероятной тяжести моральную ответственность; он не знал, на что решиться. А тот, кто только что просил друга написать жене, поднялся с разостланной шинели на ноги, схватился за молодую осинку и с криком «Прощайте, ребята!» пробежал несколько шагов. Немецкие пули скосили его, гранаты в руках взорвались.

— Вперед! — закричал потрясенный Баркан. — На врагов Родины! Ура!

Порыв обреченных был так внезапен и яростен, что немцы опешили. Минуты их замешательства было достаточно, чтобы Баркану и его бойцам вырваться из кольца. Отходя, бойцы швыряли гранаты, били из винтовок. Деревья скрыли их, и немцы уже не рискнули преследовать.

Остановились только где-то в глухой чаще.

Баркан воспаленными глазами оглядел группу, подсчитал, сколько же осталось. Семнадцать. Семнадцать с ним вместе. Это были те самые ленинградцы, которые еще несколько недель назад радовались гигантскому генератору, построенному для мощной гидростанции страны, изобретали приспособления, с помощью которых на простом зуборезном станке за смену можно было изготовить деталей в десять — пятнадцать раз больше, чем обычно, насаждали парки, возводили монументальный Дом Советов на Московском шоссе, строили корабли, паровозы, блюминги. Это были те самые ленинградцы, что в выходные дни загорали на пляже у Петропавловской крепости, ездили за город, по вечерам сиживали с газетой в руках у настежь распахнутого окна, за которым двумя потоками по тротуарам не спеша текли толпы таких же, как и они, мирных граждан. И вот они сейчас — ожесточенные, полные ненависти, пролившие кровь солдаты. Кто в том виноват, с кого ответ требовать?

Все опустились на землю. У Баркана в кисете был трубочный табак. У кого-то нашлась в кармане газета. Кисет пошел по рукам, скручивались большие неуклюжие самокрутки.

Жизнь оставалась жизнью.

4

Целыми днями Лукомцев разъезжал по фронту дивизии, которая, отойдя от Вейно, снова заняла оборону. Однажды, встретив в лесу нескольких бойцов, отбившихся

от своей роты, он по возвращении в штаб раскричался:

— Что это за войско у нас с вами, майор, что за войско? Какой-то бродячий цирк, а не дивизия!

— Преувеличиваете, ей-богу, преувеличиваете, товарищ полковник, — заговорил Черпаченко. — Скорее всего это не наши, а соседи болтаются по лесам. У нас же ополченцы, народ, сами знаете, какой.

— Чем утешаетесь! Соседи! Даже если соседи — нам с вами от этого не легче. Если сосед силен, то и ты силен. А сосед плох — и ты плох. Это же война. И я заявляю, что с каждым разгильдяем буду расправляться беспощадно.

В эту минуту в землянку вошел связной и остановился у двери.

— Чего тебе? — спросил Лукомцев.

— Задержан человек. Говорит, с пакетом. Лично командиру.

Появился боец в изодранной, до черноты грязной гимнастерке, заправленной в брюки, на которых не было ни одной пуговицы, и они держались только потому, что были опоясаны телефонным проводом. На ногах у бойца разбитые, разинувшие полный гвоздей рот, старые опорки.

— Разрешите обратиться?

— Что за вид! — рявкнул Лукомцев. — Кто вас послал?

— Комиссар батальона службы воздушного наблюдения, оповещения и связи политрук...

— Так передайте ему...

— Он в тылу у противника, раненый, товарищ полковник.

Лукомцев зло развернул замусоленный листок. Вертел его и так и этак и ничего не мог разобрать, кроме даты.

— Вы что же, одиннадцать дней доставляли сей, с позволения сказать, пакет? Ваша фамилия?

— Ермаков.

— Скажите прямо, Ермаков, откуда вы сбежали?

— Из Ивановского, товарищ полковник, из немецкого плена.

— Как? — переспросил Лукомцев .— Откуда?

И Ермаков, лихой загуринский шофер, рассказал, как он пробирался лесом с бойцами четырнадцатого поста, как нарвались они на немецкий секрет и были схвачены,

как прятал он записку Загурина сначала в голенище, а потом, когда немцы отняли сапоги, скрывал ее и между пальцами, и под мышкой, и во рту.

— Под конец я, товарищ полковник, не стерпел, кокнул ночью часового булыжником и дал с ребятами тягу. Да только вот растерялись, остался я один. Думал в Оборье пробираться, где рота стояла, да Оборье-то уже у немца. Вот нашел теперь вас... И правду вы сказали, сильно опоздал, не та дата получилась, товарищ полковник. За это винюсь. Виноватый, словом. Политрук мне наказывал, как можно скорее. А я...

— А как ты думаешь, что с твоим комиссаром?

— Думай не думай, товарищ полковник, раненый он. Хоть не сильно, а раненый.

Наутро Ермаков, подтянутый, выбритый, в новом обмундировании, явился за распоряжениями. Лукомцев с интересом оглядел его, внутренне усмехнулся тому, что голова у бойца под пилоткой обрита так же гладко и тщательно, до блеска, как у него самого.

— Вот что, — сказал он, — мне шофер нужен, товарищ Ермаков. Моего лихорадка стала трепать по ночам, да и стар он, устает. Мы ведь с ним уже давно вместе. Оба постареть успели. А ты — орел, ты молодой и здоровый. Пойдем-ка со мной!

Лукомцев повел Ермакова в глубь леса, где стояла его крытая черным лаком длинная машина.

— Такую барышню знаешь?

— «Студебеккерша». Верно, что барышня, для фронта она не больно подходящая, городская машинка. «Газик» бы вам, товарищ полковник, на том всюду проскочишь.

— А по-моему, — не согласился Лукомцев, — в руках хорошего шофера всякая машина хороша.

— Да это верно, это уж так. Но все-таки...

— Потом порассуждаешь, дружок.

Ермаков приложил руку к пилотке.

Минут через десяток он доложил, что машина к поездке готова. Но когда Лукомцев, собираясь испробовать искусство нового шофера, садился в автомобиль, в штабной лесок влетел всадник. На взмыленном рыжем коне гарцевал лейтенант в полной морской форме — в кителе, фуражке и брюках-клеш. Он ловко спрыгнул на землю и вытянулся перед Лукомцевым.

— Делегат связи Балтийской морбригады лейтенант Палкин! — отрапортовал, подавая пакет.

Пакетом сообщалось, что по приказу командования морская бригада прибыла для взаимодействия с дивизией.

— Вовремя, — сказал Лукомцев. — Очень кстати! Оставьте-ка своего буцефала, лейтенант, да садитесь ко мне. Где ваш штаб? Будете показывать дорогу.

«Студебеккер» рычал на подъемах и тихо, бесшумно пылил по ровному.

Промелькнула деревня, за ней вторая, осталась справа арка с надписью «Совхоз «Ягодка», громыхнул гнилыми досками расшатанный мостик. Потянулось длинное село.

— Ирогощь, — сказал Палкин.

Ермаков не снимал руки с клаксона. В узкой улице машину затирало среди повозок и грузовиков. На повозках — раненые в окровавленных бинтах, на грузовиках — имущество, ящики боеприпасов. На обочинах дороги — пешая густая толчея.

— Экая ярмарка.— Лукомцев поморщился.— Что они думают? Что немцы слепы, что ли?

И не успела машина проехать сотни три метров, как за домами ударили взрывы. Дым повис над деревней, люди бросились в канавы, бежали огородами, прятались за строения. Свистели осколки, со звоном отсекая провода телеграфных линий.

«Студебеккер» окончательно застрял.

Лукомцев обернулся: как чувствует себя делегат связи? А Палкин сказал:

— Разрешите курить, товарищ полковник?

— Курите.— Лукомцев тоже достал свою носогрейку, и пока Ермаков, крича и негодуя, требовал освободить дорогу, он в зеркальце шофера наблюдал за моряком. Отвалясь на подушки рядом с встревоженным адъютантом, тот пускал струйками табачный дымок и аккуратно сбрасывал пепел за ветровое стекло.

— А знаете, товарищ полковник,— сказал моряк, указывая папиросой в небо,— они и самолет выпустили для корректировки.

Лукомцев поднял глаза: над деревней крутым виражом шел двухфюзеляжный «фокке-вульф».

— Не ваша ли комфортабельная машина, товарищ полковник, привлекла внимание этой «рамы»?

Глаза лейтенанта в зеркальце смеялись, но, как только Лукомцев обернулся к нему, лицо того мгновенно приняло строго официальное выражение.

— А вот и майор! — воскликнул Палкин, выбрасывая недокуренную папиросу.

На обочине дороги, между броневиком и крохотной песочного цвета машиной, стояли два командира. Один — комиссар второго СП Баркан, другой — приземистый широколицый моряк, майор Лось, — командир морбригады. Он держал на руке планшет с картой. Баркан что-то отчерчивал на карте красным карандашом. Оба поприветствовали Лукомцева, когда он открыл дверцу.

— Хорош пример бойцам! — сказал Лукомцев. — Кругом мины рвутся. Почему не в броневике?

— Предпочитаю эту блоху.— Лось хлопнул ладонью по капоту своей машины.— Как-то неуютно в броневике, товарищ полковник. Убьют — и неба не увидишь.

Через несколько минут «студебеккер», а за ним машина Лося и броневичок Баркана пролетели арку «Совхоз «Ягодка» и остановились под яблонями, отягощенными желтыми спеющими плодами. Палило полуденное солнце, и разогретые яблоки источали густой крепкий запах.

— Вот здесь и потолкуем.— Лукомцев раскинул под деревом свою кожанку.— Прошу садиться.

Тучный Лось повалился на пестрый клевер: его томила жара. Баркан разложил карту. Адъютант приготовил блокнот.

Пока на картах решалась задача, делегат связи лейтенант Палкин занялся обследованием окрестностей. Возле покосившейся обомшелой избушки без окон, которая притаилась в зарослях малины над ручьем, он увидел девушку в военной форме. Девушка сидела в холодке на чемоданчике и, опустив голову в колени, дремала.

Палкин постоял минуту, рассматривая белокурые вьющиеся волосы, спину, плотно обтянутую гимнастеркой, крепкие икры, охваченные голенищами брезентовых сапог, и окликнул:

— Сеньорита!

Девушка подняла круглое, розовое от сна лицо и, как ребенок, протерла кулачками серые с зеленцой глаза.

— Побриться? — спросила она.— Садитесь,— и указала на пенек.

— То есть? — удивился Палкин.— В этом палаццо парикмахерская?

— Парикмахерская здесь.— Девушка щелкнула пальцами по чемоданчику.

— Вы что же, бродячая парикмахерша?

— Почему бродячая? Политотдельская. Политотдела дивизии.

Палкин погладил свой подбородок:

— А разве мне уже повестка? Вчера только брился.

— Да нет, не повестка, а так, на всякий случай. Когда еще придется. Прыгаем с места на место, время такое. Садитесь.

Растирая мыло в чашечке, девушка усталыми глазами поглядывала на Палкина.

— Знаете,— сказала она,— хотелось бы выспаться на мягкой постели, под одеялом. Я ведь почти не сплю. Я трусиха. Всю ночь прислушиваюсь, все кажется, немцы близко.

Намыливая Палкину щеки, она продолжала:

— Давно прошу — дайте мне оружие, ну хоть какой-нибудь пистолетик. Не немцев, так себя убить в последнюю минуту.

— Я достану вам пистолет, только не себя убивать, конечно,— сказал Палкин.— Как вас величать?

— Галиной. Галина. Правда, достанете? Большое вам спасибо.

— Я достану вам, Галя, прекрасный пистолет. Вас, значит, в политотделе искать?

— Да, буду ждать, не обманете?

Вдали послышались автомобильные гудки. Сначала один, потом сразу два, наконец гудки заревели, не прерываясь.

Палкин вскочил:

— Пожалуй, меня! Добреюсь в другой раз.— Он пожал Гале руку.— Итак, ждите с подарком! — И, стирая платком с лица мыло, побежал через сад.

— А вас как зовут? — крикнула девушка вслед.

— Костя. Константин Васильевич Палкин.

Палкин не ошибся, его ждали.

Когда под яблоней работа пришла к концу, Лукомцев спросил:

— Где этот морской орел? Потрубите-ка! Ехать надо.

Шоферы стали сигналить, а Лось усмехнулся:

— Между прочим, полковник, Палкин — любопытный человек. Я нарочно вам такого послал, чтобы не посрамить бригаду. Своенравный, но молодец! — И майор стал

рассказывать, как Палкин действовал вместе с десантом на одном из занятых немцами островков в Финском заливе.

— Я приказал ему зацепиться за берег и обеспечить высадку главных сил. Съезжаю на берег, гляжу — а он уже чуть не половину острова занял и штурмует поселок в глубине. «Кто, говорю, приказал?» — «Обстановка распорядилась, товарищ майор».

— Молодец,— сказал Лукомцев.— Хороший задаток.— Ему нравились и этот толстяк майор, и Палкин, и все моряки, подтянутые, бодрые, дисциплинированные. Он добавил:— Приятно сражаться бок о бок с балтийцами!

Появился запыхавшийся Палкин. Лось нахмурился и строго сказал:

— Ждать заставляете.

— Прошу извинения, брился.

— Не вовремя. Наверное, парикмахерша приглянулась...

— И это есть, товарищ майор.

Все улыбнулись откровенности лейтенанта.

По дороге в штаб из коротких замечаний Лукомцева, обращенных к адъютанту, Палкин понял, что совещание под яблоней касалось операции, рассчитанной на вытеснение немцев из Вейно. Командование хотело вернуть железную дорогу Кингисепп — Гатчина.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Лукомцев и Черпаченко в тени берез сидели над картой. После вчерашнего боя, закончившегося тем, что дивизия совместно с морской бригадой выбила немцев из окончательно разрушенного Вейно и тем самым отняла у противника важнейшую рокадную дорогу, Лукомцев перенес свой командный пункт к самой станции, в эту березовую рощу.

— Не по уставу дислоцируемся,— возражал Черпаченко против слишком близкого расположения штаба к передовой. Но Лукомцев, бывший в отличном настроении, ответил на это полушутливо:

— И человеческий мозг, майор, не случайно в голове расположен, как бы это выразиться, в крайней точке организма, в непосредственной близости от глаз и ушей: чтобы мгновенно реагировать на восприятие. А представьте, был бы он в животе — пока туда дойдут сигналы!

Стремительный захват Вейно, телеграмма Военного совета фронта, поздравившего дивизию и морбригаду с успешным выполнением задачи, вызвали подъем во всех подразделениях.

— Заметьте,— сказал Лукомцев своему начальнику штаба,— под Сольцами противник не только задержан, но и отброшен, выбит из города. Луга держится. Мы задачу выполняем, враг не прошел. Фронт, следовательно, выровнялся. Может быть, стабилизация, а?

Осторожный в своих заключениях, суховатый, приверженец точных расчетов, майор Черпаченко на этот раз затруднялся высказать определенное мнение.

— Простите, полковник, я хочу взять вопрос несколько иначе, только с военной точки зрения. Противник наступает, углубляется на нашу территорию. От этого он не крепнет, он слабеет...

— Вы правы,— перебил Лукомцев,— он слабеет, но не потому, что влезает далеко в нашу страну и растягивает коммуникации, а потому, что мы его изматываем. Посчитайте-ка вы, любитель расчетов, во что обходится ему Вейно? А ведь это в общем плане войны — рядовой пункт!

— Так, бесспорно так. Но военный потенциал гитлеровцев... Я говорю — сегодняшний потенциал. В ходе войны возможна потеря еще ряда важных жизненных центров...

— К сожалению, майор, не исключено.

— А Ленинград? — тихо сказал Черпаченко.

— Не советую даже и думать так, слышите? В домах воевать будем, дворцы станут дотами. Нева, черт возьми,— противотанковым рвом! Нет, это немыслимо — Ленинград!..

Лукомцев обернулся на шаги за спиной. Подходил Палкин.

— А, лейтенант! — крикнул полковник, обрадовавшись случаю, чтобы отвлечься от того, о чем говорил Черпаченко.— Очень кстати. Мы здесь в донесении наверх хотим отметить и ваших орлов. Отлично дрались. Садитесь.

— А я как раз со сведениями о наиболее отличившихся наших людях.— И Палкин раскрыл свою полевую сумку. — За подписью комбрига.

— Превосходно, превосходно. — Лукомцев просматривал аккуратно заполненные листы с печатями.— Начальник штаба, включите в донесение целиком. Теперь задача — укрепляться и укрепляться. Станцию немцы захотят во что бы то ни стало у нас отбить. Мы перерезали им дорогу, шутка ли — единственная рокада. Без нее у них никакого маневра по фронту.

— Работы идут непрерывно,— сказал Черпаченко.— Кроме боевого охранения, все копают.

— И у нас тоже копают,— вставил лейтенант.

— А главное, майор, разведка,— продолжал Лукомцев.— Разведку надо улучшать самым решительным образом. По существу, ее и нет. Разве это разведка — ползание в нейтральной зоне? Мы должны знать, что думает немец. Займитесь, майор. А вы, лейтенант, как ваши дела? Как вам нравятся ополченцы, наш мирный народ? Или для моряка пехота — явление малоинтересное?

Палкин только что думал о круглолицей парикмахерше политотдела, вел с ней мысленно разговор о том, что в жизни человека огромную роль может сыграть удачная встреча. Поэтому он смущенно улыбнулся и поспешил ответить:

— Что вы, товарищ полковник, у вас в дивизии замечательные люди!

Неожиданно по листве берез застучали крупные капли дождя. Юго-западный ветер пригнал долгожданную тучку. Лукомцев снял фуражку.

— Говорят, лейтенант, дождевая вода полезна для волос? — Он погладил ладонью свою лысую, будто полированную голову. — Как вы считаете?

— Товарищ полковник, я моряк,— скромно ответил Палкин,— специалист только по воде морской.

— Да вы дипломат! — Лукомцев рассмеялся.

2

Во втором полку людей в разведывательный взвод отбирал Баркан. Как-то рано утром к нему явился Бровкин.

— Присаживайся, отец,— пригласил комиссар, указывая на ящик из-под снарядов.— Что скажешь?

— А то скажу: не рота у нас стала, а... при Кручинине, вечная память ему, какой народ у нас был. А теперь?..

— Это ты напрасно, старик, напрасно. Пополнение-то откуда пришло? С наших же, с ленинградских заводов.

— Пополнение! Его тоже не без ума распределять надо. Был у нас кулачок крепкий, те семнадцать, что из окружения вырвались,— всей роте краса. Так вы же и растрепали всех — кого куда. Ученый Фунтик, землевед, где? Связным в штабе полка. Экономист заводской, Селезнев? Опять же в штабе, у вас, переводчиком. Так и все.

— Обожди...

— Да чего ж тут! Один Бровкин остался. При новобранцах дядькой.

— Тебе и полагается учить молодых, ты солдат старый, коммунист, участник гражданской войны. Передовой человек.

— Вот я и пришел вперед проситься.

— В разведку, что ли? То-то, я гляжу, на роту начинаешь жаловаться, к чему бы, думаю. Вот в чем дело, оказывается.

Бровкин зашевелил усами.

— А годы? — продолжал Баркан.

— Что годы! Ты меня все отцом называешь. А через что? Через бороду. А мне всего-то сорок восемь. У меня сыну еще только семнадцать.

— Так это же младший!

— Ну и что такого — младший! Старший тоже молодой, вроде тебя, ему через год тридцать.

— А как старуха на это дело посмотрит?

— Чего ей смотреть? Она поди смотрит да и говорит: тьфу, старый хрен, в тылах околачивается! Словом, комиссар, не ломай дружбу, пиши: Бровкина в разведку, иначе не уйду.

— Батькин приказ, ничего не поделаешь! — Баркан засмеялся и пометил в списке: «Бровкин».

Бровкин вышел из землянки, но через минуту вернулся, хитро улыбаясь:

— Теперь скажу тебе по секрету: не сорок восемь, а пятьдесят три мне, Андрей Игнатьевич! — ухмыльнулся и хлопнул дверью, обвалив с кровли пласт земли.

Прошло три дня. Бровкин начал уже беспокоиться, сожалея, что назвал комиссару свои настоящие годы, но тут его вызвал командир роты и сказал:

— С вещами в штаб полка. Будь здоров, жаль расставаться с тобой, Бровкин, но приказ!

Баркан встретил улыбкой:

— Ну, батька, пляши!

— Письмо?

— Чище. Позови-ка,— приказал комиссар связному,— позови-ка Димку.

— Сын? — Бровкин взволновался.

Вбежал светловолосый худенький паренек, веснушчатый, веселый.

— Ах, паршивец! — обнимал его старый токарь.— Куда же тебя черти-то принесли, сидел бы с маткой на крыше — город берег.

— Матка и прислала. Сходи, говорит, к отцу, молочка вот снеси да пирог с картошкой.

— Ну давай, угостим комиссара.

— Да нету, батя, ничего.— Димка засмеялся.— Я ведь целую неделю сюда добирался.

— Съел? Вот же как получается, товарищ комиссар,— сказал Бровкин, — с отцом бери уж и сына. Обожди, еще старуха притопает, она, ты сам знаешь, тоже вострая.

— Сын твой будет связным в роте,— объявил Баркан.— В огонь побереги пускать, осмотреться дай.

Первую боевую задачу полковой разведке поставил сам Лукомцев. Он долго сидел с разведчиками, рассуждал с ними о жизни — по-дружески, просто. Он рассказал им о том, что надо проникнуть в расположение врага, выведать огневые позиции его тяжелой артиллерии, понаблюдать за подходом свежих войск, которые, без сомнения, перебрасывались немецким командованием для нового удара на Вейно.

Разведчики двинулись на рассвете, двадцать человек, вооруженных автоматами и гранатами. Через нейтральную зону они ползли на животах, благополучно обошли немецкое боевое охранение, миновали замаскированные кочками холмики дзотов и, когда совсем рассвело, оказались за линией фронта, в вековом сосновом лесу.

— Неделю проплутаешь, ничего не разведаешь,— пробурчал Козырев.

— Давайте сюда,— позвал Бровкин,— здесь дорога.

Сверились по карте, лесная дорога вела в деревню Лиски, вокруг которой, по предположениям, концентрировалась немецкая артиллерия. Решили держаться дороги, а там — как дело покажет. Дорога вывела разведчиков на поляну, покрытую горелыми пнями и кустами можжевельника, которого в этих местах было великое множество. За поляной дорога снова исчезала в лесу. Разведчики прислушались. Все спокойно, только далекие выстрелы — редко, неторопливо — да свист каких-то осенних пичуг. И эти выстрелы, нарушающие торжественный покой леса, и эти пичужки, и напряженность обстановки напомнили Бровкину недавние дни. Не так ли шла девятая рота, вырываясь из кольца вместе с комиссаром полка Баркановым? И тогда и сейчас линия фронта была позади, и тогда и сейчас неизвестно было, что станет с ними через минуту, и тогда и сейчас кругом бродили таинственные шорохи, возвещая опасность.

— Пошли, но только не кучей. Рассредоточиться,— приказал командир, выводя бойцов из-за деревьев на поляну.

Когда достигли середины открытого пространства, впереди, испугав неожиданностью, застучал пулемет, пули шипящим потоком хлынули в можжевельник.

— Ложись! Назад! — закричал командир, сам бросаясь плашмя.

Стали отползать к лесу. Но вокруг уже поднялся переполох, кричали и бегали немцы. Каждый понимал, что разведка провалилась, задачи им не выполнить, немцы сейчас наводнят лес патрулями, устроят облаву, может быть даже с собаками: говорят, они собак вовсю используют в армии.

Заметая следы, попали в болото. Оно было топкое, тинистое, при каждом шаге со дна поднимались пузыри и, лопаясь, источали зловоние. В воде росла темная и грубая, как жесть, трава. Бойцы в кровь изрезали об нее руки.

Брели болотом до поздней ночи и вышли возле железнодорожного полотна неподалеку от Вейно. Вернулись в полк измученные, обескураженные неудачей. Никто ничего не сказал им в укор: ни командир, ни комиссар. Напротив, Баркан поздравил с благополучным возвращением. Но разведчики понимали, что все это для их утешения.

Бровкин и Селезнев, просушивая у печки в землянке свою одежду, рассорились.

— Какой у вас опыт? — протирая нервно дрожащими руками пенсне, говорил Селезнев.— Опыт времен каменного века!

— Вот именно,— ввернул Козырев.— Никакого опыта, одна борода.

— Две войны в разведке! — кричал Бровкин, стуча кулаком об ладонь, но не находил должных, увесистых слов для оправдания неудачи.

— Разве так организуют разведку?— продолжал Селезнев.— Потащились двадцать человек. Как это еще обоза с собой не взяли! Надо было на такое дело двоим идти, троим!

— Батя же все может,— подогревал спорщиков Козырев.— Он третью войну...

Но Бровкин Козырева уже не замечал, он яростно нападал на Селезнева:

— Рассуждает! Да ты в армии-то когда-нибудь служил? Твое дело книги-бумаги, таблица умножения, поль-поль восемь...

— Ну знаете, товарищ Бровкин, только потому, что вам почти сто лет, я воздержусь...— Селезнева трясло от возмущения. — Что значит «поль-поль восемь»! Это вы от неграмотности так говорите.— Он надел свою недосушенную одежду и вышел из землянки.

3

Вновь наступившее на участке дивизии затишье позволило Лукомцеву организовать учебу штабных командиров. В течение нескольких дней он и майор Черпаченко у развешанных карт разбирали проведенные бои. Вместо ящика с песком в лесу был выбран песчаный участок, на котором попеременно возникали рельеф местности и обстановка, характерные то для района Ивановского, то для участка Юшков, то для самого Вейно. Расставлялись макеты огневых средств, отмечались позиции противника, свои рубежи. Штабные работники действовали здесь и за командиров рот, и за командиров батальонов и полков.

На занятиях бывал частенько и делегат связи от морской бригады лейтенант Палкин. Он увидел, что тактика

пехоты совсем не так проста, как ему казалось сначала. Иной раз, выслушав объяснения Лукомцева или Черпаченко, он думал: «Все ясно», но когда кто-либо из командиров начинал составлять план боя и отдавал боевой приказ, а руководитель занятия тем временем вводными задачами усложнял обстановку, Палкин чувствовал, что на месте этого командира он бы растерялся, и с уважением посматривал на окружавших его работников штаба дивизии.

Как-то вечером Лукомцев, пришедший к «ящику», чтобы подготовиться к очередному занятию, с полчаса наблюдал за Палкиным — как тот ползал по песку, сосредоточенно переставляя веточки, обозначавшие орудия и пулеметы, углублял финским ножом траншеи, чертил и перемещал на песке рубежи.

— Моряк,— наконец окликнул Лукомцев,— а, кажется, в пехоту записался?

Смущенный Палкин вскочил:

— Простите, товарищ полковник. Я тут, может быть, напортил?

— Напротив, лейтенант, мне ваш интерес к военной науке весьма нравится. Как раз вы мне и поможете.

— Слушаю, товарищ полковник.

По указанию Лукомцева Палкин разровнял песок, возвел железнодорожную насыпь, натыкал веток, обозначавших лес, прорыл овраги, двумя спичечными коробками изобразил деревню.

— Мы должны с вами атаковать вот эту деревушку,— объяснил Лукомцев,— выбить из нее противника, и тогда оборона его нарушается на всем участке. Видите? Мы загоняем его в тот лес, а в лесу немец воевать не умеет.

— Товарищ полковник, может быть, я суюсь не в свое дело, но почему вы все время отрабатываете наступательные темы? Мне кажется, обстановка такова, что надо бы укреплять оборону.

— Замечание правильное, дорогой лейтенант, мы оборону и укрепляем. Но обороняемся мы для того, чтобы все-таки наступать. Как же можно жить и воевать без перспективы активных действий?

— Это верно.

Палкин сел на пенек, закурил и незаметно для себя начал напевать сквозь зубы. Лукомцев, поглядывая на учебный участок, делал записи в тетради.

— Что вы там мурлычете, лейтенант? — спросил он неожиданно.— Между прочим, я заметил — вы всегда что-то напеваете.

— Неудачные попытки, товарищ полковник, у меня голоса нет.

— Ну, а все-таки, каков ваш репертуар?

— Мелочишки, товарищ полковник. Все безголосые обычно джазовыми песенками пользуются. Сравнительно легко, и девицам нравится.

После некоторого молчания Лукомцев снова сказал:

— Лейтенант, а не хотите ли вы в пехоту перейти, ко мне, например, адъютантом? Я бы поговорил с вашим начальством.

Палкин словно и не удивился такому предложению.

— Нет, — сказал он просто. — Очень вам брагодарен за доверие, товарищ полковник. На суше я временно, и, как только представится возможность, сразу же вернусь на эсминец. У моряка уж душа такая, он даже если и умирать, то на море предпочитает. Знаете: «К ногам привязали ему колосник...»

Но как бы не любил Палкин море, его интерес к жизни дивизии не ослабевал. Он подружился со многими командирами, ездил в полки, в батальоны, даже вступал там в споры по вопросам тактики. Через несколько дней после разговора с Лукомцевым он по дороге из штаба своей бригады заехал в один из батальонов третьего полка. Комбат, хорошо знавший Палкина, был расстроен только что случившимся ЧП — чрезвычайным происшествием, суть которого заключалась в следующем. На правом фланге, где из-за топких болот не было непосредственного соприкосновения с противником, стояла деревня Сяглы. Наши позиции располагались от нее километрах в двух, примерно столько же было и до немецких. Разведчики из рот и батальонов третьего полка, занимавшего там оборону, пробирались в Сяглы ежедневно. Наблюдения их кое-что давали, разведка всегда благополучно возвращалась. Но вот неожиданно разведчики из Сяглы не вернулись. Бойцы, отправившиеся на поиски, нашли их убитыми. На следующий день история повторилась, погибли еще два разведчика. Обстоятельства дела установить не удалось, хотя командир дивизии, узнав об этом, выслал туда специальную комиссию. Комиссия побывала в Сяглах, но тоже никаких следов не обнаружила. Кто стрелял? Немцы далеко. Может быть, предатель?

Палкина потянуло в Сяглы. «В течение двух-трех часов, какие там пробуду,— думал он,— вряд ли я кому понадоблюсь». Договорившись с командиром батальона, который особого значения его затее не придал, Палкин, вооруженный, кроме пистолета, еще и автоматом и гранатами, отправился в злополучную деревню. Там он заглянул почти во все дома и тоже ничего не нашел. Дома стояли пустые, с разбитыми окнами, сорванными дверями, перевороченными остатками пожитков спешно ушедших жителей.

Тогда, выйдя на окраину деревни с немецкой стороны, Палкин засел в бане на огороде. В бане аппетитно пахло дымком, полóк и лавки, выскобленные ножами, сверкали березовой белизной, за каменкой потрескивал сверчок. Все было по-домашнему уютно, располагало к отдыху. Палкин снял автомат и лег на лавку возле окна, откуда открывался вид на поля перед деревней, вплоть до немецких позиций. Тишина успокаивала его, сверчок навевал дремоту. Как сквозь сон проплывали двадцать шесть лет жизни — школьные годы, завод, краснофлотская служба, и, наконец, когда он стал вот лейтенантом, командиром, когда можно было задуматься над устройством собственной жизни,— вдруг война. А теперь, может быть, жизни-то больше и не увидишь: ударит снаряд в эту избушку — и конец, мир праху твоему, Костя Палкин, Константин Васильевич, как крикнул он тогда белокурой девушке Гале. Палкин не любил бойких девиц, знающих все, шумных и беспокойных. Галя, по его представлениям, была полной противоположностью им, скромная и простая. Его волновали ее усталые глаза, а слова: «Выспаться бы мне...» — до сих пор звучали в ушах. Палкин размечтался, и вот он уже явственно видит, как девушка засыпает на его руке, медленно закрывая серые свои глаза с зеленцой. Тихо, чтобы не разбудить, он касается губами чистой и гладкой ее щеки.

При этой мысли Палкин вскочил с лавки. Казалось, прошла минута — глянул на часы: да он уже почти час здесь! — надо возвращаться — рекогносцировка успеха не принесла. Выглянул в окно и отшатнулся: метрах в ста, на соседнем огороде, за такой же прокопченной банькой, прислонясь к стене, стоял немецкий солдат с автоматом в руках.

На четвереньках выбрался Палкин из бани и через грядки побуревшего гороха пополз в обход соседнего

огорода. Он добрался до баньки со стороны, противоположной той, где прятался фашист. Обойдя ветхое строеньице, выглянул из-за угла и увидел, что немец тоже выглядывает, но в другую сторону,— только бритый затылок розовеет из-под пилотки. Палкин прыгнул, гитлеровец успел лишь обернуться и в страхе закрыть глаза, как приклад автомата рассек ему лоб. Солдат рухнул в сухую крапиву. Палкин ударил еще раз и, вытерев приклад о потрепанный мундирчик солдата, хотел было приступить к обыску, но где-то совсем близко послышались голоса и шаги. Он выглянул из-за угла так же, как до него делал это убитый солдат, и шагах в пятидесяти увидел немцев — их было десятка полтора. Шли они прямо на баню.

«А ну, промажь, а ну, только промажь!» — храбрясь, бормотал в азарте Палкин, готовя «лимонки». Не показываясь из-за угла, он одну за другой швырнул две гранаты навстречу гитлеровцам. Но пока гранаты, пошипев на земле, разорвались, немцы успели разбежаться и лечь. Палкин понял, что упустил момент, что силы теперь слишком неравны и надо уходить как можно быстрее. Немцы же, подозревая, видимо, солидную засаду, сами пустились наутек через огороды в поле. Раздирая мундирчики, они перепрыгивали через обитые колючей проволокой изгороди, путались ногами в сухих стеблях гороха и жестких огуречных плетях, спотыкались.

Тут Палкин, не теряя времени, изобразил засаду автоматчиков. Присев на колено и уперев оба автомата — свой и немецкий — в живот, он выпустил по убегавшим все патроны, переменил магазины и снова стрелял, пока немцы не вышли за пределы досягаемости автоматного огня.

Вдалеке теперь маячили, удирая, только девять немцев. Значит, пятеро или шестеро остались тут. Палкин прошел по огороду и отыскал троих. Один из них оказался ефрейтором, на поясе у него в черной грубой кобуре лежал парабеллум.

— Это не подарок.— Палкин вздохнул, взвешивая на ладони тяжелый пистолет.

Он еще был в деревне, когда в воздухе провыла мина и рванула возле церкви. Затем мины посыпались одна за другой.

«Добежали, значит», — подумал он и прибавил шагу.

Возвратясь в батальон, Палкин сдал удивленному комбату кучу оружия и ворох немецких документов,

а когда рассказал всю историю, то поспешил в штаб дивизии.

Только из очередного донесения командира полка Лукомцев узнал о прогулке морского лейтенанта с изыскательскими целями в загадочную деревню и о сражении, которое он там затеял.

— Ах, Палкин, Палкин, — говорил Лукомцев, восторгаясь лейтенантом.— Что за черт этот Палкин!

На другой день Палкин, ездивший верхом по вызову Лося в штаб морской бригады, возвратился на немецком мотоцикле. Его рыжий иноходец, прядая ушами и всхрапывая, испуганно рысил позади, привязанный длинным поводом к багажнику. В коляске лежал раненый немец.

— Прекрасная машина, — заявил Палкин обступившим его командирам. — И сравнительно недорого — четырнадцать копеек. Семь копеек, кажется, патрон стоит?

Пленного отвели в штаб. Пригласили и лейтенанта.

— Этот ганс, товарищ полковник, задумал проскочить на Ивановское! — объяснял Палкин. — Это же наглость! Совсем завоевателями себя чувствуют! Решил срезать петлю дороги и махнул через наше расположение! Летит на полном газу и не видит, что я еду. Приветствовать бы должен, раз уж так, лейтенанта по международному обычаю.

В сумке мотоциклиста, вскрытой Селезневым, находились документы, касавшиеся перегруппировки немецких войск. Оказалась там, между прочим, копия приказа самого командующего северной армейской группой немцев, который требовал, чтобы с Вейно любой ценой было покончено в три дня.

— Так я и предвидел — зловещее это затишье, — сказал Черпаченко. — Товарищ полковник, прикажете созвать командиров полков?

4

Утром второго дня, после того как был схвачен связной с документами, гитлеровцы начали пастуцление по всему фронту участка. В течение этого же дня немецким танкам удалось вновь перерезать железную дорогу левее Вейно.

Лукомцев приказал загнуть левый фланг дивизии внутрь, чтобы предотвратить угрозу обхода.

В этой напряженной обстановке погиб от разрыва снаряда комиссар дивизии, и на его место получил назначение Баркан. Прибыв в штаб, Баркан сразу же хотел пройти к командиру дивизии, чтобы с первой минуты определить отношения. Его терзали сомнения. Справится ли он, гражданский человек, едва успевший освоиться со своей ролью комиссара полка. А тут уже дивизия! Он понимал, конечно, что не обладает ни военными знаниями, ни опытом, которые можно было бы поставить вровень с опытом и знаниями старого, знающего полковника. Успех его деятельности зависел, во всяком случае на первых порах, от того, как примет такое назначение полковник.

На нетерпеливые вопросы Баркана ему наконец ответили, что Лукомцев только что заснул после бессонной ночи.

Баркан не захотел тревожить полковника и, медленно шагая между берез, пошел в землянку своего предшественника. В землянке он присел на табурет возле дощатого столика и огляделся. Все там напоминало о прежнем хозяине. Человека уже не было, но вещи его по-прежнему жили. Постель с плюшевым одеялом, примятая подушка, мыльница, зубная щетка над голубеньким умывальником, просыпанный зубной порошок. Книги с закладками на столике. Коверкотовая гимнастерка, аккуратно развешанная на плечиках. На столе — фотография полной скучающей женщины. Он вспомнил Соню. Как-то она теперь? Одна, беременная. Кроме письма, привезенного женой Кручинина вместе с шоколадом, он получил от Сони еще только два. Редко пишет. А может быть, не доходят? Охваченный думами, Баркан задремал: двое суток он непрерывно был в боях.

Очнулся от сильного шума наверху. В первый момент никак не мог понять, в чем дело, но, услышав дробь пулемета, выбежал из землянки. Роща наполнилась суматохой, среди деревьев метались бойцы, командиры.

Баркан остановил сержанта, пробегавшего мимо с гранатой в руке:

— В чем дело, сержант?

— Немцы, товарищ батальонный комиссар! Прорвались!

Озираясь по сторонам, Баркан выхватил из кобуры пистолет. В эту минуту он услышал:

— Занять места! Вызвать всех из второго эшелона!

Это был голос Лукомцева, голос повышенного тона, но достаточно твердый для такой обстановки, отрезвляющий. Заметив Баркана, полковник ему улыбнулся:

— Вот при каких обстоятельствах вам приходится вступать в новую должность, комиссар. На наш командный пункт прорвалась диверсионная немецкая группа.

Баркан видел, как около полусотни бойцов и командиров заняли стрелковые ячейки, заблаговременно возведенные вокруг КП дивизии. Появились два-три пулемета; номерами к ним встали штабные командиры. Пулеметы заработали. В ответ еще гуще засвистели немецкие пули.

— Нагнитесь! — крикнул Лукомцев, схватив Баркана за плечо, и сам спрыгнул в окопчик.

За ближними деревьями тотчас появились немецкие солдаты. Подбадривая друг друга, они, по обыкновению, кричали: «Рус, сдавайс!»

На командном пункте установилась тишина, как будто бы никого здесь и не было. Лукомцев приподнялся, выглянул из окопчика. Баркан тоже поднялся рядом с командиром дивизии. В соседнем окопчике, прикрываясь большой еловой веткой, стоял Черпаченко. Рука его была отведена назад.

Не ожидая вопроса, Лукомцев объяснил:

— Оборону командного пункта возглавляет начштаба. Все остальные в этой операции — бойцы.

Когда фашисты несколькими группами выскочили из-за берез, рука Черпаченко сделала резкий взмах, и находившийся с ним в окопчике командир разведки крикнул: «Огонь!» Под новым ливнем пуль немцы остановились, попятились за деревья.

Их беснрицельная стрельба не приносила ущерба. Но вскоре из лесу начали бить два миномета.

— Вот это хуже. — Лукомцев нахмурился. — Окопчик — плохое укрытие от мин.

Но Черпаченко, выскочив на бруствер, уже скомандовал: «В атаку!» К удивлению Баркана, со всеми бросился вперед и командир дивизии. Баркан обогнал полковника, стараясь заслонять его собой. Среди старых узловатых берез началась рукопашная схватка. Защитники командного пункта настигали гитлеровцев одного за другим. Шофер Ермаков придавил к стволу березы рослого рыже-

го солдата в зеленой маскировочной одежде и остервенело бил промасленным кулаком по его лицу.

Лукомцев остановился. В это время из-под куста выскочил немецкий офицер с поднятым парабеллумом. Баркан не целясь выпустил в немца почти всю обойму своего пистолета. Лукомцев только удивленно повел бровями.

Тем временем подошло подкрепление из второго эшелона дивизии и охватило рощу полукольцом. Окруженные немцы сдавались, поднимая руки.

— Умело действовали, майор! — заметил Лукомцев подошедшему Черпаченко. — Адольф Гитлер потерял не менее роты. А вам, комиссар. советую, когда идете в атаку, берите винтовку со штыком. Но вообще в атаку вам ходить не полагается.

— А вам?

— Мне? — Лукомцев снял фуражку и потер ладонью голову. — Мне тоже.

В это время подбежал адъютант:

— Товарищ полковник, у аппарата генерал Астапин.

Лукомцев поспешил в землянку, взял трубку у связиста. Астапин говорил:

— Слушай, сейчас к вам отправлен приказ фронта, но я тебя прошу не дожидаться пакета, повторяю устно: сделай все возможное, чтобы не дать противнику оседлать шоссе. Считаю, что для этого необходимо занять рубеж Чернево — Корчаны.

— Значит, отойти?

— Да, отойти, но не выпустить немцев на шоссе!

В первую минуту Лукомцев хотел было запротестовать. Оставить Вейно, где положено столько сил, где фронт уже начал стабилизоваться... Но шоссе, но немцы, выходящие в обход дивизии на Ленинград...

— Что ж, — сказал он, — приказ есть приказ!

Он обернулся к безмолвно ожидавшему Черпаченко; насупленный, злой, с минуту разглаживал ладонью бритую голову, наконец сказал:

— Задача: не дать выйти на шоссе. Оставить артиллерийский заслон против танков. Отходить скрытно. К утру занять рубеж Чернево — Корчаны. Подготовьте приказ, майор.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Лесными дорогами, лесными тропами, с руганью, с проклятиями шло сумрачное войско. Пробираясь по рытвинам в «студебеккере», Лукомцев был удручен душевным состоянием бойцов. Русский человек даже в самый трудный, в самый тяжкий час не теряет оптимизма. Что же тут случилось? Ну отходим, отступаем... Не конец же это всему. Закрепимся, поднаберемся силенок — и вновь ударим, да еще как ударим. Нет, не годится падать духом, не годится. Он вылез из машины, чтобы побеседовать с людьми. Пройдя несколько шагов на затекших, непослушных ногах, комдив услышал впереди звон гитары и очень обрадовался. Человек пел, но, что пел, разобрать было невозможно, слова тонули в дружном хохоте, гулко отдававшемся в лесу. Лукомцев ускорил шаг и за поворотом дороги увидел большую группу бодро шагавших бойцов. В центре, на рыжей лошадке, ехал морской лейтенант Палкин. Он подыгрывал на гитаре и чистым, сильным голосом на мотив, схожий с детской елочной песенкой «Трусишка зайка серенький», повествовал слушателям о необычайных и до крайности легкомысленных похождениях новгородского купца Садко на дне моря.

Завидев командира дивизии, бойцы расступились. Лукомцев подошел к стремени всадника:

— Лейтенант! А вы говорили — голоса нет. Да за вами, что ни день, все новые и новые таланты открываются.

Палкин спрыгнул с коня и вытянулся перед Лукомцевым:

— Товарищ полковник...

Лукомцев взял его за локоть и сказал вполголоса:

— Но что это, слушайте, за песня такая? Это же энциклопедия похабщины!

— Морская песенка, товарищ полковник. Баллада, — не сморгнув глазом, ответил Палкин. — Из подлинных архивов известного деятеля средневековой торговли.

Посмеявшись, Лукомцев уехал, а Палкин продолжал бренчать свое. Бойцы хохотали. Качаясь и скрипя, его

лошадку обогнал грузовик. Палкин услышал девичий голос:

— Товарищ лейтенант! Константин Васильевич!

На грузовике, среди ящиков с бумагами, сидела Галя. Да, та самая Галя, чудесная парикмахерша. Грузовик еле тащился. Палкин пустил своего рыжего рядом с грузовиком.

— Куда вы пропали? Я все ждала — вот, думаю, придете добриться, а вас и след простыл. — Девушка радостно смеялась. — И пистолета обещанного нет.

Палкин смутился:

— Даю слово...

Но слово его было заглушено разрывом мины, ударившей совсем близко. Разрыв всех ошеломил: стреляли навстречу движению колонны, оттуда, куда они шли. Что же такое? Неужели окружение? Или десант в тылу?

Пришпорив коня, Палкин поскакал туда, где лес редел и уже открывались поля с желтыми, перезревшими овсами. Среди овсов темнела соломенными крышами небольшая деревенька. Миномет бил именно оттуда, из-за этих старых крыш.

На опушке, перед овсами, за пестролистым осенним кустом калины, стоял Баркан и посматривал то в бинокль на деревню, то на раскрытый планшет с картой. Немцы из района Вейно прорваться сюда еще не могли. Кто же это — парашютисты? Или диверсионная группа, просочившаяся лесами со стороны Маслогостиц?

Увидев рядом с Барканом Юру Семечкина, Палкин отвел его подальше от комиссара и стал что-то доказывать. Семечкин понимающе кивал головой в каске, поминутно поправлял сумки с гранатами, подтягивал многочисленные ремни и брался за кобуру с пистолетом. Потом оба исчезли в лесу.

Когда подъехал Лукомцев, в деревню уже был отправлен отряд пехотинцев, а в объезд, проселочной дорогой, двинулись два броневичка. Лукомцев и Баркан с лесной опушки наблюдали в бинокли за действиями бойцов. Их каски еще мелькали на полпути к деревне, а там, среди тихих изб, раздались вдруг взрывы гранат, посыпались автоматные очереди; вскоре зазвучало далекое, нешумное, но достаточно выразительное «ура», и все вновь умолкло.

Лукомцев вопросительно посмотрел на Баркана.

— Вы уверены, что там немцы, комиссар?

— Собственными глазами видел в бинокль, товарищ полковник.

В деревню отправились два штабных командира, и вскоре над избами взвилась зеленая ракета — условный сигнал: все в порядке, путь свободен.

Лукомцев сел в машину и пригласил с собой Баркана.

Доехать до деревни было делом минутным: «студебеккер» с ревом влетел в улицу. Там на бревнах сидели Палкин, Семечкин, оба штабных командира и еще какие-то два оборванца, и все курили.

— Товарищ полковник, это же мой политрук! — крикнул Ермаков и, выскочив из машины, бросился на шею одному из оборванцев. Другой незнакомец, приветствуя начальство, вытянулся «руки по швам».

— Кручинин! — воскликнул Баркан, раскрыв объятия. — Жив?

— Товарищ полковник, товарищ полковник! — теребил Ермаков Лукомцева. — Это же и есть Загурин, комиссар нашего батальона. Это от него я к вам одиннадцать дней шел с пакетом.

— А! — Лукомцев пожал руку Загурину. — Не с того ли вы света, друзья мои? Вид совершенно загробный. Здравствуйте! Здравствуйте и вы, Кручинин! Ну, приводите себя в порядок, постарайтесь отдохнуть, насколько это сейчас возможно, и прошу ко мне — с рассказами. Но что же здесь произошло? — Он вопросительно оглядывался. И тут только увидел за бревнами несколько немецких трупов, а поодаль — два грузовика, крытых брезентом.

— Лейтенант Палкин... — начал было Семечкин.

— Ах, Палкин! Догадываюсь! — перебил Лукомцев. — Все ясно. Морской орел взял несколько пулеметов, гаубицу, ворвался в деревню с фланга, с фронта, с тыла, окружил и уничтожил... Так, что ли?

Все засмеялись, ища глазами «морского орла». Но «орел» уже мелькал в конце деревенской улицы, делая перебежки от избы к избе. За крайней избой он окончательно исчез из виду. Никто его действиям не удивился. Палкин есть Палкин.

— Одиннадцать гитлеровцев мы с Палкиным уложили, — принялся рассказывать Семечкин, необычайно гордый удачной операцией. — А этих ребят, — он указал на Кручинина и Загурина, — нашли в грузовике. Связанные были.

— Что же так? — Лукомцев повернулся к недавним пленникам.

— Схватили они нас, — смущенно сказал Кручинин. — Уж совсем тут недалеко, на дороге. Мы думали, свои едут, не поостереглись.

— А это еще что? — Лукомцев насторожился. С того конца деревни, куда ушел Палкин, послышались пистолетные выстрелы. Поспешили туда и за крайней избой увидели квадратную яму, какие роют для зимнего хранения картофеля. В яме шла борьба: Палкин ломал руки здоровенному немцу в тугом новом мундире.

— Офицер! — крикнул Баркан и бросился на помощь Палкину.

Немца связали.

— Я же чувствовал, что где-то должен быть если не офицер, то, во всяком случае, унтер, — объяснял Палкин. — Не могли же одни солдаты вырваться так далеко вперед. И вот пошел обследовать избы.

Ночью вступили в Корчаны. Полки развернулись вокруг села и приступили к строительству оборонительной линии с обеих сторон дороги на Чернево.

Перед рассветом Лукомцев вышел из палатки. Стояла ясная, полная луна, тени ветвей скрещивались на земле, лежали на ней синим четким кружевом. Было очень тихо, только отчего-то шуршала осенняя трава да шелестели падающие листья. Лукомцев закурил, прошелся, разминаясь после напряженной работы. В кустах захлопал крыльями испуганный тетерев, под старой сосной послышалась какая-то торопливая возня.

— Кто здесь? — негромко сказал Лукомцев, настораживаясь.

Сбросив с себя одеяло, с земли приподнялась темная фигура.

— Это я, лейтенант Палкин, товарищ полковник. Что-то не спится. Бывало, возле пушек спал, а сейчас мертвый штиль — и вот ворочаюсь.

Лукомцев присел на пенек под сосной.

— Смотрю на луну и вспоминаю сына, — сказал он, помолчав. — У меня сын был, немногим моложе вас. Когда учился в школе, он увлекался астрономией и все, бывало, мастерил из увеличительных стекол телескопы. Разбудит ночью: посмотри, отец, какие на луне громадные

ямы. Таких ведь у нас на земле нет. Да, лейтенант, погиб мой Костюха в первый же день войны. Он на границе служил.

— Тезка, — сказал Палкин.

— И вы — Константин? Вот как. А то я все: «Палкин» да «Палкин».

Еще помолчал полковник, потом спросил:

— Скажите, почему вы всегда лезете в пекло, порой даже безрассудно, я бы сказал? Вы грамотный командир, думающий. И вам понятно, что удаль для командира не основное качество. А если строго говорить, то ваше дело — осуществлять связь бригады с дивизией. Смерти вы ищете, что ли?

— Пистолет ищу, товарищ полковник. Сущая, конечно, глупость, понимаю. Но вот так, врать не буду.

— Что-что? Что вы ищете?

— Пистолет, говорю, ищу, товарищ полковник. Маленький такой, красивенький пистолетик.

— Н-да... — неопределенно протянул Лукомцев. — Только я вам, понимаете ли, не очень что-то верю! Кокетничаете вы сами с собой. Ах, юноша, юноша. Ну скажите, зачем вам пистолет? Мало вам одного? Обеими руками, что ли, стрелять хотите?

— Девушке обещал.

Лукомцев потер ладонью голову:

— Какие странные подарки. Я цветы в свое время дарил. Впрочем, был случай в восемнадцатом году: плитку конопляного жмыха преподнес. Скажу вам — фурор произвела.

Снова было слышно, как шуршит трава и шелестят листья. В палатке кашлял Черпаченко. Его тень появлялась и исчезала на слабо освещенном изнутри полотне. Он, наверно, все еще размышлял над картой, добиваясь от нее разрешения томивших его вопросов. А он, Лукомцев, с каждым днем все отчетливее ощущал, почти физически, плечом, окружавших его людей. И кардинальный вопрос — может ли дивизия ополченцев стать боеспособной в современной войне, то есть выдерживать столкновения с германской армией, — был решен для него утвердительно протекшими боями. А ведь он, Лукомцев, отказывался было от дивизии, просился делать все, что угодно, только бы не командовать ополченцами. Член Военного совета фронта, дивизионный комиссар сказал ему тогда: «Вы должны гордиться, полковник. Вы поведете в бой

ленинградцев, людей, которых водили в бой вожди нашей революции. Надеюсь, вы это помните?» — «Помню, — ответил Лукомцев, — я и сам был в их рядах. Помню и Пулково, и Красную Горку, и Псков, и Ямбург. И Юденича, и немцев».

Палкин, тоже задумавшийся, вздохнул. Лукомцев обратился к нему:

— Ну и что же, хорошая это девушка? Где она?

— Она здесь, в дивизии. Хорошая.

— В дивизии? — Лукомцев снова погладил ладонью голову. — Вот видите. Это вам не игра в бирюльки.

Слова Лукомцева Палкин понял как порицание ему и промолчал. Лукомцев тем временем поднялся с пенька и пошел к палатке. У входа он неожиданно обернулся и резко бросил:

— Подойдите сюда!

Палкин подошел.

— Возьмите! — Лукомцев протянул ему металлический предмет, сверкнувший в лунном луче. — И больше не лезьте туда, куда не надо.

Палкин не успел ответить, как Лукомцев уже скрылся в палатке. Сначала под луной, потом включив карманный фонарик, молодой моряк долго рассматривал его неожиданный подарок. Это был крошечный серебряный пистолетик с перламутровой рукояткой, которая казалась прозрачной. На левой ее стороне зеленым светом от фосфора теплились циферблат и стрелки миниатюрных часов.

Утром, когда пригретый солнцем Палкин наконец уснул, мимо него в палатку Лукомцева прошли Загурин и Кручинин.

2

В том, всей дивизии памятном бою под Ивановским Кручинина оглушило миной. Кручинин даже не слышал взрыва, лишь почувствовал удар в затылок. Как падал на землю — это уже было за пределами памяти.

Очнулся лежа на боку. В почти черном небе мерцали чистые, яркие звезды и тянулся седоватый дымок Млечного Пути. Кручинин долго смотрел на Большую Медведицу, на Полярную звезду, он боялся шевельнуться:

тупая назойливая боль, начинаясь в затылке, текла вдоль спины и растворялась в пояснице. Боль шла волнами, с каждым толчком крови. Осторожно, как стеклянную, поднял Кручинин правую руку, потрогал ею затылок: какая-то теплая опухоль. Ощупал шею, плечи — цел, ран нет. Очевидно, ударило чем-то — или взрывной волной, или комком земли. Повернулся с бока на живот. Боль в затылке от этого не увеличилась, зато она возникла в правом колене. Потрогал колено — мокро, значит, кровь.

На все эти несложные движения ушло немало сил: Кручинин притих, положив голову на руки, и задремал. Проснулся от холода. Над полем крутил ветер, должно быть, приближалось утро. Звезд уже не было, ветер нагнал облака, и небо затянуло. В стороне то возникала, то затихала винтовочная стрельба. «Надо уходить, — подумал Кручинин, припоминая обстановку, — может быть, немцы рядом и утром возьмут в плен. Но как идти и куда идти? Где наши? Взяли мы Ивановское или нет? Вернее все-таки не в Ивановское ползти, а назад от него». Кручинин поднялся на руки и на левое колено. На правое, больное, не обопрешься. Надо было передвигаться именно на трех точках, лишь слегка отталкиваясь внутренней частью ступни правой ноги. Кручинин прополз несколько метров и остановился. Прекрасным ориентиром были бы звезды, но облака делались все плотнее, все гуще, на прояснение надежд не было. Кручинин начал припоминать расположение недавно виденных созвездий. Но в голове отвратительно шумело, и думать было трудно. Он перебирал в памяти все известные ему способы определения стран света. Вспомнил даже рассказ одного раненого, как тот, оказавшись в таком же положении, полз на крик петухов, рассуждая, что там, где немцы, петухов уже нет.

Двигался наугад и, когда добрался до шоссейной дороги, понял, что сбился: перед позициями полка никакого шоссе не было. Куда теперь поворачивать, уже неизвестно совсем. Назад ползти — поздно, вот-вот рассвет, на открытом поле будешь виден со всех сторон. Решил пересечь дорогу — за ней темнела роща, в которой можно, по крайней мере, скрыться на день.

За дорогой пошло колючее жнивье, путь стал еще тяжелей. Кручинин обернул одну ладонь носовым платком, другую — пучком соломы.

Было почти светло, когда он достиг наконец лесной опушки и, измученный, забрался в густую ракитовую заросль. Там он раскрыл сразу два индивидуальных пакета, какие у него были, промыл остатками чая из фляги рваную рану на колене, плотно забинтовал ногу и сразу же уснул.

Сколько часов спал, Кручинин сказать не мог. Пожалуй, не меньше суток, потому что, когда проснулся, так же, как и накануне, занималась заря. Было холодно, хотелось есть и пить. Пополз в глубь леса по кочкам, усыпанным брусникой и гонoболью, среди которых прятались подосиновики. Утолив жажду несколькими пригоршнями ягод, он набрал небольших крепких грибков, попробовал есть их сырыми; это была никудышная еда. Надо было забираться еще дальше в чащу, развести там костерок из самых сухих сучьев, чтобы давали как можно меньше дыму, и испечь собранные грибы на огне. Так он и сделал. Затем, еще поев ягод на закуску, ощутил некоторый прилив сил и снова принялся за определение того, где же он находится. По солнцу получалось, что уполз он почти в противоположную сторону от своих позиций, влево от Ивановского, и теперь ему придется проделать путь обратно. Захотелось осмотреть с опушки окружающую местность, чтобы наметить кратчайшую дорогу. Жаль только, что никак не влезть на дерево. А еще больше пожалел он, что потерял полевую сумку с картами и бинокль. От сумки остались одни обрывки ремешков на поясе, а от бинокля и того не осталось — пропал вместе с футляром.

Огибая проросшую папоротником моховую яму, Кручинин дернулся от неожиданности: под перистыми листьями он увидел лицо человека. Схватился за кобуру, но пистолета в ней не было — выронил, должно быть, когда оглушило. Да пистолет был бы и ни к чему сейчас: человек в папоротнике лежал, закрыв глаза, и не шевелился, возможно, что это уже мертвец.

Кручинин подполз к нему. На петлицах гимнастерки — три кубика, на рукавах — звезды: политрук. Вынул из его кобуры пистолет и переложил к себе. Осмотрел человека, потрогал руками. Нет, не мертв. Видимо, он в горячке. От гноившейся на икре раны раздуло всю ногу. Кручинин вывернул карманы гимнастерки раненого, нашел партбилет и командирское удостоверение. Документы свидетельствовали, что это политрук Загурин,

комиссар батальона ВНОС. Одно оставалось неизвестным: как же он сюда попал, в тыл к немцам?

Кручинин прежде всего решил промыть и перевязать рану политруку. Он встряхнул его фляжку — булькает. Осторожно отвернул пробку, хлебнул глоток и поперхнулся, не в состоянии перевести дух. Так сидел минуту-другую, обливаясь слезами. Наконец охнул: «Спирт!»

Спирт редко бывает некстати. А тут он оказался кстати вдвойне. Во-первых, после второго хорошего глотка по телу Кручинина пошла приятная теплота и прибавилось сил. Во-вторых, спирт очищает раны.

Сделав политруку перевязку старым бинтом, смоченным в спирте, Кручинин набрал затем полную фуражку ягод, раздавил часть из них в стаканчике от фляжки и принялся вливать сок в рот Загурину. Загурин давился, кашлял, но глотал.

Вечером Кручинин снова поил раненого соком. И снова испек для себя грибы.

Наутро раненый заворочался, открыл глаза, сел, но опять повалился. Заметив Кручинина, он с криком «Эй, кто тут?» стал шарить в расстегнутой кобуре.

— Свой, — успокоил его обрадованный Кручинин и сел рядом.

Разговорились. У комиссара нашелся табак, принялись курить и раздумывать.

Выздоровление Загурина пошло быстро. На третий день он уже сам собирал ягоды и грибы. Он не ползал, как Кручинин, а поднялся на ноги, охал, хромал, кусал губы от боли, но все-таки ходил. На третий день он стал помогать и Кручинину становиться на ноги. По временам оба слышали недалекий шум боя, понимающе глядели друг другу в глаза, и однажды, когда Кручинин уже мог мало-мальски ходить, Загурин сказал:

— Надо пробиваться к своим. Так долго не проживешь.

По карте, которая была у Загурина, они разработали маршрут и с наступлением сумерек пошли. Под утро пересекли можжевельник, в котором контузило Кручинина, и подошли к лесу — первоначальному району расположения дивизии. В лесу было тихо.

— Где-то здесь наши, — сказал Кручинин. — Как бы только не подстрелили.

Причина тишины вскоре выяснилась: окопы были пусты, дивизия ушла. Куда? Это были дни, когда ополчен-

цы сами наступали, вели бои против Юшек. Но Кручинин, разумеется, этого не знал. Оба решили, что дивизия отошла от Вейно, что, возможно, даже и Вейно в руках немцев. Надо было прорываться вправо, чтобы обогнуть Вейно и выйти на шоссе к Ленинграду где-нибудь возле Оборья. Это значило — идти путем, который Загурин наметил когда-то бойцам четырнадцатого поста.

Начались многодневные блуждания по лесам. Чтобы сократить путь, шли на гул артиллерийской канонады. Но этот ориентир был слишком непостоянен — стрельба слышалась то слева, то справа, то позади.

К концу первой недели прибрели в крошечную — домов в десять — лесную деревушку, стоявшую в такой глуши, что ни наши войска, ни немцы ею не интересовались. На картах она была помечена как «сараї». Деревушка стояла пустая: узнав о приближении немецких войск, жители ее собрали свой скарб и ушли; одни спрятались в окрестных лесах, понастроив землянок, другие махнули прямо в Ленинград.

Там, в этой заброшенной деревушке, Кручинин разболелся и слег. В деревне остались огороды, засаженные картошкой, огурцами, луком, сады с яблоками, пасеки с медом; на пруду плескались гуси и утки. Загурин принялся хозяйничать. Теперь он кормил Кручинина. Но, несмотря на обильные деревенские припасы, тот поправлялся плохо. Загурин ежедневно ставил новый диагноз: то воспаление легких, то паратиф; а заметив красное пятнышко на груди больного, решил, что у того и скарлатина.

— Очень просто, бывает она и у взрослых, — загорячился он, заметив улыбку Кручинина. — У меня брат заболел скарлатиной в восемнадцать лет.

Кручинин искренне смеялся:

— И почему ты в медицинский не пошел? Был бы не лесным бродягой, а врачом. Ездил бы сейчас с медсанбатом.

Однажды, тихим августовским вечером, Загурин вывел и усадил Кручинина на завалинку. Еле слышный ветерок тянул с лугов травяными запахами, ближний лес отдавал смолой и хвоей. Дышалось легко. Покой и мир спустились на деревню; наверно, так бывало в лесных раскольничьих скитах.

И друзья не в первый уже раз заговорили о Ленинграде.

— Ты где жил? — спросил Кручинин.

— На Кировском, за площадью Льва Толстого.

— А я на Московском шоссе. Туда, знаешь, за «Электросилу».

— Семья у тебя в Ленинграде?

— В Ленинграде. Не захотели эвакуироваться.

Говорили о городе, о его красоте, о любимых местах, о женах, о детях. Каждому хотелось рассказать о сокровенном, поделиться думами. Загурин сказал:

— Завидую тебе, ты командуешь ротой. А я прямо-таки рвусь на это дело, да не отпускают с политработы. Я же строевой лейтенант.

Кручинин открыл было рот, чтобы ответить, но в лесу послышался шум моторов. И едва они успели убраться с завалинки, как на опушку выскочили три мотоциклиста.

— Немцы! — шепнул Загурин, наблюдая из-за угла. Мотоциклисты остановились, дали несколько пулеметных очередей, прислушались и на малом газу стали приближаться к деревне.

— Уходим! — сказал Кручинин, дергая товарища за рукав.

— А как ты-то... сможешь?

— Уходим, давай скорей!

Загурин вбежал в дом, захватил фляжки, свою планшетку, завернул в тряпку что было на столе съестного, и оба, укрываясь за домами, через огороды пошли к лесу. В глубине его остановились. Кручинин присел на трухлявый пенек передохнуть.

— Жгут! — сказал он, указывая на оставленную деревню, где над одним из домов уже взвился клуб черного дыма и взлетел язык длинного пламени. Через несколько минут пылала вся деревня.

— Это у них, наверно, называется ликвидацией опасного очага, как ты думаешь? — Кручинин усмехнулся.

Ночь провели в лесу. Спали под деревом в углублении между корнями. Загурин согревал своим телом Кручинина, но и самому ему при этом было теплее.

Наутро снова началось блуждание по лесам и дорогам. И только много дней спустя товарищи пересекли фронт и вышли к своим далеко от расположения дивизии. Гимнастерки и брюки у них поистрепались в лесных чащах, не хватало пуговиц, но знаки различия советских командиров по-прежнему сохранялись на пропыленных петлицах.

Отдохнув у радушно принявших их артиллеристов, двинулись дальше. На попутных машинах их перекинули

почти к самому Вейно, где должна была стоять дивизия. Оставалось одолеть с десяток километров пешком. Они шли, взволнованные приближающейся встречей со своими, не зная, что дивизия в это время отходит к Корчанам, и когда на дороге появились два, как им показалось, трофейных грузовичка, Загурин поднял руку. Из машин выскочило более десятка немецких солдат, и через минуту Кручинин и Загурин уже лежали связанные на дне одного из грузовиков.

— Ясно, что хотели затащить к себе в штаб. Два языка, да еще командиры! — закончил рассказ Кручинин. — Ну, а остальное вы, товарищ полковник, знаете сами.

Рассказывая Лукомцеву о своих злоключениях, Кручинин нетерпеливо ждал минуты, когда закончатся вопросы комдива. Когда он шел сюда, его встретил Юра Семечкин: «Слушай, забыл тебе вчера сказать, ведь Зина была в полку, с неделю прожила. Понимаешь, пришла в тот день, когда, как мы думали, тебя убило. Удивительное дело! Она так и ушла, уверенная, что ты погиб. Горевала очень. Ты сообщи ей, завтра же напиши о себе».

Зина была здесь!

Странное чувство испытал Кручинин. Там, в лесах, о Зине думалось как о чем-то прошлом, почти безвозвратно утраченном, отдаленном на тысячи верст. Но стоило пройти несколько десятков километров, пересечь линию фронта, оказаться среди людей, которые совсем недавно видели Зину, разговаривали с ней, — и она настолько приблизилась, что вот еще минута — и он, кажется, сожмет ее в своих объятиях.

Разве можно ждать до завтра? Едва успев выйти из штабной палатки, Кручинин, не находя себе места от волнения, сел на пенек писать письмо.

— Уже с полкило,— заметил Загурин, у которого Кручинин требовал все новые листки бумаги. — Придется отправлять посылкой, на вес.

Около двух недель Загурин и Кручинин пробыли в медсанбате. Выписались почти одновременно. Когда Кручинин прибыл в штаб, он встретил там Загурина.

— Поздравь,— сказал Загурину радостно, — дают батальон в том же полку, где моя рота. Во втором стрелковом. Прежнего комбата переводят в штаб полка.

— Счастливец! — Загурин не скрывал зависти. — Рад за тебя. Пожелай и мне успехов. Ухожу. Надо являться в часть.

И тут только Кручинин заметил, что Загурин уже туго затянут ремнями и за плечами у него рюкзак.

— Уходишь?

Даже слов больше не находилось, так это было неожиданно.

Сдружились, столько испытали вместе, сделались друг для друга необходимыми, и, когда все препятствия позади, — вдруг расставание...

Они постояли с минуту, крепко обнялись, и Загурин, слегка прихрамывая, ушел по лесной тропинке.

Кручинин в тот же день выехал на штабном мотоцикле в полк принимать батальон.

— Хорошая машина, — сказал он водителю, мягко покачиваясь в коляске. — Вижу — трофейная, я с ними встречался, с целой сотней.

— Трофейная, — подтвердил водитель, — морской лейтенант Палкин привел вместе с хозяином.

Кручинин хотел расспросить, кто такой Палкин, на пару с Юрой Семечкиным выручивший его из немецких лап, но на дороге появилась группа бойцов, водитель затормозил машину и медленно въехал в коридор, образовавшийся после того, как люди расступились на обе стороны дороги. В ту же минуту Кручинин услышал возглас: «Товарищ инженер!» — кто-то кинулся на него, обнял за шею, щекоча лицо жесткой бородой.

— Что такое? — растерялся Кручинин. — Кто это?

— Товарищ старший лейтенант! Командир! Откуда же ты? Жив? — кричал бородач прямо в ухо.

Наконец Кручинину удалось высвободиться, и он узнал Бровкина.

— Василий Егорович! Ты?

— Я!

— А рота наша как?

— Рота! — Бровкин махнул рукой. — Номер только и остался один: девятая. А все в ней новые. Старых десятка полтора было, так командование и тех растащило — кого куда, на всякие должности. И я теперь не там. В разведке я. А ты куда же пойдешь?

— В полк возвращаюсь. В третий батальон, командиром.

— Ах ты, сокол наш! — ахнул Бровкин. — Ну, ежели

так, жди, вечерком забегу, там я фляжечку храню, знаешь, этого самого...

Кручинин улыбнулся, мотоцикл застучал, помчался дальше, вскидывая и взвихряя осенний лист, густо устилавший дорогу.

В батальоне Кручинина встретили, как встречают старых друзей. Особенно радовалась его возвращению Ася Строгая. У нее словно груз с сердца упал. Она так и не могла простить себе, что не уследила за командиром под Ивановским, и постоянно укоряла себя этим. Да и теперь, видя похудевшего, осунувшегося комбата, она все еще чувствовала за собой вину — все, мол, из-за нее: не доглядела. Она считала себя обязанной заботиться о нем неусыпно. Но Кручинин сразу же взялся за дело и целыми днями пропадал в ротах. Ася видела его редко, урывками и была этим очень огорчена.

3

Пользуясь одной из передышек между боями, Палкин отутюжил брюки, свой морской китель, начистил ботинки и, как всегда, верхом отправился к Вороньему озеру, туда, где в прибрежных дачках размещался политотдел дивизии.

— Галя? А у нас ее уже несколько дней нет,— сказали ему там.— Видите, все бородами обросли? Ушла. Подала заявление и ушла в санбат, санитаркой.

Палкин поехал разыскивать санбат. Найти его было не так-то просто. От частых воздушных налетов санитарные палатки прятались в стороне от дороги, далеко в лесу.

— Опять Яковлеву? — удивилась пробегавшая мимо сестричка, когда к ней обратился Палкин.— Какой спрос! Второй вы сегодня. Но только опоздали. Первым муж приехал. Вон сидит с газетой.

Палкин растерялся: муж? Такая возможность ему даже и в голову не приходила. У Гали, у милой девушки Гали... и вдруг — муж! Это слово в применении к ней показалось Палкину до крайности несуразным. Оно больно ущемило сердце. Хорошие, спокойные чувства, возникшие в эти короткие недели, бурно запротестовали в нем... «Вот тебе, Константин, — с горечью сказал он самому себе — вот оно как получается!»

Палкин повернулся и, сделав вид, что такого рода подробности его не интересуют, пошел обратно к дороге.

— Может быть, ей передать что-нибудь? — спросила вслед сестра.

— Почему — передать? — вдруг обозлился он. — Я и сам могу!

Преисполненный внезапной решимостью, Палкин уселся на моховую кочку. Вскоре ему захотелось увидеть поближе, каков этот Галин избранник. Он подошел.

— Жену поджидаете?

— Да, жену. — Человек с газетой поднялся ему навстречу. Это был молодой танкист, лейтенант. Он чем-то даже напоминал Галю, такой же круглолицый, сероглазый. — Жду больше часа... Говорят, уехала за ранеными.

— Да, у нас бывает... — произнес Палкин неопределенно и сурово.

— Мы с первых дней войны не виделись, — продолжал танкист. — Только вчера узнал ее адрес. Командир свою «эмку» дал съездить, повидаться. Мы здесь недалеко стоим, почти соседи с вами. Вы из Лосевской бригады?

— Из Лосевской.

— Знаменитая! — сказал танкист с заметным восхищением.

Палкин разглядывал его скептически. «Нет, дружок, ты не соперник мне. Познакомились, должно быть, на танцульке. Ты еще и не знаешь ее, как я знаю». И, сам не ведая почему, вдруг вынул из кармана сверкающий пистолет и подбросил его на ладони.

— Привез подарок вашей жене. Давно просила.

— Ну и штука! — воскликнул танкист, рассматривая серебряную игрушку, чистый переливчатый перламутр ее рукоятки. Прижав к уху, он прислушался к ходу крошечных часов. — Генеральский! Заказной. Вот немцы!..

— Это английский, — нарочно, чтобы смутить лейтенанта, соврал Палкин.

Разговор прервался. Сигналя, прямо по лесу к палаткам шла крытая санитарная полуторка. Палкин положил пистолет в карман и отошел в сторону. Танкист нетерпеливо зашагал навстречу машине.

— Принимайте! — крикнула девушка-шофер, выскочившая из кабинки. Она подошла и кузову и отдернула брезент: — Галочка, вылазь!

Но никто не отозвался. Только раненый стонал в машине.

Палкин прыжком взлетел в кузов. Там, освещенная тонкими солнечными лучиками, проникающими сквозь от-

верстия, пробитые в брезенте осколками, просунув левую руку в ременную петлю поручня, стояла — вернее, уже не стояла, а висела — Галя. От затылка по шее, по спине, по знакомой Палкину выцветшей гимнастерке текла густая, застывающая кровь.

Палкин схватил Галю на руки и осторожно вынес из кузова. Он увидел белое, вытянувшееся лицо танкиста и крикнул:

— Врача!

— Не кричите, молодой человек, — сказал седенький старичок, вышедший из палатки принимать раненых. — Положите девочку. Так... — Он приставил стетоскоп и долго слушал сердце. — К сожалению, я уже не могу помочь.

— Ну что же это! — растерянно сказала девушка-шофер, которая привела машину. — Еще на спуске в овраг, у мельницы, я ей стучала в кузов: «Не растрясло?» А она: «Спланировали. Все в порядке». Значит, ее уже на повороте, где нас обстреляли немцы. А я думала — проскочили...

Палкин подошел к танкисту.

— Ну вот, — сказал растерянно, — Галя...

— Ничего, — ответил танкист с неожиданным спокойствием. Палкину показалось, что тот даже улыбнулся. Что это? Кто такой перед ним? Смерть жены — это «ничего», малозначительный эпизодик? А танкист, повторив: «Ничего, не огорчайтесь», сделал несколько шагов в сторону и рывком выхватил из кобуры пистолет. Палкин успел ударить танкиста ногой, рука с пистолетом дрогнула, и пуля прошла мимо; лишь от огня вспыхнул и тотчас погас клок его густых, таких же, как у Гали, светлых волос.

Палкин свалил его на землю. Танкист притих, из-под опущенных век по лицу быстро катились, догоняя одна другую, мелкие слезины. И по тому, как безвольно лежал он на лесной траве, как страшился открыть глаза, Палкин почувствовал, насколько велико его горе.

Отпускать его одного было, видимо, нельзя. Палкин подвел «эмку», в которой приехал танкист, привязал к ее заднему бамперу своего коня за повод и сказал танкисту:

— Слушай-ка, садись, отвезу в часть. Только дорогу покажи.

Танкист не сопротивлялся, он, кажется, ничего не чувствовал и не понимал.

— Куда вы меня везете? — спросил он дорогой. — Мне в часть надо.

— Ты же на тот свет собирался, а не в часть! Вот отвезу подальше, набью по зубам и отпущу.

— Брось! — ожесточенно крикнул танкист. — Мне некогда. Мне надо в часть, слышишь?

Палкин обернулся:

— Не ори. Я же тебе сказал: показывай дорогу!

Ехали медленно, чтобы конь поспевал за машиной.

Приехав в танковый батальон, Палкин пошел к комиссару и все ему рассказал.

Комиссар пощипал пальцами переносье:

— Очень он ее любил, понимаешь. В танке портрет держит: «Вдвоем, говорит, вместе с жинкой в бой ходим!» Надо поприсмотреть за ним. А тебе, моряк, спасибо.

Прощаясь, Палкин вынул из бумажника прядь волос, которую успел отстричь у мертвой Гали, разделил ее на две части и бо̀льшую протянул комиссару:

— Передайте ему.

— Зря,— сказал комиссар. — Расстраиваться будет. И тебе не советую. Сожги. Ты что, родственник? Нет? — Он снова пощипал переносье и решил: — Хотя, кто эти дела знает: что лучше, что хуже. Передам. Прощай, моряк. Прощай и еще раз спасибо.

Когда Палкин садился на коня, его остановил осиротевший танкист:

— Может быть, никогда и не встретимся больше, скажи хоть фамилию, как зовут-то тебя?

— Константин Палкин.

— А я Федор Яковлев.

Доехав до санбата, Палкин еще раз сходил к врачам: ему все никак не верилось, что Гали больше нет, и, еще раз услышав то, чего бы никак не хотелось слышать, не стал больше ни на минуту задерживаться в этом, таком неприветливом теперь, сумрачном и опустевшем лесу, пришпорил своего рыжего и поскакал в дивизию. Там ему сказали:

— Полковник приказал немедленно явиться.

Палкин зашел в палатку и рассеянно поздоровался.

Лукомцев молча протянул фронтовую газету. На первой ее странице крупными буквами был напечатан указ: «За образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить орденом Красного Знамени...» — и синим карандашом в длинном

списке подчеркнуто: «Лейтенанта Палкина Константина Васильевича».

— Это вы сделали? — спросил взволнованно Палкин.

— Дивизия, молодой человек, — нарочито сурово ответил Лукомцев. — Дивизия, вот кто.

— Простите, товарищ полковник,— заговорил Палкин, смущаясь,— прошу не подумать обо мне плохо: дескать, заработал орден и бежать. Не зная о награде, я шел к вам... Хочу сказать, что уезжаю в бригаду... буду просить своего командира отпустить меня на море.

— Что так? — насторожился Лукомцев.

— Я торпедист, товарищ полковник. Хочу действовать по специальности. А это возвращаю, спасибо, не пригодился. — И он протянул Лукомцеву пистолетик.

Лукомцев не знал еще о том, что произошло в тот день, но почувствовал, что расспрашивать не следует.

— Хорошо,— сказал он,— езжай, спасибо тебе. — Подошел и обнял лейтенанта.

Лось тоже понял Палкина и, как ни жалко было ему расставаться со своим любимцем, отпустил его на море. Палкина назначили на торпедный катер. Но земля, на которой столько было пережито, цепко держала молодого моряка. Несколько раз он читал о себе в газетах. Описывали его старые дела — еще там, в дивизии. Приятные и грустные приходили тогда воспоминания. Однажды в небольшой, немногословной заметке его внимание привлекла фамилия: Яковлев Федор. Говорилось в заметке о том, что танковый экипаж лейтенанта Яковлева за неделю боев на подступах к Ленинграду подбил несколько немецких танков и истребил более роты гитлеровцев. Палкин вспомнил: «Федор Яковлев — это же Галин муж. Мстит, значит». И когда в один из осенних дней наблюдатель крикнул: «Справа по борту — дым!» и катер развернулся перед немецким транспортом, Палкин, следя за ходом торпеды, тоже испытал небывалую до этого злую радость.

4

Вступление Кручинина в новую должность совпало с началом новых больших боев. Войска Вейнинского участка были влиты к этому времени в только что созданную Н-скую армию. Старый друг Лукомцева генерал Астанин стал начальником штаба в армии. Командующим

же назначили неизвестного ему генерал-майора Савенко. Савенко тотчас приехал к Лукомцеву. Ему было лет тридцать семь — тридцать восемь, но, высокий, худощавый, гибкий, он казался еще моложе.

— Приехал посоветоваться,— сказал он просто после первых же приветствий.— Вы старый опытный командир.

На Лукомцева Савенко произвел впечатление общительного, умного и культурного начальника. Завязался разговор над картами местности. Лукомцев начал рассказывать о давно вынашиваемой идее заходов в тылы наступающему противнику, с тем чтобы окружать, а затем и отсекать, обезглавливать его передовые части.

— Я часто слышу: вырвались из окружения. А по существу что было? Заслал немец нам в тыл автоматчиков, те стрекочут и, по сути говоря, без всякого вреда стрекочут. А ты сделай так: ах, окружаете, извольте, пожалуйста! Отправь несколько мелких групп для уничтожения этих стрекотальщиков, а сам обойди немца по-настоящему и уничтожь его головную часть.

Савенко был полностью согласен с Лукомцевым.

— Но между прочим,— заметил он,— позиции нам все-таки придется еще раз переменить. Обстановка такова, что стабилизация фронта пока еще неосуществима. Главнейшей остается задача: срывать попытки врага выполнить широкий маневр, прижимать его к магистралям, изматывать на каждом рубеже.

— Что, у нас не хватает сил, чтобы удерживаться на этих рубежах? — спросил Лукомцев, не слишком-то осведомленный за последнее время о делах фронта и тем более всей Красной Армии.

— Как ни странно, не хватает,— ответил Савенко.— Готовились, готовились — и вот те на! Ни живой силы нет в резерве, ни техники. Но мы с вами не можем валить вину на кого-то. Мы большевики и обязаны действовать по-большевистски. Надо, дорогой товарищ полковник, на всю мощь использовать патриотический порыв наших людей.

Оба понимающе посмотрели друг на друга. Да, у немца почему-то оказалось больше танков, больше самолетов, но у них не было тех духовных сил в людях, какими располагали советские командиры. Это было испытанное оружие революции — духовные силы, силы людей.

«Большевики, по-большевистски,— раздумывал Лукомцев после отъезда Савенко,— сколько тонн динамита

содержит каждое такое слово! Да, да, Савенко прав. Даже если и не будет никаких распоряжений и указаний свыше, каждый из нас в должную минуту отдаст их сам себе. Вот что значит по-большевистски».

Бои продолжались с еще большей ожесточенностью. Лукомцев стал молчалив и еще более угрюм. Наблюдая за ним, Баркан огорчался: сам не очень разговорчивый, он искренне полюбил такого же неразговорчивого полковника.

В дивизию стали приезжать делегации с заводов. Однажды приехали одни женщины. Со свойственной им прямотой они задавали вопросы, на которые трудно было ответить.

— Докуда же вы отступать-то будете? — говорила на митинге третьего батальона известная всему ее заводу, двадцать семь лет проработавшая табельщицей, крупная рослая женщина. — До Международного проспекта, что ли? Коли так, то и мы возьмем винтовки, драться пойдем. Неужели немца пропускать в город? Да провались мы все на этом месте, ежели так! — Губы у нее вздрагивали, вот-вот заплачет от злости.

Баркан успокаивал работниц. Но как успокоишь, когда за спиной уже видны парки пригородов, сверкает позолота дворцов, да и сам Исаакий серым, закамуфлированным куполом проглядывает сквозь деревья парков.

Женщины говорили, что они готовы работать круглыми сутками, приготовляя все, что необходимо бойцам, и требовали от них не отходить дальше, не пускать врага в город.

— Вот! — Пожилая табельщица вытащила из кармана сложенный в несколько раз лист шероховатой газетной бумаги с мазками клейстера на углах. — На заводских заборах наклеено. Читайте!

Бойцам уже было знакомо обращение руководителей обороны города ко всем трудящимся Ленинграда, напечатанное в газетах, но они еще и еще раз перечитывали призывные строки, которые звучали как набат.

— «Над нашим родным и любимым городом нависла непосредственная угроза нападения немецко-фашистских войск, — вслух читал в своем батальоне Кручинин. — Враг пытается проникнуть к Ленинграду. Он хочет разрушить наши жилища, захватить фабрики и заводы, разграбить достояние, залить улицы и площади кровью не-

винных жертв, надругаться над мирным населением, поработить свободных сынов нашей родины...»

Близко гремели орудия, в гуле канонады, казалось, слышался шаг идущих немецких армий, и для каждого уже до реальности видна была и эта кровь на улицах и площадях, и повешенные на фонарях мертвого Невского, раздавленные танками дети и женщины на Международном проспекте. Это были жены бойцов, стоявших вокруг Кручинина в подавленном молчании. Это были их дети, их матери. Они ждали там, в совсем уже близком городе, решения своей судьбы, они уже, конечно, тоже слышали голос артиллерии.

Женщины утирали глаза. Кручинин не прерывал чтения:

— «Встанем, как один, на защиту своего города, своих очагов, своих семей, своей чести и свободы!.. Будем стойки до конца! Не жалея жизни будем биться с врагом, разобьем и уничтожим его...»

— Так что же вы скажете? — спросила одна из делегаток.

— Идите домой,— обратился к ним Кручинин. — И передайте: немцы в Ленинград не войдут. Большего за краткостью времени сказать не могу. Слышите, бой идет?

Не считаясь с потерями, гитлеровцы упорно приближались к Ленинграду. Им во что бы то ни стало нужен был Ленинград. Уже где-то в их тылах ожидали срока специальные команды для разграбления Эрмитажа, вслед за армиями шли составы железнодорожного порожняка, предназначенные под музейные редкости. Уже ехали из Берлина гестаповцы, на плане города уже были помечены здания и территории, где разместятся застенки и концлагеря; походные типографии на слоновой бумаге печатали пригласительные билеты на триумфальный банкет в гостинице «Астория», и геббельсовская пропаганда кричала об этом по радио на весь мир. А тем временем тысячи немецких солдат падали под русскими пулями, сотни танков превращались в груды лома, сотни «юнкерсов» пылали в воздухе и сыпались на землю. Немцы напрягали все силы, рвались к неисчислимым богатствам города, который после разграбления под названием «Пьеттари» должен быть передан финнам.

Известия о планах заранее торжествующего врага не столько подавляли, сколько ожесточали бойцов. И когда одним сентябрьским днем под оглушительный грохот ар-

тиллерии второй стрелковый полк ополченческой дивизии допятился до Пулковских высот и с них открылась панорама лежавшего вдоль Невы города, все поняли: дальше хода нет.

Спешно на склонах холмов под огнем врага стали копать траншеи. Тут уже стояли скрытые зеленью парка тяжелые морские пушки. В сельских садах, за гребнем горы, прятались танки и минометы. На равнине перед Ленинградом желтели извилистые линии окопов, в которых еще работали люди. Из края в край, от Невы до залива, тянулись ряды кольев с колючей проволокой и горбились лобастые холмики дзотов. Да, это был последний внешний рубеж. Если не удастся задержать врага здесь, бои будут перенесены на улицы, рубежами станут Обводный канал, Нева...

Разведчик Бровкин, разыскивая комбата, поднялся к деревне на гребень высоты. За большим камнем с биноклем в руках там лежал Кручинин.

— Тоже копают? — спросил Бровкин, указывая в сторону немцев.

— Копают.

— А вы зачем меня звали?

— Сходи к минометчикам. Передай, пусть дадут огня по той вон лощине, видишь? — Комбат назвал квадрат на карте.

Бровкин спустился на противоположную сторону холма. Его окликнули. Оглянулся — никого, сплошные кусты. Но, зная и по стрельбе слыша, что где-то в кустах должны быть огневые позиции минометной роты, он пошел на голос прямо в густой желтолистый смородинник.

— Сюда, сюда! — снова позвали его. Он вышел к самым минометам и остановился пораженный.

— Василий Егорович, что замешкался?

На зеленом ящике из-под мин сидела худенькая женщина в рыжем плюшевом салопчике, с красным узелком в руках.

Все это было до крайности знакомо — и ворчливый тон, и рыжий салопчик, но слишком неожиданно в такой обстановке, чтобы сразу поверить в подобную возможность.

А маленькая фигурка поднялась навстречу, пошла:

— Столбняк тебя хватил, что ли? А может, не узнал?

Да, конечно, это была она, Матрена Сергеевна, его неугомонная старуха.

— Ну зачем же это ты пришла, Матрена Сергеевна? — упавшим голосом сказал Бровкин, обнимая ее за плечи. — Война ведь, стреляют. Не ровен час...

— Говоришь, сам не думаешь что, Василий Егорович. — Матрена Сергеевна отстранилась, не выпуская из рук своего узелка. — Без тебя слышу... эк расходились-то! — Она с минуту вглядывалась в заросли смородины, среди которых, не переставая, сухо и резко хлопали минометы. — Нас этим, Васенька, не удивишь. Немец по городу из пушек стал бить, дырья в домах — хоть на тройке проезжай.

Твердые пальцы Бровкина деловито привычными движениями свертывали цигарку. Со стороны могло показаться, что старик спокойно выслушивает рассказ о чем-то весьма заурядном. Одни усы своим нервным движением выдавали его волнение. Известие об обстрелах Ленинграда не укладывалось в голове Бровкина. Развалины Вейно, десятки сожженных деревень на пути — и то какая это была тяжесть сердцу. Но Ленинград... Бровкин не находил слов. Он только бросил коротко: «Врешь», и то так просительно, словно надеялся, что Матрена Сергеевна еще может улыбнуться и признаться, что пошутила. Но она ответила:

— Тебе бы так неправду говорить, Василий Егорович. Четвертого в ночь на Стремянной ударило, потом на Боровой. А вчера...— Матрена Сергеевна снова опустилась на ящик из-под мин и поднесла к глазам рукав своего рыжего салопчика.

— Ну что ты, что, Моть! — Бровкин присел перед ней на корточки. Слезы его старухи, скупой на проявление чувств, были сильнее всех иных доказательств. Теперь он готов был услышать все, что угодно, если могло быть что-либо еще страшнее сказанного ею.

— А вчера, говорю, пришла домой с работы, открываю дверь, батюшки-светы,— вновь заговорила Матрена Сергеевна,— вся штукатурка на полу, да на столе, да на комоде. И кровать завалена. В пятый этаж, над нами, угодило — к Нюре Логиновой. Двери у нее напрочь с петель, пол исковыряло, одежу — в клочья. А зеркало, трюмо, помнишь? — так осколочка нет, чтобы поглядеться, пыль одна. Хорошо, самой-то дома не было! Я уж ее к себе ночевать позвала. Разобрали мусор кое-как и легли.

— Василий Егорович! — Из-за кустов вышел Козы-

рев. — Кажется, направлялись вы, Василий Егорович, к минометчикам с приказом комбата.

Бровкин растерянно вскочил:

— Обожди меня, мать, дело-то военное. Сейчас обернусь.

— Тишенька, и ты тут, сынок! — Матрена Сергеевна поднялась, чтобы обнять Козырева.— А Димка мой где?

— Димка! Вот там за горой воюет, в окопах сидит. Связным был, сейчас пулеметчик. К медали представлен. Кстати, Василий Егорович, не спешите,— окликнул Козырев удалявшегося Бровкина, —приказание товарища Кручинина я уже передал. Бьют куда надо, по лощинке. Он мне сказал: «Бровкин там пошел, да жена его ждет, не надеюсь на него, беги ты, Тихон!»

— Как же это? — Матрена Сергеевна навострила на Бровкина сердитые глаза. — Командир приказ тебе дает, а ты...

Морщины возле ее губ стали резче, злым треугольником выступил вперед маленький острый подбородок, выцветшие серые глаза смотрели на супруга в упор.

— Я не лясы точить пришла. Я уйду, мне в ночную заступать. Я только про дело хочу поговорить.

— Знаем мы это ваше дело. Тут уже приходили.

— А ты не гавкай! «Приходили!» Не рад родному человеку. Зверь ты стал, Василий Егорович. А что говорили-то они тут? — строго спросила она.

— А ну их...

— Вот то-то и оно, Вася. Бабье сердце — оно как погода. То ему дождь, то вёдро, а то и закаменеет сердце-то. Смотри-ка сюда вот.

Бровкин исподлобья взглянул по направлению сухого желтого пальца Матрены Сергеевны. Он это и без нее видит уже второй день: тяжелый, покрытый серой краской купол Исаакиевского собора, многоэтажные корпуса жилых массивов, остроградная призма башни мясокомбината, черные трубы заводов, и кажется Бровкину в эту минуту, что среди них он видит и стеклянную крышу цеха, в котором работали они с Тишкой не так уж и давно.

— Не туда, ближе смотри,— сказала Матрена Сергеевна, заметив, что рассеянный взгляд старика блуждает по ленинградским крышам.

От поселка Автово до станции Шушары словно желтую ленту расстелили по лугам и огородам; тысячи людей копошились вдоль нее.

— Третьи сутки только, а земли, глины сколько повыкидано. Вот они, бабы! А ты говоришь: «Ну их!»

— Противотанковый ров копают,— сказал Козырев.

— Могилу! — твердо отрубила Матрена Сергеевна.— Немцу могилу. Забыл ты, Вася, как в девятнадцатом завод по гудку подымался ночью? Туча двигалась — Юденич-то. А как обернулось?

В памяти Бровкина вставали далекие дни. Дымные костры на заводском дворе, красные отсветы на лицах людей, на стволах винтовок, на штыках, на ремнях, опоясавших промасленные рабочие куртки. Горячие, короткие, отрывистые речи. Иван Иванович Газа — путиловский комиссар, отец Тишки Козырева — Федор, неразлучный дружок Бровкина, и она, Матрена Сергеевна, Матреша, в его потертой кожаной куртке, с аккуратно увязанным узелочком, который она все старается как-нибудь понезаметней сунуть ему в руки,— напекла чего-то на дорогу.

И, словно не двадцать два года прошло с того времени, Бровкин сказал:

— Опять ты с узелком своим! Что у тебя там, давай, разломим с Тишкой, да за дело нам браться, Матреша. Тебе в ночную, и нам в ночную.

Матрена Сергеевна обняла по очереди и старика и Тишку, отошла, поклонилась им издали и, уже не оглядываясь, поспешила прямо через луговину к шоссе, по которому торопливо сновали машины.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В сентябре Ленинград стал во сто крат суровее и строже, чем в те дни, когда ополченцы уходили на фронт. Газетные передовицы, призывы на стенах домов, неумолчный гул канонады твердили о том, что враг близко, что город обложен немецкими войсками, и только неширокая полоска суши вдоль правого берега Невы до Ладожского озера и водный путь через озеро соединяли еще Ленинград с Большой землей.

По вечерам город тонул в густой осенней темени. Не загорались и когда-то яркие огни в окнах Смольного.

Все здание его было затянуто огромной маскировочной сеткой, движение по главной аллее закрыто, желтый липовый лист устилал асфальтовую дорожку. Жизни, казалось, здесь уже нет. Но через боковые проезды, тоже укрытые сетками, подлетали ко входам десятки машин, быстрым шагом проходили военные. Ленинград знал: отсюда тянутся бесчисленные телефонные и телеграфные нити к фронту, на оборонные заводы и, наконец, в Москву, в Кремль. Слово «Смольный» с новой силой возрождало героику минувших дней.

В уличных разговорах, в трамваях, в проходных заводов, по радио вновь слышались памятные старым питерцам названия: Гатчина, Красное Село, Павловск, Поповка, Пулково, где снова, как и двадцать с лишним лет назад, развернулись жестокие бои. Снова из распахнутых ворот ленинградских заводов выползали тяжелые импровизированные бронепоезда.

Войска фронта вместе с населением города возводили за окраинами оборонительный барьер. Вверх по Неве поднялись серые узкие эсминцы, может быть, те самые, четкие контуры которых в былые майские и октябрьские вечера вспыхивали отраженным в невской воде пунктиром электрических лампочек, а днем покрывались пестрыми флагами. Теперь корабли, вскинув к небу жерла орудий, выбрасывали длинные языки слепящего рыжего пламени, и гулко катились громы их выстрелов над водой.

Где-то на взморье били из главных калибров «Марат», «Октябрьская Революция», форты Кронштадта, Красная Горка; били тяжелые железнодорожные батареи, гаубицы, скрытые на городских окраинах, били орудия армий, дивизий, полков.

С завода в ополченческую дивизию делегаты уже не ездили. Времени не стало для этого: цехи спешно перешли на выпуск снарядов и мин. Теперь из дивизии за боеприпасами приезжали прямо на завод. Бойцы рассказывали о том, как немцы тоже зарываются в землю, в блиндажи, в крытые окопы, в ямы и норы. Срок взятия Ленинграда, назначенный было Гитлером на 1 августа, затем перенесенный на 15 августа, а с 15 августа на 1 сентября, перестал упоминаться немцами вообще.

По захваченным в штабах германских частей оперативным документам, из показаний пленных, опубликованных в печати, вся страна знала о том, что немецкий

генеральный штаб с самого начала военных действий ставил задачу: быстро, одним ударом, захватить Ленинград. Что же помешало гитлеровцам? То, видимо, что, добравшись почти до окраин Ленинграда, они потеряли на своем пути более двухсот тысяч убитыми и ранеными, потеряли почти полторы тысячи самолетов, сотни орудий и танков.

И вот теперь, в сентябре, когда ленинградские войска заняли позиции на внешнем обводе обороны города, полукольцом протянувшемся от Финского залива до Невы через Шереметьевский парк перед Автовом, через Пулковские высоты, Московскую Славянку, Колпино, Усть-Тосно, и, прикрытые огневым щитом ленинградской артиллерии, снова заставили немцев остановиться, перед германским командованием встал вопрос о подготовке нового удара на Ленинград. Для этого нужны были новые силы. Подтянуть их можно было только за счет Западного фронта. Но там Красная Армия сама захватывала инициативу. Там, под Ельней, войска советских генералов разбили семь или восемь кадровых немецких дивизий. Обстановка складывалась так, что новое сражение под Ленинградом не сулило немцам даже спокойной зимовки, не говоря уже о победе до наступления зимы. Обескровленные, измотанные непрерывными боями, они залегали в оборону.

Немецкие листовки, обильно сбрасываемые с самолетов, кричали теперь о том, что город будет взят способом, от которого содрогнется мир.

2

С болотистой невской равнины бои перенеслись на Неву, в район Невской Дубровки; на равнинах же перед городом только артиллерия обеих сторон то методическим многочасовым обстрелом, то внезапным коротким и мощным огневым налетом напоминала о том, что по разбитым пригородным деревням, по безымянным речкам и шоссейным дорогам проходит рубеж, проходит линия фронта. На полях, где все еще торчали капустные кочерыжки и чернела ботва неубранного картофеля, всюду замысловатым, но строго продуманным рисунком змеились ходы сообщения; там стучали ломы и кирки, и на брустверы окопов летели комья земли.

Холода ударили рано, с каждым днем прибавляло снегу, задували северные ветры, вечерами небо на западе горело красным в оранжевых переливах, ночи стояли стеклянные от мороза. В такие ночи на город шли бомбардировщики врага, и тогда в зените, рядом со звездами, вспыхивали разрывы осколочных снарядов.

Дивизию ополченцев с Пулковских высот перебросили на приневскую равнину, местами покрытую густым ракитовым кустарником. Теперь дивизия уже имела свой номер и, как регулярная боевая единица, вошла в состав Красной Армии.

Саперные работы на новом месте шли полным ходом, когда к Лукомцеву неожиданно прибыл Загурин. Лукомцев встретил его радушно, как старого знакомого:

— Какими путями, дорогой товарищ комиссар?

— Да вот, товарищ полковник, пока я бродил в немецких тылах, часть нашу расформировали. Побыл в резерве месяц с хвостиком, выполнял отдельные поручения, наконец не выдержал, подал рапорт с просьбой отпустить в действующие войска на командную должность. Да не удержался и приписал, что хочу в вашу дивизию. Желание мое удовлетворили, аттестовали старшим лейтенантом, и вот явился по назначению.

— Превосходно! Что же мы с ним будем делать, Черпаченко?

— Был комиссаром батальона, старший лейтенант... Можем дать батальон. Есть место.

— Лучше бы роту,— попросил Загурин.

— Что так? — Лукомцев улыбнулся.— Впрочем, Загурин прав. Так и следует настоящему солдату — начинать с малого. Ну, был комиссаром батальона, да ведь не стрелковый же батальон. Опыта командования стрелковым подразделением нет, приобрести надо. Правильно я говорю, Загурин? Вы не обижаетесь?

— Нисколько, товарищ полковник. Это как раз и мое желание. Об этом я и Кручинину не раз говорил.

— Вот и пошлем в батальон к нему самому, Кручинину. Девятой роте у них по-прежнему не везет с командирами. В самом деле, Черпаченко! — Лукомцев даже руками развел.— Первый командир, Кручинин, пропадал в свое время без вести. Второй, Марченко, убит. Третий — тяжело ранен. Четвертый — болен. Совершеннейшим образом не везет. Вот, Загурин, и возьмитесь за эту девятую. Неплохая, в общем-то, рота, боевая.

Было часов двенадцать ночи, когда Загурин нашел наконец своего нового командира. Встреча взволновала обоих — и Загурина и Кручинина. Пили чай из неизвестно как появившихся в землянке маленьких чашечек с голубыми цветочками. Вспоминали трудные дни совместных блужданий. Проговорили до утра. Легли, как и бывало, вместе, на узком дощатом ложе Кручинина. Загурин долго не мог заснуть, захваченный множеством дум. Исполнилось его заветное желание — он стал командиром, ему поручена рота. Обычно спокойный, рассудительный, он не просто стремился командовать ротой, бить немца всеми видами ротного оружия. Нет, в его думах был пунктик, никак не вязавшийся с уравновешенной загуринской натурой. Загурина одолевала идея психической атаки. В решительную минуту поднять бойцов и молча, сверкая линией штыков, двинуться железными шеренгами на врага... Что на свете может выстоять перед человеческой волей, которая не дрогнет перед смертоносным огнем! И уже засыпая, он думал: будет час, его рота пройдет таким карающим маршем.

Утром Кручинин усадил его за карту и познакомил с обстановкой, подробно, до малейшей канавки и кустика, охарактеризовав позицию девятой роты.

Потом они вместе прошли на наблюдательный пункт батальона, оборудованный в насыпи железной дороги. Загурину все нравилось: и обстоятельный разговор над картой, и выбор места для наблюдательного пункта, и уважение, с каким бойцы и командиры относились к Кручинину.

Загурин вспомнил разговор с Кручининым на завалинке в далекой лесной деревушке.

— Такой город, как Ленинград, взять нельзя, значит? — переспросил он с улыбкой.

Кручинин понял, о чем говорит Загурин, тоже вспомнил давнее и тоже улыбнулся:

— Как видишь, и не вышло. А теперь и подавно — такая мясорубка немцу будет... В земле прочно сидим. Земля не выдаст. Теперь посмотри-ка в трубу, вращай винт слева направо. Хотя можно и без трубы, как у тебя с глазами? Вон твоя рота на бугорках, там грунт приличный, глинка с песочком. Но зато сразу же за бугорками до самого немца торфяник. Оно бы и хорошо, если бы мы только обороняться думали, но мы же не век тут сидеть намерены, как ты думаешь?

— Полагаю, что ударим в штыки рано или поздно.

— Так вот, пробовали мы ходы прорыть вперед, ближе к противнику. Не получается: копнешь — вода. Сверху — подмерзшая корка, а вглубь — вода. Для боевого охранения кой-какие норки откопали. Скверно там ребятам.

Загурин долго всматривался в даль сквозь зеленые рожки стереотрубы. Насыпь железной дороги уходила на юго-восток, за немецкие позиции. Километрах в двух над речкой висела ажурная ферма моста. За мостом селение — сильно укрепленный узел вражеской обороны. Речка течет влево и впадает в Неву возле деревушки, тоже превращенной немцами в опорный пункт. Вдоль обоих берегов — окопы, блиндажи, дзоты врага, еще не разведанные, не нанесенные на карту. Гитлеровцы непрерывно строят: каждую ночь в морозном воздухе слышны звуки пил, стук топоров, треск дерева. Наши минометчики открывают по этим звукам огонь. Немцы отвечают пальбой сразу многих артиллерийских батарей, включают пулеметы, осыпая торфяник светящимися пулями. Наши корпусные пушки, нащупав расположение вражеских батарей, бросают туда тяжелые снаряды. Но едва грохот перестрелки затихнет, как снова звуки пилы и стук топоров у немецких позиций...

— А восьмая рота у нас за насыпью,— сказал Кручинин.— Там еще тяжелей. Совсем открытое место. Немцы, как видишь, на возвышении.

— Так я пойду в роту.— Загурину не терпелось вступить в командование.— Давай мне связного.

— Стемнеет, вместе пойдем, не спеши,— ответил Кручинин.— Надо же тебя представить как положено, по всей форме: новый командир!

3

Селезнев сидел в одной из штабных землянок и при свете семилинейной керосиновой лампы переводил только что доставленный разведчиками приказ командира немецкой дивизии генерал-лейтенанта Мохальца.

— Какой-то пониженный тонус,— сказал он Юре Семечкину, полудремавшему на соломенном тюфяке.— Какие-то минорные нотки. «Мы должны укреплять оборону... Мы не можем позволить русским отнять те пози-

ции, которые завоеваны нашей кровью... Мы не должны страшиться зимы и артиллерии Советов...» Мы должны, мы не можем, мы не должны... Странный приказ!

— Ничего странного, Борис Андреевич. А что еще ему осталось писать? Ура, в атаку на Ленинград? Так, что ли? Немец, немец, а понимает, что не ужиться ему по соседству с таким городом, как наш. Вот и поет: должны — не должны. Верно, не приказ, а биение в пустой чайник.

— Вы несколько упрощенно судите, товарищ Семечкин. Такой серьезный вопрос, как природа минорного звучания немецких приказов, подлежит более внимательному рассмотрению. Я думаю...

В это время вошел связной с приказанием Селезневу немедленно явиться к Лукомцеву.

В землянке Лукомцева кроме Черпаченко находился и Баркан.

— Садитесь,— пригласил Лукомцев, указав Селезневу на застланную серым солдатским одеялом железную койку.— Я решил назначить вас начальником разведки дивизии. Не возражайте, не возражайте. Работа бесспорно ответственная, но вам, я считаю, она по плечу. Обстановка требует от нас отличной организации разведки и саперной службы. Саперную службу возглавит один из ваших товарищей, мы и это уже решили, а за разведку возьметесь вы. О деталях побеседуете позже с начальником штаба. Желаю успеха!

Селезнев вышел.

— Одно у меня сомнение,— сказал Черпаченко, глядя ему вслед,— кабинетчик он до нижней рубашки, и организаторских способностей у него, по-моему, непозволительно мало.

— Серьезный, хороший переводчик, аналитик,— не согласился Лукомцев.— Это прекраснейшие данные для разведчика. А уменье, навыки — придут.

Что касается самого Селезнева, то он не выразил ни испуга, ни радости, ни удивления, когда Лукомцев сказал ему о таком назначении. На заводе он аккуратно выполнял любые задания дирекции, привык быть исполнительным и в каждое дело вкладывал всю душу, методично, последовательно добиваясь должных результатов.

Рассказав о своем неожиданном повышении по службе Семечкину, который горячо ободрил: «Ничего, Борис Андревич, не теряйтесь, вытянете, да ведь и помогут»,

Селезнев тут же извлек из чемодана «Боевой устав пехоты» и принялся перечитывать главы, относящиеся к разведке.

Просматривая список личного состава, новый начальник дивизионной разведки взвешивал человека всесторонне, решая, что́ же в этом человеке есть ценного для службы в разведке, как он, Селезнев, ее, эту службу, понимает. А разведку Селезнев представлял себе отнюдь не в виде серии лихих наскоков на врага, основанных на личной отваге разведчиков. Это было, по его мнению, постоянное, настойчивое, повседневное проникновение в замыслы врага, в его планы, в его действия. Для выполнения такой задачи необходимы были люди самых различных качеств.

Вспомнил Селезнев и Бровкина, с которым когда-то ссорился именно из-за разности взглядов на разведку. Но ссора ссорой, а Бровкин, как старый сметливый солдат, будет безусловно полезен, и Селезнев вытребовал его из полка.

Бровкин явился в землянку разведотделения гордый тем, что его повышают: из полковой — в дивизионную! Вспомнили старика! Увидев Селезнева за столиком, он кивнул ему:

— А ты чего здесь? Или тоже в разведчики метишь, ноль-ноль восемь! — Заметив в петлицах Селезнева фронтовые зеленые «шпалы», которые тот надел как интендант третьего ранга, Бровкин смутился. И окончательно он растерялся, когда Селезнев спокойно, как бы между прочим сказал:

— Я начальник разведки дивизии, Василий Егорович.

Ошеломленный неожиданностью, Бровкин думал: «Ну какая теперь будет разведка, боже мой! Что он в ней понимает?»

— Сядьте,— сказал Селезнев и продолжал: — Несмотря на ваш неуживчивый характер, товарищ Бровкин, несмотря на то, что вы задира и крикун, я все же попросил командование отдать вас в дивизионную разведку. И поручился за вас. Надеюсь, вы мою рекомендацию оправдаете?

Бровкин досадовал на то, что взял его в дивизионную разведку именно Селезнев, человек, который ее, конечно же, с треском завалит и над которым все равно, сколько бы он «шпал» ни нацепил, вся дивизия будет хохотать.

Но дни шли, никто над Селезневым не хохотал, да и сам Бровкин вскоре убедился, что начальник его не так-то простоват, как ему, Бровкину, казалось.

Штаб армии требовал сведений, проверял ход строительства инженерных сооружений, подбрасывал пополнение в части, боеприпасы, в деревушке, где стояли тылы дивизии, появились танки: тяжелые КВ вползли в сараи, под навесы, в амбары, танкисты возились возле машин. Часто над позициями врага проносились наши воздушные разведчики, по утрам бомбардировщики скидывали там легкие бомбы, нащупывая систему зенитного огня. Шла подготовка, как в армии говорили, к жесткой обороне, но Лукомцев чувствовал, что организуется не только оборона. Он приказал усилить разведку и, в частности, во что бы то ни стало достать «языка», чего не удавалось сделать с того времени, как позиции дивизии стабилизировались. Добывали документы, трофейное оружие, но «язык» не давался.

Много поступало самых фантастических предложений, как поймать немца. Придумал свой проект и Бровкин:

— На приманку возьмем. Привяжем в кусточках барана, немцы и приползут. Они же всё поди в окрестных селах пожрали. А приползут, мы их тут и зачалим.

Над Бровкиным только посмеялись: живого барана в те дни в кольце блокады найти было невозможно.

Селезнев сам взялся за разработку плана поимки «языка». Два дня ползал он в ничейном пространстве между своими и немецкими окопами и в конце концов вызвал Бровкина:

— Вот что, Василий Егорович, завтра вы приведете «языка». Руководство операций поручаю вам, как человеку серьезному и сообразительному.

«Ох лиса, до чего же ловок подъезжать»,— думал Бровкин, но слова Селезнева были ему весьма приятны, и слушал он внимательно, поскольку назначался ответственным за такое дело.

— Смотрите сюда,— продолжал Селезнев, показывая по карте. — Здесь, в лощине, между кустарником и этой тропинкой, сидит боевое охранение какой-то немецкой части. Какой, мы пока не знаем. Их там человек тридцать — сорок. В восемь ноль-ноль... Это не «ноль-ноль восемь».— Через сверкнувшее пенсне Селезнев

взглянул на Бровкина.— В восемь ноль-ноль, говорю, они завтракают. Точно. На то они и немцы. В шестнадцать ноль-ноль обедают. А в двадцать один ужинают. В обед они, надо полагать, больше всего получают пищи, поэтому и настроение у них в такой час самое благодушное. И хотя это день, а не ночь, и светло, а не темно, я считаю, что брать «языка» надо именно в этот, обеденный час. От нашего боевого охранения, откуда вы начнете путь — только ползком, скрываясь за кочками, осокой, не спеша, без горячки,— до немца ровно полтора километра, и все торфяником. На это у вас уйдет три часа, я проверил. Значит, чтобы поспеть к шестнадцати, вам надо двинуться в тринадцать. А там — полная воля вашей инициативе, ловкости, хитрости. Понятно? Беретесь?

— Берусь. Понятно.— Операция Бровкину казалась настолько ясной, успех ее настолько очевидным, что он загорелся нетерпением.— А когда? Завтра? Есть, товарищ капитан!

Все пошло как по расписанию. К тринадцати ноль-ноль два десятка бойцов с Бровкиным во главе были в окопчиках боевого охранения одной из рот первого полка и двинулись вперед на торфяник.

— Зады, зады подбирай! — шептал Бровкин.— К земле прижимайся.

Маскировке помогали кочки, слегка припорошенные снегом, заиндевелые редкие кустики, пучки бурой сухой осоки.

В четыре часа дня, как это и рассчитал Селезнев, разведчики были в отмеченном на карте месте, в двадцати метрах от траншей немецкого боевого охранения. За брустверами там брякали котелки, слышался говор, смех, кто-то напевал.

Бровкин взмахнул рукой — сигнал! Вскочил первым на ноги, бойцы бросились за ним, в несколько секунд пробежали короткое расстояние до окопа и молча обрушились на плечи ошалевших от неожиданности немцев. Те буквально остолбенели при виде падающих на них людей с автоматами. Бой в траншее длился две, может быть, три минуты, не больше. Бойцы били гитлеровцев прикладами, кололи ножами, избегая стрельбы. Немцы тоже не стреляли. Они были безоружны: их винтовки и автоматы оказались в стороне, составленными на время обеда. Немцы пробовали обороняться ножами; один из

них отбивался котелком, из которого при каждом взмахе брызгала клейкая ячневая каша. Боец ударил его автоматом по каске; оглушенный немец присел на корточки, но котелка с кашей из рук не выпускал...

Несколько немецких солдат, выскочив из окопа, пустились наутек. Бровкин дал им вслед очередь. Двое упали. И тут только руководитель разведки спохватился.

— Стой! — крикнул он не своим голосом.— Стой! Есть еще живые?

— Есть один,— ответили из угла, где шла возня.— Никак не взять гада, сейчас кончим его...

— Не трожь! — закричал Бровкин в испуге.— Черти, «языка» же пришли брать! — Он оттолкнул бойцов от немца. Тот настолько крепко забился в патронную нишу в стенке окопа, что из норы торчали одни его ноги.— А ну, хватайся!

Бойцы взялись за ноги и в два рывка выбросили гитлеровца на дно траншеи.

— Какой-то чин,— заметил один из бойцов.— С лычками.

— Вяжи! — приказал Бровкин.— И пошли, а то расчешут.

Уже не маскируясь, лишь слегка пригибаясь, бежали назад прямо по полю... Когда были совсем возле своих траншей, вслед им ударили немецкие минометы. Немцы долго долбили по кочкам и кустарнику. Минные разрывы гремели даже и тогда, когда возбужденный успехом, радостный Бровкин докладывал Селезневу:

— Задание выполнено, товарищ капитан! «Язык» взят. Звания не знаю, с лычкой.

— Ефрейтор.

— Убитых нет, только шестеро легко ранены столовыми приборами. Захвачено восемь автоматов, пистолет, два ручных пулемета. Винтовок не брали, тяжеловато тащить, товарищ капитан.

— Спасибо, Василий Егорович,— просто сказал Селезнев, протирая пенсне.— Передай благодарность всем ребятам.

Лукомцев остался доволен боевым выходом дивизионной разведки:

— Видите, майор, не ошиблись мы в Селезневе. Я чувствовал, что есть в нем что-то такое от следопыта.

4

Не ошиблось командование дивизии и при выборе командира молодого саперного батальона.

Однажды ночью Юра Семечкин, пробираясь с передовой линии в политотдел, заметил за кирпичным заводом, в поле, темную фигуру, совершавшую непонятные движения. Фигура бродила из стороны в сторону, раскачивалась, нагибалась, что-то искала в снегу.

— Эй, кто идет? — окликнул встревоженный Семечкин, доставая пистолет.— Стой! — И щелкнул курком: — Пароль!

— Свои,— отозвался человек на снегу.— Палить не вздумайте. А пароль я вам с такого расстояния орать не стану! Подойдите поближе, тогда и спрашивайте. И вообще, вы сами-то кто такой?

Семечкин храбро зашагал по снегу.

— Фунтик! — изумился он, узнав геолога.— Вы что тут?

Фунтик стоял с миноискателем в руках и смущенно улыбался. Ночью он, оказывается, работал с этим прибором для отыскивания мин, чтобы назавтра утром ровным, уверенным голосом человека, знающего свое дело, рассказать о миноискателе бойцам, точными, проверенными движениями показать им, как надо с ним обращаться.

В противоположность Селезневу рядовой Фунтик до крайности расстроился и даже перепугался, узнав о назначении на командную должность, да еще на такую — в батальон! Только что был связным, и вот, на тебе,— начальник. Но приказ есть приказ, оставалось одно — работать, и он энергично принялся за дело. Копаясь в списках личного состава частей, Фунтик отобрал плотников, каменщиков, кузнецов, землекопов. Достал наставления по саперному делу, справочники, и в батальоне началось учение. Новый командир целый день учил молодых саперов, а ночью учился сам: взрывал толовые шашки, резал до боли в руках колючую проволоку, отрабатывая ловкие, автоматические, экономные движения. У него стала вырабатываться черта, так необходимая и бойцу и командиру: умение применяться к условиям войны. Фунтик открыл, что печи в землянках можно делать из водопроводных труб больших диаметров и даже из старых огнетушителей. А самое главное, за что

он получил личную благодарность командира дивизии,— Фунтик знал теперь, как рыть окопы на мокром торфянике между нашими и немецкими позициями. Как-то один из пехотных командиров сказал в штабе дивизии: «Черт бы подрал этих саперов! Всю ночь ковырялись, а что сделали? Траншею в сорок сантиметров глубиной».— «Сорок? — переспросил тут же находившийся Фунтик.— Молодцы! Хорошо, что не пятьдесят. Иначе вода все бы залила. Мы, уважаемый товарищ, вынимаем за ночь лишь то, что промерзает за день».

Опыт Фунтика стал известен в штабе армии, и вскоре через «проклятый» торфяник от всех батальонов и рот к немцам зазмеились ходы сообщения; потом возникли выдвинутые вперед окопы и траншеи.

Бойцы, которые вначале с недоверием отнеслись к командиру в роговых очках, теперь полюбили его от всей души за человечность, за глубокие знания, за, как им казалось, большой военный опыт, за то, что к нему приезжают советоваться командиры из соседних частей.

«Опять к нам»! — многозначительно перемигиваясь, говорили саперы, завидев чью-либо «эмку» или «козлика» возле землянки своего комбата. Это «к нам» было преисполнено гордостью за весь батальон, за всю дивизию, выросшую из ополченцев.

Зная историю с Фунтиком, Семечкин пожал руку геологу, пожелал ему удачи и ушел.

5

Вовсю развертывались инженерные работы и на участке роты Загурина, где грунт был отнюдь не торфянистый, а глинистый, плотный, тяжелый. Работали ночами, потому что до немцев здесь было слишком близко и вся местность просматривалась с наблюдательных пунктов врага. Загурин, по-прежнему мечтавший о штыковой атаке, любил побродить ночью по окопам, понаблюдать их ночную жизнь; встанет где-нибудь в ячейке для пулемета, замрет, насторожится. А сегодня он решил сам отвести смену бойцов в боевое охранение. Дойдя до передней траншеи и дожидаясь там, пока соберутся бойцы, Загурин почти рядом услышал во мраке сиплый бас:

— Что же, я санинструктор, это верно. По закону если, то мне тут долбать и не полагается. А надо, брат ты мой, надо.

Эти слова сопровождались стуком лопаты о мерзлую землю.

Бойцы тем временем собрались. Загурин проверил их оружие и повел ходом сообщения на снежную равнину впереди окопов. Когда ход окончился, бойцы перебежали полянку, перепрыгнули через текущий подо льдом ручей и дальше шли неглубокой канавой, пригибаясь к самой земле. Как ни осторожно старались они двигаться, противник, очевидно, заслышал скрип снега под ногами, и в небо одна за другой полетели осветительные ракеты. Загурин приказал лечь, но немцы уже встревожились. На близкой линии их окопов замелькали вспышки выстрелов, елочным фейерверком посыпались разноцветные пули, на фланге неторопливо застучал крупнокалиберный пулемет. Равнина и небо над ней прошились огненными строчками.

Стрельба стихла не скоро. Удвоив осторожность, бойцы продолжали путь. Совсем близко от переднего края врага, укрывшись в канаве, их ожидали товарищи, которые уже отбыли свой наряд. Они выползли навстречу пришедшим из ячеек в холодной снежной земле, размяли затекшие мускулы и, молчаливые, так же согнувшись, падая при вспышках ракет, ушли.

Загурин проследил за тем, как новый наряд занимает стрелковые ячейки, укладывает на брустверы винтовки и устанавливает пулеметы, устраивается, насколько возможно, поудобнее. Бойцам здесь придется лежать целые сутки, до боли в глазах вглядываясь вперед, напряженно ловя каждый звук, каждое движение во вражеских окопах. Между ними и врагом — лишь проволока и несколько десятков метров открытого поля. Говорят и пишут: фронт, передовая линия обороны... Вот же он, фронт, вот же она, передовая линия обороны, — эти несколько бойцов, полуголодных, озябших, отнюдь не могучих физически. Все неизмеримо проще, будничней, чем думают те, кто сейчас в тылу.

Только убедившись, что боевое охранение в порядке, Загурин двинулся обратно. Проходя по главной траншее, в стенках которой были вырыты бойцами ниши — на одного, на двоих, где, завесив вход плащ-палаткой и разведя костерок на перевернутой крышке котелка,

можно поддерживать тепло, греть щи, писать домой письма,— он снова услышал разговор:

— А как ты думаешь, сидеть вот здесь, в холоде, под пальбой, когда даже снег вокруг от разрывов что сажа,— это не героизм?

В ответ молчали.

— Нет, ты скажи, героизм или нет? — настаивал первый голос.

Наконец второй мрачно и нехотя ответил:

— Если не ныть, то, может быть, да. А вообще-то, очень ординарно. Я не так представлял себе героизм.

— Это у тебя книжное представление о героизме. А по жизни — мы с тобой и есть герои. Это я не для хвастовства, а для констатации факта.

Такое определение героизма: «Если не ныть» — Загурину показалось тоже не очень верным, оно не вязалось с его представлением о героизме динамичном, деятельном, эффектном. Он хотел было заглянуть в нишу к беседующим, но фронт внезапно ожил. Должно быть, гитлеровцам опять померещилось. Снова загремели пулеметы, захлопали винтовочные выстрелы, в небе замигали ракеты, и вскоре возникла музыка. Из мерцающей дымки вместе с трассирующими пулями долетели звуки знакомой всем боевой песенки:

Все хорошо, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!..

Когда песенка затихла, голос фельдфебеля из немецкой роты пропаганды забубнил:

— Товарищи бойцы и командиры Красной Армии, переходите к нам... Не верьте комиссарам и политрукам... Мы дадим вам пищу, дадим работу...

Загурин подал команду:

— Ну и поработаем! Прогреть оружие!..

Возвратясь под утро в свою, тоже смахивающую на нору, землянку, он нашел на постели знакомый серый конверт, очевидно в его отсутствие принесенный ночью с полевой почты. Жена писала, что в семье все благополучно, только с едой стало туговато; что она работает теперь на оборонном заводе; что ее премировали; что она беспокоится о его здоровье. «А просьбу твою выполнила. В воскресенье сходила по обоим адресам. Всего писать не буду, но только передай своему командиру, что ни там, ни там их нет, и где — узнать не смогла».

Это было ответом не столько Загурину, сколько Кручинину, который по сей день не имел сведений о семье. Письма его возвращались с пометкой: «По указанному адресу не проживает». Кручинин писал товарищам в Ленинград, но те или тоже ушли на фронт, или дни и ночи просиживали на заводе, готовя оружие для армии, и не отвечали. Тогда вот он и попросил Загурина узнать через жену что-нибудь о Зине и дал адрес ее и адрес своей матери.

Загурин был так огорчен письмом, что долго не мог продолжать чтение, понуро сидел, вглядываясь в прыгающий огонек масляной коптилки. Ему было больно за друга, молчаливо, в одиночестве, переживавшего свою тревогу.

От близкого разрыва мины плащ-палатка, прикрывавшая вход, взметнулась, и коптилка погасла. Загурин зажег ее и вновь принялся за письмо. Жена в заключение писала: «Поздравляю тебя с нашим праздником. Вспомни прошедшие годы, как мы встречали этот день».

Загурин взглянул на календарик, прибитый над постелью огромным ржавым гвоздем: праздник! Да, в самом деле, через два дня праздник, а он здесь даже счет времени потерял. Послезавтра — седьмое ноября.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Неудачно съездив к Андрею на фронт, Зина не сразу набралась решимости пойти к его матери и, как ни стремилась поскорее увидеть детей, долго бродила по ленинградским улицам.

Навстречу ей двигались колонны бойцов, шли женщины и старики с лопатами и ломами, проезжали вереницы автомашин и танков. Аэростатчики вели под уздцы норовистые от ветра баллоны с газом для аэростатов заграждения. В небе, которое все дни было до отчаяния безоблачным, барражировали серебристые тройки воздушных патрулей. Зину толкали торопливые прохожие, обзывали ее дурой и раззявой, но она ничего этого не замечала.

Был тихий летний вечер, когда она добрела наконец до знакомого подъезда на набережной Малой Невы, поднялась по лестнице, на которой стоял мрак от синей краски на окнах, и подергала за медный шарик старомодного звонка. Кто-то отворил ей двери в темноте, она вошла в комнату, щурясь от вечернего солнечного луча — он бил прямо навстречу ей через окно,— и первое, что увидела, были живые черные, молчаливо ожидающие глаза под седыми бровями. Затем ураганом налетели ребятишки:

— Мамочка приехала!

Зина схватила обоих и спрятала лицо под их жадно обнимающими, торопливыми руками. Когда она подняла на минуту глаза, свекровь уже стояла возле окна и смотрела на реку, по которой крошка-буксир тащил огромную баржу, нацеливая ее под деревянный мост. Зине стало ясно, что старуха все поняла и говорить уже ничего не нужно.

Полетели дни, полные душевного напряжения. Ребятишек Зина снова взяла от свекрови домой, каждое утро водила их в детский садик и бегала в поисках работы. Но специальность бухгалтера осенью 1941 года в Ленинграде была не очень-то нужна, и ей долгое время не везло. А когда все-таки и приняли в одно учреждение, то не успела она проработать там трех дней, как учреждение в полном своем составе ушло на оборонные работы; Зину, правда, оставили в городе — из-за ребят. Потом и она пошла копать траншеи — здесь же, на Московском шоссе, где жила, недалеко за своим домом. Тысячи людей рыли противотанковые рвы, строили доты и дзоты, воздвигали баррикады из металлического заводского лома, тянули колючую проволоку, минировали дороги и поля. Работали от зари до зари, уставали так, что после короткого сна едва разгибали спину,— и все-таки работали. Этого требовал родной город, город, с которым для каждого ленинградца было связано все лучшее в жизни, все светлое, все прошедшее и будущее. Город брал в руки оружие. В только что отстроенные дзоты вкатывались противотанковые пушки, все больше и больше на площадях и в скверах появлялось зенитных батарей, все больше тяжелых танков накапливалось в окраинных улицах.

На заводах и фабриках, в учреждениях возникали отряды самообороны, люди вооружались каким только

возможно было оружием; друзья клялись друг другу стоять до последнего, отдавать жизнь как можно дороже и если умереть, то на пороге своего завода. Жены в эти дни были вместе с мужьями, они тоже готовились к борьбе.

Почти каждый день, иногда по нескольку раз, выли тревожно сирены. Жители разбегались по укрытиям, прятались в противоосколочные щели в садах и парках; где-то очень далеко стучали зенитные пушки, туда же с ревом проносились истребители, и затем труба по радио возвещала отбой. Это были желанные звуки. Недаром в те дни родился быстро распространившийся анекдотический диалог. Девушка просит молодого человека: «Скажите что-нибудь приятное».— «Отбой воздушной тревоги», — басит тот.

Только в сентябре, когда немцы были совсем близко, в пригородах, и когда почти не умолкал гул тяжелых орудий, отбивавших вражеские атаки, Зина впервые увидела над Ленинградом «хейнкели». Тупокрылые самолеты вышли из-за синей тучи на западе и сразу оказались над городом. Их было девять. Вначале они шли, сохраняя строй. Вокруг бушевала буря разрывов, небо, как оспой, покрылось точками черного взрывного дыма. Но когда самолеты прошли Неву, строй их распался, и они поодиночке стали уходить.

— Испугались, ничего не сбросили! — сказал кто-то в подъезде, где стояла Зина.

— А это что? — воскликнула другая женщина.

В нескольких местах над городскими крышами заклубился дым пожаров.

По улице, звеня колоколами, промчались пожарники, завыли сирены санитарных машин, бежали люди, спешила милиция, запахло гарью: где-то неподалеку пожар охватил жилые дома, пакгаузы; бушующим пламенем горели Бадаевские склады — главные продовольственные хранилища города.

В те дни Московское шоссе сделалось прифронтовой дорогой, людей отсюда стали переселять в другие районы города. Пришлось перебираться и Зине. Вдвоем с дворничихой погрузила она на тележку самые необходимые вещи и перебралась к матери Андрея на Васильевский остров. Вскоре она поступила на табачную фабрику, которая была совсем недалеко от дома. Ее послали в мундштучный цех, где теперь собирали ручные

гранаты. Стоя у конвейера, Зина вспоминала слова Баркана: «Ну ничего, патроны будете делать, вас научат».

Кроме гранат, фабрика по-прежнему выпускала и папиросы и табак; но вырабатывала она еще и чудодейственное средство от многих болезней — сульфидин.

Во время обстрелов вокруг фабрики рвались снаряды, при авиационных налетах падали бомбы, сотрясая корпуса своими тяжелыми глухими ударами. Но работа не прекращалась, так же неторопливо текла лента конвейера с деталями гранат.

Дети Зины каждый день ходили с бабушкой на Петровский остров. Это было близко, лишь перейти Тучков мост и обогнуть стадион имени Ленина. В желтой листве они собирали там желуди, кидали в воду камешки.

Заметив иной раз проходившего военного, ребятишки затевали с бабушкой разговор об отце.

— А папа скоро приедет? — спрашивал Шурик.— У него сколько «кубиков»?

Старуха отвечала коротко:

— Вот обождите, приедет. Задаст вам, что меня не слушаетесь, — и спешила отвлечь их внимание какимнибудь диковинной величины желудем или осколком цветного стекла. Дети принимались играть, а она присаживалась на пенек на берегу пруда и, понурив голову, рассеянно следила за мельканием рыбешек на мелководье.

Во время одной из таких прогулок в парке бабушку и детей застала тревога. Они спрятались в крытую щель под деревьями. В щели было слышно, как били зенитки. Несколько раз глухо вздрагивала земля, и тогда знатоки говорили в потемках: «Пятисотка».

Через час все стихло, бабушка повела испуганных детей домой. Но возле дома толпился народ, цепью стояли милиционеры, возились бойцы восстановительной команды. Дом был разбит, фасад его рухнул на набережную, и перед матерью Андрея Кручинина обнажилась вся ее квартира. Картины на стенах, абажур над местом, где стоял обеденный стол, на голубой стене кухни белая раковина водопровода.

Вечером, когда с работы возвратилась Зина, вместе с нею они отыскали в развалинах кое-какие сохранившиеся вещички; потом пришел грузовик с фабрики и всех четверых отвез в чью-то пустую квартиру на Петроградской стороне. Ходить на фабрику отсюда было зна-

чительно дальше, Зина возвращалась домой усталая, валилась на постель и думала только об одном, о чем-либо другом как-то не хватало сил думать,— она думала об Андрее, о прежней их жизни, о хорошо проведенных с ним днях.

Зина была уверена, что Андрей погиб, и разыскивать его уже не пыталась. Она оплакивала мужа по-своему, сухими глазами, посвящая ему эти свои ежедневные думы о прошлом. Горечь утраты стала привычной; Зина знала, что так, с этой горечью, она будет существовать до последнего своего дня, жизнь не скрасит уже ничто, даже дети. А дети и ее, так же как бабушку, часто расспрашивали: «А почему папа не шлет нам карточку в военном? Вальке папа прислал с наганом. Вот так — ремни, здесь — звездочка. Почему, мама? Мама, почему ты молчишь?..»

Письма Андрея до нее не дошли; сначала он писал по адресу своей квартиры, но Зина уже оттуда выехала, и письма с отметками почты «не проживает» пошли к нему обратно; потом он писал матери, но и этот адрес перестал существовать. Жена Загурина, побывавшая и в пустой квартире на Московском шоссе, и в разбитом доме на Васильевском острове, тоже ничего не смогла узнать о судьбе семьи Кручинина. Так и жили они, Андрей — в неведении, Зина — в горе утраты.

Пятого ноября, как раз в тот день, когда Загурин читал Андрею по телефону письмо своей жены, Зине сказали на фабрике:

— Кручинина, собирайся. Завтра поедешь в часть на передовую. Подарки повезешь.

2

С тугими рюкзаками за плечами, в белых маскировочных халатах, Зина и ее две подруги двинулись в путь — от штаба батальона до роты. Ночь была морозная, ясная. На снегу — призрачное мерцание холодных искр от луны; сквозь обледенелый кустарник с тихим свистом сочился ветер.

— Днем мы канавкой ползаем. Есть у нас тут такая, по колено глубиной,— сказал сопровождавший гостей лейтенант.— А сейчас можно и по ровному. В маскхалатах ничего.

И они в своих ватниках, в стеганых брюках, как пловцы, бросились в снег. Когда добрались до траншей, их встретили там с радостью. Но нет, не так Зина представляла себе этот праздник в окопах. Речей говорить не пришлось. Им сразу же сказали:

— Тш-ш... Только шепотом.

Со своими мешками, набитыми варежками, шерстяными носками, шарфами, которые ночами вязали их фабричные подруги, с табаком и папиросами в карманах, женщины стали пробираться по траншеям, спотыкаясь о комья мерзлой глины, замирая, когда рядом рвался снаряд. Где траншеи были только до пояса, двигались ползком, пряча головы от трассирующих пуль. Зина видела ниши, выдолбленные в стенах окопов. Вытянуться в них было невозможно, бойцы лежали, свернувшись, и согревались собственным дыханием. Плащ-палатки, закрывавшие вход, от пара покрылись корочкой льда и, если коснуться, гремели, как жесть.

— Табачницы? — спросил один из бойцов, принимая сверток с подарком.— Рукавицы? «Беломор»? Это хорошо, но дороже, что сами пришли.

На всем их пути навстречу поднимались из ниш люди в шинелях. Молчаливые бойцы стояли, пока женщины проходили дальше, и это было, как ночной парад,— торжественно и сурово. Обычная фронтовая ночь со стрельбой, со вспышками ракет, с морозом стала вдруг подлинно праздничной ночью. Ведь эти чьи-то жены и сестры — посланницы Ленинграда, и это, конечно же, самый дорогой подарок.

Зина и ее подруги поняли, как расценивается их приход. Они добирались до передовых огневых гнезд. Коротким жестом командир отделения подзывал двух ближайших бойцов, те подползали, и женщины шептали им прямо в лицо — немецкие окопы были совсем рядом, — шептали что-то хорошее, не придуманное, то, что приходило в голову здесь, на самом крайнем рубеже обороны Ленинграда, что шло этой праздничной ночью от доброго женского сердца.

Они доползли и туда, где нельзя было говорить даже шепотом. Молча подала Зина шерстяной шарф зарывшемуся в снег бойцу. Молча пожал он ей руку.

За всю ночь только раз пришлось говорить в полный голос. Это было в блиндаже у минометчиков. В низкой землянке набилось столько народу, что казалось, будто

лежат они один на другом. Вокруг керосиновой коптилки клубился пар — так надышали.

— К свету проходите! — приглашали хозяева.

К свету еле пробрались, наступая на чьи-то ноги, спотыкаясь о шинели и руки. Но зато там можно было говорить вслух.

— Клянусь беспощадно истреблять фашистских собак! — горячо воскликнул молодой боец, принимая подарок.

— Собак не обижайте, — откликнулся голос откуда-то из угла. — Собака — друг человека.

Гостям задавали множество вопросов. В эту, как, впрочем, и во все другие ночи, бойцы мысленно уносились в свой город, они жили его жизнью, думали его думами. И знали: будет час — они вернутся на его строгие проспекты, на гранитные набережные, в свои обжитые дома на Международном и Кировском, на Невском, на Садовой, на Сенной и Введенской, на Большом и на Малом...

— Эх, родные наши ленинградские! — говорили бойцы, потягивая папироски. — Давно таких не куривали!

— У вас на фабрике девушек много, — сказал командир одного из взводов. — Ждите, разобьем немца, за невестой приеду.

Начинало светать, когда собрались в обратный путь. Прощание было долгим и трогательным. Каждый хотел пожать теплую женскую руку, может быть вспоминая в ту минуту жену, подругу, любимую. Некоторые, кто посмелей, обнимали за плечи, целовали.

— Пока! Ожидайте с победой!

— Привет площади Тургенева!

— Поклон Загородному!

Окопы остались позади. Рассветало. С зарей в города и села Советской страны вступал праздник. Но в окопах он уже прошел, его отпраздновали ночью: днем в них будет тихо, жизнь замрет; только не перестанут реветь пушки и стучать пулеметы, только не перестанет над снежным полем кружиться смерть, высматривая очередную жертву.

Когда взошло солнце, Зина в грузовике ехала по дороге к Ленинграду. Хотелось заснуть, но прежде надо было придумать, что рассказать ребятам. Они ведь решили, что мама поехала к папе.

3

Кручинина новый день застал на наблюдательном пункте. Ночью к нему в батальон тоже приходили гости, были и женщины; понимая, что это глупо, наивно, он все же всматривался в каждую, звонил в соседние батальоны — кто у них? Как фамилия?

Сейчас Кручинин сидел на наблюдательном пункте и разглядывал, как артиллерия била за речку, по деревне, занятой немцами. В стереотрубу были ясно видны три кирпичных дома, в одну линию стоявшие на берегу. Вправо от среднего из них взлетел столб черного дыма. «Левей бы», — только подумал он, как черный столб вскинулся уже слева. Наконец облако красной кирпичной пыли засвидетельствовало прямое попадание. Еще выстрел — и снова красное облако над домом, еще одна дыра в стене. Снаряды ложились точно и густо. Они разбивали крышу, отламывали огромные куски стен. Немцы метались от здания к зданию.

Андрей знал, что это методичное разрушение вражеских огневых точек, узлов сопротивления, укрытий — звенья общей цепи надвигающихся событий, в которых его батальону придется сыграть немалую роль.

Стоял легкий морозец. В воздухе, позолоченная солнцем, кружилась тонкая снежная пыль. Для ноября это был редкостный день, да и немцы почему-то молчали: ни мин, ни снарядов, ни пулеметного треска.

Праздничная тишина на своих незримых крыльях уносила назад, в минувшие годы, далеко от войны, от фронта. И снова в мыслях Кручинина — Зина, родная, близкая.

В приподнятом настроении возвращался он к себе в блиндаж, ему хотелось одиночества, тихих-тихих минут в своем подземном жилище, чтобы поговорить с любимой вслух, в тысячный раз перебрать ее фотографии, перечитать короткие записочки, сохраняемые в бумажнике с незапамятных времен.

Хотелось тишины, но, подойдя к землянке, он услышал патефон. В землянке сидел Юра Семечкин. Приход его был совсем некстати.

— Пришел в гости, — сказал Кручинин, — а ведешь себя как хозяин.

— Принес, понимаешь, принес!.. — Семечкин, по обыкновению, перешел на таинственный полушепот.—

Витаминизированной горилки принес и пластиночку. Умрешь — заслушаешься. — Юра вставил новую иголку, и старинная пластинка запела вальс «Тоска по родине». Плакали скрипки и флейты, горько жаловались трубы.

— Прекрати! — резко сказал Кручинин. Юра изумленно и даже немного испуганно взглянул на него, попытался было возразить, но Кручинин уже выскочил из землянки. Он не хотел в эти минуты никого видеть. Он хотел быть один. Но первое, что он увидел, захлопнув за собой дверь, была спина Аси Строгой, стоявшей в нескольких шагах от блиндажа. Ася обернулась, вся вспыхнула от неожиданности и тотчас побледнела. Она даже позабыла поприветствовать командира. А он, глядя куда-то поверх Асиной головы, спросил:

— Вы что тут?

— Так просто, — еще больше смутилась девушка. — Шла мимо.

— И заслушалась? — Кручинин кивнул на землянку, где Семечкин снова крутил патефон. Теперь это были визг и грохот какого-то фокстрота.

— Да... То есть как раз нет.

— Ну нет, так заходите.

Асю смущал этот странный, непривычно рассеянный и неприветливый тон командира, смущали внезапные вопросы, на которые невозможно было ответить. Не могла же она в конце концов сказать, что шла именно к нему. Набралась храбрости и шла, потому что ей казалось, что командир одинок, а в такой день одиночество особенно тяжко для человека, она знала это по себе. Ей хотелось побыть с ним, поболтать, рассеять мысли о семье — всему батальону было известно, что у командира потерялась семья. Ася даже несла подарок Кручинину — резной мундштучок из кости. Шла, но возле самого блиндажа, как это всегда бывает с людьми застенчивыми и скромными, храбрость покинула девушку, и она, растерянная, остановилась.

— Живо! — повторил свое приглашение Кручинин. — Заходите!

— Да я же спешу.

— Куда это? Не на свидание ли? Тогда счастливого пути.

— Нет же! Совсем нет!

— Тогда заходите, без препирательств.

Ася вошла, поздоровалась с Семечкиным и робко присела на какой-то ящик.

— К столу, девушка, к столу! — захлопотал Семечкин. — Сегодня у нас с командиром пир. — Он извлек из кармана две бутылки темно-красной настойки.

— Витаминизированная. Целебная.

Кручинин парезал хлеба, открыл коробку шпрот, насыпал на газету галет. Семечкин разлил настойку по алюминиевым кружкам. Все чокнулись этими неизменными фронтовыми «бокалами».

— За счастье! — сказал Юра.

— За ваших жен! — Ася грустно улыбнулась.

— За победу, за военную удачу! — резко бросил Кручинин и выпил из кружки одним глотком.

Ася долго кашляла и не могла отдышаться. «Витаминизированная» оказалась спиртом, слегка разбавленным смородиновым сиропом. Пить она больше не стала и занялась патефоном. Семечкин с Кручининым допивали «целебную» вдвоем. Спирт свое действие оказывал. Кручинин оттаял, заговорил и даже стал напевать. Семечкин в такт его пению взмахивал рукой, слушал серьезно-серьезно. Заслушалась и Ася. Голос у Кручинина был хрипловатый от постоянного пребывания на воздухе, но мягкий.

— Стоп! — остановил его Семечкин, прислушиваясь. Где-то хлопали винтовочные выстрелы, и в них вплетались торопливые пулеметные цепочки.

— Чепуха! — сказал Кручинин. — По самолету бьют. Сиди!

Но Семечкин вышел на улицу.

Ася пересела к столу и из карманчика гимнастерки достала свой заветный мундштук; ей казалось, что подарок командиру надо вручить, когда нет Семечкина.

— Вы разве курите? — удивился Кручинин.

— Да нет, что вы!..

Но он, не слыша ее ответа, подвинул к ней табакерку: «Свертывайте».

И снова решимость покинула девушку. Чувствуя, что получилось очень глупо, неумелыми пальцами она принялась крутить кривую папиросу. Кручинин глядел-глядел, да и свернул ей сам. Ася прикурила и сразу же поперхнулась дымом.

— Курильщица тоже! —Он засмеялся и, как ребенка, погладил ее по волосам. — А мундштук великолепный!

Взволнованная неожиданной лаской, Ася воскликнула:

— Да это же подарок! Я хочу...

— Цирк! — влетел в землянку Семечкин. — Чистый цирк. Айда на НП, Андрей! Увидишь кое-что. Скорее!

Мужчины вышли. Ася осталась одна. Она прибрала в землянке, подмела, оправила постель Кручинина, вымыла стол и накрыла его свежей газетой. В жилище командира батальона стало приветливее и уютней. Уходя, она оставила на столе свой мундштучок, радуясь, что он так понравился комбату.

По дороге к землянкам медиков Асю ошеломила пальба, внезапно открытая гитлеровцами. Заревели, должно быть, все их батареи, воздух шипел от снарядов, земля окутывалась дымом. Немцы явно потеряли выдержку. Да, впрочем, и было от чего.

В этот ноябрьский вечер не только Семечкин с Кручининым, но сотни людей наблюдали этот «цирк». Советский праздник Октября немцы решили ознаменовать по-своему. Ночью они разминировали часть минных полей, убрали проволоку, устроив широкий проход в своих заграждениях, и поставили там арку, увитую хвоей. Красное полотнище гласило: «Добро пожалуйте». К этому же «доброжалованию» с самого утра призывало и немецкое радио. Перебежчикам обещались всевозможнейшие блага. За каждую принесенную винтовку, за каждый пистолет, автомат, пулемет была назначена цена.

Но день проходил, и только к вечеру на дороге появилась группа красноармейцев и моряков, среди которых можно было различить долговязую фигуру Тишки Козырева. Не торопясь, как на прогулке, руки в карманах, шли они по направлению к немцам.

— Выходи, кто там! Принимай! По вашему объявлению пришли! — приближаясь к арке, крикнул тенором тощий маленький краснофлотец в широченных брюках клеш.

Навстречу из траншеи немецкого боевого охранения вышел обер-лейтенант, и за ним толпой побрело с полсотни солдат. Обер-лейтенант явно трусил, но офицерского достоинства терять не хотел и шел к арке твердым шагом, чего нельзя было сказать о его солдатах, втянувших головы в плечи.

— Привет русским храбрецам! — сказал немец, протягивая руку.

— Здорово, орел! — гаркнул, выступая вперед Козырев. Он ухватил офицера за руку и дернул его к себе так, что тот, пролетев мимо Тишки, попал в объятия сразу нескольких бойцов. Немец не успел даже выхватить из кармана стиснутую пальцами гранату.

Тотчас справа и слева со скрытых позиций по немецким солдатам ударили русские пулеметы, а моряки и красноармейцы в свою очередь закидали гитлеровцев гранатами. Поставив затем дымовую завесу, они пустились обратно. Тогда-то рассвирепевшие немцы и ударили всеми своими батареями, грохот которых удивил Асю. Но группа смельчаков вернулась к себе в полном составе под громовое «ура» всей передовой линии. Захваченный обер-лейтенант время от времени восклицал:

— О, гауптман Шнеллер, гауптман Шнеллер!..

Как выяснил при допросе Селезнев, инициатором злосчастной затеи, приведшей обер-лейтенанта в русский плен, был именно некий гауптман, или капитан, Шнеллер.

4

Дни испытаний, предвиденные Кручининым, наступали. Командование армии решило улучшить свои позиции возле железнодорожной магистрали, идущей на восток, продвинуться по ней вперед, что явилось бы серьезным шагом к прорыву блокады. Город и фронт испытывали жесточайший недостаток питания, не говоря уже о горючем, о металле для оборонных заводов. Теперь стал совершенно очевидным тот способ захвата города, о котором немецкие листовки кричали в сентябре. Это была блокада, а с нею — голод и холод.

По плану нашего командования для удара по вражеской обороне в числе других назначалась и дивизия Лукомцева. Батальон Кручинина должен был разведать боем оборону противника и попытаться сбросить немцев с западного берега речки. Задача, все понимали, — трудная и сложная. Основные немецкие укрепления располагались на противоположном, восточном, довольно высоком и обрывистом берегу. По западному же, ближнему, берегу проходил передний край их обороны, с целым рядом инженерных сооружений, с разветвленной системой траншей. Оба берега господствовали над торфянистой равниной, на которой держали оборону части дивизии бывших ополченцев.

Кручинин решил поступить так: двинуть весь батальон на исходные рубежи для атаки и одновременно, чтобы захватить немецкие дзоты в железнодорожной насыпи, послать на фланг взвод автоматчиков. Он рассчитал, что по торфянику батальон будет продвигаться медленно, и автоматчики тем временем сделают свое дело.

День боя наступил. Бойцы продвигались вперед по траншеям и ходам, вырытым саперами Фунтика путем промораживания. Система ходов сообщения была еще развита недостаточно, и дальше бойцы поползли по открытой равнине. Они не окапывались, когда враг открыл огонь из минометов и пушек: проклятый торфяник все еще не терпел прикосновения и при встрече с лопатой сразу же источал воду. На такой земле даже лежать было нельзя. Корка, схватывавшая ее сверху, проминалась, из-под нее проступала влага, и шинель примерзала. Бойцы были без маскировочных халатов, белое на такой земле только демаскировало бы: ветер взрывов сорвал снег, растопил его, покрыл копотью. Все тут смешалось: и земля, и колючие куски стали, и этот черный снег.

Засветло выйти к исходным рубежам не удалось. Немцы заметили движение батальона и буквально не давали людям поднять головы. То и дело на немецкой стороне взвивались ракеты: зеленая — из-за реки падают мины, красная — летят снаряды. И уже без всяких сигналов сыпали свою дробь пулеметы. Фашисты готовы были бить из всех батарей даже по одному одинокому человеку. Всей силой своего огня они держали дорогу из Ленинграда на восток.

Только ночью возобновилось движение на торфянике. Но и ночью оно не могло не стоить жертв: враг отзывался на каждый шорох, на каждый звук, простреливая заранее подготовленным заградительным огнем каждый квадратный метр перед своими позициями. В середине ночи бойцы все же были у цели — в двухстах — трехстах метрах от немецких укреплений.

Перед решительным ударом Кручинин приказал накормить людей. Связные и специально назначенные бойцы двинулись трудным путем с ведрами и термосами. Многие из них так и не возвратились от полевых кухонь, скошенные вражескими пулями. Бойцы, те, что не дождались пищи, извлекали из карманов раздавленные сухари и, пробивая каблуками лед на дне воронок, размачивали их в ржавой воде. Холод проникал под шинели, люди были

без валенок, в такой сырости от валенок только вред. Ноги стыли, товарищ просил товарища: погрей, тот ложился ему на ноги и грел их своим телом. И так по переменке.

Автоматчики, высланные вперед, тем временем подошли вплотную к мосту — черное кружево его ферм висело уж совсем рядом. Группе автоматчиков было легче, чем остальным стрелкам,— по их маршруту вдоль насыпи рос густой ракитник, скрывавший движение.

Командир взвода автоматчиков, молодой лейтенант, выслал вперед охранение — двух бойцов, одним из которых был Тихон Козырев. До насыпи оставалось каких-нибудь сто шагов, когда взвод попал под обстрел: где-то совсем рядом затрещали автоматы и пулеметы. Бойцы притихли, пережидая огневой шквал. Но огонь не прекращался. Лейтенант решил ответить. Он скомандовал, и сразу ударило полсотни автоматов его взвода. Теперь притихли немцы. Настала долгая пауза. Вдруг впереди справа раздался крик:

— Рота! За мной! Ура! — И затрещал автомат. Ему ответил второй — слева.

«А ведь это наши ребята»,— догадался командир автоматчиков и поднял взвод в атаку. Миновав кустарник, бойцы наткнулись на траншеи боевого охранения врага, по которым с флангов строчили Козырев и его напарник. Немецкие солдаты разбегались. Дзоты открыли огонь. Но было уже поздно, в их амбразуры летели гранаты. Над насыпью, сопровождаемое раскатистым «ура», взвилось алое знамя.

Занималось утро, в косых лучах солнца дивизия увидела этот огненный сигнал над насыпью. Артиллерия ударила через голову лежавшего в цепях батальона. Снаряды рвались возле немецких заграждений, рвали проволоку, били по дзотам и траншеям. Это было так близко, что осколки пели над головами бойцов, и те еще плотнее прижимались к земле.

Когда огневой вал докатился до второй линии вражеских окопов, началась атака, но далеко не обычная. Бойцы не побежали, а поползли — быстро, молча, из воронки в воронку. Враг бешеным артиллерийским огнем препятствовал этому движению. Над полем стлался дым, и уже избитая земля вздрагивала от новых ударов. Но бойцы упрямо ползли, и вместе со стрелками ползли пулеметчики, грудью толкая вперед свои «максимы». С катуш-

ками провода на спине ползли связисты. Они тянули линию вслед за командирами рот. А в обратную сторону ползли санитары, прямо по земле оттаскивая на плащ-палатках раненых. Бойцы согрелись, они сбрасывали в воронках шинели и рвались навстречу врагу. Даже раненые, скрипя зубами, продолжали этот путь, покуда хватало сил.

В одной из воронок возле только что установленного телефонного аппарата сидел Кручинин.

— Момент, без преувеличения, исторический,— шептал рядом Юра Семечкин. — Может быть, с него и начнется перелом, может быть, и война теперь пойдет на конус, а?

Кручинин молчал, наблюдал за передвижением батальона.

— Слышишь? — продолжал Семечкин. — Представь себе — победа! Мы возвращаемся домой. Ты впереди, по Международному проспекту, на белом коне.

— Не я, а ты,— ответил Кручинин, поднимая телефонную трубку.

— Ну, пусть я. На белом коне. Кругом народ. «Ура!» Женщины цветы бросают, а секретарь нашего райкома машет с балкона рукой.

— Прошу огонь в глубину! — крикнул в трубку Кручинин.

Артиллерия замолкла на минуту, и затем снаряды пошли на тот берег речки, на вражеские батареи.

Кручинин выскочил из воронки с пистолетом в руке. Крикнуть он ничего не успел, бойцы батальона опередили его команду, поднялись на ноги и ударили в штыки. Продолжала лежать только оставленная в резерве рота Загурина. Она должна была свежими силами форсировать речку, когда будет прорвана оборона на этом берегу.

Бойцы достигли траншей. Пошла рукопашная. Охваченные азартом траншейной схватки, бойцы не заметили, как из-под берега, заранее подготовленные, поднялись плотные немецкие цепи. Немцы — их были сотни — с ревом обрушились на батальон. Казалось, конец... Но на фланге у немцев внезапно появились шеренги в серых шинелях.

Гитлеровцы оторопели. Спокойно, твердо, винтовки наперевес, с острыми, поблескивающими жалами штыков двинулась рота Загурина. Затем по взмаху руки командира рота так же внезапно исчезла, как появилась. Упав

на землю, бойцы словно растворились на грязном снегу. Грянул залп. Оправившиеся было немцы снова опешили от неожиданности. Ряды их окончательно расстроились, когда рота поднялась и, сохраняя шеренги, пошла в штыки — все так же в полном молчании.

Немецкий левый фланг был сброшен в речку. Загурин уже набирал воду в свою фляжку, но появившийся возле него Кручинин закричал:

— Назад! Обходят...

Правым флангом немцы охватывали батальон, грозя теперь сбросить его под речной обрыв.

Кручинин видел, что продолжать атаку нельзя: через речку к немцам шло новое подкрепление. Надо было немедленно отходить. И он приказал Загурину:

— Выводи роту!

— Выводи батальон, пока я держу здесь,— ответил Загурин. Он был бледен, возбужден. Кручинин не узнавал его, такого всегда строгого и сдержанного.

— Приказываю!.. — возвысил голос Кручинин.

— Посмотришь, как фрицы еще подрапают от меня,— упорствовал Загурин. — Вперед, орлы!.. — И он рванулся из воронки. Но Кручинин поймал его за шинель.

— Товарищ старший лейтенант, прочь с поля боя! Я вас отстраняю от командования ротой!

Загурин побледнел еще больше. От волнения он не мог выговорить ни слова. Кручинин сам стал отводить его роту.

Ночью Кручинин явился к Лукомцеву.

— Я не справился с порученной задачей,— сказал он твердо. — Я не выбил немцев с берега.

— Успокойтесь. Вы неправильно расцениваете итоги операции. Батальон вынудил врага раскрыть перед нами все средства его обороны на этом участке. Большего я, признаюсь, и не ожидал. Спасибо, вы добросовестно выполнили задание.

И уже совсем обескуражен был Кручинин, когда спустя несколько дней ему было объявлено в штабе дивизии, что он назначается командиром полка с присвоением очередного звания — майора.

— Теперь будем редко видеться, — грустно сказал Кручинину Загурин. — До тебя теперь не скоро дойдешь...

— Почему? Поменьше горячности, побольше дисциплины. Покомандуешь еще некоторое время ротой, а там и в комбаты.

— Нет, нет и нет. Из роты — никуда. Так и полковник обещал.

— Не век же быть ротным!

— Нет, никуда. Навек.

Особенно была огорчена уходом Кручинина Ася Строгая. Так и не удалось ей отдать командиру подарок. Асю в тот раз постигла неудача. Кручинин подумал, что она нечаянно позабыла у него на столе свой редкостный мундштучок, и с посыльным отослал ей его обратно. Ася всплакнула, негодуя на себя за робость.

Разведка боем, проведенная батальоном Кручинина, дала новые материалы об обороне немцев, вскрыла их оборонительную тактику. Теперь нужно было найти червоточину в оборонительном поясе врага, чтобы взломать его. Этим занимался штаб армии.

Но и Лукомцев времени не терял. Он послал в Ленинград адъютанта, и тот привез ему кучу старых и новых книг.

— Полезные вещи пишут,— сказал он однажды Черпаченко. — Но немало и чепухи. Как-то раньше не замечалось. Война — пробный камень для военных теорий, и многие из них, гляжу, пробы сегодняшним днем не выдерживают.— Он помолчал, перелистывая страницы журнала.— А мы когда-нибудь напишем книгу, майор?

— Ну, что вы, Федор Тимофеевич! Наше дело солдатское.

— Почему же так? Мы воюем, у нас есть что сказать. И потом приятно, знаете ли, увидеть свои мысли на бумаге, аккуратно уложенными в строчки, с запятыми, все как полагается. Ну что, казалось бы, пустяк — моя статейка во фронтовой газете, помните, «Особенности позиционной обороны немцев»? — труд не велик, а все-таки лестно. Вырезал, послал брату в Архангельск. Нет, майор, мы, именно мы должны писать книги. А то накуролесят кабинетные историки! Они же схемы обожают: придумал «концепцию» и подгоняют под нее факты, как ему выгоднее. А мы... в бою со схемой пропадешь. Нет, нет, вот раздавим фашиста и будем писать. Только бы покончить с ними, с проклятыми.

— Когда же это произойдет?

— Сроков не скажу. Но вот вам моя рука, я вижу силу нашей армии... Будет о чем написать в поучение потомству.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Это было далеко не так просто — хотя бы на одном участке взломать вражескую оборону. На фотоснимках, доставленных воздушными разведчиками, передний край немцев представлял собой три-четыре линии сплошных траншей по всему фронту; на их изломах и в ходах сообщения через каждые сто пятьдесят — сто метров, а местами и гуще, были поставлены прочные пулеметные и артиллерийские дзоты, многослойным огнем простреливавшие всю местность перед собой. Дзоты и блиндажи строились из рельсов и шпал разобранных железных дорог, из вековых лип, дубов и лиственниц, вырубленных в пригородних парках. Такие рельсо-бревенчатые сооружения поддавались только прямому удару тяжелого снаряда. Но выкатить крупнокалиберную артиллерию по открытому болоту на дистанцию прямого выстрела было почти невозможно. Попытались несколько раз сделать так — только людей потеряли напрасно. И тогда, чтобы все-таки расстроить эту связанную между собой огневую систему, проложить в ней коридор для прорыва пехоты и танков, командующий армией после совещания с командирами дивизий и после долгой беседы с ними, и в частности с Лукомцевым, остановил свой выбор на тактике «прогрызания».

В дивизии началась упорная, незаметная для постороннего глаза, ночная работа. Ежедневно, как только сгущались ранние сумерки, часть бойцов в белых маскировочных халатах уползала, зарываясь в снег, туда, за боевое охранение, к позициям врага. Это были разведчики Селезнева и саперы Фунтика. Метр за метром изучали они оборону противника.

Другая часть бойцов уходила в противоположную сторону, в тыл, к окраинам Ленинграда, где на покинутых совхозных полях и на огородах были вырыты линии траншей наподобие немецких, построены дзоты и блиндажи. Там учились блокировочные группы, задача которых заключалась в том, чтобы одну за другой выводить из строя огневые точки врага, одну за другой планомерно захватывать его траншеи. Блокировщики должны были незамеченными подбираться к дзоту, ослеплять его амбразуру

пулеметным и автоматным огнем, через вход забрасывать гарнизон гранатами и, наконец, взрывать все сооружение.

Учения длились уже более двух недель. Казалось, каждый прием отработан до мелочей и каждый боец уже способен выполнить свою индивидуальную задачу хоть с завязанными глазами. Селезнев и Фунтик, руководившие подготовкой блокировочных групп, начали беспокоиться: утомленные еженощными тренировками, бойцы теряли интерес к этим непрерывным переползаниям, атакам и штурмам. Фунтик прямо обращался к начальнику штаба: «Товарищ майор, если дело еще не скоро, давайте, пожалуйста, устроим передышку».

Черпаченко, однако, учений не отменял.

И вот одним тихим пасмурным, безморозным днем в расположение штаба дивизии примчался бородатый, обсыпанный легким снежком мотоциклист.

— Эй, борода! — окликнул он пробиравшегося между землянок Бровкина. — Где комдив ваш?

— А кто ты сам-то такой, борода? — ответил Бровкин недружелюбно.

Мотоциклист соскочил с машины:

— Обиделся, что ли? Оба бородачи. Тебе поди полсотни, и мне шестой десяток. Я еще с генералом Брусиловым воевал. Где комдив-то? У меня пакет ему из штаба армии.

— Приказ, что ли? По какому делу?

— Мне не докладывали. Может быть, распоряжение выдать вам по пол-литра!

— Жди — пол-литра! — Бровкин усмехнулся. — Вон та землянка комдива, видишь, дымок из трубы. А ты заглядывай как-нибудь еще, борода, покалякаем. Я сам старый солдат и Брусилова тоже видывал.

Узнав о том, что получен боевой приказ, Селезнев сразу же явился к Лукомцеву.

— Прошу разрешить лично руководить группой, — заявил он, нервно снимая и вновь надевая пенсне. — Мне это крайне важно... Для дела.

— В ваши обязанности личное участие в блокировке дзотов не входит... — сказал Лукомцев.

— Знаю, товарищ полковник, но тем не менее прошу. Первая вылазка. Будет очень скверно, если она не удастся.

— Что ж, хорошо,— согласился Лукомцев, по-своему истолковывая возбуждение Селезнева,— разрешу, но прежде успокойтесь. Даже если первый блин и выйдет

комом, это вовсе не значит, что надо разводить нервное желе, тем более авансом. Действуйте спокойно, осмотрительно, не столько увлекайтесь боем, сколько изучайте, наблюдайте. Поручаю вам блокировку первого дзота. Нашей первой добычей будет вот этот.— И Лукомцев подвел Селезнева к карте. Селезнев слушал рассеянно, и, когда он вышел, комдив долго смотрел ему вслед в дверь блиндажа и потирал ладонью голову. Потом он деловито и плотно набил махоркой носогрейку, вытащил у спящего Черпаченко зажигалку из кармана, закурил. «Странно, странно... — подумал он. — Что это с ним?»

С наступлением темноты Селезнев засветил коптилку в своей землянке, достал из бумажника письмо жены, вновь перечитал его, положил в левый карман гимнастерки и долго сидел не шевелясь — локти на столе. В глазах его было пусто и холодно, как будто ни одна мысль не приходила в голову начальнику разведки, как будто он дремал, не опуская век, неподвижный, окаменевший. Затем вскочил, сорвал со стены автомат и вышел.

Спустя час Селезнев вел свою группу той дорогой, что так хорошо была разработана им на карте...

Он вернулся только под утро, бросился на свою постель и с головой укрылся полушубком; пенсне было разбито, на правом сапоге болталась оторванная подошва, брюки — в лоскутьях от колючей проволоки. В таком виде его застал связной:

— Товарищ капитан, к командиру дивизии!

Лукомцев встретил его вопросительным взглядом.

Селезнев, ни слова не говоря, извлек из кармана письмо своей жены и положил его на стол. Лукомцев пробежал глазами по строчкам, сделал движение, словно хотел пойти навстречу Селезневу, но подавил его и сказал резко:

— Что же вы мне вчера не сказали? Я бы запретил вам руководить делом, превратившимся из-за вас в авантюру. Вы были невменяемы. Понимаю: вашу дочь убило бомбой, понимаю и искренне сожалею. Но и я могу показать вам письмо — у меня убит сын. Что же, спрашиваю я вас, мы должны теперь совершать глупости?!

— Мстить! Мстить мы должны! Вот что, товарищ полковник!

Лукомцев встал и, положив руки на плечи Селезневу, сказал с укоризной:

— Разве так мстят? Сколько ей было лет?

— Четырнадцать.

— Четырнадцать... — Лукомцев прошелся к двери и обратно. — Мой старше, он уже воевал. Ах, капитан, капитан, мы с вами должны разбить, по крайней мере, две дивизии, а вы погнались за каким-то десятком вшивых фрицев. — Он прошелся еще раз. — Что же теперь будем делать?

— Даю слово...

— Исправить ошибку и все-таки взять дзот?

— Да.

— Запрещаю. Не ваше дело. Занимайтесь разведкой. Сами сделаем.

— Товарищ полковник!..

— Все. Помните о двух дивизиях.

В последующие ночи были захвачены и этот дзот и еще два соседних дзота и развернуты амбразурами в сторону врага.

2

В тяжелые декабрьские дни смерть заглядывала почти в каждую ленинградскую квартиру: чаще всего она вползала в них вместе с голодом. Бойцы получали письма, полные горечи. Суровые и простые известия эти от родных действовали на бойцов сильнее любых призывов к победе. Не раз политрук перед боем вместо беседы или речи развертывал треугольничек письма, полученного кем-либо из бойцов, и прочитывал его вслух всей роте.

Не миновало такое письмо и Баркана, комиссара дивизии; он боялся его, но письмо все-таки пришло. Соня писала, что во время одной из очередных бомбежек она испугалась и преждевременно родила мертвую девочку. Горько стало комиссару — не успел сделаться отцом, как уже потерял ребенка. Баркан вспоминал радостно-тревожные дни, когда оба они с Соней ждали этого первенца.

Никому не сказал комиссар о своем горе. Но поведение его заметно изменилось. Он и прежде часто бывал в подразделениях, а теперь почти не выходил из рот, из передовых траншей. Его тянуло к бойцам: то ли потому, что когда он слушал об их несчастьях, и ему становилось легче, то ли потому, что самому хотелось поделиться с ними своим горем.

Бойцы его любили, тянулись к нему.

— Сегодня мы будем в Красном Бережке, комиссар, — сказал однажды Лукомцев Баркану. — Поверьте слову!

— Я привык верить командиру дивизии. — Баркан улыбнулся. — Да и у бойцов стремление поскорей пробраться в краснобережные дома, погреться возле печек.

Позиции немцев были достаточно разведаны, многие огневые точки их оборонительной линии путем блокировки выведены из строя, и командование отдало приказ форсировать речку и занять на противоположном ее берегу деревню Красный Бережок.

В середине, вернее, в конце дня, потому что декабрьские дни коротки, сотни орудий обрушили свой огонь на укрепления гитлеровцев, на их передний край, на заранее разведанные цели. Сразу же за первым последовал второй артиллерийский удар и, наконец, третий. Это был мощный получасовой шквал. Казалось, снаряды смешали с землей все — и минные поля, и проволоку, и дзоты, и солдат в траншеях. Но когда полк Кручинина атаковал вражеские позиции, он был встречен пулеметным огнем, ударили немецкая артиллерия и минометы. Началось то же, что было и в ноябре,— переползание из воронки в воронку. Особенно доставалось саперам Фунтика, которые несли на себе щиты для переправы по льду, через речку. Следовавшая в боевых порядках пехоты легкая артиллерия била по блиндажам, по траншеям, по огневым точкам. Батальоны ворвались в окопы противника, завязалась рукопашная.

По зимнему времени стемнело быстро, местность поминутно освещалась ракетами; с севера, разогнав тучи, потянул порывистый студеный ветер; вызвездило; по земле крутила поземка, снежная пыль сверкала в голубых вспышках ракет. Бой же все разгорался, дрались почти на ощупь.

Подожженный снарядами, Красный Бережок запылал в нескольких местах. Стало светло. В тыл немцам просачивались автоматчики. Немцы стали отходить к реке. Наконец их сбросили на лед. Саперы, опережая пехоту, тоже устремились к реке и, чуть ли не смешиваясь с бегущими немцами, принялись укладывать на лед свои щиты.

По щитовой дороге промчались танки.

Полк Кручинина, выполнив свою задачу,— он прорывал первую линию обороны врага,— задержался на реке, чтобы бойцы могли передохнуть. Все бросились пить, черпая воду котелками прямо из прорубей, пробитых снарядами. У одной из них столкнулись Кручинин и Загурин. Хлебнув ледяной воды, Загурин сказал:

— Командир, с Новым годом! Сегодня тридцать первое декабря.

Кручинин взглянул на светящийся циферблат; до двенадцати было еще часа два, но это мелочь. Да, конечно, Новый год! В какую-то долю секунды в памяти промелькнули былые встречи этого часа. Яркий свет над праздничными скатертями, смеющиеся лица, звон бокалов, речи. И Зина, близкая, родная...

— За победу! — сказал Кручинин, и оба чокнулись котелками.

Через четверть часа батальоны Кручинина уже вступили на окраины Красного Бережка. Танки в упор расстреливали гнезда гитлеровцев. В одной из машин, в тяжелом и грозном КВ, внутри башни, рядом со смотровой командирской щелью, улыбалась с портрета круглолицая девушка. Это был танк Федора Яковлева, во главе роты КВ сворачивавший своей тяжестью дзоты, давивший гусеницами противотанковые пушки, расстреливавший немцев в амбразурах каменных домов.

На площади возле церкви Яковлев в отсветах боя увидел человека, привязанного к столбу пожарного колокола; он подвел машину вплотную, открыл люк и выскочил. Что-то знакомое было в чертах того человека, моряка в тельняшке. Яковлев подумал: «Может быть, жив?» Нет, лишь отблески пожарища падали так на мертвое лицо, да ветер шевелил волосы. И он узнал:

— Палкин!

3

Утром в Красный Бережок приехал Лукомцев. Многие бойцы, так же как и Яковлев, в обезображенном трупе у столба узнали веселого и никогда не унывавшего моряка, делегата связи от бригады Лося. Лукомцев остановился среди бойцов перед замученным лейтенантом. Было видно, что его пытали: у обожженных ног грудой лежали седые угли, тело было исколото ножами, грудь пробита очередью из автомата.

Лукомцев припомнил, что еще в конце октября катера балтийцев совершали налет на Красный Бережок со стороны реки. Тогда же стало известно, что один из катеров с разбитым рулевым управлением врезался в берег. О судьбе его экипажа так и не получили сведений.

— Прощай, друг!

Лукомцев снял папаху, обнажив бритую голову.

Неподвижные глаза мертвого моряка были устремлены вдоль реки, туда, где, скованная льдами, ждала весны его родная Балтика...

4

Остались позади трудные зимние месяцы, отцвела весна, и как-то уже в начале лета, получив фронтовую газету, Лукомцев на первой ее странице прочел указ о награждении дивизии орденом Красного Знамени. О том, что дивизия представлена к награде и документы об этом посланы в Москву, он знал давно, но все это казалось делом неопределенного будущего и реально не ощущалось. И вдруг — указ, вот он, перед глазами, в руках! Сердце Лукомцева наполнилось такой радостью, что, не находя слов, он молча протянул газету Черпаченко.

— Краснознаменная! — воскликнул начальник штаба, быстро пробегая глазами строчки указа. — Поздравляю, товарищ полковник!

— С тем же и вас, товарищ майор!

И они обнялись.

К концу дня весть обошла всю дивизию, полки, батальоны и роты, прокатилась по траншеям, достигла боевых охранений и секретов у переднего края противника. Затрещали звонки телефонов: поздравлял фронт, поздравляла армия, поздравляли соседи, друзья, знакомые, с телеграфа несли депеши.

Минула неделя, и батальоны выстроились на огромном зеленом лугу, скрытые от глаз противника кирпичными корпусами полуразрушенного завода. В двух длинных, покрытых маскировочными сетками машинах приехали представители командования фронта, и член Военного совета к знамени дивизии прикрепил боевой орден. Пушки ударили салют, тяжелый грохот прокатился по всему фронту: соседи тоже салютовали в этот час ордену на алом полотнище, под которым будет драться отныне Краснознаменная стрелковая дивизия полковника Лукомцева.

Люди обнимались, всюду слышались поздравления. В тени ракитовых кустов сидели Бровкин с Козыревым и время от времени прикладывались к фляжкам.

— Заслуженно, — говорил Бровкин. — Выстрадали, кровью добыли. Старуха-то моя поди рада!

— Вот, батя, тебе и награда, — философствовал Тишка. — А ты тужил о крестах. Была бы грудь, за орденами дело не станет.

— Так я же тебе это говорил всегда, курицын ты племянник!

Вечером в обширном блиндаже Лукомцева собрались боевые соратники. Здесь были командиры и комиссары полков, штабные работники, комбаты, командиры рот, и еще командиры, и даже Ася Строгая, которая смущалась и старалась забиться в уголок, потому что, как назло, каждый вновь входивший прежде всего замечал ее, словно все они были гостями на ее именинах.

Лукомцев усадил их за два длинных стола, накрытых чистыми простынями, с минуту постоял, глядя, все ли в порядке на столе, и сказал:

— Друзья, не будем говорить речей, а попросту, по-солдатски отпразднуем наш праздник. Выпьем за нашу доблестную Красную Армию, за партию большевиков, за орден, добытый в боях, за грядущую победу.

Все задвигались.

— Итак!.. — Лукомцев поднял стакан.

Чокались алюминиевыми и жестяными кружками, брали шпроты и вареное мясо вилками и складными ножами, ломти нарезанного хлеба заменяли многим тарелки, но в блиндаже было так радостно, как, может быть, никогда не бывало на самых изысканных банкетах со сверкающей сервировкой и бутылками замороженного шампанского. Пили по второй, по третьей. Лукомцев распорядился подать еще, люди хмелели, начались шумные разговоры, вспомнился боевой путь дивизии, отдельные эпизоды, герои. Лукомцев шутил, смеялся. Но когда упомянули Палкина, о котором теперь складывались легенды, он встал, и с лица его сошла улыбка:

— Почтим память тех, кого нет сейчас с нами, кто отдал за Родину жизнь, кто своей кровью скрепил дивизию.

Все поднялись в торжественном молчании.

— А теперь, хотя мы и уговорились избегать речей, разрешите сказать маленькое слово. — Лукомцев достал записную книжку и прочитал:

«Перед нами совершенно непонятная военному уму русская часть. Кажется, она уже разбита огнем нашей артиллерии и минометов, рассеяна, деморализована. Но как только мы идем в атаку, русские снова собираются

и дерутся с невиданным упорством и остервенением. Законы войны для них недействительны».

— Как вы думаете, кто это пишет и о ком? Автор этих строк — барон Карл фон Гогенбрейч, капитан германской армии. Я привел выдержку из его доклада высшему командованию о причинах задержки наступления немцев на вейнинском участке. Речь идет о нашей дивизии. Это она составила загадку для ученого гитлеровского офицера. Он, вымуштрованный на немецких академических законах войны, знал одно: если рота потеряла половину людей, значит, ее надо отводить, к бою она не годится; если человек ранен, ничего от него больше не получишь, клади на носилки и эвакуируй в тыл; если кончились патроны, отходи. А наша рота, если в ней и две трети выбывало из строя, дралась с неменьшим упорством, он сам это пишет; а у нас раненый — это еще более ожесточенный боец; а у нас, если кончились патроны, люди идут в штыки. Немец называет это остервенением, потому что он не понимает чувств русского человека,— если бы понял, так никогда не полез бы к нам, на нашу землю. Не остервенение, а любовь к Родине, к России движет каждым из нас, воодушевляет на подвиги. Не так ли?

— Так!

— Правильно!

— Верно!

— Ну, а если так, то — за Родину! За Россию!

В блиндаже стало еще более шумно, каждый тоже что-нибудь хотел сказать, но все друг другу мешали, и из речей ничего не получалось.

Один из тостов Лукомцев предложил за Асю.

— За девушку, ставшую, как вы знаете, снайпером,— сказал он,— которая бьет теперь немцев не хуже мужчин. До войны она, может быть, платочки вышивала...

— Письма разносила.

— Ну вот, видите,— письма! — Лукомцев обнял Асю, отчего девушка совсем смутилась, покраснела, замахала руками и выскочила из-за стола.

— Позовите-ка Ермакова,— приказал Лукомцев.

Шофер явился с баяном, и в блиндаже зазвучала музыка. Командиры заслушались. Расстегнув ворот, комдив задумчиво смотрел вверх, шевелил губами и вдруг запел:

Тихо кругом, лишь ветер на сопках рыдает...

Хор вступил за командиром дивизии:

Порой из-за туч наплывает луна,
Могилы бойцов освещает.

Плакал баян, люди отстукивали такт сжатыми кулаками.

Героев тела давно уж в могилах истлели.
Но мы им последний не отдали долг и вечную память не спели.

— Мы отдадим долг! — крикнул Загурин. — Мы со штыками пройдем проклятую страну Гитлера!

Лукомцев всматривался в каждого присутствующего, и все были ему близки, всех он знал и как людей, и как командиров.

— Друзья,— сказал он,— помните, как иной раз иронически отзывались по нашему адресу: ополченцы! Да я и сам немножко грешил вначале: принимая дивизию, сомневался, сможем ли мы воевать по-настоящему. А теперь я горд, что нахожусь с людьми, взявшими оружие по призыву партии, я уважаю их как доблестных солдат. Разве не солдат майор Кручинин — лучший командир полка? Разве не солдаты капитан Селезнев и старший лейтенант Фунтик? Они поставили разведку и саперное дело так, что нам завидуют. Разве не солдат эта милая девочка, у которой уже свыше десятка фрицев на истребительном счету? Ополченцы! Я горжусь, что сам в рядах ополченцев. За народное ополчение, товарищи!

Среди ночи Лукомцеву доставили пакет за пятью сургучными печатями. А утром он уже ехал в штаб армии. Ермаков мчал полковника на «студебеккере», потерявшем прежний щегольской вид, изрядно помятом на фронтовых дорогах, потускневшем, пробитом осколками и пулями.

Лукомцев, казалось, дремал, полузакрыв глаза. Но он уже мысленно видел поля предстоящих новых и больших сражений, двигал вперед свои полки. Он мог положиться на любого из его командиров, зная, что каждый из них в выполнение боевого приказа внесет что-то новое, свое, грамотное и остроумное. Каждый из них в военной профессии достиг мастерства. Лукомцев вспомнил недавний разговор с командиром соседней дивизии, тоже полковником. «Не удивительно, что вы получили орден,— говорил тот,— с такими людьми вы и звание гвардейской зарабо-

таете, полковник». Невольная усмешка скользнула тогда по лицу Лукомцева. «Но ведь это же ополченцы,— ответил он,— тыловики. Не так ли еще осенью рассуждали и вы и многие другие кадровые военные?» — «Злопамятны вы, полковник».

Лукомцев вспомнил этот разговор, и новая волна гордости прилила к сердцу.

— Наддай-ка газу, Василий! — сказал он Ермакову, и через несколько минут уже входил к только что назначенному новому командующему армией. Это был его старый друг генерал Астанин.

Астанин быстро поднялся ему навстречу, подошел быстрой, энергичной походкой помолодевшего человека и крепко обнял.

— Награда обязывает, так, кажется, пишут в газетах, старик? Перед тобой армия ставит задачу: демонстрировать наступление. Надо сорвать подготовку противника к новому штурму Ленинграда. Обо всем личном потолкуем позже — есть о чем потолковать, давно не видались,— а сейчас садись-ка к столу, время не ждет. Карту! — потребовал командующий, тоже придвигая к столу кресло рядом с Лукомцевым.

5

Ленинград был взволнован. Все говорили об одном. Зина по пути на фабрику слышала, как старушка, перекрестясь на ближнюю церковь, вслух сказала:

— Господи, пошли им победу!

Незнакомые люди, ожидая очереди в парикмахерской, на трамвайных остановках, за столиками столовых, говорили друг другу:

— Наступаем. Слышите, артподготовка?

Окутанные дымом разрывов, батальоны не останавливались ни на миг, растекались, используя отлично разведанные естественные укрытия, проскакивали густые завесы немецкого заградительного огня, вдруг снова сжимались в кулак и, возглавляемые тяжелыми танками, железным кольцом охватывали опорные пункты обороны врага.

Противник сопротивлялся, он вызвал авиацию. Откуда-то из глубины обороны подтягивались немецкие резервы. Но наша артиллерия дальнего действия, поддержи-

вающая дивизию, работала не умолкая. Ее снаряды пахали вражеские дороги к фронту, ломали мосты, сметали потоками стали колонны пехоты и автомашин. Авиация, не обращая внимания на зенитный огонь, швыряла бомбы, расстреливала противника из пулеметов и пушек. Ленинградские истребители над полем сражения дрались с «юнкерсами» и «мессершмиттами».

Ночь перед боем Лукомцев не спал, он встретил утро с головной болью и тяжестью в теле. Но сейчас, прильнув к стереотрубе на чердаке разрушенного заводского здания, он чувствовал, что все его недомогание словно смыло росой и сдуло ветром. Большая, спокойная и радостная уверенность пришла на смену ночным волнениям. Ей подчинялись все чувства. Лукомцев держался, как главный механик этого сражения, ему казалось, что он стоит у незримого пульта управления боем и каждое его слово, каждое движение руки дают громовой отзвук там, впереди. Вот он включает один рубильник — и артиллерия, быстро сманеврировав, обрушивает огонь нескольких дивизионов на танковый десант автоматчиков. Включает второй рубильник — саперы наводят переправу, поперек реки выстраиваются понтоны, и пехотинцы плотной стремительной лавой текут по дощатому настилу на тот берег. Третий рубильник — полк Кручинина врывается в брешь, обходит с фланга пылающую деревушку и проникает в нее с тыла.

Битва кипит, бушует огонь, гитлеровцев обманывают ложными ударами, обрушиваются на них в самых неожиданных местах.

Заметно, что командование противника теряет выдержку: контратаки немцев яростны, но слепы. Их подразделения то и дело попадают под сокрушительный огонь. Их офицеров на выбор бьют наши снайперы. Радисты Лукомцева перехватывают немецкие шифровки в Гатчину, в Лугу, даже в Псков. Немцы просят помощи. Лукомцев стискивает губы, возле телефонных аппаратов и раций своего НП продолжает включать воображаемые рубильники, распределяя ток боя огромного напряжения.

И вдруг... возле рабочего поселка батальоны Кручинина, совершая сложный обходный маневр, застряли в болоте.

Видя заминку, немцы приободрились. Части эсэсовской дивизии в сопровождении нескольких десятков танков и самоходных пушек начали окружать болото.

Лукомцев оценил опасность...

— Знамя! — приказал он, и через несколько минут, как язык пламени, на болоте показалось алое с золотом знамя дивизии. Около знамени с пистолетом в руке шел командир полка майор Кручинин. Бок о бок с ним — Загурин и Семечкин.

Пули рвали шумящий шелк, ветер отбрасывал на него черный дым разрывов, и копоть полосами ложилась на золото букв и на орден. Падали сраженные знаменосцы, знамя вздрагивало, но древко тотчас подхватывали другие крепкие руки, и алое полотнище снова плыло вперед. А за ним, все так же безмолвно, с пистолетом в руке, шел командир.

Бойцы рывками выбирались из тины, выхватывали из нее пулеметы; злые, ненавидящие, пересекали они болото и вышли в тот момент, когда немцы уже охватывали его с тыла.

Восстановив боевой порядок и оставив врага позади, полк атаковал поселок и смял его растерявшийся гарнизон.

Артиллерия снова сманеврировала, и ураган снарядов коротко и мощно пробушевал по берегам болота, вокруг которого образовали цепь эсэсовцы. Вслед за этим немцев окружили подразделения резерва, били, уничтожали, топили, эсэсовцы сдавались, поднимая руки перед жалами штыков. Не спасли их и танки: танки уже горели, подожженные нашими артиллеристами.

А полк Кручинина вырвался тем временем дальше. Лавина его батальона текла за огневым валом к пригородной железнодорожной станции. Кручинин теперь непрерывно перемещался со своим командным пунктом, не отставая от боевых порядков. Небывалая радость переполняла сердце; после долгих месяцев обороны этот бой казался ему праздником, на который собрались все друзья и близкие. Ему казалось, что ряды его батальонов умножились, что в них с винтовками наперевес идут все те, чья кровь скрепила дивизию, ценой чьих жизней приобретен опыт войны. Командир роты Марченко, лейтенант Палкин, тихая девушка Галя Яковлева, прежний комиссар дивизии, командиры и политруки, многие, многие друзья-товарищи, сотни, тысячи ленинградцев, убитых и раненых на фронте, умерших возле станков в голодные зимние дни, шли мстить за себя, за свои жизни и кровь...

Может быть, и перед дрогнувшими немцами встал в этот миг страшный призрак расплаты, или просто они

не выдержали натиска, но как бы там ни было — враг побежал. Побежал по всему фронту дивизии, бросая оружие, танки, артиллерию, склады, автомашины.

Это было началом. Первая трещина в железном кольце блокады...

Заслышав шаги позади, Лукомцев оглянулся. Только что вернувшийся из боевых порядков Баркан стоял, прислонясь к обгорелой балке чердачного перекрытия, и сквозь разорванную кровлю смотрел туда, где дымил Ленинград, живой и могучий. Под израненными крышами его заводов стучали пневматические молотки, по Неве шли ожившие буксиры, на берегах у стапелей вспыхивали молнии электросварки, пели сверла, звенела сталь. Это был голос великого города, зовущего своих сынов в бой.

И они отвечали ему громом орудий.

«Ополченцы! — мысленно повторил Лукомцев ранее сказанные слова. — Горжусь, что и я в ваших рядах».

Ленинград — фронт
1942—1943 гг.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Кочетов В.

К75 Собрание сочинений. В 6-ти томах. Т. 5. Угол падения. Роман. На невских равнинах. Повесть. М., «Худож. лит.», 1975.

608 с.

Роман «Угол падения» отражает сложность гражданской борьбы, развернувшейся в грозовом 1919 году под Петроградом. Волей большевиков, чекистов, рабочих, воодушевленных Лениным, город был превращен в крепость, о которую разбились белогвардейские банды Юденича. Повесть «На невских равнинах» рассказывает о боевых действиях Ленинградской дивизии народного ополчения в начале Великой Отечественной войны.

К $\frac{70302-345}{028(01)-75}$ подписное **Р2**

ВСЕВОЛОД АНИСИМОВИЧ КОЧЕТОВ

Собрание сочинений
том 5

Редактор В. Буланова
Художественный редактор
А. Виноградов
Технический редактор
С. Ефимова
Корректор М. Муромцева

Сдано в набор 28/I 1975 г. Подписано к печати А13424 от 14/X 1975 г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108 1/32. 19 печ. л. 31,92 усл. печ. л. 34,12 уч.-изд. л. Заказ 1859. Тираж 150 000 экз. Цена 1 р. 15 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19.

Ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Гатчинская ул., 26.

